Аркадий и Борис

СТРУГАЦКИЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ РУССКОЙ ПРОСТРАНСТВО



Собрание сочинений в 10 т. Т. 5. Понедельник начинается в субботу.

Аркадий Натанович Стругацкий, Борис Натанович Стругацкий

Аннотация
Аркадий и Борис Стругацкие. Собрание сочинений в 10 томах. Том пятый. Понедельник начинается в субботу
ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ
История первая. Суета вокруг дивана
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
История вторая.
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая

История третья.
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Послесловие и комментарий
СКАЗКА О ТРОЙКЕ — 1
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
СКАЗКА О ТРОЙКЕ — 2
Пролог
Дело № 42. Старикашка Эдельвейс
Разные дела
Дело № 72. Пришелец Константин
Дело № 15 и выездная сессия
Эпилог
1 июня (три часа пополуночи)
2 июня

3 июня
4 июня
5 июня
6 июня
7 июня
8 июня
9 июня
10 июня
11 июня (полночь)
12 июня
13 июня
14 июня
15 июня
ПРИМЕЧАНИЯ
КОММЕНТАРИИ
ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ
СКАЗКА О ТРОЙКЕ
ВТОРОЕ НАШЕСТВИЕ МАРСИАН

Аннотация

В очередной том собрания сочинений классиков отечественной фантастики Аркадия и Бориса Стругацких вошла знаменитая дилогия о сотрудниках Научно-исследовательского института Чародейства и Волшебства (НИИЧАВО), а также сатирическая фантазия на тему «Войны миров» Уэллса — «Второе нашествие марсиан».

Аркадий и Борис Стругацкие. Собрание сочинений в 10 томах. Том пятый. Понедельник начинается в субботу

ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ

Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты, признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно... нет, нет, совсем не понимаю.

Н. В. Гоголь

Сказка для научных сотрудников младшего возраста

История первая. Суета вокруг дивана
Глава первая

Учитель: Дети, запишите предложение: «Рыба сидела на дереве».
Ученик: А разве рыбы сидят на деревьях?
Учитель: Ну... Это была сумасшедшая рыба.

Школьный анекдот

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня, прижимаясь к самой дороге, зеленел лес, изредка уступая место полянам, поросшим желтой осокою. Солнце садилось уже который час, все никак не могло сесть и висело низко над горизонтом. Машина катилась по узкой дороге, засыпанной хрустящим гравием. Крупные камни я пускал под колесо, и каждый раз в багажнике лязгали и громыхали пустые канистры.

Справа из леса вышли двое, ступили на обочину и остановились, глядя в мою сторону. Один из них поднял руку. Я сбросил газ, их рассматривая. Это были, как мне показалось, охотники, молодые люди, может быть, немного старше меня.

Их лица понравились мне, и я остановился. Тот, что поднимал руку, просунул в машину смуглое горбоносое лицо и спросил, улыбаясь:

— Вы нас не подбросите до Соловца?

Второй, с рыжей бородой и без усов, тоже улыбался, выглядывая из-за его плеча. Положительно, это были приятные люди.

— Давайте садитесь, — сказал я. — Один вперед, другой назад, а то у меня там барахло, на заднем сиденье.

— Благодетель! — обрадованно произнес горбоносый, снял с плеча ружье и сел рядом со мной.

Бородатый, нерешительно заглядывая в заднюю дверцу, сказал:

— А можно я здесь немножко того?..

Я перегнулся через спинку и помог ему расчистить место, занятое спальным мешком и свернутой палаткой. Он деликатно уселся, поставив ружье между колен.

— Дверцу прикройте получше, — сказал я.

Все шло, как обычно. Машина тронулась. Горбоносый повернулся назад и оживленно заговорил о том, что много приятнее ехать в легковой машине, чем идти пешком. Бородатый невнятно соглашался и все хлопал и хлопал дверцей. «Плащ подберите, — посоветовал я, глядя на него

в зеркало заднего вида. — У вас плащ защемляется». Минут через пять все наконец устроилось. Я спросил: «До Соловца километров десять?» — «Да, — ответил горбоносый. — Или немножко больше. Дорога, правда, неважная — для грузовиков». — «Дорога вполне приличная, — возразил я. — Мне обещали, что я вообще не проеду». — «По этой дороге даже осенью можно проехать». — «Здесь — пожалуй, но вот от Коробца — грунтовая». — «В этом году лето сухое, все подсохло». — «Под Затонью, говорят, дожди», — заметил бородатый на заднем сиденье. «Кто это говорит?» — спросил горбоносый. «Мерлин говорит». Они почему-то засмеялись. Я вытащил сигареты, закурил и предложил им угощаться. «Фабрика Клары Цеткин, — сказал горбоносый, разглядывая пачку. — Вы из Ленинграда?» — «Да». — «Путешествуете?» — «Путешествую, — сказал я. — А вы здешние?» — «Коренные», — сказал горбоносый. «Я из Мурманска», — сообщил бородатый. «Для Ленинграда, наверное, что Соловец, что Мурманск — одно и то же: Север», — сказал горбоносый. «Нет, почему же», — сказал я вежливо. «В Соловце будете останавливаться?» — спросил горбоносый. «Конечно, — сказал я. — Я в Соловец и еду». — «У вас там родные или знакомые?» — «Нет, — сказал я. — Просто

подожду ребят. Они идут берегом, а Соловец у нас — точка рандеву».

Впереди я увидел большую россыпь камней, притормозил и сказал: «Держитесь крепче». Машина затряслась и запрыгала. Горбоносый ушиб нос о ствол ружья. Мотор взревывал, камни били в днище. «Бедная машина», — сказал горбоносый. «Что делать...» — сказал я. «Не всякий поехал бы по такой дороге на своей машине». — «Я бы поехал», — сказал я. Россыпь кончилась. «А, так это не ваша машина», — догадался горбоносый. «Ну, откуда у меня машина! Это прокат». — «Понятно», — сказал горбоносый, как мне показалось, разочарованно. Я почувствовал себя задетым. «А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта». — «Да, конечно», — вежливо согласился горбоносый. «Глупо, по-моему, делать из машины идола», — заявил я. «Глупо, — сказал бородатый. — Но не все так думают». Мы поговорили о машинах и пришли к выводу, что если уж покупать что-нибудь, так это «ГАЗ-69», вездеход, но их, к сожалению, не продают. Потом горбоносый спросил: «А где вы работаете?» Я ответил. «Колоссально! — воскликнул горбоносый. — Программист! Нам нужен именно

программист. Слушайте, бросайте ваш институт и пошли к нам!» — «А что у вас есть?» — «Что у нас есть?» — спросил горбоносый поворачиваясь. «Алдан-3», — сказал бородатый. «Богатая машина, — сказал я. — И хорошо работает?» — «Да как вам сказать...» — «Понятно», — сказал я. «Собственно, ее еще не отладили, — сказал бородатый. — Оставайтесь у нас, отладите...» — «А перевод мы вам в два счета устроим», — добавил горбоносый. «А чем вы занимаетесь?» — спросил я. «Как и вся наука, — сказал горбоносый. — Счастьем человеческим». — «Понятно, — сказал я. — Что-нибудь с космосом?» — «И с космосом тоже», — сказал горбоносый. «От добра добра не ищут», — сказал я. «Столичный город и приличная зарплата», — сказал бородатый негромко, но я услышал. «Не надо, — сказал я. — Не надо мерять на деньги». — «Да нет, я пошутил», — сказал бородатый. «Это он так шутит, — сказал горбоносый. — Интереснее, чем у нас, вам нигде не будет». — «Почему вы так думаете?» — «Уверен». — «А я не уверен». Горбоносый усмехнулся. «Мы еще поговорим на эту тему, — сказал он. — Вы долго пробудете в Соловце?» — «Дня два максимум». — «Вот на второй день и поговорим». Бородатый заявил: «Лично я вижу в этом перст судьбы — шли по лесу и встре-

тили программиста. Мне кажется, вы обречены». — «Вам действительно так нужен программист?» — спросил я. «Нам позарез нужен программист». — «Я поговорю с ребятами, — пообещал я. — Я знаю недовольных». — «Нам нужен не всякий программист, — сказал горбоносый. — Программисты — народ дефицитный, избаловались, а нам нужен небалованный». — «Да, это сложнее», — сказал я. Горбоносый стал загибать пальцы: «Нам нужен программист: а — небалованный, бэ — доброволец, цэ — чтобы согласился жить в общежитии...» — «Дэ, — подхватил бородатый, — на сто двадцать рублей». — «А как насчет крылышек? — спросил я. — Или, скажем, сияния вокруг головы? Один на тысячу!» — «А нам всего-то один и нужен», — сказал горбоносый. «А если их всего девятьсот?» — «Согласны на девять десятых».

Лес расступился, мы переехали через мост и покатили между картофельными полями. «Девять часов, — сказал горбоносый. — Где вы собираетесь ночевать?» — «В машине переночую. Магазины у вас до которого часа работают?» — «Магазины у нас уже закрыты», — сказал горбоносый. «Можно в общежитии, — сказал бородатый. — У меня в комнате свободная койка». — «К общежитию не подъедешь», — сказал горбоносый задумчиво.

«Да, пожалуй», — сказал бородатый и почему-то засмеялся. «Машину можно поставить возле милиции», — сказал горбоносый. «Да ерунда это, — сказал бородатый. — Я несу околесицу, а ты за мной вслед. Как он в общежитие-то пройдет?» — «Д-да, черт, — сказал горбоносый. — Действительно, день не поработаешь — забываешь про все эти штуки». — «А может быть, трансгрессировать его?» — «Ну-ну, — сказал горбоносый. — Это тебе не диван. А ты не Кристобаль Хунта, да и я тоже...»

— Да вы не беспокойтесь, — сказал я. — Переночую в машине, не первый раз.

Мне вдруг страшно захотелось поспать на простынях. Я уже четыре ночи спал в спальном мешке.

— Слушай, — сказал горбоносый, — хо-хо! Изнакурнож!

— Правильно! — воскликнул бородатый. — На Лукоморье его!

— Ей-богу, я переночую в машине, — сказал я.

— Вы переночуете в доме, — сказал горбоносый, — на относительно чистом белье. Должны же мы вас как-то отблагодарить...

— Не полтинник же вам совать, — сказал бородатый.

Мы въехали в город. Потянулись старинные крепкие заборы, мощные срубы из гигантских почерневших бревен, с неширокими окнами, с резными наличниками, с деревянными петушками на крышах. Попалось несколько грязных кирпичных строений с железными дверями, вид которых вынес у меня из памяти полузнакомое слово «лабаз». Улица была прямая и широкая и называлась проспектом Мира. Впереди, ближе к центру, виднелись двухэтажные шлакоблочные дома с открытыми скверами.

— Следующий переулок направо, — сказал горбоносый.

Я включил указатель поворота, притормозил и свернул направо. Дорога здесь заросла травой, но у какой-то калитки стоял, приткнувшись, новенький «Запорожец». Номера домов висели над воротами, и цифры были едва заметны на ржавой жести вывесок. Переулок назывался изящно: «Ул. Лукоморье». Он был неширок и зажат между тяжелых старинных заборов, поставленных, наверное, еще в те времена, когда здесь шастали шведские и норвежские пираты.

— Стоп, — сказал горбоносый. Я тормознул, и он снова стукнулся носом о ствол ружья. — Теперь так, — сказал он, потирая нос. — Вы меня подо-

ждите, а я сейчас пойду и все устрою.

— Право, не стоит, — сказал я в последний раз.

— Никаких разговоров. Володя, держи его на мушке.

Горбоносый вылез из машины и, нагнувшись, протиснулся в низкую калитку. За высоченным серым забором дома видно не было. Ворота были совсем уже феноменальные, как в паровозном депо, на ржавых железных петлях в пуд весом. Я с изумлением читал вывески. Их было три. На левой воротине строго блестела толстым стеклом синяя солидная вывеска с серебряными буквами:

НИИЧАВО
Изба на куриных ногах
Памятник соловецкой старины

На правой воротине сверху висела ржавая жестяная табличка: «Ул. Лукоморье, д. № 13, Н. К. Горыныч», а под нею красовался кусок фанеры с надписью чернилами вкривь и вкось:

КОТ НЕ РАБОТАЕТ
Администрация

— Какой КОТ? — спросил я. — Комитет Оборон-

ной Техники?

Бородатый хихикнул.

— Вы, главное, не беспокойтесь, — сказал он. — Тут у нас забавно, но все будет в полном порядке.

Я вышел из машины и стал протирать ветровое стекло. Над головой у меня вдруг завозились. Я поглядел. На воротах умащивался, пристраиваясь поудобнее, гигантский — я таких никогда не видел — черно-серый, разводами, кот. Усевшись, он сыто и равнодушно посмотрел на меня желтыми глазами. «Кис-кис-кис», — сказал я машинально. Кот вежливо и холодно разинул зубастую пасть, издал сиплый горловой звук, а затем отвернулся и стал смотреть внутрь двора. Оттуда, из-за забора, голос горбоносого произнес:

— Василий, друг мой, разрешите вас побеспокоить.

Завизжал засов. Кот поднялся и бесшумно канул во двор. Ворота тяжело закачались, раздался ужасающий скрип и треск, и левая воротина медленно отворилась. Появилось красное от натуги лицо горбоносого.

— Благодетель! — позвал он. — Заезжайте!

Я вернулся в машину и медленно въехал во двор. Двор был обширный, в глубине стоял дом из толстых бревен, а перед домом красовался при-

земистый необъятный дуб, широкий, плотный, с густой кроной, заслоняющей крышу. От ворот к дому, огибая дуб, шла дорожка, выложенная каменными плитами. Справа от дорожки был огород, а слева, посередине лужайки, возвышался колодезный сруб с воротом, черный от древности и покрытый мохом.

Я поставил машину в сторонке, выключил двигатель и вылез. Бородатый Володя тоже вылез и, прислонив ружье к борту, стал прилаживать рюкзак.

— Вот вы и дома, — сказал он.

Горбоносый со скрипом и треском затворял ворота, я же, чувствуя себя довольно неловко, озирался, не зная, что делать.

— А вот и хозяйка! — вскричал бородатый. — По здорову ли, баушка, Наина свет Киевна!

Хозяйке было, наверное, за сто. Она шла к нам медленно, опираясь на суковатую палку, волоча ноги в валенках с галошами. Лицо у нее было темно-коричневое; из сплошной массы морщин выдавался вперед и вниз нос, кривой и острый, как ятаган, а глаза были бледные, тусклые, словно бы закрытые бельмами.

— Здравствуй, здравствуй, внучек, — произнесла она неожиданно звучным басом. — Это,

значит, и будет новый программист? Здравствуй, батюшка, добро пожаловать!..

Я поклонился, понимая, что нужно помалкивать. Голова бабки поверх черного пухового платка, завязанного под подбородком, была покрыта веселенькой капроновой косынкой с разноцветными изображениями Атомиума и с надписями на разных языках: «Международная выставка в Брюсселе». На подбородке и под носом торчала редкая седая щетина. Одета была бабка в ватную безрукавку и черное суконное платье.

— Таким вот образом, Наина Киевна! — сказал горбоносый, подходя и обтирая с ладоней ржавчину. — Надо нашего нового сотрудника устроить на две ночи. Позвольте вам представить... м-м-м...

— А не надо, — сказала старуха, пристально меня рассматривая. — Сама вижу. Привалов Александр Иванович, одна тысяча девятьсот тридцать восьмой, мужской, русский, член ВЛКСМ, нет, нет, не участвовал, не был, не имеет, а будет тебе, алмазный, дальняя дорога и интерес в казенном доме, а бояться тебе, бриллиантовый, надо человека рыжего, недоброго, а позолоти ручку, яхонтовый...

— Гхм! — громко сказал горбоносый, и бабка

осеклась. Воцарилось неловкое молчание.

— Можно звать просто Сашей... — выдавил я из себя заранее приготовленную фразу.

— И где же я его положу? — осведомилась бабка.

— В запаснике, конечно, — несколько раздраженно сказал горбоносый.

— А отвечать кто будет?

— Наина Киевна!.. — раскатами провинциального трагика взревел горбоносый, схватил старуху под руку и поволок к дому. Было слышно, как они спорят: «Ведь мы же договорились!..» — «...А ежели он что-нибудь стибрит?..» — «Да тише вы! Это же программист, понимаете? Комсомолец! Ученый!..» — «А ежели он цыкать будет?..»

Я стесненно повернулся к Володе. Володя хихикал.

— Неловко как-то, — сказал я.

— Не беспокойтесь — все будет отлично...

Он хотел сказать еще что-то, но тут бабка дико заорала: «А диван-то, диван!..» Я вздрогнул и сказал:

— Знаете, я, пожалуй, поеду, а?

— Не может быть и речи! — решительно сказал Володя. — Все уладится. Просто бабке нужна мзда, а у нас с Романом нет наличных.

— Я заплачу, — сказал я. Теперь мне очень хотелось уехать: терпеть не могу этих так называемых житейских коллизий.

Володя замотал головой.

— Ничего подобного. Вон он уже идет. Все в порядке.

Горбоносый Роман подошел к нам, взял меня за руку и сказал:

— Ну, все устроилось. Пошли.

— Слушайте, неудобно как-то, — сказал я. — Она, в конце концов, не обязана...

Но мы уже шли к дому.

— Обязана, обязана, — приговаривал Роман.

Обогнув дуб, мы подошли к заднему крыльцу. Роман толкнул обитую дерматином дверь, и мы оказались в прихожей, просторной и чистой, но плохо освещенной. Старуха ждала нас, сложив руки на животе и поджав губы. При виде нас она мстительно пробасила:

— А расписочку чтобы сейчас же!.. Так, мол, и так: принял, мол, то-то и то-то от такой-то, каковая сдала вышеуказанное нижеподписавшемуся...

Роман тихонько взвыл, и мы вошли в отведенную мне комнату. Это было прохладное помещение с одним окном, завешенным ситцевой занавесочкой. Роман сказал напряженным

голосом:

— Располагайтесь и будьте как дома.

Старуха из прихожей сейчас же ревниво осведомилась:

— А зубом оне не цыкают?

Роман, не оборачиваясь, рявкнул:

— Не цыкают! Говорят вам — зубов нет.

— Тогда пойдем, расписочку напишем...

Роман поднял брови, закатил глаза, оскалил зубы и потряс головой, но все-таки вышел. Я осмотрелся. Мебели в комнате было немного. У окна стоял массивный стол, накрытый ветхой серой скатертью с бахромой, перед столом — колченогий табурет. Возле голой бревенчатой стены помещался обширный диван, на другой стене, заклеенной разнокалиберными обоями, была вешалка с какой-то рухлядью (ватники, вылезшие шубы, драные кепки и ушанки). В комнату вдавалась большая русская печь, сияющая свежей побелкой, а напротив в углу висело большое мутное зеркало в облезлой раме. Пол был выскоблен и покрыт полосатыми половиками.

За стеной бубнили в два голоса: старуха басила на одной ноте, голос Романа повышался и понижался. «Скатерть, инвентарный номер двести сорок пять...» — «Вы еще каждую половицу запи-

шите!..» — «Стол обеденный...» — «Печь вы тоже запишете?..» — «Порядок нужен... Диван...»

Я подошел к окну и отдернул занавеску. За окном был дуб, больше ничего не было видно. Я стал смотреть на дуб. Это было, видимо, очень древнее растение. Кора была на нем серая и какая-то мертвая, а чудовищные корни, вылезшие из земли, были покрыты красным и белым лишайником. «И еще дуб запишите!» — сказал за стеной Роман. На подоконнике лежала пухлая засаленная книга, я бездумно полистал ее, отошел от окна и сел на диван. И мне сейчас же захотелось спать. Я подумал, что вел сегодня машину четырнадцать часов, что не стоило, пожалуй, так торопиться, что спина у меня болит, а в голове все путается, что плевать мне, в конце концов, на эту нудную старуху, и скорей бы все кончилось и можно было бы лечь и заснуть...

— Ну вот, — сказал Роман, появляясь на пороге. — Формальности окончены. — Он помотал рукой с растопыренными пальцами, измазанными чернилами. — Наши пальчики устали: мы писали, мы писали... Ложитесь спать. Мы уходим, а вы спокойно ложитесь спать. Что вы завтра делаете?

— Жду, — вяло ответил я.

— Где?

— Здесь. И около почтамта.

— Завтра вы, наверное, не уедете?

— Завтра вряд ли... Скорее всего — послезавтра.

— Тогда мы еще увидимся. Наша любовь впереди. — Он улыбнулся, махнул рукой и вышел. Я лениво подумал, что надо было бы его проводить и попрощаться с Володей, и лег. Сейчас же в комнату вошла старуха. Я встал. Старуха некоторое время пристально на меня глядела.

— Боюсь я, батюшка, что ты зубом цыкать станешь, — сказала она с беспокойством.

— Не стану я цыкать, — сказал я утомленно. — Я спать стану.

— И ложись, и спи... Денежки только вот заплати и спи...

Я полез в задний карман за бумажником.

— Сколько с меня?

Старуха подняла глаза к потолку.

— Рубль положим за помещение... Полтинничек за постельное белье — мое оно, не казенное. За две ночи выходит три рубли... А сколько от щедрот накинешь — за беспокойство, значит, — я уж и не знаю...

Я протянул ей пятерку.

— От щедрот пока рубль, — сказал я. — А там видно будет.

Старуха живо схватила деньги и удалилась, бормоча что-то про сдачу. Не было ее довольно долго, и я уже хотел махнуть рукой и на сдачу, и на белье, но она вернулась и выложила на стол пригоршню грязных медяков.

— Вот тебе и сдача, батюшка, — сказала она. — Ровно рублик, можешь не пересчитывать.

— Не буду пересчитывать, — сказал я. — Как насчет белья?

— Сейчас постелю. Ты выйди во двор, прогуляйся, а я постелю.

Я вышел, на ходу вытаскивая сигареты. Солнце наконец село, и наступила белая ночь. Где-то лаяли собаки. Я присел под дубом на вросшую в землю скамеечку, закурил и стал смотреть на бледное беззвездное небо. Откуда-то бесшумно появился кот, глянул на меня флюоресцирующими глазами, затем быстро вскарабкался на дуб и исчез в темной листве. Я сразу забыл о нем и вздрогнул, когда он завозился где-то наверху. На голову мне посыпался мусор. «Чтоб тебя...» — сказал я вслух и стал отряхиваться. Спать хотелось необычайно. Из дому вышла старуха, не замечая меня, побрела к колодцу. Я понял это так, что

постель готова, и вернулся в комнату.

Вредная бабка постелила мне на полу. Ну уж нет, подумал я, запер дверь на щеколду, перетащил постель на диван и стал раздеваться. Сумрачный свет падал из окна, на дубе шумно возился кот. Я замотал головой, вытряхивая из волос мусор. Странный это был мусор, неожиданный: крупная сухая рыбья чешуя. Колко спать будет, подумал я, повалился на подушку и сразу заснул.

Глава вторая

...Опустевший дом превратился в логово лисиц и барсуков, и потому здесь могут появляться странные оборотни и призраки.

А. Уэда

Я проснулся посреди ночи оттого, что в комнате разговаривали. Разговаривали двое, едва слышным шепотом. Голоса были очень похожи, но один был немного сдавленный и хрипловатый, а другой выдавал крайнее раздражение.

— Не хрипи, — шептал раздраженный. — Ты можешь не хрипеть?

— Могу, — отозвался сдавленный и заперхал.

— Да тише ты... — прошипел раздраженный.

— Хрипунец, — объяснил сдавленный. — Утренний кашель курильщика... — Он снова заперхал.

— Удались отсюда, — сказал раздраженный.

— Да все равно он спит...

— Кто он такой? Откуда свалился?

— А я почем знаю?

— Вот досада... Ну просто феноменально не везет.

Опять соседям не спится, подумал я спросонья. Я вообразил, что я дома. Дома у меня в соседях два брата-физика, которые обожают работать ночью. К двум часам пополуночи у них кончаются сигареты, и тогда они забираются ко мне в комнату и начинают шарить, стуча мебелью и переругиваясь.

Я схватил подушку и швырнул в пустоту. Что-то с шумом обрушилось, и стало тихо.

— Подушку верните, — сказал я, — и убирайтесь вон. Сигареты на столе.

Звук собственного голоса разбудил меня окончательно. Я сел. Уныло лаяли собаки, за стеной грозно храпела старуха. Я наконец вспомнил, где нахожусь. В комнате никого не было. В сумеречном свете я увидел на полу свою подушку

и барахло, рухнувшее с вешалки. Бабка голову оторвет, подумал я и вскочил. Пол был холодный, и я переступил на половики. Бабка перестала храпеть. Я замер. Потрескивали половицы, что-то хрустело и шелестело в углах. Бабка оглушительно свистнула и захрапела снова. Я поднял подушку и бросил ее на диван. От рухляди пахло псиной. Вешалка сорвалась с гвоздя и висела боком. Я поправил ее и стал подбирать рухлядь. Едва я повесил последний салоп, как вешалка оборвалась и, шаркнув по обоям, снова повисла на одном гвозде. Бабка перестала храпеть, и я облился холодным потом. Где-то поблизости завопил петух. В суп тебя, подумал я с ненавистью. Старуха за стеной принялась вертеться, скрипели и щелкали пружины. Я ждал, стоя на одной ноге. Во дворе кто-то сказал тихонько: «Спать пора, засиделись мы сегодня с тобой». Голос был молодой, женский. «Спать так спать, — отозвался другой голос. Послышался протяжный зевок. — Плескаться больше не будешь сегодня?» — «Холодно что-то. Давай баиньки». Стало тихо. Бабка зарычала и заворчала, и я осторожно вернулся на диван. Утром встану пораньше и все поправлю как следует...

Я лег на правый бок, натянул одеяло на ухо,

закрыл глаза и вдруг понял, что спать мне совершенно не хочется — хочется есть. Ай-яй-яй, подумал я. Надо было срочно принимать меры, и я их принял.

Вот, скажем, система двух интегральных уравнений типа уравнений звездной статистики; обе неизвестные функции находятся под интегралом. Решать, естественно, можно только численно, скажем, на БЭСМе... Я вспомнил нашу БЭСМ. Панель управления цвета заварного крема. Женя кладет на эту панель газетный сверток и неторопливо его разворачивает. «У тебя что?» — «У меня с сыром и колбасой». С польской полукопченой, кружочками. «Эх ты, жениться надо! У меня котлеты, с чесночком, домашние. И соленый огурчик». Нет, два огурчика... Четыре котлеты и для ровного счета четыре крепких соленых огурчика. И четыре куска хлеба с маслом...

Я откинул одеяло и сел. Может быть, в машине что-нибудь осталось? Нет, все, что там было, я съел. Осталась поваренная книга для Валькиной мамы, которая живет в Лежневе. Как это там... Соус пикан. Полстакана уксусу, две луковицы... и перчик. Подается к мясным блюдам... Как сейчас помню: к маленьким бифштексам. Вот подлость, подумал я, ведь не просто к бифштексам, а к

ма-а-аленьким бифштексам. Я вскочил и подбежал к окну. В ночном воздухе отчетливо пахло ма-а-аленькими бифштексами. Откуда-то из недр подсознания всплыло: «Подавались ему обычные в трактирах блюда, как-то: кислые щи, мозги с горошком, огурец соленый (я глотнул) и вечный слоеный сладкий пирожок...» Отвлечься бы, подумал я и взял книгу с подоконника. Это был Алексей Толстой, «Хмурое утро». Я открыл наугад. «Махно, сломав сардиночный ключ, вытащил из кармана перламутровый ножик с полусотней лезвий и им продолжал орудовать, открывая жестянки с ананасами (плохо дело, подумал я), французским паштетом, с омарами, от которых резко запахло по комнате». Я осторожно положил книгу и сел за стол на табурет. В комнате вдруг обнаружился вкусный резкий запах: должно быть, пахло омарами. Я стал размышлять, почему я до сих пор ни разу не пробовал омаров. Или, скажем, устриц. У Диккенса все едят устриц, орудуют складными ножами, отрезают толстые ломти хлеба, намазывают маслом... Я стал нервно разглаживать скатерть. На скатерти виднелись неотмытые пятна. На ней много и вкусно ели. Ели омаров и мозги с горошком. Ели маленькие бифштексы с соусом пикан. Большие и средние

бифштексы тоже ели. Сыто отдувались, удовлетворенно цыкали зубом... Отдуваться мне было не с чего, и я принялся цыкать зубом.

Наверное, я делал это громко и голодно, потому что старуха за стеной заскрипела кроватью, сердито забормотала, загремела чем-то и вдруг вошла ко мне в комнату. На ней была длинная серая рубаха, а в руках она несла тарелку, и в комнате сейчас же распространился настоящий, а не фантастический аромат еды. Старуха улыбалась. Она поставила тарелку прямо передо мной и сладко пробасила:

— Откушай-ко, батюшка, Александр Иванович. Откушай, чем бог послал, со мной переслал...

— Что вы, что вы, Наина Киевна, — забормотал я, — зачем же было так беспокоить себя...

Но в руке у меня уже откуда-то оказалась вилка с костяной ручкой, и я стал есть, а бабка стояла рядом, кивала и приговаривала:

— Кушай, батюшка, кушай на здоровьице...

Я съел все. Это была горячая картошка с топленым маслом.

— Наина Киевна, — сказал я истово, — вы меня спасли от голодной смерти.

— Поел? — сказала Наина Киевна как-то неприветливо.

— Великолепно поел. Огромное вам спасибо! Вы себе представить не можете...

— Чего уж тут не представить, — перебила она уже совершенно раздраженно. — Поел, говорю? Ну и давай сюда тарелку... Тарелку, говорю, давай!

— По... пожалуйста, — проговорил я.

— «Пожалуйста, пожалуйста»... Корми тут вас за пожалуйста...

— Я могу заплатить, — сказал я, начиная сердиться.

— «Заплатить, заплатить»... — Она пошла к двери. — А ежели за это и не платят вовсе? И нечего врать было...

— То есть как это — врать?

— А так вот и врать! Сам говорил, что цыкать не будешь... — Она замолчала и скрылась за дверью.

Что это она? — подумал я. Странная какая-то бабка... Может быть, она вешалку заметила? Было слышно, как она скрипит пружинами, ворочаясь на кровати и недовольно ворча. Потом она запела негромко на какой-то варварский мотив: «Покатаюся, поваляюся, Ивашкиного мясца поевши...» Из окна потянуло ночным холодом. Я поежился, поднялся, чтобы вернуться на диван, и тут меня

осенило, что дверь я перед сном запирал. В растерянности я подошел к двери и протянул руку, чтобы проверить щеколду, но едва пальцы мои коснулись холодного железа, как все поплыло у меня перед глазами. Оказалось, что я лежу на диване, уткнувшись носом в подушку, и пальцами ощупываю холодное бревно стены.

Некоторое время я лежал, обмирая, пока не осознал, что где-то рядом храпит старуха, а в комнате разговаривают. Кто-то наставительно вещал вполголоса:

— Слон есть самое большое животное из всех живущих на земле. У него на рыле есть большой кусок мяса, который называется хоботом потому, что он пуст и протянут, как труба. Он его вытягивает и сгибает всякими образами и употребляет его вместо руки...

Холодея от любопытства, я осторожно повернулся на правый бок. В комнате было по-прежнему пусто. Голос продолжал еще более наставительно:

— Вино, употребляемое умеренно, весьма хорошо для желудка; но когда пить его слишком много, то производит пары, унижающие человека до степени несмысленных скотов. Вы иногда видели пьяниц и помните еще то справедливое

отвращение, которое вы к ним возымели...

Я рывком поднялся и спустил ноги с дивана. Голос умолк. Мне показалось, что говорили откуда-то из-за стены. В комнате все было по-прежнему, даже вешалка, к моему удивлению, висела на месте. И, к моему удивлению, мне опять очень хотелось есть.

— Тинктура экс витро антимонии, — провозгласил вдруг голос. Я вздрогнул. — Магифтериум антимон ангелий салаэ. Бафилии олеум витри антимонии алекситериум антимониалэ! — Послышалось явственное хихиканье. — Вот ведь бред какой! — сказал голос и продолжал с завыванием: — Вскоре очи сии, еще отверзаемые, не узрят более солнца, но не попусти закрыться оным без благоутробного извещения о моем прощении и блаженстве... Сие есть «Дух или Нравственныя Мысли Славнаго Юнга, извлеченныя из нощных его размышлений». Продается в Санкт-Петербурге и в Риге в книжных лавках Свешникова по два рубля в папке. — Кто-то всхлипнул. — Тоже бредятина, — сказал голос и произнес с выражением:

Чины, краса, богатства,
Сей жизни все приятства,

Летят, слабеют, исчезают,
Се тлен, и щастье ложно!
Заразы сердце угрызают,
А славы удержать не можно...

Теперь я понял, где говорили. Голос раздавался в углу, где висело туманное зеркало.

— А теперь, — сказал голос, — следующее. «Все — единое Я, это Я — мировое Я. Единение с неведением, происходящее от затмения света Я, исчезает с развитием духовности».

— А эта бредятина откуда? — спросил я. Я не ждал ответа. Я был уверен, что сплю.

— Изречения из «Упанишад», — ответил с готовностью голос.

— А что такое «Упанишады»? — Я уже не был уверен, что сплю.

— Не знаю, — сказал голос.

Я встал и на цыпочках подошел к зеркалу. Я не увидел своего отражения. В мутном стекле отражалась занавеска, угол печи и вообще много вещей. Но меня в нем не было.

— В чем дело? — спросил голос. — Есть вопросы?

— Кто это говорит? — спросил я, заглядывая за зеркало. За зеркалом было много пыли и дохлых

пауков. Тогда я указательным пальцем нажал на левый глаз. Это было старинное правило распознавания галлюцинаций, которое я вычитал в увлекательной книге В. В. Битнера «Верить или не верить?». Достаточно надавить пальцем на глазное яблоко, и все реальные предметы — в отличие от галлюцинаций — раздвоятся. Зеркало раздвоилось, и в нем появилось мое отражение — заспанная, встревоженная физиономия. По ногам дуло. Поджимая пальцы, я подошел к окну и выглянул.

За окном никого не было, не было даже дуба. Я протер глаза и снова посмотрел. Я отчетливо видел прямо перед собой замшелый колодезный сруб с воротом, ворота и свою машину у ворот. Все-таки сплю, успокоенно подумал я. Взгляд мой упал на подоконник, на растрепанную книгу. В прошлом сне это был третий том «Хождений по мукам», теперь на обложке я прочитал: «П. И. Карпов. Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники». Постукивая зубами от озноба, я перелистал книжку и просмотрел цветные вклейки. Потом я прочитал «Стих № 2»:

В кругу облаков высоко

Чернокрылый воробей
Трепеща и одиноко
Парит быстро над землей.
Он летит ночной порой,
Лунным светом освещенный,
И, ничем не удрученный,
Все он видит под собой.
Гордый, хищный, разъяренный
И летая, словно тень,
Глаза светятся как день.

Пол вдруг качнулся под моими ногами. Раздался пронзительный протяжный скрип, затем, подобно гулу далекого землетрясения, раздалось рокочущее: «Ко-о... Ко-о... Ко-о...» Изба заколебалась, как лодка на волнах. Двор за окном сдвинулся в сторону, а из-под окна вылезла и вонзилась когтями в землю исполинская куриная нога, провела в траве глубокие борозды и снова скрылась. Пол круто накренился, я почувствовал, что падаю, схватился руками за что-то мягкое, стукнулся боком и головой и свалился с дивана. Я лежал на половиках, вцепившись в подушку, упавшую вместе со мной. В комнате было совсем светло. За окном кто-то обстоятельно откашли-

вался.

— Ну-с, так... — сказал хорошо поставленный мужской голос. — В некотором было царстве, в некотором государстве жил-был царь, по имени... мнэ-э... ну, в конце концов, неважно. Скажем, мнэ-э... Полуэкт... У него было три сына-царевича. Первый... мнэ-э-э... Третий был дурак, а вот первый?..

Пригибаясь, как солдат под обстрелом, я подобрался к окну и выглянул. Дуб был на месте. Спиною к нему стоял в глубокой задумчивости на задних лапах кот Василий. В зубах у него был зажат цветок кувшинки. Кот смотрел себе под ноги и тянул: «Мнэ-э-э...» Потом он тряхнул головой, заложил передние лапы за спину и, слегка сутулясь, как доцент Дубино-Княжицкий на лекции, плавным шагом пошел в сторону от дуба.

— Хорошо... — говорил кот сквозь зубы. — Бывали-живали царь да царица. У царя, у царицы был один сын... Мнэ-э... Дурак, естественно...

Кот с досадой выплюнул цветок и, весь сморщившись, потер лоб.

— Отчаянное положение, — проговорил он. — Ведь кое-что помню! «Ха-ха-ха! Будет чем полакомиться: конь — на обед, молодец — на ужин...» Откуда бы это? А Иван, сами понимаете — дурак,

отвечает: «Эх ты, поганое чудище, не уловивши бела лебедя, да кушаешь!» Потом, естественно — каленая стрела, все три головы долой, Иван вынимает три сердца и привозит, кретин, домой матери... Каков подарочек! — Кот сардонически засмеялся, потом вздохнул. — Есть еще такая болезнь — склероз, — сообщил он.

Он снова вздохнул, повернул обратно к дубу и запел: «Кря-кря, мои деточки! Кря-кря, голубяточки! Я... мнэ-э... я слезой вас отпаивала... вернее — выпаивала...» Он в третий раз вздохнул и некоторое время шел молча. Поравнявшись с дубом, он вдруг немузыкально заорал: «Сладок кус не доедала!..»

В лапах у него вдруг оказались массивные гусли — я даже не заметил, где он их взял. Он отчаянно ударил по ним лапой и, цепляясь когтями за струны, заорал еще громче, словно бы стараясь заглушить музыку:

Дасс им таннвальд финстер ист,

Дас махт дас хольтс,

Дас... мнэ-э... майн шатц... или катц?..

Он замолк и некоторое время шагал, молча стуча по струнам. Потом тихонько, неуверенно запел:

Ой, бував я в тим садочку,
Та скажу вам всю правдочку:
Ото так
Копають мак.

Он вернулся к дубу, прислонил к нему гусли и почесал задней ногой за ухом.

— Труд, труд и труд, — сказал он. — Только труд!

Он снова заложил лапы за спину и пошел влево от дуба, бормоча:

— Дошло до меня, о великий царь, что в славном городе Багдаде жил-был портной, по имени... — Он встал на четвереньки, выгнул спину и злобно зашипел. — Вот с этими именами у меня особенно отвратительно! Абу... Али... Кто-то ибн чей-то... Н-ну хорошо, скажем, Полуэкт. Полуэкт ибн... мнэ-э... Полуэктович... Все равно не помню, что было с этим портным. Ну и пес с ним, начнем другую...

Я лежал животом на подоконнике и, млея, смотрел, как злосчастный Василий бродит около дуба то вправо, то влево, бормочет, откашливается, подвывает, мычит, становится от напряжения на четвереньки — словом, мучается несказанно. Диапазон знаний его был грандиозен. Ни одной

сказки и ни одной песни он не знал больше чем наполовину, но зато это были русские, украинские, западнославянские, немецкие, английские, по-моему, даже японские, китайские и африканские сказки, легенды, притчи, баллады, песни, романсы, частушки и припевки. Склероз приводил его в бешенство, несколько раз он бросался на ствол дуба и драл кору когтями, он шипел и плевался, и глаза его при этом горели, как у дьявола, а пушистый хвост, толстый, как полено, то смотрел в зенит, то судорожно подергивался, то хлестал его по бокам. Но единственной песенкой, которую он допел до конца, был «Чижик-пыжик», а единственной сказочкой, которую он связно рассказал, был «Дом, который построил Джек» в переводе Маршака, да и то с некоторыми купюрами. Постепенно — видимо, от утомления — речь его обретала все более явственный кошачий акцент. «А в поли, поли, — пел он, — сам плужок ходэ, а... мнэ-э... а... мнэ-а-а-у!.. а за тым плужком сам... мья-а-у-а-у!.. Сам господь ходэ... Или бродэ?..» В конце концов он совершенно изнемог, сел на хвост и некоторое время сидел так, понурив голову. Потом тихо, тоскливо мяукнул, взял гусли под мышку и на трех ногах медленно уковылял по росистой траве.

Я слез с подоконника и уронил книгу. Я отчетливо помнил, что в последний раз это было «Творчество душевнобольных», я был уверен, что на пол упала именно эта книга. Но подобрал я и положил на подоконник «Раскрытие преступлений» А. Свенсона и О. Венделя. Я тупо раскрыл ее, пробежал наудачу несколько абзацев, и мне сейчас же почудилось, что на дубе висит удавленник. Я опасливо поднял глаза. С нижней ветки дуба свешивался мокрый серебристо-зеленый акулий хвост. Хвост тяжело покачивался под порывами утреннего ветерка.

Я шарахнулся и стукнулся затылком о твердое. Громко зазвонил телефон. Я огляделся. Я лежал поперек дивана, одеяло сползло с меня на пол, в окно сквозь листву дуба било утреннее солнце.

Глава третья

Мне пришло в голову, что обычное интервью с дьяволом или волшебником можно с успехом заменить искусным использованием положений науки.

Г. Дж. Уэллс

Телефон звонил. Я протер глаза, посмотрел в

окно (дуб был на месте), посмотрел на вешалку (вешалка тоже была на месте). Телефон звонил. За стеной в комнате у старухи было тихо. Тогда я соскочил на пол, отворил дверь (щеколда была на месте) и вышел в прихожую. Телефон звонил. Он стоял на полочке над большой кадушкой — очень современный аппарат белой пластмассы, такие я видел только в кино и в кабинете нашего директора. Я взял трубку.

— Алло...

— Это кто? — спросил пронзительный женский голос.

— А кого вам надо?

— Это Изнакурнож?

— Что?

— Я говорю, это изба на курногах или нет? Кто говорит?

— Да, — сказал я. — Изба. Кого вам нужно?

— О дьявол, — сказал женский голос. — Примите телефонограмму.

— Давайте.

— Записывайте.

— Одну минутку, — сказал я. — Возьму карандаш и бумагу.

— О дьявол, — сказал женский голос.

Я принес записную книжку и цанговый ка-

рандаш.

— Слушаю вас.

— Телефонограмма номер двести шесть, — сказал женский голос. — Гражданке Горыныч Наине Киевне...

— Не так быстро... Киевне... Дальше?

— «Настоящим... предлагается вам... прибыть сегодня... двадцать седьмого июля... сего года... в полночь... на ежегодный республиканский слет...» Записали?

— Записал.

— «Первая встреча... состоится... на Лысой Горе. Форма одежды парадная. Пользование механическим транспортом... за свой счет. Подпись... начальник канцелярии... Ха... Эм... Вий».

— Кто?

— Вий! Ха Эм Вий.

— Не понимаю.

— Вий! Хрон Монадович! Вы что, начальника канцелярии не знаете?

— Не знаю, — сказал я. — Говорите по буквам.

— Дьявольщина! Хорошо, по буквам: Вервольф — Инкуб — Ибикус краткий... Записали?

— Кажется записал, — сказал я. — Получилось — Вий.

— Кто?

— Вий!

— У вас что, полипы? Не понимаю!

— Владимир! Иван! Иван краткий!

— Так. Повторите телефонограмму.

Я повторил.

— Правильно. Передала Онучкина. Кто принял?

— Привалов.

— С приветом, Привалов! Давно служишь?

— Собачки служат, — сердито сказал я. — Я работаю.

— Ну-ну, работай. На слете встретимся.

Раздались гудки. Я повесил трубку и вернулся в комнату. Утро было прохладное, я торопливо сделал зарядку и оделся. Происходящее казалось мне чрезвычайно любопытным. Телефонограмма странно ассоциировалась в моем сознании с ночными событиями, хотя я и представления не имел, каким образом. Впрочем, кое-какие идеи уже приходили мне в голову, и воображение мое было возбуждено.

Все, чему мне случилось быть здесь свидетелем, не было мне совершенно незнакомым, о подобных случаях я где-то что-то читал и теперь вспомнил, что поведение людей, попадавших в аналогичные обстоятельства, всегда представля-

лось мне необычайно, раздражающе нелепым. Вместо того чтобы полностью использовать увлекательные перспективы, открывшиеся для них счастливым случаем, они пугались, старались вернуться в обыденное. Какой-то герой даже заклинал читателей держаться подальше от завесы, отделяющей наш мир от неведомого, пугая духовными и физическими увечьями. Я еще не знал, как развернутся события, но уже был готов с энтузиазмом окунуться в них.

Бродя по комнате в поисках ковша или кружки, я продолжал рассуждать. Эти пугливые люди, думал я, похожи на некоторых ученых-экспериментаторов, очень упорных, очень трудолюбивых, но начисто лишенных воображения и поэтому очень осторожных. Получив нетривиальный результат, они шарахаются от него, поспешно объясняют его нечистотой эксперимента и фактически уходят от нового, потому что слишком сжились со старым, уютно уложенным в пределы авторитетной теории... Я уже обдумывал кое-какие эксперименты с книгой-перевертышем (она по-прежнему лежала на подоконнике и была теперь «Последним изгнанником» Олдриджа), с говорящим зеркалом и с цыканьем. У меня было несколько вопросов к коту Василию, да и

русалка, живущая на дубе, представляла определенный интерес, хотя временами мне казалось, что она-то мне все-таки приснилась. Я ничего не имею против русалок, но не представляю себе, как они могут лазить по деревьям... хотя, с другой стороны, чешуя?..

Ковшик я нашел на кадушке под телефоном, но воды в кадушке не оказалось, и я направился к колодцу. Солнце поднялось уже довольно высоко. Где-то гудели машины, послышался милицейский свисток, в небе с солидным гулом проплыл вертолет. Я подошел к колодцу и, с удовлетворением обнаружив на цепи мятую жестяную бадью, стал раскручивать ворот. Бадья, постукивая о стены, пошла в черную глубину. Раздался плеск, цепь натянулась. Я крутил ворот и смотрел на свой «Москвич». У машины был усталый, запыленный вид, ветровое стекло было заляпано разбившейся о него вдребезги мошкарой. Надо будет воды долить в радиатор, подумал я. И вообще...

Бадья показалась мне очень тяжелой. Когда я поставил ее на сруб, из воды высунулась огромная щучья голова, зеленая и вся какая-то замшелая. Я отскочил.

— Опять на рынок поволочешь? — сильно окая,

сказала щука. Я ошарашенно молчал. — Дай же ты мне покоя, ненасытная! Сколько можно?.. Чуть успокоюсь, приткнусь отдохнуть да подремать — ташшит! Я ведь не молодая уже, постарше тебя буду... жабры тоже не в порядке...

Было очень странно смотреть, как она говорит. Совершенно как щука в кукольном театре, она вовсю открывала и закрывала зубастую пасть в неприятном несоответствии с произносимыми звуками. Последнюю фразу она произнесла, судорожно сжав челюсти.

— И воздух мне вреден, — продолжала она. — Вот подохну, что будешь делать? Все скупость твоя, бабья да дурья... Все копишь, а для чего копишь — сама не знаешь... На последней реформе-та как погорела, а? То-то! А екатериновками? Сундуки оклеивала! А керенками-та, керенками! Ведь печку топила керенками...

— Видите ли, — сказал я, немного оправившись.

— Ой, кто это? — испугалась щука.

— Я... Я здесь случайно... Я намеревался слегка помыться.

— Помыться! А я думала — опять старуха. Не вижу я: старая. Да и коэффициент преломления в воздухе, говорят, совсем другой. Воздушные очки

было себе заказала, да потеряла, не найду... А кто ж ты будешь?

— Турист, — коротко сказал я.

— Ах, турист... А я думала — опять бабка. Ведь что она со мной делает! Поймает меня, волочит на рынок и там продает, якобы на уху. Ну что мне остается? Конечно, говоришь покупателю: так и так, отпусти меня к малым детушкам — хотя какие у меня там малые детушки — не детушки уже, которые живы, а дедушки. Ты меня отпустишь, а я тебе послужу, скажи только «по щучьему велению, по моему, мол, хотению». Ну и отпускают. Одни со страху, другие по доброте, а которые и по жадности... Вот поплаваешь в реке, поплаваешь — холодно, ревматизм, заберешься обратно в колодезь, а старуха с бадьей опять тут как тут... — Щука спряталась в воду, побулькала и снова высунулась. — Ну что просить-то будешь, служивый? Только попроще чего, а то просят телевизоры какие-то, транзисторы... Один совсем обалдел: «Выполни, говорит, за меня годовой план на лесопилке». Года мои не те — дрова пилить...

— Ага, — сказал я. — А телевизор вы, значит, все-таки можете?

— Нет, — честно призналась щука. — Телеви-

зор не могу. И этот... комбайн с проигрывателем тоже не могу. Не верю я в них. Ты чего-нибудь попроще. Сапоги, скажем, скороходы или шапку-невидимку... А?

Возникшая было у меня надежда отвертеться сегодня от смазки «Москвича» погасла.

— Да вы не беспокойтесь, — сказал я. — Мне ничего, в общем, не надо. Я вас сейчас отпущу.

— И хорошо, — спокойно сказала щука. — Люблю таких людей. Давеча вот тоже... Купил меня на рынке какой-то, пообещала я ему царскую дочь. Плыву по реке, стыдно, конечно, глаза девать некуда. Ну ослепу и въехала в сети. Ташшат. Опять, думаю, врать придется. А он что делает? Он меня хватает поперек зубов, так что рот не открыть. Ну, думаю, конец, сварят. Ан нет. Защемляет он мне чем-то плавник и бросает обратно в реку. Во! — Щука высунулась из бадьи и выставила плавник, схваченный у основания металлическим зажимом. На зажиме я прочитал: «Запущен сей экземпляр в Солове-реке 1854 года. Доставить в Е. И. В. Академию наук, СПБ». — Старухе не говори, — предупредила щука. — С плавником оторвет. Жадная она, скупая.

«Что бы у нее спросить?» — лихорадочно думал я.

— Как вы делаете ваши чудеса?

— Какие такие чудеса?

— Ну... исполнение желаний...

— Ах, это? Как делаю... Обучена сызмальства, вот и делаю. Откуда я знаю, как я делаю... Золотая Рыбка вот еще лучше делала, а все одно померла. От судьбы не уйдешь.

Мне показалось, что щука вздохнула.

— От старости? — спросил я.

— Какое там от старости! Молодая была, крепкая... Бросили в нее, служивый, глубинную бомбу. И ее вверх брюхом пустили, и корабль какой-то подводный рядом случился, тоже потонул. Она бы и откупилась, да ведь не спросили ее, увидели и сразу бомбой... Вот ведь как оно бывает. — Она помолчала. — Так отпускаешь меня или как? Душно что-то, гроза будет...

— Конечно, конечно, — сказал я, встрепенувшись. — Вас как — бросить или в бадье?..

— Бросай, служивый, бросай.

Я осторожно запустил руки в бадью и извлек щуку — было в ней килограммов восемь. Щука бормотала: «Ну, а ежели там скатерть-самобранку или, допустим, ковер-самолет, то я здесь буду... За мной не пропадет...» — «До свидания», — сказал я и разжал руки. Раздался шумный плеск.

Некоторое время я стоял, глядя на свои ладони, испачканные зеленью. У меня было какое-то странное ощущение. Временами, как порыв ветра, налетало сознание, что я сижу в комнате на диване, но стоило тряхнуть головой, и я снова оказывался у колодца. Потом это прошло. Я умылся отличной ледяной водой, залил радиатор и побрился. Старуха все не показывалась. Хотелось есть, и надо было идти в город к почтамту, где меня уже, может быть, ждали ребята. Я запер машину и вышел за ворота.

Я неторопливо шел по улице Лукоморье, засунув руки в карманы серой гэдээровской курточки и глядя себе под ноги. В заднем кармане моих любимых джинсов, исполосованных «молниями», брякали старухины медяки. Я размышлял. Тощие брошюрки общества «Знание» приучили меня к мысли, что разговаривать животные не способны. Сказки с детства убеждали в обратном. Согласен я был, конечно, с брошюрками, потому что никогда в жизни не видел говорящих животных. Даже попугаев. Я знавал одного попугая, который мог рычать, как тигр, но по-человечески он не умел. И вот теперь — щука, кот Василий и даже зеркало. Впрочем, неодушевленные предметы как раз разговаривают часто. И, между

прочим, это соображение никогда не пришло бы в голову, скажем, моему прадеду. С его, прадеда, точки зрения, говорящий кот — вещь куда менее фантастическая, нежели деревянный полированный ящик, который хрипит, воет, музицирует и говорит на многих языках. С котом тоже более или менее ясно. А вот как разговаривает щука? У щуки нет легких. Это верно. Правда, у нее должен быть плавательный пузырь, функция коего, как мне известно, ихтиологам еще не окончательно ясна. Мой знакомый ихтиолог Женька Скоромахов полагает даже, что эта функция неясна совершенно, и, когда я пытаюсь аргументировать доводами из брошюрок общества «Знание», Женька рычит и плюется. Совершенно утрачивает присущий ему дар человеческой речи... У меня такое впечатление, что о возможностях животных мы знаем пока еще очень мало. Только недавно выяснилось, что рыбы и морские животные обмениваются под водой сигналами. Очень интересно пишут о дельфинах. Или, скажем, обезьяна Рафаил. Это я сам видел. Разговаривать она, правда, не умеет, но зато у нее выработали рефлекс: зеленый свет — банан, красный свет — электрический шок. И все было хорошо до тех пор, пока не включили красный и зеленый свет

одновременно. Тогда Рафаил повел себя так же, как Женька, например. Он страшно обиделся. Он кинулся к окошечку, за которым сидел экспериментатор, и принялся, визжа и рыча, плеваться в это окошечко. И вообще есть анекдот — одна обезьяна говорит другой: «Знаешь, что такое условный рефлекс? Это когда зазвонит звонок, и все эти квазиобезьяны в белых халатах побегут к нам с бананами и конфетами». Конечно, все это чрезвычайно непросто. Терминология не разработана. Когда в этих условиях пытаешься решать вопросы, связанные с психикой и потенциальными возможностями животных, чувствуешь себя совершенно бессильным. Но, с другой стороны, когда тебе дают, скажем, ту же систему интегральных уравнений типа звездной статистики с неизвестными функциями под интегралом, то самочувствие не лучше. А поэтому главное — думать. Как Паскаль: «Будем же учиться хорошо мыслить — вот основной принцип морали».

Я вышел на проспект Мира и остановился, привлеченный необычным зрелищем. По мостовой шел человек с детскими флажками в руках. За ним, шагах в десяти, с натужным ревом медленно полз большой белый «МАЗ» с гигантским дымящимся прицепом в виде серебристой цистерны.

На цистерне было написано «огнеопасно», справа и слева от нее так же медленно катились красные пожарные «газики», ощетиненные огнетушителями. Время от времени в ровный рев двигателя вмешивался какой-то новый звук, неприятно леденивший сердце, и тогда из люков цистерны вырывались желтые языки пламени. Лица пожарных под нахлобученными касками были мужественны и суровы. Вокруг кавалькады тучей носились ребятишки. Они пронзительно вопили: «Тилили-тилили, а дракона повезли!» Взрослые прохожие опасливо жались к заборам. На их лицах было написано явственное желание уберечь одежду от возможных повреждений.

— Повезли родимого, — произнес у меня над ухом знакомый скрипучий бас.

Я обернулся. Позади стояла, пригорюнившись, Наина Киевна с кошелкой, наполненной синими пакетами сахарного песку.

— Повезли, — повторила она. — Каждую пятницу возят...

— Куда? — спросил я.

— На полигон, батюшка. Все экспериментируют... Делать им больше нечего.

— А кого повезли, Наина Киевна?

— То есть как это — кого? Сам не видишь, что

ли?..

Она повернулась и пошла прочь, но я догнал ее.

— Наина Киевна, вам тут телефонограмму передали.

— Это от кого же?

— От Ха Эм Вия.

— А насчет чего?

— У вас слет какой-то сегодня, — сказал я, пристально глядя на нее. — На Лысой Горе. Форма одежды — парадная.

Старуха явно обрадовалась.

— Вправду? — сказала она. — Вот хорошо-то!.. А где телефонограмма?

— В прихожей на телефоне.

— А насчет членских взносов там ничего не говорится? — спросила она, понизив голос.

— В каком смысле?

— Ну, что, мол, надлежит погасить задолженность с одна тысяча семьсот... — Она замолчала.

— Нет, — сказал я. — Ничего такого не говорилось.

— Ну и хорошо. А с транспортом как? Машину подадут или что?

— Дайте я вам кошелку поднесу, — предложил я.

Старуха отпрянула.

— Это тебе зачем? — спросила она подозрительно. — Ты это оставь — не люблю... Кошелку ему!.. Молодой, да, видно, из ранних...

Не люблю старух, подумал я.

— Так как же с транспортом? — повторила она.

— За свой счет, — сказал я злорадно.

— Ах, скопидомы! — застонала старуха. — Метлу в музей забрали, ступу не ремонтируют, взносы дерут по пять рубликов на ассигнации, а на Лысую Гору за свой счет! Счет-то не малый, батюшка, да пока такси ждет...

Бормоча и кашляя, она отвернулась от меня и пошла прочь. Я потер руки и тоже пошел своей дорогой. Мои предположения оправдывались. Узел удивительных происшествий затягивался все туже. И стыдно признаться, но это казалось мне сейчас более интересным, чем даже моделирование рефлекторной дуги.

На проспекте Мира было уже пусто. У перекрестка крутилась стая ребятишек — играли, по-моему, в чижа. Увидев меня, они бросили игру и стали приближаться. Предчувствуя недоброе, я торопливо миновал их и двинулся к центру. За моей спиной раздался сдавленный восторженный возглас: «Стиляга!» Я ускорил шаг. «Стиляга!»

— завопили сразу несколько голосов. Я почти побежал. Позади визжали: «Стиля-ага! Тонконогий! Папина «Победа»!..» Прохожие смотрели на меня сочувственно. В таких ситуациях лучше всего куда-нибудь нырнуть. Я нырнул в ближайший магазин, оказавшийся гастрономом, походил вдоль прилавков, убедился в том, что сахар есть, выбор колбас и конфет не богат, но зато выбор так называемых рыбных изделий превосходит все ожидания. Там была такая семга и такой лосось!.. Я выпил стакан газированной воды и выглянул на улицу. Мальчишек не было. Тогда я вышел из магазина и двинулся дальше. Скоро лабазы и бревенчатые избы-редуты кончились, пошли современные двухэтажные дома с открытыми скверами. В скверах копошились младенцы, пожилые женщины вязали что-то теплое, а пожилые мужчины резались в домино.

В центре города оказалась обширная площадь, окруженная двух- и трехэтажными зданиями. Площадь была асфальтирована, посередине зеленел садик. Над зеленью возвышался большой красный щит с надписью «Доска почета» и несколько щитов поменьше со схемами и диаграммами. Почтамт я обнаружил здесь же, на площади. Мы договорились с ребятами, что

первый, кто прибудет в город, оставит до востребования записку со своими координатами. Записки не было, и я оставил письмо, в котором сообщил свой адрес и объяснил, как дойти до избы на курногах. Затем я решил позавтракать.

Обойдя площадь, я обнаружил: кинотеатр, где шла «Козара»; книжный магазин, закрытый на переучет; горсовет, перед которым стояло несколько основательно пропыленных «газиков»; гостиницу «Студеное море» — как обычно, без свободных мест; два киоска с газированной водой и мороженым; магазин (промтоварный) № 2 и магазин (хозтоваров) № 18; столовую № 11, открывающуюся с двенадцати часов, и буфет № 3, закрытый без объяснений. Потом я обнаружил городское отделение милиции, возле открытых дверей которого побеседовал с очень юным милиционером в чине сержанта, объяснившим мне, где находится бензоколонка и какова дорога до Лежнева. «А где же ваша машина?» — осведомился милиционер, озирая площадь. «У знакомых», — ответил я. «Ах, у знакомых...» — сказал милиционер значительно. По-моему, он взял меня на заметку. Я робко откланялся.

Рядом с трехэтажной громадой «Солрыбснабпромпотребсоюза ФЦУ» я, наконец, нашел

маленькую опрятную чайную № 16/27. В чайной было хорошо. Народу было не очень много, пили действительно чай и разговаривали о вещах понятных: что под Коробцом завалился, наконец, мостик и ехать теперь приходится вброд; что пост ГАИ уже неделю как с пятнадцатого километра убрали; что «искра — зверь, слона убьет, а ни шиша не схватывает...» Пахло бензином и жареной рыбой. Не занятые разговорами люди пристально разглядывали мои джинсы, и я радовался, что сзади у меня имеет место профессиональное пятно — позавчера я очень удачно сел на шприц с солидолом.

Я взял себе полную тарелку жареной рыбы, три стакана чаю и три бутерброда с балыком, расплатился кучей старухиных медяков («На паперти стоял...» — проворчала буфетчица), устроился в укромном углу и принялся за еду, с удовольствием наблюдая за этими хриплоголосыми, прокуренными людьми. Приятно было смотреть, какие они загорелые, независимые, жилистые, все повидавшие, как они с аппетитом едят, с аппетитом курят, с аппетитом рассказывают. Они до последней капли использовали передышку перед долгими часами тряской скучной дороги, раскаленной духоты кабины, пыли и солнца. Если бы

я не был программистом, я бы обязательно стал шофером и уж работал бы не на плюгавенькой легковушке, и не на автобусе даже, а на каком-нибудь грузовом чудовище, чтобы в кабину надо было забираться по лестнице, а колесо чтобы менять с помощью небольшого подъемного крана.

За соседним столиком сидели два молодых человека, не похожих на шоферов, и поэтому сначала я на них внимания не обратил. Так же, впрочем, как и они на меня. Но когда я допивал второй стакан чаю, до меня долетело слово «диван». Затем кто-то из них произнес: «...А тогда непонятно, зачем она вообще существует, эта Изнакурнож...» — и я стал слушать. К сожалению, говорили они негромко, да и сидел я к ним спиной, так что слышно было плохо. Но голоса показались мне знакомыми: «...никаких тезисов... только диван...», «...такому волосатому?..», «...диван... шестнадцатая степень...», «...при трансгрессии только четырнадцать порядков...», «...легче смоделировать транслятор...», «...мало ли кто хихикает!..», «...бритву подарю...», «...не можем без дивана...». Тут один из них заперхал, да так знакомо, что я сразу вспомнил сегодняшнюю ночь и обернулся, но они уже шли к выходу — два здоровенных парня с крутыми плечами и

спортивными затылками. Некоторое время я еще видел их в окно, они перешли площадь, обогнули садик и скрылись за диаграммами. Я допил чай, доел бутерброды и тоже вышел. Диван их, видите ли, волнует, думал я. Русалка их не волнует. Говорящий кот их не интересует. А без дивана они, видите ли, не могут... Я попытался вспомнить, какой же у меня там диван, но ничего особенного вспомнить не мог. Диван как диван. Хороший диван. Удобный. Только странная действительность на нем снится.

Теперь хорошо было бы вернуться домой и заняться всеми этими диванными делами вплотную. Поэкспериментировать с книгой-перевертышем, поговорить с котом Василием начистоту и посмотреть, нет ли в избе на куриных ногах еще чего-нибудь интересного. Но дома меня ждал мой «Москвич» и необходимость делать как ЕУ, так и ТО. С ЕУ еще можно было примириться, это всего-навсего Ежедневный Уход, всякое там вытряхивание ковриков и обмыв кузова струей воды под давлением, каковой обмыв, впрочем, можно заменить при нужде поливанием из садовой лейки или ведра. Но вот ТО... Чистоплотному человеку в жаркий день страшно подумать о ТО. Потому что ТО есть не что иное, как Техническое

Обслуживание, а техническое обслуживание состоит в том, что я лежу под автомобилем с масляным шприцем в руках и постепенно переношу содержимое шприца как в колпачковые масленки, так и себе на физиономию. Под автомобилем жарко и душно, а днище его, покрытое толстым слоем засохшей грязи... Короче говоря, мне не очень хотелось домой.

Глава четвертая

Кто позволил себе эту дьявольскую шутку? Схватить его и сорвать с него маску, чтобы мы знали, кого нам поутру повесить на крепостной стене!

Э. А. По

Я купил позавчерашнюю «Правду», выпил газированной воды и устроился на скамье в садике, в тени Доски почета. Было одиннадцать часов. Я внимательно просмотрел газету. На это ушло семь минут. Тогда я прочитал статью о гидропонике, фельетон о хапугах из Канска и большое письмо рабочих химического завода в редакцию. Это заняло всего-навсего двадцать две минуты. Не сходить ли в кино, подумал я. Но «Козару»

я уже видел — один раз в кино и один раз по телевизору. Тогда я решил попить воды, сложил газету и встал. Из всей старухиной меди в кармане у меня остался всего один пятак. Пропью, решил я, выпил воды с сиропом, получил копейку сдачи и купил в соседнем ларьке коробок спичек. Больше делать мне в центре города было решительно нечего. И я пошел куда глаза глядят — в неширокую улицу между магазином № 2 и столовой № 11.

Прохожих на улице почти не было. Меня обогнал большой пыльный грузовик с грохочущим трейлером. Шофер, высунув в окно локоть и голову, устало смотрел на булыжную мостовую. Улица, понижаясь, круто заворачивала направо, у поворота рядом с тротуаром торчал из земли ствол старинной чугунной пушки, дуло ее было забито землей и окурками. Вскоре улица кончилась обрывом к реке. Я посидел на краю обрыва и полюбовался пейзажем, затем перешел на другую сторону и побрел обратно.

Интересно, куда девался тот грузовик? — подумал вдруг я. Спуска с обрыва не было. Я стал оглядываться, ища ворота по сторонам улицы, и тут обнаружил небольшой, но очень странный дом, стиснутый между двумя угрюмыми кирпич-

ными лабазами. Окна нижнего этажа его были забраны железными прутьями и до половины замазаны мелом. Дверей же в доме вообще не было. Я заметил это сразу потому, что вывеска, которую обычно помещают рядом с воротами или рядом с подъездом, висела здесь прямо между двумя окнами. На вывеске было написано: «АН СССР НИИЧАВО». Я отошел на середину улицы: да, два этажа по десяти окон и ни одной двери. А справа и слева, вплотную, лабазы. НИИЧАВО, подумал я. Научно-исследовательский институт... Чаво? В смысле — чего? Чрезвычайно Автоматизированной Вооруженной Охраны? Черных Ассоциаций Восточной Океании? Изба на курногах, подумал я, — музей этого самого НИИЧАВО. Мои попутчики, наверное, тоже отсюда. И те, в чайной, тоже... С крыши здания поднялась стая ворон и с карканьем закружилась над улицей. Я повернулся и пошел назад, на площадь.

Все мы наивные материалисты, думал я. И все мы рационалисты. Мы хотим, чтобы все было немедленно объяснено рационалистически, то есть сведено к горсточке уже известных фактов. И ни у кого из нас ни на грош диалектики. Никому в голову не приходит, что между известными фактами и каким-то новым явлением может лежать

море неизвестного, и тогда мы объявляем новое явление сверхъестественным и, следовательно, невозможным. Вот, например, как бы мэтр Монтескье принял сообщение об оживлении мертвеца через сорок пять минут после зарегистрированной остановки сердца? В штыки бы, наверное, принял. Так сказать, в багинеты. Объявил бы это обскурантизмом и поповщиной. Если бы вообще не отмахнулся от такого сообщения. А если бы это случилось у него на глазах, то он оказался бы в необычайно затруднительном положении. Как я сейчас, только я привычнее. А ему пришлось бы либо счесть это воскрешение жульничеством, либо отречься от собственных ощущений, либо даже отречься от материализма. Скорее всего, он счел бы воскрешение жульничеством. Но до конца жизни воспоминание об этом ловком фокусе раздражало бы его мысль, подобно соринке в глазу... Но мы-то дети другого века. Мы всякое повидали: и живую голову собаки, пришитую к спине другой живой собаки; и искусственную почку величиной со шкаф; и мертвую железную руку, управляемую живыми нервами; и людей, которые могут небрежно заметить: «Это было уже после того, как я скончался в первый раз...» Да, в наше время у Монтескье было бы не много

шансов остаться материалистом. А мы вот остаемся, и ничего! Правда, иногда бывает трудно — когда случайный ветер вдруг доносит до нас через океан неизвестного странные лепестки с необозримых материков непознанного. И особенно часто так бывает, когда находишь не то, что ищешь. Вот скоро в зоологических музеях появятся удивительные животные, первые животные с Марса или Венеры. Да, конечно, мы будем глазеть на них и хлопать себя по бедрам, но ведь мы давно уже ждем этих животных, мы отлично подготовлены к их появлению. Гораздо более мы были бы поражены и разочарованы, если бы этих животных не оказалось или они оказались бы похожими на наших кошек и собак. Как правило, наука, в которую мы верим (и зачастую слепо), заранее и задолго готовит нас к грядущим чудесам, и психологический шок возникает у нас только тогда, когда мы сталкиваемся с непредсказанным, — какая-нибудь дыра в четвертое измерение, или биологическая радиосвязь, или живая планета... Или, скажем, изба на куриных ногах... А ведь прав был горбоносый Роман: здесь у них очень, очень и очень интересно...

Я вышел на площадь и остановился перед киоском с газированной водой. Я точно помнил, что

мелочи у меня нет, и знал, что придется разменивать бумажку, и уже готовил заискивающую улыбку, потому что продавщицы газированной воды терпеть не могут менять бумажные деньги, как вдруг обнаружил в кармане джинсов пятак. Я удивился и обрадовался, но обрадовался больше. Я выпил газированной воды с сиропом, получил мокрую копейку сдачи и поговорил с продавщицей о погоде. Потом я решительно направился домой, чтобы скорее покончить с ЕУ и ТО и заняться рационал-диалектическими объяснениями. Копейку я сунул в карман и остановился, обнаружив, что в том же кармане имеется еще один пятак. Я вынул его и осмотрел. Пятак был слегка влажный, на нем было написано «5 копеек 1961», и цифра «6» была замята неглубокой выщерблинкой. Может быть, я даже тогда не обратил бы внимания на это маленькое происшествие, если бы не то самое мгновенное ощущение, уже знакомое мне, — будто я одновременно стою на проспекте Мира и сижу на диване, тупо разглядывая вешалку. И так же, как раньше, когда я тряхнул головой, ощущение исчезло.

Некоторое время я еще медленно шел, рассеянно подбрасывая и ловя пятак (он падал на ладонь все время «решкой»), и пытался сосредоточить-

ся. Потом я увидел гастроном, в котором утром спасался от мальчишек, и вошел туда. Держа пятак двумя пальцами, я направился прямо к прилавку, где торговали соками и водой, и без всякого удовольствия выпил стакан без сиропа. Затем, зажав сдачу в кулаке, я отошел в сторонку и проверил карман.

Это был тот самый случай, когда психологического шока не происходит. Скорее я удивился бы, если бы пятака в кармане не оказалось. Но он был там — влажный, 1961 года, с выщерблинкой на цифре «6». Меня подтолкнули и спросили, не сплю ли я. Оказывается, я стоял в очереди в кассу. Я сказал, что не сплю, и выбил чек на три коробка спичек. Встав в очередь за спичками, я обнаружил, что пятак находится в кармане. Я был совершенно спокоен. Получив три коробка, я вышел из магазина, вернулся на площадь и принялся экспериментировать.

Эксперимент занял у меня около часа. За этот час я десять раз обошел площадь кругом, разбух от воды, спичечных коробков и газет, перезнакомился со всеми продавцами и продавщицами и пришел к ряду интересных выводов. Пятак возвращается, если им платить. Если его просто бросить, обронить, потерять, он останется там,

где упал. Пятак возвращается в карман в тот момент, когда сдача из рук продавца переходит в руки покупателя. Если при этом держать руку в одном кармане, пятак появляется в другом. В кармане, застегнутом на «молнию», он не появляется никогда. Если держать руки в обоих карманах и принимать сдачу локтем, то пятак может появиться где угодно на теле (в моем случае он обнаружился в ботинке). Исчезновение пятака из тарелочки с медью на прилавке заметить не удается: среди прочей меди пятак сейчас же теряется, и никакого движения в тарелочке в момент перехода пятака в карман не происходит.

Итак, мы имели дело с так называемым неразменным пятаком в процессе его функционирования. Сам по себе факт неразменности не очень заинтересовал меня. Воображение мое было потрясено прежде всего возможностью внепространственного перемещения материального тела. Мне было совершенно ясно, что таинственный переход пятака от продавца к покупателю представляет собой не что иное, как частный случай пресловутой нуль-транспортировки, хорошо известной любителям научной фантастики также под псевдонимами: гиперпереход, репагулярный скачок, феномен Тарантоги... От-

крывающиеся перспективы были ослепительны.

У меня не было никаких приборов. Обыкновенный лабораторный минимальный термометр мог бы дать очень много, но у меня не было даже его. Я был вынужден ограничиваться чисто визуальными субъективными наблюдениями. Свой последний круг по площади я начал, поставив перед собой следующую задачу: «Кладя пятак рядом с тарелочкой для мелочи и по возможности препятствуя продавцу смешать его с остальными деньгами до вручения сдачи, проследить визуально процесс перемещения пятака в пространстве, одновременно пытаясь хотя бы качественно определить изменение температуры воздуха вблизи предполагаемой траектории перехода». Однако эксперимент был прерван в самом начале.

Когда я приблизился к продавщице Мане, меня уже ждал тот самый молоденький милиционер в чине сержанта.

— Так, — сказал он профессиональным голосом.

Я искательно посмотрел на него, предчувствуя недоброе.

— Попрошу документики, гражданин, — сказал милиционер, отдавая честь и глядя мимо меня.

— А в чем дело? — спросил я, доставая паспорт.

— И пятак попрошу, — сказал милиционер, принимая паспорт.

Я молча отдал ему пятак. Маня смотрела на меня сердитыми глазами. Милиционер оглядел пятак и, произнеся с удовлетворением: «Ага...», раскрыл паспорт. Паспорт он изучал, как библиофил изучает редкую инкунабулу. Я томительно ждал. Вокруг медленно росла толпа. В толпе высказывались разные мнения на мой счет.

— Придется пройти, — сказал наконец милиционер.

Мы прошли. Пока мы проходили, в толпе сопровождающих было создано несколько вариантов моей нелегкой биографии и был сформулирован ряд причин, вызвавших начинающееся у всех на глазах следствие.

В отделении сержант передал пятак и паспорт дежурному лейтенанту. Тот осмотрел пятак и предложил мне сесть. Я сел. Лейтенант небрежно произнес: «Сдайте мелочь», и тоже углубился в изучение паспорта. Я выгреб из кармана медяки. «Пересчитай, Ковалев», — сказал лейтенант и, отложив паспорт, стал смотреть мне в глаза.

— Много накупили? — спросил он.

— Много, — ответил я.

— Тоже сдайте, — сказал лейтенант.

Я выложил перед ним на стол четыре номера позавчерашней «Правды», три номера местной газеты «Рыбак», два номера «Литературной газеты», восемь коробков спичек, шесть штук ирисок «Золотой ключик» и уцененный ершик для чистки примуса.

— Воду сдать не могу, — сказал я сухо. — Пять стаканов с сиропом и четыре без сиропа.

Я начинал понимать, в чем дело, и мне было чрезвычайно неловко и муторно при мысли, что придется оправдываться.

— Семьдесят четыре копейки, товарищ лейтенант, — доложил юный Ковалев.

Лейтенант задумчиво созерцал кучу газет и спичечных коробков.

— Развлекались или как? — спросил он меня.

— Или как, — сказал я мрачно.

— Неосторожно, — сказал лейтенант. — Неосторожно, гражданин. Расскажите.

Я рассказал. В конце рассказа я убедительно попросил лейтенанта не рассматривать мои действия как попытку скопить денег на «Запорожец». Уши мои горели. Лейтенант усмехнулся.

— А почему бы и не рассматривать? — осведомился он. — Были случаи, когда накапливали.

Я пожал плечами.

— Уверяю вас, такая мысль не могла бы прийти мне в голову... То есть что я говорю — не могла бы, она действительно не приходила!..

Лейтенант долго молчал. Юный Ковалев взял мой паспорт и снова принялся его рассматривать.

— Даже как-то странно предположить... — сказал я растерянно. — Совершенно бредовая затея... Копить по копейке... — Я снова пожал плечами. — Тогда уж лучше, как говорится, на паперти стоять...

— С нищенством мы боремся, — значительно сказал лейтенант.

— Ну правильно, ну естественно... Я только не понимаю, при чем тут я, и... — Я поймал себя на том, что очень много пожимаю плечами, и дал себе слово впредь этого не делать.

Лейтенант снова изнуряюще долго молчал, разглядывая пятак.

— Придется составить протокол, — сказал он наконец.

Я пожал плечами.

— Пожалуйста, конечно... хотя... — Я не знал, что, собственно, «хотя».

Некоторое время лейтенант смотрел на меня,

ожидая продолжения. Но я как раз соображал, под какую статью уголовного кодекса подходят мои действия, и тогда он придвинул к себе лист бумаги и принялся писать.

Юный Ковалев вернулся на свой пост. Лейтенант скрипел пером и часто со стуком макал его в чернильницу. Я сидел, тупо рассматривая плакаты, развешанные на стенах, и вяло размышлял о том, что на моем месте Ломоносов, скажем, схватил бы паспорт и выскочил в окно. В чем, собственно, суть? — думал я. Суть в том, чтобы человек сам не считал себя виновным. В этом смысле я не виновен. Но виновность, кажется, бывает объективная и субъективная. И факт остается фактом: вся эта медь в количестве семидесяти четырех копеек юридически является результатом хищения, произведенного с помощью технических средств, в качестве каковых выступает неразменный пятак...

— Прочтите и подпишите, — сказал лейтенант.

Я прочел. Из протокола явствовало, что я, нижеподписавшийся Привалов А. И., неизвестным мне способом вступил в обладание действующей моделью неразменного пятака образца ГОСТ 718-62 и злоупотребил ею; что я, нижеподписавшийся Привалов А. И., утверждаю, будто действия свои

производил с целью научного эксперимента без каких-либо корыстных намерений; что я готов возместить причиненные государству убытки в размере одного рубля пятидесяти пяти копеек; что я, наконец, в соответствии с постановлением Соловецкого горсовета от 22 марта 1959 года, передал указанную действующую модель неразменного пятака дежурному по отделению лейтенанту Сергиенко У. У. и получил взамен пять копеек в монетных знаках, имеющих хождение на территории Советского Союза. Я подписался.

Лейтенант сверил мою подпись с подписью в паспорте, еще раз тщательно пересчитал медяки, позвонил куда-то с целью уточнить стоимость ирисок и примусного ершика, выписал квитанцию и отдал ее мне вместе с пятью копейками в монетных знаках, имеющих хождение. Возвращая газеты, спички, конфеты и ершик, он сказал:

— А воду вы, по собственному вашему признанию, выпили. Итого с вас восемьдесят одна копейка.

С гигантским облегчением я рассчитался. Лейтенант, еще раз внимательно пролистав, вернул мне паспорт.

— Можете идти, гражданин Привалов, — сказал он. — И впредь будьте осторожнее. Вы надолго

в Соловец?

— Завтра уеду, — сказал я.

— Вот до завтра и будьте осторожнее.

— Ох, постараюсь, — сказал я, пряча паспорт. Затем, повинуясь импульсу, спросил, понизив голос: — А скажите мне, товарищ лейтенант, вам здесь, в Соловце, не странно?

Лейтенант уже смотрел в какие-то бумаги.

— Я здесь давно, — сказал он рассеянно. — Привык.

Глава пятая

— А вы сами-то верите в привидения?
— спросил лектора один из слушателей.
— Конечно, нет, — ответил лектор и
медленно растаял в воздухе.

Правдивая история

До самого вечера я старался быть весьма осторожным. Прямо из отделения я отправился домой на Лукоморье и там сразу же залез под машину. Было очень жарко. С запада медленно ползла грозная черная туча. Пока я лежал под машиной и обливался маслом, старуха Наина Киевна, ставшая вдруг очень ласковой и любезной, дважды

подъезжала ко мне с тем, чтобы я отвез ее на Лысую Гору. «Говорят, батюшка, машине вредно стоять, — скрипуче ворковала она, заглядывая под передний бампер. — Говорят, ей ездить полезно. А уж я бы заплатила, не сомневайся...» Ехать на Лысую Гору мне не хотелось. Во-первых, в любую минуту могли прибыть ребята. Во-вторых, старуха в своей воркующей модификации была мне еще неприятнее, нежели в сварливой. Далее, как выяснилось, до Лысой Горы было девяносто верст в одну сторону, а когда я спросил бабку насчет качества дороги, она радостно заявила, чтобы я не беспокоился, — дорога гладкая, а в случае чего она, бабка, будет сама машину выталкивать. («Ты не смотри, батюшка, что я старая, я еще очень даже крепкая».) После первой неудачной атаки старуха временно отступилась и ушла в избу. Тогда ко мне под машину зашел кот Василий. С минуту он внимательно следил за моими руками, а потом произнес вполголоса, но явственно: «Не советую, гражданин... мнэ-э... не советую. Съедят», после чего сразу удалился, подрагивая хвостом. Мне хотелось быть очень осторожным, и поэтому, когда бабка вторично пошла на приступ, я, чтобы разом со всем покончить, запросил с нее пятьдесят рублей. Она тут

же отстала, посмотрев на меня с уважением.

Я сделал ЕУ и ТО, с величайшей осторожностью съездил заправиться к бензоколонке, пообедал в столовой № 11 и еще раз подвергся проверке документов со стороны бдительного Ковалева. Для очистки совести я спросил у него, какова дорога до Лысой Горы. Юный сержант посмотрел на меня с большим недоверием и сказал: «Дорога? Что это вы говорите, гражданин? Какая же там дорога? Нет там никакой дороги». Домой я вернулся уже под проливным дождем.

Старуха отбыла. Кот Василий исчез. В колодце кто-то пел на два голоса, и это было жутко и тоскливо. Вскоре ливень сменился скучным мелким дождиком. Стало темно.

Я забрался в свою комнату и попытался экспериментировать с книгой-перевертышем. Однако в ней что-то застопорило. Может быть, я делал что-нибудь не так или влияла погода, но она как была, так и оставалась «Практическими занятиями по синтаксису и пунктуации» Ф. Ф. Кузьмина, сколько я ни ухищрялся. Читать такую книгу было совершенно невозможно, и я попытал счастья с зеркалом. Но зеркало отражало все, что угодно, и молчало. Тогда я лег на диван и стал лежать.

От скуки и шума дождя я уже начал было дре-

мать, когда вдруг зазвонил телефон. Я вышел в прихожую и взял трубку.

— Алло...

В трубке молчало и потрескивало.

— Алло, — сказал я и подул в трубку. — Нажмите кнопку.

Ответа не было.

— Постучите по аппарату, — посоветовал я. Трубка молчала. Я еще раз подул, подергал шнур и сказал: — Перезвоните с другого автомата.

Тогда в трубке грубо осведомились:

— Это Александр?

— Да. — Я был удивлен.

— Ты почему не отвечаешь?

— Я отвечаю. Кто это?

— Это Петровский тебя беспокоит. Сходи в засольный цех и скажи мастеру, чтобы мне позвонил.

— Какому мастеру?

— Ну, кто там сегодня у тебя?

— Не знаю...

— Что значит — не знаю? Это Александр?

— Слушайте, гражданин, — сказал я. — По какому номеру вы звоните?

— По семьдесят второму... Это семьдесят второй?

Я не знал.

— По-видимому, нет, — сказал я.

— Что же вы говорите, что вы Александр?

— Я в самом деле Александр!

— Тьфу!.. Это комбинат?

— Нет, — сказал я. — Это музей.

— А... Тогда извиняюсь. Мастера, значит, позвать не можете...

Я повесил трубку. Некоторое время я стоял, оглядывая прихожую. В прихожей было пять дверей: в мою комнату, во двор, в бабкину комнату, в туалет и еще одна, обитая железом, с громадным висячим замком. Скучно, подумал я. Одиноко. И лампочка тусклая, пыльная... Волоча ноги, я вернулся в свою комнату и остановился на пороге.

Дивана не было.

Все остальное было совершенно по-прежнему: стол, и печь, и зеркало, и вешалка, и табуретка. И книга лежала на подоконнике точно там, где я ее оставил. А на полу, где раньше был диван, остался только очень пыльный, замусоренный прямоугольник. Потом я увидел постельное белье, аккуратно сложенное под вешалкой.

— Только что здесь был диван, — вслух сказал я. — Я на нем лежал.

Что-то изменилось в доме. Комната наполни-

лась невнятным шумом. Кто-то разговаривал, слышалась музыка, где-то смеялись, кашляли, шаркали ногами. Смутная тень на мгновение заслонила свет лампочки, громко скрипнули половицы. Потом вдруг запахло аптекой, и в лицо мне пахнуло холодом. Я попятился. И тотчас же кто-то резко и отчетливо постучал в наружную дверь. Шумы мгновенно утихли. Оглядываясь на то место, где раньше был диван, я вновь вышел в сени и открыл дверь.

Передо мной под мелким дождем стоял невысокий изящный человек в коротком кремовом плаще идеальной чистоты с поднятым воротником. Он снял шляпу и с достоинством произнес:

— Прошу прощения, Александр Иванович. Не могли бы вы уделить мне пять минут для разговора?

— Конечно, — сказал я растерянно. — Заходите...

Этого человека я видел впервые в жизни, и у меня мелькнула мысль, не связан ли он с местной милицией. Незнакомец шагнул в прихожую и сделал движение пройти прямо в мою комнату. Я заступил ему дорогу. Не знаю, зачем я это сделал, — наверное, потому, что мне не хотелось расспросов насчет пыли и мусора на полу.

— Извините, — пролепетал я, — может быть, здесь?.. А то у меня беспорядок. И сесть негде...

Незнакомец резко вскинул голову.

— Как — негде? — сказал он негромко. — А диван?

С минуту мы молча смотрели друг другу в глаза.

— М-м-м... Что — диван? — спросил я почему-то шепотом.

Незнакомец опустил веки.

— Ах, вот как? — медленно произнес он. — Понимаю. Жаль. Ну что ж, извините...

Он вежливо кивнул, надел шляпу и решительно направился к дверям туалета.

— Куда вы? — закричал я. — Вы не туда!

Незнакомец, не оборачиваясь, пробормотал: «Ах, это безразлично», и скрылся за дверью. Я машинально зажег ему свет, постоял немного, прислушиваясь, затем рванул дверь. В туалете никого не было. Я осторожно вытащил сигарету и закурил. Диван, подумал я. При чем здесь диван? Никогда не слыхал никаких сказок о диванах. Был ковер-самолет. Была скатерть-самобранка. Были: шапка-невидимка, сапоги-скороходы, гусли-самогуды. Было чудо-зеркальце. А чудо-дивана не было. На диванах сидят или лежат, диван

— это нечто прочное, очень обыкновенное... В самом деле, какая фантазия могла бы вдохновиться диваном?..

Вернувшись в комнату, я сразу увидел Маленького Человечка. Он сидел на печке под потолком, скорчившись в очень неудобной позе. У него было сморщенное небритое лицо и серые волосатые уши.

— Здравствуйте, — сказал я утомленно.

Маленький Человечек страдальчески скривил длинные губы.

— Добрый вечер, — сказал он. — Извините, пожалуйста, занесло меня сюда — сам не понимаю как... Я насчет дивана.

— Насчет дивана вы опоздали, — сказал я, садясь к столу.

— Вижу, — тихо сказал Человечек и неуклюже заворочался. Посыпалась известка.

Я курил, задумчиво его разглядывая. Маленький Человечек неуверенно заглядывал вниз.

— Вам помочь? — спросил я, делая движение.

— Нет, спасибо, — сказал Человечек уныло. — Я лучше сам...

Пачкаясь в мелу, он подобрался к краю лежанки и, неловко оттолкнувшись, нырнул головой вниз. У меня ёкнуло внутри, но он повис в воздухе

и стал медленно опускаться, судорожно растопырив руки и ноги. Это было не очень эстетично, но забавно. Приземлившись на четвереньки, он сейчас же встал и вытер рукавом мокрое лицо.

— Совсем старик стал, — сообщил он хрипло. — Лет сто назад или, скажем, при Гонзасте за такой спуск меня лишили бы диплома, будьте уверены, Александр Иванович.

— А что вы кончали? — осведомился я, закуривая вторую сигарету.

Он не слушал меня. Присев на табурет напротив, он продолжал горестно:

— Раньше я левитировал, как Зекс. А теперь, простите, не могу вывести растительность на ушах. Это так неопрятно... Но если нет таланта? Огромное количество соблазнов вокруг, всевозможные степени, звания, лауреатские премии, а таланта нет! У нас многие обрастают к старости. Корифеев это, конечно, не касается. Жиан Жиакомо, Кристобаль Хунта, Джузеппе Бальзамо или, скажем, товарищ Киврин Федор Симеонович... Никаких следов растительности! — Он торжествующе посмотрел на меня. — Ни-ка-ких! Гладкая кожа, изящество, стройность...

— Позвольте, — сказал я. — Вы сказали — Джузеппе Бальзамо... Но это то же самое, что граф

Калиостро! А по Толстому, граф был жирен и очень неприятен на вид...

Маленький Человечек с сожалением посмотрел на меня и снисходительно улыбнулся.

— Вы просто не в курсе дела, Александр Иванович, — сказал он. — Граф Калиостро — это совсем не то же самое, что великий Бальзамо. Это... как бы вам сказать... Это не очень удачная его копия. Бальзамо в юности сматрицировал себя. Он был необычайно, необычайно талантлив, но вы знаете, как это делается в молодости... Побыстрее, посмешнее — тяп-ляп, и так сойдет... Да-с... Никогда не говорите, что Бальзамо и Калиостро — это одно и то же. Может получиться неловко.

Мне стало неловко.

— Да, — сказал я. — Я, конечно, не специалист. Но... Простите за нескромный вопрос, но при чем здесь диван? Кому он понадобился?

Маленький Человечек вздрогнул.

— Непростительная самонадеянность, — сказал он громко и поднялся. — Я совершил ошибку и готов признаться со всей решительностью. Когда такие гиганты... А тут еще наглые мальчишки... — Он стал кланяться, прижимая к сердцу бледные лапки. — Прошу прощения, Александр Иванович, я вас так обеспокоил... Еще раз решительно

извиняюсь и немедленно вас покидаю. — Он приблизился к печке и боязливо поглядел наверх. — Старый я, Александр Иванович, — сказал он, тяжело вздохнув. — Старенький...

— А может быть, вам было бы удобнее... через... э-э... Тут перед вами приходил один товарищ, так он воспользовался.

— И-и, батенька, так это же был Кристобаль Хунта! Что ему — просочиться через канализацию на десяток лье... — Маленький Человечек горестно махнул рукой. — Мы попроще... Диван он с собой взял или трансгрессировал?

— Н-не знаю, — сказал я. — Дело-то в том, что он тоже опоздал.

Маленький Человечек ошеломленно пощипал шерсть на правом ухе.

— Опоздал? Он? Невероятно... Впрочем, разве можем мы с вами об этом судить? До свидания, Александр Иванович, простите великодушно.

Он с видимым усилием прошел сквозь стену и исчез. Я бросил окурок в мусор на полу. Ай да диван! Это тебе не говорящая кошка. Это что-то посолиднее — какая-то драма. Может быть, даже драма идей. А ведь, пожалуй, придут еще... опоздавшие. Наверняка придут. Я посмотрел на мусор. Где это я видел веник?

Веник стоял рядом с кадкой под телефоном. Я принялся подметать пыль и мусор, и вдруг что-то тяжело зацепило за веник и выкатилось на середину комнаты. Я взглянул. Это был блестящий продолговатый цилиндрик величиной с указательный палец. Я потрогал его веником. Цилиндрик качнулся, что-то сухо затрещало, и в комнате запахло озоном. Я бросил веник и поднял цилиндр. Он был гладкий, отлично отполированный и теплый на ощупь. Я пощелкал по нему ногтем, и он снова затрещал. Я повернул его, чтобы осмотреть с торца, и в ту же секунду почувствовал, что пол уходит у меня из-под ног. Все перевернулось перед глазами. Я пребольно ударился обо что-то пятками, потом плечом и макушкой, выронил цилиндр и упал. Я был здорово ошарашен и не сразу понял, что лежу в узкой щели между печью и стеной. Лампочка над головой раскачивалась, и, подняв глаза, я с изумлением обнаружил на потолке рубчатые следы своих ботинок. Кряхтя, я выбрался из щели и осмотрел подошвы. На подошвах был мел.

— Однако, — подумал я вслух. — Не просочиться бы в канализацию!..

Я поискал глазами цилиндрик. Он стоял, касаясь пола краем торца, в положении, исклю-

чающем всякую возможность равновесия. Я осторожно приблизился и опустился возле него на корточки. Цилиндрик тихо потрескивал и раскачивался. Я долго смотрел на него, вытянув шею, потом подул на него. Цилиндрик качнулся сильнее, наклонился, и тут за моей спиной раздался хриплый клекот и пахнуло ветром. Я оглянулся и сел на пол. На печке аккуратно складывал крылья исполинский гриф с голой шеей и зловещим загнутым клювом.

— Здравствуйте, — сказал я. Я был убежден, что гриф говорящий.

Гриф, склонив голову, посмотрел на меня одним глазом и сразу стал похож на курицу. Я приветственно помахал рукой. Гриф открыл было клюв, но разговаривать не стал. Он поднял крыло и стал искаться у себя под мышкой, щелкая клювом. Цилиндрик все покачивался и трещал. Гриф перестал искаться, втянул голову в плечи и прикрыл глаза желтой пленкой. Стараясь не поворачиваться к нему спиной, я закончил уборку и выбросил мусор в дождливую тьму за дверью. Потом я вернулся в комнату.

Гриф спал, пахло озоном. Я посмотрел на часы: было двадцать минут первого. Я немного постоял над цилиндриком, размышляя над законом со-

хранения энергии, а заодно и вещества. Вряд ли грифы конденсируются из ничего. Если данный гриф возник здесь, в Соловце, значит, какой-то гриф (не обязательно данный) исчез на Кавказе или где они там водятся. Я прикинул энергию переноса и опасливо посмотрел на цилиндрик. Лучше его не трогать, подумал я. Лучше его чем-нибудь прикрыть и пусть стоит. Я принес из прихожей ковшик, старательно прицелился и, не дыша, накрыл им цилиндрик. Затем я сел на табурет, закурил и стал ждать еще чего-нибудь. Гриф отчетливо сопел. В свете лампы его перья отливали медью, огромные когти впились в известку. От него медленно распространялся запах гнили.

— Напрасно вы это сделали, Александр Иванович, — сказал приятный мужской голос.

— Что именно? — спросил я, оглянувшись на зеркало.

— Я имею в виду умклайдет...

Говорило не зеркало. Говорил кто-то другой.

— Не понимаю, о чем речь, — сказал я. В комнате никого не было, и я чувствовал раздражение.

— Я говорю про умклайдет, — произнес голос. — Вы совершенно напрасно накрыли его железным ковшом. Умклайдет, или как вы его называете

— волшебная палочка, требует чрезвычайно осторожного обращения.

— Потому я и накрыл... Да вы заходите, товарищ, а то так очень неудобно разговаривать.

— Благодарю вас, — сказал голос.

Прямо передо мной неторопливо сконденсировался бледный, весьма корректный человек в превосходно сидящем сером костюме. Несколько склонив голову набок, он осведомился с изысканнейшей вежливостью:

— Смею ли надеяться, что не слишком обеспокоил вас?

— Отнюдь, — сказал я, поднимаясь. — Прошу вас, садитесь и будьте как дома. Угодно чайку?

— Благодарю вас, — сказал незнакомец и сел напротив меня, изящным жестом поддернув штанины. — Что же касается чаю, то прошу извинения, Александр Иванович, я только что отужинал.

Некоторое время он, светски улыбаясь, глядел мне в глаза. Я тоже улыбался.

— Вы, вероятно, насчет дивана? — сказал я. — Дивана, увы, нет. Мне очень жаль, и я даже не знаю...

Незнакомец всплеснул руками.

— Какие пустяки! — сказал он. — Как много

шума из-за какого-то, простите, вздора, в который никто к тому же по-настоящему не верит... Посудите сами, Александр Иванович, устраивать склоки, безобразные кинопогони, беспокоить людей из-за мифического — я не боюсь этого слова, — именно мифического Белого Тезиса... Каждый трезво мыслящий человек рассматривает диван как универсальный транслятор, несколько громоздкий, но весьма добротный и устойчивый в работе. И тем более смешны старые невежды, болтающие о Белом Тезисе... Нет, я и говорить не желаю об этом диване.

— Как вам будет благоугодно, — сказал я, сосредоточив в этой фразе всю свою светскость. — Поговорим о чем-нибудь другом.

— Суеверия... Предрассудки... — рассеянно проговорил незнакомец. — Леность ума и зависть, зависть, поросшая волосами зависть... — Он прервал самого себя. — Простите, Александр Иванович, но я бы осмелился все-таки просить вашего разрешения убрать этот ковш. К сожалению, железо практически непрозрачно для гиперполя, а возрастание напряженности гиперполя в малом объеме...

Я поднял руки.

— Ради бога, все, что вам угодно! Убирайте

ковшик... Убирайте даже этот самый... ум... ум... эту волшебную палочку... — Тут я остановился, с изумлением обнаружив, что ковшика больше нет. Цилиндрик стоял в луже жидкости, похожей на окрашенную ртуть. Жидкость быстро испарялась.

— Так будет лучше, уверяю вас, — сказал незнакомец. — Что же касается вашего великодушного предложения убрать умклайдет, то я, к сожалению, не могу им воспользоваться. Это уже вопрос морали и этики, вопрос чести, если угодно... Условности так сильны! Я позволю себе посоветовать вам больше не прикасаться к умклайдету. Я вижу, вы ушиблись, и этот орел... Я думаю, вы чувствуете... э-э... некоторое амбре...

— Да, — сказал я с чувством. — Воняет гадостно. Как в обезьяннике.

Мы посмотрели на орла. Гриф, нахохлившись, дремал.

— Искусство управлять умклайдетом, — сказал незнакомец, — это сложное и тонкое искусство. Вы ни в коем случае не должны огорчаться или упрекать себя. Курс управления умклайдетом занимает восемь семестров и требует основательного знания квантовой алхимии. Как программист вы, вероятно, без особого труда

освоили бы умклайдет электронного уровня, так называемый УЭУ-17... Но квантовый умклайдет... гиперполя... трансгрессивные воплощения... обобщенный закон Ломоносова — Лавуазье... — Он виновато развел руками.

— О чем разговор! — поспешно сказал я. — Я ведь и не претендую... Конечно же, я абсолютно не подготовлен.

Тут я спохватился и предложил ему закурить.

— Благодарю вас, — сказал незнакомец. — Не употребляю, к великому моему сожалению.

Тогда, пошевелив от вежливости пальцами, я осведомился — не спросил, а именно осведомился:

— Не позволено ли мне будет узнать, чему я обязан приятностию нашей встречи?

Незнакомец опустил глаза.

— Боюсь показаться нескромным, — сказал он, — но, увы, я должен признаться, что уже довольно давно нахожусь здесь. Мне не хотелось бы называть имена, но, я думаю, даже вам, как вы ни далеки от всего этого, Александр Иванович, ясно, что вокруг дивана возникла некоторая нездоровая суета, назревает скандал, атмосфера накаляется, напряженность растет. В такой обстановке неизбежны ошибки, чрезвычайно

нежелательные случайности... Не будем далеко ходить за примерами. Некто — повторяю, мне не хотелось бы называть имена, тем более что это сотрудник, достойный всяческого уважения, а говоря об уважении, я имею в виду если не манеры, то большой талант и самоотверженность, — так вот, некто, спеша и нервничая, теряет здесь умклайдет, и умклайдет становится центром сферы событий, в которые оказывается вовлеченным человек, совершенно к оным не причастный... — Он поклонился в мою сторону. — А в таких случаях совершенно необходимо воздействие, как-то нейтрализующее вредные влияния... — Он значительно посмотрел на отпечатки ботинок на потолке. Затем он улыбнулся мне. — Но я не хотел бы показаться абстрактным альтруистом. Конечно, все эти события меня весьма интересуют как специалиста и как администратора... Впрочем, я не намерен более мешать вам, и поскольку вы сообщили мне уверенность в том, что больше не будете экспериментировать с умклайдетом, я попрошу у вас разрешения откланяться.

Он поднялся.

— Ну что вы! — вскричал я. — Не уходите! Мне так приятно беседовать с вами, у меня к вам тысяча вопросов!..

— Я чрезвычайно ценю вашу деликатность, Александр Иванович, но вы утомлены, вам необходимо отдохнуть...

— Нисколько! — горячо возразил я. — Наоборот!

— Александр Иванович, — произнес незнакомец, ласково улыбаясь и пристально глядя мне в глаза. — Но ведь вы *действительно* утомлены. И вы *действительно* хотите отдохнуть.

И тут я почувствовал, что действительно засыпаю. Глаза мои слипались. Говорить больше не хотелось. Ничего больше не хотелось. Страшно хотелось спать.

— Было исключительно приятно познакомиться с вами, — сказал незнакомец негромко.

Я видел, как он начал бледнеть, бледнеть и медленно растворился в воздухе, оставив после себя легкий запах дорогого одеколона. Я кое-как расстелил матрас на полу, ткнулся лицом в подушку и моментально заснул.

Разбудило меня хлопанье крыльев и неприятный клекот. В комнате стоял странный голубоватый полумрак. Орел на печке шуршал, гнусно орал и стучал крыльями по потолку. Я сел и огляделся. На середине комнаты парил в воздухе здоровенный детина в тренировочных брюках

и в полосатой гавайке навыпуск. Он парил над цилиндриком и, не прикасаясь к нему, плавно помавал огромными костистыми лапами.

— В чем дело? — спросил я.

Детина мельком взглянул на меня из-под плеча и отвернулся.

— Не слышу ответа, — сказал я зло. Мне все еще очень хотелось спать.

— Тихо, ты, смертный, — сипло произнес детина. Он прекратил свои пассы и взял цилиндрик с пола. Голос его показался мне знакомым.

— Эй, приятель! — сказал я угрожающе. — Положи эту штуку на место и очисти помещение.

Детина смотрел на меня, выпячивая челюсть. Я откинул простыню и встал.

— А ну, положи умклайдет! — сказал я в полный голос.

Детина опустился на пол и, прочно упершись ногами, принял стойку. В комнате стало гораздо светлее, хотя лампочка не горела.

— Детка, — сказал детина, — ночью надо спать. Лучше ляг сам.

Парень был явно не дурак подраться. Я, впрочем, тоже.

— Может, выйдем во двор? — деловито предложил я, подтягивая трусы.

Кто-то вдруг произнес с выражением:

— «Устремив свои мысли на высшее Я, свободный от вожделения и себялюбия, исцелившись от душевной горячки, сражайся, Арджуна!»

Я вздрогнул. Парень тоже вздрогнул.

— «Бхагават-Гита»! — сказал голос. — Песнь третья, стих тридцатый.

— Это зеркало, — сказал я машинально.

— Сам знаю, — проворчал детина.

— Положи умклайдет, — потребовал я.

— Чего ты орешь, как больной слон? — сказал парень. — Твой он, что ли?

— А может быть, твой?

— Да, мой!

Тут меня осенило.

— Значит, диван тоже ты уволок?

— Не суйся не в свои дела, — посоветовал парень.

— Отдай диван, — сказал я. — На него расписка написана.

— Пошел к черту! — сказал детина, озираясь.

И тут в комнате появились еще двое: тощий и толстый, оба в полосатых пижамах, похожие на узников Синг-Синга.

— Корнеев! — завопил толстый. — Так это вы воруете диван?! Какое безобразие!

— Идите вы все... — сказал детина.

— Вы грубиян! — закричал толстый. — Вас гнать надо! Я на вас докладную подам!

— Ну и подавайте, — мрачно сказал Корнеев. — Займитесь любимым делом.

— Не смейте разговаривать со мной в таком тоне! Вы мальчишка! Вы дерзец! Вы забыли здесь умклайдет! Молодой человек мог пострадать!

— Я уже пострадал, — вмешался я. — Дивана нет, сплю как собака, каждую ночь разговоры... Орел этот вонючий...

Толстый немедленно повернулся ко мне.

— Неслыханное нарушение дисциплины, — заявил он. — Вы должны жаловаться... А вам должно быть стыдно! — Он снова повернулся к Корнееву.

Корнеев угрюмо запихивал умклайдет за щеку. Тощий вдруг спросил тихо и угрожающе:

— Вы сняли Тезис, Корнеев?

Детина мрачно ухмыльнулся.

— Да нет там никакого Тезиса, — сказал он. — Что вы все сепетите? Не хотите, чтобы мы диван воровали — дайте нам другой транслятор...

— Вы читали приказ о неизъятии предметов из запасника? — грозно осведомился тощий.

Корнеев сунул руки в карманы и стал смотреть

в потолок.

— Вам известно постановление Ученого совета? — осведомился тощий.

— Мне, товарищ Демин, известно, что понедельник начинается в субботу, — угрюмо сказал Корнеев.

— Не разводите демагогию, — сказал тощий. — Немедленно верните диван и не смейте сюда больше возвращаться.

— Не верну я диван, — сказал Корнеев. — Эксперимент закончим — вернем.

Толстый устроил безобразную сцену. «Самоуправство!.. — визжал он. — Хулиганство!..» Гриф опять взволнованно заорал. Корнеев, не вынимая рук из карманов, повернулся спиной и шагнул сквозь стену. Толстяк устремился за ним с криком: «Нет, вы вернете диван!» Тощий сказал мне:

— Это недоразумение. Мы примем меры, чтобы оно не повторилось.

Он кивнул и тоже двинулся к стене.

— Погодите! — вскричал я. — Орла! Орла заберите! Вместе с запахом!

Тощий, уже наполовину войдя в стену, обернулся и поманил орла пальцем. Гриф шумно сорвался с печки и втянулся ему под ноготь. Тощий исчез. Голубой свет медленно померк, стало

темно, в окно снова забарабанил дождь. Я включил свет и оглядел комнату. В комнате все было по-прежнему, только на печке зияли глубокие царапины от когтей грифа да на потолке дико и нелепо темнели рубчатые следы моих ботинок.

— Прозрачное масло, находящееся в корове, — с идиотским глубокомыслием произнесло зеркало, — не способствует ее питанию, но оно снабжает наилучшим питанием, будучи обработано надлежащим способом.

Я выключил свет и улегся. На полу было жестко, тянуло холодом. Будет мне завтра от старухи, подумал я.

Глава шестая

— Нет, — произнес он в ответ настойчивому вопросу моих глаз, — я не член клуба, я — призрак.
— Хорошо, но это не дает вам права расхаживать по клубу.

Г. Дж. Уэллс

Утром оказалось, что диван стоит на месте. Я не удивился. Я только подумал, что так или иначе старуха добилась своего: диван стоит в одном

углу, а я лежу в другом. Собирая постель и делая зарядку, я размышлял о том, что существует, вероятно, некоторый предел способности к удивлению. По-видимому, я далеко шагнул за этот предел. Я даже испытывал некоторое утомление. Я пытался представить себе что-нибудь такое, что могло бы меня сейчас поразить, но фантазии у меня не хватало. Это мне очень не нравилось, потому что я терпеть не могу людей, неспособных удивляться. Правда, я был далек от психологии «подумаешьэканевидаль», скорее мое состояние напоминало состояние Алисы в Стране Чудес: я был словно во сне и принимал и готов был принять любое чудо за должное, требующее более развернутой реакции, нежели простое разевание рта и хлопанье глазами.

Я еще делал зарядку, когда в прихожей хлопнула дверь, зашаркали и застучали каблуки, кто-то закашлял, что-то загремело и упало, и начальственный голос позвал: «Товарищ Горыныч!» Старуха не отозвалась, и в прихожей начали разговаривать: «Что это за дверь?.. А, понятно. А это?» — «Тут вход в музей». — «А здесь?.. Что это — все заперто, замки...» — «Весьма хозяйственная женщина, Янус Полуэктович. А это телефон». — «А где же знаменитый диван? В музее?» — «Нет.

Тут должен быть запасник».

— Это здесь, — сказал знакомый угрюмый голос.

Дверь моей комнаты распахнулась, и на пороге появился высокий худощавый старик с великолепной снежно-белой сединой, чернобровый и черноусый, с глубокими черными глазами. Увидев меня (я стоял в одних трусах, руки в стороны, ноги на ширине плеч), он приостановился и звучным голосом произнес:

— Так.

Справа и слева от него заглядывали в комнату еще какие-то лица. Я сказал: «Прошу прощения», и побежал к своим джинсам. Впрочем, на меня не обратили внимания. В комнату вошли четверо и столпились вокруг дивана. Двоих я знал: угрюмого Корнеева, небритого, с красными глазами, все в той же легкомысленной гавайке, и смуглого, горбоносого Романа, который подмигнул мне, сделал непонятный знак рукой и сейчас же отвернулся. Седовласого я не знал. Не знал я и полного, рослого мужчину в черном, лоснящемся со спины костюме и с широкими хозяйскими движениями.

— Вот этот диван? — спросил лоснящийся мужчина.

— Это не диван, — угрюмо сказал Корнеев. — Это транслятор.

— Для меня это диван, — заявил лоснящийся, глядя в записную книжку. — Диван мягкий, полуторный, инвентарный номер одиннадцать двадцать три. — Он наклонился и пощупал. — Вот он у вас влажный, Корнеев, таскали под дождем. Теперь считайте: пружины проржавели, обшивка сгнила.

— Ценность данного предмета, — как мне показалось, издевательски произнес горбоносый Роман, — заключается отнюдь не в обшивке и даже не в пружинах, которых нет.

— Вы это прекратите, Роман Петрович, — предложил лоснящийся с достоинством. — Вы мне вашего Корнеева не выгораживайте. Диван проходит у меня по музею и должен там находиться...

— Это прибор, — сказал Корнеев безнадежно. — С ним работают...

— Этого я не знаю, — заявил лоснящийся. — Я не знаю, что это за работа с диваном. У меня вот дома тоже есть диван, и я знаю, как на нем работают.

— Мы это тоже знаем, — тихонько сказал Роман.

— Вы это прекратите, — сказал лоснящийся,

поворачиваясь к нему. — Вы здесь не в пивной, вы здесь в учреждении. Что вы, собственно, имеете в виду?

— Я имею в виду, что это не есть диван, — сказал Роман. — Или, в доступной для вас форме, это есть не совсем диван. Это есть прибор, имеющий внешность дивана.

— Я попросил бы прекратить эти намеки, — решительно сказал лоснящийся. — Насчет доступной формы и все такое. Давайте каждый делать свое дело. Мое дело — прекратить разбазаривание, и я его прекращаю.

— Так, — звучно сказал седовласый. Сразу стало тихо. — Я беседовал с Кристобалем Хозевичем и с Федором Симеоновичем. Они полагают, что этот диван-транслятор представляет лишь музейную ценность. В свое время он принадлежал королю Рудольфу Второму, так что историческая ценность его неоспорима. Кроме того, года два назад, если память мне не изменяет, мы уже выписывали серийный транслятор... Кто его выписывал, вы не помните, Модест Матвеевич?

— Одну минутку, — сказал лоснящийся Модест Матвеевич и стал быстро листать записную книжку. — Одну минуточку... Транслятор двухходовой ТДХ-80Е Китежградского завода... По заявке

товарища Бальзамо.

— Бальзамо работает на нем круглосуточно, — сказал Роман.

— И барахло этот ТДХ, — добавил Корнеев. — Избирательность на молекулярном уровне.

— Да-да, — сказал седовласый. — Я припоминаю. Был доклад об исследовании ТДХ. Действительно, кривая селективности не гладкая... Да. А этот... э... диван?

— Ручной труд, — быстро сказал Роман. — Безотказен. Конструкции Льва Бен Бецалеля. Бен Бецалель собирал и отлаживал его триста лет...

— Вот! — сказал лоснящийся Модест Матвеевич. — Вот как надо работать! Старик, а все делал сам.

Зеркало вдруг прокашлялось и сказало:

— Все оне помолодели, пробыв час в воде, и вышли из нее такими же красивыми, розовыми, молодыми и здоровыми, сильными и жизнерадостными, какими были в двадцать лет.

— Вот именно, — сказал Модест Матвеевич. Зеркало говорило голосом седовласого.

Седовласый досадливо поморщился.

— Не будем решать этот вопрос сейчас, — произнес он.

— А когда? — спросил грубый Корнеев.

— В пятницу на Ученом совете.

— Мы не можем разбазаривать реликвии, — вставил Модест Матвеевич.

— А мы что будем делать? — спросил грубый Корнеев.

Зеркало забубнило угрожающим замогильным голосом:

Видел я сам, как, подобравши черные платья,

Шла босая Канидия, простоволосая, с воем,

С ней и Сагана, постарше годами, и бледные обе.

Страшны были на вид. Тут начали землю ногтями

Обе рыть и черного рвать зубами ягненка...

Седовласый, весь сморщившись, подошел к зеркалу, запустил в него руку по плечо и чем-то щелкнул. Зеркало замолчало.

— Так, — сказал седовласый. — Вопрос о вашей группе мы тоже решим на совете. А вы... — По лицу его было видно, что он забыл имя-отчество Корнеева, — вы пока воздержитесь... э... от посещения музея.

С этими словами он вышел из комнаты. Через дверь.

— Добились своего, — сказал Корнеев сквозь зубы, глядя на Модеста Матвеевича.

— Разбазаривать не дам, — коротко ответил тот, засовывая во внутренний карман записную книжку.

— Разбазаривать! — сказал Корнеев. — Плевать вам на все это. Вас отчетность беспокоит. Лишнюю графу вводить неохота.

— Вы это прекратите, — сказал непреклонный Модест Матвеевич. — Мы еще назначим комиссию и посмотрим, не повреждена ли реликвия...

— Инвентарный номер одиннадцать двадцать три, — вполголоса добавил Роман.

— В таком вот *аксенте*, — величественно произнес Модест Матвеевич, повернулся и увидел меня. — А вы что здесь делаете? — осведомился он. — Почему это вы здесь спите?

— Я... — начал я.

— Вы спали на диване, — провозгласил ледяным тоном Модест, сверля меня взглядом контрразведчика. — Вам известно, что это прибор?

— Нет, — сказал я. — То есть теперь известно, конечно.

— Модест Матвеевич! — воскликнул горбоно-

сый Роман. — Это же наш новый программист, Саша Привалов!

— А почему он здесь спит? Почему не в общежитии?

— Он еще не зачислен, — сказал Роман, обнимая меня за талию.

— Тем более!

— Значит, пусть спит на улице? — злобно спросил Корнеев.

— Вы это прекратите, — сказал Модест. — Есть общежитие, есть гостиница, а здесь музей, госучреждение. Если все будут спать в музеях... Вы откуда?

— Из Ленинграда, — сказал я мрачно.

— Вот если я приеду в Ленинград и пойду спать в Эрмитаж?

— Пожалуйста, — сказал я, пожимая плечами.

Роман все держал меня за талию.

— Модест Матвеевич, вы совершенно правы, непорядок, но сегодня он будет ночевать у меня.

— Это другое дело. Это пожалуйста, — великодушно разрешил Модест. Он хозяйским взглядом окинул комнату, увидел отпечатки на потолке и сразу же посмотрел на мои ноги. К счастью, я был босиком. — В таком вот аксепте, — сказал он, поправил рухлядь на вешалке и вышел.

— Д-дубина, — выдавил из себя Корнеев. — Пень. — Он сел на диван и взялся за голову. — Ну их всех к черту. Сегодня же ночью опять утащу.

— Спокойно, — ласково сказал Роман. — Ничего страшного. Нам просто немножко не повезло. Ты заметил, какой это Янус?

— Ну? — сказал Корнеев безнадежно.

— Это же А-Янус.

Корнеев поднял голову.

— И какая разница?

— Огромная, — сказал Роман и подмигнул. — Потому что У-Янус улетел в Москву. И в частности — по поводу этого дивана. Понял, расхититель музейных ценностей?

— Слушай, ты меня спасаешь, — сказал Корнеев, и я впервые увидел, как он улыбается.

— Дело в том, Саша, — сказал Роман, обращаясь ко мне, — что у нас идеальный директор. Он един в двух лицах. Есть А-Янус Полуэктович и У-Янус Полуэктович. У-Янус — это крупный ученый международного класса. Что же касается А-Януса, то это довольно обыкновенный администратор.

— Близнецы? — осторожно спросил я.

— Да нет, это один и тот же человек. Только он един в двух лицах.

— Ясно, — сказал я и стал надевать ботинки.

— Ничего, Саша, скоро все узнаешь, — сказал Роман ободряюще.

Я поднял голову.

— То есть?

— Нам нужен программист, — проникновенно сказал Роман.

— Мне очень нужен программист, — сказал Корнеев, оживляясь.

— Всем нужен программист, — сказал я, возвращаясь к ботинкам. — И прошу без гипноза и всяких там заколдованных мест.

— Он уже догадывается, — сказал Роман.

Корнеев хотел что-то сказать, но за окном грянули крики.

— Это не наш пятак! — кричал Модест.

— А чей же это пятак?

— Я не знаю, чей это пятак! Это не мое дело! Это ваше дело — ловить фальшивомонетчиков, товарищ сержант!..

— Пятак изъят у некоего Привалова, каковой проживает здесь у вас, в Изнакурноже!..

— Ах, у Привалова? Я сразу подумал, что он ворюга!

Укоризненный голос А-Януса произнес:

— Ну-ну, Модест Матвеевич!..

— Нет, извините, Янус Полуэктович! Этого нель-

зя так оставить! Товарищ сержант, пройдемте!.. Он в доме... Янус Полуэктович, встаньте у окна, чтобы он не выскочил! Я докажу! Я не позволю бросать тень на товарища Горыныч!..

У меня нехорошо похолодело внутри. Но Роман уже оценил положение. Он схватил с вешалки засаленный картуз и нахлобучил мне на уши.

Я исчез.

Это было очень странное ощущение. Все осталось на месте, все, кроме меня. Но Роман не дал мне насытиться новыми переживаниями.

— Это кепка-невидимка, — прошипел он. — Отойди в сторонку и помалкивай.

Я на цыпочках отбежал в угол и сел под зеркало. В ту же секунду в комнату ворвался возбужденный Модест, волоча за рукав юного сержанта Ковалева.

— Где он? — завопил Модест, озираясь.

— Вот, — сказал Роман, показывая на диван.

— Не беспокойтесь, стоит на месте, — добавил Корнеев.

— Я спрашиваю, где этот ваш... программист?

— Какой программист? — удивился Роман.

— Вы это прекратите, — сказал Модест. — Здесь был программист. Он стоял в брюках и без ботинок.

— Ах, вот что вы имеете в виду, — сказал Роман. — Но мы же пошутили, Модест Матвеевич. Не было здесь никакого программиста. Это было просто... — Он сделал какое-то движение руками, и посередине комнаты возник человек в майке и в джинсах. Я видел его со спины и ничего о нем сказать не могу, но юный Ковалев покачал головой и сказал:

— Нет, это не он.

Модест обошел призрак кругом, бормоча:

— Майка... штаны... без ботинок... Он! Это он.

Призрак исчез.

— Да нет же, это не тот, — сказал сержант Ковалев. — Тот был молодой, без бороды...

— Без бороды? — переспросил Модест. Он был сильно сконфужен.

— Без бороды, — подтвердил Ковалев.

— М-да... — сказал Модест. — А по-моему, у него была борода...

— Так я вручаю вам повестку, — сказал юный Ковалев и протянул Модесту листок бумаги казенного вида. — А вы уж сами разбирайтесь со своим Приваловым и со своей Горыныч...

— А я вам говорю, что это не наш пятак! — заорал Модест. — Я про Привалова ничего не говорю, может быть, Привалова и вообще нет

как такового... Но товарищ Горыныч наша сотрудница!..

Юный Ковалев, прижимая руки к груди, пытался что-то сказать.

— Я требую разобраться немедленно! — орал Модест. — Вы мне это прекратите, товарищи милиция! Данная повестка бросает тень на весь коллектив! Я требую, чтобы вы убедились!

— У меня приказ... — начал было Ковалев, но Модест с криком: «Вы это прекратите! Я настаиваю!» — бросился на него и поволок из комнаты.

— В музей повлек, — сказал Роман. — Саша, где ты? Снимай кепку, пойдем посмотрим...

— Может, лучше не снимать? — сказал я.

— Снимай, снимай, — сказал Роман. — Ты теперь фантом. В тебя теперь никто не верит — ни администрация, ни милиция...

Корнеев сказал:

— Ну, я пошел спать. Саша, ты приходи после обеда. Посмотришь наш парк машин и вообще...

Я снял кепку.

— Вы это прекратите, — сказал я. — Я в отпуске.

— Пойдем, пойдем, — сказал Роман.

В прихожей Модест, вцепившись одной рукой в сержанта, другой отпирал мощный висячий за-

мок. «Сейчас я вам покажу наш пятак! — кричал он. — Все заприходовано... Все на месте». — «Да я ничего не говорю, — слабо защищался Ковалев. — Я только говорю, что пятаков может быть не один...» Модест распахнул дверь, и мы все вошли в обширное помещение.

Это был вполне приличный музей — со стендами, диаграммами, витринами, макетами и муляжами. Общий вид более всего напоминал музей криминалистики: много фотографий и неаппетитных экспонатов. Модест сразу уволок сержанта куда-то за стенды, и там они вдвоем загудели, как в бочку: «Вот наш пятак...» — «А я ничего и не говорю...» — «Товарищ Горыныч...» — «А у меня приказ!..» — «Вы мне это прекратите!..»

— Полюбопытствуй, полюбопытствуй, Саша, — сказал Роман, сделал широкий жест и сел в кресло у входа.

Я пошел вдоль стены. Я ничему не удивлялся. Мне было просто очень интересно. «Вода живая. Эффективность 52%. Допустимый осадок 0,3» (старинная прямоугольная бутыль с водой, пробка залита цветным воском). «Схема промышленного добывания живой воды». «Макет живоводоперегонного куба». «Зелье приворотное Вешковского-Траубенбаха» (аптекарская баноч-

ка с ядовито-желтой мазью). «Кровь порченая обыкновенная» (запаянная ампула с черной жидкостью)... Над всем этим стендом висела табличка: «Активные химические средства. XII–XVIII вв.». Тут было еще много бутылочек, баночек, реторт, ампул, пробирок, действующих и недействующих моделей установок для возгонки, перегонки и сгущения, но я пошел дальше.

«Меч-кладенец» (очень ржавый двуручный меч с волнистым лезвием, прикован цепью к железной стойке, витрина тщательно опечатана). «Правый глазной (рабочий) зуб графа Дракулы Задунайского» (я не Кювье, но, судя по этому зубу, граф Дракула Задунайский был человеком весьма странным и неприятным). «След обыкновенный и след вынутый. Гипсовые отливки» (следы, по-моему, не отличались друг от друга, но одна отливка была с трещиной). «Ступа на стартовой площадке. IX век» (мощное сооружение из серого пористого чугуна)... «Змей Горыныч, скелет, 1/25 нат. вел.» (похоже на скелет диплодока с тремя шеями)... «Схема работы огнедышащей железы средней головы»... «Сапоги-скороходы гравигенные, действующая модель» (очень большие резиновые сапоги)... «Ковер-самолет гравизащитный. Действующая модель» (ковер примерно

полтора на полтора с черкесом, обнимающим младую черкешенку на фоне соплеменных гор)...

Я дошел до стенда «Развитие идеи философского камня», когда в зале вновь появились сержант Ковалев и Модест Матвеевич. Судя по всему, им так и не удалось сдвинуться с мертвой точки. «Вы это прекратите», — вяло говорил Модест. «У меня приказ», — так же вяло ответствовал Ковалев. «Наш пятак на месте...» — «Вот пусть старуха явится и даст показания...» — «Что же мы, по-вашему, фальшивомонетчики?..» — «А я этого и не говорил...» — «Тень на весь коллектив...» — «Разберемся...» Ковалев меня не заметил, а Модест остановился, мутно осмотрел с головы до ног, а затем поднял глаза, вяло прочитал вслух: «Го-мунку-лус лабораторный, общий вид», — и пошел дальше.

Я двинулся за ним, предчувствуя нехорошее. Роман ждал нас у дверей.

— Ну как? — спросил он.

— Безобразие, — вяло сказал Модест. — Бюрократы.

— У меня приказ, — упрямо повторил сержант Ковалев уже из прихожей.

— Ну, выходите, Роман Петрович, выходите, — сказал Модест, позвякивая ключами.

Роман вышел. Я сунулся было за ним, но Модест остановил меня.

— Я извиняюсь, — сказал он. — А вы куда?

— Как — куда? — спросил я упавшим голосом.

— На место, на место идите.

— На какое место?

— Ну, где вы там стоите? Вы, извиняюсь, это... хам-мункулс? Ну и стойте, где положено...

Я понял, что погиб. И я бы, наверное, погиб, потому что Роман, по-видимому, тоже растерялся, но в эту минуту в прихожую с топотом и стуком ввалилась Наина Киевна, ведя на веревке здоровенного черного козла. При виде сержанта милиции козел взмемекнул дурным голосом и рванулся прочь. Наина Киевна упала. Модест кинулся в прихожую, и поднялся невообразимый шум. С грохотом покатилась пустая кадушка. Роман схватил меня за руку и, прошептав: «Ходу, ходу!..» — бросился в мою комнату. Мы захлопнули за собой дверь и навалились на нее, тяжело дыша. В прихожей кричали:

— Предъявите документы!

— Батюшки, да что же это!

— Почему козел?! Почему в помещении козел?!

— Мэ-э-э-э-э...

— Вы это прекратите, здесь не пивная!

— Не знаю я ваших пятаков и не ведаю!

— Мэ-э-э!..

— Гражданка, уберите козла!

— Прекратите, козел заприходован!

— Как заприходован?!

— Это не козел! Это наш сотрудник!

— Тогда пусть предъявит!..

— Через окно — и в машину! — приказал Роман.

Я схватил куртку и выпрыгнул в окно. Из-под ног моих с мявом шарахнулся кот Василий. Пригибаясь, я подбежал к машине, распахнул дверцу и вскочил за руль. Роман уже откатывал воротину. Мотор не заводился. Терзая стартер, я увидел, как дверь избы распахнулась, из прихожей вылетел черный козел и гигантскими прыжками помчался прочь куда-то за угол. Мотор взревел. Я развернул машину и вылетел на улицу. Дубовая воротина с треском захлопнулась. Роман вынырнул из калитки и с размаху сел рядом со мной.

— Ходу! — сказал он бодро. — В центр!

Когда мы поворачивали на проспект Мира, он спросил:

— Ну, как тебе у нас?

— Нравится, — сказал я. — Только очень шумно.

— У Наины всегда шумно, — сказал Роман. — Вздорная старуха. Она тебя не обижала?

— Нет, — сказал я. — Мы почти и не общались.

— Подожди-ка, — сказал Роман. — Притормози.

— А что?

— А вон Володька идет. Помнишь Володю?

Я затормозил. Бородатый Володя влез на заднее сиденье и, радостно улыбаясь, пожал нам руки.

— Вот здорово! — сказал он. — А я как раз к вам иду!

— Только тебя там и не хватало, — сказал Роман.

— А чем все кончилось?

— Ничем, — сказал Роман.

— А куда вы теперь едете?

— В институт, — сказал Роман.

— Зачем? — спросил я.

— Работать, — сказал Роман.

— Я в отпуске.

— Это неважно, — сказал Роман. — Понедельник начинается в субботу, а август на этот раз начнется в июле!

— Меня ребята ждут, — сказал я умоляюще.

— Это мы берем на себя, — сказал Роман. — Ребята абсолютно ничего не заметят.

— С ума сойти, — сказал я.

Мы проехали между магазином № 2 и столовой № 11.

— Он уже знает, куда ехать, — заметил Володя.

— Отличный парень, — сказал Роман. — Гигант!

— Он мне сразу понравился, — сказал Володя.

— Видимо, вам позарез нужен программист, — сказал я.

— Нам нужен далеко не всякий программист, — возразил Роман.

Я затормозил возле странного здания с вывеской «НИИЧАВО» между окнами.

— Что это означает? — спросил я. — Могу я по крайней мере узнать, где меня вынуждают работать?

— Можешь, — сказал Роман. — Ты теперь все можешь. Это Научно-Исследовательский Институт Чародейства и Волшебства... Ну, что же ты стал? Загоняй машину!

— Куда? — спросил я.

— Ну неужели ты не видишь?

И я увидел.

Но это уже совсем другая история.

История вторая. Суета сует
Глава первая

Среди героев рассказа выделяются один-два главных героя, все остальные рассматриваются как второстепенные.
«Методика преподавания литературы»

Около двух часов дня, когда в «Алдане» снова перегорел предохранитель вводного устройства, раздался телефонный звонок. Звонил заместитель директора по административно-хозяйственной части Модест Матвеевич Камноедов.

— Привалов, — сурово сказал он, — почему вы опять не на месте?

— Как это не на месте? — обиделся я. День сегодня выдался хлопотливый, и я все позабыл.

— Вы это прекратите, — сказал Модест Матвеевич. — Вам уже пять минут назад надлежало явиться ко мне на инструктаж.

— Елки-палки, — сказал я и повесил трубку.

Я выключил машину, снял халат и велел девочкам не забыть вырубить ток. В большом коридоре было пусто, за полузамерзшими окнами мела

пурга. Надевая на ходу куртку, я побежал в хозяйственный отдел.

Модест Матвеевич в лоснящемся костюме величественно ждал меня в собственной приемной. За его спиной маленький гном с волосатыми ушами уныло и старательно возил пальцами по обширной ведомости.

— Вы, Привалов, как какой-нибудь этот... хаммункулс, — произнес Модест. — Никогда вас нет на месте.

С Модестом Матвеевичем все старались поддерживать только хорошие отношения, поскольку человек он был могучий, непреклонный и фантастически невежественный. Поэтому я рявкнул: «Слушаюсь!» — и щелкнул каблуками.

— Все должны быть на своих местах, — продолжал Модест Матвеевич. — Всегда. У вас вот высшее образование, и очки, и бороду вот отрастили, а понять такой простой теоремы не можете.

— Больше не повторится! — сказал я, выкатив глаза.

— Вы это прекратите, — сказал Модест Матвеевич, смягчаясь. Он извлек из кармана лист бумаги и некоторое время глядел в него. — Так вот, Привалов, — сказал он наконец, — сегодня вы заступаете дежурным. Дежурство по учреждению

во время праздников — занятие ответственное. Это вам не кнопки нажимать. Во-первых — противопожарная безопасность. Это первое. Не допускать самовозгорания. Следить за обесточенностью вверенных вам производственных площадей. И следить лично, без этих ваших фокусов с раздваиваниями и растраиваниями. Без этих ваших дубелей. При обнаружении фактора горения немедленно звонить по телефону 01 и приступать к принятию мер. На этот случай получите сигнальную дудку для вызова авральной команды... — Он вручил мне платиновый свисток с инвентарным номером. — А также никого не пускать. Вот это список лиц, которым разрешено пользование лабораториями в ночной период, но все равно тоже не пускать, потому что праздник. Во всем институте чтобы ни одной живой души. Всякие там другие души — пусть, но живой души чтобы ни одной. Демонов на входе и выходе заговорить. Понимаете обстановку? Живые души не должны входить, а все прочие не должны выходить. Потому что уже был прен-цен-дент: сбежал черт и украл луну. Широко известный прен-цендент, даже в кино отражен. — Он значительно на меня посмотрел и вдруг спросил документы.

Я повиновался. Он внимательно исследовал

мой пропуск, вернул его и произнес:

— Все верно. А то было у меня подозрение, что вы все-таки дубель. Вот так. Значит, в пятнадцать ноль-ноль в соответствии с трудовым законодательством рабочий день закончится, и все сдадут вам ключи от своих производственных помещений. После чего вы лично осмотрите территорию. В дальнейшем производите обходы каждые три часа на предмет самовозгорания. Не менее двух раз за период дежурства посетите виварий. Если надзиратель пьет чай — прекратите. Были сигналы: не чай он там пьет. В таком вот аксепте. Пост ваш в приемной у директора. На диване можете отдыхать. Завтра в шестнадцать ноль-ноль вас сменит Почкин Владимир из лаборатории товарища Ойры-Ойры. Доступно?

— Вполне, — сказал я.

— Я буду звонить вам ночью и завтра днем. Лично. Возможен контроль и со стороны товарища завкадрами.

— Вас понял, — сказал я и проглядел список.

Первым в списке значился директор института Янус Полуэктович Невструев с карандашной пометкой «два экз.». Вторым шел лично Модест Матвеевич, третьим — товарищ завкадрами гражданин Демин Кербер Псоевич. А дальше

шли фамилии, которых я никогда и нигде не встречал.

— Что-нибудь недоступно? — осведомился Модест Матвеевич, ревниво за мной следивший.

— Вот тут, — сказал я веско, тыча пальцем в список, — наличествуют товарищи в количестве... м-м-м... двадцати двух экземпляров, лично мне неизвестные. Эти фамилии я хотел бы с вами лично провентилировать. — Я посмотрел ему прямо в глаза и добавил твердо: — Во избежание.

Модест Матвеевич взял список и оглядел его на расстоянии вытянутой руки.

— Все верно, — сказал он снисходительно. — Просто вы, Привалов, не в курсе. Лица, поименованные с номера четвертого по номер двадцать пятый и последний включительно, занесены в списки лиц, допущенных к ночным работам посмертно. В порядке признания их заслуг в прошлом. Теперь вам доступно?

Я слегка обалдел, потому что привыкнуть ко всему этому было все-таки очень трудно.

— Занимайте свой пост, — величественно сказал Модест Матвеевич. — Я со своей стороны и от имени администрации поздравляю вас, товарищ Привалов, с наступающим Новым годом и желаю вам в новом году соответствующих успехов как в

работе, так и в личной жизни.

Я тоже пожелал ему соответствующих успехов и вышел в коридор.

Узнавши вчера о том, что меня назначили дежурным, я обрадовался: я намеревался закончить один расчет для Романа Ойры-Ойры. Однако теперь я чувствовал, что дело обстоит не так просто. Перспектива провести ночь в институте представилась мне вдруг в совершенно новом свете. Я и раньше задерживался на работе допоздна, когда дежурные из экономии уже гасили четыре лампы из пяти в каждом коридоре и приходилось пробираться к выходу мимо каких-то шарахающихся мохнатых теней. Первое время это производило на меня сильнейшее впечатление, потом я привык, а потом снова отвык, когда, возвращаясь однажды по большому коридору, услышал сзади мерное цок-цок-цок когтей по паркету и, оглянувшись, обнаружил некое фосфоресцирующее животное, бегущее явно по моим следам. Правда, когда меня сняли с карниза, выяснилось, что это была обыкновенная живая собачка одного из сотрудников. Сотрудник приходил извиняться, Ойра-Ойра прочел мне издевательскую лекцию о вреде суеверий, но какой-то осадок у меня в душе все-таки остался. Первым делом заговорю

демонов, подумал я.

У входа в приемную директора мне повстречался мрачный Витька Корнеев. Он хмуро кивнул и хотел пройти мимо, но я поймал его за рукав.

— Ну? — сказал грубый Корнеев, останавливаясь.

— Я сегодня дежурю, — сообщил я.

— Ну и дурак, — сказал Корнеев.

— Грубый ты все-таки, Витька, — сказал я. — Не буду я с тобой больше общаться.

Витька оттянул пальцем воротник свитера и с интересом посмотрел на меня.

— А что же ты будешь? — спросил он.

— Да уж найду что, — сказал я, несколько растерявшись.

Витька вдруг оживился.

— Постой-ка, — сказал он. — Ты что, в первый раз дежуришь?

— Да.

— Ага, — сказал Витька. — И как ты намерен действовать?

— Согласно инструкции, — ответил я. — Заговорю демонов и лягу спать. На предмет самовозгорания. А ты куда денешься?

— Да собирается там одна компания, — неопределенно сказал Витька. — У Верочки... А это у

тебя что? — Он взял у меня список. — А, мертвые души...

— Никого не пущу, — сказал я. — Ни живых, ни мертвых.

— Правильное решение, — сказал Витька. — Архиверное. Только присмотри у меня в лаборатории. Там у меня будет работать дубль.

— Чей дубль?

— Мой дубль, естественно. Кто мне своего отдаст? Я его там запер, вот, возьми ключ, раз ты дежурный.

Я взял ключ.

— Слушай, Витька, часов до десяти пусть он поработает, но потом я все обесточу. В соответствии с законодательством.

— Ладно, там видно будет. Ты Эдика не встречал?

— Не встречал, — сказал я. — И не забивай мне баки. В десять часов я все обесточу.

— А я разве против? Обесточивай, пожалуйста. Хоть весь город.

Тут дверь приемной отворилась, и в коридор вышел Янус Полуэктович.

— Так, — произнес он, увидев нас.

Я почтительно поклонился. По лицу Януса Полуэктовича было видно, что он забыл, как меня

зовут.

— Прошу, — сказал он, подавая мне ключи. — Вы ведь дежурный, если я не ошибаюсь... Кстати... — Он поколебался. — Я с вами не беседовал вчера?

— Да, — сказал я, — вы заходили в электронный зал.

Он покивал.

— Да-да, действительно... Мы говорили о практикантах...

— Нет, — возразил я почтительно, — не совсем так. Это насчет нашего письма в Центракадемснаб. Про электронную приставку.

— Ах вот как, — сказал он. — Ну хорошо, желаю вам спокойного дежурства... Виктор Павлович, можно вас на минутку?

Он взял Витьку под руку и увел по коридору, а я вошел в приемную. В приемной второй Янус Полуэктович запирал сейфы. Увидев меня, он сказал: «Так», и снова принялся позвякивать ключами. Это был А-Янус, я уже немножко научился различать их. А-Янус выглядел несколько моложе, был неприветлив, всегда корректен и малоразговорчив. Рассказывали, что он много работает, и люди, знавшие его давно, утверждали, что этот посредственный администратор мед-

ленно, но верно превращается в выдающегося ученого. У-Янус, напротив, был всегда ласков, очень внимателен и обладал странной привычкой спрашивать: «Я с вами не беседовал вчера?» Поговаривали, что он сильно сдал в последнее время, хотя и оставался ученым с мировым именем. И все-таки А-Янус и У-Янус были одним и тем же человеком. Вот это у меня никак не укладывалось в голове. Была в этом какая-то условность. Я даже подозревал, что это просто метафора.

А-Янус замкнул последний замок, вручил мне часть ключей и, холодно попрощавшись, ушел. Я уселся за стол референта, положил перед собой список и позвонил к себе в электронный зал. Никто не отозвался — видимо, девочки уже разошлись. Было четырнадцать часов тридцать минут.

В четырнадцать часов тридцать одну минуту в приемную, шумно отдуваясь и треща паркетом, ввалился знаменитый Федор Симеонович Киврин, великий маг и кудесник, заведующий отделом Линейного Счастья. Федор Симеонович славился неисправимым оптимизмом и верой в прекрасное будущее. У него было очень бурное прошлое. При Иване Васильевиче — царе Грозном опричники тогдашнего министра госу-

дарственной безопасности Малюты Скуратова с шутками и прибаутками сожгли его по доносу соседа-дьяка в деревянной бане как колдуна; при Алексее Михайловиче — царе Тишайшем его били батогами нещадно и спалили у него на голой спине полное рукописное собрание его сочинений; при Петре Алексеевиче — царе Великом он сначала возвысился было как знаток химии и рудного дела, но не потрафил чем-то князю-кесарю Ромодановскому, попал в каторгу на тульский оружейный завод, бежал оттуда в Индию, долго путешествовал, кусан был ядовитыми змеями и крокодилами, нечувствительно превзошел йогу, вновь вернулся в Россию в разгар пугачевщины, был обвинен как врачеватель бунтовщиков, обезноздрен и сослан в Соловец навечно. В Соловце опять имел массу всяких неприятностей, пока не прибился к НИИЧАВО, где быстро занял пост заведующего отделом и последнее время много работал над проблемами человеческого счастья, беззаветно сражаясь с теми коллегами, которые базой счастья полагали довольство.

— П-приветствую вас! — пробасил он, кладя передо мною ключи от своих лабораторий. — Б-бедняга, к-как же вы это? В-вам веселиться надо в т-такую ночь, я п-позвоню Модесту, что за г-глу-

пости, я сам п-подежурю...

Видно было, что мысль эта только что пришла ему в голову, и он страшно ею загорелся.

— Н-ну-ка, где здесь его т-телефон? П-проклятье, н-никогда не п-помню т-телефонов... Один-п-пятнадцать или п-пять-одиннадцать...

— Что вы, Федор Симеонович, спасибо! — вскричал я. — Не надо! Я тут как раз поработать собрался!

— Ах, п-поработать! Это д-другое дело! Эт' х-хорошо, эт' здорово, вы м-молодец!.. А я, ч-черт, электроники н-ни черта не знаю... Н-надо учиться, а т-то вся эта м-магия слова, с-старье, ф-фокусы-покусы с п-психополями, п-примитив... Д-дедовские п-приемчики...

Он тут же, не сходя с места, сотворил две большие антоновки, одну вручил мне, а от второй откусил сразу половину и принялся сочно хрустеть.

— П-проклятье, опять ч-червивое сделал... У вас как — х-хорошее? Эт' хорошо... Я к в-вам, Саша, п-попозже еще загляну, а то я н-не совсем п-понимаю все-таки систему к-команд... В-водки только выпью и з-зайду... Д-двадцать д-девятая к-команда у вас там в м-машине... Т-то ли машина врет, то ли я н-не понимаю... Д-детективчик вам п-при-

несу, Г-гарднера. В-вы ведь читаете по-аглицки? Х-хорошо, шельма, пишет, з-здорово! П-перри Мейсон у него там, з-зверюга-адвокат, з-знаете?.. А п-потом еще что-нибудь д-дам, с-сайнс-фикшн к-какую-нибудь... Аз-зимова там, или Б-брэдбери...

Он подошел к окну и сказал восхищенно:

— П-пурга, черт возьми, л-люблю!..

Вошел, кутаясь в норковую шубу, тонкий и изящный Кристобаль Хозевич Хунта. Федор Симеонович обернулся.

— А, К-кристо! — воскликнул он. — П-полюбуйся, Камноедов этот, д-дурак, засадил м-молодого п-парня дежурить н-на Новый год. Д-давай отпустим его, вдвоем останемся, в-вспомянем старину, в-выпьем, а? Ч-что он тут будет мучиться?.. Ему п-плясать надо, с д-девушками...

Хунта положил на стол ключи и сказал небрежно:

— Общение с девушками доставляет удовольствие лишь в тех случаях, когда достигается через преодоление препятствий...

— Н-ну еще бы! — загремел Федор Симеонович. — М-много крови, много п-песней за п-прелестных льется дам... К-как это там у вас?.. Только тот д-достигнет цели, кто не знает с-слова «страх»...

— Именно, — сказал Хунта. — И потом — я не

терплю благотворительности.

— Б-благотворительности он не терпит! А кто у меня выпросил Одихмантьева? П-переманил, п-понимаешь, такого лаборанта... Ставь теперь б-бутылку шампанского, н-не меньше... С-слушай, не надо шампанского! Амонтильядо! У т-тебя еще осталось от т-толедских запасов?

— Нас ждут, Теодор, — напомнил Хунта.

— Д-да, верно... Надо еще г-галстук найти... и валенки, такси же не д-достанешь... Мы пошли, Саша, н-не скучайте тут.

— В новогоднюю ночь в институте дежурные не скучают, — негромко сказал Хунта. — Особенно новички.

Они пошли к двери. Хунта пропустил Федора Симеоновича вперед и, прежде чем выйти, косо глянул на меня и стремительно вывел пальцем на стене Соломонову звезду. Звезда вспыхнула и стала медленно тускнеть, как след пучка электронов на экране осциллографа. Я трижды плюнул через левое плечо.

Кристобаль Хозевич Хунта, заведующий отделом Смысла Жизни, был человек замечательный, но, по-видимому, совершенно бессердечный. Некогда, в ранней молодости, он долго был Великим Инквизитором, но потом впал в ересь, хотя и по

сию пору сохранил тогдашние замашки, весьма впрочем пригодившиеся ему, по слухам, во время борьбы против пятой колонны в Испании. Почти все свои неудобопонятные эксперименты он производил либо над собой, либо над своими сотрудниками, и об этом уже при мне возмущенно говорили на общем профсоюзном собрании. Занимался он изучением смысла жизни, но продвинулся пока не очень далеко, хотя и получил интересные результаты, доказав, например, теоретически, что смерть отнюдь не является непременным атрибутом жизни. По поводу этого последнего открытия тоже возмущались — на философском семинаре. В кабинет к себе он почти никого не пускал, и по институту ходили смутные слухи, что там масса интересных вещей. Рассказывали, что в углу кабинета стоит великолепно выполненное чучело одного старинного знакомого Кристобаля Хозевича, штандартенфюрера СС, в полной парадной форме, с моноклем, кортиком, железным крестом, дубовыми листьями и прочими причиндалами. Хунта был великолепным таксидермистом. Штандартенфюрер, по словам Кристобаля Хозевича, — тоже. Но Кристобаль Хозевич успел раньше. Он любил успевать раньше — всегда и во всем. Не чужд ему был и некоторый

скептицизм. В одной из его лабораторий висел огромный плакат: «Нужны ли мы нам?» Очень незаурядный человек.

Ровно в три часа, в соответствии с трудовым законодательством, принес ключи доктор наук Амвросий Амбруазович Выбегалло. Он был в валенках, подшитых кожей, в пахучем извозчицком тулупе, из поднятого воротника торчала вперед седоватая нечистая борода. Волосы он стриг под горшок, так что никто никогда не видел его ушей.

— Эта... — сказал он, приближаясь. — У меня там, может, сегодня кто вылупится. В лаборатории, значить. Надо бы, эта, присмотреть. Я ему там запасов наложил, эта, хлебца, значить, буханок пять, ну там отрубей пареных, два ведра обрату. Ну, а как все, эта, поест, кидаться начнет, значить. Так ты мне, мон шер, того, брякни, милый.

Он положил передо мной связку амбарных ключей и в каком-то затруднении открыл рот, уставясь на меня. Глаза у него были прозрачные, в бороде торчало пшено.

— Куда брякнуть-та? — спросил я.

Очень я его не любил. Был он циник, и был он дурак. Работу, которой он занимался за триста

пятьдесят рублей в месяц, можно было бы смело назвать евгеникой, но никто ее так не называл — боялись связываться. Этот Выбегалло заявлял, что все беды, эта, от неудовольствия проистекают и ежели, значить, дать человеку все — хлебца, значить, отрубей пареных, — то и будет не человек, а ангел. Нехитрую эту идею он пробивал всячески, размахивая томами классиков, из которых с неописуемым простодушием выдирал с кровью цитаты, нещадно опуская и вымарывая все, что ему не подходило. В свое время Ученый совет дрогнул под натиском этой неудержимой, какой-то даже первобытной демагогии, и тема Выбегаллы была включена в план. Действуя строго по этому плану, старательно измеряя свои достижения в процентах выполнения и никогда не забывая о режиме экономии, увеличении оборачиваемости оборотных средств, а также о связи с жизнью, Выбегалло заложил три экспериментальные модели: модель Человека, неудовлетворенного полностью, модель Человека, неудовлетворенного желудочно, и модель Человека, полностью удовлетворенного. Полностью неудовлетворенный антропоид поспел первым — он вывелся две недели назад. Это жалкое существо, покрытое язвами, как Иов, по-

луразложившееся, мучимое всеми известными и неизвестными болезнями, невероятно голодное, страдающее от холода и от жары одновременно, вывалилось в коридор, огласило институт серией нечленораздельных жалоб и издохло. Выбегалло торжествовал. Теперь можно было считать доказанным, что ежели человека не кормить, не поить, не лечить, то он, эта, будет, значить, несчастлив и даже, может, помрет. Как вот этот помер. Ученый совет ужаснулся. Затея Выбегаллы оборачивалась какой-то жуткой стороной. Была создана комиссия для проверки работы Выбегаллы. Но тот, не растерявшись, представил две справки, из коих следовало, во-первых, что трое лаборантов его лаборатории ежегодно выезжают работать в подшефный совхоз, и, во-вторых, что он, Выбегалло, некогда был узником царизма, а теперь регулярно читает популярные лекции в городском лектории и на периферии. И пока ошеломленная комиссия пыталась разобраться в логике происходящего, он неторопливо вывез с подшефного рыбозавода (в порядке связи с производством) четыре грузовика селедочных голов для созревающего антропоида, неудовлетворенного желудочно. Комиссия писала отчет, а институт в страхе ждал дальнейших событий.

Соседи Выбегаллы по этажу брали отпуска за свой счет.

— Куда брякнуть-та? — спросил я.

— Брякнуть-та? А домой, куда же еще в Новый год-та. Мораль должна быть, милай. Новый год дома встречать надо. Так это выходит по-нашему, нес па?1

— Я знаю, что домой. По какому телефону?

— А ты, эта, в книжечку посмотри. Грамотный? Вот и посмотри, значить, в книжечку. У нас секретов нет, не то что у иных прочих. Ан масс2.

— Хорошо, — сказал я. — Брякну.

— Брякни, мон шер, брякни. А кусаться он начнет, так ты его по сусалам, не стесняйся. Се ля ви3.

Я набрался храбрости и буркнул:

— А ведь мы с вами на брудершафт не пили.

— Пардон?

— Ничего, это я так, — сказал я.

Некоторое время он смотрел на меня своими прозрачными глазами, в которых ничегошеньки не выражалось, потом проговорил:

— А ничего, так и хорошо, что ничего. С праздником тебя с наступающим. Бывай здоров. Аривуар4, значить.

Он напялил ушанку и удалился. Я торопливо

открыл форточку. Влетел Роман Ойра-Ойра в зеленом пальто с барашковым воротником, пошевелил горбатым носом и осведомился:

— Выбегалло забегалло?

— Забегалло, — сказал я.

— Н-да, — сказал он. — Это селедка. Держи ключи. Знаешь, куда он один грузовик свалил? Под окнами у Жиана Жиакомо. Прямо под кабинетом. Новогодний подарочек. Выкурю-ка я у тебя здесь сигарету.

Он упал в огромное кожаное кресло, расстегнул пальто и закурил.

— А ну-ка, займись, — сказал он. — Дано: запах селедочного рассола, интенсивность шестнадцать микротопоров, кубатура... — Он оглядел комнату. — Ну, сам сообразишь, год на переломе, Сатурн в созвездии Весов... Удаляй!

Я почесал за ухом.

— Сатурн... Что ты мне про Сатурн... А вектор магистатум какой?

— Ну, брат, — сказал Ойра-Ойра, — это ты сам должен...

Я почесал за другим ухом, прикинул в уме вектор и произвел, запинаясь, акустическое воздействие (произнес заклинание). Ойра-Ойра зажал нос. Я выдрал из брови два волоска (ужас-

но больно и глупо) и поляризовал вектор. Запах опять усилился.

— Плохо, — с упреком сказал Ойра-Ойра. — Что ты делаешь, ученик чародея? Ты что, не видишь, что форточка открыта?

— А, — сказал я, — верно. — Я учел дивергенцию и ротор, попытался решить уравнение Стокса в уме, запутался, вырвал, дыша через рот, еще два волоска, принюхался, пробормотал заклинание Ауэрса и совсем уже собрался было вырвать еще волосок, но тут обнаружилось, что приемная проветрилась естественным путем, и Роман посоветовал мне экономить брови и закрыть форточку.

— Посредственно, — сказал он. — Займемся материализацией.

Некоторое время мы занимались материализацией. Я творил груши, а Роман требовал, чтобы я их ел. Я отказывался есть, и тогда он заставлял меня творить снова. «Будешь работать, пока не получится что-нибудь съедобное, — говорил он. — А это отдашь Модесту. Он у нас Камноедов». В конце концов я сотворил настоящую грушу — большую, желтую, мягкую, как масло, и горькую, как хина. Я ее съел, и Роман разрешил мне отдохнуть.

Тут принес ключи бакалавр черной магии Магнус Федорович Редькин, толстый, как всегда озабоченный и разобиженный. Бакалавра он получил триста лет назад за изобретение портков-невидимок. С тех пор он эти портки все совершенствовал и совершенствовал. Портки-невидимки превратились у него сначала в кюлоты-невидимки, потом в штаны-невидимки, и наконец совсем недавно о них стали говорить как о брюках-невидимках. И никак он не мог их отладить. На последнем заседании семинара по черной магии, когда он делал очередной доклад «О некоторых новых свойствах брюк-невидимок Редькина», его опять постигла неудача. Во время демонстрации модернизированной модели что-то там заело в пуговично-подтяжечном механизме, и брюки, вместо того чтобы сделать невидимым изобретателя, вдруг со звонким щелчком сделались невидимы сами. Очень неловко получилось. Однако главным образом Магнус Федорович работал над диссертацией, тема которой звучала так: «Материализация и линейная натурализация Белого Тезиса как аргумента достаточно произвольной функции сигма не вполне представимого человеческого счастья».

Тут он достиг значительных и важных результатов, из коих следовало, что человечество буквально купалось бы в не вполне представимом счастье, если бы только удалось найти сам Белый Тезис, а главное — понять, что это такое и где его искать.

Упоминание о Белом Тезисе встречалось только в дневниках Бен Бецалеля. Бен Бецалель якобы выделил Белый Тезис как побочный продукт какой-то алхимической реакции и, не имея времени заниматься такой мелочью, вмонтировал его в качестве подсобного элемента в какой-то свой прибор. В одном из последних мемуаров, написанных уже в темнице, Бен Бецалель сообщал: «И можете вы себе представить? Тот Белый Тезис не оправдал-таки моих надежд, не оправдал. И когда я сообразил, какая от него могла быть польза — я говорю о счастье для всех людей, сколько их есть, — я уже забыл, куда же я его вмонтировал». За институтом числилось семь приборов, принадлежавших некогда Бен Бецалелю. Шесть из них Редькин разобрал до винтика и ничего особенного не нашел. Седьмым прибором был диван-транслятор. Но на диван наложил руку Витька Корнеев, и в простую душу Редькина закрались самые черные подозрения.

Он стал следить за Витькой. Витька немедленно озверел. Они поссорились и стали заклятыми врагами, и оставались ими по сей день. Ко мне как к представителю точных наук Магнус Федорович относился благожелательно, хотя и осуждал мою дружбу с «этим плагиатором». В общем-то Редькин был неплохим человеком, очень трудолюбивым, очень упорным, начисто лишенным корыстолюбия. Он проделал громадную работу, собравши гигантскую коллекцию разнообразнейших определений счастья. Там были простейшие негативные определения («Не в деньгах счастье»), простейшие позитивные определения («Высшее удовлетворение, полное довольство, успех, удача»), определения казуистические («Счастье есть отсутствие несчастья») и парадоксальные («Счастливей всех шуты, дураки, сущеглупые и нерадивые, ибо укоров совести они не знают, призраков и прочей нежити не страшатся, боязнью грядущих бедствий не терзаются, надеждой будущих благ не обольщаются»).

Магнус Федорович положил на стол коробочку с ключом и, недоверчиво глядя на нас исподлобья, сказал:

— Я еще одно определение нашел.

— Какое? — спросил я.

— Что-то вроде стихов. Только там нет рифмы. Хотите?

— Конечно, хотим, — сказал Роман.

Магнус Федорович вынул записную книжку и, запинаясь, прочел:

Вы спрашиваете:
Что считаю
Я наивысшим счастьем на земле?
Две вещи:
Менять вот так же состоянье духа,
Как пенни выменял бы я на шиллинг,
И
Юной девушки
Услышать пенье
Вне моего пути, но вслед за тем,
Как у меня дорогу разузнала.

— Ничего не понял, — сказал Роман. — Дайте я прочту глазами.

Редькин отдал ему записную книжку и пояснил:

— Это Кристофер Лог. С английского.

— Отличные стихи, — сказал Роман.

Магнус Федорович вздохнул.

— Одни одно говорят, другие — другое.

— Тяжело, — сказал я сочувственно.

— Правда ведь? Ну как тут все увяжешь? Девушки услышать пенье... И ведь не всякое пенье какое-нибудь, а чтобы девушка была юная, находилась вне его пути, да еще только после того, как у него про дорогу спросит... Разве же так можно? Разве такие вещи алгоритмизируются?

— Вряд ли, — сказал я. — Я бы не взялся.

— Вот видите! — подхватил Магнус Федорович. — А вы у нас заведующий вычислительным центром! Кому же тогда?

— А может, его вообще нет? — сказал Роман голосом кинопровокатора.

— Чего?

— Счастья.

Магнус Федорович сразу обиделся.

— Как же его нет, — с достоинством сказал он, — когда я сам его неоднократно испытывал?

— Выменяв пенни на шиллинг? — спросил Роман.

Магнус Федорович обиделся еще больше и вырвал у него записную книжку.

— Вы еще молодой... — начал он.

Но тут раздался грохот, треск, сверкнуло пламя и запахло серой. Посередине приемной возник

Мерлин. Магнус Федорович, шарахнувшийся от неожиданности к окну, сказал: «Тьфу на вас!» — и выбежал вон.

— Good God! — сказал Ойра-Ойра, протирая запорошенные глаза. — Canst thou not come in by usual way as decent people do?.. Sir[5], — добавил он.

— Beg thy pardon[6], — сказал Мерлин самодовольно и с удовлетворением посмотрел на меня. Наверное, я был бледен, потому что очень испугался самовозгорания.

Мерлин оправил на себе побитую молью мантию, швырнул на стол связку ключей и произнес:

— Вы заметили, сэры, какие стоят погоды?

— Предсказанные, — сказал Роман.

— Именно, сэр Ойра-Ойра! Именно предсказанные!

— Полезная вещь — радио, — сказал Роман.

— Я радио не слушаю, — сказал Мерлин. — У меня свои методы.

Он потряс подолом мантии и поднялся на метр над полом.

— Люстра, — сказал я, — осторожнее.

Мерлин посмотрел на люстру и ни с того ни с сего начал:

— О вы, пропитанные духом западного матери-

ализма, низкого меркантилизма и утилитаризма, чье спиритуальное убожество не способно подняться над мраком и хаосом мелких угрюмых забот... Не могу не вспомнить, дорогие сэры, как в прошлом году мы с сэром председателем райсовета товарищем Переяславльским...

Ойра-Ойра душераздирающе зевнул, мне тоже стало тоскливо. Мерлин был бы, вероятно, еще хуже, чем Выбегалло, если бы не был столь архаичен и самонадеян. По чьей-то рассеянности ему удалось продвинуться в заведующие отделом Предсказаний и Пророчеств, потому что во всех анкетах он писал о своей непримиримой борьбе против империализма янки еще в раннем средневековье, прилагая к анкетам нотариально заверенные машинописные копии соответствующих страниц из Марка Твена. Впоследствии же, в связи с изменением внутренней обстановки и потеплением международного климата, он был вновь переведен на свое место заведующего бюро погоды и теперь, как и тысячу лет назад, занимался предсказаниями атмосферных явлений — и с помощью магических средств, и на основании поведения тарантулов, усиления ревматических болей и стремления соловецких свиней залечь в грязь или выйти из оной. Впрочем, основным по-

ставщиком его прогнозов был самый вульгарный радиоперехват, осуществлявшийся детекторным приемником, по слухам, похищенным еще в двадцатые годы с соловецкой выставки юных техников. В институте его держали из уважения к старости. Он был в большой дружбе с Наиной Киевной Горыныч и вместе с ней занимался коллекционированием и распространением слухов о появлении в лесах гигантской волосатой женщины и о пленении одной студентки снежным человеком с Эльбруса. Говорили также, что время от времени он принимает участие в ночных бдениях на республиканской Лысой Горе с Ха Эм Вием, Хомой Брутом и другими хулиганами.

Мы с Романом молчали и ждали, когда он исчезнет. Но он, упаковавшись в мантию, удобно расположился под люстрой и затянул длинный, всем давно уже осточертевший рассказ о том, как он, Мерлин, и председатель соловецкого райсовета товарищ Переяславльский совершали инспекторский вояж по району. Вся эта история была чистейшим враньем, бездарным и конъюнктурным переложением Марка Твена. О себе он говорил в третьем лице, а председателя иногда, сбиваясь, называл королем Артуром.

— Итак, председатель райсовета и Мерлин от-

правились в путь и приехали к пасечнику, Герою Труда сэру Отшельниченко, который был добрым рыцарем и знатным медосборцем. И сэр Отшельниченко доложил о своих трудовых успехах и полечил сэра Артура от радикулита пчелиным ядом. И сэр председатель прожил там три дня, и радикулит его успокоился, и они двинулись в путь, и в пути сэр Ар... председатель сказал: «У меня нет меча». — «Не беда, — сказал ему Мерлин, — я добуду тебе меч». И они доехали до большого озера, и видит Артур: из озера поднялась рука, мозолистая и своя, и в той руке серп и молот. И сказал Мерлин: «Вот тот меч, о котором я говорил тебе...»

Тут раздался телефонный звонок, и я с радостью схватил трубку.

— Алло, — сказал я. — Алло, вас слушают.

В трубке что-то бормотали, и гнусаво тянул Мерлин: «...И возле Лежнева они встретили сэра Пеллинора, однако Мерлин сделал так, что Пеллинор не заметил председателя...»

— Сэр гражданин Мерлин, — сказал я. — Нельзя ли чуть потише? Я ничего не слышу.

Мерлин замолчал с видом человека, готового продолжать в любой момент.

— Алло, — снова сказал я в трубку.

— Кто у аппарата?

— А вам кого нужно? — сказал я по старой привычке.

— Вы мне это прекратите. Вы не в балагане, Привалов.

— Виноват, Модест Матвеевич. Дежурный Привалов слушает.

— Вот так. Докладывайте.

— Что докладывать?

— Слушайте, Привалов. Вы опять ведете себя, как я не знаю кто. С кем вы там разговаривали? Почему на посту посторонние? Почему, в нарушение трудового законодательства, в институте после окончания рабочего дня находятся люди?

— Это Мерлин, — сказал я.

— Гоните его в шею!

— С удовольствием, — сказал я. (Мерлин, несомненно подслушивавший, покрылся пятнами, сказал: «Гр-рубиян!» — и растаял в воздухе.)

— С удовольствием или без удовольствия — это меня не касается. А вот тут поступил сигнал, что вверенные вам ключи вы сваливаете кучей на столе, вместо того чтобы запирать их в ящик.

Выбегалло донес, подумал я.

— Вы почему молчите?

— Будет исполнено.

— В таком вот аксепте, — сказал Модест Матвеевич. — Бдительность должна быть на высоте. Доступно?

— Доступно.

Модест Матвеевич сказал: «У меня все», — и дал отбой.

— Ну ладно, — сказал Ойра-Ойра, застегивая зеленое пальто. — Пойду вскрывать консервы и откупоривать бутылки. Будь здоров, Саша, я еще забегу попозже.

Глава вторая

Я шел, спускаясь в темные коридоры и потом опять поднимаясь наверх. Я был один; я кричал, мне не отвечали; я был один в этом обширном, в запутанном, как лабиринт, доме.

Ги де Мопассан

Свалив ключи в карман пиджака, я отправился в первый обход. По парадной лестнице, которой на моей памяти пользовались всего один раз, когда институт посетило августейшее лицо из Африки, я спустился в необозримый вестибюль, украшенный многовековыми наслоениями ар-

хитектурных излишеств, и заглянул в окошечко швейцарской. Там в фосфоресцирующем тумане маячили два макродемона Максвелла. Демоны играли в самую стохастическую из игр — в орлянку. Они занимались этим все свободное время, огромные, вялые, неописуемо нелепые, более всего похожие на колонии вируса полиомиелита под электронным микроскопом, одетые в поношенные ливреи. Как и полагается демонам Максвелла, всю свою жизнь они занимались открыванием и закрыванием дверей. Это были опытные, хорошо выдрессированные экземпляры, но один из них, тот, что ведал выходом, достиг уже пенсионного возраста, сравнимого с возрастом Галактики, и время от времени впадал в детство и начинал барахлить. Тогда кто-нибудь из отдела Технического Обслуживания надевал скафандр, забирался в швейцарскую, наполненную сжатым аргоном, и приводил старика в чувство.

Следуя инструкции, я заговорил обоих, то есть перекрыл каналы информации и замкнул на себя вводно-выводные устройства. Демоны не отреагировали, им было не до того. Один выигрывал, а другой, соответственно, проигрывал, и это их беспокоило, потому что нарушало статистическое

равновесие. Я закрыл окошечко щитом и обошел вестибюль. В вестибюле было сыро, сумрачно и гулко. Здание института было вообще довольно древнее, но строиться оно начало, по-видимому, с вестибюля. В заплесневелых углах белесо мерцали кости прикованных скелетов, где-то мерно капала вода, в нишах между колоннами в неестественных позах торчали статуи в ржавых латах, справа от входа у стены громоздились обломки древних идолов, наверху этой кучи торчали гипсовые ноги в сапогах. С почерневших портретов под потолком строго взирали маститые старцы, в их лицах усматривались знакомые черты Федора Симеоновича, товарища Жиана Жиакомо и других мастеров. Весь этот архаический хлам надлежало давным-давно выбросить, прорубить в стенах окна и установить трубки дневного света, но все было заприходовано, заинвентаризировано и лично Модестом Матвеевичем к разбазариванию запрещено.

На капителях колонн и в лабиринтах исполинской люстры, свисающей с почерневшего потолка, шуршали нетопыри и летучие собаки. С ними Модест Матвеевич боролся. Он поливал их скипидаром и креозотом, опылял дустом, опрыскивал гексахлораном, они гибли тысячами, но

возрождались десятками тысяч. Они мутировали, среди них появлялись поющие и разговаривающие штаммы, потомки наиболее древних родов питались теперь исключительно пиретрумом, смешанным с хлорофосом, а институтский киномеханик Саня Дрозд клялся, что своими глазами видел здесь однажды нетопыря, как две капли воды похожего на товарища завкадрами.

В глубокой нише, из которой тянуло ледяным смрадом, кто-то застонал и загремел цепями. «Вы это прекратите, — строго сказал я. — Что еще за мистика! Как не стыдно!..» В нише затихли. Я хозяйственно поправил сбившийся ковер и поднялся по лестнице.

Как известно, снаружи институт выглядел двухэтажным. На самом деле в нем было не менее двенадцати этажей. Выше двенадцатого я просто никогда не поднимался, потому что лифт постоянно чинили, а летать я еще не умел. Фасад с десятью окнами, как и большинство фасадов, тоже был обманом зрения. Вправо и влево от вестибюля институт простирался по крайней мере на километр, и тем не менее решительно все окна выходили на ту же кривоватую улицу и на тот же самый лабаз. Это поражало меня необычайно. Первое время я приставал к Ойре-Ойре,

чтобы он мне объяснил, как это совмещается с классическими или хотя бы с релятивистскими представлениями о свойствах пространства. Из объяснений я ничего не понял, но постепенно привык и перестал удивляться. Я совершенно убежден, что через десять-пятнадцать лет любой школьник будет лучше разбираться в общей теории относительности, чем современный специалист. Для этого вовсе не нужно понимать, как происходит искривление пространства-времени, нужно только, чтобы такое представление с детства вошло в быт и стало привычным.

Весь первый этаж был занят отделом Линейного Счастья. Здесь было царство Федора Симеоновича, здесь пахло яблоками и хвойными лесами, здесь работали самые хорошенькие девушки и самые славные ребята. Здесь не было мрачных изуверов, знатоков и адептов черной магии, здесь никто не рвал, шипя и кривясь от боли, из себя волос, никто не бормотал заклинаний, похожих на неприличные скороговорки, не варил заживо жаб и ворон в полночь, в полнолуние, на Ивана Купала, по несчастливым числам. Здесь работали на оптимизм. Здесь делали все возможное в рамках белой, субмолекулярной и инфранейронной магии, чтобы повысить душевный тонус каждо-

го отдельного человека и целых человеческих коллективов. Здесь конденсировали и распространяли по всему свету веселый, беззлобный смех; разрабатывали, испытывали и внедряли модели поведений и отношений, укрепляющих дружбу и разрушающих рознь; возгоняли и сублимировали экстракты гореутолителей, не содержащих ни единой молекулы алкоголя и иных наркотиков. Сейчас здесь готовили к полевым испытаниям портативный универсальный злободробитель и разрабатывали новые марки редчайших сплавов ума и доброты.

Я отомкнул дверь центрального зала и, стоя на пороге, полюбовался, как работает гигантский дистиллятор Детского Смеха, похожий чем-то на генератор Ван де Граафа. Только в отличие от генератора он работал совершенно бесшумно и около него хорошо пахло. По инструкции я должен был повернуть два больших белых рубильника на пульте, чтобы погасло золотое сияние в зале, чтобы стало темно, холодно и неподвижно, — короче говоря, инструкция требовала, чтобы я обесточил данное производственное помещение. Но я даже колебаться не стал, попятился в коридор и запер за собой дверь. Обесточивать что бы то ни было в лабораториях Федора Симеоновича

представлялось мне просто кощунством.

Я медленно пошел по коридору, разглядывая забавные картинки на дверях лабораторий, и на углу встретил домового Тихона, который рисовал и еженощно менял эти картинки. Мы обменялись рукопожатием. Тихон был славный серенький домовик из Рязанской области, сосланный Вием в Соловец за какую-то провинность: с кем-то он там не так поздоровался или отказался есть гадюку вареную... Федор Симеонович приветил его, умыл, вылечил от застарелого алкоголизма, и он так и прижился здесь, на первом этаже. Рисовал он превосходно, в стиле Бидструпа, и славился среди местных домовых рассудительностью и трезвым поведением.

Я хотел уже подняться на второй этаж, но вспомнил о виварии и направился в подвал. Надзиратель вивария, пожилой реабилитированный вурдалак Альфред, пил чай. При виде меня он попытался спрятать чайник под стол, разбил стакан, покраснел и потупился. Мне стало его жалко.

— С наступающим, — сказал я, сделав вид, что ничего не заметил.

Он прокашлялся, прикрыл рот ладонью и сипло ответил:

— Благодарствуйте. И вас тоже.

— Все в порядке? — спросил я, оглядывая ряды клеток и стойл.

— Бриарей палец сломал, — сказал Альфред.

— Как так?

— Да так уж. На восемнадцатой правой руке. В носе ковырял, повернулся неловко — они ж неуклюжие, гекатонхейры, — и сломал.

— Так ветеринара надо, — сказал я.

— Обойдется! Что ему, впервые, что ли...

— Нет, так нельзя, — сказал я. — Пойдем посмотрим.

Мы прошли в глубь вивария мимо Конька-Горбунка, дремавшего мордой в торбе с овсом, мимо вольера с гарпиями, проводившими нас мутными со сна глазами, мимо клетки с Лернейской гидрой, угрюмой и неразговорчивой в это время года... Гекатонхейры, сторукие и пятидесятиголовые братцы-близнецы, первенцы Неба и Земли, помещались в обширной бетонированной пещере, забранной толстыми железными прутьями. Гиес и Котт спали, свернувшись в огромные уродливые узлы, из которых торчали синие бритые головы с закрытыми глазами и волосатые расслабленные руки. Бриарей маялся. Он сидел на корточках, прижавшись к решетке, и, выставив в

проход руку с больным пальцем, придерживал ее семью другими руками. Остальными девяноста двумя руками он держался за прутья и подпирал головы. Некоторые из голов спали.

— Что? — сказал я жалостливо. — Болит?

Бодрствующие головы залопотали по-эллински и разбудили одну голову, которая знала русский язык.

— Страсть как болит, — сказала она. Остальные притихли и, раскрыв рты, уставились на меня.

Я осмотрел палец. Палец был грязный и распухший, и он совсем не был сломан. Он был просто вывихнут. У нас в спортзале такие травмы вылечивались без всякого врача. Я вцепился в палец и рванул его на себя что было силы. Бриарей взревел всеми пятьюдесятью глотками и повалился на спину.

— Ну-ну-ну, — сказал я, вытирая руки носовым платком. — Все уже, все...

Бриарей, хлюпая носами, принялся рассматривать палец. Задние головы жадно тянули шеи и нетерпеливо покусывали за уши передние, чтобы те не застили. Альфред ухмылялся.

— Кровь бы ему пустить полезно, — сказал он с давно забытым выражением, потом вздохнул и добавил: — Да только какая в нем кровь — види-

мость одна. Одно слово — нежить.

Бриарей поднялся. Все пятьдесят голов блаженно улыбались. Я помахал ему рукой и пошел обратно. Около Кощея Бессмертного я задержался. Великий негодяй обитал в комфортабельной отдельной клетке с коврами, кондиционированием и стеллажами для книг. По стенам клетки были развешаны портреты Чингисхана, Гиммлера, Екатерины Медичи, одного из Борджиа и то ли Голдуотера, то ли Маккарти. Сам Кощей в отливающем халате стоял, скрестив ноги, перед огромным пюпитром и читал офсетную копию «Молота ведьм». При этом он делал длинными пальцами неприятные движения: не то что-то завинчивал, не то что-то вонзал, не то что-то сдирал. Содержался он в бесконечном предварительном заключении, пока велось бесконечное следствие по делу о бесконечных его преступлениях. В институте им очень дорожили, так как попутно он использовался для некоторых уникальных экспериментов и как переводчик при общении со Змеем Горынычем. (Сам З. Горыныч был заперт в старой котельной, откуда доносилось его металлическое храпение и взревывания спросонок.) Я стоял и размышлял о том, что если где-нибудь в бесконечно удаленной от нас точке

времени Кощея и приговорят, то судьи, кто бы они ни были, окажутся в очень странном положении: смертную казнь к бессмертному преступнику применить невозможно, а вечное заключение, если учесть предварительное, он уже отбыл...

Тут меня схватили за штанину, и пропитой голос произнес:

— А ну, урки, с кем на троих?

Мне удалось вырваться. Трое вурдалаков в соседнем вольере жадно смотрели на меня, прижав сизые морды к металлической сетке, через которую был пропущен ток в двести вольт.

— Руку отдавил, дылда очкастая! — сказал один.

— А ты не хватай, — сказал я. — Осины захотел?

Подбежал Альфред, щелкая плетью, и вурдалаки убрались в темный угол, где сейчас же принялись скверно ругаться и шлепать самодельными картами.

Я сказал Альфреду:

— Ну хорошо. По-моему, все в порядке. Пойду дальше.

— Путь добрый, — отвечал Альфред с готовностью.

Поднимаясь по ступенькам, я слышал, как он

гремит чайником и булькает.

Я заглянул в машинный зал и посмотрел, как работает энергогенератор. Институт не зависел от городских источников энергии. Вместо этого, после уточнения принципа детерминизма, решено было использовать хорошо известное Колесо Фортуны как источник даровой механической энергии. Над цементным полом зала возвышался только небольшой участок блестящего отполированного обода гигантского колеса, ось вращения которого лежала где-то в бесконечности, отчего обод выглядел просто лентой конвейера, выходящей из одной стены и уходящей в другую. Одно время было модно защищать диссертации на уточнении радиуса кривизны Колеса Фортуны, но поскольку все эти диссертации давали результат с крайне невысокой точностью, до десяти мегапарсеков, Ученый совет института принял решение прекратить рассмотрение диссертационных работ на эту тему вплоть до того времени, когда создание трансгалактических средств сообщения позволит рассчитывать на существенное повышение точности.

Несколько бесов из обслуживающего персонала играли у Колеса — вскакивали на обод, проезжали до стены, соскакивали и мчались об-

ратно. Я решительно призвал их к порядку. «Вы это прекратите, — сказал я, — это вам не балаган». Они попрятались за кожухи трансформаторов и принялись обстреливать меня оттуда жеваной бумагой. Я решил не связываться с молокососами, прошелся вдоль пультов и, убедившись, что все в порядке, поднялся на второй этаж.

Здесь было тихо, темно и пыльно. У низенькой полуоткрытой двери дремал, опираясь на длинное кремневое ружье, старый дряхлый солдат в мундире Преображенского полка и в треуголке. Здесь размещался отдел Оборонной Магии, среди сотрудников которого давно уже не было ни одной живой души. Все наши старики, за исключением, может быть, Федора Симеоновича, в свое время отдали дань увлечению этим разделом магии. Бен Бецалель успешно использовал Голема при дворцовых переворотах: глиняное чудовище, равнодушное к подкупу и неуязвимое для ядов, охраняло лаборатории, а заодно и императорскую сокровищницу. Джузеппе Бальзамо создал первый в истории самолетный эскадрон на помелах, хорошо показавший себя на полях сражений Столетней войны. Но эскадрон довольно быстро распался: часть ведьм повыходила замуж, а остальные увязались за рейтарскими полками в

качестве маркитанток. Царь Соломон отловил и зачаровал дюжину дюжин ифритов и сколотил из них отдельный истребительно-противослоновый огнеметный батальон. Молодой Кристобаль Хунта привел в дружину Карлу Великому китайского, натасканного на мавров дракона, но, узнав, что император собирается воевать не с маврами, а с соплеменными басками, рассвирепел и дезертировал. На протяжении многовековой истории войн разные маги предлагали применять в бою вампиров (для ночной разведки боем), василисков (для поражения противника ужасом до полной окаменелости), ковры-самолеты (для сбрасывания нечистот на неприятельские города), мечи-кладенцы различных достоинств (для компенсации малочисленности) и многое другое. Однако уже после первой мировой войны, после Длинной Берты, танков, иприта и хлора оборонная магия начала хиреть. Из отдела началось повальное бегство сотрудников. Дольше всех задержался там некий Питирим Шварц, бывший монах и изобретатель подпорки для мушкета, беззаветно трудившийся над проектом джинн-бомбардировок. Суть проекта состояла в сбрасывании на города противника бутылок с джиннами, выдержанными в заточении не

менее трех тысяч лет. Хорошо известно, что джинны в свободном состоянии способны только либо разрушать города, либо строить дворцы. Основательно выдержанный джинн (рассуждал Питирим Шварц), освободившись из бутылки, не станет строить дворцов, и противнику придется туго. Некоторым препятствием к осуществлению этого замысла являлось недостаточное количество бутылок с джиннами, но Шварц рассчитывал пополнить запасы глубоким тралением Красного и Средиземного морей. Рассказывают, что, узнав о водородной бомбе и бактериологической войне, старик Питирим потерял душевное равновесие, роздал имевшихся у него джиннов по отделам и ушел исследовать смысл жизни к Кристобалю Хунте. Больше его никто никогда не видел.

Когда я остановился на пороге, солдат посмотрел на меня одним глазом, прохрипел: «Не велено, проходи дальше...» — и снова задремал. Я оглядел пустую захламленную комнату с обломками диковинных моделей и обрывками безграмотных чертежей, пошевелил носком ботинка валявшуюся у входа папку со смазанным грифом «Совершенно секретно. Перед прочтением сжечь» и пошел прочь. Обесточивать здесь было нечего, а что касается самовозгорания, то

все, что могло самовозгореться, самовозгорелось здесь много лет назад.

На этом же этаже располагалось книгохранилище. Это было мрачноватое пыльное помещение под стать вестибюлю, но значительно более обширное. По поводу его размеров рассказывали, что в глубине, в полукилометре от входа, идет вдоль стеллажей неплохое шоссе, оснащенное верстовыми столбами. Ойра-Ойра доходил до отметки «19», а настырный Витька Корнеев в поисках технической документации на диван-транслятор раздобыл семимильные сапоги и добежал до отметки «124». Он продвинулся бы и дальше, но дорогу ему преградила бригада данаид в ватниках и с отбойными молотками. Под присмотром толстомордого Каина они взламывали асфальт и прокладывали какие-то трубы. Ученый совет неоднократно поднимал вопрос о постройке вдоль шоссе высоковольтной линии для передачи абонентов хранилища по проводам, однако все позитивные предложения наталкивались на недостаток фондов.

Хранилище было битком набито интереснейшими книгами на всех языках мира и истории, от языка атлантов до пиджин-инглиш включительно. Но меня там больше всего заинтересовало

многотомное издание Книги Судеб. Книга Судеб печаталась петитом на тончайшей рисовой бумаге и содержала в хронологическом порядке более или менее полные данные о 73619024511-ти человеках разумных. Первый том начинался питекантропом Аыуыхх. («Род. 2 авг. 965543 г. до н. э., ум. 13 янв. 965522 г. до н. э. Родители рамапитеки. Жена рамапитек. Дети: самец Ад-Амм, самка Э-Уа. Кочевал с трибой рамапитеков по Араратск. долин. Ел, пил, спал в свое удовольств. Провертел первую дыру в камне. Сожран пещерн. медвед. во время охоты».) Последним в последнем томе регулярного издания, вышедшем в прошлом году, числился Франсиско-Каэтано-Августин-Лусия-и-Мануэль-и-Хосефа-и-Мигель-Лука-Карлос-Педро Тринидад. («Род. 16 июля 1491 г. н. э., ум. 17 июля 1491 г. н. э. Родители: Педро-Карлос-Лука-Мигель-и-Хосефа-и-Мануэль-и-Лусия-Августин-Каэтано-Франсиско Тринидад и Мария Тринидад (см.). Португалец. Анацефал. Кавалер Ордена Святого Духа, полковник гвардии».)

Из выходных данных явствовало, что Книга Судеб выходит тиражом в 1 (один) экземпляр и этот последний том подписан в печать еще во время полетов братьев Монгольфье. Видимо, для того чтобы как-то удовлетворить потребности

современников, издательство предприняло публикацию срочных нерегулярных выпусков, в которых значились только годы рождения и годы смерти. В одном из таких выпусков я нашел и свое имя. Однако из-за спешки в эти выпуски вкралась масса опечаток, и я с изумлением узнал, что умру в 1611 году. В восьмитомнике же замеченных опечаток до моей фамилии еще не добрались.

Консультировала издание Книги Судеб специальная группа в отделе Предсказаний и Пророчеств. Отдел был захудалый, запущенный, он никак не мог оправиться после кратковременного владычества сэра гражданина Мерлина, и институт неоднократно объявлял конкурс на замещение вакантной должности заведующего отделом, и каждый раз на конкурс подавал заявление один-единственный человек — сам Мерлин.

Ученый совет добросовестно рассматривал заявление и благополучно проваливал его — сорока тремя голосами «против» при одном «за». (Мерлин по традиции тоже был членом Ученого совета.)

Отдел Предсказаний и Пророчеств занимал весь третий этаж. Я прошелся вдоль дверей с табличками «Группа кофейной гущи», «Груп-

па авгуров», «Группа пифий», «Синоптическая группа», «Группа пасьянсов», «Соловецкий Оракул». Обесточивать мне ничего не пришлось, поскольку отдел работал при свечах. На дверях синоптической группы уже появилась свежая надпись мелом: «Темна вода во облацех». Каждое утро Мерлин, проклиная интриги завистников, стирал эту надпись мокрой тряпкой, и каждую ночь она возобновлялась. Вообще на чем держался авторитет отдела, мне было совершенно непонятно. Время от времени сотрудники делали доклады на странные темы, вроде: «Относительно выражения глаз авгура» или «Предикторские свойства гущи из-под кофе мокко урожая 1926 года». Иногда группе пифий удавалось что-нибудь правильно предсказать, но каждый раз пифии казались такими удивленными и напуганными своим успехом, что весь эффект пропадал даром. У-Янус, человек деликатнейший, не мог, как было неоднократно отмечено, сдержать неопределенной улыбки каждый раз, когда присутствовал на заседаниях семинара пифий и авгуров.

На четвертом этаже мне, наконец, нашлась работа: я погасил свет в кельях отдела Вечной Молодости. Молодежи в отделе не было, и эти старики, страдающие тысячелетним склерозом,

постоянно забывали гасить за собой свет. Впрочем, я подозреваю, что дело здесь было не только в склерозе. Многие из них до сих пор боялись, что их ударит током. Они все еще называли электричку чугункой.

В лаборатории сублимации между длинных столов бродила, зевая, — руки в карманы, — унылая модель вечномолодого юнца. Ее седая двухметровая борода волочилась по полу и цеплялась за ножки стульев. На всякий случай я убрал в шкаф стоявшую на табуретке бутыль с царской водкой и отправился к себе в электронный зал.

Здесь стоял мой «Алдан». Я немножко полюбовался на него, какой он компактный, красивый, таинственно поблескивающий. В институте к нам относились по-разному. Бухгалтерия, например, встретила меня с распростертыми объятиями, и главный бухгалтер, скупо улыбаясь, сейчас же завалил меня томительными расчетами заработной платы и рентабельности. Жиан Жиакомо, заведующий отделом Универсальных Превращений, вначале тоже обрадовался, но, убедившись, что «Алдан» не способен рассчитать даже элементарную трансформацию кубика свинца в кубик золота, охладел к моей электронике и удостаивал нас только редкими случайными

заданиями. Зато от его подчиненного и любимого ученика Витьки Корнеева спасу не было. И Ойра-Ойра постоянно сидел у меня на шее со своими зубодробительными задачами из области иррациональной метаматематики. Кристобаль Хунта, любивший во всем быть первым, взял за правило подключать по ночам машину к своей центральной нервной системе, так что на другой день у него в голове все время что-то явственно жужжало и щелкало, а сбитый с толку «Алдан», вместо того чтобы считать в двоичной системе, непонятным мне образом переходил на древнюю шестидесятеричную, да еще менял логику, начисто отрицая принцип исключенного третьего. Федор же Симеонович Киврин забавлялся с машиной, как ребенок с игрушкой. Он мог часами играть с ней в чет-нечет, обучил ее японским шахматам, а чтобы было интереснее, вселил в машину чью-то бессмертную душу — впрочем, довольно жизнерадостную и работящую. Янус Полуэктович (не помню уже, А или У) воспользовался машиной только один раз. Он принес с собой небольшую полупрозрачную коробочку, которую подсоединил к «Алдану». Примерно через десять секунд работы с этой приставкой в машине полетели все предохранители, после

чего Янус Полуэктович извинился, забрал свою коробочку и ушел.

Но, несмотря на все маленькие помехи и неприятности, несмотря на то, что одушевленный теперь «Алдан» иногда печатал на выходе: «Думаю. Прошу не мешать», несмотря на недостаток запасных блоков и на чувство беспомощности, которое охватывало меня, когда требовалось произвести логический анализ «неконгруэнтной трансгрессии в пси-поле инкуб-преобразования», — несмотря на все это, работать здесь было необычайно интересно, и я гордился своей очевидной нужностью. Я провел все расчеты в работе Ойры-Ойры о механизме наследственности биполярных гомункулусов. Я составил для Витьки Корнеева таблицы напряженности М-поля дивана-транслятора в девятимерном магопространстве. Я вел рабочую калькуляцию для подшефного рыбозавода. Я рассчитал схему для наиболее экономного транспортирования эликсира Детского Смеха. Я даже сосчитал вероятности решения пасьянсов «Большой слон», «Государственная дума» и «Могила Наполеона» для забавников из группы пасьянсов и проделал все квадратуры численного метода Кристобаля Хозевича, за что тот научил меня впадать в

нирвану. Я был доволен, дней мне не хватало, и жизнь моя была полна смысла.

Было еще рано — всего седьмой час. Я включил «Алдан» и немножко поработал. В девять часов вечера я опомнился, с сожалением обесточил электронный зал и отправился на пятый этаж. Пурга все не унималась. Это была настоящая новогодняя пурга. Она выла и визжала в старых заброшенных дымоходах, она наметала сугробы под окнами, бешено дергала и раскачивала редкие уличные фонари.

Я миновал территорию административно-хозяйственного отдела. Вход в приемную Модеста Матвеевича был заложен крест-накрест двутавровыми железными балками, а по сторонам, сабли наголо, стояли два здоровенных ифрита в тюрбанах и в полном боевом снаряжении. Нос каждого, красный и распухший от насморка, был прободен массивным золотым кольцом с жестяным инвентарным номерком. Вокруг пахло серой, паленой шерстью и стрептоцидовой мазью. Я задержался на некоторое время, рассматривая их, потому что ифриты в наших широтах существа редкие. Но тот, что стоял справа, небритый и с черной повязкой на глазу, стал есть меня глазом. О нем ходила дурная слава, будто он бывший людоед,

и я поспешно пошел дальше. Мне было слышно, как он с хлюпаньем тянет носом и причмокивает за моей спиной.

В помещениях отдела Абсолютного Знания были открыты все форточки, потому что сюда просачивался запах селедочных голов профессора Выбегаллы. На подоконниках намело, под батареями парового отопления темнели лужи. Я закрыл форточки и прошелся между девственно чистыми столами работников отдела. На столах красовались новенькие чернильные приборы, не знавшие чернил, из чернильниц торчали окурки. Странный это был отдел. Лозунг у них был такой: «Познание бесконечности требует бесконечного времени». С этим я не спорил, но они делали из этого неожиданный вывод: «А потому работай не работай — все едино». И в интересах неувеличения энтропии Вселенной они не работали. По крайней мере, большинство из них. «Ан масс», как сказал бы Выбегалло. По сути, задача их сводилась к анализу кривой относительного познания в области ее асимптотического приближения к абсолютной истине. Поэтому одни сотрудники все время занимались делением нуля на нуль на настольных «мерседесах», а другие отпрашивались в командировки

на бесконечность. Из командировок они возвращались бодрые, отъевшиеся и сразу брали отпуск по состоянию здоровья. В промежутках между командировками они ходили из отдела в отдел, присаживались с дымящимися сигаретками на рабочие столы и рассказывали анекдоты о раскрытии неопределенностей методом Лопиталя. Их легко узнавали по пустому взору и по исцарапанным от непрерывного бритья ушам. За полгода моего пребывания в институте они дали «Алдану» всего одну задачу, которая сводилась все к тому же делению нуля на нуль и не содержала никакой абсолютной истины. Может быть, кто-нибудь из них и занимался настоящим делом, но я об этом ничего не знал.

В половине одиннадцатого я вступил на этаж Амвросия Амбруазовича Выбегаллы. Прикрывая лицо носовым платком и стараясь дышать через рот, я направился прямо в лабораторию, известную среди сотрудников как «Родильный Дом». Здесь, по утверждению профессора Выбегаллы, рождались в колбах модели идеального человека. Вылуплялись, значить. Компрене ву?[7]

В лаборатории было душно и темно. Я включил свет. Озарились серые гладкие стены, украшенные портретами Эскулапа, Парацельса и самого

Амвросия Амбруазовича. Амвросий Амбруазович был изображен в черной шапочке на благородных кудрях, и на его груди неразборчиво сияла какая-то медаль. На четвертой стене некогда тоже висел какой-то портрет, но теперь от него остался только темный квадрат и три ржавых погнутых гвоздя.

В центре лаборатории стоял автоклав, в углу — другой, побольше. Около центрального автоклава прямо на полу лежали буханки хлеба, стояли оцинкованные ведра с синеватым обратом и огромный чан с пареными отрубями. Судя по запаху, где-то поблизости находились и селедочные головы, но я так и не смог понять где. В лаборатории царила тишина, из недр автоклава доносились ритмичные щелкающие звуки.

Почему-то на цыпочках, я приблизился к центральному автоклаву и заглянул в смотровой иллюминатор. Меня и так мутило от запаха, а тут стало совсем плохо, хотя ничего особенного я не увидел: нечто белое и бесформенное медленно колыхалось в зеленоватой полутьме. Я выключил свет, вышел и старательно запер дверь. «По сусалам его», вспомнил я. Меня беспокоили смутные предчувствия. Только теперь я заметил, что вокруг порога проведена толстая магическая

черта, расписанная корявыми каббалистическими знаками. Присмотревшись, я понял, что это было заклинание против гаки — голодного демона ада.

С некоторым облегчением я покинул владения Выбегаллы и стал подниматься на шестой этаж, где Жиан Жиакомо и его сотрудники занимались теорией и практикой Универсальных Превращений. На лестничной площадке висел красочный стихотворный плакат, призывающий к созданию общественной библиотеки. Идея принадлежала месткому, стихи были мои:

Раскопай своих подвалов
И шкафов перетряси,
Разных книжек и журналов
По возможности неси.

Я покраснел и пошел дальше. Вступив на шестой этаж, я сразу увидел, что дверь Витькиной лаборатории приоткрыта, и услышал сиплое пение. Я крадучись подобрался к двери.

Глава третья

Хочу тебя прославить,

Тебя, пробивающегося сквозь
метель зимним вечером.

Твое сильное дыхание и мерное
биение твоего сердца...

У. Уитмен

Давеча Витька сказал, что идет в одну компанию, а в лаборатории оставляет работать дубля. Дубль — это очень интересная штука. Как правило, это довольно точная копия своего творца. Не хватает, скажем, человеку рук — он создает себе дубля, безмозглого, безответного, только и умеющего, что паять контакты, или таскать тяжести, или писать под диктовку, но зато уж умеющего это делать хорошо. Или нужна человеку модель-антропоид для какого-нибудь эксперимента — он создает себе дубля, безмозглого, безответного, только и умеющего, что ходить по потолку или принимать телепатемы, но зато уж умеющего хорошо. Или самый простой случай. Собирается, скажем, человек получить зарплату, а времени терять ему не хочется, и он посылает вместо себя своего дубля, только и умеющего, что никого без очереди не пропускать, расписываться в ведомости и сосчитать деньги, не отходя от кассы. Конечно, творить дублей умеют не все. Я, напри-

мер, еще не умел. То, что у меня пока получалось, ничего не умело — даже ходить. И вот стоишь, бывало, в очереди, вроде бы тут и Витька, и Роман, и Володя Почкин, а поговорить не с кем. Стоят как каменные, не мигают, не дышат, с ноги на ногу не переминаются, и сигарету спросить не у кого.

Настоящие мастера могут создавать очень сложных, многопрограммных, самообучающихся дублей. Такого вот супера Роман отправил летом вместо меня на машине. И никто из моих ребят не догадался, что это был не я. Дубль великолепно вел мой «Москвич», ругался, когда его кусали комары, и с удовольствием пел хором. Вернувшись в Ленинград, он развез всех по домам, самостоятельно сдал прокатный автомобиль, расплатился и тут же исчез прямо на глазах ошеломленного директора проката.

Одно время я думал, что А-Янус и У-Янус — это дубль и оригинал. Однако это было совсем не так. Прежде всего, оба директора имели паспорта, дипломы, пропуска и другие необходимые документы. Самые же сложные дубли не могли иметь никаких удостоверений личности. При виде казенной печати на своей фотографии они приходили в ярость и немедленно рвали документы в клочки. Этим загадочным свойством

дублей долго занимался Магнус Редькин, но задача оказалась ему явно не по силам.

Далее, Янусы были белковыми существами. По поводу же дублей до сих пор еще не прекратился спор между философами и кибернетиками: считать их живыми или нет. Большинство дублей представляли собою кремнийорганические структуры, были дубли и на германиевой основе, а последнее время вошли в моду дубли на алюмополимерах.

И наконец, самое главное — ни А-Януса, ни У-Януса никто никогда не создавал искусственно. Они не были копией и оригиналом, не были они и братьями-близнецами, они были одним человеком — Янусом Полуэктовичем Невструевым. Никто в институте этого не понимал, но все знали это настолько твердо, что понимать и не пытались.

Витькин дубль стоял, упершись ладонями в лабораторный стол, и остановившимся взглядом следил за работой небольшого гомеостата Эшби. При этом он мурлыкал песенку на популярный некогда мотив:

Мы не Декарты, не Ньютоны мы,
Для нас наука — темный лес

Чудес.

А мы нормальные астро´номы — да!

Хватаем звездочки с небес...

Я никогда раньше не слыхал, чтобы дубли пели. Но от Витькиного дубля можно было ожидать всего. Я помню одного Витькиного дубля, который осмеливался препираться по поводу неумеренного расхода психоэнергии с самим Модестом Матвеевичем. А ведь Модеста Матвеевича даже сотворенные мною чучела без рук, без ног боялись до судорог, по-видимому инстинктивно.

Справа от дубля, в углу, стоял под брезентовым чехлом двухходовой транслятор ТДХ-80Е, убыточное изделие Китежградского завода маготехники. Рядом с лабораторным столом, в свете трех рефлекторов, блестел штопаной кожей мой старый знакомец — диван. На диван была водружена детская ванна с водой, в ванне брюхом вверх плавал дохлый окунь. Еще в лаборатории были стеллажи, заставленные приборами, а у самой двери стояла большая, зеленого стекла четвертная бутыль, покрытая пылью. В бутыли находился опечатанный джинн, можно было видеть, как он там шевелится, посверкивая глазками.

Витькин дубль перестал рассматривать гомео-

стат, сел на диван рядом с ванной и, уставясь тем же окаменелым взглядом на дохлую рыбу, пропел следующий куплет:

В целя́х природы обуздания,
В целя́х рассеять неученья
Тьму
Берем картину мироздания — да!
И тупо смотрим, что к чему...

Окунь пребывал без изменений. Тогда дубль засунул руку глубоко в диван и принялся, сопя, что-то там с трудом проворачивать.

Диван был транслятором. Он создавал вокруг себя М-поле, преобразующее, говоря просто, реальную действительность в действительность сказочную. Я испытал это на себе в памятную ночь на хлебах у Наины Киевны, и спасло меня тогда только то, что диван работал в четверть силы, на темновых токах, а иначе я проснулся бы каким-нибудь мальчиком-с-пальчик в сапогах. Для Магнуса Редькина диван был возможным вместилищем искомого Белого Тезиса. Для Модеста Матвеевича — музейным экспонатом инвентарный номер 1123, к разбазариванию запрещенным. Для Витьки это был инструмент номер один. Поэтому Витька крал диван каждую

ночь, Магнус Федорович из ревности доносил об этом завкадрами товарищу Демину, а деятельность Модеста Матвеевича сводилась к тому, чтобы все это прекратить. Витька крал диван до тех пор, пока не вмешался Янус Полуэктович, которому в тесном взаимодействии с Федором Симеоновичем и при активной поддержке Жиана Жиакомо, опираясь на официальное письмо Президиума Академии наук за личными подписями четырех академиков, удалось-таки полностью нейтрализовать Редькина и слегка потеснить с занимаемых позиций Модеста Матвеевича.

Модест Матвеевич объявил, что он, как лицо материально ответственное, не желает ни о чем слышать и что желает он, чтобы диван инвентарный номер 1123 находился в специально отведенном для него, дивана, помещении. А ежели этого не будет, сказал Модест Матвеевич грозно, то пусть все, до академиков включительно, пеняют на себя. Янус Полуэктович согласился пенять на себя, Федор Симеонович тоже, и Витька быстренько перетащил диван в свою лабораторию. Витька был серьезный работник, не то что шалопаи из отдела Абсолютного Знания, и намеревался превратить всю морскую и океанскую воду нашей планеты в живую воду. Пока он,

правда, находился в стадии эксперимента.

Окунь в ванне зашевелился и перевернулся брюхом вниз. Дубль убрал руку из дивана. Окунь апатично пошевелил плавниками, зевнул, завалился на бок и снова перевернулся на спину.

— С-скотина, — сказал дубль с выражением.

Я сразу насторожился. Это было сказано эмоционально. Никакой лабораторный дубль не мог бы так сказать. Дубль засунул руки в карманы, медленно поднялся и увидел меня. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Потом я ехидно осведомился:

— Работаем?

Дубль тупо смотрел на меня.

— Ну брось, брось, — сказал я. — Все ясно.

Дубль молчал. Он стоял, как каменный, и не мигал.

— Ну, вот что, — сказал я. — Сейчас пол-одиннадцатого. Даю тебе десять минут. Все прибери, выброси эту дохлятину и беги танцевать. А уж обесточу я сам.

Дубль вытянул губы дудкой и начал пятиться. Он пятился очень осторожно, обогнул диван и встал так, чтобы между нами был лабораторный стол. Я демонстративно посмотрел на часы. Дубль пробормотал заклинание, на столе появился

«мерседес», авторучка и стопка чистой бумаги. Дубль, согнув колени, повис в воздухе и стал что-то писать, время от времени опасливо на меня поглядывая. Это было очень похоже, и я даже засомневался. Впрочем, у меня было верное средство выяснить правду. Дубли, как правило, совершенно нечувствительны к боли. Пошарив в кармане, я извлек маленькие острые клещи и, выразительно пощелкивая ими, стал приближаться к дублю. Дубль перестал писать. Пристально поглядев ему в глаза, я скусил клещами шляпку гвоздя, торчащую из стола, и сказал:

— Н-н-ну?

— Чего ты ко мне пристал? — осведомился Витька. — Видишь ведь, что человек работает.

— Ты же дубль, — сказал я. — Не смей со мной разговаривать.

— Убери клещи, — сказал он.

— А ты не валяй дурака, — сказал я. — Тоже мне дубль.

Витька сел на край стола и устало потер уши.

— Ничего у меня сегодня не получается, — сообщил он. — Дурак я сегодня. Дубля сотворил — получился какой-то уж совершенно безмозглый. Все ронял, на умклайдет сел, животное... Треснул я его по шее, руку отбил... И окунь дохнет

систематически.

Я подошел к дивану и заглянул в ванну.

— А что с ним?

— А я откуда знаю?

— Где ты его взял?

— На рынке.

Я поднял окуня за хвост.

— А чего ты хочешь? Обыкновенная снулая рыбка.

— Дубина, — сказал Витька. — Вода-то живая...

— А-а, — сказал я и стал соображать, что бы ему посоветовать. Механизм действия живой воды я представлял себе крайне смутно. В основном по сказке об Иване-царевиче и Сером Волке.

Джинн в бутыли двигался и время от времени принимался протирать ладошкой стекло, запыленное снаружи.

— Протер бы бутыль, — сказал я, ничего не придумав.

— Что?

— Пыль с бутылки сотри. Скучно же ему там.

— Черт с ним, пусть скучает, — рассеянно сказал Витька. Он снова засунул руку в диван и снова провернул там что-то. Окунь ожил.

— Видал? — сказал Витька. — Когда даю максимальное напряжение — все в порядке.

— Экземпляр неудачный, — сказал я наугад.

Витька вынул руку из дивана и уставился на меня.

— Экземпляр... — сказал он. — Неудачный... — Глаза у него стали как у дубля. — Экземпляр экземпляру люпус эст...8

— Потом он, наверное, мороженый, — сказал я, осмелев.

Витька меня не слушал.

— Где бы рыбу взять? — сказал он, озираясь и хлопая себя по карманам. — Рыбочку бы...

— Зачем? — спросил я.

— Верно, — сказал Витька. — Зачем? Раз нет другой рыбы, — рассудительно произнес он, — почему бы не взять другую воду? Верно?

— Э, нет, — возразил я. — Так не пойдет.

— А как? — жадно спросил Витька.

— Выметайся отсюда, — сказал я. — Покинь помещение.

— Куда?

— Куда хочешь.

Он перелез через диван и сгреб меня за грудки.

— Ты меня слушай, понял? — сказал он угрожающе. — На свете нет ничего одинакового. Все распределяется по гауссиане. Вода воде рознь... Этот старый дурак не сообразил, что существует

дисперсия свойств...

— Эй, милый, — позвал я его. — Новый год скоро! Не увлекайся так.

Он отпустил меня и засуетился:

— Куда же я его дел?.. Вот лапоть!.. Куда я его сунул?.. А, вот он...

Он бросился к стулу, на котором торчком стоял умклайдет. Тот самый. Я отскочил к двери и сказал умоляюще:

— Опомнись! Двенадцатый же час! Тебя же ждут! Верочка ждет!

— Не, — отвечал он. — Я им туда дубля послал. Хороший дубль, развесистый... Дурак дураком. Анекдоты, стойку делает, танцует, как вол...

Он крутил в руках умклайдет, что-то прикидывая, примериваясь, прищуря один глаз.

— Выметайся, говорят тебе! — заорал я в отчаянии.

Витька коротко глянул на меня, и я присел. Шутки кончились. Витька находился в том состоянии, когда увлеченные работой маги превращают окружающих в пауков, мокриц, ящериц и других тихих животных. Я сел на корточки рядом с джинном и стал смотреть.

Витька замер в классической позе для материального заклинания (позиция «мартихор»), над

столом поднялся розовый пар, вверх-вниз запрыгали тени, похожие на летучих мышей, исчез «мерседес», исчезла бумага, и вдруг вся поверхность стола покрылась сосудами с прозрачными растворами. Витька, не глядя, сунул умклайдет на стул, схватил один из сосудов и стал его внимательно рассматривать. Было ясно, что теперь он отсюда никуда и никогда не уйдет. Он живо убрал с дивана ванну, одним прыжком подскочил к стеллажам и поволок к столу громоздкий медный аквавитометр. Я устроился было поудобнее и протер джинну окошечко для обозрения, но тут из коридора донеслись голоса, топот ног и хлопанье дверей. Я вскочил и кинулся вон из лаборатории.

Ощущение ночной пустоты и темного покоя огромного здания исчезло бесследно. В коридоре горели яркие лампы. Кто-то сломя голову мчался по лестнице, кто-то кричал: «Валька! Напряжение упало! Сбегай в аккумуляторную!», кто-то вытряхивал на лестничной площадке шубу, и мокрый снег летел во все стороны. Навстречу мне с задумчивым лицом быстро шел изящно изогнутый Жиан Жиакомо, за ним с его огромным портфелем под мышкой и с его тростью в зубах семенил гном. Мы раскланялись. От вели-

кого престидижитатора пахло хорошим вином и французскими благовониями. Остановить его я не посмел, и он прошел сквозь запертую дверь в свой кабинет. Гном просунул ему вслед портфель и трость, а сам нырнул в батарею парового отопления.

— Какого дьявола? — вскричал я и побежал на лестницу.

Институт был битком набит сотрудниками. Казалось, их было даже больше, чем в будний день. В кабинетах и лабораториях вовсю горели огни, двери были распахнуты настежь. В институте стоял обычный деловой гул: треск разрядов, монотонные голоса, диктующие цифры и произносящие заклинания, дробный стук «мерседесов» и «рейнметаллов». И над всем этим раскатистый и победительный рык Федора Симеоновича: «Эт' хорошо, эт' здо-о-рово! Вы молодец, голубчик! Но к-какой дурак выключил г-генератор?» Меня саданули в спину твердым углом, и я ухватился за перила. Я рассвирепел. Это были Володя Почкин и Эдик Амперян, они тащили на свой этаж координатно-измерительную машину весом в полтонны.

— А, Саша, — приветливо сказал Эдик. — Здравствуй, Саша.

— Сашка, посторонись с дороги! — крикнул Володя Почкин, пятясь задом. — Заноси, заноси!..

Я схватил его за ворот:

— Ты почему в институте? Ты как сюда попал?

— Через дверь, через дверь, пусти... — сказал Володя. — Эдька, еще правее! Ты видишь, что не проходит?

Я отпустил его и бросился в вестибюль. Я был охвачен административным негодованием. «Я вам покажу, — бормотал я, прыгая через четыре ступеньки. — Я вам покажу бездельничать. Я вам покажу всех пускать без разбору!» Макродемоны Вход и Выход, вместо того чтобы заниматься делом, дрожа от азарта и лихорадочно фосфоресцируя, резались в рулетку. На моих глазах забывший свои обязанности Вход сорвал банк примерно в семьдесят миллиардов молекул у забывшего свои обязанности Выхода. Рулетку я узнал сразу. Это была моя рулетка. Я сам смастерил ее для одной вечеринки и держал за шкафом в электронном зале, и знал об этом один только Витька Корнеев. Заговор, решил я. Всех разнесу. А через вестибюль все шли и шли покрытые снегом, краснолицые веселые сотрудники.

— Ну и метет! Все уши забило...

— А ты тоже ушел?

— Да ну, скукотища... Напились все. Дай, думаю, пойду лучше поработаю. Оставил им дубля и ушел...

— Ты знаешь, танцую я с ней и чувствую, что обрастаю шерстью. Хватил водки — не помогает...

— А если пучок электронов? Масса большая? Ну тогда фотонов...

— Алексей, у тебя лазер свободный есть? Ну давай хоть газовый...

— Галка, как же это ты мужа оставила?

— Я еще час назад вышел, если хочешь знать. В сугроб, понимаешь, провалился, чуть не занесло меня...

Я понял, что не оправдал. Не было уже смысла отбирать рулетку у демонов, оставалось только пойти и вдребезги разругаться с провокатором Витькой, а там будь что будет. Я погрозил демонам кулаком и побрел вверх по лестнице, пытаясь представить себе, что было бы, если бы в институт сейчас заглянул Модест Матвеевич.

По дороге в приемную директора я остановился в стендовом зале. Здесь усмиряли выпущенного из бутылки джинна. Джинн, огромный, синий от злости, метался в вольере, огороженном щитами Джян бен Джяна и закрытом сверху мощным магнитным полем. Джинна стегали высоковольт-

ными разрядами, он выл, ругался на нескольких мертвых языках, скакал, отрыгивал языки огня, в запальчивости начинал строить и тут же разрушал дворцы, потом, наконец, сдался, сел на пол и, вздрагивая от разрядов, жалобно завыл:

— Ну хватит, ну отстаньте, ну я больше не буду... Ой-йой-йой... Ну я уже совсем тихий...

У пульта разрядника стояли спокойные немигающие молодые люди, сплошь дубли. Оригиналы же, столпившись около вибростенда, поглядывали на часы и откупоривали бутылки.

Я подошел к ним.

— А, Сашка!

— Сашенция, ты, говорят, дежурный сегодня... Я к тебе потом забегу в зал.

— Эй, кто-нибудь, сотворите ему стакан, у меня руки заняты...

Я был ошеломлен и не заметил, как в руке у меня очутился стакан. Пробки грянули в щиты Джян бен Джяна, шипя полилось ледяное шампанское. Разряды смолкли, джинн перестал скулить и начал принюхиваться. В ту же секунду кремлевские часы принялись бить двенадцать.

— Ребята! Да здравствует понедельник!

Стаканы сдвинулись. Потом кто-то сказал, осматривая бутылку:

— Кто творил вино?

— Я.

— Не забудь завтра заплатить.

— Ну что, еще бутылочку?

— Хватит, простудимся.

— Хороший джинн попался... Нервный немножко.

— Дареному коню...

— Ничего, полетит как миленький. Сорок витков продержится, а там пусть катится со своими нервами.

— Ребята, — робко сказал я, — ночь на дворе... и праздник. Шли бы вы по домам...

На меня посмотрели, меня похлопали по плечу, мне сказали: «Ничего, это пройдет», — и гурьбой двинулись к вольеру... Дубли откатили один из щитов, а оригиналы деловито окружили джинна, крепко взяли его за руки и за ноги и поволокли к вибростенду. Джинн трусливо причитал и неуверенно сулил всем сокровища царей земных. Я одиноко стоял в сторонке и смотрел, как они пристегивают его ремнями и прикрепляют к разным частям его тела микродатчики. Потом я потрогал щит. Он был огромный, тяжелый, изрытый вмятинами от ударов шаровых молний, местами обуглившийся. Щиты Джян бен

Джяна были сделаны из семи драконьих шкур, склеенных желчью отцеубийцы, и рассчитаны на прямое попадание молнии. Все имеющиеся в институте щиты были изъяты в свое время из сокровищницы царицы Савской. Сделал это не то Кристобаль Хунта, не то Мерлин. Хунта об этом никогда не говорил, а Мерлин хвастался при каждом удобном случае, ссылаясь при этом на сомнительный авторитет короля Артура. К каждому щиту были обойными гвоздиками прибиты жестяные инвентарные номера. Теоретически на лицевой стороне щитов должны были быть изображения всех знаменитых битв прошлого, а на внутренней — всех великих битв грядущего. Практически же на лицевой стороне щита, перед которым я стоял, виднелось что-то вроде реактивного самолета, штурмующего автоколонну, а внутренняя сторона была покрыта странными разводами и напоминала абстрактную картину.

Джинна стали трясти на вибростенде. Он хихикал и взвизгивал: «Ой, щекотно!.. Ой, не могу!..» Я вернулся в коридор. В коридоре пахло бенгальскими огнями. Под потолком крутились шутихи, стуча о стены и оставляя за собой струи цветного дыма, проносились ракеты. Я повстречал дубля Володи Почкина, волочившего гигантскую ин-

кунабулу с медными застежками, двух дублей Романа Ойры-Ойры, изнемогавших под тяжеленным швеллером, потом самого Романа с кучей ярко-синих папок из архива отдела Недоступных Проблем, а затем свирепого лаборанта из отдела Смысла Жизни, конвоирующего на допрос к Хунте стадо ругающихся привидений в плащах крестоносцев... Все были заняты и деловиты.

Трудовое законодательство нарушалось злостно и повсеместно, и я почувствовал, что у меня исчезло всякое желание бороться с этими нарушениями, потому что сюда в двенадцать часов новогодней ночи, прорвавшись через пургу, пришли люди, которым было интереснее доводить до конца или начинать сызнова какое-нибудь полезное дело, чем глушить себя водкою, бессмысленно дрыгать ногами, играть в фанты и заниматься флиртом разных степеней легкости. Сюда пришли люди, которым было приятнее быть друг с другом, чем порознь, которые терпеть не могли всякого рода воскресений, потому что в воскресенье им было скучно. Маги, Люди с большой буквы, и девизом их было — «Понедельник начинается в субботу». Да, они знали кое-какие заклинания, умели превращать воду в вино, и каждый из них не затруднился бы накормить

пятью хлебами тысячу человек. Но магами они были не поэтому. Это была шелуха, внешнее. Они были магами потому, что очень много знали, так много, что количество перешло у них, наконец, в качество, и они стали с миром в другие отношения, нежели обычные люди. Они работали в институте, который занимался прежде всего проблемами человеческого счастья и смысла человеческой жизни, но даже среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же. Каждый человек — маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться в старинном смысле этого слова. И наверное, их рабочая гипотеза была недалека от истины, потому что, так же как труд превратил обезьяну в человека, точно так же отсутствие труда в гораздо более короткие сроки превращает человека в обезьяну. Даже хуже, чем в обезьяну.

В жизни мы не всегда замечаем это. Бездельник и тунеядец, развратник и карьерист продолжают ходить на задних конечностях, разговаривать

вполне членораздельно (хотя круг тем у них сужается до предела), а что касается узких брюк и увлечения джазом, по которым одно время пытались определять степень обезьяноподобия, то довольно быстро выяснилось, что они свойственны даже лучшим из магов.

В институте же регресс скрыть было невозможно. Институт предоставлял неограниченные возможности для превращения человека в мага. Но он был беспощаден к отступникам и метил их без промаха. Стоило сотруднику предаться хотя бы на час эгоистическим и инстинктивным действиям (а иногда даже просто мыслям), как он со страхом замечал, что пушок на его ушах становится гуще. Это было предупреждение. Так милицейский свисток предупреждает о возможном штрафе, так боль предупреждает о возможной травме. Теперь все зависело от себя. Человек сплошь и рядом не может бороться со своими кислыми мыслями, на то он и человек — переходная ступень от неандертальца к магу. Но он может поступать вопреки этим мыслям, и тогда у него сохраняются шансы. А может и уступить, махнуть на все рукой («Живем один раз», «Надо брать от жизни все», «Ничто человеческое мне не чуждо»), и тогда ему остается

одно: как можно скорее уходить из института. Там, снаружи, он еще может остаться по крайней мере добропорядочным мещанином, честно, но вяло отрабатывающим свою зарплату. Но трудно решиться на уход. В институте тепло, уютно, работа чистая, уважаемая, платят неплохо, люди прекрасные, а стыд глаза не выест. Вот и слоняются, провожаемые сочувственными и неодобрительными взглядами, по коридорам и лабораториям, с ушами, покрытыми жесткой серой шерстью, бестолковые, теряющие связность речи, глупеющие на глазах. Но этих еще можно пожалеть, можно пытаться помочь им, можно еще надеяться вернуть им человеческий облик...

Есть другие. С пустыми глазами. Достоверно знающие, с какой стороны у бутерброда масло. По-своему очень даже неглупые. По-своему немалые знатоки человеческой природы. Расчетливые и беспринципные, познавшие всю силу человеческих слабостей, умеющие любое зло обратить себе в добро и в этом неутомимые. Они тщательно выбривают свои уши и зачастую изобретают удивительные средства для уничтожения волосяного покрова. Они носят корсеты из драконьего уса, скрывающие искривление позвоночника, они закутываются в гигантские средневековые

мантии и боярские шубы, провозглашая верность национальной старине. Они во всеуслышание жалуются на застарелые ревматизмы и зимой и летом носят высокие валенки, подбитые кожей. Они неразборчивы в средствах и терпеливы, как пауки. И как часто они достигают значительных высот и крупных успехов в своем основном деле — в строительстве светлого будущего в одной отдельно взятой квартире и на одном отдельно взятом приусадебном участке, отгороженном от остального человечества колючей проволокой под напряжением...

Я вернулся на свой пост в приемную директора, свалил бесполезные ключи в ящик и прочел несколько страниц из классического труда Я. П. Невструева «Уравнения математической магии». Эта книга читалась как приключенческий роман, потому что была битком набита поставленными и нерешенными проблемами. Мне жгуче захотелось работать, и я совсем было уже решил начхать на дежурство и уйти к своему «Алдану», как позвонил Модест Матвеевич.

С хрустом жуя, он сердито осведомился:

— Где вы ходите, Привалов? Третий раз звоню, безобразие!

— С Новым годом, Модест Матвеевич, — ска-

зал я.

Некоторое время он молча жевал, потом ответил тоном ниже:

— Соответственно. Как дежурство?

— Только что обошел помещения, — сказал я. — Все нормально.

— Самовозгораний не было?

— Никак нет.

— Везде обесточено?

— Бриарей палец сломал, — сказал я.

Он встревожился.

— Бриарей? Постойте... Ага, инвентарный номер 1489... Почему?

Я объяснил.

— Что вы предприняли?

Я рассказал.

— Правильное решение, — сказал Модест Матвеевич. — Продолжайте дежурить. У меня все.

Сразу после Модеста Матвеевича позвонил Эдик Амперян из отдела Линейного Счастья и вежливо попросил посчитать оптимальные коэффициенты беззаботности для ответственных работников. Я согласился, и мы договорились встретиться в электронном зале через два часа. Потом зашел дубль Ойры-Ойры и бесцветным голосом попросил ключи от сейфа Януса Полуэк-

товича. Я отказал. Он стал настаивать. Я выгнал его вон.

Через минуту примчался сам Роман.

— Давай ключи.

Я помотал головой.

— Не дам.

— Давай ключи!

— Иди ты в баню. Я лицо материально ответственное.

— Сашка, я сейф унесу!

Я ухмыльнулся и сказал:

— Прошу.

Роман уставился на сейф и весь напрягся, но сейф был либо заговорен, либо привинчен к полу.

— А что тебе там нужно? — спросил я.

— Документация на РУ-16, — сказал Роман. — Ну дай ключи!

Я засмеялся и протянул руку к ящику с ключами. И в то же мгновение пронзительный вопль донесся откуда-то сверху. Я вскочил.

Глава четвертая

Горе! Малый я не сильный;

Съест упырь меня совсем...

А. С. Пушкин

— Вылупился, — спокойно сказал Роман, глядя в потолок.

— Кто? — Мне было не по себе: крик был женский.

— Выбегаллов упырь, — сказал Роман. — Точнее, кадавр.

— А почему женщина кричала?

— А вот увидишь, — сказал Роман.

Он взял меня за руку, подпрыгнул, и мы понеслись через этажи. Пронизывая потолки, мы врезались в перекрытия, как нож в замерзшее масло, затем с чмокающим звуком выскакивали в воздух и снова врезались в перекрытия. Между перекрытиями было темно, и маленькие гномы, вперемежку с мышами, с испуганными писками шарахались от нас, а в лабораториях и кабинетах, через которые мы пролетали, сотрудники с озадаченными лицами смотрели вверх.

В «Родильном Доме» мы протолкались через толпу любознательных и увидели за лабораторным столом совершенно голого профессора Выбегалло. Синевато-белая его кожа мокро поблескивала, мокрая борода свисала клином,

мокрые волосы залепили низкий лоб, на котором пламенел действующий вулканический прыщ. Пустые прозрачные глаза, редко помаргивая, бессмысленно шарили по комнате.

Профессор Выбегалло кушал. На столе перед ним дымилась большая фотографическая кювета, доверху наполненная паренными отрубями. Не обращая ни на кого специального внимания, он зачерпывал отруби широкой ладонью, уминал их пальцами, как плов, и образовавшийся комок отправлял в ротовое отверстие, обильно посыпая крошками бороду. При этом он хрустел, чмокал, хрюкал, всхрапывал, склонял голову набок и жмурился, словно от огромного наслаждения. Время от времени, не переставая глотать и давиться, он приходил в волнение, хватал за края чан с отрубями и ведра с обратом, стоявшие рядом с ним на полу, и каждый раз придвигал их к себе все ближе и ближе. На другом конце стола молоденькая ведьма-практикантка Стелла с чистыми розовыми ушками, бледная и заплаканная, с дрожащими губками, нарезала хлебные буханки огромными скибками и, отворачиваясь, подносила их Выбегалле на вытянутых руках. Центральный автоклав был раскрыт, опрокинут, и вокруг него растеклась обширная зеленоватая

лужа.

Выбегалло вдруг произнес неразборчиво:

— Эй, девка... эта... молока давай! Лей, значить, прямо сюда, в отрубя... Силь ву пле, значить...

Стелла торопливо подхватила ведро и плеснула в кювету обрат.

— Эх! — воскликнул профессор Выбегалло. — Посуда мала, значить! Ты, девка, как тебя, эта, прямо в чан лей. Будем, значить, из чана кушать...

Стелла стала опрокидывать ведра в чан с отрубями, а профессор, ухвативши кювету, как ложку, принялся черпать отруби и отправлять в пасть, раскрывшуюся вдруг невероятно широко.

— Да позвоните же ему! — жалобно закричала Стелла. — Он же сейчас все доест!

— Звонили уже, — сказали в толпе. — Ты лучше от него отойди все-таки. Ступай сюда.

— Ну, он придет? Придет?

— Сказал, что выходит. Галоши, значить, надевает и выходит. Отойди от него, тебе говорят.

Я, наконец, понял, в чем дело. Это не был профессор Выбегалло. Это был новорожденный кадавр, модель Человека, неудовлетворенного желудочно. И слава богу, а то я уж было подумал, что профессора хватил мозговой паралич. Как

следствие напряженных занятий.

Стелла осторожненько отошла. Ее схватили за плечи и втянули в толпу. Она спряталась за моей спиной, вцепившись мне в локоть, и я немедленно расправил плечи, хотя не понимал еще, в чем дело и чего она так боится. Кадавр жрал. В лаборатории, полной народа, стояла потрясенная тишина, и было слышно только, как он сопит и хрустит, словно лошадь, и скребет кюветой по стенкам чана. Мы смотрели. Он слез со стула и погрузил голову в чан. Женщины отвернулись. Лилечке Новосмеховой стало плохо, и ее вывели в коридор. Потом ясный голос Эдика Амперяна произнес:

— Хорошо. Будем логичны. Сейчас он прикончит отруби, потом доест хлеб. А потом?

В передних рядах возникло движение. Толпа потеснилась к дверям. Я начал понимать. Стелла сказала тоненьким голоском:

— Еще селедочные головы есть...

— Много?

— Две тонны.

— М-да, — сказал Эдик. — И где же они?

— Они должны подаваться по конвейеру, — сказала Стелла. — Но я пробовала, а конвейер сломан...

— Между прочим, — сказал Роман громко, — уже в течение двух минут я пытаюсь его пассивизировать, и совершенно безрезультатно...

— Я тоже, — сказал Эдик.

— Поэтому, — сказал Роман, — было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь из особо брезгливых занялся починкой конвейера. Как паллиатив. Есть тут кто-нибудь еще из магистров? Эдика я вижу. Еще кто-нибудь есть? Корнеев! Виктор Павлович, ты здесь?

— Нет его. Может быть, за Федором Симеоновичем сбегать?

— Я думаю, пока не стоит беспокоить. Справимся как-нибудь. Эдик, давай-ка вместе, сосредоточенно.

— В каком режиме?

— В режиме торможения. Вплоть до тетануса. Ребята, помогайте все, кто умеет.

— Одну минутку, — сказал Эдик. — А если мы его повредим?

— Да-да-да, — сказал я. — Вы уж лучше не надо. Пусть уж он лучше меня сожрет.

— Не беспокойся, не беспокойся. Мы будем осторожны. Эдик, давай на прикосновениях. В одно касание.

— Начали, — сказал Эдик.

Стало еще тише. Кадавр ворочался в чане, а за стеной переговаривались и постукивали добровольцы, возившиеся с конвейером. Прошла минута. Кадавр вылез из чана, утер бороду, сонно посмотрел на нас и вдруг ловким движением, неимоверно далеко вытянув руку, сцапал последнюю буханку хлеба. Затем он рокочуще отрыгнул и откинулся на спинку стула, сложив руки на огромном вздувшемся животе. По лицу его разлилось блаженство. Он посапывал и бессмысленно улыбался. Он был несомненно счастлив, как бывает счастлив предельно уставший человек, добравшийся наконец до желанной постели.

— Подействовало, кажется, — с облегченным вздохом сказал кто-то в толпе.

Роман с сомнением поджал губы.

— У меня нет такого впечатления, — вежливо сказал Эдик.

— Может быть, у него завод кончился? — сказал я с надеждой.

Стелла жалобно сообщила:

— Это просто релаксация... Пароксизм довольства. Он скоро опять проснется.

— Слабаки вы, магистры, — сказал мужественный голос. — Пустите-ка меня, пойду Федора Симеоновича позову.

Все переглядывались, неуверенно улыбаясь. Роман задумчиво играл умклайдетом, катая его на ладони. Стелла дрожала, шепча: «Что ж это будет? Саша, я боюсь!» Что касается меня, то я выпячивал грудь, хмурил брови и боролся со страстным желанием позвонить Модесту Матвеевичу. Мне ужасно хотелось снять с себя ответственность. Это была слабость, и я был бессилен перед ней. Модест Матвеевич представлялся мне сейчас совсем в особом свете, и я с надеждой вспоминал защищенную в прошлом месяце магистерскую диссертацию «О соотношении законов природы и законов администрации», где в частности доказывалось, что сплошь и рядом административные законы в силу своей специфической непреклонности оказываются действеннее природных и магических закономерностей. Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» — как упырь немедленно бы прекратил.

— Роман, — сказал я небрежно, — я думаю, что в крайнем случае ты способен его дематериализовать?

Роман засмеялся и похлопал меня по плечу.

— Не трусь, — сказал он. — Это все игрушки. С

Выбегаллой только связываться неохота... Этого ты не бойся, ты вон того бойся! — Он указал на второй автоклав, мирно пощелкивающий в углу.

Между тем кадавр вдруг беспокойно зашевелился. Стелла тихонько взвизгнула и прижалась ко мне. Глаза кадавра раскрылись. Сначала он нагнулся и заглянул в чан. Потом погремел пустыми ведрами. Потом замер и некоторое время сидел неподвижно. Выражение довольства на его лице сменилось выражением горькой обиды. Он приподнялся, быстро обнюхал, шевеля ноздрями, стол и, вытянув длинный красный язык, слизнул крошки.

— Ну, держись, ребята... — прошептали в толпе.

Кадавр сунул руку в чан, вытащил кювету, осмотрел ее со всех сторон и осторожно откусил край. Брови его страдальчески поднялись. Он откусил еще кусок и захрустел. Лицо его посинело, словно бы от сильного раздражения, глаза увлажнились, но он кусал раз за разом, пока не сжевал всю кювету. С минуту он сидел в задумчивости, пробуя пальцами зубы, затем медленно прошелся взглядом по замершей толпе. Нехороший у него был взгляд — оценивающий, выбирающий какой-то. Володя Почкин непроизвольно произнес:

«Но-но, тихо, ты...» И тут пустые прозрачные глаза уперлись в Стеллу, и она испустила вопль, тот самый душераздирающий вопль, переходящий в ультразвук, который мы с Романом уже слышали в приемной директора четырьмя этажами ниже. Я содрогнулся. Кадавра это тоже смутило: он опустил глаза и нервно забарабанил пальцами по столу.

В дверях раздался шум, все задвигались, и сквозь толпу, расталкивая зазевавшихся, выдирая сосульки из бороды, полез Амвросий Амбруазович Выбегалло. Настоящий. От него пахло водкой, зипуном и морозом.

— Милай! — закричал он. — Что же это, а? Кель сетуасьен![9] Стелла, что же ты, эта, смотришь!.. Где селедка? У него же потребности!.. У него же они растут!.. Мои труды читать надо!

Он приблизился к кадавру, и кадавр сейчас же принялся жадно его обнюхивать. Выбегалло отдал ему зипун.

— Потребности надо удовлетворять! — говорил он, торопливо щелкая переключателями на пульте конвейера. — Почему сразу не дала? Ох уж эти ле фам, ле фам!..[10] Кто сказал, что сломан? И не сломан вовсе, а заговорен. Чтоб, значить, не всякому пользоваться, потому что, эта, потребности

у всех, а селедка — для модели...

В стене открылось окошечко, затарахтел конвейер, и прямо на пол полился поток благоухающих селедочных голов. Глаза кадавра сверкнули. Он пал на четвереньки, дробной рысью подскакал к окошечку и взялся за дело. Выбегалло, стоя рядом, хлопал в ладоши, радостно вскрикивал и время от времени, переполняясь чувствами, принимался чесать кадавра за ухом.

Толпа облегченно вздыхала и шевелилась. Выяснилось, что Выбегалло привел с собой двух корреспондентов областной газеты. Корреспонденты были знакомые — Г. Проницательный и Б. Питомник. От них тоже пахло водкой. Сверкая блицами, они принялись фотографировать и записывать в книжечки. Г. Проницательный и Б. Питомник специализировались по науке. Г. Проницательный был прославлен фразой: «Оорт первый взглянул на звездное небо и заметил, что Галактика вращается». Ему же принадлежали: литературная запись повествования Мерлина о путешествии с председателем райсовета и интервью, взятое (по неграмотности) у дубля Ойры-Ойры. Интервью имело название «Человек с большой буквы» и начиналось словами: «Как всякий истинный ученый, он был немногосло-

вен...» Б. Питомник паразитировал на Выбегалле. Его боевые очерки о самонадевающейся обуви, о самовыдергивающе-самоукладывающейся в грузовики моркови и о других проектах Выбегаллы были широко известны в области, а статья «Волшебник из Соловца» появилась даже в одном из центральных журналов.

Когда у кадавра наступил очередной пароксизм довольства и он задремал, подоспевшие лаборанты Выбегаллы, с корнем выдранные из-за новогодних столов и потому очень неприветливые, торопливо нарядили его в черную пару и подсунули под него стул. Корреспонденты поставили Выбегаллу рядом, положили его руки на плечи кадавра и, нацелясь объективами, попросили продолжать.

— Главное — что? — с готовностью провозгласил Выбегалло. — Главное, чтобы человек был счастлив. Замечаю это в скобках: счастье есть понятие человеческое. А что есть человек, философски говоря? Человек, товарищи, есть хомо сапиенс, который может и хочет. Может, эта, все, что хочет, а хочет все, что может. Нес па, товарищи? Ежели он, то есть человек, может все, что хочет, а хочет все, что может, то он и есть счастлив. Так мы его и определим. Что мы

здесь, товарищи, перед собою имеем? Мы имеем модель. Но эта модель, товарищи, хочет, и это уже хорошо. Так сказать, экселент, эксви, шармант11. И еще, товарищи, вы сами видите, что она может. И это еще лучше, потому что раз так, то она... он, значить, счастливый. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью, и это нас не может удивлять, потому что счастливыми не рождаются, а счастливыми, эта, становятся. Благодаря заботам и правильному к тебе отношению. Вот оно сейчас просыпается... Оно хочет. И потому оно пока несчастливо. Но оно может, и через это «может» совершается диалектический скачок. Во, во!.. Смотрите! Видали, как оно может? Ух ты, мой милый, ух ты, мой радостный!.. Во, во! Вот как оно может! Минут десять-пятнадцать оно может... Вы, там, товарищ Питомник, свой фотоаппаратик отложите, а возьмите вы киноаппаратик, потому как здесь мы имеем процесс... здесь у нас все в движении! Покой у нас, как и полагается быть, относителен, движение у нас абсолютно. Вот так. Теперь оно смогло и диалектически переходит к счастью. К довольству, то есть. Видите, оно глаза закрыло. Наслаждается. Ему хорошо. Я вам научно утверждаю, что готов был бы с ним поменяться. В данный, конечно,

момент... Вы, товарищ Проницательный, все, что я говорю, записывайте, а потом дайте мне. Я приглажу и ссылки вставлю... Вот теперь оно дремлет, но это еще не все. Потребности должны идти у нас как вглубь, так и вширь. Это, значить, будет единственно верный процесс. Он ди ке12, Выбегалло, мол, против духовного мира. Это, товарищи, ярлык. Нам, товарищи, давно пора забыть такие манеры в научной дискуссии. Все мы знаем, что материальное идет впереди, а духовное идет позади. Сатур вентур, как известно, нон студит либентур13. Что мы, применительно к данному случаю, переведем так: голодной куме все хлеб на уме...

— Наоборот, — сказал Ойра-Ойра.

Некоторое время Выбегалло пусто смотрел на него, затем сказал:

— Эту реплику из зала мы, товарищи, сейчас отметем с негодованием. Как неорганизованную. Не будем отвлекаться от главного — от практики. Оставим теорию лицам, в ней недостаточно подкованным. Я продолжаю и перехожу к следующей ступени эксперимента. Поясняю для прессы. Исходя из материалистической идеи о том, что временное удовлетворение матпотребностей произошло, можно переходить к удовлетворе-

нию духпотребностей. То есть посмотреть кино, телевизор, послушать народную музыку или попеть самому и даже почитать какую-нибудь книгу, скажем, «Крокодил» или там газету... Мы, товарищи, не забываем, что ко всему этому надо иметь способности, в то время как удовлетворение матпотребностей особенных способностей не требует, они всегда есть, ибо природа следует материализму. Пока насчет духовных способностей данной модели мы сказать ничего не можем, поскольку ее рациональное зерно есть желудочная неудовлетворенность. Но эти духспособности мы сейчас у нее вычленим.

Угрюмые лаборанты развернули на столах магнитофон, радиоприемник, кинопроектор и небольшую переносную библиотеку. Кадавр окинул инструменты культуры равнодушным взором и попробовал на вкус магнитофонную ленту. Стало ясно, что духспособности модели спонтанно не проявятся. Тогда Выбегалло приказал начать, как он выразился, насильственное внедрение культурных навыков. Магнитофон сладко запел: «Мы с милым расставалися, клялись в любви своей...» Радиоприемник засвистел и заулюлюкал. Проектор начал показывать на стене мультфильм «Волк и семеро козлят». Два ла-

боранта встали с журналами в руках по сторонам кадавра и принялись наперебой читать вслух...

Как и следовало ожидать, желудочная модель отнеслась ко всему этому шуму с полным безразличием. Пока ей хотелось лопать, она чихала на свой духовный мир, потому что хотела лопать и лопала. Насытившись же, она игнорировала свой духовный мир, потому что соловела и временно уже ничего больше не желала. Зоркий Выбегалло ухитрился все-таки заметить несомненную связь между стуком барабана (из радиоприемника) и рефлекторным подрагиванием нижних конечностей модели. Это подрагивание привело его в восторг.

— Ногу! — закричал он, хватая за рукав Б. Питомника. — Снимайте ногу! Крупным планом! Ля вибрасьён са моле гош этюн гранд синь![14] Эта нога отметет все происки и сорвет все ярлыки, которые на меня навешивают! Уи сан дот[15], человек, который не специалист, может быть, даже удивится, как я отношусь к этой ноге. Но ведь, товарищи, все великое обнаруживается в малом, а я должен напомнить, что данная модель есть модель ограниченных потребностей, говоря конкретно — только одной потребности и, называя вещи своими именами, прямо, по-нашему,

без всех этих вуалей — модель потребности желудочной. Потому у нее такое ограничение и в духпотребностях. А мы утверждаем, что только разнообразие матпотребностей может обеспечить разнообразие духпотребностей. Поясняю для прессы на доступном ей примере. Ежели бы, скажем, была у него ярко выраженная потребность в данном магнитофоне «Астра-7» за сто сорок рублей, каковая потребность должна пониматься нами как материальная, и оно бы этот магнитофон заимело, то оно бы данный магнитофон и крутило бы, потому что, сами понимаете, что еще с магнитофоном делать? А раз крутило бы, то с музыкой, а раз музыка — надо ее слушать или там танцевать... А что, товарищи, есть слушанье музыки с танцами или без них? Это есть удовлетворение духпотребностей. Компрене ву?

Я уже давно заметил, что поведение кадавра существенно переменилось. То ли в нем что-то разладилось, то ли так и должно было быть, но время релаксаций у него все сокращалось и сокращалось, так что к концу речи Выбегаллы он уже не отходил от конвейера. Впрочем, возможно, ему просто стало трудно передвигаться.

— Разрешите вопрос, — вежливо сказал Эдик. — Чем вы объясняете прекращение пароксизмов

довольства?

Выбегалло замолк и посмотрел на кадавра. Кадавр жрал. Выбегалло посмотрел на Эдика.

— Отвечаю, — самодовольно сказал он. — Вопрос, товарищи, верный. И, я бы даже сказал, умный вопрос, товарищи. Мы имеем перед собою конкретную модель непрерывно возрастающих материальных потребностей. И только поверхностному наблюдателю может казаться, что пароксизмы довольства якобы прекратились. На самом деле они диалектически перешли в новое качество. Они, товарищи, распространились на сам процесс удовлетворения потребностей. Теперь ему мало быть сытым. Теперь потребности возросли, теперь ему надо все время кушать, теперь он самообучился и знает, что жевать — это тоже прекрасно. Понятно, товарищ Амперян?

Я посмотрел на Эдика. Эдик вежливо улыбался. Рядом с ним стояли рука об руку дубли Федора Симеоновича и Кристобаля Хозевича. Головы их, с широко расставленными ушами, медленно поворачивались вокруг оси, как аэродромные радиолокаторы.

— Еще вопрос можно? — сказал Роман.

— Прошу, — сказал Выбегалло с устало-снисходительным видом.

— Амвросий Амбруазович, — сказал Роман, — а что будет, когда оно все потребит?

Взгляд Выбегаллы стал гневным.

— Я прошу всех присутствующих отметить этот провокационный вопрос, от которого за версту разит мальтузианством, неомальтузианством, прагматизьмом, экзистенцио... оа... нализьмом и неверием, товарищи, в неисчерпаемую мощь человечества. Вы что же хотите сказать этим вопросом, товарищ Ойра-Ойра? Что в деятельности нашего научного учреждения может наступить момент, кризис, регресс, когда нашим потребителям не хватит продуктов потребления? Нехорошо, товарищ Ойра-Ойра! Не подумали вы! А мы не можем допустить, чтобы на нашу работу навешивали ярлыки и бросали тень. И мы этого, товарищи, не допустим.

Он достал носовой платок и вытер бороду. Г. Проницательный, скривившись от умственного напряжения, задал следующий вопрос:

— Я, конечно, не специалист. Но какое будущее у данной модели? Я понимаю, что эксперимент проходит успешно. Но очень уж активно она потребляет.

Выбегалло горько усмехнулся.

— Вот видите, товарищ Ойра-Ойра, — сказал

он. — Так вот и возникают нездоровые сенсации. Вы, не подумав, задали вопрос. И вот уже рядовой товарищ неверно сориентирован. Не на тот идеал смотрит... Не на тот идеал смотрите, товарищ Проницательный! — обратился он прямо к корреспонденту. — Данная модель есть уже пройденный этап! Вот идеал, на который нужно смотреть! — Он подошел ко второму автоклаву и положил рыжеволосую руку на его полированный бок. Борода его задралась. — Вот наш идеал! — провозгласил он. — Или, выражаясь точнее, вот модель нашего с вами идеала. Мы имеем здесь универсального потребителя, который всего хочет и все, соответственно, может. Все потребности в нем заложены, какие только бывают на свете. И все эти потребности он может удовлетворить. С помощью нашей науки, разумеется. Поясняю для прессы. Модель универсального потребителя, заключенная в этом автоклаве, или, говоря по-нашему, в самозапиральнике, хочет неограниченно. Все мы, товарищи, при всем нашем уважении к нам, просто нули рядом с нею. Потому что она хочет таких вещей, о которых мы и понятия не имеем. И она не будет ждать милости от природы. Она возьмет от природы все, что ей нужно для полного счастья, то есть для

удовлетворенности. Материально-магические силы сами извлекут из окружающей природы все ей необходимое. Счастье данной модели будет неописуемым. Она не будет знать ни голода, ни жажды, ни зубной боли, ни личных неприятностей. Все ее потребности будут мгновенно удовлетворяться по мере их возникновения.

— Простите, — вежливо сказал Эдик, — и все ее потребности будут материальными?

— Ну разумеется! — вскричал Выбегалло. — Духовные потребности разовьются в соответствии! Я уже отмечал, что чем больше материальных потребностей, тем разнообразнее будут духовные потребности. Это будет исполин духа и корифей!

Я оглядел присутствующих. Многие были ошарашены. Корреспонденты отчаянно писали. Некоторые, как я заметил, со странным выражением переводили взгляд с автоклава на непрерывно глотающего кадавра и обратно. Стелла, припав лбом к моему плечу, всхлипывала и шептала: «Уйду я отсюда, не могу, уйду...» Я, кажется, тоже начинал понимать, чего опасался Ойра-Ойра. Мне представилась громадная отверстая пасть, в которую, брошенные магической силой, сыплются животные, люди, города, континенты, планеты и солнца...

— Амвросий Амбруазович, — сказал Ойра-Ойра. — А может универсальный потребитель создать камень, который даже при самом сильном желании не сумеет поднять?

Выбегалло задумался, но только на секунду.

— Это не есть матпотребность, — ответил он. — Это есть каприз. Не для того я создавал своих дублей, чтобы они, значить, капризничали.

— Каприз тоже может быть потребностью, — возразил Ойра-Ойра.

— Не будем заниматься схоластикой и казуистикой, — предложил Выбегалло. — И не будем проводить церковномистических аналогий.

— Не будем, — сказал Ойра-Ойра.

Б. Питомник сердито оглянулся на него и снова обратился к Выбегалле:

— А когда и где будет происходить демонстрация универсальной модели, Амвросий Амбруазович?

— Ответ, — сказал Выбегалло. — Демонстрация будет происходить здесь, в этой моей лаборатории. О моменте пресса будет оповещена дополнительно.

— Но это будет в ближайшие дни?

— Есть мнение, что это будет в ближайшие часы. Так что товарищам прессе лучше всего

остаться и подождать.

Тут дубли Федора Симеоновича и Кристобаля Хозевича, словно по команде, повернулись и вышли. Ойра-Ойра сказал:

— Вам не кажется, Амвросий Амбруазович, что такую демонстрацию проводить в помещении, да еще в центре города, опасно?

— Нам опасаться нечего, — веско сказал Выбегалло. — Пусть наши враги, эта, опасаются.

— Помните, я говорил вам, что возможна...

— Вы, товарищ Ойра-Ойра, недостаточно, значить, подкованы. Отличать надо, товарищ Ойра-Ойра, возможность от действительности, случайность от необходимости, теорию от практики и вообще...

— Все-таки, может быть, на полигоне...

— Я испытываю не бомбу, — высокомерно сказал Выбегалло. — Я испытываю модель идеального человека. Какие будут еще вопросы?

Какой-то умник из отдела Абсолютного Знания принялся расспрашивать о режиме работы автоклава. Выбегалло с охотой пустился в объяснения. Угрюмые лаборанты собирали свою технику удовлетворения духпотребностей. Кадавр жрал. Черная пара на нем потрескивала, расползаясь по швам. Ойра-Ойра изучающе глядел на него.

Потом он вдруг громко сказал:

— Есть предложение. Всем, лично не заинтересованным, немедленно покинуть помещение.

Все обернулись к нему.

— Сейчас здесь будет очень грязно, — пояснил он. — До невозможности грязно.

— Это провокация, — с достоинством сказал Выбегалло.

Роман, схватив меня за рукав, потащил к двери. Я потащил за собой Стеллу. Вслед за нами устремились остальные зрители. Роману в институте верили, Выбегалле — нет. В лаборатории из посторонних остались одни корреспонденты, а мы столпились в коридоре.

— В чем дело? — спрашивали Романа. — Что будет? Почему грязно?

— Сейчас он рванет, — отвечал Роман, не сводя глаз с двери.

— Кто рванет? Выбегалло?

— Корреспондентов жалко, — сказал Эдик. — Слушай, Саша, душ у нас сегодня работает?

Дверь лаборатории отворилась, и оттуда вышли два лаборанта, волоча чан с пустыми ведрами. Третий лаборант, опасливо оглядываясь, суетился вокруг и бормотал: «Давайте, ребята, давайте я помогу, тяжело ведь...»

— Двери закройте, — посоветовал Роман.

Суетящийся лаборант поспешно захлопнул дверь и подошел к нам, вытаскивая сигареты. Глаза у него были круглые и бегали.

— Ну, сейчас будет... — сказал он. — Проницательный дурак, я ему подмигивал... Как он жрет!.. С ума сойти, как он жрет...

— Сейчас двадцать пять минут третьего... — начал Роман.

И тут раздался грохот. Зазвенели разбитые стекла. Дверь лаборатории крякнула и сорвалась с петли. В образовавшуюся щель вынесло фотоаппарат и чей-то галстук. Мы шарахнулись. Стелла опять взвизгнула.

— Спокойно, — сказал Роман. — Уже все. Одним потребителем на земле стало меньше.

Лаборант, белый, как халат, непрерывно затягиваясь, курил сигарету. Из лаборатории доносилось хлюпанье, кашель, неразборчивые проклятия. Потянуло дурным запахом. Я нерешительно промямлил:

— Надо посмотреть, что ли...

Никто не отозвался. Все сочувственно смотрели на меня. Стелла тихо плакала и держала меня за куртку. Кто-то кому-то объяснял шепотом: «Он дежурный сегодня, понял?.. Надо же кому-то идти

выгребать...»

Я сделал несколько неуверенных шагов к дверям, но тут из лаборатории, цепляясь друг за друга, выбрались корреспонденты и Выбегалло.

Господи, в каком они были виде!..

Опомнившись, я вытащил из кармана платиновый свисток и свистнул. Расталкивая сотрудников, ко мне заспешила авральная команда домовых-ассенизаторов.

Глава пятая

Верьте мне, это было самое ужасное зрелище на свете.

Ф. Рабле

Больше всего меня поразило то, что Выбегалло нисколько не был обескуражен происшедшим. Пока домовые обрабатывали его, поливая абсорбентами и умащивая благовониями, он вещал фальцетом:

— Вот вы, товарищи Ойра-Ойра и Амперян, вы тоже все опасались. Что, мол, будет, да как, мол, его остановить... Есть, есть в вас, товарищи, эдакий нездоровый, значить, скептицизьм. Я бы сказал, эдакое недоверие к силам природы, к че-

ловеческим возможностям. И где же оно теперь, ваше недоверие? Лопнуло! Лопнуло, товарищи, на глазах широкой общественности и забрызгало меня и вот товарищей из прессы...

Пресса потерянно молчала, покорно подставляя бока под шипящие струи абсорбентов. Г. Проницательного била крупная дрожь. Б. Питомник мотал головой и непроизвольно облизывался.

Когда домовые прибрали лабораторию в первом приближении, я заглянул внутрь. Авральная команда деловито вставляла стекла и жгла в муфельной печи останки желудочной модели. Останков было мало: кучка пуговиц с надписью «фор джентльмен»16, рукав пиджака, неимоверно растянутые подтяжки и вставная челюсть, напоминающая ископаемую челюсть гигантопитека. Остальное, по-видимому, разлетелось в пыль. Выбегалло осмотрел второй автоклав, он же самозапиральник, и объявил, что все в порядке. «Прессу прошу ко мне, — сказал он. — Прочим предлагаю вернуться к своим непосредственным обязанностям». Пресса вытащила книжечки, все трое уселись за стол и принялись уточнять детали очерка «Рождение открытия» и информационной заметки «Профессор Выбегалло рассказывает».

Зрители разошлись. Ушел Ойра-Ойра, забрав у

меня ключи от сейфа Януса Полуэктовича. Ушла в отчаянии Стелла, которую Выбегалло отказался отпустить в другой отдел. Ушли заметно повеселевшие лаборанты. Ушел Эдик, окруженный толпою теоретиков, прикидывая на ходу минимальное возможное давление в желудке взорвавшегося кадавра. Я тоже отправился на свой пост, предварительно удостоверившись, что испытание второго кадавра состоится не раньше восьми утра.

Эксперимент произвел на меня тягостное впечатление, и, устроившись в огромном кресле в приемной, я некоторое время пытался понять, дурак Выбегалло или хитрый демагог-халтурщик. Научная ценность всех его кадавров была, очевидно, равна нулю. Модели на базе собственных дублей умел создавать любой сотрудник, защитивший магистерскую диссертацию и закончивший двухгодичный спецкурс нелинейной трансгрессии. Наделять эти модели магическими свойствами тоже ничего не стоило, потому что существовали справочники, таблицы и учебники для магов-аспирантов. Эти модели сами по себе никогда ничего не доказывали и с точки зрения науки представляли не больший интерес, чем карточные фокусы или шпагоглотание. Можно

было, конечно, понять всех этих горе-корреспондентов, которые липли к Выбегалле, как мухи к помойке. Потому что с точки зрения неспециалиста все это было необычайно эффектно, вызывало почтительную дрожь и смутные ощущения каких-то громадных возможностей. Труднее было понять Выбегаллу с его болезненной страстью устраивать цирковые представления и публичные взрывы на потребу любопытным, лишенным возможности (да и желания) разобраться в сути вопроса. Если не считать двух-трех изнуренных командировками абсолютников, обожающих давать интервью о положении дел в бесконечности, никто в институте, мягко выражаясь, не злоупотреблял контактами с прессой: это считалось дурным тоном и имело глубокое внутреннее обоснование.

Дело в том, что самые интересные и изящные научные результаты сплошь и рядом обладают свойством казаться непосвященным заумными и тоскливо-непонятными. Люди, далекие от науки, в наше время ждут от нее чуда и только чуда и практически не способны отличить настоящее научное чудо от фокуса или какого-нибудь интеллектуального сальто-мортале. Наука чародейства и волшебства не составляет исключения. Органи-

зовать на телестудии конференцию знаменитых привидений или просверлить взглядом дыру в полуметровой бетонной стене могут многие, и это никому не нужно, но это приводит в восторг почтеннейшую публику, плохо представляющую себе, до какой степени наука сплела и перепутала понятия сказки и действительности. А вот попробуйте найти глубокую внутреннюю связь между сверлящим свойством взгляда и филологическими характеристиками слова «бетон», попробуйте решить эту маленькую частную проблемку, известную под названием Великой Проблемы Ауэрса! Ее решил Ойра-Ойра, создав теорию фантастической общности и положив начало совершенно новому разделу математической магии. Но почти никто не слыхал об Ойре-Ойре, зато все превосходно знают профессора Выбегаллу. («Как, вы работаете в НИИЧАВО? Ну как там Выбегалло? Что он еще новенького открыл?..») Это происходит потому, что идеи Ойры-Ойры способны воспринять всего двести-триста человек на всем земном шаре, и среди этих двух-трех сотен довольно много членов-корреспондентов и — увы! — нет ни одного корреспондента. А классический труд Выбегаллы «Основы технологии производства самонадевающейся обуви»,

набитый демагогической болтовней, произвел в свое время заботами Б. Питомника изрядный шум. (Позже выяснилось, что самонадевающиеся ботинки стоят дороже мотоцикла и боятся пыли и сырости.)

Время было позднее. Я порядком устал и незаметно для себя заснул. Мне снилась какая-то нечисть: многоногие гигантские комары, бородатые, как Выбегалло, говорящие ведра с обратом, чан на коротких ножках, бегающий по лестнице. Иногда в мой сон заглядывал какой-нибудь нескромный домовой, но, увидев такие страсти, испуганно удирал. Проснулся я от боли и увидел рядом с собою мрачного бородатого комара, который старался запустить свой толстый, как авторучка, хобот мне в икру.

«Брысь!» — заорал я и стукнул его кулаком по выпученному глазу.

Комар обиженно заурчал и отбежал в сторону. Он был большой, как собака, рыжий с подпалинами. Вероятно, во сне я бессознательно произнес формулу материализации и нечаянно вызвал из небытия это угрюмое животное. Загнать его обратно в небытие мне не удалось. Тогда я вооружился томом «Уравнений математической магии», открыл форточку и выгнал комара на

мороз. Пурга сейчас же закрутила его, и он исчез в темноте. Вот так возникают нездоровые сенсации, подумал я.

Было шесть часов утра. Я прислушался. В институте стояла тишина. То ли все старательно работали, то ли уже разошлись по домам. Мне следовало совершить еще один обход, но идти никуда не хотелось и хотелось чего-нибудь поесть, потому что ел я в последний раз восемнадцать часов назад. И я решил пустить вместо себя дубля.

Вообще, я пока еще очень слабый маг. Неопытный. Будь здесь кто-нибудь рядом, я бы никогда не рискнул демонстрировать свое невежество. Но я был один, и я решил рискнуть, а заодно немного попрактиковаться. В «Уравнениях матмагии» я отыскал общую формулу, подставил в нее свои параметры, проделал все необходимые манипуляции и произнес все необходимые выражения на древнехалдейском. Все-таки учение и труд все перетрут. Первый раз в жизни у меня получился порядочный дубль. Все у него было на месте, и он был даже немножко похож на меня, только левый глаз у него почему-то не открывался, а на руках было по шести пальцев. Я разъяснил ему задание, он кивнул, шаркнул ножкой и удалился, пошатываясь. Больше мы с ним не встречались.

Может быть, его ненароком занесло в бункер к З. Горынычу, а может быть, он уехал в бесконечное путешествие на ободе Колеса Фортуны — не знаю, не знаю. Дело в том, что я очень скоро забыл о нем, потому что решил изготовить себе завтрак.

Я человек неприхотливый. Мне всего-то и надо было, что бутерброд с докторской колбасой и чашку черного кофе. Не понимаю, как это у меня получилось, но сначала на столе образовался докторский халат, густо намазанный маслом. Когда первый приступ естественного изумления прошел, я внимательно осмотрел халат. Масло было не сливочное и даже не растительное. Вот тут мне надо было халат уничтожить и начать все сначала. Но с отвратительной самонадеянностью я вообразил себя богом-творцом и пошел по пути последовательных трансформаций. Рядом с халатом появилась бутылка с черной жидкостью, а сам халат, несколько помедлив, стал обугливаться по краям. Я торопливо уточнил свои представления, сделав особый упор на образы кружки и говядины. Бутылка превратилась в кружку, жидкость не изменилась, один рукав халата сжался, вытянулся, порыжел и стал подергиваться. Вспотев от страха, я убедился, что это коровий хвост. Я вылез из кресла и отошел в угол.

Дальше хвоста дело не пошло, но зрелище и без того было жутковатое. Я попробовал еще раз, и хвост заколосился. Я взял себя в руки, зажмурился и стал со всевозможной отчетливостью представлять в уме ломоть обыкновенного ржаного хлеба, как его отрезают от буханки, намазывают маслом — сливочным, из хрустальной масленки — и кладут на него кружок колбасы. Бог с ней, с докторской, пусть будет обыкновенная полтавская полукопченая. С кофе я решил пока подождать. Когда я осторожно разжмурился, на докторском халате лежал большой кусок горного хрусталя, внутри которого что-то темнело. Я поднял этот кристалл, за кристаллом потянулся халат, необъяснимо к нему приросший, а внутри кристалла я различил вожделенный бутерброд, очень похожий на настоящий. Я застонал и попробовал мысленно расколоть кристалл. Он покрылся густой сетью трещин, так что бутерброд почти исчез из виду. «Тупица, — сказал я себе, — ты съел тысячи бутербродов, и ты неспособен сколько-нибудь отчетливо вообразить их. Не волнуйся, никого нет, никто тебя не видит. Это не зачет, не контрольная и не экзамен. Попробуй еще раз». И я попробовал. Лучше бы я не пробовал. Воображение мое почему-то разыгралось, в мозгу

вспыхивали и гасли самые неожиданные ассоциации, и, по мере того как я пробовал, приемная наполнялась странными предметами. Многие из них вышли, по-видимому, из подсознания, из дремучих джунглей наследственной памяти, из давно подавленных высшим образованием первобытных страхов. Они имели конечности и непрерывно двигались, они издавали отвратительные звуки, они были неприличны, они были агрессивны и все время дрались. Я затравленно озирался. Все это живо напоминало мне старинные гравюры, изображающие сцены искушения святого Антония. Особенно неприятным было овальное блюдо на паучьих лапах, покрытое по краям жесткой редкой шерстью. Не знаю, что ему от меня было нужно, но оно отходило в дальний угол комнаты, разгонялось и со всего маху подавало мне под коленки, пока я не прижал его креслом к стене. Часть предметов в конце концов мне удалось уничтожить, остальные разбрелись по углам и попрятались. Остались: блюдо, халат с кристаллом и кружка с черной жидкостью, разросшаяся до размеров кувшина. Я поднял ее обеими руками и понюхал. По-моему, это были черные чернила для авторучки. Блюдо за креслом шевелилось, царапая лапами цветной линолеум,

и мерзко шипело. Мне было очень неуютно.

В коридоре послышались шаги и голоса, дверь распахнулась, на пороге появился Янус Полуэктович и, как всегда, произнес: «Так». Я заметался. Янус Полуэктович прошел к себе в кабинет, на ходу небрежно, одним универсальным движением брови ликвидировав всю сотворенную мною кунсткамеру. За ним последовали Федор Симеонович, Кристобаль Хунта с толстой черной сигарой в углу рта, насупленный Выбегалло и решительный Роман Ойра-Ойра. Все они были озабочены, очень спешили и не обратили на меня никакого внимания. Дверь в кабинет осталась открытой. Я с облегченным вздохом уселся на прежнее место и тут обнаружил, что меня поджидает большая фарфоровая кружка с дымящимся кофе и тарелка с бутербродами. Кто-то из титанов обо мне все-таки позаботился, уж не знаю кто. Я принялся завтракать, прислушиваясь к голосам, доносящимся из кабинета.

— Начнем с того, — с холодным презрением говорил Кристобаль Хозевич, — что ваш, простите, «Родильный Дом» находится в точности под моими лабораториями. Вы уже устроили один взрыв, и в результате я в течение десяти минут был вынужден ждать, пока в моем кабинете вста-

вят вылетевшие стекла. Я сильно подозреваю, что аргументы более общего характера вы во внимание не примете, и потому исхожу из чисто эгоистических соображений...

— Это, дорогой, мое дело, чем я у себя занимаюсь, — отвечал Выбегалло фальцетом. — Я до вашего этажа не касаюсь, хотя вот у вас в последнее время бесперечь текёт живая вода. Она у меня весь потолок замочила, и клопы от нее заводятся. Но я вашего этажа не касаюсь, а вы не касайтесь моего.

— Г-голубчик, — пророкотал Федор Симеонович, — Амвросий Амбруазович! Н-надо же принять во в-внимание в-возможные осложнения... В-ведь никто же не занимается, скажем, д-драконом в здании, х-хотя есть и огнеупоры, и...

— У меня не дракон, у меня счастливый человек! Исполин духа! Как-то странно вы рассуждаете, товарищ Киврин, странные у вас аналогии, чужие! Модель идеального человека — и какой-то внеклассовый огнедышащий дракон!..

— Г-голубчик, да дело же не в том, ч-что он внеклассовый, а в том, что он п-пожар может устроить...

— Вот, опять! Идеальный человек может устроить пожар! Не подумали вы, товарищ Федор

Симеонович!

— Я г-говорю о д-драконе...

— А я говорю о вашей неправильной установке! Вы стираете, Федор Симеонович! Вы всячески замазываете! Мы, конечно, стираем противоречия... между умственным и физическим... между городом и деревней... между мужчиной и женщиной, наконец... Но замазывать пропасть мы вам не позволим, Федор Симеонович!

— К-какую пропасть? Что за ч-чертовщина, Р-роман, в конце концов?.. Вы же ему при мне об-объясняли! Я г-говорю, Амвросий Амб-бруазович, что ваш эксперимент оп-пасен, понимаете?.. Г-город можно повредить, п-понимаете?

— Я-то все понимаю. Я-то не позволю идеальному человеку вылупляться среди чистого поля на ветру!

— Амвросий Амбруазович, — сказал Роман, — я могу еще раз повторить свою аргументацию. Эксперимент опасен потому...

— Вот я, Роман Петрович, давно на вас смотрю и никак не могу понять, как вы можете применять такие выражения к человеку-идеалу. Идеальный человек ему, видите ли, опасен!

Тут Роман, видимо по молодости лет, потерял терпение.

— Да не идеальный человек! — заорал он. — А ваш гений-потребитель!

Воцарилось зловещее молчание.

— Как вы сказали? — страшным голосом осведомился Выбегалло. — Повторите. Как вы назвали идеального человека?

— Ян-нус Полуэктович, — сказал Федор Симеонович, — так, друг мой, нельзя все-таки...

— Нельзя! — воскликнул Выбегалло. — Правильно, товарищ Киврин, нельзя! Мы имеем эксперимент международно-научного звучания! Исполин духа должен появиться здесь, в стенах нашего института! Это символично! Товарищ Ойра-Ойра с его прагматическим уклоном делячески, товарищи, относится к проблеме! И товарищ Хунта тоже смотрит узколобо! Не смотрите на меня, товарищ Хунта, царские жандармы меня не запугали, и вы меня тоже не запугаете! Разве в нашем, товарищи, духе бояться эксперимента? Конечно, товарищу Хунте, как бывшему иностранцу и работнику церкви, позволительно временами заблуждаться, но вы-то, товарищ Ойра-Ойра, и вы, Федор Симеонович, вы же простые русские люди!

— П-прекратите д-демагогию! — взорвался наконец и Федор Симеонович. — К-как вам не

с-совестно нести такую чушь? К-какой я вам п-простой человек? И что это за словечко такое — п-простой? Это д-дубли у нас простые!..

— Я могу сказать только одно, — равнодушно сообщил Кристобаль Хозевич. — Я простой бывший Великий Инквизитор, и я закрою доступ к вашему автоклаву до тех пор, пока не получу гарантии, что эксперимент будет производиться на полигоне.

— И н-не ближе пяти к-километров от г-города, — добавил Федор Симеонович. — Или д-даже десяти.

По-видимому, Выбегалле ужасно не хотелось тащить свою аппаратуру и тащиться самому на полигон, где была вьюга и не было достаточного освещения для кинохроники.

— Так, — сказал он, — понятно. Отгораживаете нашу науку от народа. Тогда уж, может быть, не на десять километров, а прямо на десять тысяч километров, Федор Симеонович? Где-нибудь по ту сторону? Где-нибудь на Аляске, Кристобаль Хозевич, или откуда вы там? Так прямо и скажите. А мы запишем!

Снова воцарилось молчание, и было слышно, как грозно сопит Федор Симеонович, потерявший дар слова.

— Лет триста назад, — холодно произнес Хунта, — за такие слова я пригласил бы вас на прогулку за город, где отряхнул бы вам пыль с ушей и проткнул насквозь.

— Нечего, нечего, — сказал Выбегалло. — Это вам не Португалия. Критики не любите. Лет триста назад я бы с тобой тоже не особенно церемонился, кафолик недорезанный.

Меня скрутило от ненависти. Почему молчит Янус? Сколько же можно? В тишине раздались шаги, в приемную вышел бледный, оскаленный Роман и, щелкнув пальцами, создал дубль Выбегаллы. Затем он с наслаждением взял дубля за грудь, мелко потряс, взялся за бороду, сладострастно рванул несколько раз, успокоился, уничтожил дубля и вернулся в кабинет.

— А ведь в-вас гнать надо, В-выбегалло, — неожиданно спокойным голосом произнес Федор Симеонович. — Вы, оказывается, н-неприятная фигура.

— Критики, критики не любите, — отвечал, отдуваясь, Выбегалло.

И вот тут наконец заговорил Янус Полуэктович. Голос у него был мощный, ровный, как у джеклондоновских капитанов.

— Эксперимент, согласно просьбе Амвросия

Амбруазовича, будет произведен сегодня в десять ноль-ноль. Ввиду того, что эксперимент будет сопровождаться значительными разрушениями, которые едва не повлекут за собой человеческие жертвы, местом эксперимента назначаю дальний сектор полигона в пятнадцати километрах от городской черты. Пользуюсь случаем заранее поблагодарить Романа Петровича за его находчивость и мужество.

Некоторое время, по-видимому, все переваривали это решение. Во всяком случае, я переваривал. У Януса Полуэктовича была все-таки несомненно странная манера выражать свои мысли. Впрочем, все охотно верили, что ему виднее. Были уже прецеденты.

— Я пойду вызову машину, — сказал вдруг Роман и, вероятно, прошел сквозь стену, потому что в приемной не появился.

Федор Симеонович и Хунта, наверное, согласно кивнули головами, а оправившийся Выбегалло вскричал:

— Правильное решение, Янус Полуэктович! Вовремя вы нам напомнили о потерянной бдительности. Подальше, подальше от посторонних глаз. Только вот грузчики мне понадобятся. Автоклав у меня тяжелый, значить, пять тонн

все-таки...

— Конечно, — сказал Янус. — Распорядитесь.

В кабинете задвигали креслами, и я торопливо допил кофе.

В течение последующего часа я вместе с теми, кто еще оставался в институте, торчал у подъезда и наблюдал, как грузят автоклав, стереотрубы, бронещиты и зипуны на всякий случай. Буран утих, утро стояло морозное и ясное.

Роман пригнал грузовик на гусеничном ходу. Вурдалак Альфред привел грузчиков — гекатонхейров. Котт и Гиес шли охотно, оживленно галдя сотней глоток и на ходу засучивая многочисленные рукава, а Бриарей тащился следом, выставив вперед корявый палец, и ныл, что ему больно, что у него несколько голов кружатся, что он ночь не спал. Котт взял автоклав, Гиес — все остальное. Тогда Бриарей, увидев, что ему ничего не досталось, принялся распоряжаться, давать указания и помогать советами. Он забегал вперед, открывал и держал двери, то и дело присаживался на корточки и, заглядывая снизу, кричал: «Пошло! Пошло!» или «Правее бери! Зацепляешься!». В конце концов ему наступили на руку, а самого защемили между автоклавом и стеной. Он разрыдался, и Альфред отвел его обратно в виварий.

В грузовик набилось порядочно народу. Выбегалло залез в кабину водителя. Он был очень недоволен и у всех спрашивал который час. Грузовик уехал было, но через пять минут вернулся, потому что выяснилось, что забыли корреспондентов. Пока их искали, Котт и Гиес затеяли играть в снежки, чтобы согреться, и выбили два стекла. Потом Гиес сцепился с каким-то ранним пьяным, который кричал: «Все на одного, да?» Гиеса оттащили и затолкали обратно в кузов. Он вращал глазами и грозно ругался по-эллински. Появились дрожащие со сна Г. Проницательный и Б. Питомник, и грузовик наконец уехал.

Институт опустел. Была половина девятого. Весь город спал. Мне очень хотелось отправиться вместе со всеми на полигон, но, делать нечего — я вздохнул и пустился во второй обход.

Я, зевая, шел по коридорам и гасил везде свет, пока не добрался до лаборатории Витьки Корнеева. Витька Выбегалловыми экспериментами не интересовался. Он говорил, что таких, как Выбегалло, нужно беспощадно передавать Хунте в качестве подопытных животных на предмет выяснения, не являются ли они летальными мутантами. Поэтому Витька никуда не поехал, а сидел на диване-трансляторе, курил сигарету

и лениво беседовал с Эдиком Амперяном. Эдик лежал рядом и, задумчиво глядя в потолок, сосал леденец. На столе в ванне с водой бодро плавал окунь.

— С Новым годом, — сказал я.

— С Новым годом, — приветливо отозвался Эдик.

— Вот пусть Сашка скажет, — предложил Корнеев. — Саша, бывает небелковая жизнь?

— Не знаю, — сказал я. — Не видел. А что?

— Что значит — не видел? М-поле ты тоже никогда не видел, а напряженность его рассчитываешь.

— Ну и что? — сказал я. Я смотрел на окуня в ванне. Окунь плавал кругами, лихо поворачиваясь на виражах, и тогда было видно, что он выпотрошен. — Витька, — сказал я, — получилось все-таки?

— Саша не хочет говорить про небелковую жизнь, — сказал Эдик. — И он прав.

— Без белка жить можно, — сказал я, — а вот как он живет без потрохов?

— А вот товарищ Амперян говорит, что без белка жить нельзя, — сказал Витька, заставляя струю табачного дыма сворачиваться в смерч и ходить по комнате, огибая предметы.

— Я говорю, что жизнь — это белок, — возразил Эдик.

— Не ощущаю разницы, — сказал Витька. — Ты говоришь, что если нет белка, то нет и жизни.

— Да.

— Ну, а это что? — спросил Витька. Он слабо помахал рукой.

На столе рядом с ванной появилось отвратительное существо, похожее на ежа и на паука одновременно. Эдик приподнялся и заглянул на стол.

— Ах, — сказал он и снова лег. — Это не жизнь. Это нежить. Разве Кощей Бессмертный — это небелковое существо?

— А что тебе надо? — спросил Корнеев. — Двигается? Двигается. Питается? Питается. И размножаться может. Хочешь, он сейчас размножится?

Эдик вторично приподнялся и заглянул на стол. Еж-паук неуклюже топтался на месте. Похоже было, что ему хочется идти на все четыре стороны одновременно.

— Нежить не есть жизнь, — сказал Эдик. — Нежить существует лишь постольку, поскольку существует разумная жизнь. Можно даже сказать точнее: поскольку существуют маги. Нежить есть отход деятельности магов.

— Хорошо, — сказал Витька.

Еж-паук исчез. Вместо него на столе появился маленький Витька Корнеев, точная копия настоящего, но величиной с руку. Он щелкнул маленькими пальчиками и создал микродубля еще меньшего размера. Тот тоже щелкнул пальцами. Появился дубль величиной с авторучку. Потом величиной со спичечный коробок. Потом — с наперсток.

— Хватит? — спросил Витька. — Каждый из них маг. Ни в одном нет и молекулы белка.

— Неудачный пример, — сказал Эдик с сожалением. — Во-первых, они ничем принципиально не отличаются от станка с программным управлением. Во-вторых, они являются не продуктом развития, а продуктом твоего белкового мастерства. Вряд ли стоит спорить, способна ли дать эволюция саморазмножающиеся станки с программным управлением.

— Много ты знаешь об эволюции, — сказал грубый Корнеев. — Тоже мне Дарвин! Какая разница, химический процесс или сознательная деятельность. У тебя тоже не все предки белковые. Пра-пра-праматерь твоя была, готов признать, достаточно сложной, но вовсе не белковой молекулой. И может быть, наша так называемая

сознательная деятельность есть тоже некоторая разновидность эволюции. Откуда мы знаем, что цель природы — создать товарища Амперяна? Может быть, цель природы — это создание нежити руками товарища Амперяна. Может быть...

— Понятно, понятно. Сначала протовирус, потом белок, потом товарищ Амперян, а потом вся планета заселяется нежитью.

— Именно, — сказал Витька.

— А мы все за ненадобностью вымерли.

— А почему бы и нет? — сказал Витька.

— У меня есть один знакомый, — сказал Эдик. — Он утверждает, будто человек — это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона.

— А почему бы, в конце концов, и нет?

— А потому, что мне не хочется, — сказал Эдик. — У природы свои цели, а у меня свои.

— Антропоцентрист, — сказал Витька с отвращением.

— Да, — гордо сказал Эдик.

— С антропоцентристами дискутировать не желаю, — сказал грубый Корнеев.

— Тогда давай рассказывать анекдоты, — спокойно предложил Эдик и сунул в рот еще один

леденец.

Витькины дубли на столе продолжали работать. Самый маленький был уже ростом с муравья. Пока я слушал спор антропоцентриста с космоцентристом, мне пришла в голову одна мысль.

— Ребятишечки, — сказал я с искусственным оживлением. — Что же это вы не пошли на полигон?

— А зачем? — спросил Эдик.

— Ну, все-таки интересно...

— Я никогда не хожу в цирк, — сказал Эдик. — Кроме того: уби нил валес, иби нил велис[17].

— Это ты о себе? — спросил Витька.

— Нет. Это я о Выбегалле.

— Ребятишечки, — сказал я, — я ужасно люблю цирк. Не все ли вам равно, где рассказывать анекдоты?

— То есть? — сказал Витька.

— Подежурьте за меня, а я сбегаю на полигон.

— А что надо делать?

— Обесточивать, гасить пожары и всем напоминать про трудовое законодательство.

— Холодно, — напомнил Витька. — Мороз. Выбегалло.

— Очень хочется, — сказал я. — Очень все это

таинственно.

— Отпустим ребенка? — спросил Витька у Эдика.

Эдик покивал.

— Идите, Привалов, — сказал Витька. — Это будет вам стоить четыре часа машинного времени.

— Два, — сказал я быстро. Я ждал чего-нибудь подобного.

— Пять, — нахально сказал Витька.

— Ну три, — сказал я. — Я и так все время на тебя работаю.

— Шесть, — хладнокровно сказал Витька.

— Витя, — сказал Эдик, — у тебя на ушах отрастет шерсть.

— Рыжая, — сказал я злорадно. — Может быть, даже с прозеленью.

— Ладно уж, — сказал Витька, — иди даром. Два часа меня устроят.

Мы вместе прошли в приемную. По дороге магистры затеяли невнятный спор о какой-то циклотации, и мне пришлось их прервать, чтобы они трансгрессировали меня на полигон. Я им уже надоел, и, спеша от меня отделаться, они провели трансгрессию с такой энергией, что я не успел одеться и влетел в толпу зрителей спиной вперед.

На полигоне уже все было готово. Публика пряталась за бронещиты. Выбегалло торчал из свежевырытой траншеи и молодецки смотрел в большую стереотрубу. Федор Симеонович и Кристобаль Хунта с сорокакратными биноктарами в руках тихо переговаривались по-латыни. Янус Полуэктович в большой шубе равнодушно стоял в стороне и ковырял тростью снег. Б. Питомник сидел на корточках возле траншеи с раскрытой книжечкой и авторучкой наготове. А Г. Проницательный, увешанный фото- и киноаппаратами, тер замерзшие щеки, крякал и стучал ногой об ногу за его спиной.

Небо было ясное, полная луна склонялась к западу. Мутные стрелы полярного сияния появлялись, дрожа, среди звезд и исчезали вновь. Блестел снег на равнине, и большой округлый цилиндр автоклава был отчетливо виден в сотне метров от нас.

Выбегалло оторвался от стереотрубы, прокашлялся и сказал:

— Товарищи! То-ва-ри-щи! Что мы наблюдаем в эту стереотрубу? В эту стереотрубу, товарищи, мы, обуреваемые сложными чувствами, замирая от ожидания, наблюдаем, как защитный колпак начинает автоматически отвинчиваться... Пи-

шите, пишите, — сказал он Б. Питомнику. — И поточнее пишите... Автоматически, значить, отвинчиваться. Через несколько минут мы будем иметь появление среди нас идеального человека — шевалье, значить, сан пёр э сан репрош...18 Мы будем иметь здесь наш образец, наш символ, нашу крылатую мечту! И мы, товарищи, должны встретить этого гиганта потребностей и способностей соответствующим образом, без дискуссий, мелких дрязг и других выпадов. Чтобы наш дорогой гигант увидел нас какие мы есть на самом деле в едином строю и сплоченными рядами. Спрячем же, товарищи, наши родимые пятна, у кого они еще пока есть, и протянем руку своей мечте!

Я и простым глазом видел, как отвинтилась крышка автоклава и беззвучно упала в снег. Из автоклава ударила длинная, до самых звезд, струя пара.

— Даю пояснение для прессы... — начал было Выбегалло, но тут раздался страшный рев.

Земля поплыла и зашевелилась. Взвилась огромная снежная туча. Все повалились друг на друга, и меня тоже опрокинуло и покатило. Рев все усиливался, и, когда я с трудом, цепляясь за гусеницы грузовика, поднялся на ноги, я

увидел, как жутко, гигантской чашей в мертвом свете луны ползет, заворачиваясь вовнутрь, край горизонта, как угрожающе раскачиваются бронещиты, как бегут врассыпную, падают и снова вскакивают вывалянные в снегу зрители. Я увидел, как Федор Симеонович и Кристобаль Хунта, накрытые радужными колпаками защитного поля, пятятся под натиском урагана, как они, подняв руки, силятся растянуть защиту на всех остальных, но вихрь рвет защиту в клочья, и эти клочья несутся над равниной, подобно огромным мыльным пузырям, и лопаются в звездном небе. Я увидел поднявшего воротник Януса Полуэктовича, который стоял, повернувшись спиной к ветру, прочно упершись тростью в обнажившуюся землю, и смотрел на часы. А там, где был автоклав, крутилось освещенное изнутри красным, тугое облако пара, и горизонт стремительно загибался все круче и круче, и казалось, что все мы находимся на дне колоссального кувшина. А потом совсем рядом с эпицентром этого космического безобразия появился вдруг Роман в своем зеленом пальто, рвущемся с плеч. Он широко размахнулся, швырнул в ревущий пар что-то большое, блеснувшее бутылочным стеклом, и сейчас же упал ничком, закрыв голову руками.

Из облака вынырнула безобразная, искаженная бешенством физиономия джинна, глаза его крутились от ярости. Разевая пасть в беззвучном хохоте, он взмахнул просторными волосатыми ушами, пахнуло гарью, над метелью взметнулись призрачные стены великолепного дворца, затряслись и опали, а джинн, превратившись в длинный язык оранжевого пламени, исчез в небе. Несколько секунд было тихо. Затем горизонт с тяжелым грохотом осел. Меня подбросило высоко вверх, и, придя в себя, я обнаружил, что сижу, упираясь руками в землю, неподалеку от грузовика.

Снег пропал. Все поле вокруг было черным. Там, где минуту назад стоял автоклав, зияла большая воронка. Из нее поднимался белый дымок и пахло паленым.

Зрители начали подниматься на ноги. Лица у всех были испачканы и перекошены. Многие потеряли голос, кашляли, отплевывались и тихо постанывали. Начали чиститься, и тут обнаружилось, что некоторые раздеты до белья. Послышался ропот, затем крики: «Где брюки? Почему я без брюк? Я же был в брюках!», «Товарищи! Никто не видел моих часов?», «И моих!», «И у меня тоже пропали!», «Зуба нет, платинового!

Летом только вставил...», «Ой, а у меня колечко пропало... И браслет!», «Где Выбегалло? Что за безобразие? Что все это значит?», «Да черт с ними, с часами и зубами! Люди-то все целы? Сколько нас было?», «А что, собственно, произошло? Какой-то взрыв... Джинн... А где же исполин духа?», «Где потребитель?», «Где Выбегалло, наконец?», «А горизонт видел? Знаешь, на что это похоже?», «На свертку пространства, я эти шутки знаю...», «Холодно в майке, дайте что-нибудь...», «Г-где же этот Выб-бегалло? Где этот д-дурак?».

Земля зашевелилась, и из траншеи вылез Выбегалло. Он был без валенок.

— Поясняю для прессы, — сипло сказал он.

Но ему не дали пояснить. Магнус Федорович Редькин, пришедший специально, чтобы узнать наконец, что же такое настоящее счастье, подскочил к нему, тряся сжатыми кулаками, и завопил:

— Это шарлатанство! Вы за это ответите! Балаган! Где моя шапка? Где моя шуба? Я буду на вас жаловаться! Где моя шапка, я спрашиваю?

— В полном соответствии с программой... — бормотал Выбегалло, озираясь. — Наш дорогой исполин...

На него надвинулся Федор Симеонович.

— Вы, м-милейший, з-зарываете свой т-талант

в землю. В-вами надо отдел Об-боронной Магии усилить. В-ваших идеальных людей н-на неприятельские б-базы сбрасывать надо. Н-на страх аг-грессору.

Выбегалло попятился, заслоняясь рукавом зипуна. К нему подошел Кристобаль Хозевич, молча меряя его взглядом, швырнул ему под ноги испачканные перчатки и удалился. Жиан Жиакомо, наспех создавая себе видимость элегантного костюма, прокричал издали:

— Это же феноменально, сеньоры! Я всегда питал к нему некоторую антипатию, но ничего подобного я и представить себе не мог...

Тут, наконец, разобрались в ситуации Г. Проницательный и Б. Питомник. До сих пор, неуверенно улыбаясь, они глядели каждому в рот, надеясь что-нибудь понять. Затем они сообразили, что все идет далеко не в полном соответствии. Г. Проницательный твердыми шагами приблизился к Выбегалле и, тронув его за плечо, сказал железным голосом:

— Товарищ профессор, где я могу получить назад мои аппараты? Три фотоаппарата и один киноаппарат.

— И мое обручальное кольцо, — добавил Б. Питомник.

— Пардон, — сказал Выбегалло с достоинством. — Он ву демандера канд он ура безуан де ву[19]. Подождите объяснений.

Корреспонденты оробели. Выбегалло повернулся и пошел к воронке. Над воронкой уже стоял Роман.

— Чего здесь только нет... — сказал он еще издали.

Исполина-потребителя в воронке не оказалось. Зато там было все остальное и еще многое сверх того. Там были фото- и киноаппараты, бумажники, шубы, кольца, ожерелья, брюки и платиновый зуб. Там были валенки Выбегаллы и шапка Магнуса Федоровича. Там оказался мой платиновый свисток для вызова авральной команды. Кроме того, мы обнаружили там два автомобиля «Москвич», три автомобиля «Волга», железный сейф с печатями местной сберкассы, большой кусок жареного мяса, два ящика водки, ящик жигулевского пива и железную кровать с никелированными шарами.

Натянув валенки, Выбегалло, снисходительно улыбаясь, заявил, что теперь можно начать дискуссию. «Задавайте вопросы», — сказал он. Но дискуссии не получилось. Взбешенный Магнус Федорович вызвал милицию. Примчался на «гази-

ке» юный сержант Ковалев. Всем нам пришлось записаться в свидетели. Сержант Ковалев ходил вокруг воронки, пытаясь обнаружить следы преступника. Он нашел огромную вставную челюсть и глубоко задумался над нею. Корреспонденты, получившие свою аппаратуру и увидевшие все в новом свете, внимательно слушали Выбегаллу, который опять понес демагогическую ахинею насчет неограниченных и разнообразных потребностей. Становилось скучно, я мерз.

— Пошли домой, — сказал Роман.

— Пошли, — сказал я. — Откуда ты взял джинна?

— Выписал вчера со склада. Совсем для других целей.

— А что все-таки произошло? Он опять обожрался?

— Нет, просто Выбегалло дурак, — сказал Роман.

— Это понятно, — сказал я. — Но откуда катаклизм?

— Все отсюда же, — сказал Роман. — Я говорил ему тысячу раз: «Вы программируете стандартного суперэгоцентриста. Он загребет все материальные ценности, до которых сможет дотянуться, а потом свернет пространство, закуклится и оста-

новит время». А Выбегалло никак не может взять в толк, что истинный исполин духа не столько потребляет, сколько думает и чувствует.

— Это все зола, — продолжал он, когда мы подлетели к институту. — Это всем ясно. Ты лучше скажи мне, откуда У-Янус узнал, что все получится именно так, а не иначе? Он же все это предвидел. И огромные разрушения, и то, что я соображу, как прикончить исполина в зародыше...

— Действительно, — сказал я. — Он даже благодарность тебе вынес. Авансом.

— Странно, верно? — сказал Роман. — Надо бы все это тщательно продумать.

И мы стали тщательно продумывать. Это заняло у нас много времени. Только весной и только случайно нам удалось во всем разобраться.

Но это уже совсем другая история.

История третья. Всяческая суета
Глава первая

Когда бог создавал время, — говорят ирландцы, — он создал его достаточно.

Г. Бёль

Восемьдесят три процента всех дней в году начинаются одинаково: звенит будильник. Этот звон вливается в последние сны то судорожным стрекотанием итогового перфоратора, то гневными раскатами баса Федора Симеоновича, то скрежетом когтей василиска, играющего в термостате.

В то утро мне снился Модест Матвеевич Камноедов. Будто он стал заведующим вычислительным центром и учит меня работать на «Алдане». «Модест Матвеевич, — говорил я ему, — ведь все, что вы мне советуете, это какой-то болезненный бред». А он орал: «Вы мне это пр-р-рекратите! У вас тут все др-р-ребедень! Бели-бер-р-рда!» Тогда я сообразил, что это не Модест Матвеевич, а мой будильник «Дружба» на одиннадцати камнях, с изображением слоника с подъятым хоботом, забормотал: «Слышу, слышу», — и забил ладонью

по столу вокруг будильника.

Окно было раскрыто настежь, и я увидел ярко-синее весеннее небо и почувствовал острый весенний холодок. По карнизу, постукивая, бродили голуби. Вокруг стеклянного плафона под потолком обессиленно мотались три мухи — должно быть, первые мухи в этом году. Время от времени они вдруг принимались остервенело кидаться из стороны в сторону, и спросонок мне пришла в голову гениальная идея, что мухи, наверное, стараются выскочить из плоскости, через них проходящей, и я посочувствовал этому безнадежному занятию. Две мухи сели на плафон, а третья исчезла, и тогда я окончательно проснулся.

Прежде всего я отбросил одеяло и попытался воспарить над кроватью. Как всегда, без зарядки, без душа и завтрака это привело лишь к тому, что реактивный момент с силой вдавил меня в диван-кровать и где-то подо мной соскочили и жалобно задребезжали пружины. Потом я вспомнил вчерашний вечер, и мне стало очень обидно, потому что сегодня я весь день буду без работы. Вчера в одиннадцать часов вечера в электронный зал пришел Кристобаль Хозевич и, как всегда, подсоединился к «Алдану», чтобы вместе с ним

разрешить очередную проблему смысла жизни, и через пять минут «Алдан» загорелся. Не знаю, что там могло гореть, но «Алдан» вышел из строя надолго, и поэтому я, вместо того чтобы работать, должен буду, подобно всем волосатоухим тунеядцам, бесцельно бродить из отдела в отдел, жаловаться на судьбу и рассказывать анекдоты.

Я сморщился, сел на постели и для начала набрал полную грудь праны, смешанной с холодным утренним воздухом. Некоторое время я ждал, пока прана усвоится, и в соответствии с рекомендацией думал о светлом и радостном. Затем я выдохнул холодный утренний воздух и принялся выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики. Мне рассказывали, что старая школа предписывала гимнастику йогов, но йога-комплекс, так же как и почти ныне забытый майя-комплекс, отнимал пятнадцать-двадцать часов в сутки, и с назначением на пост нового Президента АН СССР старой школе пришлось уступить. Молодежь НИИЧАВО с удовольствием ломала старые традиции.

На сто пятнадцатом прыжке в комнату впорхнул мой сожитель Витька Корнеев. Как всегда с утра, он был бодр, энергичен и даже благодушен. Он хлестнул меня по голой спине мокрым

полотенцем и принялся летать по комнате, делая руками и ногами движения, как будто плывет брассом. При этом он рассказывал свои сны и тут же толковал их по Фрейду, Мерлину и по девице Ленорман. Я сходил умылся, мы прибрались и отправились в столовую.

В столовой мы заняли свой любимый столик под большим, уже выцветшим плакатом: «Смелее, товарищи! Щелкайте челюстями! Г. Флобер», откупорили бутылки с кефиром и стали есть, слушая местные новости и сплетни.

Вчерашней ночью на Лысой Горе состоялся традиционный весенний слет. Участники вели себя крайне безобразно. Вий с Хомой Брутом в обнимку пошли шляться по улицам ночного города, пьяные, приставали к прохожим, сквернословили, потом Вий наступил себе на левое веко и совсем озверел. Они с Хомой подрались, повалили газетный ларек и попали в милицию, где каждому дали за хулиганство по пятнадцати суток. Чтобы остричь наголо Хому Брута, пришлось держать его вшестером, а лысый Вий при этом сидел в углу и обидно хихикал. Из-за того, что Хома Брут наговорил во время стрижки, дело передается в народный суд.

Кот Василий взял весенний отпуск — жениться.

Скоро в Соловце опять объявятся говорящие котята с наследственно-склеротической памятью.

Луи Седловой из отдела Абсолютного Знания изобрел какую-то машину времени и сегодня будет докладывать об этом на семинаре.

В институте снова появился Выбегалло. Везде ходит и хвастается, что осенен титанической идеей. Речь многих обезьян, видите ли, напоминает человеческую, записанную, значить, на магнитофонную пленку и пущенную задом наперед с большой скоростью. Так он, эта, записал в сухумском заповеднике разговоры павианов и прослушал их, пустив задом наперед на малой скорости. Получилось, как он заявляет, нечто феноменальное, но что именно — не говорит.

В вычислительном центре опять сгорел «Алдан», но Сашка Привалов не виноват, виноват Хунта, который последнее время из принципа интересуется только такими задачами, для которых доказано отсутствие решения.

Престарелый колдун Перун Маркович Неунывай-Дубино из отдела Воинствующего Атеизма взял отпуск для очередного перевоплощения.

В отделе Вечной Молодости после долгой и продолжительной болезни скончалась модель бессмертного человека.

Академия наук выделила институту энную сумму на благоустройство территории. На эту сумму Модест Матвеевич собирается обнести институт узорной чугунной решеткой с аллегорическими изображениями и с цветочными горшками на столбах, а на заднем дворе, между трансформаторной будкой и бензохранилищем, организовать фонтан с девятиметровой струей. Спортбюро просило у него денег на теннисный корт — отказал, объявив, что фонтан необходим для научных размышлений, а теннис есть дрыгоножество и рукомашество...

После завтрака все разошлись по лабораториям. Я тоже заглянул к себе и горестно побродил около «Алдана» с распахнутыми внутренностями, в которых копались неприветливые инженеры из отдела Технического Обслуживания. Разговаривать со мной они не захотели и только угрюмо порекомендовали пойти куда-нибудь и заняться своим делом. Я побрел по знакомым.

Витька Корнеев меня выгнал, потому что я мешал ему сосредоточиться. Роман читал лекцию практикантам. Володя Почкин беседовал с корреспондентом. Увидев меня, он нехорошо обрадовался и закричал: «А-а, вот он! Познакомьтесь, это наш заведующий вычислительным

центром, он вам расскажет, как...» Но я очень ловко притворился собственным дублем и, сильно напугав корреспондента, сбежал. У Эдика Амперяна меня угостили свежими огурцами, и совсем было завязалась оживленная беседа о преимуществах гастрономического взгляда на жизнь, но тут у них лопнул перегонный куб и про меня сразу забыли.

В совершенном отчаянии я вышел в коридор и столкнулся с У-Янусом, который сказал: «Так», и, помедлив, осведомился, не беседовали ли мы вчера. «Нет, — сказал я, — к сожалению, не беседовали». Он пошел дальше, и я услышал, как в конце коридора он задает все тот же стандартный вопрос Жиану Жиакомо.

В конце концов меня занесло к абсолютникам. Я попал перед самым началом семинара. Сотрудники, позевывая и осторожно поглаживая уши, рассаживались в малом конференц-зале. На председательском месте, покойно сплетя пальцы, восседал завотделом магистр-академик, всея Белыя, Черныя и Серыя магии многознатец Морис-Иоганн-Лаврентий Пупков-Задний и благосклонно взирал на суетящегося докладчика, который с двумя неумело выполненными волосатоухими дублями устанавливал на экс-

позиционном стенде некую машину с седлом и педалями, похожую на тренажер для страдающих ожирением. Я присел в уголке подальше от остальных, вытащил блокнот и авторучку и принял заинтересованный вид.

— Нуте-с, — произнес магистр-академик, — у вас готово?

— Да, Морис Иоганнович, — отозвался Л. Седловой. — Готово, Морис Иоганнович.

— Тогда, может быть, приступим? Что-то я не вижу Смогулия...

— Он в командировке, Иоганн Лаврентьевич, — сказали из зала.

— Ах, да, припоминаю. Экспоненциальные исследования? Ага, ага... Ну хорошо. Сегодня у нас Луи Иванович сделает небольшое сообщение относительно некоторых возможных типов машин времени... Я правильно говорю, Луи Иванович?

— Э... Собственно... Собственно, я бы назвал свой доклад таким образом, что...

— А, ну вот и хорошо. Вот вы и назовите.

— Благодарю вас. Э... Назвал бы так: «Осуществимость машины времени для передвижения во временных пространствах, сконструированных искусственно».

— Очень интересно, — подал голос магистр-

академик. — Однако мне помнится, что уже был случай, когда наш сотрудник...

— Простите, я как раз с этого хотел начать.

— Ах, вот как... Тогда прошу, прошу.

Сначала я слушал довольно внимательно. Я даже увлекся. Оказывается, некоторые из этих ребят занимались прелюбопытными вещами. Оказывается, некоторые из них и по сей день бились над проблемой передвижения по физическому времени, правда, безрезультатно. Но зато кто-то, я не разобрал фамилию, кто-то из старых, знаменитых, доказал, что можно производить переброску материальных тел в идеальные миры, то есть в миры, созданные человеческим воображением. Оказывается, кроме нашего привычного мира с метрикой Римана, принципом неопределенности, физическим вакуумом и пьяницей Брутом, существуют и другие миры, обладающие ярко выраженной реальностью. Это миры, созданные творческим воображением за всю историю человечества. Например, существуют: мир космологических представлений человечества; мир, созданный живописцами; и даже полуабстрактный мир, нечувствительно сконструированный поколениями композиторов.

Несколько лет назад, оказывается, ученик того

самого, знаменитого, собрал машину, на которой отправился путешествовать в мир космологических представлений. В течение некоторого времени с ним поддерживалась односторонняя телепатическая связь, и он успел передать, что находится на краю плоской Земли, видит внизу извивающийся хобот одного их трех слонов-атлантов и собирается спуститься вниз, к черепахе. Больше сведений от него не поступало.

Докладчик, Луи Иванович Седловой, неплохой, по-видимому, ученый, магистр, сильно страдающий, однако, от пережитков палеолита в сознании и потому вынужденный регулярно брить уши, сконструировал машину для путешествий по описываемому времени. По его словам, реально существует мир, в котором живут и действуют Анна Каренина, Дон-Кихот, Шерлок Холмс, Григорий Мелехов и даже капитан Немо. Этот мир обладает своими весьма любопытными свойствами и закономерностями, и люди, населяющие его, тем более ярки, реальны и индивидуальны, чем более талантливо, страстно и правдиво описали их авторы соответствующих произведений.

Все это меня очень заинтересовало, потому что Седловой, увлекшись, говорил живо и образно.

Но потом он спохватился, что получается как-то ненаучно, понавешал на сцене схемы и графики и принялся нудно, чрезвычайно специализированным языком излагать про конические декрементные шестерни, полиходовые темпоральные передачи и про какой-то проницающий руль. Я очень скоро потерял нить рассуждений и принялся рассматривать присутствующих.

Магистр-академик величественно спал, изредка, чисто рефлекторно, поднимая правую бровь, как бы в знак некоторого сомнения в словах докладчика. В задних рядах резались в функциональный морской бой в банаховом пространстве. Двое лаборантов-заочников старательно записывали все подряд — на лицах их застыло безнадежное отчаяние и совершенная покорность судьбе. Кто-то украдкой закурил, пуская дым между колен под стол. В переднем ряду магистры и бакалавры с привычной внимательностью слушали, готовя вопросы и замечания. Одни саркастически улыбались, у других на лицах выражалось недоумение. Научный руководитель Седлового после каждой фразы докладчика одобрительно кивал. Я стал смотреть в окно, но там был все тот же осточертевший лабаз да изредка пробегали мальчишки с удочками.

Я очнулся, когда докладчик заявил, что вводную часть он закончил и теперь хотел бы продемонстрировать машину в действии.

— Интересно, интересно, — сказал проснувшийся магистр-академик. — Нуте-ка… Сами отправитесь?

— Видите ли, — сказал Седловой, — я хотел бы остаться здесь, чтобы давать пояснения по ходу путешествия. Может быть, кто-нибудь из присутствующих?..

Присутствующие начали жаться. Очевидно, все вспомнили загадочную судьбу путешественника на край плоской Земли. Кто-то из магистров предложил отправить дубля. Седловой ответил, что это будет неинтересно, потому что дубли маловосприимчивы к внешним раздражениям и потому будут плохими передатчиками информации. Из задних рядов спросили, какого рода могут быть внешние раздражения. Седловой ответил, что обычные: зрительные, обонятельные, осязательные, акустические. Тогда из задних рядов опять спросили, какого рода *осязательные* раздражения будут превалировать. Седловой развел руками и сказал, что это зависит от поведения путешественника в тех местах, куда он попадет. В задних рядах произнесли: «Ага...»

— и больше вопросов не задавали. Докладчик беспомощно озирался. В зале смотрели кто куда и всё в сторону. Магистр-академик добродушно приговаривал: «Ну? Ну что же? Молодежь! Ну? Кто?» Тогда я встал и молча пошел к машине. Терпеть не могу, когда докладчик агонизирует: стыдное, жалкое и мучительное зрелище.

Из задних рядов крикнули: «Сашка, ты куда? Опомнись!» Глаза Седлового засверкали.

— Разрешите мне, — сказал я.

— Пожалуйста, пожалуйста, конечно! — забормотал Седловой, хватая меня за палец и подтаскивая к машине.

— Одну минуточку, — сказал я, деликатно вырываясь. — Это надолго?

— Да как вам будет угодно! — вскричал Седловой. — Как вы мне скажете, так я и сделаю... Да вы же сами будете управлять! Тут все очень просто. — Он снова схватил меня и снова потащил к машине. — Вот это руль. Вот это педаль сцепления с реальностью. Это тормоз. А это газ. Вы автомобиль водите? Ну и прекрасно! Вот клавиша... Вы куда хотите — в будущее или в прошлое?

— В будущее, — сказал я.

— А, — произнес он, как мне показалось, разочарованно. — В описываемое будущее... Это, значит,

всякие там фантастические романы и утопии. Конечно, тоже интересно. Только учтите, это будущее, наверное, дискретно, там должны быть огромные провалы времени, никакими авторами не заполненные. Впрочем, все равно... Так вот, эту клавишу вы нажмете два раза. Один раз сейчас, при старте, а второй раз — когда захотите вернуться. Понимаете?

— Понимаю, — сказал я. — А если в ней что-нибудь сломается?

— Абсолютно безопасно! — Он замахал руками. — Как только в ней что-нибудь испортится, хоть одна пылинка попадет между контактами, вы мгновенно вернетесь сюда.

— Дерзайте, молодой человек, — сказал магистр-академик. — Расскажете нам, что же там, в будущем, ха-ха-ха...

Я взгромоздился в седло, стараясь ни на кого не глядеть и чувствуя себя очень глупо.

— Нажимайте, нажимайте... — страстно шептал докладчик.

Я надавил на клавишу. Это было, очевидно, что-то вроде стартера. Машина дернулась, захрюкала и стала равномерно дрожать.

— Вал погнут, — шептал с досадой Седловой. — Ну ничего, ничего... Включайте скорость. Вот

так. А теперь газу, газу...

Я дал газу, одновременно плавно выжимая сцепление. Мир стал меркнуть. Последнее, что я услышал в зале, был благодушный вопрос магистра-академика: «И каким же образом мы будем за ним наблюдать?..» И зал исчез.

Глава вторая

Единственное различие между Временем и любым из трех пространственных измерений заключается в том, что наше сознание движется вдоль него.

Г. Дж. Уэллс

Сначала машина двигалась скачками, и я был озабочен тем, чтобы удержаться в седле, обвившись ногами вокруг рамы и изо всех сил цепляясь за рулевую дугу. Краем глаза я смутно видел вокруг какие-то роскошные призрачные строения, мутно-зеленые равнины и холодное, негреющее светило в сером тумане неподалеку от зенита. Потом я сообразил, что тряска и скачки происходят оттого, что я убрал ногу с акселератора, мощности двигателя (совсем как это бывает на автомобиле) не хватает, и машина поэтому двигается рывка-

ми, вдобавок то и дело натыкаясь на развалины античных и средневековых утопий. Я подбавил газу, движение сразу стало плавным, и я смог, наконец, устроиться поудобнее и оглядеться.

Меня окружал призрачный мир. Огромные постройки из разноцветного мрамора, украшенные колоннадами, возвышались среди маленьких домиков сельского вида. Вокруг в полном безветрии колыхались хлеба. Тучные прозрачные стада паслись на травке, на пригорках сидели благообразные седые пастухи. Все, как один, они читали книги и старинные рукописи. Потом рядом со мной возникли два прозрачных человека, встали в позы и начали говорить. Оба они были босы, увенчаны венками и закутаны в складчатые хитоны. Один держал в правой руке лопату, а в левой сжимал свиток пергамента. Другой опирался на киркомотыгу и рассеянно играл огромной медной чернильницей, подвешенной к поясу. Говорили они строго по очереди и, как мне сначала показалось, друг с другом. Но очень скоро я понял, что обращаются они ко мне, хотя ни один из них даже не взглянул в мою сторону. Я прислушался. Тот, что был с лопатой, длинно и монотонно излагал основы политического устройства прекрасной страны, гражданином

коей являлся. Устройство было необычайно демократичным, ни о каком принуждении граждан не могло быть и речи (он несколько раз с особым ударением это подчеркнул), все были богаты и свободны от забот, и даже самый последний землепашец имел не менее трех рабов. Когда он останавливался, чтобы передохнуть и облизать губы, вступал тот, что с чернильницей. Он хвастался, будто только что отработал свои три часа перевозчиком на реке, не взял ни с кого ни копейки, потому что не знает, что такое деньги, а сейчас направляется под сень струй предаться стихосложению.

Говорили они долго — судя по спидометру, в течение нескольких лет, — а потом вдруг сразу исчезли, и стало пусто. Сквозь призрачные здания просвечивало неподвижное солнце. Неожиданно невысоко над землей медленно проплыли тяжелые летательные аппараты с перепончатыми, как у птеродактилей, крыльями. В первый момент мне показалось, что все они горят, но затем я заметил, что дым у них идет из больших конических труб. Грузно размахивая крыльями, они летели надо мной, посыпалась зола, и кто-то уронил на меня сверху суковатое полено.

В роскошных зданиях вокруг меня начали про-

исходить какие-то изменения. Колонн у них не убавилось, и архитектура осталась по-прежнему роскошной и нелепой, но появились новые расцветки, и мрамор, по-моему, сменился каким-то более современным материалом, а вместо слепых статуй и бюстов на крышах возникли поблескивающие устройства, похожие на антенны радиотелескопов. Людей на улицах стало больше, появилось огромное количество машин. Исчезли стада с читающими пастухами, однако хлеба все колыхались, хотя ветра по-прежнему не было. Я нажал на тормоз и остановился.

Оглядевшись, я понял, что стою с машиной на ленте движущегося тротуара. Народ вокруг так и кишел — самый разнообразный народ. В большинстве своем, правда, эти люди были какие-то нереальные, гораздо менее реальные, чем могучие, сложные, почти бесшумные механизмы. Так что, когда такой механизм случайно наезжал на человека, столкновения не происходило. Машины мало меня заинтересовали, наверное, потому, что на лобовой броне у каждой сидел вдохновенный до полупрозрачности изобретатель, пространно объяснявший устройство и назначение своего детища. Изобретателей никто не слушал, да они, кажется, ни к кому в особенно-

сти и не обращались.

На людей смотреть было интереснее. Я увидел здоровенных ребят в комбинезонах, ходивших в обнимку, чертыхавшихся и оравших немелодичные песни на плохие стихи. То и дело попадались какие-то люди, одетые только частично: скажем, в зеленой шляпе и красном пиджаке на голое тело (больше ничего); или в желтых ботинках и цветастом галстуке (ни штанов, ни рубашки, ни даже белья); или в изящных туфельках на босу ногу. Окружающие относились к ним спокойно, а я смущался до тех пор, пока не вспомнил, что некоторые авторы имеют обыкновение писать что-нибудь вроде «дверь отворилась, и на пороге появился стройный мускулистый человек в мохнатой кепке и темных очках». Попадались и люди нормально одетые, правда, в костюмах странного покроя, и то тут, то там проталкивался сквозь толпу загорелый бородатый мужчина в незапятнанно-белой хламиде с кетменем или каким-нибудь хомутом в одной руке и с мольбертом или пеналом в другой. У носителей хламид вид был растерянный, они шарахались от многоногих механизмов и затравленно озирались.

Если не считать бормотания изобретателей, было довольно тихо. Большинство людей помал-

кивало. На углу двое юношей возились с каким-то механическим устройством. Один убежденно говорил: «Конструкторская мысль не может стоять на месте. Это закон развития общества. Мы изобретем его. Обязательно изобретем. Вопреки бюрократам вроде Чинушина и консерваторам вроде Твердолобова». Другой юноша нес свое: «Я нашел, как применить здесь нестирающиеся шины из полиструктурного волокна с вырожденными аминными связями и неполными кислородными группами. Но я не знаю пока, как использовать регенерирующий реактор на субтепловых нейтронах. Миша, Мишок! Как быть с реактором?» Присмотревшись к устройству, я без труда узнал велосипед.

Тротуар вынес меня на огромную площадь, забитую людьми и уставленную космическими кораблями самых разнообразных конструкций. Я сошел с тротуара и стащил машину. Сначала я не понимал, что происходит. Играла музыка, произносились речи, тут и там, возвышаясь над толпой, кудрявые румяные юноши, с трудом управляясь с непокорными прядями волос, непрерывно падающими на лоб, проникновенно читали стихи. Стихи были либо знакомые, либо скверные, но из глаз многочисленных слушателей обильно

капали скупые мужские, горькие женские и светлые детские слезы. Суровые мужчины крепко обнимали друг друга и, шевеля желваками на скулах, хлопали друг друга по спинам. Поскольку многие были не одеты, хлопанье это напоминало аплодисменты. Два подтянутых лейтенанта с усталыми, но добрыми глазами протащили мимо меня лощеного мужчину, завернув ему руки за спину. Мужчина извивался и кричал что-то на ломаном английском. Кажется, он всех выдавал и рассказывал, как и за чьи деньги подкладывал мину в двигатель звездолета. Несколько мальчишек с томиками Шекспира, воровато озираясь, подкрадывались к дюзам ближайшего астроплана. Толпа их не замечала.

Скоро я понял, что одна половина толпы расставалась с другой половиной. Это было что-то вроде тотальной мобилизации. Из речей и разговоров мне стало ясно, что мужчины отправлялись в космос — кто на Венеру, кто на Марс, а некоторые, с совсем уже отрешенными лицами, собирались к другим звездам и даже в центр Галактики. Женщины оставались их ждать. Многие занимали очередь в огромное уродливое здание, которое одни называли Пантеоном, а другие — Рефрижератором. Я подумал, что поспел вовремя.

Опоздай я на час, и в городе остались бы только замороженные на тысячи лет женщины. Потом мое внимание привлекла высокая серая стена, отгораживающая площадь с запада. Из-за стены поднимались клубы черного дыма.

— Что это там? — спросил я красивую женщину в косынке, понуро бредущую к Пантеону-Рефрижератору.

— Железная Стена, — ответила она, не останавливаясь.

С каждой минутой мне становилось все скучнее и скучнее. Все вокруг плакали, ораторы уже охрипли. Рядом со мной юноша в голубом комбинезоне прощался с девушкой в розовом платье. Девушка монотонно говорила: «Я хотела бы стать астральной пылью, я бы космическим облаком обняла твой корабль...» Юноша внимал. Потом над толпой грянули сводные оркестры, нервы мои не выдержали, я прыгнул в седло и дал газ. Я еще успел заметить, как над городом с ревом взлетели звездолеты, планетолеты, астропланы, ионолеты, фотонолеты и астроматы, а затем все, кроме серой стены, заволоклось фосфоресцирующим туманом.

После двухтысячного года начались провалы во времени. Я летел через время, лишенное

материи. В таких местах было темно, и только изредка за серой стеной вспыхивали взрывы и разгорались зарева. Время от времени город вновь обступал меня, и с каждым разом здания его становились выше, сферические купола становились все прозрачнее, а звездолетов на площади становилось все меньше. Из-за стены непрерывно поднимался дым.

Я остановился вторично, когда с площади исчез последний астромат. Тротуары двигались. Шумных парней в комбинезонах не было. Никто не чертыхался. По улицам по двое и по трое скромно прогуливались какие-то бесцветные личности, одетые либо странно, либо скудно. Насколько я понял, все говорили о науке. Кого-то намеревались оживлять, и профессор медицины, атлетически сложенный интеллигент, очень непривычно выглядевший в своей одинокой жилетке, растолковывал процедуру оживления верзиле биофизику, которого представлял всем встречным как автора, инициатора и главного исполнителя этой затеи. Где-то собирались провертеть дыру сквозь Землю. Проект обсуждался прямо на улице при большом скоплении народа, чертежи рисовали мелком на стенах и на тротуаре. Я стал было слушать, но это оказалась

такая скучища, да еще пересыпанная выпадами в адрес незнакомого мне консерватора, что я взвалил машину на плечи и пошел прочь. Меня не удивило, что обсуждение проекта сейчас же прекратилось и все занялись делом. Но зато, едва я остановился, начал разглагольствовать какой-то гражданин неопределенной профессии. Ни к селу ни к городу он повел речь о музыке. Сразу понабежали слушатели. Они смотрели ему в рот и задавали вопросы, свидетельствующие о дремучем невежестве. Вдруг по улице с криком побежал человек. За ним гнался паукообразный механизм. Судя по крикам преследуемого, это был «самопрограммирующийся кибернетический робот на тригенных куаторах с обратной связью, которые разладились и... Ой-ой, он меня сейчас расчленит!..» Странно, никто даже бровью не повел. Видимо, никто не верил в бунт машин.

Из переулка выскочили еще две паукообразные металлические машины, ростом поменьше и не такие свирепые на вид. Не успел я ахнуть, как одна из них быстро почистила мне ботинки, а другая выстирала и выгладила носовой платок. Подъехала большая белая цистерна на гусеницах и, мигая многочисленными лампочками, опрыскала меня духами. Я совсем было собрался

уезжать, но тут раздался громовой треск и с неба на площадь свалилась громадная ржавая ракета. В толпе сразу заговорили:

— Это «Звезда Мечты»!

— Да, это она!

— Ну конечно, это она! Это она стартовала двести восемнадцать лет тому назад, о ней уже все забыли, но благодаря эйнштейновскому сокращению времени, происходящему от движения на субсветовых скоростях, экипаж постарел всего на два года!

— Благодаря чему? Ах, Эйнштейн... Да-да, помню. Я проходил это в школе во втором классе.

Из ржавой ракеты с трудом выбрался одноглазый человек без левой руки и правой ноги.

— Это Земля? — раздраженно спросил он.

— Земля! Земля! — откликнулись в толпе. На лицах начали расцветать улыбки.

— Слава богу, — сказал человек, и все переглянулись. То ли не поняли его, то ли сделали вид, что не понимают.

Увечный астролетчик стал в позу и разразился речью, в которой призывал все человечество поголовно лететь на планету Хош-ни-Хош системы звезды Эоэллы в Малом Магеллановом Облаке освобождать братьев по разуму, стенающих (он

так и сказал: стенающих) под властью свирепого кибернетического диктатора. Рев дюз заглушил его слова. На площадь спускались еще две ракеты, тоже ржавые. Из Пантеона-Рефрижератора побежали заиндевевшие женщины. Началась давка. Я понял, что попал в эпоху возвращений, и торопливо нажал на педаль.

Город исчез и долго не появлялся. Осталась стена, за которой с удручающим однообразием полыхали пожары и вспыхивали зарницы. Странное это было зрелище: совершенная пустота и только стена на западе. Но вот, наконец, разгорелся яркий свет, и я сейчас же остановился.

Вокруг расстилалась безлюдная цветущая страна. Колыхались хлеба. Бродили тучные стада, но культурных пастухов видно не было. На горизонте серебрились знакомые прозрачные купола, виадуки и спиральные спуски. Совсем рядом с запада по-прежнему возвышалась стена.

Кто-то тронул меня за колено, и я вздрогнул. Возле меня стоял маленький мальчик с глубоко посаженными горящими глазами.

— Тебе что, малыш? — спросил я.

— Твой аппарат поврежден? — осведомился он мелодичным голосом.

— Взрослым надо говорить «вы», — сказал я

наставительно.

Он очень удивился, потом лицо его просветлело.

— Ах да, припоминаю. Если мне не изменяет память, так было принято в Эпоху Принудительной Вежливости. Коль скоро обращение на «ты» дисгармонирует с твоим эмоциональным ритмом, я готов удовольствоваться любым ритмичным тебе обращением.

Я не нашелся, что ответить, и тогда он присел на корточки перед машиной, потрогал ее в разных местах и произнес несколько слов, которых я совершенно не понял. Славный это был мальчуган, очень чистенький, очень здоровый и ухоженный, но он показался мне слишком уж серьезным для своих лет.

За стеной оглушительно затрещало, и мы оба обернулись. Я увидел, как жуткая чешуйчатая лапа о восьми пальцах ухватилась за гребень стены, напряглась, разжалась и исчезла.

— Слушай, малыш, — сказал я, — что это за стена?

Он обратил на меня серьезный застенчивый взгляд.

— Это так называемая Железная Стена, — ответил он. — К сожалению, мне неизвестна

этимология обоих этих слов, но я знаю, что она разделяет два мира — Мир Гуманного Воображения и Мир Страха перед Будущим. — Он помолчал и добавил: — Этимология слова «страх» мне тоже неизвестна.

— Любопытно, — сказал я. — А нельзя ли посмотреть? Что это за Мир Страха?

— Конечно, можно. Вот коммуникационная амбразура. Удовлетвори свое любопытство.

Коммуникационная амбразура имела вид низенькой арки, закрытой броневой дверцей. Я подошел и нерешительно взялся за щеколду. Мальчик сказал мне вслед:

— Не могу тебя не предупредить. Если там с тобой что-нибудь случится, тебе придется предстать перед Объединенным Советом Ста Сорока Миров.

Я приоткрыл дверцу. Тррах! Бах! Уау! Аи-и-и-и! Ду-ду-ду-ду-ду! Все пять моих чувств были травмированы одновременно. Я увидел красивую блондинку с неприличной татуировкой меж лопаток, голую и длинноногую, палившую из двух автоматических пистолетов в некрасивого брюнета, из которого при каждом попадании летели красные брызги. Я услыхал грохот разрывов и душераздирающий рев чудовищ. Я обонял

неописуемый смрад гнилого горелого небелкового мяса. Раскаленный ветер недалекого ядерного взрыва опалил мое лицо, а на языке я ощутил отвратительный вкус рассеянной в воздухе протоплазмы. Я шарахнулся и судорожно захлопнул дверцу, едва не прищемив себе голову. Воздух показался мне сладким, а мир — прекрасным. Мальчик исчез. Некоторое время я приходил в себя, а потом вдруг испугался, что этот паршивец, чего доброго, побежал жаловаться в свой Объединенный Совет, и бросился к машине.

Снова сумерки беспространственного времени сомкнулись вокруг меня. Но я не отрывал глаз от Железной Стены, меня разбирало любопытство. Чтобы не терять времени даром, я прыгнул вперед сразу на миллион лет. Над стеной вырастали заросли атомных грибов, и я обрадовался, когда по мою сторону стены снова забрезжил свет. Я затормозил и застонал от разочарования. Невдалеке высился громадный Пантеон-Рефрижератор. С неба спускался ржавый звездолет в виде шара. Вокруг было безлюдно, колыхались хлеба. Шар приземлился, из него вышел давешний пилот в голубом, а на пороге Пантеона появилась, вся в красных пятнах пролежней, девица в розовом. Они устремились друг к другу и взялись за руки.

Я отвел глаза — мне стало неловко. Поодаль, чуть смущаясь, индифферентно стоял какой-то старикан и ловил из аквариума золотых рыбок. Голубой пилот и розовая девушка затянули речь.

Чтобы размять ноги, я сошел с машины и только тут заметил, что небо над стеной непривычно чистое. Ни грохота взрывов, ни треска выстрелов слышно не было. Я осмелел и направился к коммуникационной амбразуре.

По ту сторону стены простиралось совершенно ровное поле, рассеченное до самого горизонта глубоким рвом. Слева от рва не было видно ни одной живой души, поле там было покрыто низкими металлическими куполами, похожими на крышки канализационных люков. Справа от рва у самого горизонта гарцевали какие-то всадники. Потом я заметил, что на краю рва сидит, свесив ноги, коренастый темнолицый человек в металлических доспехах. На груди у него на длинном ремне висело что-то вроде автомата с очень толстым стволом. Человек медленно жевал, поминутно сплевывая, и глядел на меня без особого интереса. Я, придерживая дверцу, тоже смотрел на него, не решаясь заговорить. Слишком уж у него был странный вид. Непривычный какой-то. Дикий. Кто его знает, что за человек.

Насмотревшись на меня, он достал из-под доспехов плоскую бутылку, вытащил зубами пробку, пососал из горлышка, снова сплюнул в ров и сказал хриплым голосом:

— Хэлло! Ю фром зэт сайд?[20]

— Да, — ответил я. — То есть йес[21].

— Энд хау из ит гоуинг он аут зэа?[22]

— Со-со, — сказал я, прикрывая дверь. — Энд хау из ит гоуинг он хиа?[23]

— Итс о'кэй[24], — сказал он флегматично и замолчал.

Подождав некоторое время, я спросил, что он здесь делает. Сначала он отвечал неохотно, но потом разговорился. Оказалось, что слева от рва человечество доживает последние дни под пятой свирепых роботов. Роботы там сделались умнее людей, захватили власть, пользуются всеми благами жизни, а людей загнали под землю и поставили к конвейерам. Справа от рва, на территории, которую он охраняет, людей поработили пришельцы из соседствующей Вселенной. Они тоже захватили власть, установили феодальные порядки и вовсю пользуются правом первой ночи. Живут эти пришельцы — дай бог всякому, но тем, кто у них в милости, тоже кое-что перепадает. А милях в двадцати отсюда, если идти вдоль

рва, находится область, где людей поработили пришельцы с Альтаира, разумные вирусы, которые поселяются в теле человека и заставляют его делать, что им угодно. Еще дальше к западу находится большая колония Галактической Федерации. Люди там тоже порабощены, но живут не так уж плохо, потому что его превосходительство наместник кормит их на убой и вербует из них личную гвардию Его Величества Галактического Императора А-у 3562-го. Есть еще области, порабощенные разумными паразитами, разумными растениями и разумными минералами, а также коммунистами. И наконец, за горами есть области, порабощенные еще кем-то, но о них рассказывают разные сказки, которым серьезный человек верить не станет...

Тут наша беседа была прервана. Над равниной низко прошло несколько тарелкообразных летательных аппаратов. Из них, крутясь и кувыркаясь, посыпались бомбы. «Опять началось», — проворчал человек, лег ногами к взрывам, поднял автомат и открыл огонь по всадникам, гарцующим на горизонте. Я выскочил вон, захлопнул дверцу и, прислонившись к ней спиной, некоторое время слушал, как визжат, ревут и грохочут бомбы. Пилот в голубом и девица в розовом

на ступеньках Пантеона все никак не могли покончить со своим диалогом, а индифферентный старикан, выловивши всех рыбок, глядел на них и вытирал глаза платочком. Я еще раз осторожно заглянул в дверцу: над равниной медленно вспухали огненные шары разрывов. Металлические колпаки откидывались один за другим, из-под них лезли бледные, оборванные люди с бородатыми свирепыми лицами и с железными ломами наперевес. Моего недавнего собеседника наскакавшие всадники в латах рубили в капусту длинными мечами, он орал и отмахивался автоматом. Вдоль рва прямо на меня полз, стреляя из пушек и пулеметов, огромный танк на трех гусеницах. Из радиоактивных туч снова вынырнули тарелкообразные аппараты...

Я закрыл дверцу и тщательно задвинул засов.

Потом вернулся к машине и сел в седло. Мне хотелось слетать еще на миллионы лет вперед и посмотреть умирающую Землю, описанную Уэллсом. Но тут в машине впервые что-то застопорило: не выжималось сцепление. Я нажал раз, нажал другой, потом пнул педаль изо всех сил, что-то треснуло, зазвенело, колыхающиеся хлеба встали дыбом, и я словно проснулся. Я сидел на демонстрационном стенде в малом конференц-

зале нашего института, и все с благоговением смотрели на меня.

— Что со сцеплением? — спросил я, озираясь в поисках машины. Машины не было. Я вернулся один.

— Это неважно! — закричал Луи Седловой. — Огромное вам спасибо! Вы меня просто выручили... А как было интересно, верно, товарищи?

Аудитория загудела в том смысле, что да, интересно.

— Но я все это где-то читал, — сказал с сомнением один из магистров в первом ряду.

— Ну а как же! А как же! — вскричал Л. Седловой. — Ведь он же был в *описываемом* будущем!

— Приключений маловато, — сказали в задних рядах игроки в функциональный морской бой. — Все разговоры, разговоры...

— Ну уж тут я ни при чем, — сказал Седловой решительно.

— Ничего себе — разговоры, — сказал я, слезая со стенда. Я вспомнил, как рубили моего темнолицего собеседника, и мне стало нехорошо.

— Нет, отчего же, — сказал какой-то бакалавр. — Попадаются любопытные места. Вот эта вот машина... Помните? На тригенных куаторах... Это, знаете ли, да...

— Нуте-с? — сказал Пупков-Задний. — У нас уже, кажется, началось обсуждение. А может быть, у кого-нибудь есть вопросы к докладчику?

Дотошный бакалавр немедленно задал вопрос о полиходовой темпоральной передаче (его, видите ли, заинтересовал коэффициент объемного расширения), и я потихонечку удалился.

У меня было странное ощущение. Все вокруг казалось таким материальным, прочным, вещественным. Проходили люди, и я слышал, как скрипят у них башмаки, и чувствовал ветерок от их движений. Все были очень немногословны, все работали, все думали, никто не болтал, не читал стихов, не произносил пафосных речей. Все знали, что лаборатория — это одно, трибуна профсоюзного собрания — это совсем другое, а праздничный митинг — это совсем третье. И когда мне навстречу, шаркая подбитыми кожей валенками, прошел Выбегалло, я испытал к нему даже нечто вроде симпатии, потому что у него была своеобычная пшенная каша в бороде, потому что он ковырял в зубах длинным тонким гвоздем и, проходя мимо, не поздоровался. Он был живой, весомый и зримый хам, он не помавал руками и не принимал академических поз.

Я заглянул к Роману, потому что мне очень

хотелось рассказать кому-нибудь о своем приключении. Роман, ухватившись за подбородок, стоял над лабораторным столом и смотрел на маленького зеленого попугая, лежащего в чашке Петри. Маленький зеленый попугай был дохлый, с глазами, затянутыми мертвой белесой пленкой.

— Что это с ним? — спросил я.

— Не знаю, — сказал Роман. — Издох, как видишь.

— Откуда у тебя попугай?

— Сам поражаюсь, — сказал Роман.

— Может быть, он искусственный? — предположил я.

— Да нет, попугай как попугай.

— Опять, наверное, Витька на умклайдет сел.

Мы наклонились над попугаем и стали его внимательно рассматривать. На черной поджатой лапке у него было колечко.

— «Фотон», — прочитал Роман. — И еще какие-то цифры... «Девятнадцать ноль пять семьдесят три».

— Так, — сказал сзади знакомый голос.

Мы обернулись и подтянулись.

— Здравствуйте, — сказал У-Янус, подходя к столу. Он вышел из дверей своей лаборатории

в глубине комнаты, и вид у него был какой-то усталый и очень печальный.

— Здравствуйте, Янус Полуэктович, — сказали мы хором со всей возможной почтительностью.

Янус увидел попугая и еще раз сказал: «Так». Он взял птичку в руки, очень бережно и нежно, погладил ее ярко-красный хохолок и тихо проговорил:

— Что же это ты, Фотончик?..

Он хотел сказать еще что-то, но взглянул на нас и промолчал. Мы стояли рядом и смотрели, как он по-стариковски медленно прошел в дальний угол лаборатории, откинул дверцу электрической печи и опустил туда зеленый трупик.

— Роман Петрович, — сказал он. — Будьте любезны, включите, пожалуйста, рубильник.

Роман повиновался. У него был такой вид, словно его осенила необычная идея. У-Янус, понурив голову, постоял немного над печью, старательно выскреб горячий пепел и, открыв форточку, высыпал его на ветер. Он некоторое время глядел в окно, потом сказал Роману, что ждет его у себя через полчаса, и ушел.

— Странно, — сказал Роман, глядя ему вслед.

— Что — странно? — спросил я.

— Все странно, — сказал Роман.

Мне тоже казалось странным и появление этого мертвого зеленого попугая, по-видимому, так хорошо известного Янусу Полуэктовичу, и какая-то слишком уж необычная церемония огненного погребения с развеиванием пепла по ветру, но мне не терпелось рассказать про путешествие в описываемое будущее, и я стал рассказывать. Роман слушал крайне рассеянно, смотрел на меня отрешенным взглядом, невпопад кивал, а потом вдруг, сказавши: «Продолжай, продолжай, я слушаю», полез под стол, вытащил оттуда корзинку для мусора и принялся копаться в мятой бумаге и обрывках магнитофонной ленты. Когда я кончил рассказывать, он спросил:

— А этот Седловой не пытался путешествовать в описываемое *настоящее*? По-моему, это было бы гораздо забавнее...

Пока я обдумывал это предложение и радовался Романову остроумию, он перевернул корзинку и высыпал содержимое на пол.

— В чем дело? — спросил я. — Диссертацию потерял?

— Ты понимаешь, Сашка, — сказал он, глядя на меня невидящими глазами, — удивительная история. Вчера я чистил печку и нашел в ней обгорелое зеленое перо. Я выбросил его в корзинку,

а сегодня его здесь нет.

— Чье перо? — спросил я.

— Ты понимаешь, зеленые птичьи перья в наших широтах попадаются крайне редко. А попугай, которого только что сожгли, был зеленым.

— Что за ерунда, — сказал я. — Ты же нашел перо вчера.

— В том-то и дело, — сказал Роман, собирая мусор обратно в корзинку.

Глава третья

Стихи ненатуральны, никто не говорит стихами, кроме бидля, когда он приходит со святочным подарком, или объявления о ваксе, или какого-нибудь там простачка. Никогда не опускайтесь до поэзии, мой мальчик.

Ч. Диккенс

«Алдан» чинили всю ночь. Когда я следующим утром явился в электронный зал, невыспавшиеся злые инженеры сидели на полу и неостроумно поносили Кристобаля Хозевича. Они называли его скифом, варваром и гунном, дорвавшимся до кибернетики. Отчаяние их было так велико, что

некоторое время они даже прислушивались к моим советам и пытались им следовать. Но потом пришел их главный — Саваоф Баалович Один, — и меня сразу отодвинули от машины. Я отошел в сторонку, сел за свой стол и стал наблюдать, как Саваоф Баалович вникает в суть разрушений.

Был он очень стар, но крепок и жилист, загорелый, с блестящей лысиной, с гладко выбритыми щеками, в ослепительно белом чесучовом костюме. К этому человеку все относились с большим пиететом. Я сам однажды видел, как он вполголоса выговаривал за что-то Модесту Матвеевичу, а грозный Модест стоял, льстиво склонившись перед ним, и приговаривал: «Слушаюсь... Виноват. Больше не повторится...» От Саваофа Бааловича исходила чудовищная энергия. Было замечено, что в его присутствии часы начинают спешить и распрямляются треки элементарных частиц, искривленные магнитным полем. И в то же время он не был магом. Во всяком случае, практикующим магом. Он не ходил сквозь стены, никогда никого не трансгрессировал и никогда не создавал своих дублей, хотя работал необычайно много. Он был главой отдела Технического Обслуживания, знал до тонкостей всю технику института и числился консультантом Китеж-

градского завода маготехники. Кроме того, он занимался самыми неожиданными и далекими от его профессии делами.

Историю Саваофа Бааловича я узнал сравнительно недавно. В незапамятные времена С. Б. Один был ведущим магом земного шара. Кристобаль Хунта и Жиан Жиакомо были учениками его учеников. Его именем заклинали нечисть. Его именем опечатывали сосуды с джиннами. Царь Соломон писал ему восторженные письма и возводил в его честь храмы. Он казался всемогущим. И вот где-то в середине шестнадцатого века он воистину *стал* всемогущим. Проведя численное решение интегро-дифференциального уравнения Высшего Совершенства, выведенного каким-то титаном еще до ледникового периода, он обрел возможность творить *любое* чудо. Каждый из магов имеет свой предел. Некоторые неспособны вывести растительность на ушах. Другие владеют обобщенным законом Ломоносова — Лавуазье, но бессильны перед вторым принципом термодинамики. Третьи — их совсем немного — могут, скажем, останавливать время, но только в римановом пространстве и ненадолго. Саваоф Баалович стал всемогущ. Он мог все. И он ничего не мог. Потому что граничным условием уравне-

ния Совершенства оказалось требование, чтобы чудо не причиняло никому вреда. Никакому разумному существу. Ни на Земле, ни в иной части Вселенной. А такого чуда никто, даже сам Саваоф Баалович, представить себе не мог. И С. Б. Один навсегда оставил магию и стал заведующим отделом Технического Обслуживания НИИЧАВО...

С его приходом дела инженеров живо пошли на лад. Движения их стали осмысленными, злобные остроты прекратились. Я достал папку с очередными делами и принялся было за работу, но тут пришла Стеллочка, очень милая курносая и сероглазая ведьмочка, практикантка Выбегаллы, и позвала меня делать очередную стенгазету. Мы со Стеллой состояли в редколлегии, где писали сатирические стихи, басни и подписи под рисунками. Кроме того, я искусно рисовал почтовый ящик для заметок, к которому со всех сторон слетаются письма с крылышками. Вообще-то художником газеты был мой тезка Александр Иванович Дрозд, киномеханик, каким-то образом пробравшийся в институт. Но он был специалистом по заголовкам. Главным редактором газеты был Роман Ойра-Ойра, а его помощником — Володя Почкин.

— Саша, — сказала Стеллочка, глядя на меня честными серыми глазами. — Пойдем.

— Куда? — сказал я. Я знал куда.

— Газету делать.

— Зачем?

— Роман очень просит, потому что Кербер лается. Говорит, осталось два дня, а ничего не готово.

Кербер Псоевич Демин, товарищ завкадрами, был куратором нашей газеты, главным подгонялой и цензором.

— Слушай, — сказал я, — давай завтра, а?

— Завтра я не смогу, — сказала Стеллочка. — Завтра я улетаю в Сухуми. Павианов записывать. Выбегалло говорит, что надо вожака записать как самого ответственного... Сам он к вожаку подходить боится, потому что вожак ревнует. Пойдем, Саша, а?

Я вздохнул, сложил дела и пошел за Стеллочкой, потому что один я стихи сочинять не могу. Мне нужна Стеллочка. Она всегда дает первую строчку и основную идею, а в поэзии это, по-моему, самое главное.

— Где будем делать? — спросил я по дороге. — В месткоме?

— В месткоме занято, там прорабатывают Альфреда. За чай. А нас пустил к себе Роман.

— А о чем писать надо? Опять про баню?

— Про баню тоже есть. Про баню, про Лысую

Гору. Хому Брута надо заклеймить.

— Хома наш Брут — ужасный плут, — сказал я.

— И ты, Брут, — сказала Стеллочка.

— Это идея, — сказал я. — Это надо развить.

В лаборатории Романа на столе была разложена газета — огромный девственно чистый лист ватмана. Рядом с нею среди баночек с гуашью, пульверизаторов и заметок лежал живописец и киномеханик Александр Дрозд с сигаретой на губе. Рубашечка у него, как всегда, была расстегнута, и виднелся выпуклый волосатый животик.

— Здорово, — сказал я.

— Привет, — сказал Саня.

Гремела музыка — Саня крутил портативный приемник.

— Ну, что тут у вас? — сказал я, сгребая заметки.

Заметок было немного. Была передовая «Навстречу празднику». Была заметка Кербера Псоевича «Результаты обследования состояния выполнения распоряжения дирекции о трудовой дисциплине за период конец первого — начало второго квартала». Была статья профессора Выбегаллы «Наш долг — это долг перед подшефными городскими и районными хозяйствами». Была статья Володи Почкина «О всесоюзном со-

вещании по электронной магии». Была заметка какого-то домового «Когда же продуют паровое отопление на четвертом этаже». Была статья председателя столового комитета «Ни рыбы, ни мяса» — шесть машинописных страниц через один интервал. Начиналась она словами: «Фосфор нужен человеку, как воздух». Была заметка Романа о работах отдела Недоступных Проблем. Для рубрики «Наши ветераны» была статья Кристобаля Хунты «От Севильи до Гренады. 1547 г.». Было еще несколько маленьких заметок, в которых критиковалось: отсутствие надлежащего порядка в кассе взаимопомощи; наличие безалаберности в организации работы добровольной пожарной дружины; допущение азартных игр в виварии (писал Конек-Горбунок, проигравший в железку недельный овсяной паек Кощею Бессмертному). Было несколько карикатур. На одной изображался Хома Брут, расхлюстанный и с лиловым носом. На другой высмеивалась баня — был нарисован голый синий человек, застывающий под ледяным душем.

— Ну и скучища! — сказал я. — А может, не надо стихов?

— Надо, — сказала Стеллочка со вздохом. — Я уже заметки и так и сяк раскладывала, все равно

остается свободное место.

— А пусть Саня там чего-нибудь нарисует. Колосья какие-нибудь, расцветающие анютины глазки... А, Санька?

— Работайте, работайте, — сказал Дрозд. — Мне заголовок надо писать.

— Подумаешь, — сказал я. — Три слова написать.

— На фоне звездной ночи, — сказал Дрозд внушительно. — И ракету. И еще заголовки к статьям. А я не обедал еще. И не завтракал.

— Так сходи поешь, — сказал я.

— А мне не на что, — сказал он раздраженно. — Я магнитофон купил. В комиссионном. Вот вы тут ерундой занимаетесь, а лучше бы сделали мне пару бутербродов. С маслом и с вареньем. Или, лучше, десятку сотворите.

Я вынул рубль и показал ему издали.

— Вот заголовок напишешь — получишь.

— Насовсем? — живо сказал Саня.

— Нет. В долг.

— Ну, это все равно, — сказал он. — Только учти, что я сейчас умру. У меня уже начались спазмы. И холодеют конечности.

— Врет он все, — сказала Стеллочка. — Саша, давай вон за тот столик сядем и все стихи сейчас

напишем.

Мы сели за отдельный столик и разложили перед собой карикатуры. Некоторое время мы смотрели на них в надежде, что нас осенит. Потом Стеллочка произнесла:

— Таких людей, как этот Брут, поберегись — они сопрут!

— Что сопрут? — спросил я. — Он разве что-нибудь спер?

— Нет, — сказала Стелла. — Он хулиганил и дрался. Это я для рифмы.

Мы снова подождали. Ничего, кроме «поберегись — они сопрут», в голову мне не лезло.

— Давай рассуждать логически, — сказал я. — Имеется Хома Брут. Он напился пьяный. Дрался. Что он еще делал?

— К девушкам приставал, — сказала Стелла. — Стекло разбил.

— Хорошо, — сказал я. — Еще?

— Выражался...

— Вот странно, — подал голос Саня Дрозд. — Я с этим Брутом работал в кинобудке. Парень как парень. Нормальный...

— Ну? — сказал я.

— Ну и все.

— Ты рифму можешь дать на «Брут»? — спро-

сил я.

— Прут.

— Уже было, — сказал я. — Сопрут.

— Да нет. Прут. Палка такая, которой секут.

Стелла сказала с выражением:

— Товарищ, пред тобою Брут. Возьмите прут, каким секут, секите Брута там и тут.

— Не годится, — сказал Дрозд. — Пропаганда телесных наказаний. Брут, прут, мнут, кнут... Все это телесные наказания.

— Помрут, — сказал я. — Или просто — мрут.

— Товарищ, пред тобою Брут, — сказала Стелла. — От слов его все мухи мрут.

— Это от ваших стихов все мухи мрут, — сказал Дрозд.

— Ты заголовок написал? — спросил я.

— Нет, — сказал Дрозд кокетливо.

— Вот и займись.

— Позорят славный институт, — сказала Стеллочка, — такие пьяницы, как Брут.

— Это хорошо, — сказал я. — Это мы дадим в конец. Запиши. Это будет мораль, свежая и оригинальная.

— Чего же в ней оригинального? — спросил простодушный Дрозд.

Я не стал с ним разговаривать.

— Теперь надо описать, — сказал я, — как он хулиганил. Скажем, так. Напился пьян, как павиан, за словом не полез в карман, был человек, стал хулиган.

— Ужасно, — сказала Стеллочка с отвращением.

Я подпер голову руками и стал смотреть на карикатуру. Дрозд, оттопырив зад, водил кисточкой по ватману. Ноги его в предельно узких джинсах были выгнуты дугой. Меня осенило.

— Коленками назад! — сказал я. — Песенка!

— «Сидел кузнечик маленький коленками назад», — сказала Стелла.

— Точно, — сказал Дрозд, не оборачиваясь. — И я ее знаю. «Все гости расползаются коленками назад», — пропел он.

— Подожди, подожди, — сказал я. Я чувствовал вдохновение. — Дерется и бранится он, и вот вам результат: влекут его в милицию коленками назад.

— Это ничего, — сказала Стелла.

— Понимаешь? — сказал я. — Еще пару строф, и чтобы везде был рефрен «коленками назад». Упился сверх кондиции... Погнался за девицею... Что-нибудь вроде этого.

— Отчаянно напился он, — сказала Стелла.

— Сам черт ему не брат. В чужую дверь вломился он коленками назад.

— Блеск! — сказал я. — Записывай. А он вламывался?

— Вламывался, вламывался.

— Отлично! — сказал я. — Ну, еще одну строфу.

— Погнался за девицею коленками назад, — сказала Стелла задумчиво. — Первую строчку нужно...

— Амуниция, — сказал я. — Полиция. Амбиция. Юстиция.

— Ютится он, — сказала Стелла. — Стремится он. Не бриться и не мыться...

— Он, — добавил Дрозд. — Это верно. Это у вас получилась художественная правда. Сроду он не брился и не мылся.

— Может, вторую строчку придумаем? — предложила Стелла. — Назад — аппарат — автомат...

— Гад, — сказал я. — Рад.

— Мат, — сказал Дрозд. — Шах, мол, и мат.

Мы опять долго молчали, бессмысленно глядя друг на друга и шевеля губами. Дрозд постукивал кисточкой о края чашки с водой.

— Играет и резвится он, — сказал я наконец, — ругаясь, как пират. Погнался за девицею коленками назад.

— «Пират» — как-то... — сказала Стеллочка.

— Тогда: сам черт ему не брат.

— Это уже было.

— Где?.. Ах да, действительно было.

— Как тигра полосат, — предложил Дрозд.

Тут послышалось легкое царапанье, и мы обернулись. Дверь в лабораторию Януса Полуэктовича медленно отворялась.

— Смотри-ка! — изумленно воскликнул Дрозд, застывая с кисточкой в руке.

В щель вполз маленький зеленый попугай с ярким красным хохолком на макушке.

— Попугайчик! — воскликнул Дрозд. — Попугай! Цып-цып-цып-цып...

Он стал делать пальцами движения, как будто крошил хлеб на пол. Попугай глядел на нас одним глазом. Затем он разинул горбатый, как нос у Романа, черный клюв и хрипло выкрикнул:

— Р-реактор! Р-реактор! Дер-ритринитация! Надо выдер-ржать!

— Какой сла-авный! — воскликнула Стелла. — Саня, поймай его...

Дрозд двинулся было к попугаю, но остановился.

— Он же, наверное, кусается, — опасливо произнес он. — Вон клюв какой.

Попугай оттолкнулся от пола, взмахнул крыльями и как-то неловко запорхал по комнате. Я следил за ним с удивлением. Он был очень похож на того, вчерашнего. Родной единокровный брат-близнец. Полным-полно попугаев, подумал я.

Дрозд отмахнулся кисточкой.

— Еще долбанет, пожалуй, — сказал он.

Попугай сел на коромысло лабораторных весов, подергался, уравновешиваясь, и разборчиво крикнул:

— Пр-роксима Центавр-р-ра! Р-рубидий! Р-рубидий!

Потом он нахохлился, втянул голову и закрыл глаза пленкой. По-моему, он дрожал. Стелла быстро сотворила кусок хлеба с повидлом, отщипнула корочку и поднесла ему под клюв. Попугай не реагировал. Его явно лихорадило, и чашки весов, мелко трясясь, позвякивали о подставку.

— По-моему, он больной, — сказал Дрозд. Он рассеянно взял из рук Стеллы бутерброд и стал есть.

— Ребята, — сказал я, — кто-нибудь раньше видел в институте попугаев?

Стелла помотала головой. Дрозд пожал плечами.

— Что-то слишком много попугаев за последнее

время, — сказал я. — И вчера вот тоже...

— Наверное, Янус экспериментирует с попугаями, — сказала Стелла. — Антигравитация или еще что-нибудь в этом роде...

Дверь в коридор отворилась, и толпой вошли Роман Ойра-Ойра, Витька Корнеев, Эдик Амперян и Володя Почкин. В комнате стало шумно. Корнеев, хорошо выспавшийся и очень бодрый, принялся листать заметки и громко издеваться над стилем. Могучий Володя Почкин, как замредактора исполняющий в основном полицейские обязанности, схватил Дрозда за толстый загривок, согнул его пополам и принялся тыкать носом в газету, приговаривая: «Заголовок где? Где заголовок, Дроздилло?» Роман потребовал от нас готовых стихов. А Эдик, не имевший к газете никакого отношения, прошел к шкафу и принялся с грохотом передвигать в нем разные приборы. Вдруг попугай заорал: «Овер-рсан! Овер-рсан!» — и все замерли.

Роман уставился на попугая. На лице его появилось давешнее выражение, словно его только что осенила необычайная идея. Володя Почкин отпустил Дрозда и сказал: «Вот так штука, попугай!» Грубый Корнеев немедленно протянул руку, чтобы схватить попугая поперек туловища,

но попугай вырвался, и Корнеев схватил его за хвост.

— Оставь, Витька! — закричала Стеллочка сердито. — Что за манера — мучить животных?

Попугай заорал. Все столпились вокруг него. Корнеев держал его как голубя, Стеллочка гладила по хохолку, а Дрозд нежно перебирал попугаю перья в хвосте. Роман посмотрел на меня.

— Любопытно, — сказал он. — Правда?

— Откуда он здесь взялся, Саша? — вежливо спросил Эдик.

Я мотнул головой в сторону лаборатории Януса.

— Зачем Янусу попугай? — осведомился Эдик.

— Ты это меня спрашиваешь? — сказал я.

— Нет, это вопрос риторический, — серьезно сказал Эдик.

— Зачем Янусу два попугая? — сказал я.

— Или три, — тихонько добавил Роман.

Корнеев обернулся к нам.

— А где еще? — спросил он, с интересом озираясь.

Попугай в его руке слабо трепыхался, пытаясь ущипнуть за палец.

— Отпусти ты его, — сказал я. — Видишь, ему нездоровится.

Корнеев отпихнул Дрозда и снова посадил попугая на весы. Попугай взъерошился и растопырил крылья.

— Бог с ним, — сказал Роман. — Потом разберемся. Где стихи?

Стелла быстро протараторила все, что мы успели сочинить. Роман почесал подбородок, Володя Почкин неестественно заржал, а Корнеев скомандовал:

— Расстрелять. Из крупнокалиберного пулемета. Вы когда-нибудь научитесь писать стихи?

— Пиши сам, — сказал я сердито.

— Я писать стихи не могу, — сказал Корнеев. — По натуре я не Пушкин. Я по натуре Белинский.

— Ты по натуре кадавр, — сказала Стелла.

— Пардон! — потребовал Витька. — Я желаю, чтобы в газете был отдел литературной критики. Я хочу писать критические статьи. Я вас всех раздолбаю! Я вам еще припомню ваше творение про дачи.

— Какое? — спросил Эдик.

Корнеев немедленно процитировал:

— «Я хочу построить дачу. Где? Вот главная задача! Только местный комитет не дает пока ответ». Было? Признавайтесь!

— Мало ли что, — сказал я. — У Пушкина тоже

были неудачные стихи. Их даже в школьных хрестоматиях не полностью публикуют.

— А я знаю, — сказал Дрозд.

Роман повернулся к нему.

— У нас будет сегодня заголовок или нет?

— Будет, — сказал Дрозд. — Я уже букву «К» нарисовал.

— Какую «К»? При чем здесь «К»?

— А что, не надо было?

— Я сейчас умру, — сказал Роман. — Газета называется «За передовую магию». Покажи мне там хоть одну букву «К»!

Дрозд, уставясь в стену, пошевелил губами.

— Как же так? — сказал он наконец. — Откуда же я взял букву «К»? Была же буква «К»!

Роман рассвирепел и приказал Почкину разогнать всех по местам. Меня со Стеллой отдали под команду Корнеева. Дрозд лихорадочно принялся переделывать букву «К» в стилизованную букву «З». Эдик Амперян пытался улизнуть с психоэлектрометром, но был схвачен, скручен и брошен на починку пульверизатора, необходимого для создания звездного неба. Потом пришла очередь самого Почкина. Роман приказал ему перепечатывать заметки на машинке с одновременной правкой стиля и орфографии. Сам Роман принял-

ся расхаживать по лаборатории, заглядывая всем через плечи.

Некоторое время работа кипела. Мы успели сочинить и забраковать ряд вариантов на банную тему: «В нашей бане завсегда льет холодная вода», «Кто до чистоты голодный, не удовлетворится водой холодной», «В институте двести душ, все хотят горячий душ» и так далее. Корнеев безобразно ругался, как настоящий литературный критик. «Учитесь у Пушкина! — втолковывал он нам. — Или хотя бы у Почкина. Рядом с вами сидит гений, а вы не способны даже подражать ему... «Вот по дороге едет ЗИМ, и им я буду задавим...» Какая физическая сила заключена в этих строках! Какая ясность чувства!» Мы неумело отругивались. Саня Дрозд дошел до буквы «И» в слове «передовую». Эдик починил пульверизатор и опробовал его на Романовых конспектах. Володя Почкин, изрыгая проклятья, искал на машинке букву «Ц». Все шло нормально. Потом Роман вдруг сказал:

— Саша, глянь-ка сюда.

Я посмотрел. Попугай с поджатыми лапками лежал под весами, и глаза его были затянуты белесоватой пленкой, а хохолок обвис.

— Помер, — сказал Дрозд жалостливо.

Мы снова столпились около попугая. У меня не было никаких особенных мыслей в голове, а если и были, то где-то в подсознании, но я протянул руку, взял попугая и осмотрел его лапы. И сейчас же Роман спросил меня:

— Есть?

— Есть, — сказал я.

На черной поджатой лапке было колечко из белого металла, и на колечке было выгравировано: «Фотон», и стояли цифры: «190573». Я растерянно поглядел на Романа. Наверное, у нас с ним был необычный вид, потому что Витька Корнеев сказал:

— А ну, рассказывайте, что вам известно.

— Расскажем? — спросил Роман.

— Бред какой-то, — сказал я. — Фокусы, наверное. Это какие-нибудь дубли.

Роман снова внимательно осмотрел трупик.

— Да нет, — сказал он. — В том-то все и дело. Это не дубль. Это самый что ни на есть оригинальный оригинал.

— Дай посмотреть, — сказал Корнеев.

Втроем с Володей Почкиным и с Эдиком они тщательнейшим образом исследовали попугая и единогласно объявили, что это не дубль и что они не понимают, почему это нас так трогает. «Возь-

мем, скажем, меня, — предложил Корнеев. — Я вот тоже не дубль. Почему это вас не поражает?»

Тогда Роман оглядел сгорающую от любопытства Стеллу, открывшего рот Володю Почкина, издевательски улыбающегося Витьку и рассказал им про все — про то, как позавчера он нашел в электрической печи зеленое перо и бросил его в корзину для мусора; и про то, как вчера этого пера в корзине не оказалось, но зато на столе (на этом самом столе) объявился мертвый попугай, точная копия вот этого, и тоже не дубль; и про то, что Янус попугая узнал, пожалел и сжег в упомянутой выше электрической печи, а пепел зачем-то выбросил в форточку.

Некоторое время никто ничего не говорил. Дрозд, рассказом Романа заинтересовавшийся слабо, пожимал плечами. На лице его было явственно видно, что он не понимает, из-за чего горит сыр-бор, и что, по его мнению, в этом учреждении случаются штучки и похлеще. Стеллочка тоже казалась разочарованной. Но тройка магистров поняла все очень хорошо, и на лицах их читался протест. Корнеев решительно сказал:

— Врете. Причем неумело.

— Это все-таки не тот попугай, — сказал вежливый Эдик. — Вы, наверное, ошиблись.

— Да тот, — сказал я. — Зеленый, с колечком.

— Фотон? — спросил Володя Почкин прокурорским голосом.

— Фотон. Янус его Фотончиком называл.

— А цифры? — спросил Володя.

— И цифры.

— Цифры те же? — спросил Корнеев грозно.

— По-моему, те же, — ответил я нерешительно, оглядываясь на Романа.

— А точнее? — потребовал Корнеев. Он прикрыл красной лапой попугая. — Повтори, какие тут цифры?

— Девятнадцать... — сказал я. — Э-э... ноль два, что ли? Шестьдесят три.

Корнеев заглянул под ладонь.

— Врешь, — сказал он. — Ты? — обратился он к Роману.

— Не помню, — сказал Роман спокойно. — Кажется не ноль три, а ноль пять.

— Нет, — сказал я. — Все-таки ноль шесть. Я помню, там такая закорючка была.

— Закорючка, — сказал Почкин презрительно. — Ше Холмсы! Нэ Пинкертоны! Закон причинности им надоел...

Корнеев засунул руки в карманы.

— Это другое дело, — сказал он. — Я даже не

настаиваю на том, что вы врете. Просто вы перепутали. Попугаи все зеленые, многие из них окольцованы, эта пара была из серии «Фотон». А память у вас дырявая. Как у всех стихоплетов и редакторов стенгазет.

— Дырявая? — осведомился Роман.

— Как терка.

— Как терка? — повторил Роман, странно усмехаясь.

— Как старая терка, — пояснил Корнеев. — Ржавая. Как сеть. Крупноячеистая.

Тогда Роман, продолжая странно улыбаться, вытащил из нагрудного кармана записную книжку и перелистал страницы.

— Итак, — сказал он, — крупноячеистая и ржавая. Посмотрим... Девятнадцать ноль пять семьдесят три, — прочитал он.

Магистры рванулись к попугаю и с сухим треском столкнулись лбами.

— Девятнадцать ноль пять семьдесят три, — упавшим голосом прочитал на кольце Корнеев. Это было очень эффектно. Стеллочка немедленно завизжала от удовольствия.

— Подумаешь, — сказал Дрозд, не отрываясь от заголовка. — У меня однажды совпал номер на лотерейном билете, и я побежал в сберкассу

получать автомобиль. А потом оказалось...

— Почему это ты записал номер? — сказал Корнеев, прищуриваясь на Романа. — Это у тебя привычка? Ты все номера записываешь? Может быть, у тебя и номер твоих часиков записан?

— Блестяще! — сказал Почкин. — Витька, ты молодец. Ты попал в самую точку. Роман, какой позор! Зачем ты отравил попугая? Как жестоко!

— Идиоты! — сказал Роман. — Что я вам — Выбегалло?

Корнеев подскочил к нему и осмотрел его уши.

— Иди к дьяволу! — сказал Роман. — Саша, ты только полюбуйся на них!

— Ребята, — сказал я укоризненно, — да кто же так шутит? За кого вы нас принимаете?

— А что остается делать? — сказал Корнеев. — Кто-то врет. Либо вы, либо все законы природы. Я верю в законы природы. Все остальное меняется.

Впрочем, он быстро скис, сел в сторонке и стал думать. Саня Дрозд спокойно рисовал заголовок. Стелла глядела на всех по очереди испуганными глазами. Володя Почкин быстро писал и зачеркивал какие-то формулы. Первым заговорил Эдик.

— Если даже никакие законы не нарушаются, — рассудительно сказал он, — все равно остается странным неожиданное появление большого

количества попугаев в одной и той же комнате и подозрительная смертность среди них. Но я не очень удивлен, потому что не забываю, что имею дело с Янусом Полуэктовичем. Вам не кажется, что Янус Полуэктович сам по себе прелюбопытнейшая личность?

— Кажется, — сказал я.

— И мне тоже кажется, — сказал Эдик. — Чем он, собственно, занимается, Роман?

— Смотря какой Янус. У-Янус занимается связью с параллельными пространствами.

— Гм, — сказал Эдик. — Это нам вряд ли поможет.

— К сожалению, — сказал Роман. — Я вот тоже все время думаю, как связать попугаев с Янусом, и ничего не могу придумать.

— Но ведь он странный человек? — спросил Эдик.

— Да, несомненно. Начать с того, что их двое и он один. Мы к этому так привыкли, что не думаем об этом...

— Вот об этом я и хотел сказать. Мы редко говорим о Янусе, мы слишком уважаем его. А ведь наверняка каждый из нас замечал за ним хоть одну какую-нибудь странность.

— Странность номер один, — сказал я. — Лю-

бовь к умирающим попугаям.

— Пусть так, — сказал Эдик. — Еще?

— Сплетники, — сказал Дрозд с достоинством. — Вот я однажды просил у него в долг.

— Да? — сказал Эдик.

— И он мне дал, — сказал Дрозд. — А я забыл, сколько он мне дал. И теперь не знаю, что делать.

Он замолчал. Эдик некоторое время ждал продолжения, потом сказал:

— Известно ли вам, например, что каждый раз, когда мне приходилось работать с ним по ночам, ровно в полночь он куда-то уходил и через пять минут возвращался, и каждый раз у меня создавалось впечатление, что он так или иначе старается узнать у меня, чем мы тут с ним занимались до его ухода?

— Истинно так, — сказал Роман. — Я это знаю отлично. Я уже давно заметил, что именно в полночь у него начисто отшибает память. И он об этом своем дефекте прекрасно осведомлен. Он несколько раз извинялся и говорил, что это у него рефлекторное, связанное с последствиями сильной контузии.

— Память у него никуда не годится, — сказал Володя Почкин. Он смял листок с вычислениями

и швырнул его под стол. — Он все время пристает, виделся ты с ним вчера или не виделся.

— И о чем беседовали, если виделся, — добавил я.

— Память, память, — пробормотал Корнеев нетерпеливо. — При чем здесь память? Не в этом дело. Что там у него с параллельными пространствами?..

— Сначала надо собрать факты, — сказал Эдик.

— Попугаи, попугаи, попугаи, — продолжал Витька. — Неужели это все-таки дубли?

— Нет, — сказал Володя Почкин. — Я просчитал. Это по всем категориям не дубль.

— Каждую полночь, — сказал Роман, — он идет вот в эту свою лабораторию и буквально на несколько минут запирается там. Один раз он вбежал туда так поспешно, что не успел закрыть дверь...

— И что? — спросила Стеллочка замирающим голосом.

— Ничего. Сел в кресло, посидел немножко и вернулся обратно. И сразу спросил, не беседовал ли я с ним о чем-нибудь важном.

— Я пошел, — сказал Корнеев, поднимаясь.

— И я, — сказал Эдик. — У нас сейчас семинар.

— И я, — сказал Володя Почкин.

— Нет, — сказал Роман. — Ты сиди и печатай. Назначаю тебя главным. Ты, Стеллочка, возьми Сашу и пиши стихи. А вот я пойду. Вернусь вечером, и чтобы газета была готова.

Они ушли, а мы остались делать газету. Сначала мы пытались что-нибудь придумать, но быстро утомились и поняли, что не можем. Тогда мы написали небольшую поэму об умирающем попугае.

Когда Роман вернулся, газета была готова, Дрозд лежал на столе и поглощал бутерброды, а Почкин объяснял нам со Стеллой, почему происшествие с попугаем совершенно невозможно.

— Молодцы, — сказал Роман. — Отличная газета. А какой заголовок! Какое бездонное звездное небо! И как мало опечаток!.. А где попугай?

Попугай лежал в чашке Петри, в той самой чашке и на том самом месте, где мы с Романом видели его вчера. У меня даже дух захватило.

— Кто его сюда положил? — осведомился Роман.

— Я, — сказал Дрозд. — А что?

— Нет, ничего, — сказал Роман. — Пусть лежит. Правда, Саша?

Я кивнул.

— Посмотрим, что с ним будет завтра, — сказал

Глава четвертая

Эта бедная старая невинная птица ругается, как тысяча чертей, но она не понимает, что говорит.

Р. Стивенсон

Однако завтра с самого утра мне пришлось заняться своими прямыми обязанностями. «Алдан» был починен и готов к бою, и, когда я пришел после завтрака в электронный зал, у дверей уже собралась небольшая очередь дублей с листками предлагаемых задач. Я начал с того, что мстительно прогнал дубля Кристобаля Хунты, написав на его листке, что не могу разобрать почерк. (Почерк у Кристобаля Хозевича был действительно неудобочитаем: Хунта писал по-русски готическими буквами.) Дубль Федора Симеоновича принес программу, составленную лично Федором Симеоновичем. Это была первая программа, которую составил сам Федор Симеонович без всяких советов, подсказок и указаний с моей стороны. Я внимательно просмотрел программу и с удовольствием убедился, что составлена она гра-

мотно, экономно и не без остроумия. Я исправил некоторые незначительные ошибки и передал программу своим девочкам. Потом я заметил, что в очереди томится бледный и напуганный бухгалтер рыбозавода. Ему было страшно и неуютно, и я сразу принял его.

— Да неудобно как-то, — бормотал он, опасливо косясь на дублей. — Вот ведь товарищи ждут, раньше меня пришли...

— Ничего, это не товарищи, — успокоил я его.

— Ну граждане...

— И не граждане.

Бухгалтер совсем побелел и, склонившись ко мне, проговорил прерывающимся шепотом:

— То-то же я смотрю — не мигают оне... А вот этот в синем — он, по-моему, и не дышит...

Я уже отпустил половину очереди, когда позвонил Роман.

— Саша?

— Да.

— А попугая-то нет.

— Как так нет?

— А вот так.

— Уборщица выбросила?

— Спрашивал. Не только не выбрасывала, но и не видела.

— Может быть, домовые хамят?

— Это в лаборатории-то директора? Вряд ли.

— Н-да, — сказал я. — А может быть, сам Янус?

— Янус еще не приходил. И вообще, кажется, не вернулся из Москвы.

— Так как же это все понимать? — спросил я.

— Не знаю. Посмотрим.

Мы помолчали.

— Ты меня позовешь? — спросил я. — Если что-нибудь интересное...

— Ну конечно. Обязательно. Пока, дружище.

Я заставил себя не думать об этом попугае, до которого мне, в конце концов, не было никакого дела. Я отпустил всех дублей, проверил все программы и занялся гнусной задачкой, которая уже давно висела на мне. Эту гнусную задачу дали мне абсолютники. Сначала я им сказал, что она не имеет ни смысла, ни решения, как и большинство их задач. Но потом посоветовался с Хунтой, который в таких вещах разбирался очень тонко, и он мне дал несколько обнадеживающих советов. Я много раз обращался к этой задаче и снова ее откладывал, а вот сегодня добил-таки. Получилось очень изящно. Как раз когда я кончил и, блаженствуя, откинулся на спинку стула, оглядывая решение издали, пришел темный от

злости Хунта. Глядя мне в ноги, голосом сухим и неприятным он осведомился, с каких это пор я перестал разбирать его почерк. Это чрезвычайно напоминает ему саботаж, сообщил он, в Мадриде в 1936 году за такие действия он приказывал ставить к стенке.

Я с умилением смотрел на него.

— Кристобаль Хозевич, — сказал я. — Я ее все-таки решил. Вы были совершенно правы. Пространство заклинаний действительно можно свернуть по любым четырем переменным.

Он поднял, наконец, глаза и посмотрел на меня. Наверное, у меня был очень счастливый вид, потому что он смягчился и проворчал:

— Позвольте посмотреть.

Я отдал ему листки, он сел рядом со мною, и мы вместе разобрали задачу с начала и до конца и с наслаждением просмаковали два изящнейших преобразования, одно из которых подсказал мне он, а другое нашел я сам.

— У нас с вами неплохие головы, Алехандро, — сказал наконец Хунта. — В нас есть артистичность мышления. Как вы находите?

— По-моему, мы молодцы, — сказал я искренне.

— Я тоже так думаю, — сказал он. — Это мы опуб-

ликуем. Это никому не стыдно опубликовать. Это не галоши-автостопы и не брюки-невидимки.

Мы пришли в отличное настроение и начали разбирать новую задачу Хунты, и очень скоро он сказал, что и раньше иногда считал себя *побрекито*, а в том, что я математически невежествен, убедился при первой же встрече. Я с ним горячо согласился и высказал предположение, что ему, пожалуй, пора уже на пенсию, а меня надо в три шеи гнать из института валить лес, потому что ни на что другое я не годен. Он возразил мне. Он сказал, что ни о какой пенсии не может быть и речи, что его надлежит пустить на удобрения, а меня на километр не подпускать к лесоразработкам, где определенный интеллектуальный уровень все-таки необходим, а назначить меня надо учеником младшего черпальщика в ассенизационном обозе при холерных бараках. Мы сидели, подперев головы, и предавались самоуничижению, когда в зал заглянул Федор Симеонович. Насколько я понял, ему не терпелось узнать мое мнение о составленной им программе.

— Программа! — желчно усмехнувшись, произнес Хунта. — Я не видел твоей программы, Теодор, но я уверен, что она гениальна по сравнению с этим... — Он с отвращением подал двумя

пальцами Федору Симеоновичу листок со своей задачей. — Полюбуйся, вот образец убожества и ничтожества.

— Г-голубчики, — сказал Федор Симеонович озадаченно, разобравшись в почерках. — Это же п-проблема Бен Б-бецалеля. К-калиостро же доказал, что она н-не имеет р-решения.

— Мы сами знаем, что она не имеет решения, — сказал Хунта, немедленно ощетиниваясь. — Мы хотим знать, как ее решать.

— К-как-то ты странно рассуждаешь, К-кристо... К-как же искать решение, к-когда его нет? Б-бессмыслица какая-то...

— Извини, Теодор, но это ты очень странно рассуждаешь. Бессмыслица — искать решение, если оно и так есть. Речь идет о том, как поступать с задачей, которая решения не имеет. Это глубоко принципиальный вопрос, который, как я вижу, тебе, прикладнику, к сожалению, не доступен. По-моему, я напрасно начал с тобой беседовать на эту тему.

Тон Кристобаля Хозевича был необычайно оскорбителен, и Федор Симеонович рассердился.

— В-вот что, г-голубчик, — сказал он. — Я н-не могу дискутировать с т-тобой в этом тоне п-при молодом человеке. Т-ты меня удивляешь. Это н-

неп-педагогично. Если тебе угодно п-продолжать, изволь выйти со мной в к-коридор.

— Изволь, — отвечал Хунта, распрямляясь как пружина и судорожно хватая у бедра несуществующий эфес.

Они церемонно вышли, гордо задрав головы и не глядя друг на друга. Девочки захихикали. Я тоже не особенно испугался. Я сел, обхватив руками голову, над оставленным листком и некоторое время краем уха слушал, как в коридоре могуче рокочет бас Федора Симеоновича, прорезаемый сухими гневными вскриками Кристобаля Хозевича. Потом Федор Симеонович взревел: «Извольте пройти в мой кабинет!» — «Извольте!» — проскрежетал Хунта. Они были уже на «вы». И голоса удалились. «Дуэль! Дуэль!» — защебетали девочки. О Хунте ходила лихая слава бретёра и забияки. Говорили, что он приводит противника в свою лабораторию, предлагает на выбор рапиры, шпаги или алебарды, а затем принимается а-ля Жан Маре скакать по столам и опрокидывать шкафы. Но за Федора Симеоновича можно было не беспокоиться. Было ясно, что в кабинете они в течение получаса будут мрачно молчать через стол, потом Федор Симеонович тяжело вздохнет, откроет погребец и наполнит две рюмки элик-

сиром Блаженства. Хунта пошевелит ноздрями, закрутит ус и выпьет. Федор Симеонович незамедлительно наполнит рюмки вновь и крикнет в лабораторию свежих огурчиков.

В это время позвонил Роман и странным голосом сказал, чтобы я немедленно поднялся к нему. Я побежал наверх.

В лаборатории были Роман, Витька и Эдик. Кроме того, в лаборатории был зеленый попугай. Живой. Он сидел, как и вчера, на коромысле весов, рассматривал всех по очереди то одним, то другим глазом, копался клювом в перьях и чувствовал себя, по-видимому, превосходно. Ученые, в отличие от него, выглядели неважно. Роман, понурившись, стоял над попугаем и время от времени судорожно вздыхал. Бледный Эдик осторожно массировал себе виски с мучительным выражением на лице, словно его глодала мигрень. А Витька, верхом на стуле, раскачивался как мальчик, играющий в лошадки, и неразборчиво бормотал, лихорадочно тараща глаза.

— Тот самый? — спросил я вполголоса.

— Тот самый, — сказал Роман.

— Фотон? — Я тоже почувствовал себя неважно.

— Фотон.

— И номер совпадает?

Роман не ответил. Эдик сказал болезненным голосом:

— Если бы мы знали, сколько у попугаев перьев в хвосте, мы могли бы их пересчитать и учесть то перо, которое было потеряно позавчера.

— Хотите, я за Бремом сбегаю? — предложил я.

— Где покойник? — спросил Роман. — Вот с чего нужно начинать! Слушайте, детективы, где труп?

— Тр-руп! — рявкнул попугай. — Цер-ремония! Тр-руп за бор-рт! Р-рубидий!

— Черт знает что он говорит, — сказал Роман с сердцем.

— Труп за борт — это типично пиратское выражение, — пояснил Эдик.

— А рубидий?

— Р-рубидий! Резер-рв! Огр-ромен! — сказал попугай.

— Резервы рубидия огромны, — перевел Эдик. — Интересно, где?

Я наклонился и стал разглядывать колечко.

— А может быть, это все-таки не тот?

— А где тот? — спросил Роман.

— Ну, это другой вопрос, — сказал я. — Все-таки это проще объяснить.

— Объясни, — предложил Роман.

— Подожди, — сказал я. — Давай сначала решим вопрос: тот или не тот?

— По-моему, тот, — сказал Эдик.

— А по-моему, не тот, — сказал я. — Вот здесь на колечке царапина, где тройка...

— Тр-ройка! — произнес попугай. — Тр-ройка! Кр-руче впр-раво! Смер-рч! Смер-рч!

Витька вдруг встрепенулся.

— Есть идея, — сказал он.

— Какая?

— Ассоциативный допрос.

— Как это?

— Погодите. Сядьте все, молчите и не мешайте. Роман, у тебя есть магнитофон?

— Есть диктофон.

— Давай сюда. Только все молчите. Я его сейчас расколю, прохвоста. Он у меня все скажет.

Витька подтащил стул, сел с диктофоном в руке напротив попугая, нахохлился, посмотрел на попугая одним глазом и гаркнул:

— Р-рубидий!

Попугай вздрогнул и чуть не свалился с весов. Помахав крыльями, чтобы восстановить равновесие, он отозвался:

— Р-резерв! Кр-ратер Р-ричи!

Мы переглянулись.

— Р-резерв! — гаркнул Витька.

— Огр-ромен! Гр-руды! Гр-руды! Р-ричи пр-рав! Р-ричи пр-рав! Р-роботы! Р-роботы!

— Роботы!

— Кр-рах! Гор-рят! Атмосфер-ра гор-рит! Пр-рочь! Др-рамба, пр-рочь!

— Драмба!

— Р-рубидий! Р-резерв!

— Рубидий!

— Р-резерв! Кр-ратер Р-ричи!

— Замыкание, — сказал Роман. — Круг.

— Погоди, погоди, — бормотал Витька. — Сейчас...

— Попробуй что-нибудь из другой области, — посоветовал Эдик.

— Янус! — сказал Витька.

Попугай открыл клюв и чихнул.

— Я-нус, — повторил Витька строго.

Попугай задумчиво смотрел в окно.

— Буквы «р» нет, — сказал я.

— Пожалуй, — сказал Витька. — А ну-ка... Невстр-руев!

— Пер-рехожу на пр-рием! — сказал попугай. — Чар-родей! Чар-родей! Говор-рит Кр-рыло, говор-рит Кр-рыло!

— Это не пиратский попугай, — сказал Эдик.

— Спроси его про труп, — попросил я.

— Труп, — неохотно сказал Витька.

— Цер-ремония погр-ребения! Вр-ремя огр-раничено! Р-речь! Р-речь! Тр-репотня! Р-работать! Р-работать!

— Любопытные у него были хозяева, — сказал Роман. — Что же нам делать?

— Витя, — сказал Эдик. — У него, по-моему, космическая терминология. Попробуй что-нибудь простое, обыденное.

— Водородная бомба, — сказал Витька.

Попугай наклонил голову и почистил лапкой клюв.

— Паровоз! — сказал Витька.

Попугай промолчал.

— Да, не получается, — сказал Роман.

— Вот дьявол, — сказал Витька, — ничего не могу придумать обыденного с буквой «р». Стул, стол, потолок... Диван... О! Тр-ранслятор!

Попугай поглядел на Витьку одним глазом.

— Кор-рнеев, пр-рошу!

— Что? — спросил Витька. Впервые в жизни я видел, как Витька растерялся.

— Кор-рнеев гр-руб! Гр-руб! Пр-рекрасный р-работник! Дур-рак р-редкий! Пр-релесть!

Мы захихикали. Витька посмотрел на нас и мстительно сказал:

— Ойр-ра-Ойр-ра!

— Стар-р, стар-р! — с готовностью откликнулся попугай. — Р-рад! Дор-рвался!

— Это что-то не то, — сказал Роман.

— Почему же не то? — сказал Витька. — Очень даже то... Пр-ривалов!

— Пр-ростодушный пр-роект! Пр-римитив! Тр-рудяга!

— Ребята, он нас всех знает, — сказал Эдик.

— Р-ребята, — отозвался попугай. — Зер-рныш-ко пер-рцу! Зер-ро! Зер-ро! Гр-равитация!

— Амперян, — торопливо сказал Витька.

— Кр-рематорий! Безвр-ременно обор-рвалась! — сказал попугай, подумал и добавил: — Ампер-рметр!

— Бессвязица какая-то, — сказал Эдик.

— Бессвязиц не бывает, — задумчиво сказал Роман.

Витька, щелкнув замочком, открыл диктофон.

— Лента кончилась, — сказал он. — Жаль.

— Знаете что, — сказал я, — по-моему, проще всего спросить у Януса. Что это за попугай, откуда он, и вообще...

— А кто будет спрашивать? — осведомился

Роман.

Никто не вызвался. Витька предложил прослушать запись, и мы согласились. Все это звучало очень странно. При первых же словах из диктофона попугай перелетел на плечо Витьки и стал с видимым интересом слушать, вставляя иногда реплики вроде: «Др-рамба игнор-рирует ур-ран», «Пр-равильно» и «Кор-рнеев гр-руб, гр-руб, гр-руб!». Когда запись кончилась, Эдик сказал:

— В принципе, можно было бы составить лексический словарь и проанализировать его на машине. Но кое-что ясно и так. Во-первых, он всех нас знает. Это уже удивительно. Это значит, что он много раз слышал наши имена. Во-вторых, он знает про роботов. И про рубидий. Кстати, где употребляется рубидий?

— У нас в институте, — сказал Роман, — он, во всяком случае, нигде не употребляется.

— Это что-то вроде натрия, — сказал Корнеев.

— Рубидий — ладно, — сказал я. — Откуда он знает про лунные кратеры?

— Почему именно лунные?

— А разве на Земле горы называют кратерами?

— Ну, во-первых, есть кратер Аризона, а во-вторых, кратер — это не гора, а скорее дыра.

— Дыр-ра вр-ремени, — сообщил попугай.

— У него прелюбопытнейшая терминология, — сказал Эдик. — Я никак не могу назвать ее общеупотребительной.

— Да, — согласился Витька. — Если попугай все время находится при Янусе, то Янус занимается странными делами.

— Стр-ранный ор-рбитальный пер-реход, — сказал попугай.

— Янус не занимается космосом, — сказал Роман. — Я бы знал.

— Может быть, раньше занимался?

— И раньше не занимался.

— Роботы какие-то, — с тоской сказал Витька. — Кратеры... При чем здесь кратеры?

— Может быть, Янус читает фантастику? — предположил я.

— Вслух? Попугаю?

— Н-да...

— Венера, — сказал Витька, обращаясь к попугаю.

— Р-роковая стр-расть, — сказал попугай. Он задумался и пояснил: — Р-разбился. Зр-ря.

Роман поднялся и стал ходить по лаборатории. Эдик лег щекой на стол и закрыл глаза.

— А как он здесь появился? — спросил я.

— Как вчера, — сказал Роман. — Из лаборато-

рии Януса.

— Вы это сами видели?

— Угу.

— Я одного не понимаю, — сказал я. — Он умирал или не умирал?

— А мы откуда знаем? — сказал Роман. — Я не ветеринар. А Витька не орнитолог. И вообще это, может быть, не попугай.

— А что?

— А я откуда знаю?

— Это может быть сложная наведенная галлюцинация, — сказал Эдик, не открывая глаз.

— Кем наведенная?

— Вот об этом я сейчас и думаю, — сказал Эдик.

Я надавил пальцем на глаз и посмотрел на попугая. Попугай раздвоился.

— Он раздваивается, — сказал я. — Это не галлюцинация.

— Я сказал: сложная галлюцинация, — напомнил Эдик.

Я надавил на оба глаза. Я временно ослеп.

— Вот что, — сказал Корнеев. — Я заявляю, что мы имеем дело с нарушением причинно-следственного закона. Поэтому выход один — все это галлюцинация, а нам нужно встать, построиться и с песнями идти к психиатру. Становись!

— Не пойду, — сказал Эдик. — У меня есть еще одна идея.

— Какая?

— Не скажу.

— Почему?

— Побьете.

— Мы тебя и так побьем.

— Бейте.

— Нет у тебя никакой идеи, — сказал Витька. — Это все тебе кажется. Айда к психиатру.

Дверь скрипнула, и в лабораторию из коридора вошел Янус Полуэктович.

— Так, — сказал он. — Здравствуйте.

Мы встали. Он обошел нас и по очереди пожал каждому руку.

— Фотончик опять здесь? — сказал он, увидя попугая. — Он вам не мешает, Роман Петрович?

— Мешает? — сказал Роман. — Мне? Почему он мешает? Он не мешает. Наоборот...

— Ну, все-таки каждый день... — начал Янус Полуэктович и вдруг осекся. — О чем это мы с вами вчера беседовали? — спросил он, потирая лоб.

— Вчера вы были в Москве, — сказал Роман с покорностью в голосе.

— Ах... да-да. Ну хорошо. Фотончик! Иди сюда!

Попугай, вспорхнув, сел Янусу на плечо и ска-

зал ему на ухо:

— Пр-росо, пр-росо! Сахар-рок!

Янус Полуэктович нежно заулыбался и ушел в свою лабораторию. Мы обалдело посмотрели друг на друга.

— Пошли отсюда, — сказал Роман.

— К психиатру! К психиатру! — зловеще бормотал Корнеев, пока мы шли по коридору к нему на диван. — В кратер Ричи. Др-рамба! Сахар-рок!

Глава пятая

Фактов всегда достаточно — не хватает фантазии.

Д. Блохинцев

Витька составил на пол контейнеры с живой водой, мы повалились на диван-транслятор и закурили. Через некоторое время Роман спросил:

— Витька, а ты диван выключил?

— Да.

— Что-то мне в голову ерунда какая-то лезет.

— Выключил и заблокировал, — сказал Витька.

— Нет, ребята, — сказал Эдик, — а почему все-таки не галлюцинация?

— Кто говорит, что не галлюцинация? — спросил Витька. — Я же предлагаю — к психиатру.

— Когда я ухаживал за Майкой, — сказал Эдик, — я наводил такие галлюцинации, что самому страшно становилось.

— Зачем? — спросил Витька.

Эдик подумал.

— Не знаю, — сказал он. — Наверное, от восторга.

— Я спрашиваю: зачем кому-то наводить на нас галлюцинации? — сказал Витька. — И потом, мы же не Майка. Мы, слава богу, магистры. Кто нас может одолеть? Ну, Янус. Ну, Киврин, Хунта. Может быть, Жиакомо еще.

— Вот Саша у нас слабоват, — извиняющимся тоном сказал Эдик.

— Ну и что? — спросил я. — Мне, что ли, одному мерещится?

— Вообще-то это можно было бы проверить, — задумчиво сказал Витька. — Если Сашку... того... этого...

— Но-но, — сказал я. — Вы мне это прекратите. Других способов нет, что ли? Надавите на глаз. Или дайте диктофон постороннему человеку. Пусть прослушает и скажет, есть там запись или нет.

Магистры жалостливо улыбнулись.

— Хороший ты программист, Саша, — сказал Эдик.

— Салака, — сказал Корнеев. — Личинка.

— Да, Сашенька, — вздохнул Роман. — Ты даже представить себе не можешь, я вижу, что такое настоящая, подробная, тщательно наведенная галлюцинация.

На лицах магистров появилось мечтательное выражение — видимо, их осенили сладкие воспоминания. Я смотрел на них с завистью. Они улыбались. Они жмурились. Они подмигивали кому-то. Потом Эдик вдруг сказал:

— Всю зиму у нее цвели орхидеи. Они пахли самым лучшим запахом, какой я только мог выдумать...

Витька очнулся.

— Берклеанцы, — сказал он. — Солипсисты немытые. «Как ужасно мое представленье!»

— Да, — сказал Роман. — Галлюцинации — это не предмет для обсуждения. Слишком простодушно. Мы не дети и не бабки. Не хочу быть агностиком. Какая там у тебя была идея, Эдик?

— У меня?.. Ах да, была. Тоже, в общем-то, примитив. Матрикаты.

— Гм, — сказал Роман с сомнением.

— А как это? — спросил я.

Эдик неохотно объяснил, что кроме известных мне дублей существуют еще матрикаты — точные, абсолютные копии предметов или существ. В отличие от дублей матрикат совпадает с оригиналом с точностью до атомной структуры. Различить их обычными методами невозможно. Нужны специальные установки, и вообще это очень сложная и трудоемкая работа. В свое время Бальзамо получил магистра-академика за доказательство матрикатной природы Филиппа Бурбона, известного в народе под прозвищем «Железная Маска». Этот матрикат Людовика Четырнадцатого был создан в тайных лабораториях иезуитов с целью захватить французский престол. В наше время матрикаты изготавливаются методом биостереографии а-ля Ришар Сэгюр.

Я не знал тогда, кто такой Ришар Сэгюр, но я сразу сказал, что идея о матрикатах может объяснить только необычайное сходство попугаев. И все. Например, остается по-прежнему непонятным, куда исчез вчерашний дохлый попугай.

— Да, это так, — сказал Эдик. — Я и не настаиваю. Тем более, что Янус не имеет никакого отношения к биостереографии.

— Вот именно, — сказал я смелее. — Тогда уж

лучше предположить путешествие в описываемое будущее. Знаете? Как Луи Седловой.

— Ну? — сказал Корнеев без особого интереса.

— Просто Янус летает в какой-нибудь фантастический роман, забирает оттуда попугая и привозит сюда. Попугай сдохнет, он снова летит на ту же самую страницу и опять... Тогда понятно, почему попугаи похожи. Это один и тот же попугай, и понятно, почему у него такой научно-фантастический лексикон. И вообще, — продолжал я, чувствуя, что все получается не так уж глупо, — можно даже попытаться объяснить, почему Янус все время задает вопросы: он каждый раз боится, что вернулся не в тот день, в который следует... По-моему, я все здорово объяснил, а?

— А что, есть такой фантастический роман? — с любопытством спросил Эдик. — С попугаем?..

— Не знаю, — сказал я честно. — Но у них там в звездолетах всякие животные бывают. И кошки, и обезьяны, и дети... Опять же, на Западе существует обширнейшая фантастика, все не перечитаешь...

— Ну... во-первых, попугай из западной фантастики вряд ли станет говорить по-русски, — сказал Роман. — А главное, совершенно непо-

нятно, каким образом эти космические попугаи — пусть даже из советской фантастики — могут знать Корнеева, Привалова и Ойру-Ойру...

— Я уже не говорю о том, — лениво сказал Витька, — что перебрасывать материальное тело в идеальный мир — это одно, а идеальное тело в материальный мир — это уже другое. Сомневаюсь я, чтобы нашелся писатель, создавший образ попугая, пригодный для самостоятельного существования в реальном мире.

Я вспомнил полупрозрачных изобретателей и не нашелся, что возразить.

— Впрочем, — благосклонно продолжал Витька, — наш Сашенция подает определенные надежды. В его идее ощущается некое благородное безумие.

— Не стал бы Янус сжигать идеального попугая, — убежденно сказал Эдик. — Ведь идеальный попугай даже протухнуть не может.

— А почему? — сказал вдруг Роман. — Почему мы так непоследовательны? Почему Седловой? С какой стати Янус будет повторять Л. Седлового? У Януса есть тема. У Януса есть своя проблематика. Янус занимается параллельными пространствами. Давайте исходить из этого!

— Давайте, — сказал я.

— Ты думаешь, что Янусу удалось связаться с каким-нибудь параллельным пространством? — спросил Эдик.

— Связь он наладил уже давно. Почему не предположить, что он пошел дальше? Почему не предположить, что он налаживает переброску материальных тел? Эдик прав, это матрикаты, это и должны быть матрикаты, потому что необходима гарантия полной идентичности перебрасываемого предмета. Режим переброски они подбирают, исходя из эксперимента. Первые две переброски были неудачны: попугаи дохли. Сегодня эксперимент, кажется, удался...

— Почему они говорят по-русски? — спросил Эдик. — И почему все-таки у попугаев такой лексикон?

— Значит, и там есть Россия, — сказал Роман. — Но там уже добывают рубидий в кратере Ричи.

— Сплошные натяжки, — сказал Витька. — Почему именно попугаи? Почему не собаки и не морские свинки? Почему не просто магнитофоны, наконец? И опять же, откуда эти попугаи знают, что Ойра-Ойра стар, а Корнеев — прекрасный работник?

— Грубый, — подсказал я.

— Грубый, но прекрасный. И куда все-таки де-

вался дохлый попугай?

— Вот что, — сказал Эдик. — Так нельзя. Мы работаем как дилетанты. Как авторы любительских писем: «Дорогие ученые! У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит». Система нужна. Где у тебя бумага, Витя? Сейчас мы все распишем...

И мы расписали все красивым Эдиковым почерком.

Во-первых, мы приняли постулат, что происходящее не является галлюцинацией, иначе было бы просто неинтересно. Потом мы сформулировали вопросы, на которые искомая гипотеза должна была дать ответ. Эти вопросы мы разделили на две группы: группа «Попугай» и группа «Янус». Группа «Янус» была введена по настоянию Романа и Эдика, которые заявили, что всем нутром чуют связь между странностями Януса и странностями попугаев. Они не смогли ответить на вопрос Корнеева, каков физический смысл понятий «нутро» и «чуять», но подчеркнули, что Янус сам по себе представляет любопытнейший объект для исследования и что яблочко от яблони далеко не падает. Поскольку я своего мнения не имел, они оказались в большинстве, и оконча-

тельный список вопросов выглядел так.

Почему попугаи за номером один, два и три, наблюдавшиеся соответственно десятого, одиннадцатого и двенадцатого, похожи друг на друга до такой степени, что были приняты нами сначала за одного и того же?

Почему Янус сжег первого попугая, а также, вероятно, и того, который был перед первым (нулевого) и от которого осталось только перо?

Куда девалось перо?

Куда девался второй (издохший) попугай?

Как объяснить странный лексикон второго и третьего попугаев?

Как объяснить, что третий знает всех нас, в то время как мы видим его впервые?

(«Почему и от чего издохли попугаи?» — добавил было я, но Корнеев проворчал: «Почему и от чего первым признаком отравления является посинение трупа?» — и мой вопрос не записали.)

Что объединяет Януса и попугаев?

Почему Янус никогда не помнит, с кем и о чем он беседовал вчера?

Что происходит с Янусом в полночь?

Почему У-Янус имеет странную манеру говорить в будущем времени, в то время как за А-Янусом ничего подобного не замечалось?

Почему их вообще двое, и откуда, собственно, пошла легенда, что Янус Полуэктович един в двух лицах?

После этого мы некоторое время старательно думали, поминутно заглядывая в листок. Я все надеялся, что меня вновь осенит благородное безумие, но мысли мои рассеивались, и я чем дальше, тем больше начинал склоняться к точке зрения Сани Дрозда: что в этом институте и не такие штучки вытворяются. Я понимал, что этот дешевый скептицизм есть попросту следствие моего невежества и непривычки мыслить категориями измененного мира, но это уже от меня не зависело. Все происходящее, рассуждал я, по-настоящему удивительно, только если считать, что эти три или четыре попугая — один и тот же попугай. Они действительно так похожи друг на друга, что вначале я был введен в заблуждение. Это естественно. Я математик, я уважаю числа, и совпадение номеров — в особенности шестизначных — для меня автоматически ассоциируется с совпадением пронумерованных предметов. Однако ясно, что это не может быть один и тот же попугай — тогда нарушался бы закон причинно-следственной связи, закон, от которого я совершенно не собирался отказываться из-за

каких-то паршивых попугаев, да еще дохлых вдобавок. А если это не один и тот же попугай, то вся проблема мельчает. Ну, совпадают номера. Ну, кто-то незаметно от нас выбросил попугая. Ну, что там еще? Лексикон? Подумаешь, лексикон... Наверняка этому есть какое-нибудь очень простое объяснение. Я собрался было уже произнести по этому поводу речь, как вдруг Витька сказал:

— Ребята, кажется, я догадываюсь.

Мы не сказали ни слова. Мы только повернулись к нему — одновременно и с шумом. Витька встал.

— Это просто, как блин, — сказал он. — Это тривиально. Это плоско и банально. Это даже неинтересно рассказывать...

Мы медленно поднимались. У меня было такое ощущение, будто я читаю последние страницы захватывающего детектива. Весь мой скептицизм как-то сразу испарился.

— Контрамоция! — изрек Витька.

Эдик лег.

— Хорошо! — сказал он. — Молодец!

— Контрамоция? — сказал Роман. — Что ж... Ага... — Он завертел пальцами. — Так... Угу... А если так?.. Да, тогда понятно, почему он нас всех знает... — Роман сделал широкий приглашающий

жест. — Идут, значит, оттуда...

— И поэтому он спрашивает, о чем беседовал вчера, — подхватил Витька. — И фантастическая терминология...

— Да подождите вы! — завопил я. Последняя страница детектива оказалась написана по-арабски. — Подождите! Какая контрамоция?

— Нет, — сказал Роман с сожалением, и сейчас же по лицу Витьки стало ясно, что он тоже понял, что контрамоция не пойдет. — Не получается, — сказал Роман. — Это как кино... Представь себе кино...

— Какое кино?! — закричал я. — Помогите!!!

— Кино наоборот, — пояснил Роман. — Понимаешь? Контрамоция.

— Дрянь собачья, — расстроенно сказал Витька и лег на диван носом в сложенные руки.

— Да, не получается, — сказал Эдик тоже с сожалением. — Саша, ты не волнуйся: все равно не получается. Контрамоция — это, по определению, движение по времени в обратную сторону. Как нейтрино. Но вся беда в том, что если бы попугай был контрамотом, он летал бы задом наперед и не умирал бы на наших глазах, а оживал бы... А вообще-то идея хорошая. Попугай-контрамот действительно мог бы знать кое-что о космосе. Он же

живет из будущего в прошлое. А контрамот-Янус действительно не мог бы знать, что происходило в нашем «вчера». Потому что наше «вчера» было бы для него «завтра».

— В том-то и дело, — сказал Витька. — Я так и подумал: почему попугай говорил про Ойру-Ойру «стар»? И почему Янус иногда так ловко и в деталях предсказывает, что будет завтра? Помнишь случай на полигоне, Роман? Напрашивалось, что они из будущего...

— Послушайте, а разве это возможно — контрамоция? — сказал я.

— Теоретически возможно, — сказал Эдик. — Ведь половина вещества во Вселенной движется в обратную сторону по времени. Практически же этим никто не занимался.

— Кому это нужно и кто это выдержит? — сказал Витька мрачно.

— Положим, это был бы замечательный эксперимент, — заметил Роман.

— Не эксперимент, а самопожертвование... — проворчал Витька. — Как хотите, а есть в этом что-то от контрамоции... Нутром чую.

— Ах, нутром!.. — сказал Роман, и все замолчали.

Пока они молчали, я лихорадочно суммировал,

что же мы имеем на практике. Если контрамоция теоретически возможна, значит, теоретически возможно нарушение причинно-следственного закона. Собственно, даже не нарушение, потому что закон этот остается справедлив в отдельности и для нормального мира, и для мира контрамота... А значит, можно все-таки предположить, что попугаев не три и не четыре, а всего один, один и тот же. Что получается? Десятого с утра он лежит дохлый в чашке Петри. Затем его сжигают, превращают в пепел и развеивают по ветру. Тем не менее утром одиннадцатого он жив опять. Не только не испепелен, но цел и невредим. Правда, к середине дня он издыхает и снова оказывается в чашке Петри. Это чертовски важно! Я чувствовал, что это чертовски важно — чашка Петри... Единство места!.. Двенадцатого попугай опять жив и просит сахарок... Это не контрамоция, это не фильм, пущенный наоборот, но что-то от контрамоции здесь все-таки есть... Витька прав... Для контрамота ход событий таков: попугай жив, попугай умирает, попугая сжигают. С нашей точки зрения, если отвлечься от деталей, получается как раз наоборот: попугая сжигают, попугай умирает, попугай жив... Словно фильм разрезали на три куска и показывают сначала третий кусок,

потом второй, а потом уже первый... Какие-то разрывы непрерывности... Разрывы непрерывности... Точки разрыва...

— Ребята, — сказал я замирающим голосом, — а контрамоция обязательно должна быть непрерывной?

Некоторое время они не реагировали. Эдик курил, пуская дым в потолок, Витька неподвижно лежал на животе, а Роман бессмысленно смотрел на меня. Потом глаза его расширились.

— Полночь! — сказал он страшным шепотом.

Все вскочили.

Было так, точно я на кубковом матче забил решающий гол. Они бросались на меня, они слюнявили мои щеки, они били меня по спине и по шее, они повалили меня на диван и повалились сами. «Умница!» — вопил Эдик. «Голова!» — ревел Роман. «А я-то думал, что ты у нас дурак!» — приговаривал грубый Корнеев. Затем они успокоились, и дальше все пошло как по маслу.

Сначала Роман ни с того ни с сего заявил, что теперь он знает тайну Тунгусского метеорита. Он пожелал сообщить ее нам немедленно, и мы с радостью согласились, как ни парадоксально это звучит. Мы не торопились приступить к тому, что интересовало нас больше всего. Нет, мы совсем

не торопились! Мы чувствовали себя гурманами. Мы не накидывались на яства. Мы вдыхали ароматы, мы закатывали глаза и чмокали, мы потирали руки, ходя вокруг, мы предвкушали...

— Давайте, наконец, внесем ясность, — вкрадчивым голосом начал Роман, — в запутанную проблему Тунгусского дива. До нас этой проблемой занимались люди, абсолютно лишенные фантазии. Все эти кометы, метеориты из антивещества, самовзрывающиеся атомные корабли, всякие там космические облака и квантовые генераторы — все это слишком банально, а значит далеко от истины. Для меня Тунгусский метеорит всегда был кораблем пришельцев, и я всегда полагал, что корабль не могут найти на месте взрыва просто потому, что его там давно уже нет. До сегодняшнего дня я думал, что падение Тунгусского метеорита есть не посадка корабля, а его взлет. И уже эта черновая гипотеза многое объясняла. Идеи дискретной контрамоции позволяют покончить с этой проблемой раз и навсегда... Что же произошло тридцатого июня тысяча девятьсот восьмого года в районе Подкаменной Тунгуски? Примерно в середине *июля* того же года в околосолнечное пространство вторгся корабль пришельцев. Но это не были простые, безыскус-

ные пришельцы фантастических романов. Это были контрамоты, товарищи! Люди, прибывшие в наш мир из другой Вселенной, где время течет навстречу нашему. В результате взаимодействия противоположных потоков времени они из обыкновенных контрамотов, воспринимающих нашу Вселенную как фильм, пущенный наоборот, превратились в контрамотов дискретного типа. Природа этой дискретности нас пока не интересует. Важно другое. Важно то, что жизнь их в нашей Вселенной стала подчинена определенному ритмическому циклу. Если предположить для простоты, что единичный цикл был у них равен земным суткам, то существование их, с нашей точки зрения, выглядело бы так. В течение, скажем, первого июля они живут, работают и питаются совершенно как мы. Однако ровно, скажем, в полночь они вместе со своим оборудованием переходят не во второе июля, как это делаем мы, простые смертные, а в самое начало тридцатого июня, то есть не на мгновенье вперед, а на двое суток назад, если рассуждать с нашей точки зрения. Точно так же в конце тридцатого июня они переходят не в первое июля, а в самое начало двадцать девятого июня. И так далее. Оказавшись в непосредственной близости от

Земли, наши контрамоты с изумлением обнаружили, если не обнаружили этого еще раньше, что Земля совершает на своей орбите весьма странные скачки — скачки, чрезвычайно затрудняющие астронавигацию. Кроме того, находясь над Землею первого июля в нашем счете времени, они обнаружили в самом центре гигантского Евразийского материка мощный пожар, дым которого они наблюдали в могучие телескопы и раньше — второго, третьего и так далее июля в нашем счете времени. Катаклизм и сам по себе заинтересовал их, однако научное их любопытство было окончательно распалено, когда утром тридцатого июня — в нашем счете времени — они заметили, что никакого пожара нет и в помине, а под кораблем расстилается спокойное зеленое море тайги. Заинтригованный капитан приказал посадку в том самом месте, где он вчера — в его счете времени — своими глазами наблюдал эпицентр огненной катастрофы. Дальше пошло как полагается. Защелкали тумблеры, замерцали экраны, загремели планетарные двигатели, в которых взрывался ка-гамма-плазмоин...

— Как-как? — спросил Витька.

— Ка-гамма-плазмоин. Или, скажем, мю-дельта-ионопласт. Корабль, окутанный пламенем,

рухнул в тайгу и, естественно, зажег ее. Именно эту картину и наблюдали крестьяне села Карелинского и другие люди, вошедшие впоследствии в историю как очевидцы. Пожар был ужасен. Контрамоты выглянули было наружу, затрепетали и решили переждать за тугоплавкими и жаростойкими стенами корабля. До полуночи они с трепетом прислушивались к свирепому реву и треску пламени, а ровно в полночь все вдруг стихло. И не удивительно. Контрамоты вступили в свой новый день — двадцать девятое июня по нашему времяисчислению. И когда отважный капитан с огромными предосторожностями решился около двух часов ночи высунуться наружу, он увидел в свете мощных прожекторов спокойно качающиеся сосны и тут же подвергся нападению тучи мелких кровососущих насекомых, известных под названием гнуса или мошки в нашей терминологии.

Роман перевел дух и оглядел нас. Нам очень нравилось. Мы предвкушали, как точно так же разделаем под орех тайну попугая.

— Дальнейшая судьба пришельцев-контрамотов, — продолжал Роман, — не должна нас интересовать. Может быть, числа пятнадцатого июня они тихо и бесшумно, используя на этот раз

ничего не воспламеняющую альфа-бета-гамма-антигравитацию, снялись со странной планеты и вернулись домой. Может быть, они все до одного погибли, отравленные комариной слюной, а их космический корабль еще долго торчал на нашей планете, погружаясь в пучину времени, и на дне Силурийского моря по нему ползали трилобиты. Не исключено также, что где-нибудь в девятьсот шестом или, скажем, в девятьсот первом году набрел на него таежный охотник и долго потом рассказывал об этом приятелям, которые, как и следует быть, ни на грош ему не верили. Заканчивая свое небольшое выступление, я позволю себе выразить сочувствие славным исследователям, которые тщетно пытались обнаружить что-нибудь в районе Подкаменной Тунгуски. Завороженные очевидностью, они интересовались только тем, что происходило в тайге после взрыва, и никто из них не попытался узнать, что там было *до*. Дикси25.

Роман откашлялся и выпил кружку живой воды.

— У кого есть вопросы к докладчику? — осведомился Эдик. — Нет вопросов? Превосходно. Вернемся к нашим попугаям. Кто просит слово?

Слово просили все. И все заговорили. Даже Ро-

ман, который слегка охрип. Мы рвали друг у друга листочек со списком вопросов и вычеркивали вопросы один за другим, и через какие-нибудь полчаса была составлена исчерпывающе ясная и детально разработанная картина наблюдаемого явления.

В тысяча восемьсот сорок первом году в семье небогатого помещика и отставного армейского прапорщика Полуэкта Хрисанфовича Невструева родился сын. Назвали его Янусом в честь дальнего родственника Януса Полуэктовича Невструева, точно предсказавшего пол, а также день и даже час рождения младенца. Родственник этот, тихий скромный старичок, переехал в поместье отставного прапорщика вскоре после наполеоновского нашествия, жил во флигеле и предавался ученым занятиям. Был он чудаковат, как и полагается ученым людям, со многими странностями, однако привязался к своему крестнику всей душой и не отходил от него ни на шаг, настойчиво внедряя в него познания из математики, химии и других наук. Можно сказать, что в жизни младшего Януса не было ни одного дня без Януса-старшего, и, верно, потому он не замечал того, чему дивились другие: старик не только не дряхлел с годами, но, напротив, становился как будто бы

даже сильнее и бодрее. К концу столетия старый Янус посвятил младшего в окончательные тайны аналитической, релятивистской и обобщенной магии. Они продолжали жить и трудиться бок о бок, участвуя во всех войнах и революциях, претерпевая более или менее мужественно все превратности истории, пока не попали, наконец, в Научно-исследовательский институт Чародейства и Волшебства...

Откровенно говоря, вся эта вводная часть являлась сплошной литературой. О прошлом Янусов мы достоверно знали только тот факт, что родился Я. П. Невструев седьмого марта тысяча восемьсот сорок первого года. Каким образом и когда Я. П. Невструев стал директором института, нам было совершенно неизвестно. Мы не знали даже, кто первый догадался и проговорился о том, что У-Янус и А-Янус — один человек в двух лицах. Я узнал об этом у Ойры-Ойры и поверил, потому что понять не мог. Ойра-Ойра узнал от Жиакомо и тоже поверил, потому что был молод и восхищен. Корнееву рассказала об этом уборщица, и Корнеев тогда решил, что сам факт настолько тривиален, что о нем не стоит и размышлять. А Эдик слышал, как об этом разговаривали Саваоф Баалович и Федор Симеонович. Эдик был тогда

младшим препаратором и верил вообще во все, кроме бога.

Итак, прошлое Янусов представлялось нам весьма приблизительно. Зато будущее мы знали совершенно точно. А-Янус, который сейчас занят больше институтом, чем наукой, в недалеком будущем чрезвычайно увлечется идеей практической контрамоции. Он посвятит ей всю жизнь. Он заведет себе друга — маленького зеленого попугая, по имени Фотон, которого подарят ему знаменитые русские космолетчики. Это случится девятнадцатого мая не то тысяча девятьсот семьдесят третьего, не то две тысячи семьдесят третьего года — именно так хитроумный Эдик расшифровал таинственный номер 190573 на кольце. Вероятно, вскорости после этого А-Янус добьется, наконец, решительного успеха и превратит в контрамота и самого себя, и попугая Фотона, который в момент эксперимента будет, конечно, сидеть у него на плече и просить сахарок. Именно в этот момент, если мы хоть что-нибудь понимаем в контрамоции, человеческое будущее лишится Януса Полуэктовича Невструева, но зато человеческое прошлое обретет сразу двух Янусов, ибо А-Янус превратится в У-Януса и заскользит назад по оси времени. Они будут

встречаться каждый день, но ни разу в жизни А-Янусу не придет в голову что-либо заподозрить, потому что ласковое морщинистое лицо У-Януса, своего дальнего родственника и учителя, он привык видеть с колыбели. И каждую полночь, ровно в ноль часов ноль-ноль минут ноль-ноль секунд ноль-ноль терций по местному времени А-Янус будет, как и все мы, переходить из сегодняшней ночи в завтрашнее утро, тогда как У-Янус и его попугай в тот же самый момент, за мгновение, равное одному микрокванту времени, будет переходить из нашей сегодняшней ночи в наше вчерашнее утро.

Вот почему попугаи за номером один, два и три, наблюдавшиеся соответственно десятого, одиннадцатого и двенадцатого, были так похожи друг на друга: они были просто одним и тем же попугаем. Бедный старый Фотон! Может быть, его одолела старость, а может быть, его прохватил сквозняк, но он заболел и прилетел умирать на любимые весы в лаборатории Романа. Он умер, и его огорченный хозяин устроил ему огненное погребение и развеял его пепел, и сделал это потому, что не знал, как ведут себя мертвые контрамоты. А может быть, именно потому, что знал. Мы, естественно, наблюдали весь этот процесс

как кино с переставленными частями. Девятого Роман находит в печке уцелевшее перо Фотона. Трупа Фотона уже нет, он сожжен завтра. Завтра, десятого, Роман находит его в чашке Петри. У-Янус находит покойника тогда же и там же и сжигает его в печи. Сохранившееся перо остается в печи до конца суток и в полночь перескакивает в девятое. Одиннадцатого с утра Фотон жив, хотя уже болен. Он издыхает на наших глазах под весами (на которых он будет так любить сидеть теперь), и простодушный Саня Дрозд кладет его в чашку Петри, где покойник пролежит до полуночи, перескочит в утро десятого, будет найден там У-Янусом, сожжен, развеян по ветру, но перо его останется, пролежит до полуночи, перескочит в утро девятого, и там его найдет Роман. Двенадцатого с утра Фотон жив и бодр, он дает Корнееву интервью и просит сахарок, а в полночь перескочит в утро одиннадцатого, заболеет, умрет, будет положен в чашку Петри, в полночь перескочит в утро десятого, будет сожжен и развеян, но останется перо, которое в полночь перескочит в утро девятого, будет найдено Романом и брошено в мусорную корзину. Тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого и так далее Фотон, на радость всем нам, будет весел, разговорчив, и мы будем

баловать его, кормить сахарком и зернышками перца, а У-Янус будет приходить и спрашивать, не мешает ли он нам работать. Применяя ассоциативный допрос, мы сможем узнать от него много любопытного относительно космической экспансии человечества и, несомненно, кое-что о нашем собственном, личном будущем.

Когда мы дошли до этого пункта рассуждений, Эдик вдруг помрачнел и заявил, что ему не нравятся намеки Фотона на его, Амперяна, безвременную смерть. Чуждый душевного такта Корнеев заметил на это, что любая смерть мага всегда безвременна и что тем не менее мы все там будем. И вообще, сказал Роман, может быть, он будет тебя любить сильнее всех нас и только твою смерть запомнит. Эдик понял, что у него еще есть шансы умереть позже нас, и настроение его улучшилось.

Однако разговор о смерти направил наши мысли в меланхолическое русло. Мы все, кроме Корнеева, конечно, вдруг начали жалеть У-Януса. Действительно, если подумать, положение его было ужасно. Во-первых, он являл собою образец гигантского научного бескорыстия, потому что практически был лишен возможности пользоваться плодами своих идей. Далее, у него не

было никакого светлого будущего. Мы шли в мир разума и братства, он же с каждым днем уходил навстречу Николаю Кровавому, крепостному праву, расстрелу на Сенатской площади и — кто знает? — может быть, навстречу аракчеевщине, бироновщине, опричнине. И где-то в глубине времен, на вощеном паркете Санкт-Петербургской де Сиянс Академии его встретит в один скверный день коллега в напудренном парике — коллега, который вот уже неделю как-то странно к нему приглядывается — ахнет, всплеснет руками и с ужасом в глазах пробормочет: «Герр Нефструефф!.. Как ше это? Федь фчера ф «Федомостях» определенно писали, што фы скончались от удар...» И ему придется говорить что-то о брате-близнеце или о фальшивых слухах, зная и прекрасно понимая, что означает этот разговор...

— Бросьте, — сказал Корнеев. — Распустили слюни. Зато он знает будущее. Он уже побывал там, куда нам еще идти и идти. И он, может быть, прекрасно знает, когда мы все помрем.

— Это совсем другое дело, — сказал грустно Эдик.

— Старику тяжело, — сказал Роман. — Извольте относиться к нему поласковее и потеплее. Особенно ты, Витька. Вечно ты ему хамишь.

— А чего он ко мне пристает? — огрызнулся Витька. — О чем беседовали, да где виделись...

— Вот теперь ты знаешь, чего он к тебе пристает, и веди себя прилично.

Витька насупился и стал демонстративно рассматривать листок со списком вопросов.

— Надо объяснять ему все поподробнее, — сказал я. — Все, что сами знаем. Надо постоянно предсказывать ему его ближайшее будущее.

— Да, черт возьми! — сказал Роман. — Он этой зимой ногу сломал. На гололеде.

— Надо предотвратить, — решительно сказал я.

— Что? — спросил Роман. — Ты понимаешь, что ты говоришь? Она у него уже давно срослась...

— Но она у него еще не сломана, — возразил Эдик.

Несколько минут мы пытались все сообразить. Витька вдруг сказал:

— Постойте-ка! А это что такое? Один вопрос у нас, ребята, не вычеркнут...

— Какой?

— Куда девалось перо?

— Ну как — куда? — сказал Роман. — Перенеслось в восьмое. А восьмого я как раз печку включал, расплав делал...

— Ну и что из этого?

— Да, ведь я же его бросил в корзинку... Восьмого, седьмого, шестого я его не видел... Гм... Куда же оно делось?

— Уборщица выбросила, — предположил я.

— Вообще об этом интересно подумать, — сказал Эдик. — Предположим, что его никто не сжег. Как оно должно выглядеть в веках?

— Есть вещи поинтереснее, — сказал Витька. — Например, что происходит с ботинками Януса, когда он доносит их до дня их изготовления на фабрике «Скороход»? И что бывает с пищей, которую он съедает за ужином? И вообще...

Но мы были уже слишком утомлены. Мы еще немного поспорили, потом пришел Саня Дрозд, вытеснил нас, спорящих, с дивана, включил свою «Спидолу» и стал просить два рубля. «Ну дайте», — ныл он. «Да нет у нас», — отвечали мы ему. «Ну, может, последние есть... Дали бы!..» Спорить стало невозможно, и мы решили идти обедать.

— В конце концов, — сказал Эдик, — наша гипотеза не так уж и фантастична. Может быть, судьба У-Януса гораздо удивительнее.

Очень может быть, подумали мы и пошли в столовую.

Я забежал на минутку в электронный зал сооб-

щить, что ухожу обедать. В коридоре я налетел на У-Януса, который внимательно на меня посмотрел, улыбнулся почему-то и спросил, не виделись ли мы с ним вчера.

— Нет, Янус Полуэктович, — сказал я. — Вчера мы с вами не виделись. Вчера вас в институте не было. Вы вчера, Янус Полуэктович, прямо с утра улетели в Москву.

— Ах да, — сказал он. — Я запамятовал.

Он так ласково улыбался мне, что я решился. Это было немножко нагло, конечно, но я твердо знал, что последнее время Янус Полуэктович относился ко мне хорошо, а значит никакого особенного инцидента у нас с ним сейчас произойти не могло. И я спросил вполголоса, осторожно оглядевшись:

— Янус Полуэктович, разрешите, я вам задам один вопрос?

Подняв брови, он некоторое время внимательно смотрел на меня, а потом, видимо вспомнив что-то, сказал:

— Пожалуйста, прошу вас. Только один?

Я понял, что он прав. Все это никак не влезало в один вопрос. Случится ли война? Выйдет ли из меня толк? Найдут ли рецепт всеобщего счастья? Умрет ли когда-нибудь последний дурак?..

Я сказал:

— Можно, я зайду к вам завтра с утра?

Он покачал головой и, как мне показалось, с некоторым злорадством ответил:

— Нет. Это никак не возможно. Завтра с утра вас, Александр Иванович, вызовет Китежградский завод, и мне придется дать вам командировку.

Я почувствовал себя глупо. Было что-то унизительное в этом детерминизме, обрекавшем меня, самостоятельного человека со свободой воли, на совершенно определенные, не зависящие теперь от меня дела и поступки. И речь шла совсем не о том, хотелось мне ехать в Китежград или не хотелось. Теперь я не мог ни умереть, ни заболеть, ни закапризничать («вплоть до увольнения!»), я был обречен, и впервые я понял ужасный смысл этого слова. Я всегда знал, что плохо быть обреченным, например, на казнь или слепоту. Но быть обреченным даже на любовь самой славной девушки в мире, на интереснейшее кругосветное путешествие и на поездку в Китежград (куда я, кстати, рвался уже три месяца) тоже, оказывается, может быть крайне неприятно. Знание будущего представилось мне совсем в новом свете...

— Плохо читать хорошую книгу с конца, не правда ли? — сказал Янус Полуэктович, откро-

венно за мной наблюдавший. — А что касается ваших вопросов, Александр Иванович, то... Постарайтесь понять, Александр Иванович, что не существует единственного для всех будущего. Их много, и каждый ваш поступок творит какое-нибудь из них... Вы это поймете, — сказал он убедительно. — Вы это обязательно поймете.

Позже я действительно это понял.

Но это уже совсем-совсем другая история.

Послесловие и комментарий

Краткое послесловие и комментарий и. о. заведующего вычислительной лабораторией НИИЧАВО младшего научного сотрудника А. И. Привалова

Предлагаемые очерки из жизни Научно-исследовательского института Чародейства и Волшебства не являются, на мой взгляд, реалистическими в строгом смысле этого слова. Однако они обладают достоинствами, которые выгодно отличают их от аналогичных по теме опусов Г. Проницательного и Б. Питомника и позволяют рекомендовать их широкому кругу читателей.

Прежде всего следует отметить, что авторы сумели разобраться в ситуации и отделить прогрессивное в работе института от консервативного. Очерки не вызывают того раздражения, которое испытываешь, читая восхищенные статьи о конъюнктурных фокусах Выбегаллы или восторженные переложения безответственных прогнозов сотрудников из отдела Абсолютного Знания. Далее, приятно отметить верное отношение авторов к магу, как к человеку. Маг для них

— не объект опасливого восхищения и преклонения, но и не раздражающий кинодурак, личность не от мира сего, которая постоянно теряет очки, не способна дать по морде хулигану и читает влюбленной девушке избранные места из «Курса дифференциального и интегрального исчисления». Все это означает, что авторы взяли верный тон. К достоинствам очерков можно отнести и то, что авторы дали институтские пейзажи с точки зрения новичка, а также не просмотрели весьма глубокого соотношения между законами административными и законами магическими. Что же касается недостатков очерков, то подавляющее большинство из них определяется изначальной гуманитарной направленностью авторов. Будучи профессиональными литераторами, авторы сплошь и рядом предпочитают так называемую художественную правду так называемой правде факта. И, будучи профессиональными литераторами, авторы, как и большинство литераторов, назойливо эмоциональны и прискорбно невежественны в вопросах современной магии. Никак не возражая против опубликования данных очерков, я тем не менее считаю необходимым указать на некоторые конкретные погрешности и ошибки.

1. Название очерков, как мне кажется, не вполне соответствует содержанию. Используя эту действительно распространенную у нас поговорку, авторы, видимо, хотели сказать, что маги работают непрерывно, даже когда отдыхают. Это в самом деле почти так и есть. Но в очерках этого не видно. Авторы излишне увлеклись нашей экзотикой и не сумели избежать соблазна дать побольше завлекательных приключений и эффектных эпизодов. Приключения духа, которые составляют суть жизни любого мага, почти не нашли отражения в очерках. Я, конечно, не считаю последней главы третьей части, где авторы хотя и попытались показать работу мысли, но сделали это на неблагодарном материале довольно элементарной дилетантской логической задачки (при изложении которой ухитрились допустить вдобавок достаточно примитивный логический ляп, причем не постеснялись приписать этот ляп своим героям. Что характерно). Кстати, я излагал авторам свою точку зрения по этому поводу, но они только пожали плечами и несколько обиженно объявили, что я отношусь к очеркам слишком серьезно.

2. Упомянутое уже невежество в вопросах магии как науки играет с авторами злые шутки на

протяжении всей книги. Так, например, формулируя диссертационную тему М. Ф. Редькина, они допустили четырнадцать (!) фактических ошибок. Солидный термин «гиперполе», который им, очевидно, очень понравился, они вставляют в текст сплошь и рядом неуместно. Им, по-видимому, невдомек, что диван-транслятор является излучателем не М-поля, а мю-поля; что термин «живая вода» вышел из употребления еще в позапрошлом веке; что таинственного прибора, под названием аквавитометр, и электронной машины, под названием «Алдан», в природе не существует; что заведующий вычислительной лабораторией крайне редко занимается проверкой программ — для этого существуют математики-программисты, которых в нашей лаборатории двое и которых авторы упорно называют девочками. Описание упражнений по материализации в первой главе второй части сделано безобразно: на совести авторов остаются дикие термины «вектор-магистатум» и «заклинание Ауэрса»; уравнение Стокса не имеет к материализации никакого отношения, а Сатурн в описываемый момент никак не мог находиться в созвездии Весов. (Этот последний ляпсус тем более непростителен, что, насколько я понял, один из авторов

является астрономом-профессионалом.) Список такого рода погрешностей и нелепостей можно было бы без труда продолжить, однако я не делаю этого, потому что авторы наотрез отказались что-либо исправлять. Выбросить непонятную им терминологию они тоже отказались: один заявил, что терминология необходима для антуража, а другой — что она создает колорит. Впрочем, я был вынужден согласиться с их соображением о том, что подавляющее большинство читателей вряд ли окажется способным отличить правильную терминологию от ошибочной и что какая бы терминология ни наличествовала, все равно ни один разумный читатель ей не поверит.

3. Стремление к упомянутой выше художественной правде (по выражению одного из авторов) и к типизации (по выражению другого) привело к значительному искажению образов реальных людей, участвующих в повествовании. Авторы вообще склонны к нивелировке героев, и потому более или менее правдоподобен у них разве что Выбегалло и в какой-то степени Кристобаль Хозевич Хунта (я не считаю эпизодического образа вурдалака Альфреда, который получился лучше, чем кто-нибудь другой). Например, авторы твердят, что Корнеев груб, и

воображают, будто читатель сможет составить себе правильное представление об этой грубости. Да, Корнеев действительно груб. Но именно поэтому описанный Корнеев выглядит «полупрозрачным изобретателем» (в терминологии самих авторов) по сравнению с Корнеевым реальным. То же относится и к пресловутой вежливости Э. Амперяна. Р. П. Ойра-Ойра в очерках совершенно бесплотен, хотя именно в описываемый период он разводился со второй женой и собирался жениться в третий раз. Приведенных примеров, вероятно, достаточно для того, чтобы читатель не придавал слишком много веры моему собственному образу в очерках.

4. Несколько слов об иллюстрациях.

Иллюстрации обладают высокой достоверностью и смотрятся весьма убедительно. (Я даже подумал было, что художник непосредственно связан со смежным НИИ Каббалистики и Ворожбы.) Это — лишнее свидетельство того, что истинный талант, даже будучи дезинформирован, не способен все-таки полностью оторваться от реальной действительности. И в то же время нельзя не видеть, что художник имел несчастье смотреть на мир глазами авторов, о компетентности которых я уже говорил выше. Однако, я

надеюсь, что чувство юмора, присущее сотрудникам НИИКАВО, остановит их в стремлении возбудить литературно-критическое преследование за диффамацию, дискредитацию, дезинформацию и отрыв от.

Авторы попросили меня объяснить некоторые непонятные термины и малознакомые имена, встречающиеся в книге. Выполняя эту просьбу, я встретился с определенными затруднениями. Естественно, объяснять терминологию, выдуманную авторами («аквавитометр», «темпоральная передача» и т. п.), я не собираюсь. Но я не думаю, что большую пользу принесло бы и объяснение даже грамотно употребляемых терминов, требующее основательных специальных знаний. Невозможно, например, объяснить термин «гиперполе» человеку, плохо разбирающемуся в теории физического вакуума. Термин «трансгрессия» еще более емок, и вдобавок разные школы употребляют его в разных смыслах. Короче говоря, я ограничился комментарием к некоторым именам, терминам и понятиям, достаточно широко распространенным, с одной стороны, и достаточно специфичным в нашей работе — с другой. Кроме того, я откомментировал несколько слов, не имеющих прямого отношения к магии,

но могущих вызвать, на мой взгляд, недоумение читателя.

Авгуры — в Древнем Риме — жрецы, предсказывавшие будущее по полету птиц и по их поведению. Подавляющее большинство из них было сознательными жуликами. В значительной степени это относится и к институтским авгурам, хотя теперь у них разработаны новые методы.

Анацефал — урод, лишенный головного мозга и черепной коробки. Обыкновенно анацефалы умирают при рождении или несколько часов спустя.

Бецалель, Лев Бен — известный средневековый маг, придворный алхимик императора Рудольфа II.

Вампир — см. *вурдалак*.

Василиск — в сказках — чудовище с телом петуха и хвостом змеи, убивающее взглядом. На самом деле — ныне почти вымерший древний ящер, покрытый перьями, предшественник первоптицы археоптерикса. Способен гипнотизировать. В виварии института содержатся два экземпляра.

Вервольф — см. *оборотень*.

Вурдалак — см. *упырь*.

Гарпии — в греческой мифологии — богини вихря, а в действительности — разновидность

нежити, побочный продукт экспериментов ранних магов в области селекции. Имеют вид больших рыжих птиц со старушечьими головами, очень неопрятны, прожорливы и сварливы.

Гидра — у древних греков — фантастическая многоголовая водяная змея. У нас в институте — реально существующая многоголовая рептилия, дочь З. Горыныча и плезиозаврихи из озера Лох-Несс.

Гном — в западноевропейских сказаниях — безобразный карлик, охраняющий подземные сокровища. Я разговаривал с некоторыми из гномов. Они действительно безобразны и действительно карлики, но ни о каких сокровищах они понятия не имеют. Большинство гномов — это забытые и сильно усохшие дубли.

Голем — один из первых кибернетических роботов, сделан из глины Львом Бен *Бецалелем*. (См., например, чехословацкую кинокомедию «Пекарь императора», тамошний Голем очень похож на настоящего.)

Гомункулус — в представлении неграмотных средневековых алхимиков — человекоподобное существо, созданное искусственно в колбе. На самом деле в колбе искусственное существо создать нельзя. Гомункулусов синтезируют в

специальных автоклавах и используют для биомеханического моделирования.

Данаиды — в греческой мифологии — преступные дочери царя Даная, убившие по его приказанию своих мужей. Сначала были осуждены наполнять водой бездонную бочку. Впоследствии, при пересмотре дела, суд принял во внимание тот факт, что замуж они были отданы насильно. Это смягчающее обстоятельство позволило перевести их на несколько менее бессмысленную работу: у нас в институте они занимаются тем, что взламывают асфальт везде, где сами его недавно положили.

Демон Максвелла — важный элемент мысленного эксперимента крупного английского физика Максвелла. Предназначался для нападения на второй принцип термодинамики. В мысленном эксперименте Максвелла демон располагается рядом с отверстием в переборке, разделяющей сосуд, наполненный движущимися молекулами. Работа демона состоит в том, чтобы выпускать из одной половины сосуда в другую быстрые молекулы и закрывать отверстие перед носом медленных. Идеальный демон способен таким образом без затраты труда создать очень высокую температуру в одной половине сосуда и очень

низкую — в другой, осуществляя вечный двигатель второго рода. Однако только сравнительно недавно и только в нашем институте удалось найти и приспособить к работе таких демонов.

Джинн — злой дух арабских и персидских мифов. Почти все джинны являются дублями царя Соломона и современных ему магов. Использовались в военных и политико-хулиганских целях. Отличаются отвратительным характером, наглостью и полным отсутствием чувства благодарности. Невежественность и агрессивность их таковы, что почти все они находятся в заключении. В современной магии широко используются в качестве подопытных существ. В частности, Э. Амперян на материале тринадцати джиннов определял количество зла, которое может причинить обществу злобный невежественный дурак.

Джян бен Джян — либо древний изобретатель, либо древний воитель. Имя его всегда связано с понятием щита и отдельно не встречается. (Упоминается, например, в «Искушении святого Антония» Г. Флобера.)

Домовой — в представлении суеверных людей — некое сверхъестественное существо, обитающее в каждом обжитом доме. Ничего сверхъестественного в домовых нет. Это либо

вконец опустившиеся маги, не поддающиеся перевоспитанию, либо помеси гномов с некоторыми домашними животными. В институте находятся под началом М. М. Камноедова и используются для подсобных работ, не требующих квалификации.

Дракула, граф — знаменитый венгерский вурдалак XVII–XIX вв. Графом никогда не был. Совершил массу преступлений против человечности. Был изловлен гусарами и торжественно проткнут осиновым колом при большом скоплении народа. Отличался необычайной жизнеспособностью: вскрытие обнаружило в нем полтора килограмма серебряных пуль.

Звезда Соломонова — в мировой литературе — магический знак в виде шестиконечной звезды, обладающий волшебными свойствами. В настоящее время, как и подавляющее большинство других геометрических заклинаний, потерял всякую силу и годен исключительно для запугивания невежественных людей.

Инкуб — разновидность оживших мертвецов, имеет обыкновение вступать в браки с живыми. Не бывает. В теоретической магии термин «инкуб» употребляется в совершенно другом смысле: мера отрицательной энергии живого организма.

Инкунабула — так называют первые печатные книги. Некоторые из инкунабул отличаются поистине гигантскими размерами.

Ифрит — разновидность *джинна*. Как правило, ифриты — это хорошо сохранившиеся дубли крупнейших арабских военачальников. В институте используются М. М. Камноедовым в качестве вооруженной охраны, так как отличаются от прочих *джиннов* высокой дисциплинированностью. Механизм огнеметания ифритов изучен слабо и вряд ли будет когда-либо изучен досконально, потому что никому не нужен.

Кадавр — вообще говоря, оживленный неодушевленный предмет: портрет, статуя, идол, чучело. (См., например, А. Н. Толстой, «Граф Калиостро».) Одним из первых в истории кадавров была небезызвестная Галатея работы скульптора Пигмалиона. В современной магии кадавры не используются. Как правило, они феноменально глупы, капризны, истеричны и почти не поддаются дрессировке. В институте кадаврами иногда иронически называют неудавшихся дублей и дублеподобных сотрудников.

Кицунэ — см. *оборотень*.

Левитация — способность летать без каких бы то ни было технических приспособлений. Ши-

роко известна левитация птиц, летучих мышей и насекомых.

«*Молот ведьм*» — старинное руководство по допросу третьей степени. Составлено и применялось церковниками специально в целях выявления ведьм. В новейшие времена отменено как устаревшее.

Оборотень — человек, способный превращаться в некоторых животных: в волка (*вервольф*), в лисицу (*кицунэ*) и т. д. У суеверных людей вызывает ужас, непонятно почему. В. П. Корнеев, например, когда у него разболелся зуб мудрости, обернулся петухом, и ему сразу полегчало.

Оракул — по представлениям древних, средство общения богов с людьми: полет птицы (у *авгуров*), шелест деревьев, бред прорицателя и т. д. Оракулом называлось также и место, где давались предсказания. «Соловецкий Оракул» — это небольшая темная комната, где уже много лет проектируется установить мощную электронно-счетную машину для мелких прорицаний.

Пифия — жрица-прорицательница в Древней Греции. Вещала, надышавшись ядовитых испарений. У нас в институте пифии не практикуют. Очень много курят и занимаются общей теорией предсказаний.

Рамапитек — по современным представлениям, непосредственный предшественник питекантропа на эволюционной лестнице.

Сэгюр, Ришар — герой фантастической повести «Загадка Ришара Сэгюра», открывший способ объемной фотографии.

Таксидермист — чучельник, набивщик чучел. Я порекомендовал авторам это редкое слово, потому что К. Х. Хунта приходит в ярость, когда его называют просто чучельником.

Терция — одна шестидесятая часть секунды.

Триба — здесь: племя. Решительно не понимаю, зачем издателям Книги Судеб понадобилось называть племя рамапитеков трибой.

«*Упанишады*» — древнеиндийские комментарии к четырем священным книгам.

Упырь — кровососущий мертвец народных сказок. Не бывает. В действительности упыри (*вурдалаки, вампиры*) — это маги, вставшие по тем или иным причинам на путь абстрактного зла. Исконное средство против них — осиновый кол и пули, отлитые из самородного серебра. В тексте слово «упырь» употребляется везде в переносном смысле.

Фантом — призрак, привидение. По современным представлениям — сгусток некробиотической информации. Фантомы вызывают суеверный ужас, хотя совершенно безобидны. В институте их используют для уточнения исторической правды, хотя юридически считаться очевидцами они не могут.

~~А. Привалов~~

СКАЗКА О ТРОЙКЕ — 1

История непримиримой борьбы за повышение трудовой дисциплины, против бюрократизма, за высокий моральный уровень, против обезлички, за здоровую критику и здоровую самокритику, за личную ответственность каждого, за образцовое содержание отчетности и против недооценки собственных сил

Глава первая

Мы сидели на травке в пыльном скверике под окнами заводского управления и переваривали обед — каждый по-своему. Федя читал «Китежградские новости», медленно ведя по строчкам черным неразгибающимся пальцем; мрачный Витька Корнеев лелеял обуревавшие его черные замыслы; Эдик Амперян спрашивал, Роман Ойра-Ойра отвечал; а я, не теряя драгоценного времени, загорал себе подмышки. Комаров и слепней поблизости не было, они тоже, вероятно, переваривали обед.

Внизу под обрывом величественно несла в своих хрустальных струях ядовито-оранжевые сточные воды прохладная Китежа. На другом берегу сладко томились под солнцем заливные луга. По ровной желтой насыпи, выбрасывая белые дымки, полз игрушечный поезд. На горизонте в парном мареве синела зубчатая кромка далекого леса. Над серыми башнями Старой крепости, сверкая солнечными зайчиками, совершало эволюции небольшое летающее блюдце.

Окна заводского управления были раскрыты, и слышно было, как пишущие машинки вяло и

неубедительно отвечают на энергичные напористые очереди бухгалтерских «рейнметаллов». Зажмурившись, можно было легко представить себя в районе боев местного значения. В полуподвале управления, подчиняясь сложному ритму, сдвоенно и тяжело грохали печатающие механизмы табуляторов. Пикирующими бомбардировщиками визжали и завывали на складе циркулярные пилы. По бомбардировщикам выпускали обойму за обоймой скорострельные пневматические молотки. В ремонтных мастерских, устрашающе лязгая гусеницами, разворачивались танки, а где-то в цехах дальнобойно ухал паровой молот. Кроме того, у ворот склада разгружали машину листового железа — звуки были сочные, военные, но я не мог подобрать для них удовлетворительную аналогию.

— А это что за развалина? — спрашивал Эдик.

— А это Старый Китежград, — отвечал Роман.

— Тот самый?

— Тот самый. Двенадцатый век.

— А почему только две башни? — спросил Эдик.

Роман объяснил ему, что до осады было четыре: Кикимора, Аукалка, Плюнь-Ядовитая и Уголовница. Годзилла прожег стену между Аукалкой и

Уголовницей, ворвался во двор и вышел защитникам в тыл. Однако был он дубина, по слухам — самый здоровенный и самый глупый из четырехглавых драконов. В тактике он не разбирался и не хотел, а потому, вместо того чтобы сосредоточенными ударами сокрушить одну башню за другой, кинулся на все четыре сразу, благо голов как раз хватало. В осаде же сидела нечисть бывалая и самоотверженная, братья Разбойники сидели, Соловей Одихмантьевич и Лягва Одихмантьевич, с ними — Лихо Одноглазое, а также союзный злой дух Кончар по прозвищу Прыщ. И Годзилла, естественно, пострадал через дурость свою и жадность. Вначале, правда, ему повезло осилить Кончара, скорбного в тот день вирусным гриппом, и в Плюнь-Ядовитую алчно ворвался Годзиллов прихвостень Вампир Беовульф, который, впрочем, тут же прекратил военные действия и занялся пьянством и грабежами. Однако это был первый и единственный успех Годзиллы за всю кампанию. Соловей Одихмантьевич на пороге Аукалки дрался бешено и весело, не отступая ни на шаг, Лягва Одихмантьевич по малолетству отдал было первый этаж Кикиморы, но на втором закрепился, раскачал башню и обрушил ее вместе с собою на атаковавшую его голову в тот

самый момент, когда хитрое и хладнокровное Лихо Одноглазое, заманившее правофланговую голову в селитряные подвалы Уголовницы, взорвало башню на воздух со всем содержимым. Лишившись половины голов, и без того недалекий Годзилла окончательно одурел, пометался по крепости, давя своих и чужих, и, брыкаясь, кинулся в отступ. На том бой и кончился. Захмелевшего Беовульфа Соловей Одихмантьевич прикончил акустическим ударом, после чего сам скончался от множественных ожогов. Уцелевшие ведьмы, лешие, водяные, аукалки, кикиморы и домовые перебили деморализованных вурдалаков, троллей, гномов, сатиров, наяд и дриад и, лишенные отныне руководства, разбрелись в беспорядке по окрестным лесам. Что же касается дурака Годзиллы, то его занесло в большое болото, именуемое ныне Коровьим Вязлом, где он вскорости и подох от газовой гангрены.

— Любопытно, — проговорил Эдик, разглядывая из-под ладони заросшие серые глыбы Аукалки и Плюни-Ядовитой. — А вход туда свободный?

— Свободный, — ответил Роман. — За пятачок.

— Жалко, — сказал Эдик. — Не успею я туда сходить.

Роман промолчал, а Витька Корнеев, отвлек-

шись от черных мыслей, посмотрел на Эдика с состраданием.

— А вот это блюдце? — спросил Эдик. — Это наше блюдце?

— Наверное, — сказал Роман. — Колонист какой-нибудь упражняется. Чтобы навыков не растерять.

— А где сама Колония?

— В городском парке, вон на том конце города.

— Сходим? — предложил Эдик.

— Успеется, — сказал Роман.

Эдик посмотрел на часы.

— Четыре часа уже, — сказал он озабоченно. — До приема остается всего час, но, может быть, успеем? А то пока разговоры, пока бумаги подпишут...

— Пока тебе подпишут здесь бумаги, шляпа ты фетровая, — сказал грубый Корнеев, — и пока кончатся все разговоры, ты здесь и накупаешься, и назагораешься, и на лыжах находишься, и женишься, и разведешься (Эдик посмотрел на него с изумлением), от Колонии тебя будет тошнить, от этих дурацких развалин тебя будет рвать...

— Что это с ним? — спросил Эдик, обращаясь к Роману. Роман, не говоря ни слова, повалился на спину и задрал ногу на ногу. Тогда Эдик поглядел

на меня. Глаза у него были такие чистые, такие наивные, и весь он был такой нездешний, такой уверенный в могуществе разума, такой свеженький из своего отдела Линейного Счастья, еще пахнущий яблоками и детским смехом, такой избалованный — избалованный дружбой с умными и добрыми людьми, избалованный рациональностью и справедливостью, избалованный горним воздухом чистого знания... Витька и Роман тоже были такими две недели назад.

— Эдик, — ласково сказал я. — Ты намерен, я вижу, сегодня же вечером вернуться в Институт?

— Да, — сказал Эдик. — А что?

— И времени у тебя нет, не так ли? Вся аппаратура готова, а завтра, прямо с утра, ты хочешь начать?

— Естественно...

— И тебе так не терпится начать, что ты просто не можешь позволить себе остаться здесь еще хотя бы на день, чтобы осмотреть Колонию?

— Д-да... Вообще-то, я бы с удовольствием, но... В чем дело?

— А внимательно осмотреть крепость? — спросил я.

— А поискать зубы Годзиллы, выбитые Соловьем Одихмантьевичем? — предложил Роман.

— И еще девочки, — сказал Витька с горечью. — Ух, какие девочки в Китежграде!

— Я не понимаю, ребята, — сказал Эдик. От обиды у него даже припухла нижняя губа. — Не смешно.

— Ты еще не знаешь, до чего все это не смешно, — сказал Роман. — Тебе вот даже не пришло в голову спросить, почему мы сидим здесь так долго — Саша уже второй месяц, а мы с Витькой третью неделю. Уж не стал ли ты, чего доброго, эгоистом?

— Ну как — почему... У Саши дела на заводе...

— А мы с Витькой?

— Н-ну... ну, я не знаю... В конце концов, почему я должен был об этом думать?

— Эгоист! — сказал Роман, с грустью укрепляясь в этом ужасном предположении относительно Эдика. — Федя, полюбуйтесь, пожалуйста. Вот это — эгоист. Видите, как выглядит эгоист?

Федя вздрогнул, поглядел на Эдика поверх газеты, мучительно засмущался и, поскольку обе руки у него были заняты, в полном смятении задрал правую ногу, снял пенсне и принялся тереть линзы о штанину.

— По-моему... — пробормотал он. — Нет... Эгоист... Не может быть... Как же так...

— Спасибо, Федя, — сказал вежливый Эдик. — Это была шутка. — Он оглядел нас. — Вы хотите сказать, что здесь имеет место бюрократическая волокита, из-за которой я вынужден буду задержаться?

— Нет, — сказал я. — Нашей простой, многократно описанной и разоблаченной бюрократической волокитой здесь, к сожалению, и не пахнет.

— Волокита! — презрительно сказал Витька и сплюнул сквозь зубы на одуванчик. Одуванчик увял.

— Волокита... — мечтательно произнес Роман. — Волокита, Эдик, это, в сущности, прекрасно. Несешь, бывало, на подпись что-нибудь исходящее, а бухгалтер, шалун этакий, посылает тебя за визой к директору... Идешь к директору, а у директора, естественно, совещание, надобно подождать, садишься в кожаные кресла, пощебечешь с референтом, полистаешь газету, а там, глядишь, и совещание закончилось, — возвращаешься к бухгалтеру, а бухгалтер, шалунишка, на обеде... Садишься в кожаные кресла, пощебечешь со счетоводом...

— Золотые люди, — сказал Витька. — День-два, и все готово...

— А здесь? — спросил Эдик с интересом.

— А здесь, Эдик, — сказал я, — ничего этого и в заводе нет. Здесь у нас — ТПРУНЯ!

— Ну и что же? Я знаю.

— Ты знаешь, что такое ТПРУНЯ? — осведомился Роман.

— Знаю. Тройка По Распределению и Учету Необъясненных Явлений.

Витька хрипло захохотал.

— Да, — сказал Роман, качая головой. — Распределение, значит, и Учет. И как же ты себе это представляешь?

Эдик пожал плечами.

— Я никак это себе не представляю. Зачем? Два месяца назад я подал заявку. Месяц назад меня любезно известили о том, что моя заявка зарегистрирована. Сегодня мне понадобился экспонат из Колонии необъясненных явлений, и я за ним прибыл. Вот и все.

— Шалунишки! — вскричал вдруг Панург. — Учетчики-бухгалтеры! А между прочим, матриархат имеет свои преимущества! В Центральном московском бассейне некий гражданин повадился подныривать под купальщиц и хватать их за ноги. И вот одна из купальщиц, изловчившись, саданула его, нахального, ногой по голове. — Панург захохотал во все горло. — Она попала ему по

челюсти, а сама вышла и отправилась одеваться. Проходит время, а нахального гражданина нет и нет. Вытащили его... — Панург снова захохотал. — Вытащили они его... — Панург еле говорил от смеха. — Вытащили, понимаете, они его, а он уже холодный! И челюсть сломана...

Все мы, кроме Эдика, тоже не могли удержаться от жуткого смеха, хотя я ощутил некий озноб, Роман побледнел лицом, а по шерстистому загривку Феди прошла волна. Витька же, отсмеявшись, сплюнул на анютины глазки и спросил Эдика:

— Понял?

— Не совсем, — сказал Эдик, рассматривая Панурга, утиравшего глаза шутовским колпаком.

— Не смешно тебе? — спросил Витька.

— Честно говоря, нет, — ответил Эдик.

— Ничего, привыкнешь, — пообещал Витька. — Время у тебя еще есть.

— Да, — сказал Роман. — Время у тебя теперь есть. Никогда в жизни не было у тебя так много времени. И я сейчас объясню тебе, почему. ТПРУНЯ, Эдик, это не Тройка По Распределению и Учету. ТПРУНЯ, Эдик, это Тройка По Рационализации и Утилизации.

— Ну и что же? — спросил Эдик.

— Он воображает, будто ТПРУНЯ — это что-то

вроде кладовщика, — с сожалением сказал Роман, обращаясь ко мне и к Витьке. — Он воображает, будто стоит ему принести накладную, как он тут же получит все, что ему положено... Что есть ТПРУНЯ? — осведомился он, обращаясь в пространство.

Я немедленно откликнулся:

— ТПРУНЯ есть авторитетный административный орган, неукоснительно и неослабно выполняющий свои функции и никогда не подменяющий собою других административных органов.

— Понял? — сказал Витька Эдику. — Кладовщик — это кладовщик, а ТПРУНЯ — это ТПРУНЯ.

— Позвольте, — сказал Эдик, но Роман продолжал:

— Что есть Рационализация?

— Рационализация, — мрачно ответствовал Витька, — это такая поганая дрянь, когда необъясненное возвышается или низводится авторитетными болванами до уровня повседневщины.

— Однако позвольте... — сказал смущенный Эдик.

— А что есть Утилизация? — вопросил Роман.

— Утилизация, — сказал я Эдику, — есть признание или же категорическое непризнание за

рационализированным явлением права на существование в нашем бренном реальном мире.

Эдик опять попытался что-то сказать, но Роман упредил его:

— Могут ли решения Тройки быть обжалованы?

— Да, могут, — сказал я. — Но результаты не воспоследуют.

— Как мордой об стол, — разъяснил Корнеев.

Эдик безмолвствовал. Выражение решительности и готовности к благородному протесту медленно сползало с его лица.

— Авторитетны ли для Тройки, — тоном провинциального адвоката спросил Роман, — рекомендации и пожелания заинтересованных лиц?

— Нет, не авторитетны, — сказал я. — Хотя и рассматриваются. В порядке поступления.

— Что есть заинтересованное... — начал Роман, но Эдик перебил его.

— Неужели Печать? — спросил он с ужасом.

— Да, — сказал Роман. — Увы.

— Большая?

— Очень большая, — сказал Роман.

— Ты такой еще не нюхивал, — добавил Витька.

— И круглая?

— Зверски круглая, — сказал Роман. — Никаких шансов.

— Но позвольте, — сказал Эдик, с видимым усилием стараясь подавить растерянность. — Если, скажем... скажем, оквадратить? Скажем... э-э... преобразование Киврина — Оппенгеймера?..

Роман покачал головой.

— Определитель Жемайтиса равен нулю.

— Ты хочешь сказать — близок к нулю?

Витька неприятно заржал.

— А то бы мы без тебя не догадались, — сказал он. — Равен, товарищ Амперян! Равен!

— Определитель Жемайтиса равен нулю, — повторил Роман. — Плотность административного поля в каждой доступной точке превышает число Одина, административная устойчивость абсолютна, так что все условия теоремы о легальном воздействии выполняются...

— И мы с тобой сидим в глубокой потенциальной галоше, — закончил Витька.

Эдик был раздавлен. Он еще шевелил лапками, поводил усами и топорщил надкрылья, но это были уже чисто рефлекторные действия. Некоторое время он открывал и закрывал рот, потом выхватил из воздуха роскошный блокнот с золотой надписью «Делегату городской

профсоюзной конференции» и принялся бешено строчить в нем, ломая и нетерпеливо восстанавливая грифель, потом вновь растворил в воздухе канцелярские принадлежности и принялся без всякого аппетита покусывать себе пальцы, бессмысленно тараща глаза на мирный пейзаж за рекой. Все молчали. Роман лежал на спине, задрав ногу на ногу, и, казалось, спал. Витька, вновь погрузившись в океан черных замыслов, шумно сопел и оплевывал окружающую натуру ядовитой слюной. Не вынеся этого душераздирающего зрелища, я отвернулся и стал смотреть, как Федя читает.

Федя был существом мягким, добрым и деликатным, и он был очень упорен. Чтение давалось ему с огромным трудом. Любой из нас уже давно бы отказался от дела, требующего таких усилий, и признал бы себя бесталанным и негодным. Но Федя был существом другой породы. Он грыз гранит, не жалея ни зубов, ни гранита. Он медленно вел палец по очередной строчке, подолгу задерживаясь на буквах «щ» и «ъ», трудолюбиво покряхтывал, добросовестно шевелил большими серыми губами, длинными и гибкими, как у шимпанзе, а наткнувшись на точку с запятой, надолго замирал, собирал кожу на лбу в гармошку

и судорожно подергивал далеко отставленными большими пальцами ног. Пока я смотрел на него, он добрался до слова «дезоксирибонуклеиновая», дважды попытался взять его с налету, не преуспел, применил слоговый метод, запутался, пересчитал буквы, затрепетал и робко посмотрел на меня. Пенсне косо и странно сидело на его широкой переносице.

— Дезоксирибонуклеиновая, — сказал я. — Это такая кислота. Дезоксирибонуклеиновая.

Он, жалко улыбаясь, поправил пенсне.

— Кислота, — повторил он перехваченным голосом. — А зачем она такая?

— Иначе ее никак не назовешь, — сочувственно сказал я. — Разве что сокращенно — ДНК... Да вы это пропустите, Федя, читайте дальше.

— Да-да, — сказал он. — Я лучше пропущу... Саша, что такое детский сад?

— Детский сад? Детский сад... — Я подумал. — Детским садом называется организация, которая заботится о детях дошкольного возраста, пока родители заняты на производстве.

— Спасибо, Саша, — сказал Федя, и по его тону я понял, что он не удовлетворен.

— А что там написано? — спросил я.

— «У меня аптека, а не детский сад...» — по сло-

гам прочитал Федя.

— Ясно, — сказал я. — Заведующий китежградской аптекой подвергается принципиальной критике за то, что препятствует выдвижению молодых кадров. Так?

— Кажется, так, — сказал Федя неуверенно. — Но я все равно не понимаю... Аптека — это магазин, где продают лекарства... Вы знаете, Саша, я стал понимать даже хуже, чем раньше. Он что хотел сказать, что не хочет продавать лекарства детям дошкольного возраста, пока их родители заняты на производстве? Тогда он прав, они же маленькие, не понимают... А молодые кадры — это просто молодые люди... Да, правильно, здесь есть такое слово. Кад-ры. Вот оно. Нет, не понимаю.

— Заведующий хотел сказать, — пояснил я, — что ему в аптеке нужны опытные работники, а не молодые люди, которых он фигурально сравнивает с детьми дошкольного возраста.

— А, — сказал Федя. — Тогда другое дело. Как же можно сравнивать? Тогда он не прав. Молодые люди — скажем, вы, Саша, — это одно, а маленькие дети — это совсем другое. Правильно его критикуют. Я, знаете ли, тоже не люблю, когда человек хочет сказать одно, а говорит совсем

другое. Помните, когда Говорун назвал Спиридона старой дубиной? Зачем? Ведь Говорун хотел сказать, что Спиридон недостаточно понятлив, и хотя это тоже совершенно неправильно, потому что Спиридон, по-моему, самый понятливый из нас, что в общем неудивительно, если учесть, сколько ему лет, но совсем уж непонятно, почему нельзя было именно так и выразиться, не прибегая к уподоблению такому совершенно постороннему, решительно не имеющему к делу никакого отношения веществу, как дерево. Или я ошибаюсь? — Он с некоторой тревогой наклонился и заглянул мне в глаза.

Я открыл было рот, но тут представил себе, в какие дебри нам придется забираться, как трудно будет объяснить, что такое метафоры, иносказания, гиперболы и просто ругань, и зачем все это нужно, и какую роль здесь играют воспитание, привычки, степень развитости языка, эмоции, вкус к слову, начитанность и общий культурный уровень, чувство юмора, такт, и что такое юмор, и что такое такт, и представив себе все это, я ужаснулся и горячо сказал:

— Вы совершенно правы, Федя.

Он снова принялся читать, а я смотрел на него и думал, какой же чудовищной мощью должна

обладать Большая Круглая Печать, если одного прикосновения ее к бумаге оказалось достаточно для того, чтобы навеки закабалить этого свободолюбивого снежного человека, этого доброго и деликатного владыку неприступных вершин и превратить его в вульгарный экспонат, в наглядное пособие для популярных лекций по основам дарвинизма. Потом я услышал осторожное квакание и обернулся. Кузька был, конечно, тут как тут. Он сидел на крыше заводского управления и робко поглядывал в нашу сторону. Я помахал ему и поманил его пальцем. Он, как всегда, страшно смутился и попятился. Я призывно похлопал ладонью по траве возле себя. Кузька смутился окончательно и спрятался за вытяжную трубу. Я пригорюнился и, подперев подбородок ладонью, стал смотреть на груду бракованных волшебных палочек, сваленных у забора среди прочего металлолома.

Из столовой вышла компания молоденьких работниц. Завидев Федю, они принялись поправлять платочки и взбивать прически, размахивать ресницами, перехихикиваться и совершать прочие обыкновенные для их возраста действия. Федя дернулся, чтобы удрать, но сдержался и, потупившись, стал щипать рыжую шерсть у себя

на левом предплечье. Девушки это сейчас же заметили и затянули частушку матримониального содержания. Федя жалобно улыбался. Девушки стали его окликать и приглашать вечером на танцы. Федя вспотел. Когда компания прошла, он судорожно перевел дыхание и сразу перестал улыбаться.

— Вы, Федя, пользуетесь успехом, — сказал я не без некоторой зависти.

— Да, это очень меня мучает, — произнес Федя. — Вы меня не поймете. У вас тут совсем иные порядки. А ведь у нас в горах матриархат... Я не привык... Это совершенно невыносимо, когда на тебя обращает внимание столько девушек сразу. У нас такое положение грозило бы многими бедами... Впрочем, у нас это невозможно.

— Ну, у нас это тоже бывает только в исключительных случаях, — возразил я. — И потом они больше шутили, чем что-нибудь серьезное.

Витька вдруг рявкнул:

— Хватать и тикать. Плевал я на них на всех. Подумаешь, Печать... В первый раз, что ли...

— Главное в нашем положении, — сказал Роман, не открывая глаз, — это спокойствие. Выдержка и ледяное хладнокровие. Надо искать пути.

— Главное в нашем положении — вовремя рвануть когти, — возразил Корнеев. — Унося что-нибудь в клюве при этом, — добавил он.

— Нет-нет, — встрепенулся Эдик. — Нет! Главное в нашем положении — не совершать поступков, которых мы потом будем стыдиться.

Я посмотрел на часы.

— Главное в нашем положении — не опоздать к началу заседания. Лавр Федотович очень не одобряет опозданий.

Мы встали. Федя из вежливости тоже встал. Когда мы выходили из скверика, я обернулся. Федя уже снова читал. А Кузька сидел рядом с ним и пробовал на зуб шапочку с бубенцами, которую часто оставлял после себя Панург.

Глава вторая

Ровно в пять часов мы перешагнули порог комнаты заседаний. Как всегда, кроме коменданта Колонии, никого еще не было. Комендант сидел за своим столиком, держал перед собой раскрытое дело и аж подсигивал от нетерпеливого возбуждения. Глаза у него были как у античной статуи, а губы непрерывно двигались, словно он повторял в уме горячую защитительную речь. Нас он не заметил, и мы тихонько расселись на стульях вдоль стены под табличкой «Представители». Роман сразу же принялся орудовать пилочкой для ногтей. Витька засунул руки в карманы и выставил ноги на середину комнаты. Эдик, усевшись в изящной позе, осторожно озирался. Он скользнул равнодушным взглядом по демонстрационному столу прямо перед входом, по маленькому столику с табличкой «Научный консультант», с некоторым беспокойством задержал взгляд на огромном, под зеленой суконной скатертью столе для Тройки и, все более беспокоясь, принялся изучать увлеченного коменданта, полускрытого горой канцелярских папок. Вид чудовищного коричневого сейфа, мрачно возвышавшегося

в углу позади коменданта, поверг его в первую панику, а когда он поднял глаза и обнаружил на стене необъятный кумачовый лозунг «Народу не нужны нездоровые сенсации. Народу нужны здоровые сенсации», лицо его так переменилось, что я понял: Эдик готов.

Именно в этот момент, вероятно, комендант вдруг ощутил, что в комнате присутствует нечто, не прошедшее должной проверки и оной подлежащее. Он встрепенулся, повел большим носом и обнаружил Эдика.

— Посторонний! — произнес он со странным выражением.

Эдик встал и поклонился. Комендант, не спуская с него напряженного взора, вылез из-за стола, сделал несколько крадущихся шагов и, остановившись перед Эдиком, протянул руку. Эдик пожал эту руку и представился: «Амперян». Затем он отступил и поклонился снова. Потрясенный комендант несколько мгновений стоял в прежней позе, а затем поднес ладонь к лицу и недоверчиво осмотрел ее. Затем он с беспокойством, как бы ища оброненное, оглядел пол у своих ног.

— Здорово, Зубо, — сказал грубый Корнеев. — Эдик, это Зубо. Дай ему документы, а то его сейчас

кондрат хватит.

Витька был недалек от истины. Комендант, болезненно улыбаясь, продолжал лихорадочно озираться. Эдик торопливо сунул ему свое удостоверение. Комендант ожил. Действия его стали осмысленными. Он пожрал глазами сначала фотографию на документе, а на закуску глазами же пожрал самого Эдика. Явное сходство фотографии с оригиналом привело его в восторг.

— Очень рад! — воскликнул он. — Зубо моя фамилия. Комендант я. Представитель, так сказать, городской администрации. Устраивайтесь, товарищ Амперян, располагайтесь, нам с вами еще работать и работать...

Он вдруг замолчал и рысью кинулся на свое место. И вовремя. В приемной послышались шаги, голоса, кашель, дверь распахнулась, движимая властной рукой, и в комнате появилась Тройка в полном составе — все четверо — плюс научный консультант профессор Выбегалло. Лавр Федотович Вунюков, ни на кого не глядя, проследовал на председательское место, сел, водрузил перед собой огромный портфель, с лязгом распахнул его и принялся выкладывать на зеленое сукно предметы, необходимые для успешного председательствования: номенклатурный бювар

крокодиловой кожи, набор шариковых авторучек в сафьяновом чехле, коробку «Герцеговины Флор», зажигалку в виде триумфальной арки и призматический театральный бинокль.

Отставной полковник мотокавалерийских войск, брякнув медалями, устроился справа от Лавра Федотовича, высоко задрал седые брови и, придав таким образом своему лицу выражение бесконечного изумления и неодобрения, мирно заснул.

Рудольф же Архипович Хлебовводов, еще более пожелтевший и усохший за минувшие три часа, сел ошую Лавра Федотовича и принялся немедленно что-то шептать ему в ухо, бесцельно при этом бегая воспаленными, с желтизной глазами по углам комнаты.

Фарфуркис по обыкновению не сел за стол. Он демократически устроился на жестком стуле напротив коменданта, вынул толстую записную книжку в дряхлом переплете и сразу же сделал в ней пометку.

Никто из членов Тройки не обратил на нас, по-видимому, никакого внимания. А научный консультант профессор Выбегалло обратил. Он равнодушно оглядел нас, сдвинул брови, поднял на мгновение глаза к потолку, как бы пытаясь

припомнить, где это он нас видел, не то припомнил, не то не припомнил, уселся за свой столик и принялся деятельно готовиться к исполнению своих ответственных обязанностей. Перед ним появился первый том «Малой Советской Энциклопедии», затем второй том, затем третий, четвертый...

— Грррм, — произнес Лавр Федотович и обвел присутствие взглядом, проникающим сквозь стены и видящим насквозь. Все были готовы: полковник спал, Хлебовводов нашептывал, Фарфуркис сделал вторую пометку, комендант, похожий на школьника перед началом опроса, судорожно листал страницы дела, а Выбегалло положил перед собой шестой том. Что же касается представителей, то есть нас, то мы значения не имели. Я посмотрел на Эдика и поспешно отвернулся. Эдик был близок к полной деморализации — появление Выбегаллы его доконало.

— Вечернее заседание Тройки объявляю открытым, — сказал Лавр Федотович. — Следующий! Докладывайте, товарищ Зубо.

Комендант вскочил и, держа перед собой раскрытую папку, начал было высоким голосом: «Машкин Эдельвейс Захарович...», но его тут же перебил бдительный Фарфуркис.

— Протестую! — крикнул он, обращаясь к Лавру Федотовичу. — Где порядковый номер дела? Почему не поименованы пункты?

Лавр Федотович повернул голову и некоторое время рассматривал коменданта.

— Правильное обобщение, верное, — произнес он наконец. — Поименуйте, товарищ Зубо.

Комендант с бумажным шорохом облизнул сухим языком сухие губы и начал снова, но теперь уже голосом низким и как бы севшим:

— Дело номер сорок второе. Фамилия: Машкин. Имя: Эдельвейс. Отчество: Захарович...

— С каких это пор он Машкиным заделался? — брюзгливо спросил Хлебовводов. — Бабкин, а не Машкин! Бабкин Эдельвейс Петрович. Я с ним работал в одна тысяча девятьсот сорок седьмом году в Комитете по молочному делу. Эдик Бабкин, плотный такой мужик, сливки очень любил... И, кстати, никакой он не Эдельвейс, а Эдуард. Эдуард Петрович Бабкин...

Лавр Федотович медленно обратил к нему каменное лицо.

— Бабкин? — произнес он. — Не помню... Продолжайте, товарищ Зубо.

— Отчество: Захарович, — дергая щекой, повторил комендант. — Год и место рождения: тысяча

девятьсот первый, город Смоленск. Национальность...

— Э-дуль-вейс или Э-доль-вейс? — спросил Фарфуркис.

— Э-дель-вейс, — сказал комендант.

— Дивизия СС «Эдельвейс», — прошамкал сквозь дрему полковник.

— Национальность: белорус. Образование: неполное среднее общее, неполное среднее техническое. Знание иностранных языков: русский — свободно, украинский и белорусский — со словарем. Место работы...

Хлебовводов вдруг звонко шлепнул себя по лбу.

— Да нет же! — закричал он. — Он же помер!

— Кто помер? — деревянным голосом спросил Лавр Федотович.

— Да Бабкин этот! Я же как сейчас помню — в одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом году помер он от инфаркта. Был он тогда финдиректором Всероссийского общества испытателей природы, пришел, значит, в свой кабинет, сел и помер. Так что тут какая-то путаница.

Лавр Федотович взял бинокль и некоторое время изучал коменданта, потерявшего дар речи.

— Факт смерти у вас отражен? — осведомился

он.

— Христом богом... — пролепетал комендант. — Какой смерти?.. Да почему же смерти?.. Да живой он, в приемной дожидается...

— Одну минуточку, — вмешался Фарфуркис. — Вы разрешите, Лавр Федотович? Товарищ Зубо, кто дожидается в приемной? Только точно. Фамилия, имя, отчество.

— Бабкин! — с отчаянием сказал комендант. — То есть, что я говорю? Не Бабкин — Машкин! Машкин дожидается. Эдельвейс Захарович.

— Понимаю, — сказал Фарфуркис. — А где Бабкин?

— Бабкин помер, — сказал Хлебовводов авторитетно. — Это я вам точно могу сказать. В одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом. Правда, у него сын был. Пашка, по-моему. Павел, значит, Эдуардович. Я его недавно встречал. Заведует он сейчас магазином текстильного лоскута в Голицыне, что под Москвой. Толковый работяга, но кажется, не Павел все-таки, не Пашка, нет...

Я налил стакан воды и передал коменданту. В наступившей тишине было слышно, как комендант гулко глотает. Лавр Федотович размял и продул папиросу.

— Никто не забыт и ничто не забыто, — про-

изнес он. — Это хорошо. Товарищ Фарфуркис, я попрошу вас занести в протокол, в констатирующую часть, что Тройка считает полезным принять меры к отысканию сына Бабкина Эдуарда Петровича на предмет выяснения его имени. Народу не нужны безымянные герои. У нас их нет.

Фарфуркис закивал и принялся быстро строчить в записной книжке.

— Вы напились, товарищ Зубо? — осведомился Лавр Федотович, разглядывая коменданта в бинокль. — Тогда продолжайте докладывать.

— Место работы и профессия в настоящее время: пенсионер-изобретатель, — нетвердым голосом прочел комендант. — Был ли за границей: не был. Краткая сущность необъясненности: эвристическая машина, то есть электронно-механическое устройство для решения инженерных, научных, социологических и иных проблем. Ближайшие родственники: сирота, братьев и сестер нет.

— Позвольте, — сказал Фарфуркис. — А отец, а мать?

— Сирота, — проникновенно пояснил комендант.

— И всегда был сирота? Смешно. Я протестую.

— Он в приюте воспитывался, — сказал ко-

мендант.

— Откуда это следует?

— Ну, он мне рассказывал.

— Прошу занести в протокол, — торжественно сказал Фарфуркис. — Комендант оперирует недокументированными данными.

— Адрес постоянного местожительства: Новосибирск, улица Щукинская, 23, квартира 88. Все.

— Все? — переспросил Лавр Федотович.

— Все ли? — саркастически осведомился Фарфуркис.

— Все! — решительно сказал комендант и утерся рукавом.

— Какие будут предложения? — спросил Лавр Федотович, приспустив тяжелые веки.

— Па-а машинам! — взревел вдруг полковник, не просыпаясь. — Пики перед себя! Заво-о-ди! Рысью... арш-арш!

Всем нам это очень понравилось, и даже бледный до синевы Эдик немного ожил. Однако, кроме нас, на полковника никто больше внимания не обратил.

— Я бы предложил впустить, — сказал Хлебовводов. — Я почему предлагаю? А вдруг это Пашка?

— Других предложений нет? — спросил Лавр

Федотович. Он пошарил по столу, ища кнопку, не нашел и сказал коменданту: — Пусть дело войдет, товарищ Зубо.

Комендант опрометью кинулся к двери, высунулся и тотчас вернулся, пятясь, на свое место. Следом за ним, перекосившись набок под тяжестью огромного черного футляра, вкатился сухопарый старичок в толстовке и в военных галифе с оранжевым кантом. По дороге к столу он несколько раз пытался прекратить движение и с достоинством поклониться, но футляр, обладавший, по-видимому, чудовищной инерцией, неумолимо нес его вперед, и, может быть, не обошлось бы без жертв, если бы мы с Романом не подхватили старичка в полуметре от затрепетавшего уже Фарфуркиса. Я сразу узнал этого старичка — он неоднократно бывал в нашем институте, и во многих других институтах он тоже бывал, а однажды я видел его в приемной заместителя министра тяжелого машиностроения, где он сидел первым в очереди, терпеливый, чистенький, пылающий энтузиазмом. Старичок он был неплохой, безвредный, но, к сожалению, не мыслил себя вне научно-технического творчества.

Я забрал у него тяжеленный футляр и водру-

зил изобретение на демонстрационный стол. Освобожденный наконец старичок поклонился и сказал дребезжащим голоском:

— Мое почтение. Машкин Эдельвейс Захарович, изобретатель.

— Не он, — сказал Хлебовводов вполголоса. — Не он и не похож. Надо полагать, совсем другой Бабкин. Однофамилец, надо полагать.

— Да-да, — согласился старичок, улыбаясь. — Принес вот на суд общественности. Профессор вот товарищ Выбегалло, дай ему бог здоровья, порекомендовал. Готов демонстрировать, ежели на то будет ваше желание, а то засиделся я у вас в Колонии неприлично...

Внимательно разглядывавший его Лавр Федотович отложил бинокль и медленно наклонил голову. Старичок засуетился. Он снял с футляра крышку, под которой оказалась громоздкая старинная пишущая машинка, извлек из кармана моток провода, воткнул один конец куда-то в недра машинки, затем огляделся в поисках розетки и, обнаружив, размотал провод и воткнул вилку.

— Вот, извольте видеть, так называемая эвристическая машина, — сказал старичок. — Точный электронно-механический прибор для отвечания на любые вопросы, а именно — на научные и

хозяйственные. Как она у меня работает? Не имея достаточно средств и будучи отфутболиваем различными бюрократами, она у меня пока не полностью автоматизирована. Вопросы задаются устным образом, и я их печатаю и ввожу таким образом к ей внутрь, довожу, так сказать, до ейного сведения. Отвечание ейное, опять через неполную автоматизацию, печатаю снова я. В некотором роде посредник, хе-хе! Так что, ежели угодно, прошу.

Он встал за машинку и шикарным жестом перекинул тумблер. В недрах машинки загорелась неоновая лампочка.

— Прошу вас, — повторил старичок.

— А что это там у вас за лампа? — подозрительно спросил Фарфуркис.

Старичок ударил по клавишам, потом быстро вырвал из машинки листок бумаги и рысцой поднес его Фарфуркису. Фарфуркис прочитал вслух:

— «Вопрос: что у нея... гм... у нея внутре за лпч?» Лэпэчэ... Кэпэдэ, наверное? Что еще за лэпэчэ?

— Лампочка, значит, — сказал старичок, хихикая и потирая руки. — Кодируем помаленьку. — Он вырвал у Фарфуркиса листок и побежал обратно к своей машинке. — Это, значит, был вопрос, — произнес он, загоняя листок под валик.

— А сейчас посмотрим, что она ответит...

Члены Тройки с интересом следили за его действиями. Профессор Выбегалло благодушно-отечески сиял, изысканными и плавными движениями пальцев выбирая из бороды какой-то мусор. Эдик пребывал в спокойной, теперь уже полностью осознанной тоске. Между тем старичок бодро постучал по клавишам и снова выдернул листок.

— Вот, извольте, ответ.

Фарфуркис прочитал:

— «У мене внутре... гм... не... неонка». Гм. Что это такое — неонка?

— Айн секунд! — воскликнул изобретатель, выхватил листок и вновь побежал к машинке.

Дело пошло. Машина дала безграмотное объяснение, что такое неонка, затем она ответила Фарфуркису, что пишет «внутре» согласно правил грамматики, а затем...

ФАРФУРКИС: Какой такой грамматики?

МАШИНА: А нашей русской грмтк.

ХЛЕБОВВОДОВ: Известен ли вам Бабкин Эдуард Петрович?

МАШИНА: Никак нет.

ЛАВР ФЕДОТОВИЧ: Грррм... Какие будут предложения?

МАШИНА: Признать мене за научный факт.

Старик бегал и печатал с неимоверной быстротой. Комендант восторженно подпрыгивал на стуле и показывал мне большой палец. Витька, развалившись, гыгыкал, как в цирке.

ХЛЕБОВВОДОВ (*раздраженно*): Я так работать не могу. Чего он взад-вперед мотается, как жесть на ветру?

МАШИНА: Ввиду стремления.

ХЛЕБОВВОДОВ: Да уберите вы от меня ваш листок! Я вас ни про чего не спрашиваю, можете вы это понять?

МАШИНА: Так точно, могу.

До Тройки наконец дошло, что, если они хотят кончить когда-нибудь сегодняшнее заседание, им надлежит воздержаться от вопросов, в том числе и от риторических. Наступила тишина. Старичок, который основательно умаялся, присел на краешек кресла и, часто дыша полуоткрытым ртом, вытирался платочком. Выбегалло горделиво озирался.

— Есть предложение, — тщательно подбирая слова, сказал Фарфуркис. — Пусть научный консультант произведет экспертизу и доложит нам свое мнение.

Лавр Федотович поглядел на Выбегаллу и ве-

личественно наклонил голову. Выбегалло встал. Выбегалло любезно осклабился. Выбегалло прижал правую руку к сердцу. Выбегалло заговорил.

— Эта... — сказал он. — Неудобно, Лавр Федотович, может получиться. Как-никак, а же суизан рекомендатель сет нобль вё26. Пойдут разговоры... эта... кумовство, мол, протексион... А между тем случай очевидный, достоинства налицо, рационализация... эта... осуществлена в ходе эксперимента... Не хотелось бы подставлять под удар доброе начинание, гасить инициативу народа. Лучше будет что? Лучше будет, если экспертизу произведет лицо незаинтересованное... эта... постороннее. Вот тут среди представителей наблюдается товарищ Привалов Александр Иванович... (Я вздрогнул.) Компетентный товарищ по электронным машинам. И незаинтересованный. Пусть он. Я так полагаю, что это будет ценно.

Лавр Федотович взял бинокль и начал поочередно нас рассматривать. Я был в смятении. Витька гыгыкал уже совершенно неприлично. Роман толкал меня локтем, а Эдик умоляюще шептал: «Саша, надо! Дай им! Такой случай!»

— Есть предложение, — сказал Фарфуркис, — просить товарища представителя оказать содействие работе Тройки.

Лавр Федотович отложил бинокль и дал согласие. Теперь все смотрели на меня. Я бы, конечно, ни за что не стал впутываться в эту историю, если бы не старичок. Сет нобль вё хлопал на меня красными веками столь жалостно, и весь вид его являл такое очевидное обещание век за меня бога молить, что я не выдержал. Я неохотно встал и приблизился к машине. Старичок радостно мне улыбался. Витька елозил ногами от восторга. Я осмотрел агрегат и сказал:

— Ну хорошо... Имеет место пишущая машинка «ремингтон» выпуска тысяча девятьсот шестого года в сравнительно хорошем состоянии. Шрифт дореволюционный, тоже в хорошем состоянии. — Я поймал умоляющий взгляд старикашки, вздохнул и пощелкал тумблером. — Короче говоря, ничего нового данная печатающая конструкция, к сожалению, не содержит. Содержит только очень старое...

— Внутре! — прошелестел старичок. — Внутре смотрите, где у нее анализатор и думатель...

— Анализатор... — сказал я. — Нет здесь анализатора. Серийный выпрямитель — есть, тоже старинный. Неоновая лампочка обыкновенная. Тумблер. Хороший тумблер, новый. Та-ак... Еще имеет место шнур. Очень хороший шнур, совсем

новый... Вот, пожалуй, и все.

— А вывод? — живо осведомился Фарфуркис.

Эдик ободряюще мне кивал, а Витька с Романом одновременно показали мне, как надлежит делать хук справа в челюсть. Я дал им понять, что постараюсь.

— Вывод, — сказал я. — Описанная машинка «ремингтон» в соединении с выпрямителем, неоновой лампочкой, тумблером и шнуром не содержит ничего необъясненного.

— А я? — вскричал старичок.

Роман с Витькой показали мне хук слева, но этого я не мог.

— Нет, конечно... — промямлил я. — Проделана большая работа... (Эдик схватился за виски.) Я, конечно, понимаю... добрые намерения... (Роман смотрел на меня с презрением.) Ну, в самом деле, — сказал я, — человек старался... нельзя же так... («Кретин, — отчетливо произнес Витька, — Годзилла...») Нет... Ну что ж... Ну пусть человек работает, раз ему интересно... Я только говорю, что необъясненного ничего нет... А вообще-то даже остроумно...

— Какие будут вопросы к врио научного консультанта? — осведомился Лавр Федотович.

Уловив вопросительную интонацию, старичок

взвился и рванулся было к своей машине, но я удержал его, обхватив за талию.

— Да-да, — сказал Фарфуркис. — Придержите его, а то тяжело работать, в самом деле. Все-таки у нас здесь не вечер вопросов и ответов.

— Правильно! — подхватил Хлебовводов, а старикашка все бился и рвался у меня из рук, так что я ощущал себя жандармом на задании. — И вообще, выключите ее пока, нечего ей подслушивать.

Высвободив одну руку, я щелкнул тумблером, лампочка погасла, и старичок сейчас же затих.

— А вот все-таки у меня есть вопрос, — продолжал Хлебовводов. — Как же это она все-таки отвечает?

Я обалдело воззрился на него. Роман и Витька мрачно веселились. Эдик пришел в себя и теперь, жестко прищурившись, разглядывал Тройку. Выбегалло был доволен. Он извлек из бороды длинную щепку и вонзил ее между зубами.

— Выпрямители там, тумбы разные, — говорил Хлебовводов, — это нам товарищ врио все довольно хорошо объяснил. Одного он нам не объяснил: фактов он нам не объяснил. А имеется непреложный факт, что когда задаешь ей вопрос, то получаешь тут же ответ. В письменном виде. И даже когда не ей, а кому другому задаешь вопрос,

все равно обратно же получаешь ответ. А вы говорите, товарищ врио, ничего необъясненного нет. Не сходятся у вас концы с концами. Непонятно нам, что же говорит по данному поводу наука.

Наука в моем лице потеряла дар речи. Хлебовводов меня сразил, зарезал он меня, убил и в землю закопал. Зато Выбегалло отреагировал немедленно.

— Эта... — сказал он. — Так ведь я и говорю, ценное же начинание! Элемент необъясненности имеется, порыв снизу... Почему я и рекомендовал. Эта... — сказал он старику. — Объясни, мон шер, товарищам, что тут у тебя к чему.

Старичок словно взорвался.

— Высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы! — провозгласил он. — Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания...

У меня потемнело в глазах. Рот наполнился хиной, заболели зубы, а проклятый нобль вё все говорил и говорил, и речь его была гладкой и плавной, — это была хорошо составленная, вдумчиво отрепетированная и уже неоднократно произнесенная речь, в которой каждый эпитет, каждая

интонация были преисполнены эмоционального содержания, это было настоящее произведение искусства, и, как всякое настоящее произведение искусства, речь эта облагораживала слушателя, делала его мудрым и значительным, преображала и поднимала его на несколько ступенек выше. Старик был никаким не изобретателем — он был художником, гениальным оратором, достойнейшим из последователей Демосфена, Цицерона, Иоанна Златоуста. Шатаясь, я отступил в сторону и прислонился лбом к холодной стене...

...Они внимательно слушали. Слушал седой полковник, пристально глядя из-под клочковатых бровей, и в полусумраке торжественно и грозно блестело золотое шитье его мундира, и тускло отсвечивали тяжелые гроздья орденов. Слушал Лавр Федотович, опустив на руки мощный череп, ссутулив широкие плечи, обтянутые черным бархатом мантии. Хлебовводов слушал, подавшись вперед, весь собранный в хищном напряжении, стиснув узорные подлокотники большими белыми руками, прижав грудью к краю стола массивную платиновую цепь. А Фарфуркис слушал задумчиво, откинувшись на спинку кресла, уставив неподвижный взгляд в низкий сводчатый потолок.

Изобретатель уже давно замолчал, но все оставались неподвижны, словно продолжали вслушиваться в глубокую средневековую тишину, мягким бархатом повисшую под скользкими сводами. Потом Лавр Федотович поднял голову и встал.

— По закону и по всем правилам я должен был бы говорить последним, — начал он. — Но бывают случаи, когда законы и правила оборачиваются против своих адептов, и тогда приходится отбрасывать их. Я начинаю говорить первым, потому что мы имеем дело как раз с таким случаем. Я начинаю говорить первым, потому что не могу ждать и молчать. Я начинаю говорить первым, потому что не ожидаю и не потерплю никаких возражений...

Теперь слушал изобретатель, — неподвижный, как изваяние, рядом со своим Големом, рядом со своим чудовищным железным Оракулом, во чреве которого медленно возгорались и гасли угрюмые огни.

— Мы — гардианы науки, — продолжал Лавр Федотович, — мы — ворота в ее храм, мы — беспристрастные фильтры, оберегающие от фальши, от легкомыслия, от заблуждений. Мы охраняем посевы знаний от плевел невежества и ложной

мудрости. И пока мы делаем это, мы не люди, мы не знаем снисхождения, жалости, лицеприятия. Для нас существует только одно мерило: истина. Истина отдельна от добра и зла, истина отдельна от человека и человечества, но только до тех пор, пока существуют добро и зло, пока существуют человек и человечество. Нет человечества — к чему истина? Никто не ищет знаний, значит — нет человечества, и к чему истина? Есть ответы на все вопросы, значит — не надо искать знаний, значит — нет человечества, и к чему же тогда истина? Когда поэт сказал: «И на ответы нет вопросов», — он описал самое страшное состояние человеческого общества — конечное его состояние... Да, этот человек, стоящий перед нами, — гений. В нем воплощено и через него выражено конечное состояние человечества. Но он убийца, ибо он убивает дух. Более того, он страшный убийца, ибо он убивает дух всего человечества. И потому нам больше не можно оставаться беспристрастными фильтрами, а должно нам вспомнить, что мы — люди, и как людям нам должно защищаться от убийцы. И не обсуждать должно нам, а судить! Но нет законов для такого суда, и потому должно нам не судить, а беспощадно карать, как карают охваченные ужасом. И я, старший здесь, нарушая

законы и правила, первый говорю: смерть!

— Смерть человеку и распыление машине, — хрипло сказал полковник.

— Смерть — человеку... — медленно и как бы с сожалением проговорил Хлебовводов. — Распыление — машине... и забвение всему этому казусу. — Он прикрыл глаза рукой.

Фарфуркис выпрямился в кресле, глаза его были зажмурены, толстые губы дрожали. Он открыл было рот и поднял сжатый кулачок, но вдруг помотал головой и капризно произнес:

— Ну, товарищи... ну куда это мы с вами заехали, в самом деле? Нельзя же так...

— Гррrм, — произнес Лавр Федотович, ворочая шеей.

Хлебовводов, смутно видимый в сгустившихся сумерках, сунулся носом в большой клетчатый платок и проговорил невнятно:

— Свет зажечь, что ли, пора? Засиделись мы нынче.

Комендант сейчас же сорвался с места и включил свет. Все зажмурились, а мотокавалерийский полковник всхрапнул и проснулся.

— Как? — произнес он дребезжащим голосом. — Уже? Я за то, чтобы это продвинуть... продвинуть. Мотокавалерия все решает. Пики... шашки...

клиренс подходящий... Засекается на левую заднюю, но это устранимо... устранимо... Так что мое мнение — продвинуть.

— Грррм, — сказал Лавр Федотович и уставился мертвым взглядом в «ремингтон». — Выражая общее мнение, постановляю: данное дело номер сорок второе считать рационализированным. Переходя к вопросу об утилизации, предлагаю товарищу Зубо огласить заявку.

Комендант принялся торопливо листать дело, а тем временем профессор Выбегалло выбрался из-за своего стола, с чувством пожал руку сначала старикашке, а затем, прежде чем я успел увернуться, и мне тоже. Он сиял. Я не знал, куда деваться. Я не смел оглянуться на ребят. Пока я тупо размышлял, не запустить ли мне «ремингтоном» в Лавра Федотовича, меня схватил старикашка. Он, как клещ, вцепился мне в шею и троекратно поцеловал, оцарапав щетиной. Не помню, как я добрался до своего стула. Помню только, что Витька сказал мне: «Дубина прекраснодушная». Роман вытер мне нос платком, а Эдик шепнул: «Эх, Саша! Ну ничего, с кем не бывает...»

Между тем комендант перелистал все дело и жалобным голосом сообщил, что на данное дело заявок не поступало. Фарфуркис тотчас заявил

протест и процитировал статью инструкции, из которой следовало, что рационализация без утилизации есть нонсенс и может быть признана действительной лишь условно. Хлебовводов начал орать, что эти штучки не пройдут, что он деньги даром получать не желает и что он не позволит коменданту отправить коту под хвост четыре часа рабочего времени. Лавр Федотович с видом одобрения продул папиросу, и Хлебовводов взыграл еще пуще.

— А вдруг это родственник моему Бабкину? — вопил он. — Как это так — нет заявок? Должны быть заявки! Вы только поглядите, старичок какой! Фигура какая самобытная, интересная! Как это мы будем такими старичками бросаться?

— Народ не позволит нам бросаться старичками, — заметил Лавр Федотович. — И народ будет прав.

— Вот именно! — рявкнул вдруг Выбегалло. — Именно народ! И именно... эта... не позволит, значить! Как же это нет заявок, товарищ Зубо? На Черный Ящик у вас заявочка есть? Есть! Как же вы говорите, что нет?

Я обомлел.

— Погодите! — сказал я, но меня никто не слушал.

— Так это же не Черный Ящик! — кричал комендант, истово прижимая к груди руки. — Черный Ящик совсем по другому номеру проходит!

— Как это так не черный? — кричал в ответ Выбегалло, размахивая обшарпанным черным футляром от «ремингтона». — Какой же он, по-вашему, ящик-то? Зеленый, может быть? Или белый? Дезинформацией занимаетесь, народными старичками бросаетесь?

Комендант жалобно выкрикивал, что это, конечно, тоже черный ящик, не зеленый и не белый, явно черный, но не тот ящик-то, тот черный ящик проходит по делу под номером девяносто седьмым, и на него заявка имеется, вот товарища Привалова Александра Ивановича заявка, а этот черный ящик — и не ящик вовсе, а эвристическая машина, и проходит она по делу под номером сорок вторым, и заявки на нее нет. Выбегалло орал, что нечего тут... эта... жонглировать цифрами и бросаться старичками, что черное есть черное, оно не белое и не зеленое, и нечего тут, значить, махизьм разводить и всякий эмпириокритицизьм, а пусть вот товарищи члены авторитетной Тройки сами посмотрят и скажут, черный это ящик или, скажем, зеленый. Проснувшийся от шума полковник выкатил глаза и отдал приказ

взять повод, переменить потники и врубить третью скорость. Витька оглушительно свистел в два пальца, Роман с Эдиком кричали: «Долой!» — а я, как испорченный граммофон, только твердил: «Мой Черный Ящик — это не ящик... Мой Черный Ящик — это не ящик...»

Наконец до Лавра Федотовича дошло ощущение некоторого непорядка.

— Грррм! — сказал он, и все стихло. — Затруднение? Товарищ Хлебовводов, устраните.

Хлебовводов твердым шагом подошел к Выбегалле, взял у него из рук футляр и внимательно осмотрел его.

— Товарищ Зубо, — сказал он. — На что ты имеете заявку?

— На Черный Ящик, — уныло сказал комендант. — Дело номер девяносто седьмое.

— Я тебя не спрашиваю, какое номер дело, — возразил Хлебовводов. — Я тебя сейчас спрашиваю, ты на черный ящик заявку имеете?

— Имею, — признался комендант.

— Чья заявка?

— Товарища Привалова из НИИЧАВО. Вот он сидит.

— Да, — страстно сказал я, — но мой Черный Ящик — это не ящик... точнее — не совсем

ящик...

Однако Хлебовводов внимания на меня не обратил. Он посмотрел футляр на свет, потом приблизился к коменданту и зловеще произнес:

— Ты что же бюрократию разводите? Ты что же, не видите, какого оно цвета? На твоих же глазах рационализацию произвели, вот товарищ представитель от науки на твоих глазах сидит, ждет, понимаете, выполнения заявки, ужинать давно пора, на дворе темно, а ты что же — номерами здесь жонглируете?

Я чувствовал, что на меня надвигается какая-то тоска, что будущее мое заполняется каким-то унылым кошмаром, непоправимым и совершенно иррациональным. Но я не понимал, в чем дело, и только продолжал жалко бубнить, что мой ящик — это не совсем ящик, а точнее, совсем не ящик. Мне хотелось разъяснить, рассеять недоразумение. Комендант тоже бубнил что-то убедительное, но Хлебовводов, погрозив ему кулаком, уже возвращался на свое место.

— Ящик, Лавр Федотович, черный, — с торжеством доложил он. — Ошибки никакой быть не может, сам смотрел. И заявка имеется, и представитель присутствует.

— Это не тот ящик! — хором проныли мы с

комендантом, но Лавр Федотович, тщательно изучив нас в бинокль, обнаружил, по-видимому, в обоих какие-то несообразности и, сославшись на мнение народа, предложил приступить к немедленной утилизации. Возражений не последовало, все ответственные лица кивали, даже спящий полковник.

— Заявку! — воззвал Лавр Федотович.

Моя заявка легла перед ним на зеленое сукно.

— Резолюция!!

На заявку пала резолюция.

— *Печать*!!!

С лязгом распахнулась дверь сейфа, пахнуло затхлой канцелярией, и перед Лавром Федотовичем засверкала медью Большая Круглая Печать. И тогда я понял, что сейчас произойдет. Все во мне умерло.

— Не надо! — просипел я. — Помогите!

Лавр Федотович взял Печать обеими руками и занес над заявкой. Собравшись с силами, я вскочил на ноги.

— Это не тот ящик! — завопил я в полный голос. — Да что же это... Ребята!

— Одну минуту, — сказал Эдик. — Остановитесь, пожалуйста, и выслушайте меня.

Лавр Федотович задержал неумолимое движе-

ние и обратил свой мертвенный взгляд на Эдика.

— Посторонний? — осведомился он.

— Никак нет, — тяжело дыша, сказал комендант. — Представитель.

— Тогда можно не удалять, — произнес Лавр Федотович и возобновил было процесс приложения Большой Круглой Печати, но тут оказалось, что возникло затруднение. Что-то мешало Печати приложиться. Лавр Федотович сначала просто давил на нее, потом встал и навалился всем телом, но приложения все-таки не происходило — между бумагой и печатью оставался зазор, и величина его слабо зависела от усилий товарища Вунюкова. Можно было подумать, что зазор этот заполнен каким-то невидимым, но чрезвычайно упругим веществом, препятствующим приложению. Лавр Федотович, видимо, осознал тщету своих стараний, сел, положил руки на подлокотники и строго, хотя и без всякого удивления, посмотрел на Печать. Печать неподвижно висела сантиметрах в двадцати над моей заявкой.

Казнь откладывалась, и я снова начал воспринимать окружающее. Эдик что-то горячо и красиво говорил о разуме, об экономической реформе, о добре, о роли интеллигенции и о государственной мудрости присутствующих.

Присутствующие слушали его внимательно, но с неудовольствием, а Хлебовводов при этом ерзал и поглядывал на часы. Роман и Витька застыли в каких-то нелепых и даже жутких позах, — я даже подумал сначала, что их, обоих разом, разбил радикулит: оба они были потные, над Витькой столбом поднимался пар, а более слабый в коленках Роман тихонько постанывал и кряхтел от напряжения. Они держали Печать, милые друзья мои! Спасали меня, дурака и слюнтяя, от беды, которую я сам накачал себе на голову... Надо было что-то делать. Надо было что-то немедленно предпринимать.

— В-седьмых, наконец, — рассудительно говорил Эдик, — любому специалисту, а тем более такой авторитетной организации, должно быть ясно, товарищи, что так называемый Черный Ящик есть не более чем термин теории информации, ничего общего не имеющий ни с определенным цветом, ни с определенной формой какого бы то ни было реального предмета. Менее всего Черным Ящиком можно называть данную пишущую машинку «ремингтон» вкупе с простейшими электрическими приспособлениями, которые можно приобрести в любом электротехническом магазине, и мне кажется

странным, что профессор Выбегалло навязывает авторитетной организации изобретение, которое изобретением не является, и решение, которое может лишь подорвать ее авторитет...

— Я протестую, — сказал Фарфуркис. — Во-первых, товарищ представитель нарушил здесь все правила ведения заседания, взял слово, которое ему никто не давал, и вдобавок еще превысил регламент. Это раз. (Я с ужасом увидел, что Печать колыхнулась и упала на несколько сантиметров.) Далее, мы не можем позволить товарищу представителю порочить наших лучших людей, очернять заслуженного профессора и официального научного консультанта товарища Выбегаллу и обелять имеющий здесь место и уже заслуживший одобрение Тройки черный ящик. Это два. (Печать провалилась еще на несколько сантиметров. У Витьки громко, на всю комнату, хрустнули позвонки.) Наконец, товарищ представитель, надо бы вам знать, что Тройку не интересуют никакие изобретения. Объектом работы Тройки является необъясненное явление, в качестве какового в данном случае и выступает уже рассмотренный и рационализированный черный ящик, он же эвристическая машина.

— Это же до ночи можно просидеть, — оби-

женно добавил Хлебовводов, — ежели каждому представителю слово давать.

Печать вновь осела. Зазор был теперь не более десяти сантиметров.

— Это не тот черный ящик, — сказал я и проиграл два сантиметра. — Мне не нужен этот ящик! (Еще сантиметр.) Я протестую! На кой мне черт эта старая песочница с «ремингтоном»? Я жаловаться буду!

— Это ваше право, — великодушно сказал Фарфуркис и выиграл еще сантиметр.

Эдик снова заговорил. Он взывал к теням Ломоносова и Эйнштейна, он цитировал передовицы центральных газет, он воспевал науку и наших мудрых организаторов, но все было вотще. Лавра Федотовича это затруднение наконец утомило, и, прервавши оратора, он произнес только одно слово:

— Неубедительно.

Раздался тяжелый удар. Большая Круглая Печать впилась в мою заявку.

Глава третья

Мы покинули комнату заседаний последними. Мы были подавлены. Роман кряхтел и растирал натруженную поясницу. Витька, черный от злобы и усталости, шипел сквозь зубы: «Слюнтяи, мармеладчики, культуртрегеры, маменькины сыночки... Хватать и тикать, а не турусы разводить!..» Эдик вел меня под локоть. Он тоже был расстроен, но держался спокойно. Вокруг нас, увлекаемый инерцией своего агрегата, вился старикашка Эдельвейс. Он нашептывал мне слова вечной любви, обещал ноги мыть и воду пить и требовал подъемных и суточных. Эдик дал ему три рубля и велел зайти послезавтра. Эдельвейс выпросил еще полтинник за вредность и исчез. Тогда мне стало полегче, и я обнаружил, что Витька и Роман тоже исчезли.

— Где Роман? — спросил я слабым голосом.

— Отправился ухаживать, — ответил Эдик.

— Господи, — сказал я. — За кем?

— За дочкой некоего товарища Голого.

— Понятно, — сказал я. — А Витька?

Эдик пожал плечами.

— Не знаю, — сказал он. — По-моему, Витя на-

мерен сделать большую глупость.

— Он хочет их убить? — спросил я с восхищением.

Эдик разуверил меня, и мы вышли на улицу. Федя уже ждал нас. Он поднялся со скамеечки, и мы втроем, рука об руку, пошли вдоль улицы Первого Мая.

— Устали? — спросил Федя.

— Ужасно, — сказал Эдик. — Я и говорить устал, и слушать устал, и вдобавок еще, кажется, сильно поглупел. Вы не замечаете, Федя, как я поглупел?

— Нет еще, — сказал Федя застенчиво. — Это обычно становится заметно через час-другой.

Я сказал:

— Хочу есть. Хочу забыться. Пойдемте все в кафе и забудемся. Закатим пир. Вина выпьем. Мороженого...

Эдик был «за», Федя тоже не возражал, хотя никогда не пил вина и не понимал мороженого. Народу на улицах было много, но никто не слонялся по тротуару, как это обычно бывает в городах летними вечерами. Китежградцы, напротив, тихо, культурно сидели на своих крылечках и молча трещали семечками. Семечки были арбузные, подсолнечные, тыквенные и дынные, а крылечки были резные с узорами, резные с фигу-

рами, резные с балясинами и просто из гладких досок — знаменитые китежградские крылечки, среди которых попадались и музейные экземпляры многовековой давности, взятые под охрану государством и обезображенные тяжелыми чугунными досками, об этом свидетельствующими. На задах крякала гармонь — кто-то, что называется, пробовал лады.

Эдик с интересом расспрашивал Федю о жизни в горах, Федя, с самого начала проникшийся к вежливому Эдику большой симпатией, отвечал охотно.

— Хуже всего, — рассказывал Федя, — это альпинисты с гитарами. Вы не можете себе представить, как это страшно, Эдик, когда в ваших родных, тихих горах, где шумят одни лишь обвалы, да и то в известное заранее время, вдруг над самым ухом кто-то зазвенит, застучит и примется рычать про то, как «нипупок» вскарабкался по «жандарму» и «запилил по гребню» и как потом «ланцепупа пробило на землю»... Это бедствие, Эдик. У нас некоторые от этого болеют, а самые слабые даже умирают...

— У меня дома клавесин есть, — продолжал он мечтательно. — Стоит у меня там на вершине клавесин, на леднике. Я люблю играть на нем в

лунные ночи, когда тихо и совершенно нет ветра. Тогда меня слышат собаки в долине и начинают мне подвывать. Право, Эдик, у меня слезы навертываются на глаза, так это получается хорошо и печально. Луна, звуки в просторе несутся, и далеко-далеко воют собаки...

— А как к этому относятся ваши товарищи? — спросил Эдик.

— Их в это время никого нет. Остается обычно один мальчик, но он мне не мешает. Он хроменький... Впрочем, это вам не интересно.

— Наоборот, очень интересно.

— Нет-нет... Но вы, наверное, хотели бы узнать, откуда у меня клавесин. Представьте себе: его занесли альпинисты. Они ставили какой-то рекорд и обязались втащить на нашу гору клавесин. У нас на вершине много неожиданных предметов. Задумает, например, альпинист подняться к нам на мотоцикле — и вот у нас мотоцикл, хотя и поврежденный, конечно... Гитары попадаются, велосипеды, бюсты различные, зенитные пушки... Один рекордсмен захотел подняться на тракторе, но трактора не раздобыл, а раздобыл он асфальтовый каток. Если бы вы видели, как он мучился с этим катком! Как трудился! Но ничего у него не вышло, не дотянул до снегов. Метров

пятьдесят всего не дотянул, а то бы у нас был асфальтовый каток...

Мы подошли к дверям кафе, и Федя замолчал. На ярко освещенных ступенях роскошного каменного крыльца в непосредственной близости от турникета отирался Клоп Говорун. Он жаждал войти, но швейцар его не впускал. Говорун был в бешенстве и, как всегда, находясь в возбужденном состоянии, испускал сильный, неприятный для непьющего Федора запах дорогого коньяка «курвуазье». Я наскоро познакомил его с Эдиком, посадил в спичечный коробок и велел сидеть тихо, и он сидел тихо, но, как только мы прошли в зал и отыскали свободный столик, он сразу же развалился на стуле и принялся стучать по столу, требуя официанта. Сам он, естественно, в кафе ничего не ел и не пил, но жаждал справедливости и полного соответствия между работой бригады официантов и тем высоким званием, за которое эта бригада борется. Кроме того, он явно выпендривался перед Эдиком — он уже знал, что Эдик прибыл в Китежград лично за ним, Говоруном, в качестве его, Говоруна, работодателя.

Мы с Эдиком заказали себе яичницу по-домашнему, салат из раков и сухое вино. Федю в кафе хорошо знали и принесли ему сырого тер-

того картофеля, морковную ботву и капустные кочерыжки, а перед Говоруном поставили фаршированные помидоры, которые он заказал из принципа.

Съевши салат, я ощутил, что устал, как последняя собака, что язык у меня не поворачивается и что нет у меня никаких желаний. Кроме того, я поминутно вздрагивал, ибо в шуме публики мне то и дело слышались визгливые вскрики: «Ноги мыть и воду пить!..» и «У ей внутре!..» Зато прекрасно выспавшийся за день Говорун чувствовал себя бодрым, как никогда, и с наслаждением демонстрировал Эдику свой философический склад ума, независимость суждений и склонность к обобщениям.

— До чего бессмысленные и неприятные существа! — говорил он, озирая зал с видом превосходства. — Воистину только такие грузные жвачные животные способны под воздействием комплекса неполноценности выдумать миф о том, что они — цари природы. Спрашивается: откуда явился этот миф? Например, мы, насекомые, считаем себя царями природы по справедливости. Мы многочисленны, вездесущи, мы обильно размножаемся, а многие из нас не тратят драгоценного времени на бессмысленные заботы о потомстве.

Мы обладаем органами чувств, о которых вы, хордовые, даже понятия не имеете. Мы умеем погружаться в анабиоз на целые столетия без всякого вреда для себя. Наиболее интеллигентные представители нашего класса прославлены как крупнейшие математики, архитекторы, социологи. Мы открыли идеальное устройство общества, мы овладели гигантскими территориями, мы проникаем всюду, куда захотим. Поставим вопрос следующим образом: что вы, люди, самые, между прочим, высокоразвитые из млекопитающих, можете такого, чего бы хотели уметь и не умели бы мы? Вы много хвастаетесь, что умеете изготовлять орудия труда и пользоваться ими. Простите, но это смешно. Вы уподобляетесь калеке, который хвастает своими костылями. Вы строите себе жилища, мучительно, с трудом, привлекая для этого такие противоестественные силы, как огонь и пар, строите тысячи лет, и все время поразному, и все никак не можете найти удобной и рациональной формы жилища. А жалкие муравьи, которых я искренне презираю за грубость и приверженность к культу физической силы, решили эту простенькую проблему сто миллионов лет тому назад, причем решили раз и навсегда. Вы хвастаете, что все время развиваетесь и что

вашему развитию нет предела. Нам остается только хохотать. Вы ищете то, что давным-давно найдено, запатентовано и используется с незапамятных времен, а именно: разумное устройство общества и смысл существования. Вы называете нас, цимекс лектулариа, паразитами и толкуете друг другу, что это дурно. Но будем последовательны! Что есть паразит? Это слово происходит от греческого «параситос», что означает «нахлебник», «блюдолиз». Даже ваша наука называет паразитирующим тот вид, который существует на другом виде и за счет другого вида. Что ж, я с гордостью утверждаю: да, я паразит! Я питаюсь жизненными соками существ иного вида, так называемых людей. Но как обстоят дела с этими так называемыми людьми? Разве могли бы они заниматься своей сомнительной деятельностью или даже просто существовать, если бы по нескольку раз в день не вводили бы в свой организм живые соки не одного, а множества иных видов как животного, так и растительного царства? Глупцы и лицемеры бросают нам обвинение, что мы-де подкрадываемся к своей так называемой жертве, пользуясь темнотой и ее, жертвы, сонным и, следовательно, беспомощным состоянием. На эти ханжеские бредни я отвечаю просто: может быть,

мы убиваем свою жертву, прежде чем ввести ее соки в свой организм? Может быть, *мы* изобретаем все более и более утонченные способы такого убийства? Может быть, *мы* разработали и практикуем изуверские способы уродования своих жертв путем так называемого искусственного отбора для удобства их пожирания? Нет, не мы! Мы, даже самые дикие и нецивилизованные из нас, лишь позволяем себе урвать крошечную толику от щедрот, коими наделила вас природа. Однако вы идете еще дальше. Вас можно назвать *сверхпаразитами*, ибо никакой другой вид не додумался еще паразитировать на самом себе. Ваше начальство паразитирует на подчиненных, ваши преступники паразитируют на так называемых порядочных людях, ваши дураки паразитируют на ваших мудрецах. И это — цари природы!

Эдик слушал профессионально-внимательно, а Панург вдруг громко расхохотался и воскликнул, гремя бубенцами:

— Вот это отповедь, черт меня подери со всеми потрохами, включая аппендикс и двенадцатиперстную кишку! Осмелюсь добавить только, что Ода Нобунага был знаменитым воякой и тираном жестокости беспредельной, уродлив, как мартышка, и не терпел лжи. Всех, кто поступал не

в соответствии, он рубил в капусту на месте сам или отдавал на шинкование некоему Тоётоми Хидэёси, который тоже хорошо понимал в этом деле. «Правда ли, говорят, что я похож на обезьяну?» — спросил однажды Ода Нобунага своего приближенного, до которого давно добирался. Блюдолиз помертвел и опачкался, и Ода Нобунага уже взялся за рукоятку меча, но тут обреченный блюдолиз, движимый отчаянием, нашелся. «Да что вы, ваше превосходительство! — вскричал он. — Как можно! Наоборот, это обезьяна имеет несравненную честь походить на вас!» Что и привело свирепого диктатора в самое превосходное состояние духа.

— Я не понял этого намека, — с достоинством объявил Говорун, однако по лицу его скользнула тень многовекового застарелого ужаса перед зловещим призраком чудовищного указательного пальца, неумолимо надвигающегося с непреложностью рока.

— Я, конечно, слабый диалектик, — произнес Федя, покусывая кочерыжку великолепными зубами, — но меня воспитали в представлении о том, что человеческий разум — это высшее творение природы. Мы в горах привыкли бояться человеческой мудрости и преклоняться перед

нею, и теперь, когда я некоторым образом получил образование, я не устаю восхищаться той смелостью и тем хитроумием, с которым человек уже создал и продолжает создавать так называемую вторую природу. Человеческий разум — это... это... — Он помотал головой и замолк.

— Вторая природа! — ядовито сказал Клоп. — Третья стихия, четвертое царство, пятое состояние, шестое чудо света... Один крупный человеческий деятель мог бы спросить: зачем вам две природы? Загадили одну и теперь пытаетесь заменить ее другой... Я же вам уже сказал, Федор: вторая природа — это костыли калеки. Что же касается разума... Не вам бы говорить, не мне бы слушать. Сто веков эти бурдюки с питательной смесью разглагольствуют о разуме и до сих пор не могут договориться, о чем идет речь. В одном только они согласны все: кроме них, разумом никто не обладает. Если мысленным взором окинуть всю историю этой болтовни, легко увидеть, что так называемая теория мышления сводится к выдумыванию более или менее сложных терминов для обозначения явлений, которых человек не понимает. Так появляются *раздражимость, ощущение, инстинкты, рефлексы условные, рефлексы безусловные, первая сигнальная система,*

вторая сигнальная система... Теперь они обнаружили еще *третью*, ту самую, между прочим, которой мы, клопы, пользуемся с незапамятных времен. И ведь что замечательно! Если существо маленькое, если его легко отравить какой-нибудь химической гадостью или просто раздавить пальцем, то с ним не церемонятся. У такого существа, конечно же, инстинкт, примитивная раздражимость, низшая форма нервной деятельности... Типичное мировоззрение самовлюбленных имбецилов. Но ведь они же разумные, им же нужно все обосновать, чтобы насекомое можно было раздавить без зазрения совести! И посмотрите, Федор, как они это обосновывают. Скажем, земляная оса отложила в норку яички и таскает для будущего потомства пищу. Что делают эти бандиты? Они варварски крадут отложенные яйца, а потом, исполненные идиотского удовлетворения, наблюдают, как несчастная мать закупоривает цементом пустую норку. Вот, мол, оса — дура, не ведает, что творит, а потому у нее — инстинкты, слепые инстинкты, вы понимаете? — разума у нее нет, и в случае нужды допускается ее — к ногтю. Ощущаете, какая гнусная подтасовка терминов? Априорно предполагается, что целью жизни осы является размножение и охрана потомства, а

раз даже с этой, главной своей задачей она не способна толково управиться, то что же тогда с нее взять? У них, у людей, — космос-мосмос, фотосинтез-мотосинтез, а у жалкой осы — сплошное размножение, да и то на уровне примитивного инстинкта. Этим млекопитающим и в голову не приходит, что у осы богатейший духовный мир, что за свою недолгую жизнь она должна преуспеть — ей хочется преуспеть! — и в науках, и в искусствах, этим теплокровным и неведомых, что у нее просто ни времени, ни желания нет оглядываться на своих детенышей, тем более что это и не детеныши даже, а бессмысленные яички... Ну, конечно, у ос существуют правила, нормы поведения, мораль. Поскольку осы от природы весьма легкомысленны в делах продления рода, закон, естественно, предусматривает известное наказание за неполное выполнение родительских обязанностей. Каждая порядочная оса должна выполнить определенную последовательность действий: выкопать норку, отложить яички, натаскать парализованных гусениц и закупорить норку. За этим следят, существует негласный контроль, оса всегда учитывает возможность присутствия за ближайшим камешком инспектора-соглядатая. Конечно же, оса видит, что яички

у нее украли или что исчезли запасы питания! Но она не может отложить яички вторично, и она совсем не намерена тратить время на возобновление пищевых запасов. Полностью сознавая всю нелепость своих действий, она делает вид, что ничего не заметила, и доводит программу до конца, потому что менее всего ей улыбается таскаться по десяти инстанциям Комитета охраны вида... Представьте себе, Федор, шоссе, прекрасную гладкую магистраль от горизонта до горизонта. Некий экспериментатор ставит поперек дороги рогатку с табличкой «Объезд». Шофер догадывается, что это чьи-то глупые шутки, но, следуя правилам и нормам поведения порядочного автомобилиста, он сворачивает на обочину, трясется по кочкам, захлебывается в грязи и в пыли, тратит массу времени и нервов, чтобы снова выехать на то же шоссе двумястами метрами дальше. Почему? Да все по той же причине: он законопослушен, он не хочет таскаться по инстанциям ОРУДа, тем более что у него, как и у всякой осы, есть основания предполагать, что все это — ловушка и что вон в тех кустах сидит инспектор ГАИ с мотоциклом. А теперь представим себе, что неведомый экспериментатор ставил этот опыт, дабы установить уровень человеческого интеллекта, и что этот

экспериментатор — такой же самовлюбленный осел, как разрушитель осиного гнезда... Ха-ха-ха! К каким бы выводам он пришел!.. — Говорун в восторге застучал по столу всеми лапами.

— Нет, — сказал Федя. — Как-то у вас все упрощенно получается, Говорун. Конечно, когда человек ведет автомобиль, он не может блеснуть интеллектом...

— Точно так же, — перебил хитроумный Клоп, — как не блещет интеллектом оса, откладывающая яйца. Тут, знаете ли, не до интеллекта.

— Подождите, Говорун, — сказал Федя. — Вы все время меня сбиваете. Я хочу сказать... Ну вот, я и забыл, что хотел сказать... Да! Чтобы насладиться величием человеческого разума, надо окинуть взором все здание этого разума, все достижения наук, все достижения литературы и искусства. Вот вы пренебрежительно отозвались о космосе, а ведь спутники, ракеты — это великий шаг, это восхищает, и согласитесь, что ни одно членистоногое не способно к таким свершениям.

Клоп презрительно повел усами.

— Я мог бы возразить, что космос членистоногим ни к чему, — произнес он. — Однако и людям он тоже ни к чему, и поэтому об этом говорить не будем. Вы не понимаете простых вещей, Федор.

У каждого вида существует своя исторически сложившаяся, передающаяся из поколения в поколение мечта. Осуществление такой мечты и называют обычно великим свершением. У людей было две исконных мечты: мечта летать вообще, проистекшая из зависти к насекомым, и мечта слетать к Солнцу, проистекшая из невежества, ибо они полагали, что до Солнца рукой подать. Но нельзя ожидать, что у разных видов, а тем более классов и типов живых существ Великая мечта должна быть одна и та же. Смешно предполагать, чтобы у мух из поколения в поколение передавалась мечта о свободном полете, у спрутов — мечта о морских глубинах, а у нас — цимекс лектулариа — о Солнце, которого мы терпеть не можем. Каждый мечтает о том, что недостижимо, но обещает удовольствие. Потомственная мечта спрутов, как известно, — свободное путешествие по суше, и спруты в своих мокрых пучинах много и полезно думают на этот счет. Извечной и зловещей мечтой вирусов является абсолютное мировое господство, и, как ни ужасны методы, коими они в настоящее время пользуются, им нельзя отказать в настойчивости, изобретательности и способности к самопожертвованию во имя великой цели. А грандиозная мечта паукообразных?

Много миллионов лет назад они опрометчиво выбрались из моря на сушу и с тех пор мучительно мечтают снова вернуться в родную стихию. Вы бы послушали их песни и баллады о море! Сердце разрывается на части от жалости и сочувствия. В сравнении с этими балладами героический миф о Дедале и Икаре — просто забавная побасенка. И что же? Кое-чего они достигли, причем весьма хитроумным путем, ибо членистоногим вообще свойственны хитроумные решения. Они добиваются своего, создавая новые виды. Сначала они создали водобегающих пауков, потом пауков-водолазов, а теперь во весь ход идут работы над созданием вододышащего паука... Я уже не говорю о нас, клопах. Мы своего достигли давно, когда появились на свет эти бурдюки с питательной смесью... Вы понимаете меня, Федор? Каждому племени своя мечта. Не надо хвастаться достижениями перед своими соседями по планете. Вы рискуете попасть в смешное положение. Вас сочтут глупцами те, кому ваши мечты чужды, и вас сочтут жалкими болтунами те, кто свою мечту осуществил уже давно.

— Я не могу вам ответить, Говорун, — сказал Федя, — но должен признаться, что мне неприятно вас слушать. Во-первых, я не люблю, когда

хитрой казуистикой опровергают очевидные вещи, а во-вторых, я все-таки тоже человек.

— Вы — снежный человек. Вы — недостающее звено. С вас взятки гладки. Вы даже, если хотите знать, несъедобны. А вот почему мне не возражают гомо сапиенсы, так сказать? Почему они не вступаются за честь своего вида, своего класса, своего типа? Объясняю: потому что им нечего возразить.

Внимательный Эдик пропустил этот вызов мимо ушей. Мне было что возразить, но я промолчал, потому что видел, что Федя расстроен и хочет говорить.

— Нет уж, позвольте мне, — сказал он. — Да, я снежный человек. Да, нас принято оскорблять, нас оскорбляют даже люди, ближайшие наши родственники, наша надежда, символ нашей веры в будущее. Нет-нет, позвольте, Эдик, я скажу все, что думаю... Нас оскорбляют наиболее невежественные и отсталые слои человеческого рода, давая нам гнусную кличку «йети», которая, как известно, созвучна со свифтовским «йеху», и кличку «голуб-яван», которая означает не то «огромная обезьяна», не то «отвратительный снежный человек». Нас оскорбляют и самые передовые представители человечества, называя нас

«недостающим звеном», «человекообезьяной» и другими научно звучащими, но порочащими нас прозвищами. Может быть, мы действительно достойны некоторого пренебрежения. Мы медленно соображаем, мы слишком уж неприхотливы, в нас так слабо стремление к лучшему, разум наш еще дремлет. Но я верю, я знаю, что это *человеческий* разум, находящий наивысшее наслаждение в переделывании природы, сначала окружающей, а в перспективе — и своей собственной. Вы, Говорун, все-таки паразит. Простите меня, но я использую этот термин в научном смысле. Я не хочу вас обидеть, но вы паразит, и вы не понимаете, какое это высокое наслаждение — природа ведь бесконечна, и переделывать ее можно бесконечно долго. Вот почему человека называют царем природы. Потому, что он не только изучает природу, не только находит высокое, но пассивное наслаждение от единения с нею — он переделывает природу, он лепит ее по своей нужде, по своему желанию, а потом будет лепить по своей прихоти...

— Ну да! — сказал Клоп. — А покуда он, человек, обнимает некоего Федора за широкие волосатые плечи, выводит его на эстраду и предлагает некоему Федору изобразить процесс очелове-

чивания обезьяны перед толпой лузгающих семечки обывателей... Внимание! — заорал он вдруг. — Сегодня в клубе лекция кандидата наук Вялобуева-Франкенштейна «Дарвинизм против религии» с наглядной демонстрацией процесса очеловечивания обезьяны! Акт первый: «Обезьяна». Федор сидит у лектора под столом и талантливо ищется под мышками, бегая по сторонам ностальгическими глазами. Акт второй: «Человекообезьяна». Федор, держа в руках палку от метлы, бродит по эстраде, ища, что бы забить. Акт третий: «Обезьяночеловек». Федор под наблюдением и руководством пожарника разводит на железном противне небольшой костер, разыгрывая при этом ужас и восторг одновременно. Акт четвертый: «Человека создал труд». Федор с испорченным отбойным молотком изображает первобытного кузнеца. Акт пятый: «Апофеоз». Федор садится за пианино и наигрывает «Турецкий марш»... Начало лекции в шесть часов, после лекции новый заграничный фильм «На последнем берегу» и танцы!

Чрезвычайно польщенный Федя застенчиво улыбнулся.

— Ну конечно, Говорун, — сказал он растроганно. — Я же знал, что существенных разногласий

между нами нет. Конечно же, именно таким вот образом, понемножку, полегоньку разум начинает творить свои благодетельные чудеса, обещая в перспективе Архимедов, Ньютонов и Эйнштейнов. Только вы напрасно так уж преувеличиваете мою роль в этом культурном мероприятии, хотя я понимаю: вы просто хотите сделать мне приятное.

Клоп посмотрел на него бешеными глазами, а я хихикнул. Федя забеспокоился.

— Я что-нибудь не так сказал? — спросил он.

— Вы молодец, — сказал я. — Вы его так отбрили, что он даже осунулся. Видите, он даже фаршированные помидоры стал жрать от бессилия...

— Одно удовольствие вас слушать! — вскричал Панург. — Уши наливаются весенними соками и расцветают подобно розам. Цицероны! Клавдии-Публии-Аврелии! Что же касается великих ораторов, то Цицерон-младший, походивший на отца, по свидетельству Монтеня, только тем, что носил то же имя, в бытность свою римским градоначальником Бухары заметил однажды у себя на пиру некоего Цестия, затесавшегося среди вельмож. Трижды спрашивал Цицерон-младший у своего слуги имя этого незнакомого ему и незваного гостя и трижды, отвлекаемый хозяйскими

обязанностями, забывал сообщаемое имя. Наконец слуга, утомившись повторять одно и то же и желая утвердить в памяти господина имя Цестия, сказал: «Это Цестий, который, по слухам, считает свое красноречие значительно превосходящим красноречие вашего батюшки». И что же? Цицерон-младший взбесился и велел тут же на месте высечь Цестия, очень этому удивившегося...

— Должен вам сказать, Говорун, я слушаю вас с интересом, — сказал Эдик. — Я, конечно, вовсе не намерен вам возражать, потому что, как я рассчитываю, у нас впереди еще много диспутов по более серьезным вопросам. Я только хотел бы констатировать, что, к сожалению, в ваших рассуждениях слишком много человеческого и слишком мало оригинального, присущего лишь психологии цимекс лектулариа.

— Хорошо, хорошо! — с раздражением вскричал Клоп. — Все это прекрасно. Но, может быть, хоть один представитель гомо сапиенс снизойдет до прямого ответа на те соображения, которые мне позволено было здесь высказать? Или, повторяю, ему нечего возразить? Или, может быть, человек разумный имеет к разуму не большее отношение, чем очковая змея к широко распространенному оптическому устройству? Или у него нет аргумен-

тов, доступных пониманию существа, которое обладает лишь примитивными инстинктами?

У меня был аргумент, доступный пониманию, и я его с удовольствием предъявил. Я продемонстрировал Говоруну свой указательный палец, а затем сделал движение, словно бы стирая со стола упавшую каплю.

— Очень остроумно, — сказал Клоп, бледнея. — Вот уж воистину ответ на уровне высшего разума.

Федя робко попросил, чтобы ему объяснили смысл этой пантомимы, однако Говорун объявил, что все это вздор.

— Мне здесь надоело, — преувеличенно громко сообщил он, барски озираясь. — Пойдемте отсюда.

Я расплатился, и мы вышли на улицу, где остановились, решая, что делать дальше. Федя предложил навестить Спиридона, но Говорун запротестовал. Беседовать с теплокровными — это совсем не сахар, объявил он, но уж идти после этого пререкаться с головоногим моллюском — нет, от этого увольте, он уж лучше пойдет в кино. Нам стало его жалко — так он был потрясен и шокирован моим жестом, может быть, действительно несколько бестактным, — и мы

направились было в кино, но тут из-за пивного ларька на нас вынесло старикашку Эдельвейса. В одной руке он сжимал пивную кружку, а другой цеплялся за свой агрегат. Заплетающимся языком он выразил свою преданность науке и лично мне и потребовал сметных, высокогорных, а также покупательных на приобретение каких-то разъемов. Я дал ему рубль, и он вновь устремился за ларек.

Мы пошли в кино. Говорун все никак не мог успокоиться. Он бахвалился, задирал прохожих, сверкал афоризмами и парадоксами, но видно было, что ему крайне не по себе. Чтобы вернуть Клопу душевное равновесие, Эдик рассказал ему о том, какой гигантский вклад он, Клоп Говорун, может совершить в теорию Линейного Счастья, и прозрачно намекнул на мировую славу и на неизбежность длительных командировок за границу, в том числе и в экзотические страны. Душевное равновесие было восстановлено полностью. Говорун явно приободрился, посолиднел и, как только в кинозале погас свет, тут же полез по рядам кусаться, так что мы с Эдиком не получили от фильма никакого удовольствия: Эдик боялся, что Говоруна тихо раздавят по привычке, я же ждал безобразного скандала.

Глава четвертая

Витька этой ночью в гостинице не ночевал. Роман же пришел, по-видимому, очень поздно, и утром нам с Эдиком пришлось изгонять его из постели холодной водой. Мы наскоро позавтракали кефиром и огурцами. Я очень спешил, мне не терпелось увидеться с комендантом и прояснить свое теперешнее положение. Комендант мне благоволил: время от времени я помогал ему разбираться в путаных заключениях профессора Выбегаллы и вообще ему сочувствовал. Да и как было не сочувствовать? Жил-был человек, ничего такого не делал, никому особенно не мешал, работал комендантом общежития, достиг успехов, и вдруг вызвал его товарищ Голый, поругал за приверженность к религии и бросил на повышение — комендантом Колонии Необъясненных Явлений. Будь он помоложе да поначитанней, он, возможно, и развернулся бы там, но товарищ Зубо был не таков. Был он служака, и был он к тому же человеком повышенной брезгливости. «Погибаю я там, — жаловался он мне иногда. — Погибаю я там, Александр Иванович, со змеями этими бородатыми, вонючими, с этими каракатицами, с

пришельцами. Аппетит потерял я совсем, худею, жена брюки ушивает, и никакой же перспективы... Сегодня вот еще один паразит прилетел, лепечет чего-то не по-русски, каши не жрет, мяса не жрет, а употребляет он, оказывается, зубную пасту... Не могу я так больше. Жаловаться я хочу, не по закону это, до самого товарища Голого дойду...» Очень я ему сочувствовал.

Плачевное положение коменданта усугублялось историей с разумным дельфином Айзеком. Сам дельфин давно уже помер по невыясненным причинам, но дело его жило и причиняло неприятности. Жило оно вот почему. Во-первых, Айзек скончался, недоиспользовав отпущенные на него две тонны трески. Эта когда-то свежая треска висела на шее у несчастного коменданта, как жернов, и не было никакой возможности от нее избавиться. Комендант ел ее сам и всей семьей, приглашал гостей, кормил половину китежградских собак, несколько раз травился рыбным ядом, отравил насмерть свою лучшую свинью, но трески словно бы и не убавлялось.

Во-вторых, дело Айзека не прекращалось потому, что, пока акт о смерти ходил по инстанциям, из покойника набили чучело и передали китежградской школе в качестве наглядного пособия,

а между тем обстоятельства смерти вызвали в инстанциях некие подозрения, и акт вернулся с резолюцией произвести посмертное вскрытие на предмет уточнения упомянутых обстоятельств. С тех пор еженедельно комендант получал запрос: «Почему до сих пор не высланы результаты вскрытия?» — на что однообразно отвечал, что принимаются-де все меры к быстрейшему ответу на ваш исходящий такой-то. Треску невозможно было списать, потому что не списывали дельфина; дельфина же не списывали, потому что не состоялось вскрытие, а также потому, что Хлебовводов говорил о покойном Айзеке: «Мало ли что он помер? Мне плевать, что он помер. Я обещал его на чистую воду вывести, и я его выведу». Причина же хлебовводовского упорства состояла в том, что во время его первой встречи с Айзеком дельфин на слова Хлебовводова: «Чего тут с ним возиться — обыкновенная говорящая рыба, я про такую читал» — во всеуслышание на четырех европейских и двух азиатских языках назвал его говорящим идиотом.

Вот и сегодня утром комендант сидел за своим столом, погрузившись в безнадежное изучение распухшего от запросов дела Айзека.

— Пропадаю, — сообщил он, пожимая нам ру-

ки. — Пропадаю ни за грош. Если и сегодня не разрешат треску списать, — удавлюсь... А что же товарища Корнеева не видно? Дело ведь его нынче обсуждается, заявка его...

— Приболел, — соврал я.

— Запаздывает, — одновременно со мной соврал Роман.

— Гм, — соврал Эдик и покраснел.

— Да придет он, — сказал я. — Никуда не денется. Вы мне лучше скажите, товарищ Зубо, как мне теперь жить дальше?

Выяснилось, что ничего страшного не произошло. Старикашка Эдельвейс теперь, конечно, мой до самой смерти, от этого никуда не денешься. Но заявка моя не пропала. Как я Черный Ящик просил, так я Черный Ящик в конце концов и получу, надо только написать новую заявку, пометив ее задним числом. Других же заявок на дело девяносто седьмое нет и не предвидится, хотя, конечно, все в руках божьих: очень даже просто товарищ Вунюков или, скажем, товарищ Хлебовводов могут этот Ящик в какой-нибудь клуб передать или в столовую, а то и в распыл пустить...

Тут часы ударили девять, появилась Тройка, и мы заняли свои места. Несколько успокоенный, я пристроился за спиной Романа и написал новую

заявку. Потом Эдик тихонько организовал мне на заявке штемпельную печать, а Роман — круглую. Подпись Януса Полуэктовича я организовал сам. Когда с заявкой было покончено, я успокоился совершенно и принялся слушать.

Хлебовводов размахивал газетной вырезкой:

— ...Вот у меня насчет этого Айзека материал. Центральной прессой получен сигнал, что дельфин, оказывается, вовсе и не рыба. Этого я не понимаю. Живет в воде, хвост у него — и не рыба. А кто же это по-вашему — птица? Или, скажем, эта... петух какой-нибудь?

— Есть предложения? — благодушно осведомился Лавр Федотович.

— Есть, — сказал Хлебовводов. — Отложить до полного выяснения. Темный был покойничек человек, земля ему пухом. Много за ним еще, кроме трески этой, ой много, нюхом чую!

— Но ведь помер же он, — в сотый раз безнадежно проныл комендант. — Может, все-таки спишем его, а? Пускай за школой числится...

— Товарищ Зубо, — менторским тоном сказал Фарфуркис. — Вы напрасно испытываете наше терпение. Оно у нас безгранично. Мы вам уже объясняли, что Гомер, Шекспир и другие деятели науки тоже умерли, но по-прежнему продол-

жают оставаться загадкой для исследователя. Смерть не может считаться препятствием для исследовательской работы, а тем более для административно-исследовательской. Тройке не важно, жив объект или нет. Тройке важно установить, в какой мере он является или являлся необъясненным явлением.

— Ну хорошо, это дельфин, — сказал комендант. — А насчет трески мне как?

— И опять же мы готовы в сотый раз объяснить вам, что поскольку данный продукт документирован в качестве пищи для дела номер шестнадцать, то он и может быть списан либо по употреблении его этим делом, либо при списании этого дела.

— Ревизия же на носу! — рыдающим голосом проговорил комендант. — Найдут же у меня две тонны гнилой рыбы излишков...

— Да, — сочувственно сказал Фарфуркис. — Вам необходимо что-то предпринять.

— Может быть, мне другого дельфина купить? На свои, на заработанные... Кум говорил, в Москве такой магазин есть...

— Это ваше право, — сказал Фарфуркис. — Но вряд ли законно скармливать продукт, выписанный по делу номер шестнадцать, какому-то

иному дельфину, находящемуся вне компетенции Тройки.

— Куда же мне рыбу-то девать?

— Скормить ее делу номер шестнадцать, — ответил Фарфуркис.

Я поглядел на Эдика. Эдик был безмятежен. По-видимому, у него уже выработался иммунитет. Впрочем, дело было пустяковое.

— Гррм, — сказал Лавр Федотович. — Выражая общее мнение, предлагаю треску отложить до полного выяснения. Переходите к следующему делу, товарищ Зубо.

Комендант, сморкаясь и утирая слезы, склонился над папками. Следующим оказалось дело спрута Спиридона, и сонный Роман встрепенулся. Где-то в необозримом будущем Тройка должна была передать Спиридона ему, если не перебежит, конечно, дорогу какая-нибудь столовая или какое-нибудь ателье мод. Ничего нового сегодня услышать он не ожидал, но тем не менее стремился быть в курсе. Спиридоново дело тянулось уже больше года и рассматривалось еженедельно. Высокомерное древнее головоногое не желало являться на заседания Тройки и требовало, чтобы Тройка сама явилась к нему. Амбиция обеих сторон мешала разрешению конфликта, ибо речь

шла о том, кто кого переломит.

— Опять не явился, старый склочник, — с удовлетворением сказал Хлебовводов.

— Никак нет, — подтвердил комендант уныло.

— Нет, надо же, какая скотина, — продолжал Хлебовводов. — Семь ног у мерзавца, и не может явиться.

— Восемь, — поправил Фарфуркис.

— Почему это восемь? — оскорбился Хлебовводов. — Осьминог ведь, то есть о семи ногах. Что ты мне, в самом деле...

— У осьминога восемь ног, — мягко сказал Фарфуркис. — Он, собственно, восьминог, но «в» у него редуцировалось.

— Да бросьте вы, — сказал Хлебовводов. — Что ты, понимаешь, мне вкручиваете? Редуцировалось, медуцировалось... Не знаете — так и скажите! Вот пусть научный консультант объяснит... Товарищ научный консультант! Сколько у него ног? Семь или восемь?

Выбегалло не знал. Он осклабился, потянул себя за бороду и произнес:

— Эта... Ног сколько?.. Значить, се шарман илья кель кешоз де си мелодё...[27]

— Чего? — сказал Хлебовводов.

— Ту кампрандр се ту пардоне[28], — пояснил

Выбегалло, чувствуя себя на верном пути.

— Ага... — нерешительно сказал Хлебовводов. — Это мы, конечно, понимаем... латинский там, немецкий... Но вот хотелось бы уточнить, сколько все-таки у данного осьминога ног? Семь их все-таки или восемь?

— Десять, — сказал Роман.

Хлебовводов посмотрел на него ошарашенно.

— Шуточки шутите? — спросил он. — А между прочим, вы, товарищ представитель, на работе. Это вы дома своей жене шуточки шутите.

— Мне, товарищ Хлебовводов, шутить с вами не о чем, — холодно сказал Роман. — Вы задали консультанту вопрос, и, поскольку консультант находится в затруднении, я отвечаю вместо него. У спрута Спиридона десять ног.

— Иль фо фер де рестриксион![29] — важно сказал Выбегалло.

— Какие там рестриксионы, — сказал Роман грубо. — Се редикюль, ля камерад[30] профессор. Десять ног, а точнее говоря, не ног, а рук, поскольку спруты на щупальцах не ходят, а щупальцами хватают, как руками.

— Но ноги-то, ноги у него есть? — спросил Хлебовводов. — Ну хоть одна!

— Ничего не могу добавить, — сказал Роман.

— Одну минуточку, — сказал Фарфуркис. — Почему же в таком случае он называется осьминог?

— А Спиридон не осьминог. Спиридон — кальмар, мегатойтис.

— Ага, — сказал Фарфуркис. — Благодарю вас.

— А нам все равно, — злобно сказал Хлебовводов. — Руки там у него или что. В крайнем случае мог бы и на руках дойти. Не в кино же, на заседание... И вообще, какое нам дело? Мы его вызываем, он не приходит, а у нас не горит. У нас другой работы много. Кто там следующий?

— От Спиридона имеется заявление, — доложил комендант.

— Отказать, отказать! — сказал Хлебовводов.

— Гррrм, — произнес Лавр Федотович. — Товарищ Хлебовводов, у вас есть вопрос?

— Нет, — сказал Хлебовводов пристыженно. — Виноват.

— Народ желает знать все детали, — продолжал Лавр Федотович, глядя на Хлебовводова в бинокль. — Между тем отдельные члены Тройки, видимо, пытаются подменить общее мнение Тройки своим частным мнением. Однако народ говорит этим отдельным товарищам: не выйдет, товарищи!

Воцарилось почтительное молчание. Было

слышно, как Хлебовводов терзается угрызениями совести. Лавр Федотович опустил бинокль и приказал:

— Докладывайте, товарищ Зубо.

— Меморандум номер двенадцатый, — прочитал комендант. — Настоящим Полномочный посол Генерального содружества Гигантских древних головоногих свидетельствует свое искреннее уважение Председателю Тройки по рационализации и утилизации необъясненных явлений (сенсаций) Его превосходительству товарищу Вунюкову Лавру Федотовичу и имеет поставить его в известность о нижеследующем:

§ 1. Настоящий меморандум является двенадцатым в ряду документов идентичного содержания, отправленных Полномочным послом в адрес Его превосходительства.

§ 2. Полномочный посол до сего дня не получил ни уведомления о вручении, ни подтверждения о получении, ни адекватного ответа хотя бы на один из вышеупомянутых документов.

§ 3. Полномочный посол вынужден с сожалением констатировать установление нежелательной традиции, которая вряд ли может в дальнейшем способствовать нормальным отношениям между Высокими договаривающимися сторонами.

Допуская в связи с вышеизложенным, что предшествовавшие одиннадцать документов по тем или иным причинам не попали в сферу внимания Его превосходительства, Полномочный посол считает необходимым вновь информировать Его превосходительство о своих намерениях, вытекающих из его, Полномочного посла, обязанностей перед Генеральным содружеством, которое он имеет честь представлять:

§ 1. Полномочный посол намерен встретиться с представителями Министерства Иностранных Дел Высокой договаривающейся стороны в целях обсуждения процедуры вручения Министру Иностранных Дел своих верительных грамот.

§ 2. После упомянутого обсуждения Полномочный посол намерен вручить Министру Иностранных Дел Высокой

договаривающейся стороны свои верительные грамоты.

В интересах Высоких договаривающихся сторон и допуская, что предшествовавшие одиннадцать документов по тем или иным причинам не попали в сферу внимания Его превосходительства, Полномочный посол считает себя обязанным повторить свои предложения Его превосходительству:

§ 1. Полномочный посол желал бы встретиться с Его превосходительством для обсуждения средств и порядка доставки его, Полномочного посла, к месту встречи с представителями Министерства Иностранных Дел Высокой договаривающейся стороны.

§ 2. Время встречи с Его превосходительством Полномочный посол оставляет на усмотрение Его превосходительства.

§ 3. Что же касается места встречи, то, принимая во внимание физические и физиологические особенности организма Полномочного посла, было бы желательно провести встречу в нынешней резиденции Полномочного посла.

С совершеннейшим почтением остаюсь в ожидании решения Вашего превосходительства покорнейшим Вашим слугой,

Спиридон, Полномочный посол Генерального содружества Гигантских древних головоногих

— Все, — сказал комендант.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Какие будут предложения по существу дела?

— У меня предложение одно, — заявил Хлебовводов. — Лишить его, гада, пищевого довольствия. Пусть голодом посидит, а то сразу ведь видно, что издевается. Сколько раз было ему говорено, явись, мол, на заседание, а он одни только писульки пишет. Вот я и предлагаю: пусть-ка поголодает, образумится...

В этот момент Эдик, наскоро посовещавшись с Романом, решил в осуществление своей утопической программы морального преобразования членов Тройки попытаться извлечь на поверхность из глубины хлебовводовского сознания все, что там застряло разумного-доброго-вечного, но исторг только смутное видение селедочки под горчичным соусом и профессионально неразборчивый возглас: «Не держите двери, следующая

станция «Кропоткинская»!»

— Нет-нет, товарищ Хлебовводов, — возразил Фарфуркис. — Так нельзя. Что значит «не держите двери»? Двери для переговоров должны быть раскрыты. А вдруг он и в самом деле посол? Надо соблюдать дипломатическую осторожность. Другое дело, конечно, что он ведет себя несовместимо со своим званием и требует от Тройки действий, подрывающих наш престиж. Поставить его на место, конечно, необходимо. Надо написать ему, что Тройка не уполномочена вступать в какие бы то ни было отношения с Министерством Иностранных Дел, что задача Тройки — рационализировать и утилизировать необъясненные явления, а потому Спиридон есть для Тройки не более как дело номер шесть, обязанное предстать, скажем, в понедельник. А его дипломатические функции Тройку ни в какой мере не интересуют.

— Гррр м, — произнес Лавр Федотович. — Народ не располагает излишками бумаги для ведения переписки с необъясненными явлениями. С другой стороны, народ гостеприимен и хлебосолен. Выражая общее мнение, предлагаю товарищу Зубо еще раз на словах объяснить делу номер шестому всю несообразность его поведения. Пищевым довольствием обеспечивать по-преж-

нему. Других предложений нет? Вопросов к докладчику нет?

— Какого калибра? — рявкнул полковник.

Лавр Федотович взял бинокль и наставил на шутника. Однако полковник мирно спал, и Лавр Федотович, снизойдя к его слабости, пренебрег и успокоился.

— Продолжаем дневное заседание Тройки, — произнес он. — Следующий. Доложите, товарищ Зубо.

Роман, удостоверившись, что Спиридону до понедельника не угрожает опасность быть передану в кружок юных планеристов или пущену в распыл, что-то шепнул Эдику и на цыпочках вышел. Комендант раскрыл очередную папку и принялся докладывать:

— Дело номер шестьдесят четвертое. Фамилия...

— Постойте, — сказал Фарфуркис. — Почему шестьдесят четвертое? Должно быть семьдесят второе.

— Согласно протоколу, — устало сказал комендант.

— Согласно какому протоколу?

— Согласно протоколу вчерашнего вечернего заседания. Вот протокол.

Фарфуркис ознакомился с протоколом и сделал несколько пометок в своей записной книжке.

— Продолжайте, товарищ Зубо, — сказал Лавр Федотович.

— Фамилия: не установлена. Имя: не установлено. Отчество: не установлено...

— Протестую, — сказал Фарфуркис. — Что значит не установлено? Надо установить! В милицию обратиться, если потребуется...

— Запирается, сволочь, — сказал Хлебовводов кровожадно.

— Это из пришельцев, — вяло сказал комендант. — У них не всегда есть.

— Я категорически протестую! — закричал Фарфуркис, распаляясь и бешено листая свою книжку. — В инструкции сказано абсолютно четко! Параграф шестой главы четвертой части второй... Вот! «В случае, если необъясненное явление представляет собой живое существо, но по каким-то причинам собственное имя его не может быть установлено, надлежит в целях удобства регистрации и идентифицирования придать ему фамилию, имя и отчество по выбору и утверждению Тройки. Примечание: во избежание имперсонаций, злоупотреблений и диффамаций запрещается присваивать указанным живым

существам имена широко известных деятелей истории, литературы и искусства. Примерный список имен — см. “Приложение № 19”». Вы что, инструкции никогда не читали?

— Да! Не читал! — сказал комендант, распаляясь. — Это не мне инструкция, это вам инструкция! Мне ее и в руки не дают! А вы вот вечно не дослушаете... У меня вот приложение к анкете есть: «Краткое описание дела номер шестьдесят четвертого».

— Какое там еще описание, — сказал Фарфуркис, но вид имел смущенный и вновь листал записную книжку.

— Сами же на прошлом инструктаже велели: если нет у человека ФИО, пускай будет хоть описание. Вот товарищ Выбегалло и составило... Говорят, говорят, и сами не знают, что говорят...

— Эта... — решился вставить Выбегалло. — Фэ се ке дуа адвиенн се ки пурра31, значить...

— Затруднение? — мертвым голосом осведомился Лавр Федотович. — Товарищ Фарфуркис, устраните.

— Да, действительно, — признался Фарфуркис. — Я несколько поторопился с протестом. Дело в том, что я исходил из параграфа шестого, в то время как рассматриваемое дело подпадает под

параграф седьмой той же главы, где говорится: «В случае, если необъясненное явление представляет собой субстанцию, лишь с некоторой долей неопределенности могущую быть названной живым существом, то есть если самый факт идентификации необъясненного явления как живого существа представляет для Тройки какие-либо затруднения...» — вот тогда, товарищи, действительно надлежит именовать такое явление по номеру дела и прилагать к анкете краткое описание... Я снимаю свой протест.

— Устранили? — осведомился Лавр Федотович. — Продолжайте, товарищ Зубо.

— А что мне теперь продолжать? — спросил комендант. — Пункт четвертый продолжать или сначала описание?

— А какая разница? — опрометчиво ляпнул Хлебовводов, но тут же испугался и полез зачем-то под стол.

Фарфуркис бешено листал книжку в поисках указаний и — не находил. Полковник проснулся и тяжело задумался. Даже Выбегалло попытался задуматься, но от натуги у него пошла носом кровь, и ему стало не до того. Я поглядел на Лавра Федотовича и ощутил себя потрясенным. Лавр Федотович возвышался над всеми нами, как

некий бастион. Страшно было даже представить себе, какая титаническая мыслительная работа кипела сейчас за гранитным фасадом его спокойствия и невозмутимости. Пункт четвертый или описание? Описание или пункт четвертый? Это было не напускное спокойствие и не фальшивая невозмутимость. Это была беспредельная убежденность в том, что он один несет ответственность за все, убежденность, выкованная и отшлифованная десятилетиями работы на ответственных должностях.

— В инструкции нет соответствующих указаний, — обреченно произнес Фарфуркис.

Назревала трагедия, кошмарный беспрецедентный конфликт, разрешить который могло только чудо. И чудо свершилось.

— Доложите описание, — просто сказал Лавр Федотович.

И все ожило. Фарфуркис, просияв лицом, принялся делать пометки в протоколе. Хлебовводов вылез из-под стола и стал преданно смотреть на Лавра Федотовича. Полковник умиротворенно улыбнулся и снова заснул. Что же касается Выбегаллы, то он позволил себе дважды высморкаться, и притом таким образом, что произведенные им звуки могли быть легко восприняты и как

слова безудержного восхищения на французском диалекте. Мы с Эдиком горячо пожали друг другу руки.

— Описание дела номер шестьдесят четвертого, — прочитал комендант. — «Дело номер шестьдесят четыре представляет собой бурую полужидкую субстанцию объемом около десяти литров и весом в шестнадцать килограммов. Не пахнет. Вкус остался неизвестен. Принимает форму сосуда, куда налили. На гладкой поверхности принимает форму круглой лепешки толщиной до двух сантиметров. Если посыпать солью, корчится. Питается сахарным песком. Со временем не протухает. Способно восстанавливать изъятые из него массы». — Комендант отложил описание и вернулся к анкете. — Пункт четвертый. Год и место рождения: не установлены, но, вероятно, не на Земле...

— Вероятно! — саркастически сказал Фарфуркис. — Это вы нам потом все обоснуете, — сказал он Выбегалле, погрозив пальцем.

— Всенепременнейше! — бодро отозвался профессор Выбегалло. — Народ будет доволен!

— Национальность, — повысив голос, продолжал комендант. — Вероятно, пришелец. Образование: вероятно, высшее. Знание ино-

странных языков: вероятно, знает. Профессия и место работы в настоящее время: вероятно, пилот космического корабля. Был ли за границей: вероятно...

— То есть как? — вскинулся Хлебовводов. — То есть как это — вероятно?

— А так! — огрызнулся комендант. — Откуда мне знать? Может, он из Швеции сюда прибыл, он же не разговаривает...

— По-моему, бдительность у нас не на высоте, — сказал Хлебовводов. — Фарфуркис, занесите-ка ты, браток, на всякий случай в протокол: Хлебовводов, мол, напоминает коменданту о бдительности!

Комендант с ненавистью поглядел на него и продолжал:

— Краткая сущность необъясненности: неизвестное существо (возможно, вещество) с неизвестной планеты (возможно, с кометы) невыясненного химического состава и с принципиально неопределяемым уровнем интеллекта. Данные о ближайших родственниках отсутствуют, адрес постоянного местожительства неизвестен. Все.

— Ничего себе — все! — желчно хохотнув, сказал Хлебовводов. — Это был я директором конного парка номер два погрузо-разгрузочной конторы

номер девять в одна тысяча девятьсот пятьдесят втором году, и приходит ко мне один мерин. Я, говорит, мерин. Документов нет, языков не знает, имя тоже неизвестно. Мне бы его гнать в три шеи или в милицию сдать, а я его по неопытности принял, понимаешь: чего там, думаю, пускай, мерин ведь. А он через неделю жеребенка приносит — раз! Скрывается без следа — два! И еще пять мешков овса как корова языком слизнула... Вот тебе и мерин. А ты мне тут толкуете — неизвестно, мол, возможно, не обнаружено... Как дети, ей-богу!

— Да-да! — решительно сказал Фарфуркис. — Я тоже не удовлетворен. Это не работа, знаете ли. Коменданту простительно, но вы, товарищ Выбегалло, меня удивляете.

Выбегалло принял перчатку.

— Чем? Чем же это я вас удивляю, товарищ Фарфуркис? — осведомился он.

— Неубедительно составленным описанием, товарищ Выбегалло, вот чем! — сказал Фарфуркис.

— Отписка, а не описание получилась у вас, — добавил Хлебовводов. — Такое описание и я могу составить.

Тогда Выбегалло задрал бороду, плотоядно оглядел зарвавшихся критиканов, поддернул

манжеты и принялся потрошить.

Оказалось, что высокой науке, которую он имеет честь здесь представлять, не впервой отстаивать интересы народа от нападок профанов и дилетантов. Се пенибль ме селя фе дюбьен32. Он, профессор Выбегалло, связанный с народом пуповиной общего происхождения, никогда не считал для себя зазорным лично разоблачать происки и отражать наскоки. Он, профессор Выбегалло, считает своим долгом напомнить здесь некоторым отдельным товарищам, что наша наука не терпит очковтирательства, фактосочинительства и припискомании. Он, профессор Выбегалло, как человек может понять желание товарища Хлебовводова, чтобы дело номер шестьдесят четыре прилетело к нам, скажем, из ФРГ. Же превуа ля шер де пуль33. Тогда бы товарищ Хлебовводов мог с легкой душой составить себе небольшой политический капиталец, явившись инициатором передачи этого дела в совсем иные инстанции. Понятно ему, профессору Выбегалле, и желание товарища Фарфуркиса, чтобы дело было определенно признано веществом. Тогда бы товарищ Фарфуркис имел возможность отфутболить это дело в геологоразведочный институт и высвободить себе таким образом некоторое количество

народного времени для сомнительных похождений, не свидетельствующих о его высоком моральном уровне. Но наука в его, профессора Выбегаллы, лице с гневом отвергает столь безответственные методы работы с необъясненными явлениями. Если наука не имеет достаточных данных для утверждения, что дело номер шестьдесят четыре прибыло к нам, скажем, из ФРГ, то она, наука, на вопрос «Было ли дело за границей?» прямо и недвусмысленно отвечает: вероятно. Если для определения вещественности или существенности дела у науки не хватает фактов, то она, наука, не разводя парадности и шумихи, четко и предельно точно идентифицирует дело как «неизвестное существо, в скобках — возможно, вещество». Присутствующий здесь Лавр Федотович подтвердит, что давно прошли времена очковтирательства, фактосочинительства и приписокмании и что напрасны попытки отдельных членов Тройки повернуть колесо истории вспять. Ле марьяж се фо дан ле сье[34].

Поддавшись воздействию корпоративного духа, мы с Эдиком громко зааплодировали. Выбегалло раскланялся и сел.

Препарированный и выпотрошенный Хлебовводов счел в таких условиях за благо отступить

на исходные позиции, с коих он вновь принялся преданно глядеть на Лавра Федотовича. Хитроумный же Фарфуркис не сдавался. Тяжко страдая от полученных ран, он все же нашел в себе силы зайти с фланга и нанести ответный удар.

— Я хотел бы только подчеркнуть, — веско сказал он, — что мы не юннаты, что мы ответственность несем, что обязанность наша — рассматривать объекты необъясненные, а нам здесь предлагают к рассмотрению объект фактически неизвестный. Согласно же инструкции, — продолжал он, возвысив голос, — метод работы с неизвестным объектом должен быть принципиально иным, поскольку неизвестный объект может, в частности, оказаться самовозгорающимся, взрывчатым, ядоопасным или даже антропофагическим. Вот почему я категорически против рассмотрения дела сейчас, когда среди нас находится Лавр Федотович, жизнь которого представляет слишком большую ценность для того, чтобы мы имели право ею рисковать.

Все взгляды устремились на Лавра Федотовича. Лавр Федотович долго молчал, опустив веки, и дымил «Герцеговиной Флор». Затем он произнес:

— Народ...

— Да! Да! — подхватил Фарфуркис. — Вот имен-

но!

Однако Лавр Федотович словно бы и не слышал этого восклицания. Он поднес к глазам бинокль и несколько минут рассматривал по очереди коменданта и Выбегаллу. Спокойствие, с которым оба они ожидали начальственного решения, видимо, удовлетворило его.

— Народ ждет от нас подвига, — произнес он наконец, опуская бинокль. — Пусть дело войдет, товарищ Зубо.

Комендант засеменил к двери в приемную, а Лавр Федотович между тем извлек из портфеля противогазовую маску и положил ее на стол перед собой.

Комендант быстро вернулся, держа обеими руками большую стеклянную банку с делом номер шестьдесят четыре. Лицо у него было отчаянное, и мы с Эдиком его сразу поняли. Во-первых, банка была из-под соленых огурцов, максимум на пять литров, и куда девались остальные пять литров пришельца, было непонятно. Во-вторых, дело номер шестьдесят четыре было отчетливо синее, а вовсе не бурое, как следовало из описания. Ну, сейчас начнется, подумал я. И началось.

Комендант еще не поставил банку на демонстрационный стол, как Фарфуркис отчаянно

вскрикнул, выхватил из папки описание и впился в него глазами.

— Бурое! — закричал он. — Бурое! Что вы нам принесли, товарищ Зубо? Почему синее, когда бурое? Лавр Федотович! Синее, а не бурое! А по описанию — бурое, а не синее!..

Заседание взорвалось. Комендант изо всех сил бил себя в грудь кулаками и клялся, что утром еще было бурое, не знает он, почему оно посинело, само оно посинело, он его не красил и не подменял; Хлебовводов требовал акта и все твердил про обманщика-мерина; Фарфуркис звал прокурора, обвинял в подлоге и в попытке ввести в заблуждение ответственный орган. Лавр Федотович молча сидел в противогазе, время от времени отдирая пальцем край маски, чтобы подышать; а полковник проснулся и, как петух на насесте, что-то неразборчиво выкрикивал, ошалело крутя головой и рубая невидимого врага невидимой шашкой. Потом все утомились и замолкли, только комендант из последних сил хрипел истово: «Иисусом Христом нашим... сыном божиим... матерью его, пречистой девой Марией... не красил!» Наконец затих и он. В образовавшейся паузе словно из Мамонтовой пещеры густо прогудел голос Лавра Федотовича:

— Затруднение? Товарищ Фарфуркис, устраните.

Фарфуркис поправил галстук и произнес речь, из которой следовало, что подобные случаи предусмотрены инструкцией, а именно двенадцатым параграфом пятой главы четвертой ее части, где говорится черным по белому, что в случае изменения внешнего вида или даже внутренней структуры необъясненного явления надлежит составить акт по форме номер сто десять дробь два. Он продемонстрировал Лавру Федотовичу форму и с его согласия принялся было составлять акт, но тут обнаружилось, что при составлении акта исходным материалом должны служить: а) необъясненное явление в его настоящем виде и б) цветная его фотография (кинолента) в первоначальном виде. Поскольку запуганный комендант пребывал в полуобморочном состоянии, Фарфуркис сам полез в дело за фотографией (кинолентой) и немедленно обнаружил, что фотографии (киноленты) в деле нет.

— Где фотография? — страшным голосом спросил он, таким страшным, что комендант очнулся. — Где две цветные фотографии дела номер шестьдесят четыре размером девять на двенадцать?

Комендант лишь слабо шевелил губами.

— Да ведь он преступник, — сказал Фарфуркис безмерно удивленным тоном.

— Нет, — сказал комендант.

— Халатный саботажник! — сказал Фарфуркис, глядя на него с отвращением.

— Нет! — простонал комендант. — Иисусом Христом... двенадцатью святыми апостолами...

— Гнойный прыщ на лике местной администрации! — сказал Фарфуркис.

— Да нет же! — заорал комендант. — Я-то здесь при чем? Это Найсморк! Он, а не я. Он же отказался!

— То есть как отказался?

— Я ему говорю: фотографируй. А он не желает! Фотографируй, говорю. Нет, не фотографирует!.. Он же мне не подчиняется, он вам подчиняется!.. У меня и допуска нет...

— Найсморка ко мне! — глухо прогудел Лавр Федотович, и комендант кинулся вон из помещения.

— Не нравится мне этот Зубо, — сейчас же сказал Фарфуркис. — Скользкая какая-то личность.

— Свиней откармливает, — живо сообщил профессор Выбегалло.

— Это нам известно, — сказал Фарфуркис.

— Дочка его... эта... развелась.

— Тоже известно.

— Брагу варит...

— Варит, — признал Фарфуркис. — И торгует...

— Иконы у него в доме, — сказал Выбегалло. — Староверские. И библию он читает и конспектирует.

— Да? — сказал Фарфуркис. — Это интересно.

— Нузан савон келькешоз оси35, — самодовольно произнес Выбегалло.

Тут Хлебовводов, который давно уже сидел с отрешенным лицом, уставясь на банку с посиневшим делом, вдруг поднялся, приблизился к демонстрационному столу и обошел его кругом. Погиб комендант, подумал я. И точно: Хлебовводов взял банку в руки и взвесил ее на ладони.

— А ведь не будет здесь пуда, — сказал он. — Здесь, ежели хотите знать, и полпуда нет. То-то же я смотрю, что в описании сказано — десять литров, а банка мне хорошо знакомая, пятилитровая. Знаю я такие банки, всегда из них закусываю... А вот тут и этикетка есть... «Огурцы соленые... Емкость пять литров». Чувствуете, на что я намекаю? Чувствуете?

Лавр Федотович содрал с лица противогаз и нацелился биноклем на банку. Выбегалло даже пасть разинул от любопытства. Фарфуркис с

остервенением листал свою книжку, а я соображал, что теперь будет с комендантом: просто ли перевод с понижением или приклеют ему уголовщину. Жалко мне было коменданта. Симпатичный он был человек, хоть и дурак.

— И ведь еще ничего не известно, — сказал Хлебовводов, сосредоточенно нюхая дело. — Он, может быть, отлил, а потом водой разбавил... и вообще это, может быть, вода. Набросал туда синьки для крепости и думает, что дело в шляпе...

Дверь распахнулась, и в комнату, нагнув голову, ввалился, держа руки в карманах, длинный и тощий Найсморк. Прямо с порога он затянул, глядя в нижний дальний угол комнаты: «Ну чего еще... Опять придираетесь... Чего еще я вам не угодил...» Однако на него не обратили внимания. Все взгляды зловеще скрестились на бледном коменданте, который выглядывал из-за спины Найсморка и тоже ныл: «...Вот он пускай и отвечает, а я что... у меня и допуска нет...»

— Товарищ Зубо, — ровным голосом провозгласил Лавр Федотович, и все замерли. — Надлежит вам представить недостающие пять литров дела. Срок — четыре минуты.

Я подскочил к коменданту, подхватил его под мышки и выволок в приемную, где и уложил

на модных очертаний деревянную скамью для посетителей. Комендант был белее мрамора, глаза закачены, пульс не прощупывался. Я подложил ему под голову свою куртку, расстегнул ему воротник косоворотки и похлопал по щекам, дуя в лицо. Это не произвело на несчастного никакого впечатления, однако ясно было, что он не умирает, и, оставив его лежать, я заглянул в комнату заседаний. Мне было очень интересно, как выкрутится Найсморк.

А Найсморк выкручивался с блеском. Он загнал Хлебовводова и Фарфуркиса в угол, навис над ними двумя своими баскетбольными метрами и десятью сантиметрами и орал на них, как с трибуны:

— Я параграф двенадцатый знаю получше вашего! Я на нем крокодила съел, собакой закусил! Там сказано — анфас! По-русски понимаете? Анфас! Покажите мне, где у этого киселя анфас, и я его целый день снимать буду! Где у него анфас? Где? Ну где? Ну чего же молчите? Я самого господина Сукарно снимал! Я самого этого снимал... как его... ну, в шляпе еще все ходил! Я параграф двенадцатый наизусть!.. А если фаса нет? У господина Сукарно фас был нормальный! У этого... как его... фас был будь здоров, в три дня не обгадишь!

А у этого где?..

Хлебовводов и Фарфуркис уже не помышляли о нападении. Бегая глазами по сторонам, они только молча рвались из угла, толкаясь и топоча, как взволнованные лошади в загоне. Полковник от крика опять проснулся, и ему, видимо, спросонья тоже пришли в голову какие-то лошадиные аналогии — он ерзал в кресле и, жуя губами, пронзительно вскрикивал: «Взнуздывай! Взнуздывай!» Лавр Федотович, удобно развалившись в кресле, разглядывал все это в бинокль.

Я вернулся к коменданту и дал ему понюхать воды из графина для посетителей. Комендант тут же очнулся, но предпочел впредь до выяснения притворяться бесчувственным.

— Товарищ Зубо, — сказал я ему на ухо. — Ваше дело полуобморочное, лежите тут себе, а минут через пять-десять приходите и твердите одно: ничего, мол, не знаю, ничего не делал. А я все постараюсь устроить. Договорились?

Комендант слабо вздохнул в знак согласия. Он даже хотел что-то сказать, но тут дверь с треском распахнулась, и он снова притворился мертвым. Впрочем, это был всего лишь Найсморк. Он с наслаждением ахнул дверью, так что за обоями что-то просыпалось, и сообщил:

— Меня охрана топтала, когда я этого снимал... как его... и то ничего! Не на таковского напали! Где фас? Нет фаса! А нет фаса — нет фото! Будет фас — будет фото. Инструкция! — Он пренебрежительно поглядел на распростертого коменданта и сказал: — Слабак! Курица! Я таких пачками снимал. Закурить есть?

Я дал ему закурить, и он удалился, грохая всеми дверями по дороге. Я тоже закурил и, сделав две затяжки, вернулся в комнату заседаний. Полковник уже снова дремал. Фарфуркис, отдуваясь, листал записную книжку, а Хлебовводов что-то шептал на ухо Лавру Федотовичу. Завидя меня, он перестал шептать и спросил боязливо:

— Этот... фотограф... ушел?

— Да, — сказал я сухо.

— А комендант где? — грозно спросил Хлебовводов.

— У него печеночная колика, — сухо сказал я.

— Госпитализирован? — быстро спросил Фарфуркис.

— Нет, — сказал я.

— Тогда пусть войдет, пусть ответит! Это подсудное дело!

Я набрал в легкие побольше воздуха и начал:

— Мне непонятно, товарищи, что здесь про-

исходит. Мне непонятно, где я нахожусь. Это авторитетная комиссия или я не знаю что? Мы присутствуем при интересном научном явлении, которое развивается по имманентным ему законам, представляющим огромный научный интерес. Я вам удивляюсь, товарищ Выбегалло, на вашем месте я бы давно потребовал констатировать в протоколе, что здесь обнаружена несомненная корреляция между колориметрическими и контракционными характеристиками объекта... Как мы должны это понимать? — сказал я, обращаясь к Эдику.

— Мы должны понимать это так, — немедленно подхватил Эдик, — что резкое изменение объема и массы объекта, так называемая контракция, привело к изменению цвета, а возможно, и химического состава...

— Я прошу товарищей вдуматься в этот факт! — сказал я. — Особенно вот вас, товарищ Выбегалло. Мы обнаруживаем изменение цвета, не имея в своем распоряжении ни колориметра, ни спектрографа, ни... э-э...

— Ни даже простейшего термобарогелиоптера, — восторженно сказал Эдик. — Такого еще не бывало! Удивительный эффект, наблюдаемый простым глазом! А если учесть, что эффект этот

обнаруживается при комнатной температуре и при нормальном атмосферном давлении, то можно смело утверждать, что мы имеем дело с необъясненным явлением феноменальной ценности. Я должен подчеркнуть, что многие аспекты проблемы остались еще абсолютно не исследованными. Было бы чрезвычайно интересно изучить влияние контракции на вкусовые и магические свойства данной субстанции. Науке известны случаи, когда под влиянием контракции магодетерминант Иерусалимского менял знак на противоположный. Так, например, Роже де Понтреваль установил...

Пока Эдик, постепенно все более увлекаясь, излагал суть работ Роже де Понтреваля, я старался определить настроение присутствующих. Реакция Тройки казалась мне благоприятной: Лавр Федотович за бинокль не брался, Фарфуркис книжечку не листал, Хлебовводов слушал, отвесив челюсть, а полковник спал. Опасения мог внушать один лишь Выбегалло, который, по-видимому, все еще прикидывал, какие выгоды можно извлечь из создавшейся ситуации. Ему надо было помочь определиться, и, как только Эдик замолчал, я двинул в бой гвардию.

— Между прочим, мне еще неясно, — сказал я,

— должны ли мы рассматривать происшедшую здесь безобразную сцену как недоразумение, проистекающее из легкомыслия отдельных членов Тройки, или, может быть, как сознательную попытку отдельных членов Тройки замазать новооткрытый эффект и скрыть его от научной общественности. Такие случаи бывали, — закончил я гробовым голосом, сел, выхватил из кармана блокнот и изобразил несколько сверхчеловеческих профилей.

Было слышно, как на столе перед председателем умывается муха.

— Гррrм, — сказал Лавр Федотович. — Какие вопросы к докладчику?.. Нет вопросов? Какие предложения?

Было видно, что Выбегалло понял, с какой стороны масло на данном бутерброде. Однако он не торопился. Он встал, разгладил бороду, уперся растопыренными пальцами в тома «Малой Энциклопедии» и некоторое время смотрел поверх голов.

— Эта... — начал он. — Я уже тут неоднократно говорил, не знаю, в протокол меня занесли или нет, шумно было очень, говорил я уже, значить, что эффект колориметрической контракции до сих пор не обнаруживался, а мы его тут... эта...

обнаружили и свалили, значить, на коменданта, на... ле пувр Зубо... Не все, конечно, свалили, а некоторые отдельные... эта... далекие от науки. Я уже тут говорил, что рано, товарищи, дело номер шестьдесят четвертое рационализировать, а тем более, упаси бог, утилизировать. Дело, конечно, надо отложить, и отложить его надо на срок, который потребуется, а вот чего отложить нельзя, товарищи, чего мы с вами не имеем никакого права откладывать, так это вопроса о приоритете. Дан нотр позисьон нэ определенные де девуар[36]. И в данном случае наша девуар состоит в том, чтобы эффект назвать и... эта... сохранить для истории. А потому я категорически предлагаю ходатайствовать перед компетентными органами о присвоении этому эффекту имени товарища Вунюкова. Се ту се ке же ву ди[37].

Дальше все пошло как по маслу. Появился комендант, который, разумеется, подслушивал под дверью. Встретили его благосклонно, он твердил, что ничего не знает, что это дело научное, а у него только едва восемь классов за душой... а его уверяли, что все выяснилось, что нельзя же так, работа есть работа, бывают срывы, бывают отдельные ошибки. Фарфуркис пожал ему руку в знак извинения, Хлебовводов назвал братком, а

Лавр Федотович даже пошутил: «Была вам здесь сегодня баня, товарищ Зубо, так что посетите-ка вы сегодня баню!» Когда все отсмеялись, Лавр Федотович снова посуровел и произнес:

— Повестка заседания исчерпана. Я констатирую, что данное заседание, как и все предыдущие, происходило в деловой и рабочей атмосфере. Другие предложения будут? Нет? Тогда объявляю дневное заседание Тройки закрытым и предлагаю перейти к отдыху и обеду.

Он погрузил в портфель все свои председательские принадлежности, поднялся из-за стола и степенно двинулся к выходу. Хлебовводов и Выбегалло, сбив с ног зазевавшегося Фарфуркиса, кинулись, отпихивая друг друга, открывать ему дверь.

— Бифштекс — это мясо, — благосклонно сообщил им Лавр Федотович.

— С кровью! — преданно закричал Хлебовводов.

— Ну зачем же с кровью? — донесся голос Лавра Федотовича уже из приемной.

Мы с Эдиком распахнули все окна. С лестницы доносилось: «Нет уж, позвольте, Лавр Федотович... Бифштекс без крови, Лавр Федотович, — это хуже чем выпить и не закусить...» — «Наука полагает,

что... эта... с лучком, значить...» — «Народ любит хорошее мясо... например, бифштексы...»

— В гроб они меня вгонят, — озабоченно сказал комендант. — Погибель они моя, мор, глад и семь казней египетских...

— Товарищ Зубо, — сказал я сурово, — извольте объяснить, что же произошло на самом деле. Почему так мало пришельца? Почему он в этой банке?

— Ничего не знаю, ничего не делал, это эффект научный, — забарабанил комендант. Я прервал его.

— Товарищ Зубо, вы мне это прекратите, ведь Корнеев из вас душу вынет за эти штучки. Вы знаете Корнеева.

Комендант знал Корнеева. Он снова наладился было в обморок, но тут в комнату вернулся Фарфуркис. Тройка, как всегда, забыла за столом полковника. Фарфуркис разбудил его и увел, приговаривая: «Неужели трудно было проснуться вовремя? Старая вы песочница, в самом деле... Удивительно даже!»

— Ну? — сказал я, когда они удалились.

— Вы расскажите нам, пожалуйста, товарищ Зубо, — попросил вежливый Эдик. — Может быть, делу удастся помочь...

Комендант понурился.

— Нет, — сказал он. — Никак этому делу уже не поможешь. Кто разбил, не знаю, а только прихожу я сегодня утром готовить его к демонстрации, а горшок евонный, глиняный... ну, в котором он прилетел... лопнул, половина вытекла, лужа на полу, и дальше вытекает. Ну что мне было делать? Эх, думаю, семь бед — один ответ. Перелил я, что осталось, в эту банку — совру, думаю, что-нибудь, а может, и вовсе не заметят... Но это еще что! — В глазах его мелькнул пережитый ужас. — Бурый ведь он был, ребятки, переливал его — видел... А тут выхожу за банкой — мать моя мамочка — синий!.. Не-ет, вгонят они меня в гроб, сегодня бы уже и вогнали, если бы не вы, ребятки, благодетели мои...

Мы с Эдиком переглянулись.

— М-м? — спросил я.

— Ну что ты, — неуверенно сказал Эдик. — Не может быть... Вряд ли... Сомнительно что-то... Хотя...

Когда мы спускались по лестнице, он сказал:

— Вся беда в том, что это — Витька. Никогда нельзя угадать, на что он не способен...

Глава пятая

Вечернее заседание не состоялось. Официально нам было объявлено, что Лавр Федотович, а также товарищи Хлебовводов и Выбегалло отравились за обедом грибами и врач рекомендовал им всем до утра полежать. Однако дотошный комендант не поверил официальной версии. Он при нас позвонил в гостиничный ресторан и переговорил со своим кумом, метрдотелем. И что же? Выяснилось: за обедом Лавр Федотович и профессор Выбегалло, выступая против товарища Хлебовводова в практической дискуссии относительно сравнительных преимуществ прожаренного бифштекса перед бифштексом с кровью, стремясь выяснить на деле, какое из этих состояний бифштекса наиболее любимо народом и, следовательно, перспективно, скушали под коньячок и под пльзенское бархатное по четыре экспериментальные порции из фонда шеф-повара. Теперь им совсем плохо, лежат пластом и до утра, во всяком случае, на людях появиться не смогут.

Комендант ликовал, как школьник, у которого внезапно и тяжело заболел любимый учитель. Я — тоже. Один только Эдик остался недоволен.

Он как раз намеревался на вечернем заседании учинить очередной сеанс позитивной реморализации всей компании.

Мы купили по стаканчику мороженого, попрощались с комендантом и пошли к себе в гостиницу. По дороге на меня напал из-за угла старикашка Эдельвейс. Я дал ему рубль, но это не произвело на него обычного действия. Я отдал ему свое мороженое, но он не отставал. Материальные блага его больше не интересовали. Он жаждал благ духовных. Он требовал, чтобы я включился в качестве руководителя в работу по усовершенствованию и модернизации его эвристического агрегата и для начала составил бы развернутый план этой работы, рассчитанной на три года (пока он будет учиться в аспирантуре). Через пять минут беседы свет стал мраком перед моими глазами, горькие слова готовы были вырваться, и страшные намерения близились к осуществлению. Старикашку спас Эдик. «Такого рода работу, — вежливо, но твердо сказал он, — следовало бы начать с тщательного изучения литературы. Приходилось ли вам читать «Азбуку радиотехники» Кина?» Старику вообще не приходилось читать, и скрывать этого он не стал. «Прекрасно, — сказал я, возвращаясь к жизни. —

Немедленно запишитесь в библиотеку, возьмите там «Азбуку», «Геометрию» Киселева и что-нибудь по алгебре для восьмого класса. Прочтите и законспектируйте. До конца этой работы извольте меня не беспокоить». Старикашка спросил меня, что такое алгебра, и удалился, увлекаемый агрегатом, которому, видимо, надоело стоять спокойно.

Поднявшись в свой номер, мы обнаружили там следующее. Витька Корнеев, очень довольный, валялся в ботинках на моей койке и разглагольствовал о свободе воли. Роман, голый по пояс, сидел у окна, и Федя осторожно обмазывал ему алую распухшую спину какой-то желтой дрянью, распространяющей аптекарский запах. Клоп Говорун взобрался на стену и, зажав нос, с неодобрением на них поглядывал, ожидая случая вставить словечко-другое.

— А, работяги! — вскричал при виде нас Витька, дрыгнув ногами. — Прозаседавшиеся! Как здоровье многоуважаемого товарища Вунюкова? Как утилизировали дело номер шестьдесят четыре? Распили на четверых или вылили на помойку?

— Значит, это все-таки ты натворил? — сказал Эдик.

— Хватать и тикать, — ответил Витька. — Сто

раз я вам говорил.

— Убирайся с моей койки, — потребовал я.

— Я вам тысячу раз говорил, остолопам, — сказал Витька, перебираясь с моей койки на свою. — Нельзя ждать милостей от природы и бюрократии. Я, например, никогда не жду. Я выбираю подходящий момент, хватаю и рву когти. Но я знаю, что все вы чистоплюи и моралисты. Без меня вы бы здесь сгнили. Но я есть! И я сегодня все устрою. Эдельвейса я утоплю в канализации. Чего тебе еще нужно, Сашка? Черный Ящик тебе? Будет тебе Черный Ящик, я знаю, где он у них стоит... Теперь Амперян. Чего тебе нужно, Амперян? А, Клопа тебе? Давай сюда тару какую-нибудь...

С этими словами он схватил Говоруна за ногу и потащил со стены, но тот заорал таким ужасным голосом, что из соседнего номера к нам постучали и в грубых выражениях предложили прекратить безобразие. Витька отпустил Клопа, и Говорун, оскорбленно отодвинувшись, принялся массировать потревоженную ногу.

Витька понизил голос и начал рассказывать, как он нынче ночью проник по водопроводной трубе в павильон, где томился в своем керамическом снаряде Жидкий пришелец; как он долго не мог вскрыть контейнер, как он, наконец, несмот-

ря на кромешную тьму, расколол его взглядом над бидоном, позаимствованным в кладовке у коменданта («...у него там целое сырное производство, у кулака, даже сепаратор есть...»), как потом долго искал, что бы этакое налить в опустевший контейнер, пока не обнаружил в подвале ведро с какой-то бурдой... В Институт он трансгрессировался в два часа ночи, работал до обеда, как зверь, получил огромное удовольствие и кое-какие довольно пока скромные результаты, и вот он снова здесь, юный и свежий, как д'Артаньян, чья шпага всегда — к услугам друзей. Пришелец шлет всем приветы, утверждает, что только в Витькиной лаборатории почувствовал себя на Земле как дома, а бидон он, Витька, честно приволок обратно, потому что он, Витька, ученый, а не какой-нибудь паршивый домушник, и теперь намерен вскорости вернуть бидон владельцу, так что если кому-нибудь нужно что-нибудь хапнуть на территории Колонии, то ради бога, не стесняйтесь, он, Витька, готов.

Роман отнесся к этому рассказу, в общем, сочувственно, хотя слушал его уже второй раз и этот второй раз, по его словам, ничем не отличался от первого: то же хвастовство и те же сомнительные притязания на честность. Я не без восхищения

обозвал Витьку шпаной и уголовником. Эдик же явно расстроился и сказал, что это нечестно, что это свинство, что коменданта сегодня из-за Витьки чуть не довели до разрыва сердца, что это не метод, что Витька доиграется, что порядочные люди так не поступают и так далее.

Витька неприятно ухмыльнулся и спросил, а как же поступают порядочные люди. Он, Витька, очень интересуется узнать, что в такой ситуации обычно делают порядочные люди. Он, Витька, уже полмесяца ждет каких-нибудь порядочных результатов от действий порядочных людей. Может быть, порядочные люди все-таки снизойдут и просветят его, темного уголовного Витьку, как надлежит им, порядочным людям, поступать. Может быть, они даже поступят как-нибудь, наконец?

Эдик ответил, что да, порядочным человеком быть гораздо труднее, чем темным и уголовным. Действия порядочных людей всегда направлены на улучшение окружающего мира. Порядочные люди не могут испытывать удовлетворения, если им удалось достигнуть пусть даже самой благородной цели неблагородными средствами. Тем и труднее положение порядочного человека в сравнении с положением темного и уголовного,

но порядочный человек вынужден тщательно и придирчиво отбирать средства для достижения целей в каждом частном конкретном случае.

Витька ответил, что, по его наблюдениям, так называемые порядочные люди были всегда чрезвычайно сильны в теории. Но его, Витьку, сейчас меньше всего интересует теория, его интересует практическая деятельность порядочных людей. Уж не принуждают ли его, Витьку, рассматривать в качестве образца такой деятельности жалкий благотворительный спектакль, разыгранный товарищем Амперяном на вчерашнем вечернем заседании? («...Если уж взялся, так и довел бы до конца, чистоплюй; прикончили бы насильственно облагороженные стервятники насильственно облагороженного дурака Эдельвейса — было бы дело, а то один пшик и розовые сопли...»)

Эдик, сильно покраснев, заявил, что Корнеев решительно ничего не смыслит в методике позитивной реморализации, а потому его, Эдика, никак не задевает этот плоский, безграмотный выпад. Он, Эдик, и в дальнейшем намерен продолжать попытки довести Тройку до верхнечеловеческого уровня, и хотя он, Эдик, отнюдь не гарантирует стопроцентной удачи, он, Эдик, не видит пока другого пути существенного улучше-

ния данного участка мира. Он, Эдик, предвидит, однако, что дальнейшая дискуссия в таком тоне должна неизбежно выродиться в вульгарное препирательство, на которое Корнеев мастер, и поэтому он, Эдик, просит высказаться по существу дела как присутствующего здесь Александра Привалова, известного своей добротой и объективностью, так и присутствующего здесь Романа Ойру-Ойру, старшего из магистров.

Известный своей добротой и объективностью Александр Привалов в моем лице честно и прямо заявил, что вся эта проблема представляется ему надуманной, если, конечно, не считать небезынтересной, хотя и высказанной мимоходом, идеи относительно Эдельвейса и канализации. Он, добрый и объективный Привалов, ждет только субботы, когда Тройка будет рассматривать дело номер девяносто семь, надеется это дело выиграть и после этого покинет Китежград навсегда, унося в клюве Черный Ящик. А пока он намерен всеми разумными средствами выражать свою горячую заинтересованность деятельностью Тройки и присутствовать на всех без исключения заседаниях, дабы не упустить и тени шанса.

Старший из магистров к моменту своего выступления закончил холю ногтей, густо на-

пудрил воспаленные от бритья щеки и, развеся на трельяже все свои восемнадцать галстуков из тринадцати различных стран мира, решал задачу на оптимум. Он начал свое заявление с того, что все здесь правы, каждый по-своему, и, следовательно, все здесь не правы. Он, старший из магистров, всячески приветствует благородное намерение Э. Амперяна разоблачить членов Тройки в их собственных глазах и показать им, какими они могли бы быть, если бы не были такими, каковы они есть. Он, Роман, всегда считал, что позитивная реморализация является высшей формой воздействия человека на человека, но он же, Роман, считает необходимым напомнить, что далеко не всегда высшая форма воздействия является в то же время и наиболее эффективной. Он, Роман, всячески приветствует положительный фатализм А. Привалова, его, А. Привалова, нерушимую надежду на счастливый случай, ибо что бы там ни говорили, а счастливый случай есть необходимая компонента всех начинаний. Но он же, Роман (старший из магистров), напоминает, что в нашем реальном мире вероятность счастливого случая всегда была и остается значительно меньше вероятности любого другого. Наконец, действия В. Корнеева вызывают в нем,

Романе, чувство невольного восхищения, каковое чувство, впрочем, в значительной степени омрачается сознанием того, что указанные действия определенно лежат по ту сторону морали. Нет, он, старший из магистров, не знает общего решения поднятой здесь проблемы. Ему кажется совершенно естественным, что каждый из присутствующих ищет частное решение — в соответствии со своей духовной конституцией. Например, он, Роман, глядит сейчас в это вот зеркало и видит в нем смуглое худощавое лицо, сверкающие жгуче-черные глаза и чрезвычайно редкий в этих широтах, а потому дефицитный горбатый гасконский нос. Между тем у товарища Голого, администратора в высшей степени авторитетного и состоящего в приватном знакомстве с небезызвестным товарищем Вунюковым, имеется среди прочих детей любимая дочь на выданье по имени Ирина. Назвав имя, он, Роман, полагает, что сказал уже более чем достаточно и имеет только добавить, что товарищ Голый, насколько известно, никогда и ни в чем не отказывает товарищу Ирине; что товарищ Вунюков, по имеющимся сведениям, с большой охотой выполняет практически все просьбы товарища Голого; и что задача таким образом сводится лишь к созданию

ситуации, когда товарищ Ирина вознамерится выполнять все существенные просьбы товарища Романа, старшего из магистров. Пока в своем активе он, Роман, числит: три бессонных ночи, заполненных чтением наизусть поэта Гумилева; два кошмарных вечера, проведенных у товарища Голого в беседах о хорканье вальдшнепов и чуфыканье тетеревов; ежедневное мучительное бритье опасной бритвой; сожженную нынче днем на пляже спину и хроническую боль в лицевых мускулах — следствие непрекращающейся мужественной улыбки.

— Победа будет за мной, — заключил Роман, натягивая пиджак. — И тогда я вас не забуду, мои дорогие фаталисты, моралисты и уголовники!

Он сделал ручкой, построил на лице мужественную улыбку и вышел, посвистывая. Клоп, потеряв надежду самовыразиться, с независимым видом выскользнул за ним. Только сейчас я заметил, что Феди в комнате тоже нет. Федя был очень чуток к напряженности в отношениях и, вероятно, счел за благо удалиться, когда Витька начал орать на Эдика.

— Может, хватит трепаться? — сказал я утомленно. — Может, лучше пойдем прогуляемся?

— Я знаю только одно, — не обратив на меня

внимания, сказал Эдик. — Все, что ты говорил здесь, Виктор, ты никогда не осмелишься повторить ни Жиану Жиакомо, ни Федору Симеоновичу. И уж во всяком случае, ты никогда не расскажешь им, как тебе достался пришелец.

Это был удар большой жестокости и силы. Я даже поразился, как вежливый Эдик позволил себе это. Жиан Жиакомо и Федор Симеонович, учителя Витьки, принадлежали к предельно узкому кругу людей, которых Витька уважал, любил и вообще принимал во внимание.

Грубый Корнеев, только что нахально скаливший зубы в лицо Эдику, почернел, как удавленник. Он искал слов, грубых, оскорбительных слов, и не находил их. Тогда он стал искать грубые жесты. Он вскочил и пробежался по потолку. Потом он превратился в камень, полежал так, раздумывая, и, отыскав жест, вернул себе прежний вид. Он извлек из-под кровати комендантский бидон, аккуратно поставил его посередине комнаты, отошел в угол, разбежался и пнул бидон ногой с такой силой, что бидон исчез. Потом он оглядел нас желтыми глазами, крикнул: «Ну и пр-ропадайте тут, вегетарианцы!» — и исчез сам.

Несколько минут мы с Эдиком сидели молча. Говорить было не о чем. Затем Эдик тихонько

сказал:

— Я хотел бы осмотреть Колонию, Саша. Ты меня не проводишь?

— Пойдем, — сказал я. — Только я не буду бродить с тобой, ты сам все осмотришь. А то я обещал Спиридону кое-что почитать.

Эдик не возражал. Я взял папку с японскими материалами, и мы вышли в коридор. По коридору, заложив руки за спину, прогуливался Клоп Говорун, задумчиво прислушиваясь к каким-то своим ощущениям. Я сообщил ему, что иду к Спиридону.

— Да-да, — рассеянно отозвался он. — Обязательно.

— Так пошли? — предложил я.

— Я занят! — раздраженно сказал Клоп. — Разве вы не видите, что я занят? Идите к своему Спиридону, я потом к вам присоединюсь... Некоторые люди, — сказал он Эдику с любезной улыбкой, — бывают временами чрезвычайно бестактны.

Эдик вспомнил, видимо, замечание, которое он сделал Витьке, и совсем расстроился. До Колонии мы шли молча и около павильона, в котором жил Спиридон, расстались. Эдик сказал, что он посмотрит, как тут и что, а потом вернется сюда.

Под резиденцию Спиридону отвели бывший

зимний бассейн. В низком помещении ярко светили лампы, гулко плескала вода. Запах здесь стоял ошеломляющий — холодный, резкий, от которого съеживалась кожа, а в мозгу возникали неприятные ассоциации: вспоминалась преисподняя, пыточные камеры и костяная нога нашей Бабы Яги. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Нужно было преодолеть первый спазм и ждать, пока принюхаешься. Я сел на край бассейна, спустил ноги и положил папку рядом с собой. Спиридона видно не было — вода волновалась, по ней прыгали блики, крутились маслянистые пятна.

— Спиридон, — позвал я и постучал каблуком в стенку бассейна.

Вот это больше всего раздражало меня в Спиридоне: наверняка ведь видит, что пришли к нему в гости, папку ему принесли, которую он просил, и не Выбегалло какой-нибудь пришел, а старый приятель, который все эти штучки наизусть знает, — и все-таки нет! Обязательно надо ему лишний раз показать, какой он могущественный, какой он непостижимый и как легко он может спрятаться в прозрачной воде.

Оказался он, разумеется, прямо у меня под ногами. Я увидел его подмигивающий глаз величиной

с тарелку.

— Ну хорошо, хорошо, — сказал я. — Красавец. Ничего не вижу, только глаз вижу. Очень эффектно. Как в цирке.

Тогда Спиридон всплыл. То есть не то чтобы он всплыл, он, собственно, и не погружался, он все время был у поверхности, просто теперь он позволил себе быть увиденным. Плоские дряблые веки его распахнулись мгновенно, словно судноловушка откинуло фальшивые щиты, огромные круглые глаза, темные и глубокие, уставились на меня с нечестивым юмором, и слабый хриплова-тый голос произнес:

— Как ты сегодня меня находишь?

— Очень, очень, — сказал я.

— Гроза морей?

— Корсар! Смерть кашалотам!

— Опиши меня, — потребовал Спиридон.

— Пожалуйста, — сказал я. — Но я не Альфред Теннисон, я правду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи. Ты сейчас похож на кучу грязного белья, которую бросили отмокать перед стиркой.

Спиридон одним длинным неуловимым движением как бы перелился на середину бассейна. Перепонка, скрывающая основания его рук, стала

бесстыдно выворачиваться наизнанку, обнажилась иссиня-бледная поверхность, густо усеянная сморщенными бородавками, из самых недр организма высунулся в венце мясистых шевелящихся выростов и раскрылся, дразнясь, огромный черный клюв. Послышался пронзительный скрежет: Спиридон хохотал.

— Завидуешь, — сказал он. — Вижу, что завидуешь. Ох, и завистливы же вы все, сухопутные! И напрасно. У вас есть свои преимущества. Гулять сегодня пойдем?

— Не знаю, — сказал я. — Как все. Я вот папку принес. Помнишь, ты просил?

— Помню, помню, — сказал Спиридон. — Как же...

Он разлегся на воде, распустив веером чудовищные щупальца, и принялся мерцать и переливаться перламутром. У меня зарябило в глазах и потянуло в сон. Представилось, что сижу я с удочкой ясным утром, солнышко греет, блики бегают по теплой воде, и сладко так тянет все тело. Спиридон пустил мне в лицо струю холодной воды, и я опомнился.

— Тьфу, — сказал я. — Грязью своей... Тьфу!

— Почему же — грязью? — удивился Спиридон. — Чистейшая вода, в нечистой я бы умер.

— Черта с два ты бы умер, — вздохнул я. — Знаю я тебя.

— Бессмертен, а? — самодовольно сказал Спиридон.

— Что-то вроде этого, — согласился я. — Ну-ка, перестань мерцать. Ты на меня сон нагоняешь. Ты что, нарочно?

— Я не нарочно, но я могу и перестать. — Он вдруг снова оказался у самых моих ног. — А где наш говорливый дурак? — спросил он. — И где твой волосатый приятель?

— Он не только мой приятель, — возразил я. — Он и твой приятель. Что у тебя за манера — оскорблять друзей?

— Друзей? — спросил Спиридон. — У меня нет друзей. Я не знаю, что это такое.

— А как насчет Генерального содружества? — спросил я. — Чей же ты тогда Полномочный посол?

Спиридон холодно взглянул на меня.

— Ты имеешь какое-нибудь представление о дипломатии? — осведомился он. — Можешь не отвечать. Вижу, что очень смутное. Дипломатия есть искусство определять новые явления старыми терминами. В данном случае совершенно новое для вас, людей, явление — мою искреннюю

и нерушимую дружбу меня сегодняшнего со мной завтрашним — я определяю старым термином «Генеральное содружество».

— Ага, — сказал я. — Значит, Генеральное содружество — это вранье.

— Ни в коем случае, — возразил Спиридон. — Это, повторяю, содружество меня со мной.

— Вот я и говорю: вранье, — повторил я. — Кроме самого себя, ты ни с кем не можешь находиться в содружестве, даже со мной.

— Гигантские древние головоногие, — наставительно сказал Спиридон, — всегда одиноки. И всегда рады этому обстоятельству.

— Понятно. А кто же тогда тебе мы — Федя, Говорун, я?

— Вы? Собеседники. Развлекатели... — Он подумал немного и добавил. — Пища.

— Скотина ты, — сказал я, обидевшись. — Грязные ты подштанники. — Это прозвучало несколько по-хлебовводовски, но я очень рассердился. — Ну и отмокай здесь в своем гордом одиночестве, а я пойду.

Я сделал вид, что собираюсь встать, но он ловко вцепился крючьями присосков мне в штанину и не пустил.

— Подожди, подожди, — сказал он. — Надо же,

обиделся! До чего же вы все, сухопутные, правды не любите... Все что угодно вам можно говорить, кроме правды. Вот мы, Гигантские древние головоногие, всегда говорим только правду. Мы мудры, но бесхитростны. Когда я готовлюсь напасть на кашалота, я предельно бесхитростен. Я не говорю ему: «Позволь мне обнять тебя, мой друг, мы так давно не виделись!» Я вообще ничего не говорю ему, а просто приближаюсь с совершенно отчетливо выраженными намерениями... И ты знаешь, — сказал он, словно эта мысль впервые его осенила, — и ведь кашалоты этого тоже не любят! Удивительно нерационально построен мир. Жизнь возможна только в том случае, если реальность принимается нами как она есть, если черное называют черным, а белое — белым. Но до чего же вы все не любите называть черное черным! А я вот не понимаю, как можно обижаться на правду. Впрочем, я вообще не понимаю, как можно обижаться. Когда я слышу неправду, когда Клоп называет меня трясиной, а ты называешь меня грязными кальсонами, я только хохочу. Это неправда, и это очень смешно. А когда я слышу правду, я испытываю чувство благодарности — насколько Гигантские древние головоногие вообще способны испытывать это чувство, — ибо

только знание правды позволяет мне существовать.

— Ну хорошо, — сказал я. — А если бы я назвал тебя сверкающим брильянтом и жемчужиной морей?

— Я бы тебя не понял, — сказал Спиридон. — И я бы решил, что ты сам себя не понимаешь.

— А если бы я назвал тебя владыкой мира?

— Я бы сказал, что предо мною разумное существо, которое привыкло говорить владыкам правду в глаза.

— Но ведь это же неправда. Никакой ты не владыка мира.

— Значит, ты менее умен, чем кажешься.

— Еще один претендент на мировое господство, — сказал я.

— Почему — еще? — забеспокоился Спиридон. — Есть и другие?

— Злобных дураков всегда хватало, — сказал я с горечью.

— Это верно, — проговорил Спиридон задумчиво. — Взять хотя бы одного моего старинного личного врага — кашалота. Он был альбинос, и это уродство сильно повлияло на его умственные способности. Сначала он объявил себя владыкой всех кашалотов. Это было их внутреннее дело,

меня это не касалось. Но затем он объявил себя владыкой морей, и пошли слухи, будто он намерен провозгласить себя господином Вселенной... Кстати, твои соотечественники — я имею в виду людей — этому поверили и даже признали его олицетворением зла. По океану начали ходить отвратительные сплетни, некоторые варварские племена, предчувствуя хаос, отваживались на дерзкие налеты, кашалоты стали вести себя вызывающе, и я понял, что надобно вмешаться. Я вызвал альбиноса на диспут. — Спрут замолчал, глаза его полузакрылись. — У него были на редкость мощные челюсти, — сказал он наконец. — Но зато мясо было нежное, сладкое и не требовало никаких приправ... Гм, да.

— Диспуты! — вскричал вдруг Панург, ударяя колпаком с бубенчиками об пол. — Что может быть благороднее диспутов? Свобода мнений! Свобода слова! Свобода самовыражения! Но что касается Архимеда, то история, как всегда, стыдливо и бесстыдно умолчала об одной маленькой детали. Когда Архимед, открывши свой закон, голый и мокрый, бежал по людной улице с криком «Эврика!», все жители Сиракуз хлопали в ладоши и безмерно радовались новому достижению отечественной науки, о котором они еще ничего

не знали, а узнав — все равно не смогли понять. И только один дерзкий мальчик показал на пробегавшего гения пальцем и, заливаясь смехом, завопил: «Ребята! Э, пацанье! А ведь Архимед-то голый!» И хотя это была истинная правда, его тут же на месте, поймав за ухо, жестоко выпорол солдатским ремнем науколюбивый отец его.

— Возможно, — сказал Спиридон. — Возможно... Давай-ка мы почитаем, Саша. Должен тебе сказать, что меня крайне интересует, что о нас знают и помнят люди.

Я взял папку, положил ее к себе на колени и развязал тесемочки. Мне и самому было интересно. Материалы эти я знал с детства. Мой дядя, малоизвестный специалист по Японии, затеял некогда книгу под странным названием «Спруты и люди». Его обуревала идея, что головоногие с незапамятных времен имели весьма тесные контакты с людьми. Чтобы обосновать эту мысль, он перекопал кучу книг, архивов, записал множество японских легенд и все самое интересное, с его точки зрения, перевел на русский и собрал в эту папку. Книгу написать ему не удалось: он увлекся диссертацией на тему «Предательство японской либеральной буржуазией интересов японского рабочего класса». Папка была забро-

шена, большая часть материалов утрачена, но кое-что осталось — стопка пожелтевшей бумаги, исписанной ровным дядиным почерком. На каждом листочке — выписка из какой-нибудь книги или рукописи с непременной ссылкой на использованный источник.

— Подряд читать? — спросил я.

— Подряд, подряд, — сказал Спиридон. — И не торопись. Я буду все обдумывать.

> — Ладно. — Я взял первый листок. — «Ика имеет восемь ног и короткое туловище, ноги собраны около рта, и на брюхе сжат клюв. Внутри имеет дощечку, содержащую тушь. Когда встречает большую рыбу, извергает тушь волнами, чтобы скрыть свое тело. Когда встречает мелких рыб и чилимсов, выплевывает тушевую слюну, чтобы приманить их. В «Бэнь-цао ган-му» сказано, что ика содержит тушь и знает приличия». («Книга вод».)

— Что такое тушевая слюна? — спросил Спиридон.

— Нет уж, это ты мне скажи, пожалуйста, что такое тушевая слюна, — возразил я. — И заодно — каким образом дощечка может содержать тушь?

— Забавно, забавно, — задумчиво сказал Спиридон. — Видимо, перед нами здесь наивное описание небольшой каракатицы. Хотя, с другой стороны, каракатицы никогда не знали приличий. Более неприличное существо трудно себе вообразить. Я, во всяком случае, не берусь. Разве что Клоп. Ну ладно, дальше.

> — «По мнению Бидзана, — прочитал я, — ика есть не что иное, как метаморфоза вороны, ибо есть и в наше время у ика на брюхе вороний клюв, и потому слово “ика” пишется знаками “ворона” и “каракатица”». («Сведения о небесном, земном и человеческом».)

— Что есть ворона? — осведомился Спиридон.

— Птичка такая, — ответил я. — Черная, со здоровенным клювом.

— Какая вульгарная фантазия, — пробормотал Спиридон. — Дальше.

> — «К северу от горы Дотоко есть большое озеро, и глубина его очень велика. Люди говорят, что оно сообщается с морем. В годы Энсё в его водах часто ловили ика и ели в вареном виде. Ика всплывает

и лежит на воде. Увидев это, вороны принимают его за мертвого и спускаются клевать. Тогда ика сворачивается в клубок и хватает их. Поэтому слово «ика» пишется знаками «ворона» и «каракатица». Что касается туши, которая содержится в теле ика, то ею можно писать, но со временем написанное пропадает, и бумага снова делается чистой. Этим и пользуются, когда пишут ложные клятвы». («Книга гор и морей».)

Пока я читал, в павильон вошел Федя. Он поклонился Спиридону, уселся рядом со мной и стал слушать. Когда я кончил читать, Спиридон проворчал:

— Вот это более похоже на правду. Я сам, признаться, так лавливал альбатросов в молодости... Я только не понимаю, почему всех этих людей так интересуют вороны и тушь? Сплошные вороны и тушь.

— Тушью в те времена писали, — сказал я. — А с воронами вас связывают из-за клюва. Неужели непонятно?

— Предположим, — сказал Спиридон холодно. — Здравствуйте, Федор. Как вы себя чувствуете?

— Спасибо, хорошо, — тихонько сказал Федя. — Я не помешаю?

— Ни в какой мере, — сказал Спиридон. — Продолжай, Саша.

> — «Согласно старинным преданиям, ика являются челядью при особе князя Внутреннего моря Сэто. При встрече с большой рыбой они выпускают черную тушь на несколько шагов вокруг, чтобы спрятать в ней свое тело». («Книга гор и морей».)

— Опять тушь, — проворчал Спиридон. — Дальше.

> — «У поэта древности Цзо Сы в «Оде столице У» сказано: «Ика держит меч». Это потому, что в теле ика есть лекарственный меч, а сам ика относится к роду крабов». («Книга вод».)

— Нет, не поэтому, — сказал Спиридон. — А потому, что Цзо Сы по своей глупости превосходит даже Бидзана, упоминавшегося выше. Дальше.

> — «В море водится ика, спина его по-

хожа на игральную кость, телом он короткий, имеет восемь ног. Облик его напоминает большого голого человека с круглой головой». («Записи об обитателях моря».)

— Ну, это про осьминогов, — сказал Спиридон. — У них спина бывает еще и не на то похожа. На месте осьминога я бы, конечно, обиделся, но я, слава богу, на своем месте. Продолжай.

— «В бухте Сугороку видели большого тако. Голова его круглая, глаза, как луна, длина его достигала тридцати шагов. Цветом он был как жемчуг, но когда питался, становился фиолетовым. Совокупившись с самкой, съедал ее. Он привлекал запахом множество птиц и брал их с воды. Поэтому бухту назвали Такогаура — Бухта Тако». («Упоминание о тиграх вод».)

— Гм, — сказал Спиридон. — Может быть, это был я. Какого века материал?

— Не знаю, — ответил я. — Здесь не написано.

— Гм. Цветом как жемчуг... Где она, эта ваша Япония? Это такие островки на краю Тихого океана?.. Очень возможно, очень... Ну, дальше!

— «В старину некий монах заночевал в деревне у моря. Ночью послышался сильный шум, все жители зажгли огни и пошли к берегу, а женщины стали бить палками в котлы для варки риса. Утром монах спросил, а ему ответили, что в море около тех мест живет большой ика. У него голова, как у Будды, и все называют его «бодзу», то есть монах. Бывает, что он выходит на берег и разрушает лодки». («Предания юга».)

— Бывает и не такое, — загадочно сказал Спиридон. — Дальше.

— «Береговой человек говорит: ика и тако, но не знает разницы. Оба знают волшебство, имеют руки вокруг рта и тушь внутри тела. А человек моря различает их легко, ибо у ика брюхо длинное и снабжено крыльями, восемь рук поджаты и две протянуты, в то время как у тако брюхо круглое и мягкое, восемь рук протянуты во все стороны. У ика иногда вырастают на руках железные крючья, поэтому ныряльщицы боятся его». («Упоминание о тиграх вод».)

— Здесь какая-то нелогичность, — задумчиво заметил Спиридон. — Раньше авторы этих заметок все время путали кальмара с осьминогом. И вообще все эти люди — и береговые, и морские — по-видимому, до смерти нас боятся. Я всегда так думал. Приятно услышать подтверждение. Н-ну-с, а что там дальше?

> — «В деревне Хоккэдзука на острове Кусумори жил рыбак по имени Гэнгобэй. Однажды он вышел на лодке и не вернулся. Жена его, напрасно прождав положенное время, вышла замуж за другого человека. Гэнгобэй через десять лет объявился в Муроцу и рассказал, будто лодку его опрокинул ика, огромный, как рыба Ку, сам он упал в воду и был подобран пиратом Надаэмоном». («Предания юга».)

— Чистейшее вранье, — сказал Спиридон. — Наверняка этот Гэнгобэй просто решил сходить в пираты подзаработать. Очень похоже на людей. Впрочем, это мелочь. Дальше.

> — «Тако злы нравом и не знают великодушия. Если их много, они дерзко

друг на друга нападают и разрывают на части. В старину на Цукуси было место, где тако собирались для свершения своих междоусобиц. Ныряльщики находят там множество больших и малых клювов и продают любопытным в столицу. Поэтому и говорится: тако-но томокуи — взаимопожирание тако». («Записи об обитателях моря».)

— Взаимопожирание! — сказал Спиридон раздраженно. — Это похороны, а не взаимопожирание... Глупцы.

— Привет, друзья! — раздался позади нас знакомый голос. — Уже читаете? Клопа, конечно, не подождали... Ну еще бы, существо низшей организации, насекомое, так сказать, «а паразиты никогда...»

— Помолчи, Говорун, — сказал Спиридон. — Садись и слушай. Давай дальше, Саша.

Клоп, обиженно ворча, втиснулся между мной и Федором, и я продолжал:

— «У берегов Иё обитает животное, похожее на большого тако, большого юрибоси и большого ибогани. В ясную погоду лежит, колыхаясь, на волнах и

размышляет о пучине вод, откуда извергнуто, и о горах, которые станут пучиной. Размышления эти столь мрачны, что ужасают людей». («Упоминание о тиграх вод».)

Почему-то Спиридон промолчал. Я поискал его глазами и не обнаружил. Не видно было Спиридона и не слышно. Я продолжал.

— «Рассказывают, что во владениях сиятельного военачальника Ямаути Кадзутоё промышляла губки знаменитая в Тосо ныряльщица по имени О-Гин. Лицом она была приятная, телом крепкая, нравом веселая. В тех местах издавна жил старый ика длиной в двадцать шагов. Люди его страшились, она же с ним играла и ласкала его, и он приносил ей отменные губки, которые шли по сто мон. Однако, когда ее просватали, он впал в уныние и пожрал ее. Больше его не видели. Это случилось в тот год, когда сиятельный военачальник Ямаути по настоянию супруги счастливо уплатил десять рё золотом за кровного жеребца». («Предания юга».)

Спиридон опять промолчал, и я его окликнул.

— Да-да, — отозвался он. — Я слушаю.

Голос его показался мне странным, и я спросил, почему давно не слышно комментария.

— Потому что комментариев не будет, — сурово сказал Спиридон.

— Совсем больше не будет? — спросил я.

— Нет, отчего же — совсем? Там посмотрим...

Я продолжал чтение:

— «Параграф восемьдесят семь. Еще господин Цугами утверждает следующее. В Восточных морях видят катацумуридако, пурпурного цвета, с множеством тонких рук, высовывается из круглой раковины размером в тридцать шагов с остриями и гребнями, глаза сгнили, весь оброс полипами. Когда всплывает, лежит на воде плоско, наподобие острова, распространяя зловоние и испражняясь белым, чтобы приманить рыб и птиц. Когда они собираются, хватает их руками без разбора и питается ими. Если приблизиться, хлопнуть в ладоши и крикнуть, от испуга выпускает ядовитый сок и наискось погружается в неведомую глубину,

после чего долго не выходит. Среди знающих моряков известно, что он гнусен и вызывает на теле гнойную сыпь». («Свидетельство господина Цугами Ясумицу о поясе Восточных морей».)

— Любопытно, — сказал Спиридон. — Мне хочется вас поздравить. Письменность — это полезное изобретение. Конечно, с памятью гигантского древнего головоногого ей не сравниться, но вам, людям, она заменяет то, чего вы лишены от природы.

— Ты хочешь сказать, — спросил я, — что все прочитанное было на самом деле?

— Поговорим об этом, когда ты закончишь, — сказал Спиридон.

— Пойдемте лучше в кино, — предложил Говорун. — Устроили здесь читальню... Память, письменность... Слова вставить не дают...

— Дальше, Саша, дальше, — сказал Спиридон.

— «Параграф сто тринадцать. Еще господин Цугами свидетельствует такое. На острове Ёкомэдзима живет дед, дружит с большими ика. Он в изобилии разводит свиней на рыбе и квашеных водорослях. Когда в полнолуние он играет на флейте,

ика выходят на берег, и он дает им лучших свиней. Взамен они приносят ему лекарство долголетия из источников в пучине вод». («Свидетельство господина Цугами Ясумицу о поясе Восточных морей».)

— Помню, помню, — сказал Спиридон. — Мы их потом судили... Надо сказать, что господин Цугами Ясумицу — опытный работник. Есть там еще что-нибудь из его свидетельств?

Я просмотрел оставшиеся листочки.

— Нет, больше нет. Может быть, и были, но потеряны.

— Это хорошо, — сказал спрут.

Я стал читать дальше:

— «Пират и злодей Рёдо далее под пыткой показал. Весной седьмого года Кэйтё у берегов Осуми разграбил и потопил корабли с золотом, принадлежащие Симадзу Ёсихиро, на пути из Кагосимы. Его первый советник по имени Дзэнти заклинаниями вызвал из глубины на корабли стаю огромных ика, которые ужасным видом и крючками привели охрану в замешательство. Пират же и злодей Рёдо

незаметно подплыл, зарезал храброго Мацунагу Сюнгаку и погубил всех иных верных людей. Подписано: Миногава Соэцу. Подписано: Сога Масамаро». («Хроника Цукуси».)

— Да, — подтвердил Спиридон. — Такие альянсы когда-то допускались. Согласитесь, это вам не какие-нибудь свиньи.

— Пардон, — сказал Говорун, отталкивая меня локтем. — А клопы? Были на кораблях клопы?

Спиридон пожал плечами.

— Очень может быть, — сказал он. — Нас это не интересовало.

— Разумеется, — сказал Говорун, помрачнев. — Как всегда.

Я взял следующий листок.

— «В деревне Хигасимихара на острове Цудзукидзима еще до сей поры поклоняются большому тако, которого именуют «нуси» — «хозяин». По обычаю в третье новолуние все девушки и бездетные женщины после захода солнца раздеваются, выходят из деревни и с закрытыми глазами танцуют на отмели. Тако издали глядит и, выбрав, призывает к себе.

Она идет, плача и не желая, и печально погружается в темную воду. Остальные возвращаются по домам». («Записки хлопотливого мотылька Ансина Энко».)

— Чепуха какая-то, — сказал Клоп. — Если они танцуют с закрытыми глазами, да еще в новолуние, как же они узнаю́т, кого он выбрал?

Спиридон промолчал.

— Читайте, Саша, — тихонько попросил Федя.

— «При большом тайфуне во второй год Сётоку рыбаки из деревни Гумихара в Идзумо числом семнадцать потеряли лодки и спаслись на одинокой скале посреди моря. Они думали прожить беспечно, питаясь съедобными ракушками, но оказалось, что под скалой обитали демоны в образе тако огромной величины. Днем они жадно глядели из воды, а ночью являлись в сновидениях, сосали мозг и требовали: «Дайте немедленно одного». Поскольку выхода не было, страх одолел их, они стали тянуть жребий и отдали рыбака по имени Бинскэ. Обрадовавшись, демоны гладили себя руками по лысым головам, как бы говоря: «Вот

хорошо!» День за днем это повторялось, мучения ночью были такие, что иногда без жребия хватали кого придется и бросали в воду, а некоторые бросались сами. Когда осталось пятеро, их подобрал корабль, направлявшийся из Ниигаты в Сакаи. Демоны последовали за кораблем, потом чары их ослабли, и они скрылись». («Записи необычайных дел во владениях князя Мацудайры».)

— А вы знаете, — сказал Федя, — ведь у нас есть похожая легенда. Будто бы в некоторых расщелинах жили раньше звери Фрух...

— Как? — спросил Клоп.

— Это на нашем языке, — извиняющимся голосом пояснил Федя. — Фрух. Это значит «не увидеть». Их никто никогда не видел, но слышали, как они ползают внизу. И вот по ночам люди начинали мучиться, и многие уходили и сами бросались в расщелины. Тогда все прекращалось. — Федя сделал паузу, потом сказал застенчиво: — Я, конечно, понимаю, это сказка, но если бы это была правда, можно было бы объяснить, почему мы так задержались в развитии. Ведь гибли всегда самые интеллигентные... певцы, или люди,

знающие коренья, или художники... или кто не мог смотреть, как другие мучаются...

Я заметил, что Спиридон вновь помалкивает. Смешно было предполагать, чтобы этот закоренелый эгоцентрик испытывал стыд за поступки своих соплеменников, и молчание его каким-то странным образом начинало действовать мне на нервы.

— Спиридон, — сказал я. — Где комментарий?

— Потом, потом, — неразборчиво буркнул он. — Продолжай.

— Тут всего один листок остался, — предупредил я.

— Вот и хорошо, — сказал Спиридон. — Вот и прочти его.

Я прочел последний листок.

— «Тогда мятежники с криком устремились вперед. Но его светлость соизволил повелеть дать знак, помчалась конница, с холмов спустились отряды асигару. Тогда мятежники в замешательстве остановили шаги. Асигару дали залп из мушкетов. Тогда мятежники, бросая оружие, копья и щиты, устремились обратно к кораблям. Верный Набэсима Тосикагэ, невзирая

на доблесть, не смог бы догнать и схватить их. Тогда его светлость соизволил повелеть дать знак, и флотоводец Юсо выпустил боевых тако. Икусадако подобно буре напали на вражеские корабли, трясли, двигали, раскачивали, ломали. Видя это, мятежники устрашились и выразили покорность. Их всех перевязали, нанизав на нитку подобно сушеной хурме, после чего его светлости благоугодно было повелеть разыскать и распять главарей на месте. Всего было распято восемьдесят злодеев, а флотоводец Юсо удостоился светлейшей похвалы». («Хроника Цукуси».)

Я сложил листочки и завязал папку. Все мы ждали, что скажет Спиридон. А Спиридон успокоил воду в бассейне, сделал себя темно-красным и растекся по поверхности, как масляная лужа.

— Большинство из этих документов, — заявил он, — относится, насколько я могу судить, к середине нынешнего тысячелетия, когда многие из нас, уцелевшие после мора, были еще очень молоды и не понимали, что сложное сложно. Отсюда попытки альянсов, отсюда подчиненность... Черт

возьми, все мы любили сладкое мясо!.. Должен признаться, мне было неприятно слушать эти хроники, как всякому умному существу неприятно слушать воспоминания посторонних о его детстве. Но кое-кому из наших это стоило бы почитать — в назидание. И я им прочту... Но вас, конечно, интересует, есть ли во всем этом правда, сколько ее и вся ли это правда. Правда этих записок вот: мы всегда стремились уничтожить все, что попадает в море; некоторые из нас продавали право первородства за сладкую свинину; и некоторым из нас, самым молодым, нравилось, когда невежественные рыбаки их обожествляли. Вот что здесь правда. Остальное — сплошная тушь и воронятина. Всю же правду о гигантских головоногих не вместят никакие записки.

— Мне понравилось выражение «сосали мозг», — задумчиво сообщил Говорун. — Что бы это могло означать?

— Просто метафора, — холодно сказал Спиридон. — Почему ты не спрашиваешь, что означает выражение «глаза сгнили»?

— Потому что мне это неинтересно, — заносчиво ответил Говорун.

Я заметил, что Федя с сомнением качает головой.

— Нет, тут что-то другое, — проговорил он. — Тут что-то недоброе. А Спиридон просто не хочет рассказывать.

У меня было такое же ощущение, но мне не хотелось это обсуждать. Это было что-то неприятное и, в конце концов, не столь уж существенное. Не хотелось мазаться в грязи ради праздного любопытства. К тому же интимность обстановки нарушил вдруг фотограф Найсморк.

Сложившись пополам, он вдвинулся в павильон, осмотрел нас дикими глазами и хрипло осведомился, который здесь будет Спиридон, спрут, древний и головоногий. Не дожидаясь ответа, он пошел вокруг бассейна, озираясь и бормоча, что свет здесь хороший, толковый человек ставил, понимающий, только смердит вот, как на помойке у этого... как его... у столовой. Узнав, который здесь Спиридон, Найсморк пришел в профессиональный восторг. Он хлопал себя по ляжкам, заглядывал в видоискатель, вскрикивал от удовольствия и снова принимался хлопать и заглядывать. Он восклицал, что вот это вот — фас, что этот фас — всем фасам фас, что такой фас он видел всего однажды, у этого... как его... да вот у вас же, гражданин, в прошлом году, когда вы только прибыли...

Он потратил на Спиридонов фас полпленки. Однако же, когда настала очередь профиля, он разочаровался. Он горько сообщил, что профиля нет, то есть, конечно, кое-что виднеется, но больно мало, надо полагать, что все ушло в фас согласно закону сохранения суммы изображений. Нацелившись на то, что приходилось ему считать Спиридоновым профилем, он попросил Спиридона сохранять серьезность, расслабиться и не улыбаться, сделал два снимка, взял у меня сигарету и исчез так же внезапно, как и появился.

— Меня он тоже давеча снимал, — ревниво сообщил Клоп. — При помощи макронасадки, между прочим. Я думаю, что это в связи с моим заявлением.

— Вряд ли, — сказал Федя. — Это потому, что коменданта запугали, и он потребовал, чтобы Найсморк всю Колонию переснял по второму разу. На всякий случай.

— Сплетня! — сказал Клоп. — Просто я подал заявление, чтобы Тройка приняла меня завтра вне всякой очереди и обсудила одно мое предложение.

— Какое? — спросил я.

— А вот это уже никого не касается, — высокомерно заявил Клоп. — Завтра услышите. Я

полагаю, товарищ Амперян будет завтра присутствовать на утреннем заседании?

— Будет, — сказал я.

— Превосходно, — сказал Клоп. — Я очень уважаю товарища Амперяна, а завтрашнее заседание обещает стать историческим.

— Сомневаюсь, — сказал лениво Спиридон. — Сомневаюсь я, чтобы с Говоруном могло быть связано что-нибудь историческое. Тебя уже один раз вызывали в прошлом году, ничего исторического не обнаружили и в решении записали, помнится: «Клоп говорящий, необъясненного явления собой не представляет, в компетенцию Тройки не входит, лишить пищевого довольствия и койки в общежитии...»

— Это неправда! — крикнул Говорун. — Это дурак Хлебовводов предлагал. А Лавр Федотович не утвердил! Я был, есть и остаюсь необъясненным явлением! Что ты в этом смыслишь? Или, может быть, ты способен объяснить взлеты моей мысли, мои порывы, мою печаль при восходе ненавистного солнца? Если хочешь знать, будь я обыкновенным клопом...

— Будь ты обыкновенным клопом, — с усмешкой сказал Спиридон, — тебя бы уже давным-давно раздавили!

— Молчи, людоед! — взвизгнул Говорун, хватаясь за сердце. — Трясина ты холодная, бессовестная! Тысячу лет прожил, ума не нажил! Хам! По морде тебе давно не давали!

— Товарищи, товарищи! — сказал Федя, удерживая за талию Клопа, который, размахивая кулаками, рвался в бассейн. — Говорун, вы же там утонете... Спиридон, я вас прошу, извинитесь... Вы действительно были бестактны! Вы же знаете, как Говорун относится к таким намекам...

Спиридон возразил, что он только констатировал очевидный факт и что он готов дать удовлетворение любому, кто будет утверждать, будто он сказал неправду. Говорун лягался, брызгал слюной и орал. Тогда я разозлился и потребовал, чтобы они немедленно прекратили склоку, иначе я упеку Говоруна на двое суток в спичечный коробок, а в бассейн накидаю марганцовки. Это подействовало. Буяны, конечно, утихомирились не сразу и некоторое время продолжали оскорблять друг друга, но в конце концов Спиридон процедил сквозь зубы что-то вроде «Виноват, переборщил», Говорун всплакнул, сказал, что в последнее время он что-то совсем изнервничался, и они пожали друг другу руки в знак примирения.

— Ну вот и прекрасно, — сказал просиявший Федя. — А теперь, я думаю, мы можем пойти пройтись. Все вместе. Правда?

Выяснилось, что все «за». Федя тут же сбегал за тачкой и напихал в нее мокрого сена. Мы с Говоруном поднатужились, выволокли Спиридона из бассейна и свалили его в сено, а сверху прикрыли мокрым мешком. Спиридон смущенно кряхтел и торопливо извинялся, когда ему наступали на щупальца. В тачке он устроился поудобнее, прикинул, каково ему будет озирать окрестности, и сообщил, что вполне готов.

В дверях павильона нас встретил сторож, свояк коменданта товарища Зубо. Он направлялся к бассейну, волоча за собой по земле дохлую собаку. Лицо у него было красное до багровости, он пошатывался, пахло от него водкой и луком.

— Спиридон Спиридонович! — прохрипел он. — Куда же это вы не евши? Комендант заругается!

Спиридон сунул ему в руку небольшую жемчужину.

— Это тебе за беспокойство, голубчик, — сказал он. — А ужин занеси и оставь там где-нибудь, я вернусь и поужинаю.

— Это можно, — прохрипел сторож, разглядывая жемчужину, покачиваясь и непроизвольно

приседая, чтобы сохранить равновесие. — Это пожалуйста... Оч-чень мы вами бла-адарны, Спиридон Спиридонович...

По дороге к набережной мы встретили Эдика, и я познакомил его со Спиридоном. Вежливый Эдик сказал спруту несколько комплиментов, и они разговорились было о необычайных размерах гигантских мегатойтисов и о прирожденной властности их взора, но тут ревнивый Говорун подхватил Эдика под руку и с криком: «Пардон, товарищ Амперян! Одну минуточку, небольшая консультация!..» — увлек его вперед. Тем не менее Спиридон развеселился, овладел общим разговором и рассказал несколько забавных историй из жизни спрутов. Очень смешной получилась у него история о том, как несколько молодых, неопытных мегатойтисов выследили подводную лодку и сговорились на нее напасть, приняв за большого кашалота; как они долго ползали по железной палубе и все подбадривали друг друга мужественными возгласами: «За дыхало его, братва! За дыхало!» Мы много смеялись над этой мастерски рассказанной историей, пока не выяснилось, что смеемся мы все по разным причинам. Я смеялся над глупыми мегатойтисами, Эдик — тоже; Спиридон хохотал, представляя

себе, как перепугалась команда подводной лодки; Федя смеялся от радости, что всем весело и никто ни с кем не ссорится (Федя истории не понял, он решил, что подводная лодка — это просто затонувшая рыбачья шлюпка); Говорун же смеялся потому, что его осенила гениальная идея, не имеющая никакого отношения к рассказу. Он отказался сообщить нам эту идею, но я понял, в чем дело: полчаса спустя, когда мы шли по главной улице и возле гостиницы задержались, чтобы проститься с утомившимся Эдиком и заодно полить Спиридона из шланга, Говорун безразличным тоном попросил меня напомнить, в каком номере проживает этот дурак Хлебовводов. Я напомнил, и Клоп тотчас же распрощался, сказавши, что у него, к сожалению, неотложное свидание.

Мы еще немного погуляли втроем по Колонии, и я рассказывал Феде и Спиридону об устройстве Вселенной. Попутно выяснилось, что Спиридон простым глазом видит Красное Пятно на Юпитере и кольца Сатурна. Застенчивый Кузька все время шастал в кустах то справа, то слева от нас, напоминая о себе слабым кваканьем; мы звали его, обещая лакомства и дружбу, но он так и не решился приблизиться.

Возле склада битой летающей посуды мы неожиданно наткнулись на Романа с товарищем Ириной. Левой рукой Роман обнимал пышные плечи любимой дочери товарища Голого, а правой рукой вдохновенно указывал в звездную бездну — должно быть, тоже объяснял устройство Вселенной. Мы поспешно свернули на боковую аллею и повезли Спиридона в бассейн. Время было уже позднее, город засыпал, и только далеко-далеко играла гармошка, и чистые девичьи голоса сообщали:

Ухажеру моему
Я говорю трехглазому:
Нам поцалуи ни к чему —
Мы братия по разуму!

Глава шестая

Когда Говоруна вызвали, он появился в комнате заседаний не сразу. Было слышно, как он препирается в приемной с комендантом, требуя какого-то церемониала, какого-то повышенного пиетета, а также почетного караула. Эдик начал волноваться, и мне пришлось выйти в приемную и сказать Клопу, чтобы он перестал ломаться, а то будет плохо.

— Но я требую, чтобы он сделал три шага мне навстречу! — кипятился Говорун. — Пусть нет караула, но какие-то элементарные правила должны же выполняться! Я же не требую, чтобы он встречал меня у дверей... Пусть сделает три шага навстречу и обнажит голову!

— О ком ты говоришь? — спросил я, опешив.

— Как это о ком? Об этом, вашем... кто там у вас главный? Вунюков?

— Балда! — прошипел я. — Ты хочешь, чтобы тебя выслушали? Иди немедленно! В твоем распоряжении тридцать секунд!

И Говорун сдался. Бормоча что-то насчет нарушения всех и всяческих правил, он вошел в комнату заседаний и нахально, ни с кем не по-

здоровавшись, развалился на демонстрационном столе. Лавр Федотович с мутными и пожелтевшими после вчерашнего глазами тотчас же взял бинокль и стал Клопа рассматривать. Хлебовводов, страдая от тухлой отрыжки, проныл:

— Ну чего нам с ним говорить? Ведь все уже говорено... Он же нам только голову морочит...

— Минуточку, — сказал Фарфуркис, бодрый и розовый, как всегда. — Гражданин Говорун, — обратился он к Клопу. — Тройка сочла возможным принять вас вне процедуры и выслушать ваше, как вы пишете, чрезвычайно важное заявление. Тройка предлагает вам быть по возможности кратким и не отнимать у нее драгоценное рабочее время. Что вы имеете нам заявить? Мы вас слушаем.

Несколько секунд Говорун выдерживал ораторскую паузу. Затем он с шумом подобрал под себя ноги, принял горделивую позу и, надув щеки, заговорил.

— История человеческого племени, — начал он, — хранит на своих страницах немало позорных свидетельств варварства и недомыслия. Грубый невежественный солдат заколол Архимеда. Вшивые попы сожгли Джордано Бруно. Оголтелые фанатики травили Чарлза Дарвина,

Галилео Галилея и Николая Вавилова... История клопов также сохранила упоминания о жертвах невежества и обскурантизма. Всем памятны неслыханные мучения великого клопа-энциклопедиста Сапукла, указавшего нашим предкам, травяным и древесным клопам, путь истинного прогресса и процветания. В забвении и нищете окончили свои дни Императорутор, создатель теории групп крови; Рексофоб, решивший проблему плодовитости; Пульп, открывший анабиоз. Варварство и невежество обоих наших племен не могли не наложить и действительно наложили свой роковой отпечаток на взаимоотношения между ними. Втуне погибли идеи великого клопа-утописта Платуна, проповедовавшего идею симбиоза клопа и человека и видевшего будущность клопиного племени не на исконном пути паразитизма, а на светлых дорогах дружбы и взаимной помощи. Мы знаем случаи, когда человек предлагал клопам мир, защиту и покровительство, выступая под лозунгом «Мы одной крови, вы и я», но жадные, вечно голодные клопиные массы игнорировали этот призыв, бессмысленно твердя: «Пили, пьем и будем пить». — Говорун залпом осушил стакан воды, облизнулся и продолжал, надсаживаясь, как на митинге: — Сейчас мы впер-

вые в истории наших племен стоим перед лицом ситуации, когда клоп предлагает человечеству мир, защиту и покровительство, требуя взамен только одного: признания. Впервые клоп нашел общий язык с человеком. Впервые клоп общается с человеком не в постели, а за столом переговоров. Впервые клоп взыскует не материальных благ, а духовного общения. Так неужели же на распутье истории, перед поворотом, который, быть может, вознесет оба племени на недосягаемую высоту, мы будем топтаться в нерешительности, вновь идти на поводу у невежества и взаимоотчужденности, отвергать очевидное и отказываться признать свершившееся чудо? Я, Клоп Говорун, единственный говорящий клоп во Вселенной, единственное звено понимания между нашими племенами, говорю вам от имени миллионов: опомнитесь! Отбросьте предрассудки, растопчите косность, соберите в себе все доброе и разумное и открытыми и ясными глазами взгляните в глаза великой истине: Клоп Говорун есть личность исключительная, явление необъясненное и, быть может, даже необъяснимое!

Да, тщеславие этого насекомого способно было поразить самое заскорузлое воображение. Я чувствовал, что добром это не кончится, и толкнул

Эдика локтем, чтобы он был готов. Оставалась, правда, надежда на то, что состояние кишечно-желудочной прострации, в котором пребывала бо´льшая и лучшая часть Тройки, помешает взрыву страстей. Благоприятным фактором было также отсутствие обожравшегося до постельного режима Выбегаллы.

Лавру Федотовичу было нехорошо, он был бледен и обильно потел, Фарфуркис не знал, на что решиться, а проснувшийся полковник, которому, видимо, приснилось что-то страшное, трусливо поглядывал на Клопа, прикрывшись председательским бюваром. Я уже подумал, что все обошлось, как вдруг Хлебовводов произнес:

— «Пили, пьем и будем пить...» Это же он про кого? Это же он про нас, поганец! Кровь нашу! Кровушку! А? — Он дико огляделся. — Да я же его сейчас к ногтю!.. Ночью от них спасу нет, а теперь и днем? Мучители! — И он принялся яростно чесаться.

Говорун несколько побледнел, однако продолжал держаться с достоинством. Впрочем, краем глаза он осторожно высматривал себе на всякий случай подходящую щель. По комнате распространился крепчайший запах дорогого коньяка.

— Кровопийцы! — прохрипел Хлебовводов,

вскочил и ринулся вперед.

Сердце у меня замерло. Эдик схватил меня за руку — тоже испугался. Говорун прямо-таки присел от ужаса. Но Хлебовводов, держась за живот, промчался мимо демонстрационного стола, распахнул дверь и исчез. Было слышно, как он грохочет каблуками по лестнице. Говорун вытер со лба холодный пот и обессиленно опустил усы.

— Гррм, — как-то жалобно проговорил Лавр Федотович. — Кто еще просит слова?

— Позвольте мне, — сказал Фарфуркис, и я понял, что машина заработала. — Заявление гражданина Говоруна произвело на меня совершенно особое впечатление. Я искренне и категорически возмущен. И дело здесь не только в том, что гражданин Говорун искаженно трактует историю человечества как историю страданий отдельных выдающихся личностей. Я готов также оставить на совести оратора его абсолютно несамокритические высказывания о собственной особе. Но его предложение, его идея о союзе... Даже сама мысль о таком союзе звучит, на мой взгляд, оскорбительно и кощунственно. За кого вы нас принимаете, гражданин Говорун? Или, может быть, ваше оскорбление преднамеренно? Лично я склонен квалифицировать его

как преднамеренное! И более того, я сейчас просмотрел материалы предыдущего заседания по делу гражданина Говоруна и с горечью убедился, что там отсутствует совершенно, на мой взгляд, необходимое частное определение по этому делу. Это, товарищи, наша ошибка, это, товарищи, наш просчет, который нам надлежит исправить с наивозможнейшей быстротой. Что я имею в виду? Я имею в виду тот простой и очевидный факт, что в лице гражданина Говоруна мы имеем дело с типичным говорящим паразитом, то есть с праздношатающимся тунеядцем без определенных занятий, добывающим средства к жизни предосудительными путями, каковые вполне можно квалифицировать как преступные...

В эту минуту на пороге вновь появился измученный Хлебовводов. Проходя мимо Говоруна, он замахнулся на него кулаком, пробормотав: «У-у, собака бесхвостая, шестиногая!..» Говорун только втянул голову в плечи. Он понял, наконец, что его дело плохо. «Саша, — шептал мне Эдик в панике, — Саша, придумай что-нибудь...» Я лихорадочно искал выход, а Фарфуркис тем временем продолжал:

— Оскорбление человечества, оскорбление ответственного органа, типичное тунеядство,

место которому за решеткой, — не слишком ли это много, товарищи? Не проявляем ли мы здесь мягкотелость, беззубость, либерализм буржуазный и гуманизм абстрактный? Я еще не знаю, что думают по этому поводу мои уважаемые коллеги, и я не знаю, какое решение будет принято по этому делу, однако, как человек по натуре не злой, хотя и принципиальный, я позволяю себе обратиться к вам, гражданин Говорун, со словами предостережения. Тот факт, что вы, гражданин Говорун, научились говорить, вернее, болтать по-русски, может, конечно, некоторое время служить сдерживающим фактором в нашем к вам отношении. Но берегитесь! Не натягивайте струны слишком туго!

— Задавить его, паразита! — прохрипел Хлебовводов. — Вот я его сейчас... спичкой... — Он стал хлопать себя по карманам.

На Говоруне лица не было. На Эдике тоже. А я все никак не мог найти выхода из возникшего трагического тупика.

— Нет-нет, товарищ Хлебовводов, — брезгливо морщась, проговорил Фарфуркис. — Я против незаконных действий. Что это за линчевание? Мы с вами не в Техасе. Необходимо все оформить по закону. Прежде всего, если не возражает Лавр

Федотович, надлежит рационализировать гражданина Говоруна как явление необъясненное и, следовательно, находящееся в нашей компетенции...

При этих словах дурак Говорун просиял. О, тщеславие!..

— Далее, — продолжал Фарфуркис, — нам надлежит квалифицировать рационализированное необъясненное явление как вредное и, следовательно, в процессе утилизации подлежащее списанию. Дальнейшая процедура предельно проста. Мы составляем акт таким примерно образом: акт о списании Клопа говорящего, именуемого ниже Говоруном...

— Правильно! — прохрипел Хлебовводов. — Печатью его!..

— Это произвол! — слабо пискнул Говорун.

— Минуточку! — вскинулся Фарфуркис. — Что значит — произвол? Мы списываем вас согласно параграфу семьдесят четвертому приложения о списании остатков, где совершенно отчетливо говорится...

— Все равно произвол! — кричал Клоп. — Палачи! Жандармы!..

И тут меня наконец осенило.

— Позвольте, — сказал я. — Лавр Федотович!

Вмешайтесь, я прошу вас! Это же разбазаривание кадров!

— Гррм, — еле слышно произнес Лавр Федотович. Его так мутило, что ему было все равно.

— Вы слышите? — сказал я Фарфуркису. — И Лавр Федотович совершенно прав! Надо меньше придавать значения форме и пристальнее вглядываться в содержание. Наши оскорбленные чувства не имеют ничего общего с интересами народного хозяйства. Что за административная сентиментальность? Разве у нас здесь пансион для благородных девиц? Или курсы повышения квалификации?.. Да, гражданин Говорун позволяет себе дерзость, позволяет себе сомнительные параллели. Да, гражданин Говорун еще очень далек от совершенства. Но разве это означает, что мы должны списать его за ненадобностью? Да вы что, товарищ Фарфуркис? Или вы, быть может, способны сейчас вытащить из кармана второго говорящего клопа? Может, среди ваших знакомых есть еще говорящие клопы? Откуда это барство, это чистоплюйство? «Мне не нравится говорящий клоп, давайте спишем говорящего клопа...» А вы, товарищ Хлебовводов? Да, я вижу, вы сильно пострадавший от клопов человек. Я глубоко сочувствую вашим переживаниям, но

я спрашиваю: может быть, вы уже нашли средство борьбы с кровососущими паразитами? С этими пиратами постелей, с этими гангстерами народных снов, с этими вампирами запущенных гостиниц?..

— Вот я и говорю, — сказал Хлебовводов. — Задавить его без разговоров... А то акты какие-то...

— Не-е-ет, товарищ Хлебовводов! Не позволим! Не позволим, пользуясь болезнью научного консультанта, вводить здесь и применять методы грубо-административные вместо методов административно-научных. Не позволим вновь торжествовать волюнтаризму и субъективизму! Неужели вы не понимаете, что присутствующий здесь гражданин Говорун являет собой единственную пока возможность начать воспитательную работу среди этих остервенелых тунеядцев? Было время, когда некий доморощенный клопиный талант повернул клопов-вегетарианцев к их нынешнему отвратительному модус вивенди. Так неужели же наш современный, образованный, обогащенный всей мощью теории и практики клоп не способен совершить обратного поворота? Снабженный тщательно составленными инструкциями, вооруженный новейшими достижениями педагогики, ощущая за собой под-

держку всего прогрессивного человечества, разве не станет он архимедовым рычагом, с помощью коего мы окажемся способны повернуть историю клопов вспять, к лесам и травам, к лону природы, к чистому, простому и невинному существованию? Я прошу Комиссию принять к сведению все эти соображения и тщательно их обдумать.

Я сел. Эдик, бледный от восторга, показал мне большой палец. Говорун стоял на коленях и, казалось, горячо молился. Что касается Тройки, то, пораженная моим красноречием, она безмолвствовала. Фарфуркис глядел на меня с радостным изумлением. Видно было, что он считает мою идею гениальной и сейчас лихорадочно обдумывает возможные пути захвата командных высот в этом новом, неслыханном мероприятии. Уже виделось ему, как он составляет обширную, детальнейшую инструкцию, уже носились перед его мысленным взором бесчисленные главы, параграфы и приложения, уже в воображении своем он консультировал Говоруна, организовывал курсы русского языка для особо одаренных клопов, назначался главой Государственного комитета пропаганды вегетарианства среди кровососущих, расширяющаяся деятельность которого охватит также комаров и мошку, мокреца,

слепней, оводов и муху-зубатку...

— Травяные клопы тоже, я вам скажу, не сахар... — проворчал консервативный Хлебовводов. Он уже сдался, но не хотел признаться в этом и цеплялся к частностям.

Я выразительно пожал плечами.

— Товарищ Хлебовводов мыслит узкоместными категориями, — возразил Фарфуркис, сразу вырываясь на полкорпуса вперед.

— Ничего не узкоместными, — возразил Хлебовводов. — Очень даже широкими... этими... как их... Воняют же! Но я понимаю, что это можно подработать в процессе. Я к тому, что можно ли на этого положиться... на стрикулиста... Несерьезный он какой-то... и заслуг за ним никаких не видно...

— Есть предложение, — сказал Эдик. — Может быть, создать подкомиссию для изучения этого вопроса во главе с товарищем Фарфуркисом? Рабочим заместителем товарища Фарфуркиса я бы предложил товарища Привалова, человека незаинтересованного и объективного...

Тут Лавр Федотович вдруг поднялся. Простым глазом было видно, что он здорово сдал после вчерашнего. Обыкновенная человеческая слабость светилась сквозь обычно каменные черты

его. Да, гранит дал трещину, бастион несколько покосился, но все-таки, несмотря ни на что, стоял могучий и непреклонный.

— Народ... — произнес бастион, болезненно заводя глаза. — Народ не любит замыкаться в четырех стенах. Народу нужен простор! Народу нужны поля и реки. Народу нужны ветер и солнце...

— И луна! — добавил Хлебовводов, преданно глядя на бастион снизу вверх.

— И луна, — подтвердил Лавр Федотович. — Здоровье народа надо беречь, оно принадлежит народу. Народу нужна работа на открытом воздухе. Народу душно без открытого воздуха...

Мы еще ничего не понимали, даже Хлебовводов еще терялся в догадках, а проницательный Фарфуркис уже собирал бумаги, упаковывал записную книжку и что-то шептал коменданту. Комендант кивнул и почтительно-деловито осведомился:

— Народ любит ходить пешком или ездить на машине?

— Народ... — провозгласил Лавр Федотович, — народ предпочитает ездить в открытом автомобиле. Выражая общее мнение, я предлагаю настоящее заседание перенести, а сейчас про-

вести намеченное на вечер выездное заседание по соответствующим делам. Товарищ Зубо, обеспечьте. — С этими словами Лавр Федотович грузно опустился в кресло.

Все засуетились. Комендант бросился вызывать машину. Хлебовводов отпаивал Лавра Федотовича боржомом, а Фарфуркис забрался в сейф и принялся искать соответствующие дела. Я под шумок схватил Говоруна за шиворот и коленом вышиб его вон. Говорун не сопротивлялся: пережитое потрясло его и надолго выбило из колеи. Он даже говорить не мог и только, что-то бессвязно бормоча, пытался целовать мне руки.

Мы с Эдиком спустились на улицу. Эдик глядел на меня с восхищением и говорил, что у меня настоящий административный талант, что он, Эдик, так бы не мог, что есть все-таки, значит, методы борьбы достаточно эффективные и в то же время достаточно далекие от уголовщины. Я в ответ втолковывал ему, что все это не так просто, что всем талантам моим грош цена: будь здесь Выбегалло и не страдай так Лавр Федотович от последствий гастрономической дискуссии, Клопа бы нашего обязательно припечатали. Счастливый случай всех нас спас.

Тем временем был подан автомобиль. Лавра

Федотовича вывели под руки и бережно погрузили на переднее сиденье. Хлебовводов, Фарфуркис и комендант, толкаясь и огрызаясь друг на друга, оккупировали заднее сиденье. А машина-то пятиместная, озабоченно сказал Эдик. Нас не возьмут. Я ответил, что не вижу в этом ничего плохого. На выездной сессии будут рассматриваться дела, не имеющие к нам никакого отношения, а мы пока сможем пойти и выкупаться. Эдик сказал, что он не пойдет купаться. Он невидимо последует за автомобилем и проведет сегодня еще один сеанс позитивной реморализации. Нельзя терять надежду, сказал он. Пока имеешь дело с человеческими существами, терять надежду нельзя.

Тут в автомобиле поднялся крик. Сцепились Фарфуркис с Хлебовводовым. Хлебовводов, которому от запаха бензина стало хуже, требовал немедленного движения вперед. При этом он кричал, что народ любит быструю езду. Фарфуркис же, чувствуя себя единственным в машине деловым человеком, ответственным за все, доказывал, что присутствие постороннего и непроверенного шофера превращает закрытое заседание в открытое и что, кроме того, согласно инструкции, заседания в отсутствие научного консультанта проводиться не могут, а если и

проводятся, то в дальнейшем признаются недействительными. «Затруднение? — осведомился Лавр Федотович слегка окрепшим голосом. — Товарищ Фарфуркис, устраните». Ободренный Фарфуркис с азартом принялся устранять. Я не успел и глазом моргнуть, как меня кооптировали в качестве врио научного консультанта, шофер был отпущен, а я оказался на его месте. «Давай, давай, — шептал мне на ухо невидимый Эдик. — Ты мне еще, может быть, поможешь...» Я нервничал и озирался. Вокруг машины собралась толпа ребятишек. Одно дело — сидеть со всей этой компанией в закрытом помещении, и совсем другое — выставляться на всеобщее обозрение. Ребятишки откровенно глазели. Между тем неугомонный Фарфуркис вспомнил про полковника, забытого наверху, и вновь сцепился с Хлебовводовым.

— Да зачем нам этот старый хрен? — стонал Хлебовводов.

— Неудобно, неудобно, — говорил Фарфуркис. — Комендант, сбегайте!

— Да куда мы его посадим? — с надрывом спрашивал Хлебовводов. — В багажник, что ли, мы его посадим?

— Ничего, ничего, как-нибудь разместимся.

Я решил прекратить эту постыдную сцену.

— Напоминаю, — сказал я строго. — Согласно инструкции завода-изготовителя — машина пятиместная. Нарушения инструкции я не потерплю. Я из-за вашего полковника прокол в техталон зарабатывать не намерен.

Комендант, уже высунувший было ногу наружу, втянул ее обратно.

— Ехать бы... — умирал Хлебовводов. — С ветерком бы...

— Гррм, — сказал Лавр Федотович. — Есть предложение ехать. Не дожидаясь задержавшихся. Другие предложения есть?.. Шофер, поезжайте.

Я завел двигатель и стал осторожно разворачивать машину, пробираясь сквозь толпу ребятишек. Лавр Федотович совсем приободрился. Ласковое теплое солнце и свежий налетающий ветерок сотворили с ним маленькое чудо. Он даже впал в юмористическое настроение и позволил себе сказать каламбур про полковника: «Спал он, спал, а теперь вот все проспал». Я наконец развернулся, и мы покатили по улицам Нового Китежа.

Первое время Фарфуркис страшно надоедал мне советами. То он советовал мне остановиться — там, где остановка была запрещена; то он советовал не гнать и помнить о ценности жизни

Лавра Федотовича; то он требовал, чтобы я ехал быстрее, потому что встречный ветер недостаточно энергично овевает чело Лавра Федотовича; то он требовал, чтобы я не обращал внимания на сигналы светофоров, ибо это подрывает авторитет Тройки...

Однако, когда мы миновали белые китежградские черемушки и выехали за город, когда перед нами открылись зеленые луга, а вдали засинело озеро, когда машина запрыгала по щебенке с гребенкой, в машине наступила умиротворенная тишина. Все подставили лица встречному ветерку, все щурились на солнышко, всем было хорошо. Лавр Федотович закурил первую сегодня «Герцеговину Флор». Хлебовводов тихонько затянул какую-то ямщицкую песню, комендант подремывал, прижимая к груди папки с делами, и только Фарфуркис после короткой борьбы нашел в себе силы справиться с изнеженностью. Развернув карту Китежграда с окрестностями, он деятельно наметил маршрут, который, впрочем, оказался никуда не годным, потому что Фарфуркис забыл, что у нас автомобиль, а не вертолет. Я предложил ему свой вариант: озеро — болото — холм. На озере мы должны были рассмотреть дело плезиозавра; на болоте — рационализи-

ровать и утилизировать имеющее там место гуканье; а на холме нам предстояло обследовать так называемое заколдованное место.

Фарфуркис, к моему удивлению, не возражал. Выяснилось, что он полностью доверяет моей водительской интуиции, более того, он вообще всегда был высокого мнения о моих способностях. Ему будет очень приятно работать со мной в клопиной подкомиссии, он давно меня держит на примете, он вообще всегда держит на примете нашу чудесную талантливую молодежь. Он сердцем всегда с молодежью, но он не закрывает глаза на ее существенные недостатки. Нынешняя молодежь мало борется, мало уделяет внимания борьбе, нет у нее стремления бороться больше, бороться за то, чтобы борьба по-настоящему стала главной, первоочередной задачей всей борьбы, а ведь если она, наша чудесная, талантливая молодежь, и дальше будет так мало бороться, то в этой борьбе у нее останется не много шансов стать настоящей борющейся молодежью, всегда занятой борьбой за то, чтобы сделаться настоящим борцом, который борется за то, чтобы борьба...

Плезиозавра мы увидели еще издали — нечто похожее на ручку от зонтика торчало из воды в двух километрах от берега. Я подвел машину к

пляжу и остановился. Фарфуркис все еще боролся с грамматикой во имя борьбы за борющуюся молодежь, а Хлебовводов уже стремительно выбросился из машины и распахнул дверцу рядом с Лавром Федотовичем. Однако Лавр Федотович выходить не пожелал. Он благосклонно посмотрел на Хлебовводова и сообщил, что в озере — вода, что заседание выездной сессии Тройки он объявляет открытым и что слово предоставляется товарищу Зубо.

Комиссия расположилась на травке рядом с автомобилем, настроение у всех было какое-то нерабочее. Фарфуркис расстегнулся, а я и вовсе снял рубашку, чтобы не терять случая подзагореть. Комендант, поминутно нарушая инструкцию, принялся отбарабанивать анкету плезиозавра по кличке Лизавета, никто его не слушал. Лавр Федотович задумчиво разглядывал озеро перед собой, словно бы прикидывая, нужно ли оно народу, а Хлебовводов вполголоса рассказывал Фарфуркису, как он работал председателем колхоза имени Театра музкомедии и получал по пятнадцать поросят от свиноматки. В двадцати шагах от нас шелестели овсы, на дальних лугах бродили коровы, и уклон в сельскохозяйственную тематику представлялся

вполне извинительным.

Когда комендант зачитал краткую сущность плезиозавра, Хлебовводов сделал ценное замечание: ящур — опасная болезнь скота, заявил он, и можно только удивляться, что здесь он плавает на свободе. Некоторое время мы с Фарфуркисом лениво втолковывали ему, что ящур — это одно, а ящер — это совсем другое. Хлебовводов, однако, стоял на своем, ссылаясь на журнал «Огонек», где совершенно точно и неоднократно упоминался какой-то ископаемый ящур. «Вы меня не собьете, — говорил он. — Я человек начитанный, хотя и без высшего образования». Фарфуркис, не чувствуя себя достаточно компетентным, отступился, я же продолжал спорить, пока Хлебовводов не предложил позвать сюда плезиозавра и спросить его самого. «Он говорить не умеет», — сообщил комендант, присевший рядом с нами на корточки. «Ничего, разберемся, — возразил Хлебовводов. — Все равно же полагается его вызвать, так хоть польза какая-то будет».

— Гррм, — сказал Лавр Федотович. — Вопросы к докладчику имеются? Нет вопросов? Вызовите дело, товарищ Зубо.

Комендант вскочил и заметался по берегу. Сначала он сорванным голосом кричал: «Лизка!

Лизка!» Но, поскольку плезиозавр, по-видимому, ничего не слышал, комендант сорвал с себя пиджак и принялся размахивать им, как потерпевший кораблекрушение при виде паруса на горизонте. Лизка не подавала никаких признаков жизни. «Спит, — с отчаянием сказал комендант. — Окуней наглоталась и спит...» Он еще немного побегал и помахал, а потом попросил меня погудеть. Я принялся гудеть. Лавр Федотович, высунувшись через борт, глядел на плезиозавра в бинокль. Я гудел минуты две, а потом сказал, что хватит, — нечего аккумуляторы подсаживать, — дело казалось мне безнадежным.

— Товарищ Зубо, — не опуская бинокля, произнес Лавр Федотович. — Почему вызванное дело не реагирует?

Комендант побледнел и не нашелся, что сказать.

— Хромает у вас в хозяйстве дисциплинка, — подал голос Хлебовводов. — Подраспустили подчиненных.

Комендант рванул на себе рубашку и разинул безмолвный рот.

— Ситуация чревата подрывом авторитета, — сокрушенно заметил Фарфуркис. — Спать нужно ночью, а днем нужно работать.

Комендант в отчаянии принялся раздеваться. Действительно, иного выхода у него не было. Хлебовводов и Фарфуркис висели над ним, сверкая оскаленными клыками, а Лавр Федотович уже давно начал медленно поворачивать голову в его сторону. Я спросил коменданта, умеет ли он плавать. Выяснилось, что нет, не умеет, но это ему все равно. «Ничего, — кровожадно сказал Хлебовводов. — На дутом авторитете выплывет».

Я осторожно высказал сомнение в целесообразности предпринимаемых действий. Комендант, несомненно, утонет, сказал я, и есть ли необходимость в том, чтобы Тройка брала на себя несвойственные ей функции, подменяя собой станцию спасения на водах. Кроме того, напомнил я, в случае утонутия коменданта задача все равно останется невыполненной, и логика событий подсказывает нам, что тогда плыть придется либо Фарфуркису, либо Хлебовводову.

Фарфуркис возразил на это, что вызов дела является функцией и прерогативой представителя местной администрации, а за отсутствием такового — функцией научного консультанта, так что мои слова он рассматривает как выпад и как попытку валить с больной головы на здоровую. Я заявил в ответ, что здесь и сейчас я выступаю

не столько в качестве научного консультанта, сколько в качестве водителя казенного автомобиля, от коего не имею права удаляться далее чем на двадцать шагов... «Вам следовало бы помнить приложение к Правилам движения по улицам и дорогам, — заметил я укоризненно, ничем особенно не рискуя. — А именно — параграф двадцать первый такового».

Наступило тягостное молчание. Черная ручка от зонтика по-прежнему неподвижно маячила на горизонте. Все с трепетом следили, как медленно, словно трехствольная орудийная башня линейного крейсера, поворачивается в нашу сторону голова Лавра Федотовича. Все мы были на одном плоту, и никому из нас не хотелось залпа.

— Господом нашим... — не выдержал комендант. Он уже стоял на коленях в одном белье. — Спасителем Иисусом Христом!.. Не боюсь я плыть и утонуть не боюсь!.. Но ей-то что, Лизке-то... У ей хайло, что твои ворота!.. Глотка у ей, что твое метро! Она не меня, она корову может сглотнуть, как семечку!.. Спросонья-то...

— В конце концов, — несколько нервничая, произнес Фарфуркис, — зачем нам ее звать? В конце концов, и отсюда видно, что никакого интереса она не представляет. Я предлагаю ее ра-

ционализировать и за ненадобностью списать...

— Списать ее, заразу! — радостно подхватил Хлебовводов. — Корову она может сглотнуть, подумаешь! Тоже мне, сенсация! Корову и я могу сглотнуть, а ты вот от этой коровы добейся... пятнадцать поросят, понимаешь, добейся, вот это работа!

Лавр Федотович наконец развернул главный калибр. Однако вместо дикой орды враждующих индивидуумов, вместо гнезда кипения противоречивых страстей, вместо недисциплинированных, подрывающих авторитет Тройки пауков в банке он обнаружил перед собою в перекрестии прицела сплоченный рабочий коллектив, исполненных энтузиазма и делового рвения сотрудников, горящих единым стремлением: списать заразу Лизку и тут же перейти к следующему вопросу. Залпа не последовало. Орудийная башня развернулась в обратном направлении, и чудовищные жерла отыскали на горизонте ничего не подозревающую ручку от зонтика.

— Народ... — донеслось из боевой рубки. — Народ смотрит вдаль. Эти плезиозавры народу...

— Не нужны! — выпалил Хлебовводов из малого калибра. И промазал.

Выяснилось, что эти плезиозавры нужны народу позарез, что отдельные члены Тройки утратили чувство перспективы, что отдельные коменданты, видимо, забыли, чей хлеб они едят, что отдельные представители нашей славной научной интеллигенции обнаруживают склонность смотреть на мир через черное стекло и что, наконец, дело номер восемь впредь до выяснения должно быть отложено и пересмотрено позже — в один из зимних месяцев, когда до него можно будет добраться по льду. Других предложений не было, вопросов к докладчику — тем более. На том и порешили.

— Перейдем к следующему вопросу, — объявил Лавр Федотович, и действительные члены Тройки, толкаясь и выдирая друг у друга клочья шерсти, устремились к заднему сиденью. Комендант торопливо одевался, бормоча: «Я же тебе это припомню... Лучшие же куски отдавал... Как дочь родную... Скотина водоплавающая...»

Затем мы двинулись дальше по проселочной дороге, ведущей вдоль берега озера. Дорога была страшненькая, и я возносил хвалу небесам, что лето стоит сухое, иначе тут бы нам был и конец. Однако хвалил я небеса преждевременно, потому что по мере приближения к болоту дорога все ча-

ще обнаруживала тенденцию к исчезновению и к превращению в две поросшие осокой сырые рытвины. Я врубил демультипликатор и прикидывал физические возможности своих спутников. Было совершенно ясно, что от толстого, дряблого Фарфуркиса проку будет не много. Хлебовводов выглядел мужиком жилистым, но непонятно было, оправился ли он в достаточной степени после желудочного удара. Лавр же Федотович вряд ли даже соизволит вылезти из машины. Так что действовать в случае чего придется мне с комендантом, потому что Эдик не станет себя, наверное, обнаруживать ради того только, чтобы вытолкнуть из грязи девятисоткилограммовую машину с грузным Вунюковым на борту.

Пессимистические размышления мои были прерваны появлением впереди гигантской черной лужи. Это не была патриархальная буколическая лужа типа миргородской, всеми изъезженная и ко всему притерпевшаяся. Это не была также и мутная глинистая урбанистическая лужа, лениво и злорадно расплывшаяся среди неубранных куч строительного мусора. Это было спокойное и хладнокровное, зловещее в своем спокойствии мрачное образование, небрежно, но основательно расположившееся между двумя

рядами хилой осиновой поросли, — загадочное, словно глаз Сфинкса, коварное, словно царица Тамара, наводящее на кошмарные мысли о бездне, набитой затонувшими грузовиками. Я резко затормозил и сказал:

— Все, приехали.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Товарищ Зубо, доложите дело.

В наступившей тишине было слышно, как колеблется комендант. До болота было еще довольно далеко, но комендант тоже видел лужу и тоже не видел выхода. Он покорно вздохнул и зашелестел бумагами.

— Дело номер тридцать восьмое, — прочитал он. — Фамилия: прочерк. Имя: прочерк. Отчество: прочерк. Название: Коровье Вязло...

— Минуточку! — прервал его Фарфуркис встревоженно. — Слушайте!

Он поднял палец и застыл. Мы прислушались и услышали. Где-то далеко-далеко победно запели серебряные трубы. Множественный звук этот пульсировал, нарастал и словно бы приближался. Кровь застыла у нас в жилах. Это трубили комары, и притом не все, а пока только командиры рот или даже только командиры батальонов и выше. И таинственным внутренним взором

зверя, попавшего в ловушку, мы увидели вокруг себя гектары и гектары топкой грязи, поросшие редкой осокой, покрытые слежавшимися слоями прелых листьев, с торчащими гнилыми сучьями, и все это под сенью болезненно тощих осин, и на всех этих гектарах, на каждом квадратном сантиметре — отряды поджарых рыжеватых каннибалов, лютых, изголодавшихся, самоотверженных.

— Лавр Федотович! — пролепетал Хлебовводов. — Комары!

— Есть предложение! — нервно закричал Фарфуркис. — Отложить рассмотрение данного дела до октября... нет, до декабря месяца!

— Грррм, — произнес Лавр Федотович с удивлением. — Народ не понимает...

Воздух вокруг нас вдруг наполнился движением. Хлебовводов взвизгнул и изо всех сил ударил себя по физиономии. Фарфуркис ответил ему тем же. Лавр Федотович начал медленно и с изумлением поворачиваться, и тут свершилось невозможное: огромный рыжий пират четко, как на смотру, пал Лавру Федотовичу на чело и с ходу, не примериваясь, вонзил в него свою шпагу по самые глаза. Лавр Федотович отшатнулся. Он был потрясен, он не понимал, он не верил... И

началось.

Мотая головой, как лошадь, отмахиваясь локтями, я принялся разворачивать автомобиль на узком пространстве между зарослями осинника. Справа от меня возмущенно рычал и ворочался Лавр Федотович, а с заднего сиденья доносилась такая буря аплодисментов, словно разгоряченная компания улан и лейб-гусар предавалась там взаимооскорблению действием.

К тому моменту, когда я закончил разворот, я уже распух. У меня было такое ощущение, что уши мои превратились в горящие оладьи, щеки — в караваи, а на лбу взошли многочисленные рога. «Вперед! — кричали на меня со всех сторон. — Назад!.. Газу!.. Да подтолкните же его кто-нибудь!.. Я вас под суд отдам, товарищ Привалов!» Двигатель ревел, клочья грязи летели во все стороны, машина прыгала, как кенгуру, но скорость была мала, отвратительно мала, а наперерез с бесчисленных аэродромов снимались все новые и новые эскадрильи, эскадры, армады. Преимущество противника в воздухе было абсолютным. Все, кроме меня, остервенело занимались самокритикой, переходящей в самоистязание. Я же не мог оторвать рук от баранки, я не мог даже отбиваться ногами, у меня оставалась свободной

только одна нога, и ею я бешено чесал все, до чего мог дотянуться.

Потом, наконец, мы вырвались из зарослей осинника обратно на берег озера. Дорога сделалась получше и шла в гору. В лицо мне ударил тугой ветер. Я остановил машину. Я перевел дух и стал чесаться. Я чесался с упоением, я никак не мог перестать, а когда все-таки перестал, то обнаружил, что Тройка доедает коменданта. Комендант был обвинен в подготовке и осуществлении террористического акта, ему предъявили счет за каждую выпитую из членов Тройки каплю крови, и он оплатил этот счет сполна. То, что оставалось от коменданта к моменту, когда я вновь обрел способность видеть, слышать и думать, не могло уже, собственно, называться комендантом как таковым: две-три обглоданные кости, опустошенный взгляд и слабое бормотание: «Господом богом... Иисусом, спасителем нашим...»

— Товарищ Зубо, — произнес наконец Лавр Федотович, — почему вы прекратили зачитывать дело? Продолжайте докладывать.

Комендант принялся трясущимися руками собирать разбросанные по машине листки.

— Зачитайте непосредственно краткую сущность необъясненности, — приказал Лавр Фе-

дотович.

Комендант, всхлипнув в последний раз, прерывающимся голосом прочел:

— Обширное болото, из недр которого время от времени доносятся ухающие и ахающие звуки.

— Ну? — сказал Хлебовводов. — Дальше что?

— Дальше ничего. Все.

— Как так — все? — плачуще возопил Хлебовводов. — Убили меня! Зарезали! И для ради чего? Звуки ахающие... Ты зачем нас сюда привезли, террорист? Ты это нас ухающие звуки слушать привезли? За что же мы кровь проливали? Ты посмотрите на меня — как я теперь в гостинице появлюсь? Ты же мой авторитет на всю жизнь подорвали! Я же тебя сгною так, что от тебя ни аханья, ни уханья не останется!

— Гррrм, — сказал Лавр Федотович, и Хлебовводов замолчал. Глаза его выкатились, он с видом тихого идиота медленно обводил дрожащим пальцем огромную красную припухлость у себя на лбу.

— Есть предложение, — продолжал Лавр Федотович. — Ввиду представления собой делом номер тридцать восемь под названием Коровье Вязло исключительной опасности для народа подвергнуть названное дело высшей мере

рационализации, а именно: признать названное необъясненное явление иррациональным, трансцендентным, а следовательно, реально не существующим, и как таковое исключить навсегда из памяти народа, то есть из географических и топографических карт.

Хлебовводов и Фарфуркис бешено захлопали в ладоши. Лавр Федотович извлек из-под сиденья свой портфель и положил его плашмя к себе на колени.

— Акт! — воззвал он.

На портфель лег акт о высшей мере.

— Подписи!!

На акт пали необходимые подписи.

— *Печат*ь!!!

Лязгнула дверца сейфа, волной накатила канцелярская затхлость, и перед Лавром Федотовичем возникла Большая Круглая Печать. Лавр Федотович взял ее обеими руками, занес над актом и с силой опустил. Мрачная тень прошла по небу, автомобиль слегка присел на рессорах. Лавр Федотович убрал портфель под сиденье и продолжал:

— Коменданту Колонии товарищу Зубо за безответственное содержание в Колонии иррационального, трансцендентного, а следовательно, реально не существующего болота Коровье Вязло,

а также за необеспечение безопасности работы Тройки объявить строгий выговор, но без занесения. Есть еще предложения?

Слегка повредившийся от треволнений Хлебоводов внес предложение приговорить коменданта Зубо к расстрелу с конфискацией имущества и с поражением родственников в правах на двенадцать лет. Однако Фарфуркис слабым голосом возразил, что такой меры социальной защиты Тройка применить не вправе, что у него, Фарфуркиса, есть сильное желание подать на коменданта в суд, но что в конечном счете он, Фарфуркис, полностью поддерживает Лавра Федотовича.

— Следующий, — произнес Лавр Федотович. — Что у нас сегодня еще, товарищ Зубо?

— Заколдованное место, — убито сказал комендант. — Недалеко отсюда, километров пять.

— Комары? — осведомился Лавр Федотович.

— Христом богом... — сказал комендант. — Спасителем нашим... Нету их там. Муравьи разве что...

— Хорошо, — констатировал Лавр Федотович. — Осы? Пчелы? — продолжал он, обнаруживая высокую прозорливость и неусыпную заботу о народе.

— Ни боже мой, — сказал комендант искренне.

Лавр Федотович долго молчал.

— Бешеные быки? — спросил он наконец.

Комендант заверил его, что ни о каких быках в этих окрестностях не может быть и речи.

— А волки? — спросил Хлебовводов подозрительно.

Но в окрестностях не было и волков, а также медведей, о которых вовремя вспомнил Фарфуркис. Пока они упражнялись в зоологии, я рассматривал карту, выискивая кратчайшую дорогу к заколдованному месту. Высшая мера уже оказала свое действие. На карте был Китеж-град, была река Китежа, было озеро Звериное, были какие-то Лопухи, болота же Коровье Вязло, которое распространялось раньше между озером Звериным и Лопухами, больше не было. Вместо него на карте имело место анонимное белое пятно, какое можно видеть на старинных картах на месте Антарктики.

Мне было дано указание продолжать движение, и я продолжил было, но тут Хлебовводов заорал: «А змеи? Там у тебя змеи, небось!» Но не было у коменданта там и змей, и мы поехали. Мы миновали овсы, пробрались сквозь стадо коров, обогнули рощу Круглую, форсировали ручей Сту-

деный и через полчаса оказались перед местом заколдованным.

Это был холм. С одной стороны он порос лесом. Вероятно, раньше здесь кругом стоял сплошной лес, тянувшийся до самого Китежграда, но его свели, и осталось только то, что было на холме. На самой вершине виднелась почерневшая избушка; по склону перед нами бродили две коровы с теленком под охраной большой понурой собаки. Возле крыльца копались в земле куры, а на крыше стояла коза.

— Что же вы остановились? — спросил меня Фарфуркис. — Надо же подъехать, не пешком же нам...

— И молоко у них, по всему видать, есть... — добавил Хлебовводов. — Я бы молочка сейчас выпил. Когда, понимаешь, грибами отравишься, очень полезно молочка выпить. Ехай, ехай, чего стали!

Я попытался объяснить им, что подъехать к холму ближе невозможно, но объяснения мои были встречены таким ледяным изумлением Лавра Федотовича, заразившегося мыслью о целебных свойствах парного молочка, такими стенаниями Фарфуркиса: «Сметана! С погреба!», что я не стал спорить. Мне и самому было любопытно еще раз

проехаться по этой дороге.

Я включил двигатель, и машина весело покатилась к холму. Спидометр принялся отсчитывать километры, шины шуршали по колючей травке. Лавр Федотович неукоснительно глядел вперед, а заднее сиденье в предвкушении молока и сметаны затеяло спор, чем на болотах питаются комары. Хлебовводов вынес из личного опыта суждение, что комары питаются исключительно ответственными работниками, совершающими инспекционные поездки. Фарфуркис, выдавая желаемое за действительное, уверял, что комары живут самоедством. Комендант же кротко, но настойчиво лепетал о божественном, о какой-то божьей росе и жареных акридах. Так мы ехали минут двадцать. Когда спидометр показал, что пройдено пятнадцать километров, Хлебовводов спохватился.

— Что же это получается? — сказал он. — Едем-едем, а холм где стоял, там и стоит... Поднажмите, товарищ водитель, что это вы, браток?

— Не доехать нам до холма, — кротко сказал комендант. — Он же заколдованный, не доехать до него и не дойти... Только бензин весь даром сожжем.

После этого все замолчали, и на спидометре

намоталось еще семь километров. Холм попрежнему не приблизился ни на метр. Коровы, привлеченные шумом мотора, сначала некоторое время глядели в нашу сторону, затем потеряли к нам интерес и снова уткнулись в траву. На заднем сиденье нарастало возмущение. Хлебовводов и Фарфуркис обменивались негромкими замечаниями, деловитыми и зловещими. «Вредительство», — говорил Хлебовводов. «Саботаж, — возражал Фарфуркис. — Но — злостный». Потом они перешли на шепот, и до меня доносилось только: «...на колодках... ну да, колеса крутятся, а машина стоит... Комендант?.. Может быть, и врио консультанта... бензин... подрыв экономики... потом машину спишут с большим пробегом, а она новенькая...» Я не обращал внимания на этих зловещих попугаев, но потом вдруг хлопнула дверца и ужасным, стремительно удаляющимся голосом заорал Хлебовводов. Я изо всех сил ударил по тормозам. Лавр Федотович, продолжая движение, с деревянным стуком, не меняя осанки, влип в ветровое стекло. У меня в глазах потемнело от удара. Машину занесло. Когда пыль рассеялась, я увидел далеко позади товарища Хлебовводова, который все еще катился вслед за нами, беспорядочно размахивая конечностями.

— Затруднение? — осведомился Лавр Федотович обыкновенным голосом. Кажется, он даже не заметил удара. — Товарищ Хлебовводов, устраните.

Мы устраняли затруднение довольно долго. Пришлось сходить за Хлебовводовым, который лежал метрах в пятидесяти позади, ободранный, с лопнувшими брюками и очень удивленный. Выяснилось, что он заподозрил нас с комендантом в заговоре: будто мы незаметно поставили машину на колодки и гоним с корыстными целями километраж. Движимый чувством долга, он решил выйти на дорогу и вывести нас на чистую воду, заглянув под машину. Теперь он был буквально поражен тем, что это ему не удалось. Мы с комендантом приволокли его к машине, положили у заднего колеса так, чтобы он самолично убедился в своем заблуждении, а сами отправились на помощь Фарфуркису, который в панике искал и никак не мог найти свои очки и верхнюю челюсть. Фарфуркис искал их в машине, но комендант нашел их далеко впереди.

Затруднение было полностью устранено, повреждения Хлебовводова оказались довольно поверхностными, и Лавр Федотович, только теперь осознав, что парного молока нет, не будет

и быть не может, внес предложение не тратить бензин, принадлежащий народу, а приступить к нашим прямым обязанностям.

— Товарищ Зубо, — произнес он. — Доложите дело.

У дела двадцать девятого фамилии, имени и отчества, как и следовало ожидать, не оказалось. Оказалось только условное наименование «Заколдун». Год рождения его терялся в глубине веков, место рождения определялось координатами с точностью до минуты дуги. По национальности Заколдун был русский, образования не имел, иностранных языков не ведал, профессия у него была — холм, а место работы в настоящее время опять же определялось упомянутыми выше координатами. За границей Заколдун сроду не бывал, ближайшим родственником его являлась Мать Сыра Земля, адрес же постоянного местожительства определялся все теми же координатами и с той же точностью. Анкета произвела на Хлебовводова благоприятнейшее впечатление. Хлебовводов сказал, что будь он сейчас, как некогда, председателем правления Всероссийского хорового общества, он бы такого товарища утвердил бы в любой должности с закрытыми глазами. Что же касается краткой

сущности необъясненности, то Выбегалло, не мудрствуя лукаво, выразил ее предельно кратко: «Во-первых, не проехать, во-вторых, не пройти».

Комендант сиял. Дело уверенно шло на рационализацию. Хлебовводов был доволен анкетой. Фарфуркис восхищался необъясненностью, с одной стороны очевидной, а с другой — ничем не угрожающей народу, да и Лавр Федотович, по-видимому, тоже не возражал. Во всяком случае, он доверительно сообщил нам, что народу нужны холмы, а также равнины, овраги, буераки, эльбрусы и казбеки.

Но тут дверь избушки растворилась, и на крыльцо выбрался, опираясь на палочку, старый человек в валенках и длинной подпоясанной рубахе до колен. Он потоптался на порожке, посмотрел из-под руки на солнце, махнул рукой на козу, чтобы слезла с крыши, и уселся на ступеньку.

— Свидетель! — сказал Фарфуркис. — А не вызвать ли нам свидетеля?

— Так что ж — свидетель... — упавшим голосом сказал комендант. — Разве чего неясно? Ежели вопросы есть, то я могу...

— Нет! — сказал Фарфуркис, с подозрением глядя на него. — Нет, зачем же вы? Вы вон где

живете, а он — здешний.

— Вызвать, вызвать! — сказал Хлебовводов. — Пусть молока принесет.

— Грррм, — сказал Лавр Федотович. — Товарищ Зубо, вызовите свидетеля по делу номер двадцать девять.

— Эх! — воскликнул комендант, ударивши соломенной шляпой о землю. Дело рушилось на глазах. — Да если бы он мог сюда прийти, он бы разве там сидел? Он там, можно сказать, в заключении! Не выйти ему оттуда! Как он там застрял, так он там и остался...

И в полном отчаянии, под пристальными подозрительными взглядами Тройки, предчувствуя новые неприятности и ставши от этого необычайно словоохотливым, комендант поведал нам китежградское предание о заколдунском леснике Феофиле. Как жил он себе и не тужил в своей сторожке с женой, — молодой тогда еще совсем был, здоровенный; как ударила однажды в холм зеленая молния, и начались страшные происшествия. Жена Феофилова как раз в город уходила; вернулась — не может взойти на холм, до дому добраться. Она опять в город, побежала в слезах к попу. Поп набрал святой воды в ведро и пошел холм кропить. Идет он, идет, не дойти до холма,

да и только. Брызгал он этой святой водой направо, налево, молитвы возносил — не помогает. А поп оказался в вере слаб, взял и разуверился. Расстригся, ренегат, и пошел в атеисты. Это уже бунт. Приехал урядник, видит — на холме Феофил. Спервоначалу грозил Феофилу, звал, ругался по-черному, потом принялся Феофила шкаликом приманивать. Мол, увидит шкалик Феофил и обязательно к нему прорвется, а тут уж его можно будет хватать и вязать. И верно, рвался Феофил. Двое суток к шкалику с холма без передышки бежал — нет, не добежать. Так он там и остался. Он — там, жена — здесь. Сначала к нему приходила, кричали они друг другу, потом надоело ей, перестала ходить. Феофил сначала тоже очень оттуда рвался. Говорят, видели, как он свинью зарезал, солониной запасся, чистое белье увязал и пошел с холма путешествовать. Хлеба, говорят, взял на дорогу два каравая, сухарей. Долго шел с холма, полгорода сбежалось глядеть, как он идет. И все по низу холма, все по низу. Смех и грех. Ну, потом, конечно, успокоился, смирился, жить-то надо. Так с тех пор и живет. Ничего, привык.

Выслушав эту страшную историю, Хлебовводов вдруг сделал открытие: советских документов у Феофила нет, переписи он избежал, в выборах

участия не принимал, воспитательной работе не подвергался и вполне возможно, что остался кулаком-мироедом.

— Две коровы у него, — говорил Хлебовводов, — и теленок вот. Коза. А налогов не плотит... — Глаза его вдруг расширились. — Раз теленок есть, значит и бык у него где-то там спрятан!

— Есть бык, это точно, — уныло признался комендант. — Он у него, верно, на той стороне сейчас пасется.

— Ну, браток, и порядочки у тебя, — зловеще сказал Хлебовводов. — Знал я, чувствовал, что хапуга ты и очковтиратель, но такого даже от тебя не ожидал. Чтобы ты подкулачник, чтобы ты кулака покрывали, мироеда...

Комендант набрал в грудь побольше воздуха и заныл:

— Святой девой Марией... Двенадцатью первоапостолами... На евангелии клянусь и на конституции...

— Внимание! — прошептал невидимый Эдик.

Лесник Феофил вдруг поднял голову и, прикрываясь от солнца ладонью, посмотрел в нашу сторону. Затем он встал, отбросил клюку и начал неторопливо спускаться с холма, оскальзываясь в высокой траве. Белая грязноватая коза следовала

за ним как собачонка. Феофил подошел к нам, опустился в вольтеровское кресло, задумчиво подпер подбородок костлявой коричневой рукой, а коза села рядом и уставилась на нас желтыми бесовскими глазами.

— Люди как люди, — сказал Феофил. — Удивительно...

Коза отбросила за спину тяжелую золотую косу, обвела нас взглядом и выбрала Хлебовводова.

— Это вот Хлебовводов, — сказал она. — Рудольф Архипович. Родился в девятьсот десятом в Хохломе, имя родители почерпнули из великосветского романа, по образованию — школьник седьмого класса, происхождения родителей стыдится, иностранных языков изучал много, но не знает ни одного...

— Иес! — подтвердил Хлебовводов, стыдливо хихикая. — Натюрлих-яволь!..

— ...профессии как таковой не имеет — руководитель. В настоящее время — руководитель-общественник. За границей был: в Италии, во Франции, в обеих Германиях, в Венгрии, в Англии... и так далее, всего в сорока двух странах. Везде хвастался и хапал. Отличительная черта характера — высокая социальная живучесть и приспособляемость, основанные на принципи-

альной глупости и на неизменном стремлении быть ортодоксальнее ортодоксов.

— Так, — сказал Феофил. — Можете что-нибудь к этому добавить, Рудольф Архипович?

— Никак нет! — сказал Хлебовводов весело. — Разве что вот... орто... доро... орто-ксальный... не совсем ясно!

— Быть ортодоксальнее ортодоксов означает примерно следующее, — сказала коза. — Если начальство недовольно каким-нибудь ученым, вы объявляете себя врагом науки вообще. Если начальство недовольно каким-нибудь иностранцем, вы готовы объявить войну всему, что за кордоном. Понятно?

— Так точно, — сказал Хлебовводов. — Иначе невозможно. Образование у нас больно маленькое. Иначе того и гляди промахнешься.

— Крал? — небрежно спросил Феофил.

— Нет, — сказала коза. — Подбирал, что с возу упало.

— Убивал?

— Ну что вы! — засмеялась коза. — Лично — никогда.

— Расскажите что-нибудь, — попросил Хлебовводова Феофил.

— Ошибки были, — быстро сказал Хлебовводов.

— Люди не ангелы. И на старуху бывает проруха. Конь о четырех ногах, и то спотыкается. Кто не ошибается, тот не ест... то есть не работает...

— Понял, понял, — сказал Феофил. — Будете еще ошибаться?

— Ни-ког-да! — твердо сказал Хлебовводов.

Феофил покивал.

— Что от него останется на земле? — спросил он козу.

— Дети, — сказала коза. — Двое законных, трое незаконных... Фамилия в телефонной книге... — Прекрасное лицо ее напряглось, словно она всматривалась в даль. — Нет, больше ничего...

— А нам много и не надо, — хихикнул Хлебовводов. — Касательно же незаконных детей, то ведь это как получается? Едешь, бывало, в командировку...

— Благодарю вас, — сказал Феофил. Он посмотрел на Фарфуркиса. — А этот приятный мужчина?

— Это Фарфуркис, — сказала коза. — По имени и отчеству никогда и никем называем не был. Родился в девятьсот шестнадцатом в Таганроге, образование высшее, юридическое, читает по-английски со словарем. По профессии — лектор. Имеет степень кандидата исторических наук,

тема диссертации: «Профсоюзная организация мыловаренного завода имени товарища Семенова в период 1934–1941 годы». За границей не был и не рвется. Отличительная черта характера — осторожность и предупредительность, иногда сопряженные с риском навлечь на себя недовольство начальства, но всегда рассчитанные на благодарность от начальства впоследствии...

— Это не совсем так, — мягко возразил Фарфуркис. — Вы несколько подменяете термины. Осторожность и предупредительность являются чертой моего характера безотносительно к начальству, я таков от природы, это у меня в хромосомах. Что же касается начальства, то такова уж моя обязанность — указывать вышестоящим юридические рамки их компетенции.

— А если они выходят за эти рамки? — спросил Феофил.

— Видите ли, — сказал Фарфуркис, — чувствуется, что вы не юрист. Нет ничего более гибкого и уступчивого, нежели юридические рамки. Их можно указать при необходимости, но их нельзя перейти.

— Как вы насчет лжесвидетельствования? — спросил Феофил.

— Боюсь, что этот термин несколько устарел,

— сказал Фарфуркис. — Мы им не пользуемся.

— Как у него насчет лжесвидетельствования? — спросил Феофил козу.

— Никогда, — сказала коза. — Он всегда свято верит в то, о чем свидетельствует.

— Действительно, что такое ложь? — сказал Фарфуркис. — Ложь — это отрицание или искажение факта. Но что есть факт? Можно ли вообще в условиях нашей невероятно усложнившейся действительности говорить о факте? Факт есть явление или деяние, засвидетельствованное очевидцами? Однако очевидцы могут быть пристрастны, корыстны или просто невежественны... Факт есть деяние или явление, засвидетельствованное в документах? Но документы могут быть подделаны или сфабрикованы... Наконец, факт есть деяние или явление, фиксируемое лично мною. Однако мои чувства могут быть притуплены или даже вовсе обмануты привходящими обстоятельствами. Таким образом оказывается, что факт как таковой есть нечто весьма эфемерное, расплывчатое, недостоверное, и возникает естественная потребность вообще отказаться от такого понятия. Но в этом случае ложь и правда автоматически становятся первопонятиями, неопределимыми через какие бы то ни было

более общие категории... Существуют Большая Правда и антипод ее, Большая Ложь. Большая Правда так велика и истинность ее так очевидна всякому нормальному человеку, каким являюсь и я, что опровергать или искажать ее, то есть лгать, становится совершенно бессмысленно. Вот почему я никогда не лгу и, естественно, никогда не лжесвидетельствую.

— Тонко, — сказал Феофил. — Очень тонко... Конечно, после Фарфуркиса останется эта его философия факта?

— Нет, — сказала коза. — То есть философия останется, но Фарфуркис тут ни при чем. Это не он ее придумал. Он вообще ничего не придумал, кроме своей диссертации, так что останется от него только эта диссертация как образец сочинений такого рода.

Феофил задумался. Коза сидела у его ног на скамеечке и расчесывала волосы, как Лорелея. Мы встретились с нею глазами, и она мне улыбнулась не без кокетства. Очень, очень милая была козочка. Было в ней что-то от моей Стеллочки, и мне ужасно захотелось домой.

— Правильно ли я понял, — сказал Фарфуркис, обращаясь к Феофилу, — что все кончено, и мы можем продолжать свои занятия?

— Еще нет, — ответил Феофил, очнувшись от задумчивости. — Я хотел бы еще задать несколько вопросов вот этому гражданину...

— Как?! — вскричал потрясенный Фарфуркис. — Лавру Федотовичу?

— Народ... — проговорил Лавр Федотович, глядя куда-то в бинокль.

— Вопросы Лавру Федотовичу?!. — бормотал Фарфуркис, находясь в состоянии грогги.

— Да, — подтвердила коза. — Вунюкову Лавру Федотовичу, год рождения...

— Да что же это такое?! — возопил в отчаянии Фарфуркис. — Товарищи! Да куда это мы опять заехали? Ну что это такое? Неприлично же...

— Правильно, — сказал Хлебовводов. — Не наше это дело. Пускай милиция разбирается.

— Гррrм, — произнес Лавр Федотович. — Другие предложения есть? Вопросы к докладчику есть? Выражая общее мнение, предлагаю дело номер двадцать девять рационализировать в качестве необъясненного явления, представляющего интерес для Министерства пищевой промышленности, Министерства финансов и Министерства охраны общественного порядка. В целях первичной утилизации предлагаю дело номер двадцать девять под наименованием «Заколдун» передать

в прокуратуру Китежградского района.

Я посмотрел на вершину холма. Лесник Феофил, тяжело опираясь на клюку, стоял на своем крылечке, из-под ладони озирая окрестности. Коза бродила по огороду. Я, прощаясь, помахал им беретом. Горестный вздох невидимого Эдика прозвучал над моим ухом одновременно с тяжелым стуком Большой Круглой Печати.

Глава седьмая

Возвращаясь из исполкомовского гаража в гостиницу, я потерял бдительность и вновь был пойман старикашкой Эдельвейсом. Делать было нечего, и я холодно осведомился, выполнил ли он мое задание. К моему огромному изумлению, оказалось, что да. Оказалось, что все рекомендованные книжки в количестве пяти он прочел от доски до доски и вызубрил наизусть: бывают такие дотошные старички, усердные не по разуму. Я не поверил, однако он шпарил по памяти целые страницы с любого места слева направо, справа налево и даже сзаду наперед. При этом сразу же было видно, что он абсолютно ничего в прочитанном не понял и никогда не поймет. Воспользовавшись моим естественным замешательством, он объявил, что теорией он теперь овладел, возвращаться к ней больше не намерен, а намерен он возвратиться к практике.

В отчаянии и меланхолии я понес какую-то околесицу насчет самообучающихся машин. Он слушал, раскрыв рот, и впитывал каждый звук — по-моему, он запоминал эту околесицу дословно. Затем меня осенило. Я спросил, доста-

точно ли сложной машиной является его агрегат. Он немедленно и страстно заверил меня, что агрегат невообразимо сложен, что иногда он, Эдельвейс, даже сам не понимает, что там где и к чему. Прекрасно, сказал я. Хорошо известно, что всякая достаточно сложная электронная машина обладает способностью к самообучению и самовоспроизводству. Самовоспроизводство нам сейчас пока не нужно, а вот обучить эвристический агрегат Бабкина... тьфу... Машкина печатать тексты самостоятельно, без человека-посредника, мы обязаны в самые короткие сроки. Как это сделать? Мы применим хорошо известный и многократно испытанный метод длительной тренировки.

Преимущество этого метода в простоте. Берется достаточно обширный текст, скажем, «Жизнь животных» Брема в пяти томах. Машкин садится за свой агрегат и начинает печатать слово за словом, строчку за строчкой, страницу за страницей. При этом анализатор агрегата будет анализировать, думатель... — у ей внутре ведь есть, кажется, думатель? — ...думатель будет думать, и таким образом агрегат станет у вас обучаться. Вы и ахнуть не успеете, как он у вас начнет сам печатать. Вот вам рубль подъемных, и ступайте в библиотеку

за Бремом...

Расставшись с Эдельвейсом, я поднялся в наш номер. Здесь было невесело. На моей кровати сидел, подперев подбородок кулаками, взлохмаченный и небритый Витька. Лицо его выражало высшую степень недовольства миром вообще и своим положением в этом мире в особенности. Эдик, обняв колено, сидел на подоконнике и грустно смотрел на улицу. Роман в кремовых брюках, кремовых же выходных штиблетах и в майке расхаживал по комнате и со стыдливой горечью говорил о том, что быть моральным и нравственным хорошо, а быть аморальным и безнравственным, наоборот, плохо, что в нашем обществе, оказывается, узаконена строгая моногамия и любые попытки пойти против течения беспощадно караются общественным презрением, а то и в уголовном порядке; что любовь — это ни в какой мере не вздохи на скамейке и уж, во всяком случае, не прогулки при луне...

Я сел за стол, откупорил бутылку нарзана и спросил, о чем идет речь. Выяснилось, что товарищ Голый, администратор опытный, искушенный в принципе «доверяй, но проверяй», навел справки о гражданине Ойре-Ойре Р. П., и сведения о семейном положении этого гражданина оказались

столь неблагоприятными, что товарищ Голый мнением положил: гражданина Ойру-Ойру Р. П. впредь на порог не пускать и от ухаживания и иных матримоний в отношении товарища Ирины отстранить, а товарищу Ирине объявить выговор и предложить ей в дисциплинарном порядке забыть и думать об указанном гражданине Ойре-Ойре Р. П. Выяснилось далее, что к отстранению от матримоний старший из магистров отнесся легко, если не сказать легкомысленно, но мучается теперь вполне обоснованным страхом, что оргвыводы отстранением не закончились и весьма возможен неофициальный закулисный сговор между местной администрацией в лице товарища Голого и Тройкой в лице товарища Вунюкова о невидании товарищем Ойрой-Ойрой Р. П. спрута Спиридона, как своих ушей без зеркала. Короче говоря, старший из магистров потерпел сокрушительное поражение и был отброшен на исходные рубежи.

Не менее решительное поражение, как оказалось, потерпел и грубый, темный, уголовный Виктор Корнеев. Ничего, кроме серых и черных слов, вытянуть из него не получалось, но сами за себя говорили, во-первых, знакомый бидон с Жидким пришельцем, стоящий в углу и готовый

к возврату в комендантово лоно, а во-вторых, крайне угнетенное состояние духа темного и уголовного Корнеева, свидетельствующее о переживаемой им ужасной нравственной трагедии. Можно было только догадываться, что именно произошло, и мысленному взору являлись тогда великие: грустный Жиан Жиакомо, укоризненный Федор Симеонович и беспощадно-брезгливый Кристобаль Хунта, произносящие перед поникшим Корнеевым какие-то волшебной силы слова, которые нам не дано было услышать (и слава богу!).

В отличие от двух своих собратьев-магистров, Эдик Амперян не признавал себя потерпевшим окончательное поражение. Однако то, чему он оказался сегодня свидетелем — зверское избиение Клопа Говоруна, бездарное рассмотрение дела заразы Лизки и решительная расправа со злосчастным Коровьим Вязлом, — изрядно потрепало его оптимизм. Решение же по заколдованному месту, принятое немедленно после одного из лучших Эдиковых психологических этюдов, повергло его в панику. Следовало серьезно подумать о состоятельности методов позитивной реморализации в применении к неуязвимой Тройке.

Я закурил сигарету и, перестав сопротивляться, с головой погрузился в волны меланхолии, затопившей номер. Мне было совершенно ясно, что фортуна повернула к нам свою спину.

— Увы мне! — воскликнул вдруг Панург, грустно звякнув бубенцами. — Здесь печально, как в скорбном доме; здесь уныло, как на кладбище; а ведь вам еще неизвестна история блаженного Акакия! Вы еще не знаете, что Акакий был послушником у одного весьма сурового инока. Этот чернорясник всячески терзал Акакия словом и жезлом, дабы смирить его дух и умертвить его плоть. Однако, поскольку Акакий, существо крайне незлобивое, сносил ругань и побои без единого стона и жалобы, инок этот, как часто бывает с садистическими натурами, постепенно распалился и незаметно для себя переменил цель своих жестоких упражнений. Теперь он припекал Акакия, стремясь изо всех сил спровоцировать беднягу на бунт или хотя бы на просьбу о пощаде. И не преуспел ведь! Плоть сломалась раньше духа, и Акакий в бозе почил. И вот, стоя над раскрытым гробом и глядя в мертвое лицо, разочарованный инок в злобе и раздражении думал: «Ушел-таки... Не повезло... Надо же, какая скотина попалась упрямая!» Как вдруг Акакий

открыл один глаз и торжествующе показал иноку длинный язык...

— Чего надо? — хмуро спросил Панурга грубый Корнеев. — Чего вы здесь все время шляетесь?

— Витька, — сказал я, — это же Панург...

— Ну и что? Шляются тут всякие шуты гороховые, уши развешивают по чужим домам... — Он схватил оставленный Панургом колпак с бубенцами и вышвырнул в окно.

— У товарища Колуна тоже есть взрослая дочка, — задумчиво проговорил Роман, но Корнеев посмотрел на него с таким презрением, что старший из магистров только рукой махнул, сел и принялся стаскивать матримониальные кремовые брюки.

Тогда Эдик решительно объявил, что нам остается одно: обратиться в высшие инстанции. Он, Эдик, не считает, правда, Тройку совершенно уж безнадежной и будет продолжать свои попытки реморализации и далее, но толково составленная и разумно обоснованная докладная записка, по-деловому критикующая деятельность Тройки, будучи направлена по верному адресу, может вызвать желательные последствия. Эдику возразил Роман, прекрасно изучивший все такого рода входы и выходы. Он сказал, что никакая «телега»

не способна вызвать желательные последствия, ибо попадет она либо к товарищу Голому, духовная близость которого к товарищу Вунюкову очевидна, либо к товарищу Колуну, для которого авторитет профессора Выбегаллы не менее весом, нежели авторитет магистра Амперяна, и который как добросовестный человек не согласится выступать арбитром в научном споре. Так что в лучшем случае «телега» ничего не изменит, а в худшем — настроит Тройку на мстительный образ мысли.

Это было похоже на правду, и Корнеев предложил нейтрализовать Выбегаллу в надежде, что новый научный консультант окажется порядочным человеком. Витькино предложение показалось нам неясным. Непонятно было, что Корнеев имеет в виду под словом «нейтрализовать» и почему эта нейтрализация приведет к появлению нового консультанта. Впрочем, Корнеев с возмущением и достаточно грубо отверг наши подозрения и сказал, что имеется в виду лишь кампания по систематическому спаиванию профессора, которую кто-нибудь из нас развернет. Разика два приползет к заседанию на бровях, сказал Витька, его и попрут. Мы были разочарованы. В высшей степени сомнитель-

ным представлялось, чтобы кто-нибудь из нас в отдельности или даже все мы вместе способны были бы за пиршественным столом поставить Выбегаллу на брови. Кишка у нас была тонка, слабы мы были в коленках, и не хватало у нас для такой кампании пороху.

Я предложил изготовить дубли всех экспонатов, в которых мы были заинтересованы, и подсунуть их Тройке вместо оригиналов. Мне казалось, что это позволит нам выиграть время, а там, глядишь, мы что-нибудь и придумаем. Мое предложение было отвергнуто — как паллиативное, оппортунистическое, дурно пахнущее и к тому же не сводящее дело с мертвой точки. Тогда, с горя, я предложил создать дубликаты членов Тройки. Магистры удивились. Были заданы вопросы. Я не знал, зачем я это предложил. У меня не было никаких оснований предполагать, будто Шестерка будет лучше Тройки. Я сказал это просто так, от отчаяния, и Корнеев заставил меня признать, что хотя я и демонстрирую иногда случайные озарения, но в сущности своей я как был дураком, так и остался.

Тут в разговор снова вмешался Панург и внес свое предложение, сформулированное в виде притчи о том, как некий Таврий Юбеллий оста-

новил на улице убийцу двухсот двадцати пяти сенаторов консула Фульвия, сделал ему выговор и в знак протеста против позорной бойни заколол себя кинжалом. Некоторым кажется, что Таврий Юбеллий — герой, заключил Панург, но на самом деле он тоже дурак: зачем убивать себя, честного человека, если имеешь реальную возможность заколоть убийцу двух сотен твоих друзей и знакомых? Мы обдумали идею, заложенную в этой притче, и отказались от нее, причем Корнеев заявил, что довольно с нас уголовщины.

Источник идей иссякал на глазах. Последнюю попытку сделал Эдик, предложивший в знак протеста облить бензином и сжечь на глазах у Тройки своего дубля. Роман усомнился в эффективности такого жеста, и они быстренько проиграли идею на моделях. Естественно, Роман оказался прав. Когда модель дубля вспыхнула, модель Лавра Федотовича отреагировала на происшествие стандартным высказыванием: «Затруднение? Товарищ Хлебовводов, устраните». И модель Хлебовводова, повалив на пол горящую модель дубля, затоптала ее ногами вместе с огнем. Больше идей не было, но зато позвонил телефон. Я снял трубку.

— Профессора Привалова Александра Иванови-

ча можно позвать? — осведомился до тошноты знакомый дребезжащий голос.

— Да, — сказал я. — Слушаю вас, товарищ Машкин.

— Так что разрешите доложить, — сказал Эдельвейс, — что указания ваши я выполнил в точности. Две страницы уже перепечатал. Но вот беда какая... Не по-русски там идет... У меня в агрегате таких букв и нету. Иностранные, видать... Их печатать, или как?

— А! — сказал я, догадавшись, что речь идет о латинских наименованиях различных животных. — Обязательно печатать!

— А ежели в ём этих букв нету?

— Тогда срисовывайте рукой... Очень хорошо! Агрегат заодно и срисовывать научится... Действуйте, действуйте!

Я повесил трубку, и у меня даже на сердце потеплело, когда я представил себе, как настырный Эдельвейс, вместо того чтобы путаться под ногами, клянчить приказы и мучить меня своей глупостью, мирно сидит себе за «ремингтоном», колотит по клавишам и, высунув язык, срисовывает латинские буквы. И еще долго будет колотить и срисовывать, а когда мы покончим с Бремом, то возьмем сначала тридцать томов

Чарлза Диккенса, а затем, помолясь, примемся за девяностотомное собрание сочинений Льва Николаевича со всеми письмами, статьями, заметками и комментариями... Не-ет, Витька не совсем прав, не такой уж я дурак, мне только взяться, а там уж я...

Я торжествующе оглядел кислые физиономии друзей моих и только было собрался для поднятия духа рассказать им, как умные люди обходят вставшие у них на пути препятствия, возведенные тупостью и невежеством, как вдруг неожиданное решение нашей проблемы выскочило у меня откуда-то из мозжечка и мгновенно завладело серым веществом. Несколько секунд я лихорадочно искал практическое решение осенившей меня светлой идеи, не нашел его и, не желая далее искать в одиночку, быстро и несвязно стал рассказывать, как я обуздал Эдельвейса.

Меня поняли, едва я упомянул о Бреме. Мне сказали, чтобы я замолчал. Мне сказали, чтобы я заткнулся и не мешал. Мне сказали, что я молодец, ясная голова, и мне тут же сказали, что будет лучше, если я уйду и перестану, как последний осел, путаться под ногами.

— Вечный двигатель! — провозгласил Роман. — Десять заявок. Лучше двадцать.

— Двадцать на двигатель первого рода, — подхватил Эдик, — столько же на двигатель второго рода...

— Разумный селенит, — сказал Витька. — Электронное оборудование для спиритического кабинета...

— Дух Наполеона! — вскричал Эдик. — Я знаю, в Колонии есть две штуки!

— По пять заявок на каждую...

— Духи — это блеск. Дух Македонского — раз, дух Бисмарка, дух Чингисхана...

— Дух Амперяна!

— Откуда ты его возьмешь?

— Сделаем!

— Правильно, сделаем! А что еще можно сделать?

— Подождите, — сказал Роман. — Сделать можно все, не пропадем. Но нужно десять тысяч заявок как минимум, а это значит — десять тысяч авторитетных подписей, десять тысяч бланков, десять тысяч конвертов... Далее, наша почта не справится, надо ей помочь...

— Ясно, — сказал Витька. — Я беру на себя заявки со всеми причиндалами. Ты, Роман, старый филателист, ты займись почтой. Эдик, ты самый эрудированный, садись и составляй список глу-

постей. Сашка... Черт, вот ведь бездарь, ничего не умеет... Ладно, бланки я тоже возьму на себя. А ты забирай палатку и катись в Тихую Заводь, потому что ночевать в этом номере сегодня будет невозможно. И чтобы к десяти часам была уха, были раки, костер и все прочее. Пшел!

Он выхватил волшебную палочку, и я торопливо пшел. Я закрыл за собой дверь как раз в тот момент, когда в стол ударила первая молния. Я шарахнулся. Голос Витьки рявкнул какое-то халдейское слово, и дверь исчезла. Предо мной была глухая стена.

Я завистливо вздохнул и, бормоча: «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить», — направился в Колонию к Спиридону. В Спиридоновом павильоне хранилось наше туристическое снаряжение. Я послал Говоруна и Федю за хлебом и приправами, а сам принялся осматривать рыболовные снасти. Через час все было готово, и мы тронулись в путь.

Я тащил палатку, котелок, удочки и все, что было необходимо для ухи. Федя толкал перед собой тачку со Спиридоном и нес одеяла. Клоп ничего не нес — он шагал поодаль, засунув руки в карманы, и оскорбительно разглагольствовал насчет так называемых разумных существ, кото-

рые, несмотря на весь свой хваленый разум, шагу не могут ступить без продуктов питания. «А я вот все мое ношу с собой», — хвастливо заявлял он. Спиридон помалкивал под мокрой мешковиной и только вращал глазами.

Нам предстояло пройти около десяти километров до Тихой Заводи, прелестного местечка на берегу Китежи, где мы обычно ставили палатку, разводили костер, варили уху и играли в бадминтон. До захода солнца оставалось около двух часов, надо было поторапливаться, но мы задержались в Колонии поболтать с пришельцем Константином.

Константину сильно не повезло. Его летающее блюдце совершило вынужденную посадку около года назад. При посадке корабль испортился окончательно, и защитное силовое поле, которое автоматически создалось в момент приземления, убрать Константину не удалось. Поле это было устроено так, что не пропускало ничего постороннего. Сам Константин со своей одеждой и с деталями двигателя мог ходить через сиреневую пленку в обе стороны совершенно беспрепятственно. Но семейство полевых мышей, случайно оказавшееся на месте посадки, так там и осталось, и Константин вынужден был

скармливать ему небогатые свои запасы, так как земную пищу пронести под защитный колпак не мог даже в своем желудке. Под колпаком оказались также забытые кем-то на парковой аллее тапочки, и это было единственное из земных благ, от которого Константину была хоть какая-то польза. Кроме тапочек и мышей, в защитном поле были заключены: два куста волчьей ягоды, часть чудовищной садовой скамейки, изрезанной всевозможными надписями, и четверть акра сыроватой, никогда не просыхающей почвы.

Константиновы дела были плохи. Звездолет не желал чиниться. На Китежградском заводе не было, естественно, ни подходящих запчастей, ни специального оборудования. Кое-что можно было бы достать в крупнейших научных центрах мира, но требовалось ходатайство Тройки, и Константин с нетерпением вот уже много месяцев ждал вызова. Он возлагал некоторые надежды на помощь землян, он рассчитывал, что ему хотя бы удастся снять проклятое защитное поле и провести, наконец, на корабль какого-нибудь крупного ученого, но в общем-то он был настроен пессимистически, он был готов к тому, что земная техника окажется в состоянии помочь ему только лет через двести.

Константиново летающее блюдце стояло недалеко от дороги. Из-под блюдца торчали ноги Константина, обутые в скороходовские тапочки сорок четвертого размера. Ноги отлягивались от семейства мышей, настойчиво требовавших ужина. Федя постучал в защитное поле, и Константин, увидев нас, выбрался из-под блюдца. Он прикрикнул на мышей и вышел к нам. Знаменитые тапочки, конечно, остались внутри, и мыши тотчас устроили в них временное обиталище.

Мы спросили, как у Константина дела. Константин бодро сообщил, что, кажется, начало получаться, и перечислил два десятка незнакомых нам приборов, которые были ему совершенно необходимы. Мы сказали ему, что вредно так много работать, и пригласили с собой — отдохнуть, развлечься, поесть ухи. Минут десять мы объясняли ему, что такое уха, после чего он признался, что это ему совсем неинтересно и что он лучше пойдет поработает. Кроме того, близилось время кормить мышей. Он пожал нам руки и снова полез под свое блюдце. Мы двинулись дальше.

Дорога шла вдоль Китежи, приятная загородная дорога, покрытая нежной теплой пылью, неразбитая, гладкая. Справа тянулись огороды городского питомника, слева, под небольшим

обрывчиком, текла темная прохладная река, очень приятная на вид здесь, вдали от стоков Китежградского завода. Мы шли быстро. Меня прошибал пот, Федя тоже очень старался, и разговаривать нам было некогда: мы берегли дыхание. А Спиридон с Говоруном затеяли разговор на темы морали. Слушать их было очень поучительно, поскольку ни тот, ни другой представления не имели ни о гуманизме, ни о любви к ближнему.

Спиридон утверждал, что совесть — это пустое понятие, придуманное для обозначения внутренних переживаний человека, делающего не то, что ему делать надлежит. «Да, — соглашался Клоп, — муки совести — это последствия сделанных ошибок. У этих теплокровных людишек масса возможностей совершать ошибки, не то что у нас, клопов. У нас сохраняются только те, кто ошибок не делает и, следовательно, мучений совести не испытывает. Потому-то у клопов и нет совести». Это была истинная правда: будь у данного клопа хоть капля совести, он мог бы, по крайней мере, тащить пакет с луком.

Покончив с совестью, Спиридон перешел на проблемы добра и зла, и они быстро с ними расправились, согласившись, что находятся по ту сторону как того, так и другого. Затем последо-

вали: вопрос о так называемой подлости, вопрос о праве на убийство и вопрос о любви. Подлость они объявили понятием, производным от совести и потому несущественным. Во взглядах на право убивать они разошлись решительно. Спиридон исходил из принципа: живу, потому что убиваю и не могу иначе. Клоп же проповедовал в этом вопросе христианство: соси, но знай меру. Они разгорячились и опять чуть не подрались, потому что Клоп обозвал Спиридона фашистом. Мы с Федей их разняли. Федя пригрозил Спиридону, что вывалит его на дорогу, а я пообещал Клопу, что сведу его в дезинсекцию.

Тогда они заговорили о любви. Спиридон оказался певцом любви платонической. Говорун же — чувственной. Спиридон вздыхал, закатывал глаза и мерзким голосом пел баллады — в переводе на русский — о коралловом цветке его нежности, плывущем по бурному океану навстречу предмету любви, каковой предмет он, несчастный влюбленный, никогда не видел и никогда не увидит. Он стонал и цитировал Блока: «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, аи... Как тонко! — вздыхал он. — Как верно! Очень по-нашему, очень...» Говорун вначале только хихикал и расправлял усы тыльной сто-

роной ладони, однако потом и его разобрало. Он принялся читать нам стихи собственного сочинения, предпослав им в виде эпиграфа знаменитые строки «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым...», каковые он считал вершиной человеческой поэзии. Однако мы с Федей нашли его сочинения непристойными и велели ему замолчать. Особенно негодовал Федя. Он заявил, что такого не слыхивал даже от обезьян в зоопарке, где отсидел по недоразумению несколько месяцев.

Так за разговорами мы еще засветло добрались до Заводи. Федя подкатил тачку к самой воде и с удовольствием вывалил Спиридона в темный, поросший кувшинками омут. Каждый занялся своим делом. Спиридон исчез под волнами и, через минуту появившись, сообщил нам, что сегодня здесь полно раков, есть окуни и два больших леща. Я велел ему ловить раков, но ни в коем случае не отпугивать и, упаси бог, не трогать будущую уху. Федя принялся разбивать палатку, а я стал разжигать костер. Говорун, как всегда, отлынивал. Сославшись на внезапный приступ хандры и на слабые мышцы, он скрылся в кустах, где жило несколько его знакомых травяных клопов, и оттуда тотчас понеслись взрывы хохота и надсадно выкрикиваемые обрывки анекдотов

сомнительного свойства.

Когда солнце село, лагерь был готов. Великолепно, без единой морщинки растянутая палатка ждала постояльцев в объятия расстеленных одеял. Весело трещал костер, и купающиеся в кипятке раки становились все более и более красными. Федя, закинув три удочки, азартно следил за поплавками, хотя уже основательно стемнело и надеяться на клев более не приходилось. Из омута страшновато поблескивали глаза удобно расположившегося там Спиридона. Судя по редким всплескам, он, несмотря на строжайший запрет, ощупкой ловил и поедал на месте отборную рыбу, однако уличить его в этом не было никакой возможности.

Я взял кол от палатки, сходил в кусты и разогнал веселящуюся там компанию, которая перешла уже все границы. Говорун полез было в амбицию, но я показал ему указательный палец и засадил чистить лук. Закат отбушевал, высыпали звезды, раки сварились, первая порция ухи — тоже. Я намазался диметилфталатом и пригласил всех к столу. Мы с Федей с удовольствием ели уху, сосали раков. Говорун присел поодаль на пенек и, глядя на нас, во всеуслышание сетовал на отсутствие поблизости приличной гостиницы или,

по крайней мере, Дома колхозника. Спиридон плескался и чем-то хрустел в своем омуте.

Потом, когда уха была съедена, а раки высосаны до последней лапки, Федя пошел в темноту сполоснуть посуду и проверить, как себя чувствует живая рыба в садке. Для второй порции ухи все было готово, оставалось ждать ребят. Я прилег у костра, ощущая во всем теле приятную негу, предвкушая одеяло в палатке и завтрашнее утреннее купание при активном участии Спиридона, и как мы ухватим Говоруна за руки, за ноги и всей компанией поволочем его топить, а он будет орать и распространять коньячные запахи... Вспомнив о Клопе, я стал размышлять, куда девать его на ночь, дабы не вводить в искушение: посадить ли его в спичечный коробок или привязать шпагатом к дереву, — а в темноте у меня за ушами злобно и разочарованно завывали комары, оскорбленные диметилфталатом. Говорун сидел на пеньке, поджав под себя все ноги, и поглядывал на меня со странным выражением. Федя рассказывал Спиридону, как прекрасны снежные горы, каким образом нужно до них отсюда добираться и какие воинские части дислоцированы в окрестностях Китежграда. Я совсем уже решил было проблему Клопа, сообра-

зив, что его просто следует перевезти на ночь на другой берег, и раздумывал, как бы поделикатнее сообщить ему о своем решении, как вдруг послышался треск валежника, приглушенные голоса, и из лесу один за другим вышли и вступили в освещенное пространство хорошо знакомые, но совершенно неожиданные люди.

Лавр Федотович, поддерживаемый под локоть дремлющим на ходу полковником, приблизился к костру первым и опустился на землю так резко, словно у него подломились ноги. Полковник вознамерился было рухнуть в костер, но, видимо, спохватился и рухнул в кусты прямо на возмущенно загалдевших травяных клопов. Хлебовводов отпихнул локтем Федю и уселся на его место. Фарфуркис же сначала вдумчиво пристроил огромный портфель Лавра Федотовича и только тогда опустился рядом со мной, протягивая к костру пухлые ручки.

Это было совершенно неожиданно и необъяснимо. Я обалдело посмотрел на часы. Было ровно десять. Тройка сидела неподвижно, и мне вдруг показалось, что эти люди, если не считать спящего полковника, удивлены не меньше и понимают не больше меня.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович с ка-

кой-то новой интонацией. — Кажется, возникло затруднение. Товарищ Фарфуркис, устраните.

Было совершенно очевидно, что затруднение действительно возникло и что Фарфуркис пока еще не имеет ни малейшего представления о том, как его устранять.

— Э... — сказал он. — Э... Природа... Э... Лес, река... Э... Отдых... — Он вдруг оживился. — Я полагаю, Лавр Федотович, что Тройка была достаточно загружена все эти дни, чтобы теперь позволить себе отдых...

— На природе, — подхватил сообразительный Хлебовводов.

— Да-да, на природе. Позвольте, да здесь прелестно! Палатка, костер...

— Костер — это огонь, — с некоторым сомнением сообщил Лавр Федотович.

— Совершенно верно, — без колебаний согласился Фарфуркис. — Прекрасный свежий воздух, проточная вода... Здесь можно прекрасно отдохнуть. Мы здесь прекрасно отдохнем, Лавр Федотович!

— Гррр м, — сказал Лавр Федотович. — Товарищ Хлебовводов, распорядитесь.

Хлебовводов тотчас вскочил и, зацепившись за натянутую веревку, прямо в сапогах полез в

палатку.

— Все готово, Лавр Федотович! — бодро сообщил он оттуда. — Я уже распорядился! Пять одеял верблюжьих и три подушки походных, надувных. Сейчас я их надую, и можно отдыхать.

— Народ... — сказал Лавр Федотович, величественно поднимаясь. — Народ имеет право на отдых... Товарищ Фарфуркис, назначаю вас ответственным за отдых. Обеспечьте. Спокойной ночи, товарищи! Можете отдыхать.

С этими словами, подняв в знак прощального приветствия белую мягкую руку, он шагнул в палатку и тотчас принялся там ворочаться, как бронтозавр, время от времени, если судить по тихим воплям, придавливая собою Хлебовводова.

— Товарищ врио научного консультанта, — обратился ко мне Фарфуркис. — Оставляю вас дежурным по лагерю. Во-первых, костер. Костер не должен гаснуть всю ночь. Во-вторых, к завтраку Лавр Федотович предпочитает свежую рыбу, молоко и... э-э... лесные ягоды. Скажем, земляника, малина... Это на ваше усмотрение. В случае тревоги будите меня.

Он встал на четвереньки и ловко нырнул в палатку, увлекая за собой председательский портфель. И уже через секунду тишина наруши-

лась на диво спевшимся хором носоглоток: Лавр Федотович вел басы, Хлебовводов подтягивал звучным тенором, а Фарфуркис, выбирая паузы, врывался в них прерывистым дискантом.

— Так землянику или малину? — спросил безответный Федя.

— Кукиш с маслом, — сказал я. — Какого черта? Ничего не понимаю. Откуда они взялись? Где ребята?

Федя растерянно улыбнулся и пожал плечами.

— Не знаю, — пробормотал он. — Странно как-то... — Он помолчал. — Нет, пойду все-таки малинки соберу, — сказал он и ушел в темноту.

— Может быть, кто-нибудь объяснит мне все это? — громко спросил я.

Но Говоруна на пеньке уже не было. Сквозь носоглоточный хор я слышал, как он осторожно бродит в палатке, ступая по спящим, и потихоньку мурлычет: «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым...»

Никто не ответил на мой вопрос. Только из омута донесся до меня скрежещущий смех Спиридона.

Глава восьмая

Утреннее солнце, вывернув из-за угла школы, теплым потоком ворвалось в раскрытые настежь окна комнаты заседаний, когда на пороге появился каменнолицый Лавр Федотович и немедленно предложил задернуть шторы. Народу это не нужно, объяснил он. Сейчас же следом за ним появился Хлебовводов, подталкивая впереди себя полковника. Полковник разбитым голосом выкрикивал команды и комментировал их, а Хлебовводов приговаривал: «Ладно, ладно тебе, развоевался...» Когда мы с комендантом задернули шторы, на пороге возник Фарфуркис. Он что-то жевал и утирался. Невнятной скороговоркой извинившись за опоздание, он разом проглотил все недожеванное и завопил:

— Протестую! Вы с ума сошли, товарищ Зубо! Немедленно убрать эти шторы! Что за манера отгораживаться и бросать тень?

Возник крайне неприятный инцидент, и все время, пока инцидент распутывался, пока Фарфуркиса унижали, сгибали в бараний рог, вытирали об него ноги и выбивали ему бубну, Выбегалло, как бы говоря: «Вот злонравия до-

стойные плоды!», — укоризненно качал головой и многозначительно поглядывал в мою сторону. Потом Фарфуркиса, растоптанного, растерзанного, измолоченного и измочаленного, пустили униженно догнивать на его место, а сами, отдуваясь, опуская засученные рукава, вычищая клочья шкуры из-под когтей, облизывая окровавленные клыки и непроизвольно взрыкивая, расселись за столом и объявили себя готовыми к утреннему заседанию.

— Гррrм, — произнес Лавр Федотович, бросив последний взгляд на распятые останки. — Следующий! Докладывайте, товарищ Зубо.

Комендант впился в раскрытую папку скрюченными пальцами, в последний раз глянул поверх бумаг на поверженного врага налитыми глазами, в последний раз с оттяжкой кинул задними лапами землю и, только втянув жадно раздутыми ноздрями сладостный аромат разложения, окончательно успокоился.

— Дело семьдесят второе, — забарабанил он. — Константин Константинович Константинов двести тринадцатый до новой эры город Константинов планеты Константины звезды Антарес...

— Я бы попросил! — прервал его Хлебовводов. — Ты что это нам читаете? Ты это нам роман

читаете? Или водевиль? Ты, браток, анкету нам зачитываете, а получается у тебя водевиль.

Лавр Федотович взял бинокль и направил на коменданта. Комендант сник.

— Это, помню, в Сызрани, — продолжал Хлебовводов, — бросили меня заведующим курсов повышения квалификации среднего персонала, так там тоже был один — улицу не хотел подметать... Только не в Сызрани, помнится, это было, а в Саратове... Ну да, точно, в Саратове! Сперва я там школу мастеров-крупчатников укреплял, а потом, значит, бросили меня на эти курсы... Да, в Саратове, в пятьдесят втором году, зимой. Морозы, помню, как в Сибире... Нет, — сказал он с сожалением, — не в Саратове это было. В Сибире это и было, а вот в каком городе — вылетело из башки. Вчера еще помнил, эх, думаю, хорошо было там, в этом городе...

Он замолчал, мучительно приоткрыв рот. Лавр Федотович подождал немного, осведомился, есть ли вопросы к докладчику, убедился, что вопросов нет, и предложил Хлебовводову продолжать.

— Лавр Федотович, — прочувствованно сказал Хлебовводов. — Забыл, понимаете, город. Ну забыл, и все. Пускай он пока дальше зачитывает, а я покуда вспомню... Только пускай он по форме,

пускай пункты называет и не частит, а то ведь безобразие получается...

— Продолжайте докладывать, товарищ Зубо, — сказал Лавр Федотович.

— Пункт пятый, — прочитал комендант с робостью. — Национальность...

Фарфуркис позволил себе слабо шевельнуться и сейчас же испуганно замер. Однако Хлебовводов уловил это движение и приказал коменданту:

— Сначала. Сначала! Сызнова читайте!

— Пункт первый, — сказал комендант. — Фамилия...

Пока он читал сызнова, я с беспокойством думал о ребятах, почему они не пришли вчера в лагерь, почему их нет сейчас на заседании, неужели работы оказалось так много...

— Херсон! — заорал вдруг Хлебовводов. — В Херсоне это было, вот где... Ты давайте, продолжайте, — сказал он вздрогнувшему коменданту. — Это я так, вспомнил... — Он сунулся к уху Лавра Федотовича и, млея от смеха, принялся ему что-то нашептывать, так что черты товарища Вунюкова обнаружили тенденцию к раздеревенению, и он был вынужден прикрыться от демократии обширной ладонью.

— Пункт шестой, — нерешительно зачитал

комендант. — Образование: высшее син... кри... кре... кретическое.

Фарфуркис дернулся и пискнул, но опять не посмел. Хлебовводов ревниво вскинулся:

— Какое? Какое образование?

— Синкретическое, — повторил комендант единым духом.

— Ага, — сказал Хлебовводов и поглядел на Лавра Федотовича.

— Это хорошо, — веско произнес Лавр Федотович. — Народ любит самокритику. Продолжайте докладывать, товарищ Зубо.

— Пункт седьмой. Знание иностранных языков: все без словаря.

— Чего-чего? — сказал Хлебовводов.

— Все, — повторил комендант. — Без словаря.

— Вот так самокритическое, — сказал Хлебовводов. — Ну ладно, мы это проверим.

— Пункт восьмой. Профессия и место работы в настоящее время: читатель поэзии, ам-фи-брахист, пребывает в краткосрочном отпуске. Пункт девятый...

— Подождите, — сказал Хлебовводов. — Работает-то он где?

— В настоящее время он в отпуске, — пояснил комендант. — В краткосрочном.

— Это я без тебя понял, — возразил Хлебовводов. — Я говорю: специальность у него какая?

Комендант поднял папку к глазам.

— Читатель... — сказал он. — Стихи, видно, читает.

Хлебовводов ударил по столу ладонью.

— Я тебе не говорю, что я глухой, — сказал он. — Что он читает, это я слышал. Читает и пусть себе читает в свободное от работы время. Специальность, говорю! Работает где, кем?

Выбегалло отмалчивался, и я не вытерпел.

— Его специальность — читать поэзию, — сказал я. — Он специализируется по амфибрахию.

Хлебовводов посмотрел на меня с подозрением.

— Нет, — сказал он. — Амфибрахий — это я понимаю. Амфибрахий там... то, се... Я что хочу уяснить? Я хочу уяснить, за что ему жалованье плотят, зарплату.

— У них зарплаты как таковой нет, — пояснил я.

— А! — обрадовался Хлебовводов. — Безработный! — Но он тут же опять насторожился. — Нет, не получается!.. Концы с концами у вас не сходятся. Зарплаты нет, а отпуск есть. Что-то вы тут крутите, изворачиваетесь вы тут что-то...

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Имеется вопрос к докладчику, а также к научному консультанту. Профессия дела номер семьдесят два.

— Читатель поэзии, — быстро сказал Выбегалло. — И вдобавок... эта... амфибрахист.

— Место работы в настоящее время, — сказал Лавр Федотович.

— Пребывает в краткосрочном отпуске. Отдыхает, значить, краткосрочно.

Лавр Федотович, не поворачивая головы, перекатил взгляд в сторону Хлебовводова.

— Имеются еще вопросы? — осведомился он.

Хлебовводов тоскливо заерзал. Простым глазом было видно, как высшая доблесть солидарности с мнением начальства борется в нем с не менее высоким чувством гражданского долга. Наконец гражданский долг победил, хотя и с заметным для себя ущербом.

— Что я должен сказать, Лавр Федотович, — залебезил Хлебовводов. — Ведь вот что я должен сказать! Амфибрахист — это вполне понятно. Амфибрахий там... то, се... И насчет поэзии все четко. Пушкин там, Михалков, Корнейчук... А вот читатель... Нет же в номенклатуре такой профессии! И понятно, что нет. А то как это получается? Я,

значит, стишки почитываю, а мне за это — блага, мне за это — отпуск... Вот что я должен уяснить.

Лавр Федотович взял бинокль и воззрился на Выбегаллу.

— Заслушаем мнение консультанта, — объявил он.

Выбегалло поднялся.

— Эта... — сказал он и погладил бороду. — Товарищ Хлебовводов правильно здесь заостряет вопрос и верно расставляет акценты. Народ любит стихи — се ля мэн сюр ле кёр ке же ву ле ди![38] Но всякие ли стихи нужны народу? Же ву деманд анпё[39], всякие ли? Мы с вами, товарищи, знаем, что далеко не всякие. Поэтому мы должны очень строго следовать... эта... определенному, значить, курсу, не терять из виду маяков и... эта... ле вин этире иль фо ле боар[40]. Мое личное мнение вот какое: эдэ — туа э дье тедера[41]. Но я предложил бы еще заслушать присутствующего здесь представителя товарища Привалова, вызвать его, так сказать, в качестве свидетеля...

Лавр Федотович перевел бинокль на меня. Хлебовводов сказал:

— А что ж, пускай. Все равно он постоянно выскакивает, не терпится ему, вот пускай и прояснит, раз он такой шустрый...

— Вуаля, — с горечью сказал Выбегалло, — ледукасьён куон донно жёнжен дапрезан![42]

— Вот и я говорю, пускай, — повторил Хлебовводов.

— Слово предоставляется свидетелю Привалову, — произнес Лавр Федотович, опуская бинокль.

Я сказал:

— У них там очень много поэтов. Все пишут стихи, и каждый поэт, естественно, хочет иметь своего читателя. Читатель же — существо неорганизованное, он этой простой вещи не понимает. Он с удовольствием читает хорошие стихи и даже заучивает их наизусть, а плохие знать не желает. Создается ситуация несправедливости, неравенства, а поскольку жители там очень деликатны и стремятся, чтобы всем было хорошо, создана специальная профессия — читатель. Одни специализируются по ямбу, другие — по хорею, а Константин Константинович — крупный специалист по амфибрахию и осваивает сейчас александрийский стих, приобретает вторую специальность. Цех этот, естественно, вредный, и читателям полагается не только усиленное питание, но и частые краткосрочные отпуска.

— Это я все понимаю! — проникновенно вскри-

чал Хлебовводов. — Ямбы там, александриты... Я одного не понимаю: за что же ему деньги платят? Ну сидит он, ну читает. Вредно, знаю! Но чтение — дело тихое, внутреннее, как ты его проверишь, читает он или кемарит, сачок?.. Я помню, заведовал я отделом в инспекции по карантину и защите растений, так у меня попался один... Сидит на заседании и вроде бы слушает, даже записывает что-то в блокноте, а на деле спит, прощелыга! Сейчас по конторам многие навострились спать с открытыми глазами... Так вот я и не понимаю: наш-то как? Может, врет? Не должно же быть такой профессии, чтобы контроль был невозможен — работает человек или, наоборот, спит?

— Это все не так просто, — возразил я. — Ведь он не только читает, ему присылают все стихи, написанные амфибрахием. Он должен все их прочесть, понять, найти в них источник высокого наслаждения, полюбить их и, естественно, обнаружить какие-нибудь недостатки. Об этих всех своих чувствах и размышлениях он обязан регулярно писать авторам и выступать на творческих вечерах этих авторов, на читательских конференциях, и выступать так, чтобы авторы были довольны, чтобы они чувствовали свою необхо-

димость... Это очень, очень тяжелая профессия, — заключил я. — Константин Константинович — настоящий герой труда.

— Да, — сказал Хлебовводов. — Теперь я уяснил. Полезная профессия. И система мне нравится. Хорошая система, справедливая.

— Продолжайте докладывать, товарищ Зубо, — произнес Лавр Федотович.

Комендант вновь поднес папку к глазам.

— Пункт девятый. Был ли за границей: был. В связи с неисправностью двигателя четыре часа находился на острове Рапа-Нуи.

Фарфуркис что-то неразборчиво пропищал, и Хлебовводов тотчас подхватился.

— Это чья же нынче территория? — обратился он к Выбегалле.

Профессор Выбегалло, добродушно улыбнувшись, широким снисходительным жестом отослал его ко мне.

— Дадим слово молодежи, — сказал он.

— Территория Чили, — объяснил я.

— Чили, Чили... — забормотал Хлебовводов, тревожно поглядывая на Лавра Федотовича. Лавр Федотович хладнокровно курил. — Ну, раз Чили — ладно тогда, — решил Хлебовводов. — И четыре часа только... Ладно. Что там дальше?

— Протестую! — с безумной храбростью прошептал Фарфуркис, но комендант уже читал дальше.

— Пункт десятый. Краткая сущность необъясненности: разумное существо со звезды Антарес. Летчик космического корабля под названием летающее блюдце...

Лавр Федотович не возражал. Хлебовводов, глядя на него, одобрительно кивнул, и комендант продолжал:

— Пункт одиннадцатый. Данные о ближайших родственниках... Тут большой список.

— Читайте, читайте, — сказал Хлебовводов.

— Семьсот девяносто три лица, — предупредил комендант.

— Ты не теряйте время, — посоветовал Хлебовводов. — Твое дело читать, вот и читайте. И разборчиво.

Комендант вздохнул и начал:

— Родители — А, Бе, Ве, Ге, Де, Е, Ё, Же...

— Ты это чего? Ты постой... Ты погоди... — сказал Хлебовводов, от изумления утратив дар вежливости. — Ты что, в школе? Мы тебе что, дети?

— Как написано, так и читаю, — огрызнулся комендант и продолжал: — Зе, И, Й, Ке, Ле, Ме...

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Име-

ется вопрос к докладчику. Отец дела номер семьдесят два. Фамилия, имя, отчество.

— Одну минутку, — вмешался я. — У Константина Константиновича девяносто четыре родителя пяти различных полов, девяносто шесть собрачников четырех различных полов, двести семь детей пяти различных полов и триста девяносто шесть соутробцев пяти различных полов.

Эффект моего сообщения превзошел все ожидания. Лавр Федотович в полном замешательстве взял бинокль и поднес его ко рту. Хлебовводов беспрерывно облизывался. Фарфуркис яростно листал записную книжку.

На Выбегаллу надеяться не приходилось, и я готовился к генеральному сражению — углублял траншеи до полного профиля, минировал танкоопасные направления, оборудовал отсечные позиции. Погреба ломились от боеприпасов, артиллеристы застыли у орудий, пехоте было выдано по чарке водки. Эх, ребят со мной не было! Не было у меня резерва Главного Командования, был я один.

Тишина тянулась, набухала грозой, насыщалась электричеством, и рука моя уже легла на телефонную трубку — я готов был скомандовать упреждающий атомный удар, — однако все это

ожидание рева, грохота, лязга окончилось пшиком. Хлебовводов вдруг осклабился, наклонился к уху Лавра Федотовича и принялся что-то нашептывать ему, бегая по углам замаслившимися глазками. Лавр Федотович опустил обслюненный бинокль, прикрылся ладонью и произнес дрогнувшим голосом:

— Продолжайте докладывать, товарищ Зубо.

Комендант с готовностью отложил список родственников и зачитал:

— Пункт двенадцатый. Адрес постоянного места жительства: Галактика, звезда Антарес, планета Константина, государство Константиния, город Константинов, вызов 457 дробь 149. Все.

— Протестую, — сказал Фарфуркис окрепшим голосом. Лавр Федотович благосклонно взглянул на него. Опала кончалась, и Фарфуркис со слезами счастья на глазах затарахтел: — Я протестую! В описании указана дата рождения — двести тринадцатый год до нашей эры. Если бы это было так, то делу номер семьдесят два было бы сейчас больше двух тысяч лет, что на две тысячи лет превышает максимальный известный науке возраст. Я требую уточнить дату и наказать виновного.

— Ему действительно две тысячи лет, — сказал я.

— Это антинаучно, — возразил Фарфуркис. — Вы, товарищ свидетель, напрасно воображаете, что вам позволят здесь оперировать антинаучными заявлениями. Мы здесь тоже кое-что знаем, и я говорю сейчас даже не о гигантском опыте нашего руководства, но просто о нашем знании научной литературы. В последнем номере журнала «Здоровье»... — И он подробно рассказал содержание статьи о геронтологии в последнем номере журнала «Здоровье». Когда он кончил, Хлебовводов ревниво спросил:

— А может быть, он горец, откуда вы знаете?

— Но позвольте! — вскричал Фарфуркис. — Даже среди горцев максимально возможный возраст...

— Не позволю я, — сказал Хлебовводов. — Не позволю я вам преуменьшать достижения наших славных горцев! Если хотите знать, то максимально возможный возраст наших горцев предела не имеет! — И он победоносно поглядел на Лавра Федотовича.

— Народ... — произнес Лавр Федотович. — Народ вечен. Пришельцы приходят и уходят, а народ наш, великий народ пребывает вовеки.

Фарфуркис и Хлебовводов задумались, прикидывая, в чью же пользу высказался председатель.

Ни тому ни другому рисковать не хотелось. Один был на гребне и не желал из-за какого-то паршивого пришельца с этого гребня ссыпаться. Другой, глубоко внизу, висел над пропастью, но ему только что была сброшена спасательная бечевка. А между тем Лавр Федотович произнес:

— У вас все, товарищ Зубо? Вопросы есть? Нет вопросов? Есть предложение вызвать дело, поименованное Константиновым Константином. Других предложений нет? Пусть дело войдет.

Комендант побледнел, закусил губу и вытащил из кармана перламутровую коробочку.

— Пусть дело войдет, — повторил Лавр Федотович, чуть повышая голос.

— Сейчас, сейчас, — бормотал комендант. Ему было страшно.

— Ну чего ты стоите? — возмущенно спросил Хлебовводов. — Мне прикажете за ним идти?

Тогда комендант решился. Он зажмурил глаза и нажал на перламутровую крышку. Раздался звук откупориваемой бутылки, и рядом с демонстрационным столом появился Константин. По-видимому, вызов захватил его во время работы: он был в комбинезоне, заляпанном флюоресцентной смазкой, передние руки его были в рабочих металлических перчатках, а задние он

торопливо вытирал о спину. Все четыре глаза его еще хранили озабоченное, деловое выражение. По комнате распространился сильный запах Большой Химии.

— Здравствуйте, — сказал Константин обрадованно, сообразив, видимо, куда попал. — Наконец-то вы меня вызвали. Правда, дело мое пустяковое, неловко даже вас беспокоить, но я в безвыходном положении, мне только и остается, что просить о помощи. Чтобы не задерживать долго ваше внимание, что мне нужно? — Он принялся загибать пальцы на правой передней руке. — Лазерную сверлильную установку, но самой высокой мощности. Плазменную горелку, у вас такие уже есть, я знаю. Два инкубатора на тысячу яиц каждый. Для начала мне этого хватит, но хорошо бы еще квалифицированного инженера и чтобы разрешили работать в лабораториях ФИАНа...

— Так какой же это пришелец? — с изумлением и негодованием произнес Хлебовводов. — Какой он, я спрашиваю, пришелец, если я его каждый день вижу в ресторане? Вы, собственно, гражданин, кто такой и как сюда попали?

— Я — Константин из системы Антареса... — Константин смутился. — Я думал, что вы уже

все знаете... Меня уже опрашивали, я анкету заполнял... — Он заметил Выбегаллу и приветливо ему улыбнулся. — Ведь это вы меня опрашивали, верно?

Хлебовводов тоже обратился к Выбегалле.

— Так это, по-вашему, пришелец? — язвительно спросил он.

— Эта... — сказал Выбегалло с достоинством. — Современная наука не отрицает, значить, возможности прибытия пришельцев, товарищ Хлебовводов, надо быть в курсе. Это официальное мнение, не мое, а гораздо более ответственных научных работников... Джордано Бруно, например, высказывался по этому вопросу вполне официально... Академик Волосянис Левон Альфредович тоже... и... эта... писатели — Уэльс, например, или, скажем, Тьмутараканов...

— Странные какие-то дела творятся, — сказал Хлебовводов с недоверием. — Пришельцы какие-то странные пошли...

— Я вот смотрю фотографию в деле, — подал голос Фарфуркис, — и вижу, что общее сходство имеется, но у товарища на фотографии две руки, а у этого неизвестного гражданина — четыре. Как это с точки зрения науки может быть объяснено?

Выбегалло разразился длиннейшей французской цитатой, смысл которой сводился к тому, что некий Артур любил поутру выйти на берег моря, предварительно выпив чашку шоколада. Я перебил его и сказал:

— Костя, встаньте, пожалуйста, к товарищу Фарфуркису лицом.

Константин повиновался.

— Так-так-так, — сказал Фарфуркис. — С этим мы разобрались. Должен вам сказать, Лавр Федотович, что сходство фотографии с этим вот товарищем несомненное. Вот четыре глаза я вижу... да, четыре. Носа нет... Да... Рот крючком. Все правильно.

— Ну, не знаю, — сказал Хлебовводов. — О пришельцах ясно писали в прессе, и утверждалось там, что если бы пришельцы существовали, они давали бы нам о себе знать. А поскольку, значит, не дают о себе знать, то их и нет, а есть одна выдумка недобросовестных лиц... Вы пришелец? — гаркнул он вдруг на Константина.

— Да, — сказал Константин, попятившись.

— Знать вы о себе давали?

— Я не давал, — сказал Константин. — Я вообще не собирался у вас приземляться. И дело ведь не в этом, по-моему...

— Нет уж, гражданин хороший, ты мне это бросьте. Именно в этом все дело и есть. Дал о себе знать — милости просим, хлеб-соль выносим, пей-гуляй. А не дал — не обессудь. Амфибрахий амфибрахием, а мы тут тоже деньги не даром получаем. Мы тут работаем и отвлекаться на посторонних не можем. Таково мое общее мнение.

— Гррррм, — произнес Лавр Федотович. — Кто еще желает высказаться?

— Я, с вашего позволения, — попросил Фарфуркис. — Товарищ Хлебовводов в целом верно изобразил положение вещей. Однако мне кажется, что, несмотря на загруженность работой, мы не должны отмахиваться от товарища. Мне кажется, мы должны подойти более индивидуально к этому конкретному случаю. Я — за более тщательное расследование. Никто не должен получить возможность обвинять нас в поспешности, бюрократизме и бездушии, с одной стороны, а также в халатности, прекраснодушии и отсутствии бдительности, с другой стороны. С позволения Лавра Федотовича я предложил бы провести дополнительный опрос гражданина Константинова с целью выяснения его личности.

— Чего это мы будем подменять собой ми-

лицию? — сказал Хлебовводов, чувствуя, что поверженный соперник вновь неудержимо лезет вверх по склону.

— Прошу прощения! — сказал Фарфуркис. — Не подменять собой милицию, а содействовать исполнению духа и буквы инструкции, где в параграфе девятом главы первой части шестой сказано по этому поводу... — Голос его повысился до торжествующей звонкости. — «В случае, когда идентификация, произведенная научным консультантом совместно с представителем администрации, хорошо знающим местные условия, вызывает сомнения Тройки, надлежит произвести дополнительное изучение дела на предмет уточнения идентификации совместно с уполномоченным Тройки или на одном из заседаний Тройки». Что я и предлагаю.

— Инструкция, инструкция... — сказал Хлебовводов гнусаво. — Мы будем по инструкции, а он тут нам голову будет морочить, жулик четырехглазый... время будет у нас отнимать. Народное время! — воскликнул он страдальчески, косясь на Лавра Федотовича.

— Почему же это я жулик? — осведомился Константин с возмущением. — Вы меня оскорбляете, гражданин Хлебовводов. И вообще я вижу, что

вам совершенно безразлично, пришелец я или не пришелец, вы только стараетесь подсидеть гражданина Фарфуркиса и выиграть в глазах гражданина Вунюкова... Это бесчестно...

— Клевета! — наливаясь кровью, заорал Хлебовводов. — Оговаривают! Да что же это, товарищи? Двадцать пять лет, куда прикажут... Ни одного взыскания... Всегда с повышением...

— И опять врете, — хладнокровно сказал Константин. — Два раза вас выгоняли без всякого повышения.

— Да это навет! Это политический донос! Не те времена, товарищ Константинов! Мы еще посмотрим, чем ваша сотня родителей занималась, что это были за родители... Набрал, понимаете, родственников целое учреждение...

— Гррrм, — проговорил Лавр Федотович. — Есть предложение прекратить прения и подвести черту. Другие предложения есть?

Наступила тишина. Фарфуркис, не слишком скрываясь, торжествовал, Хлебовводов вытирался платком, а Константин пристально вглядывался в Лавра Федотовича, явно тщась прочесть его мысли или хотя бы проникнуть в его душу, однако видно было, что все его старания пропадают втуне, и в четырехглазом безносом лице его

виделась мне все более отчетливо проступающая разочарованность опытного кладоискателя, который отвалил заветный камень, засунул по плечо руку в древний тайник, но никак не может там нащупать ничего, кроме нежной пыли, липкой паутины и каких-то неопределенных крошек.

— Поскольку других предложений не поступает, — провозгласил Лавр Федотович, — приступим к доследованию дела. Слово предоставляется... — он сделал томительную паузу, во время которой Хлебовводов чуть не умер, — ...товарищу Фарфуркису.

Хлебовводов, очутившись на дне зловонной пропасти, безумными глазами следил за полетом стервятника, свершающего круг за кругом в недоступной теперь ведомственной синеве. Фарфуркис же не торопился начинать. Он проделал еще пару кругов, обдавая Хлебовводова пометом, затем уселся на гребне, почистил перышки, охорашиваясь и кокетливо поглядывая на Лавра Федотовича, и наконец приступил:

— Вы утверждаете, товарищ Константинов, что вы есть пришелец с иной планеты. Какими документами вы могли бы подтвердить это ваше заявление?

— Я мог бы показать вам свой бортовой жур-

нал, — сказал Константин, — но, во-первых, он нетранспортабелен, а во-вторых, я вообще не хотел бы затрудняться и затруднять вас какими-то доказательствами. Ведь я пришел сюда, чтобы просить у вас помощи. Всякая планета, входящая в космическую конвенцию, обязана оказывать помощь потерпевшим аварию. Я уже сказал, что мне нужно, и теперь только жду ответа. Может быть, вы неспособны оказать мне эту помощь, тогда лучше сказать мне об этом прямо... Тут нет ничего стыдного...

— Минуточку, — прервал его Фарфуркис. — Вопрос о компетентности настоящей комиссии в смысле оказания помощи представителям иных планет мы пока отложим. Наша задача сейчас — идентифицировать вас, товарищ Константинов, как такого представителя... Минуточку, я еще не кончил. Вы упомянули бортовой журнал и заявили, что он, к сожалению, нетранспортабелен. Но, может быть, Тройка получит возможность осмотреть оный журнал непосредственно на борту вашего корабля?

— Нет, это невозможно, — вздохнул Константин. Он внимательно изучал Фарфуркиса.

— Ну что же, это ваше право, — сказал Фарфуркис. — Но в таком случае вы, быть может,

представите нам какую-нибудь иную документацию, могущую служить удостоверением вашего происхождения?

— Я вижу, — сказал Константин с некоторым удивлением, — что вы действительно хотите убедиться в том, что я пришелец. Правда, мотивы ваши мне не совсем понятны... Но не будем об этом. Что касается доказательств, то неужели мой внешний вид не наводит вас на правильные умозаключения?

Фарфуркис с сожалением покачал головой.

— Увы, — сказал он, — все обстоит не так просто. Наука не дает нам вполне четкого представления о том, что есть человек. Это естественно. Если бы, например, наука определила людей как существ с двумя глазами и двумя руками, значительные слои населения, обладающие лишь одной рукой или вовсе безрукие, оказались бы в ложном положении. С другой стороны, медицина в наше время творит чудеса. Я сам видел по телевизору собак с двумя головами и с шестью лапами, и у меня нет никаких оснований...

— Тогда, может быть, вид моего корабля... Вид, достаточно необычный для вашей земной техники...

И вновь Фарфуркис покачал головой.

— Вы должны понимать, — мягко сказал он, — что в наш атомный век члена ответственного органа, имеющего специальный допуск, трудно удивить каким бы то ни было техническим сооружением.

— Я могу читать мысли, — сообщил Константин. Он явно заинтересовался ситуацией.

— Телепатия антинаучна, — мягко сказал Фарфуркис. — Мы в нее не верим.

— Вот как? — удивился Константин. — Странно... Но послушайте, что я сейчас скажу. Вот вы, например, намерены рассказать мне о казусе с «Наутилусом», а вот гражданин Хлебовводов...

— Навет! — хрипло закричал Хлебовводов, и Константин замолк.

— Поймите нас правильно, — проникновенно сказал Фарфуркис, прижимая руки к полной груди. — Мы ведь не утверждаем, что телепатии не существует. Мы утверждаем лишь, что телепатия антинаучна и что мы в нее не верим. Вы упомянули про казус с подводной лодкой «Наутилус», но ведь хорошо известно, что это лишь буржуазная утка, сфабрикованная для того, чтобы отвлечь внимание народа от насущных проблем сегодняшнего дня. Так что ваши телепатические способности, истинные или только вами вообра-

жаемые, являются лишь фактом вашей личной биографии, каковая и есть в настоящий момент объект нашего расследования. Вы чувствуете замкнутый круг?

— Чувствую, — согласился Константин. — Но если бы я, скажем, сейчас при вас немного полетал?

— Это было бы, конечно, интересно. Но мы, к сожалению, сейчас на работе и не можем предаваться зрелищам, даже самым захватывающим.

Константин вопросительно посмотрел на меня. Мне казалось, что положение безнадежно, мне было вообще не до шуток: Константин этого не понимал, но Большая Круглая Печать уже висела над ним, как дамоклов меч. А ребят все не было, и я не знал, что делать. Можно было только тянуть время, и я сказал:

— Давайте, Костя.

Костя дал. Сначала он давал несколько вяло, осторожничал, боялся что-нибудь поломать, но постепенно увлекся и продемонстрировал ряд чрезвычайно эффектных экзерсисов с пространственно-временным континуумом, с разнообразными трансформациями живого коллоида и с критическими состояниями органов отражения.

Он исчез и сейчас же вернулся с мокрой бо-

лотной кувшинкой. Он взбежал на потолок и последовательно превратил себя в муху, в люстру и в гирлянду колбас. Он размазался по стенам и снова собрался посередине комнаты. Он уплощил Хлебовводова и завязал его изящным бантом на шее у неподвижного Лавра Федотовича. Он вылечил у Фарфуркиса зуб, удалил у всех присутствующих отросток слепой кишки и превратил пластмассовую оправу очков у полковника в золотую. Он сделал на минуточку что-то со мною, и в результате я пользовался редкой возможностью видеть комнату заседаний из четырех углов одновременно. Затем он занялся физической геометрией. Он выдвинул оба окна в направлении четвертого измерения. Он наклеил Дом культуры на поверхность небольшого пятимерного гиперболоида. Он как-то так ловко сложил евклидово пространство, что я очутился в Институте и даже успел поздороваться со Стеллочкой. Он учинил бесстыдную развертку трехмерного Фарфуркиса на плоскости. Он гонял нас взад и вперед по времени, переводил в соседствующие вселенные, всовывал нас в вероятностные миры.

Когда он остановился, у меня кружилась голова, пульс неистовствовал, трещало в ушах, и я еле расслышал усталый голос Пришельца:

— Время уходит, мне некогда. Говорите, что вы решили.

И опять никто ему не ответил. Лавр Федотович задумчиво вертел длинными пальцами коробочку диктофона. Умное лицо его было спокойно и немного печально. Полковник ни на что не обращал внимания — или делал вид, что не обращает. Он нацарапал записку, перебросил ее Зубо, а тот внимательно прочитал ее и бесшумно пробежал пальцами по клавиатуре информационной машины. Фарфуркис листал справочник, уставясь в страницы невидящими глазами. А Хлебовводов мучился. Он кусал губы, морщился, даже тихонько покряхтывал. Из машины с сухим щелчком вылетела белая карточка. Зубо подхватил ее и передал полковнику.

— Скачок в тысячу лет... — тихо сказал Хлебовводов.

— Скачок назад, — проговорил Фарфуркис сквозь зубы. Он все листал справочник.

— Я не знаю, как мы теперь будем работать, — сказал Хлебовводов. — Мы заглянули в конец задачника, где все ответы.

— Но вы же еще не видели ответов, — возразил Фарфуркис. — Хотите увидеть?

— Какая разница, — сказал Хлебовводов, — раз

мы знаем, что ответы есть. Скучно искать, когда совершенно точно знаешь, что кто-то уже нашел.

Пришелец ждал, переплетя руки. Ему было неудобно в кресле с низкой спинкой, и он сидел, напряженно выпрямившись. Его круглые немигающие глаза неприятно светились красным. Полковник отшвырнул карточку, написал новую записку, и Зубо опять склонился над клавиатурой.

— Я знаю, что мы должны отказаться, — сказал Хлебовводов. — И я знаю, что мы двадцать раз проклянем себя за такое решение.

— Это еще не самое плохое, что с нами может случиться, — сказал Фарфуркис. — Хуже, если нас двадцать раз проклянут другие.

— Наши внуки, а может быть, даже дети уже воспринимали бы все как данное.

— Нам не должно быть безразлично, что именно наши дети будут воспринимать как данное.

— Моральные критерии гуманизма, — сказал Хлебовводов, слабо усмехнувшись.

— У нас нет других критериев, — возразил Фарфуркис.

— К сожалению, — сказал Хлебовводов.

— К счастью, коллега, к счастью. Всякий раз,

когда человечество пользовалось другими критериями, оно жестоко страдало.

— Я знаю это. Хотел бы я этого не знать. — Хлебовводов посмотрел на Лавра Федотовича. — Проблема, которую мы здесь решаем, поставлена некорректно. Она базируется на смутных понятиях, на неясных формулировках, на интуиции. Как ученый я не берусь решать эту задачу. Это было бы несерьезно. Остается одно: быть человеком. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я — против территориального контакта... Это ненадолго! — возбужденно выкрикнул он, всем телом подавшись в сторону неподвижного Пришельца. — Вы должны нас правильно понять. Я уверен, что это — ненадолго. Дайте нам время, мы ведь так недавно вышли из хаоса, мы еще по пояс в хаосе...

Лавр Федотович посмотрел на Фарфуркиса.

— Я могу лишь повторить то, что говорил раньше, — негромко сказал Фарфуркис. — Меня никто ни в чем не переубедил. Я против всякого контакта на исторически длительные сроки... Я абсолютно уверен, — вежливо добавил он, — что высокая договаривающаяся сторона восприняла бы всякое иное наше решение как свидетельство самонадеянности и социальной незрелости. — Он

коротко поклонился в сторону Пришельца.

— Полковник? — произнес Лавр Федотович.

— Категорически против всякого контакта, — отозвался полковник, продолжая писать. — Категорически и безусловно. — Он перебросил Зубо очередную записку. — Обоснований не привожу, но прошу оставить за мной право сказать еще несколько слов по этому поводу через десять минут.

Лавр Федотович осторожно положил диктофон и медленно поднялся. Пришелец тоже поднялся. Они стояли друг против друга, разделенные огромным столом, заваленным справочниками, футлярами микрокниг, катушками видеомагнитной записи.

— Мне нелегко сейчас говорить, — начал Лавр Федотович. — Нелегко уже потому, что обстоятельства требуют, вероятно, высокой патетики и слов, не только точных, но и торжественных. Однако здесь, у нас на Земле, все патетическое в силу ряда обстоятельств претерпело за последний век решительную инфляцию. Поэтому я постараюсь быть просто точным. Вы предложили нам дружбу и сотрудничество во всех аспектах цивилизации. Это предложение беспрецедентно в человеческой истории, как беспрецедентен и

сам факт появления инопланетного существа на нашей планете, и как беспрецедентен наш ответ на ваше предложение. Мы отвечаем вам отказом по всем пунктам предложенного вами договора, мы отказываемся выдвинуть какой бы то ни было контрдоговор, мы категорически настаиваем на полном прекращении каких бы то ни было контактов между нашими цивилизациями и между их отдельными представителями. С другой стороны, нам не хотелось бы, чтобы такой категорический, недружелюбный по форме отказ углубил бы пропасть между нашими культурами, пропасть, и без того едва преодолимую. Мы имеем заявить, что идея контакта между различными цивилизациями в космосе признается нами в принципе полезной и многообещающей. Мы имеем подчеркнуть, что идея контакта с древнейших времен входила в сокровищницу самых лелеемых, самых гордых замыслов нашего человечества. Мы имеем уверить вас, что наш отказ ни в коем случае не должен рассматриваться вами как движение враждебное, основанное на скрытом недружелюбии или связанное с физиологическими и иными инстинктивными предрассудками. Нам хотелось бы, чтобы причины отказа были вам известны, вами поняты и

если не одобрены, то, по крайней мере, приняты к сведению.

Хлебовводов и Фарфуркис в неподвижном напряжении, не мигая, глядели на Лавра Федотовича. Полковник получил ответ на последнюю записку, сложил все карточки в аккуратную пачку и тоже стал смотреть на Лавра Федотовича.

— Неравенство между нашими цивилизациями огромно, — продолжал тот. — Я не говорю о неравенстве биологическом — природа одарила вас более щедро, чем нас. Не стоит говорить и о неравенстве социальном — вы давно уже прошли ту стадию общественного развития, в которую мы едва лишь вступили. И уж конечно, я не говорю о неравенстве научно-техническом — по самым скромным подсчетам, вы обогнали нас на несколько веков. Я буду говорить о прямом следствии этих трех аспектов неравенства — о гигантском психологическом неравенстве, которое и является главной причиной неудачи наших переговоров. Нас разделяет гигантская революция в массовой психологии, к которой мы только начали готовиться и о которой вы, наверное, давно уже забыли. Психологический разрыв не позволяет нам составить правильное представление о целях вашего прибытия сюда, мы не понимаем,

зачем *вам* нужны дружба и сотрудничество с нами. Ведь мы только-только вышли из состояния беспрерывных войн, из мира кровопролития и насилия, из мира лжи, подлости, корыстолюбия, мы еще не отмылись от грязи этого мира, и когда мы сталкиваемся с явлениями, которые наш разум не способен вскрыть, когда в нашем распоряжении остается только наш огромный, но не освоенный еще опыт, наша психология побуждает нас строить модель явления по нашему образу и подобию. Грубо говоря, мы не доверяем вам, как не доверяем все еще самим себе. Наша массовая психология базируется на эгоизме, утилитаризме и мистике. Установление и расширение контактов с вами означает для нас прежде всего угрозу немыслимого усложнения и без того сложного положения на нашей планете. Наш эгоизм, наш антропоцентризм, тысячелетиями воспитанная в нас религиями и наивными философиями уверенность в нашем изначальном превосходстве, в нашей исключительности и избранности — все это грозит породить чудовищный психологический шок, вспышку иррациональной ненависти к вам, истерического страха перед вашими невообразимыми возможностями, ощущение огромного унижения и внезапного падения с

трона царя природы в грязь. Наш утилитаризм породит у огромной части населения стремление бездумно воспользоваться материальными благами прогресса, доставшегося без усилий, даром, грозит необратимо повернуть души к тунеядству и потребительству, а, видит бог, мы уже сейчас отчаянно боремся с этим как со следствием нашего собственного научно-технического прогресса. Что же касается нашего закоренелого мистицизма, нашей застарелой надежды на добрых богов, добрых царей и добрых героев, надежды на вмешательство авторитетной личности, которая грядет и снимет с нас все заботы и всю ответственность, что касается этой оборотной стороны нашего эгоизма, то вы, вероятно, даже представить себе уже не можете, каков будет в этом смысле результат вашего постоянного присутствия у нас на планете. Я надеюсь, вы теперь и сами видите, что расширение контакта грозит свести к нулю то немногое, что нам с огромным трудом удалось пока сделать в области подготовки к революции в психологии. И вы должны понимать, что не в вас, не в ваших достоинствах и ваших недостатках лежит причина нашего отказа от контакта — она лежит только в нас, в нашей неподготовленности. Мы отчетливо

понимаем это и, категорически отказываясь от расширения контакта с вами сегодня, мы отнюдь не собираемся увековечивать такое положение. Поэтому мы, со своей стороны, предлагаем...

Лавр Федотович повысил голос, и все встали.

— Мы предлагаем ровно через пятьдесят лет после вашего отлета повторить встречу полномочных представителей обеих цивилизаций на северном полюсе планеты Плутон. Мы надеемся, что к этому времени мы окажемся более подготовленными к обдуманному и благоприятному сотрудничеству наших цивилизаций.

Лавр Федотович кончил и сел, и все мы сели. Остались стоять только полковник и Пришелец.

— Присоединяясь целиком и полностью к содержанию и форме изложенного здесь председателем, — резко и сухо заговорил полковник, — я считаю своим долгом, однако, не оставлять никаких сомнений у высокой договаривающейся стороны в нашей решимости всеми средствами не допускать контакта до условленного времени. Полностью признавая огромное техническое, а следовательно, и военное превосходство высокой договаривающейся стороны, я тем не менее считаю своим долгом совершенно недвусмысленно заявить, что любая попытка насильственного

навязывания контакта, в какой бы форме она ни предпринималась, будет рассматриваться с момента вашего отлета как акт агрессии и будет встречена всей мощью земного оружия. Всякий корабль, появившийся в сфере достижения наших боевых средств, будет уничтожаться без предупреждения...

— Ну товарищи! — прервал его Фарфуркис. — Ну невозможно же работать, ну куда мы опять заехали?

Полковник пожевал губами, мутно огляделся, сел и тотчас же захрапел с присвистом.

— Да, да! — сказал Хлебовводов. — Надо кончать. Я тут в меньшинстве, но я — что? Я — пожалуйста... Не хотите его в милицию, не надо. А только рационализировать нам этого фокусника как необъясненное явление, ей-богу, ни к чему. Подумаешь, отрастил себе еще две руки...

— Не берет, — горько произнес невидимый Эдик. — Ничто их не берет. Разве плохой был этюд?

— Отличный этюд, — торопливо шепнул я. — Отличный... Только ты не уходи, сейчас тут начнется...

— Гррррм, — сказал Лавр Федотович, остекленел взором и разразился небольшой речью, из

которой следовало, что народу не нужны необъясненные явления, которые могли бы представить, но по тем или иным причинам не представляют документацию, удостоверяющую их право на необъясненность. С другой стороны, народ давно уже требует беспощадного выкорчевывания бюрократизма и бумажной волокиты во всех инстанциях. На основании этого тезиса Лавр Федотович выражал общее мнение в том смысле, что рассмотрение дела семьдесят два надлежит перенести на декабрь месяц текущего года с тем, чтобы дать возможность товарищу Константинову К. К. отбыть по месту постоянного жительства и успеть вернуться оттуда с надлежаще оформленными документами. Что же касается оказания товарищу Константинову К. К. материальной помощи, то Тройка имеет право оказывать таковую или ходатайствовать об оказании таковой лишь в тех случаях, когда проситель представляет собой идентифицированное ею, Тройкой, необъясненное явление. А поскольку товарищ Константинов К. К. как таковое явление еще не идентифицирован, то и вопрос о предоставлении ему помощи откладывается до декабря, а точнее — до момента идентификации...

Большая Круглая Печать на сцене не появилась,

и я облегченно вздохнул. Но рано, рано! Константин, который в ситуации так до конца и не разобрался и которого уже давно, надо полагать, распирало, демонстративно, очень по-нашему, плюнул и исчез.

— Это выпад! — сейчас же закричал Хлебовводов радостно. — Видали, как он харкнул? Весь пол заплевал!

— Возмутительно, — согласился Фарфуркис. — Я квалифицирую это как оскорбление.

— Я же говорил — жулик! — сказал Хлебовводов. — Надо связаться с милицией, пускай его посадят на пятнадцать суток, пускай он улицы пометет в четыре руки!..

— Не-ет, товарищ Хлебовводов, — возразил Фарфуркис. — Здесь уже не милицией пахнет, здесь вы недооцениваете, это плевок в лицо общественности и администрации, это дело подсудное!

Лавр Федотович безмолвствовал, но его короткие веснушчатые пальцы возбужденно бегали по столу — то ли он искал какую-то особенную кнопку, то ли телефон. Запахло политической уголовщиной. Выбегалло, которому на Константина было глубоко начхать, не мычал и не телился, а между тем налитые глаза уже хищно сверкали, загривки щетинились, клыки готовы

были рвать, а когти — драть.

Я прокашлялся и с самым решительным видом попросил внимания. Внимание было мне даровано, хотя и не слишком охотно, — время собирать камни уже миновало, наступило время камнями убивать.

Стараясь говорить по возможности более веско, я напомнил Тройке, что в ее интересах занимать галактоцентрические, а отнюдь не антропоцентрические позиции. Я напомнил, что обычаи и способы выражения чувств у инопланетных существ могут и должны сильно отличаться от человеческих. Я обратился к изжеванной аналогии с обычаями различных племен и народов нашей планеты. Я выразил уверенность, что товарища Фарфуркиса не удовлетворило бы потирание носами в качестве приветствия, принятое некоторыми народами Севера, но что товарищ Фарфуркис все-таки вряд ли воспринял бы это потирание как унижение его положения члена Тройки. Что касается товарища Константинова, то обычай сплевывать на землю избыток жидкости определенного химического состава, образующейся в ротовой полости, обычай, означающий у некоторых народов Земли неудовольствие, раздражение или стремление оскорбить собесед-

ника, может и должен у инопланетного существа выражать нечто совершенно иное, в том числе и глубокую благодарность за внимание. Так называемый плевок товарища Константинова мог представлять собой и чисто нейтральную акцию, связанную со спецификой физиологического функционирования его организма... («Чего там — функция! — заорал Хлебовводов. — Заплевал весь пол, как бандит, и смылся!») Наконец, нельзя упускать из виду возможности интерпретировать упомянутое физиологическое отправление товарища Константинова как действие, связанное с его способом молниеносного передвижения в пространстве...

Я разливался соловьем и с облегчением наблюдал, как пальцы Лавра Федотовича двигались все медленнее и медленнее и наконец покойно улеглись на бюваре. Хлебовводов все еще продолжал угрожающе рявкать, но чуткий Фарфуркис быстро уловил изменение ситуации и перенес острие удара в совершенно неожиданном направлении. Он вдруг обрушился на коменданта, который, полагая себя в полной безопасности, с простодушным любопытством наблюдал развитие инцидента, в тайниках души надеясь, видимо, что проклятого пришельца либо вышлют в два-

дцать четыре часа, либо отдадут под суд, но уж во всяком случае снимут у него с отчетности.

— Я давно уже обратил внимание на то, — загремел Фарфуркис, — что воспитательная работа в Колонии необъясненных явлений поставлена безобразно. Политико-просветительные лекции почти не проводятся. Доска наглядной агитации отражает вчерашний день. Вечерний университет культуры практически не функционирует. Все культурные мероприятия в Колонии сведены к танцулькам, к демонстрации заграничных фильмов, к пошлым эстрадным представлениям. Лозунговое хозяйство запущено. Колонисты предоставлены сами себе, многие из них морально опустошены, почти никто не разбирается в международном положении, а самые отсталые из колонистов — например, дух некоего Винера — даже не понимают, где они находятся. В результате — аморальные поступки, хулиганство и поток жалоб от населения. Позавчера птеродактиль Кузьма, покинув территорию Колонии и, несомненно, находясь в нетрезвом виде, летал над клубом рабочей молодежи и скусывал электрические лампочки, окаймляющие транспарант с надписью «Добро пожаловать». Некий Николай Долгоносиков, именующий себя теле-

патом и спиритом, обманным путем проник в женское общежитие педагогического техникума и производил там беседы и действия, которые были квалифицированы администрацией как религиозная пропаганда... И вот сегодня мы сталкиваемся с новым печальным следствием преступно-халатного отношения коменданта Колонии товарища Зубо к вопросам воспитания и пропаганды. Чем бы ни было на самом деле сплевывание товарищем Константиновым избытка жидкости из ротовой полости, оно свидетельствует о недостатке понимания товарищем Константиновым, где он находится и как обязан себя вести, а это, в свою очередь, есть просчет товарища Зубо, который не разъяснил колонистам смысл пословицы народной «В чужой монастырь со своим уставом не суйся». И я считаю, что мы обязаны поставить на вид товарищу Зубо и обязать его повысить уровень воспитательной работы во вверенной ему Колонии!

Фарфуркис закруглился, и за коменданта принялся Хлебовводов. Речь его была несвязна, но полна смутных намеков и угроз такого жуткого свойства, что комендант совсем ослабел и открыто глотал пилюли, пока Хлебовводов орал: «Я тебя поплююсь!.. Ты понимаете что или совсем

ошалели?..» — «Грррм», — сказал наконец Лавр Федотович и пошел ставить каменные точки над разными буквами.

Комендант получил на вид за недостойное поведение в присутствии Тройки, выразившееся в плевании на пол товарищем Константиновым, а также за утрату административного обоняния. Товарищ Константинов К. К. получил предупреждение в дело за хождение по потолку в обуви. Фарфуркис получил устное замечание за систематическое превышение регламента при выступлениях, а Хлебовводов — за нарушение административной этики, выразившееся в попытке облыжно оболгать товарища Константинова К. К. Выбегалле был объявлен устный выговор за появление в строю в небритом виде.

— Других предложений нет? — осведомился Лавр Федотович. Хлебовводов сейчас же ткнулся к нему в ухо и зашептал. Лавр Федотович выслушал и закончил: — Есть также предложение напомнить некоторым членам Тройки о необходимости более активно участвовать в ее работе.

Теперь получили все. Никто не был забыт, и ничто не было забыто. Атмосфера сразу очистилась, все, даже комендант, повеселели. А полковник, которого до этой минуты явно мучили кошмары,

истово произнес:

— Так точно, товарищ генералиссимус! Так точно — старый дурак!

Пока комендант отыскивал следующее дело, я смотрел на полковника. Руки его непрерывно подергивались во сне: то ли он включал третью скорость, то ли скребницей чистил своего боевого коня. Я смотрел на него и все пытался представить боевой путь и послужной список человека, которому не менее восьмидесяти лет, который дослужился до полковника и ухитрился за все это астрономическое время выслужить всего три юбилейные медали «XX лет РККА», «XXX лет Советской армии» и «40 лет Вооруженных сил». Вероятно, все дело было в его экзотической военной специальности. В самой идее мотокавалерии чудилось мне нечто фантастическое. То мне представлялись приземистые бронетранспортеры, над клепаными бортами которых торчали оскаленные лошадиные пасти и осанисто возвышались чубатые всадники в бурках и с пиками перёд себя. То эта картина заслонялась зрелищем совсем уже апокалиптическим: по полю брани лихо разворачивается в лаву табун лошадей, оседланных мотоциклистами на мотоциклах, и все мотоциклы как один — на третьей скорости...

Но тут я вспомнил, что полковник был современником и, может быть, даже участником первых успехов авиации и дирижаблестроения, и тогда привиделись мне гигантские баллоны, из гондол которых, брыкаясь и ржа, сыплются на головы ошеломленного противника кавалерийские эскадроны на парашютах...

— Следующий, — произнес Лавр Федотович. — Доложите, товарищ Зубо.

— Дело номер второе, — зачитал комендант. — Фамилия: прочерк. Имя: прочерк. Отчество: прочерк. Кличка: Кузьма.

Я вздрогнул. Вот и нашему Кузьке настал черед. «Эдик, — шепотом позвал я. — Ты здесь?» — «Здесь», — отозвался Эдик. «Ты не уходи, Эдик, — попросил я. — Кузьку надо спасти...»

— Год и место рождения, — продолжал комендант. — Не установлено. Вероятно, Конго.

— Он что, немой, что ли? — благодушно осведомился Хлебовводов.

— Говорить не умеет, — ответил комендант. — Только квакает.

— От рождения такой?

— Надо полагать, да.

— Наследственность, стало быть, плохая, — проворчал Хлебовводов. — Оттого он и в бандиты

подался... Судимостей много?

— У кого? — спросил ошарашенный комендант. — У меня?

— Да нет, почему — у тебя? У этого... у бандита. Как его там по кличке? Васька?..

— Протестую, — нетерпеливо сказал Фарфуркис. — Товарищ Хлебовводов исходит из предвзятого мнения, что клички бывают только у бандитов. Между тем в инструкции в параграфе восьмом главы четвертой части второй предлагается наделять кличкой необъясненное явление, которое идентифицируется как живое существо, не обладающее разумом.

— А! — сказал Хлебовводов разочарованно. — Собака какая-нибудь. А я думал — бандит... Это когда я заведовал кассой взаимопомощи театральных деятелей при ВТО, был у меня кассир...

— Я протестую! — плачущим голосом закричал Фарфуркис. — Это нарушение регламента! Так мы до ночи не кончим!

Хлебовводов поглядел на часы.

— И верно, — сказал он. — Извиняюсь, увлекся. Валяйте, браток, где ты там остановились?

— Пункт пятый, — прочитал комендант. — Национальность: птеродактиль.

Все содрогнулись, но время поджимало, и ни-

кто не сказал ни слова.

— Образование: прочерк, — продолжал читать комендант. — Знание иностранных языков: прочерк. Профессия и место работы в настоящее время: прочерк. Был ли за границей: вероятно, да...

— Ох, это плохо! — пробормотал Хлебовводов. — Плохо это! Ох, бдительность... Птеродактиль, говорите? Это что же — белый он? Черный?

— Он, как бы это сказать, сероватый такой, — объяснил комендант.

— Ага, — сказал Хлебовводов. — И говорить не может, только квакает... Ну ладно, дальше.

— Краткая сущность необъясненности: считается вымершим пятьдесят миллионов лет назад.

— Сколько? — переспросил Фарфуркис.

— Пятьдесят миллионов тут написано, — несмело сказал комендант.

— Несерьезно все это как-то, — пробормотал Фарфуркис и поглядел на часы. — Да читайте же, — простонал он. — Дальше читайте!

— Данные о ближайших родственниках: вероятно, все вымерли. Адрес постоянного местожительства: Китежград, Колония необъясненных явлений.

— Прописан? — строго спросил Хлебовводов.

— Да вроде как бы прописан, — ответил комендант. — Как заявился он, как занесли его в книгу почетных посетителей, так с тех пор и пребывает. Прижился Кузьма. — В голосе коменданта послышались нежные нотки: Кузьке он покровительствовал.

— У вас все? — осведомился Лавр Федотович. — Тогда есть предложение вызвать дело.

Других предложений не было, комендант отдернул штору на окне и ласково позвал:

— Кузь-Кузь-Кузь-Кузь... Вон, сидит на трубе, паршивец, — произнес он нежно. — Стесняется... Стеснительный он очень. Ку-у-узь! Кузь-Кузь-Кузь... Летит, жулик, — сообщил он, отступая от окна.

Послышался кожистый шорох и свист, огромная тень на секунду закрыла небо, и Кузька, трепеща распахнутой перепонкой, плавно опустился на демонстрационный стол. Сложив крылья, он задрал голову, разинул длинную зубастую пасть и тихонько квакнул.

— Это он здоровается, — пояснил комендант. — Ве-е-ежливый, сукин кот, все как есть понимает.

Кузька оглядел Тройку, встретился с мертвенным взглядом Лавра Федотовича и вдруг застеснялся ужасно, закутался в крылья, спрятал

пасть на брюхе и стал застенчиво выглядывать из кожистых складок одним глазом — огромным, зеленым, анахроничным, похожим на полураскрытую ирисовую диафрагму. Прелесть был Кузька. Впрочем, на свежего человека он производил устрашающее впечатление. Хлебовводов на всякий случай что-то уронил и полез под стол, откуда пробормотал: «Я думал, собака какая-нибудь квакающая...»

— Кусается? — спросил Фарфуркис опасливо.

— Как можно! — сказал комендант. — Смирное животное, все его гоняют, кому не лень... Конечно, если рассердится... Только он никогда не сердится.

Лавр Федотович принялся рассматривать птеродактиля в бинокль и вогнал его этим в окончательное смущение. Кузька слабо квакнул и совсем спрятал голову в крыльях.

— Грррм! — удовлетворенно произнес Лавр Федотович и отложил бинокль.

Обстановка складывалась благоприятно.

— Я думал, это лошадь какая-нибудь, — бормотал Хлебовводов, ползая под столом.

— Разрешите мне, Лавр Федотович, — попросил Фарфуркис. — Я вижу в этом деле определенные трудности. Если бы мы занимались рассмотрени-

ем необычных явлений, я без колебания первым бы поднял руку за немедленную рационализацию. Действительно, крокодил с крыльями — явление довольно необычное в наших климатических условиях. Однако наша задача — рассматривать необъясненные явления, и тут я испытываю недоумение. Присутствует ли в деле номер два элемент необъясненности? Если не присутствует, то почему мы должны это дело рассматривать? Если, напротив, присутствует, то в чем он, собственно, состоит? Может быть, товарищ научный консультант имеет сказать нам что-нибудь по этому поводу?

Товарищ научный консультант имел что сказать. На смешанном франко-русском жаргоне он поведал Тройке, что прическа Мари Брийон неизменно приводила в восхищение всех собиравшихся на рауты у барона де Водрейля, какового факта он, научный консультант, не может не признать; что необъяснимость... эта... данного ля птеродоктэль Кусьма лежит, значить, в одной плоскости с его необычностью, о чем он, научный консультант, считает своим горьким, но почетным долгом напомнить товарищу Фарфуркису; что Платон был и остается его, научного консультанта, другом, но науке в лице

его, научного консультанта, истина дороже; что крылатость крокодилов или, точнее, наличие у некоторых крокодилов двух и более крыльев до сих пор наукой не объяснено, а потому он, научный консультант, попросил бы вашего садовника показать ему те чудесные туберозы, о которых вы говорили в прошлую пятницу; что, наконец, он, научный консультант, не видит особых причин откладывать рационализацию данного дела, но, с другой стороны, хотел бы оставить за собой право решительно возражать против таковой.

Пока Выбегалло трепался, в поте лица отрабатывая свой титанический оклад денежного содержания, я торопливо составлял план предстоящей кампании. Пока мне было ясно одно: передадут ли Кузьку в распоряжение банно-прачечного треста или даже в какой-нибудь посторонний НИИ — Кузьке будет плохо. Совершенно невозможно было отдать чужим людям нашего Кузьку, которого в Китежграде знает каждая собака, которого доброхотные бабки кормят с ладони пшенной кашей, который всегда готов слетать тебе за папиросами, готов посидеть с ребенком, пока ты в кино, готов поднести тебе тяжелую авоську, который привык к свободе, к доброму отношению... Нет-нет, это было невоз-

можно. Тем более что наши зоопсихологи уже давно познакомились с Кузькой, очаровались им и теперь прикидывали, как поделикатнее, здесь же на месте, ни в чем Кузьку не стесняя, провести его обследование — без равнодушного общупывания, отрезания от него кусочков, просвечивания рентгеном и прочих штучек. Кузька прекрасно сошелся с Володей Почкиным, у них нашлось много общего, и, если бы мы сейчас упустили Кузьку, Володя был бы безутешен и, возможно, оторвал бы нам головы...

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Какие будут вопросы к докладчику?

— У меня вопросов нет, — заявил Хлебовводов, который убедился, что Кузьма не кусается, и сразу обнаглел. — Но я так полагаю, что это обыкновенный крокодил с крыльями, и больше ничего. И напрасно товарищ научный консультант наводил тут нам тень на плетень... И потом я замечаю, что комендант развел у себя в колонии любимчиков и прикармливает их там за государственный счет. Я не хочу, конечно, сказать, что там у него семейственность или он, скажем, взятки от этого крокодила получает, но факт, по-моему, налицо: крокодил с крыльями — самая простая штука, а возятся с ним как с писаной торбой. Гнать его

нужно из Колонии, пусть работать идет...

— Как же работать? — сказал комендант, очень болевший за Кузьму.

— А так! У нас все работают! Вон он, здоровенный лоб какой сидит. Ему бы бревна на лесопилке подносить... или пусть камень грузит. Может, скажете, у него жилы слабые? Я этих крокодилов знаю, я их всяких повидал... и крылатых, и всяких...

— Как же так? — страдал комендант. — Он же все-таки не человек, он же все-таки животное, у него диета...

— Ничего, у нас животные тоже работают. Лошади, например. Пускай в лошади идет! Диета у него... У меня вот тоже диета, а я из-за него без обеда сижу... — Однако Хлебовводов чувствовал, что заврался. Фарфуркис смотрел на него насмешливо, да и поза Лавра Федотовича наводила на размышления. Учтя все эти обстоятельства, Хлебовводов сделал вдруг резкий поворот. — Постойте, постойте! — заорал он. — Это какой же у нас Кузьма? Это не тот ли Кузьма, который клубные лампочки жрал?.. Ну да, тот самый и есть! Это что же — и меры, значит, к нему приняты не были? Ты, товарищ Зубо, не выкручивайтесь, ты мне прямо скажите: меры были приняты?

— Были, — сказал комендант с горячностью.

— Какие именно?

— Слабительного ему дали, — сказал комендант. Видно было, что за Кузьму он будет стоять насмерть.

Хлебовводов ударил кулаком по столу, и Кузьма со страху напустил лужу. Тут уж и я разозлился и выкрикнул, обращаясь прямо к Лавру Федотовичу, что это издевательство над ценным научным экспонатом. Фарфуркис тоже заявил, что он протестует, что товарищ Хлебовводов опять пытается навязать Тройке несвойственные ей функции. Полковник вдруг проснулся, неожиданным басом рявкнул: «Кр-рокодил с крыльями? Ценно, очень ценно. Огнемет!» — и вновь заснул. Лавр же Федотович облизал бледный указательный палец и резким движением перебросил у себя в бюваре несколько листков, что служило у него признаком сильнейшего раздражения. Надвигалась буря.

В эту минуту дверь распахнулась, и мрачный курьер, ни к кому специально не обращаясь, прохрипел:

— Кому здесь почту сдать?

На огромном, как сковорода, лице Лавра Федотовича проступило ледяное изумление.

— Почему нашей работе мешают? — осведомился он ровным голосом. — Товарищ Фарфуркис, в чем дело?

— В чем дело, товарищ Зубо? — мгновенно остервенев, вскричал Фарфуркис. — Что за безобразие?

Комендант был уже на пути к курьеру. Он схватил этого мрачного мужчину за живот и вместе с ним вывалился в приемную, ногой захлопнув за собой дверь.

— Безобразие какое! — кипятился Фарфуркис. — Наглость какая!

— Уволить их обоих, — кровожадно потребовал Хлебовводов. — Лезет, понимаешь, на заседание, как к себе в нужник...

Комендант снова вскочил в комнату, рысью подбежал к Лавру Федотовичу и принялся что-то докладывать ему на ухо. «Вот оно! — шепнул мне Эдик. — Начинается!» Фарфуркис и Хлебовводов, изнемогая от ревности и любопытства, чутко задвигали ушами.

Черты Лавра Федотовича смягчились.

— Все? — с незнакомым выражением спросил он.

— Так точно, как есть все, — с горячностью подтвердил комендант.

Лавр Федотович горделиво поднял голову.

— Пусть корреспонденцию внесут, — приказал он.

— Заноси! — крикнул комендант.

Здоровенный курьер, пятясь задом, втащил в комнату обширный дерюжный тюк, потом второй такой же, потом третий.

— Счастливенько вам оставаться, — сказал он, ни на кого не глядя, и удалился.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Ввиду не предусмотренного повесткой поступления большого количества корреспонденции от научно-исследовательских учреждений предлагается утреннее заседание прервать. Товарищам Фарфуркису и Выбегалле предлагается немедленно приступить к произведению разбора прибывшей корреспонденции и доложить предварительные результаты на вечернем заседании. Других предложений нет? Вопросы есть?

— Неужели же все это — из научных учреждений? — благоговейно спросил Хлебовводов.

— Да, — ответил Лавр Федотович просто. — И народу непонятно, что вас так удивляет, товарищ Хлебовводов.

— Нет, я это к чему?.. — сбивчиво забормотал Хлебовводов. — Я ведь это только к тому, что если

все это из научных... тогда как же получается... тогда это же, надо полагать, все заявки, требования, поди...

— Есть такое мнение, что все это — заявки, — сказал Лавр Федотович и поднялся. — Заседание Тройки прерывается до восемнадцати ноль-ноль. — Он выбрался из-за стола и, проходя мимо коменданта, в высшей степени благодушно обратился к нему: — Ну вот, товарищ Зубо, а крокодила вашего мы возьмем и отдадим в зоологический сад. Как вы на это посмотрите?

— Эх! — сказал героический комендант. — Лавр Федотович! Товарищ Вунюков! Христом богом... спасителем нашим... нет же у нас в городе зоологического сада!

— Будет! — пообещал Лавр Федотович и тут же демократично пошутил: — Простой сад у вас есть, детский тоже есть, а теперь и зоологический будет. Тройка троицу любит.

Взрыв предобеденного хохота побудил Кузьку еще раз сделать неприличность.

Глава девятая

Вечернее заседание Тройки открылось в небывалой атмосфере всеобщего дружелюбия и взаимопонимания. Благостный и снисходительный Лавр Федотович щедро одарил всех папиросами «Герцеговина Флор». Хлебовводов и Фарфуркис целую минуту уступали друг другу право первым проследовать за Лавром Федотовичем в комнату заседаний. Увлеченный нахлынувшим валом ренессанса, Выбегалло впервые за лето помылся и теперь разил земляничным мылом. Полковник, то ли наконец отоспавшись, то ли наглотавшись сверх меры черного кофе, бодрствовал и все время весело смеялся. В угнетенном состоянии духа пребывал один лишь комендант. Во время перерыва он застудил себе на огороде зуб и теперь мучился так, что Лавр Федотович счел себя обязанным поддержать его благосклонной шуткой: «Вот, товарищ Зубо, имели вы против нас зуб, а теперь этот зуб у вас и разболелся».

Мои магистры присутствовали в полном составе и тоже переживали ренессанс, хотя Витька ходил весь покрытый ожогами и залепленный пластырем, а от Романа остался один лишь его

дефицитный нос да жгуче-черные глаза, которые он то и дело заводил под лоб от усталости. Я, честно говоря, все еще сомневался в успехе нашего предприятия и прямо так и сказал им об этом. В ответ Витька коротко ответил мне: «Не бе!», Роман похлопал по плечу со странными словами: «Хороший у нас председатель, молодца, молодца!», а Эдик объяснил, что наше ближайшее будущее уже трижды проиграно на моделях и осуществится с вероятностью не меньше 0,98.

— Э-гхм! — произнес наконец Лавр Федотович, нарушая все традиции и обнаруживая перед нами неведомую ранее грань своей натуры. — Вечернее заседание Тройки объявляется открытым. Слово для сообщения о повестке дня предоставляется товарищу Фарфуркису.

Фарфуркис встал, заглянул в записную книжку и начал. Он сообщил, что, согласно утвержденной повестке дня, на сегодняшнем вечернем заседании должны были быть рассмотрены: дело номер девяносто семь, так называемый Черный Ящик, и дело номер шестьдесят пять гражданина Долгоносикова Н. П., называющего себя телепатом и спиритом. Кроме того, на вечернем заседании предполагалось дорассмотреть дело номер два о птеродактиле по кличке Кузьма. Далее, соглас-

но повестке дня, предполагался еженедельный разбор жалоб, заявлений, а также информационных сообщений от населения и выдвижение наиболее выдающихся из рационализированных за истекший месяц необъясненных явлений на звание сенсации месяца для широкого опубликования в прессе. Однако в связи с изменившимися обстоятельствами Тройка поставлена перед необходимостью коренным образом пересмотреть указанную повестку дня.

Он, Фарфуркис, счастлив сообщить, что сегодня в адрес Тройки прибыло около десяти тысяч заявок и требований на необъясненные явления от отдельных научных сотрудников и целых рабочих групп ста восьмидесяти различных научно-исследовательских учреждений и заводских лабораторий. Это свидетельствует о том, что ТПРУНЯ действительно представляет собою необходимейшее связующее звено между миром нашей науки и техники, с одной стороны, и миром необъясненных явлений — с другой. Но это же требует от нас, товарищи, решительного и принципиального пересмотра означенной повестки дня.

Он, Фарфуркис, со своей стороны, предлагает следующее. Рассмотрение дела номер пятьдесят

пять и девяносто семь, а также дорассмотрение дела номер два отложить. (Аплодисменты.) По возможности быстро и без проволочек разобрать письма от населения и провести выдвижение сенсации. (Бурные аплодисменты.) После чего вплотную перейти к центральному вопросу сегодняшнего вечернего заседания — к обсуждению положения, создавшегося в связи с притоком большого количества заявок и требований от научных учреждений. (Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают.)

Лавр Федотович, дождавшись окончания овации, выразил общее мнение, утвердив новую повестку дня, и предложил перейти к письмам от населения.

Писем оказалось семь.

Школьники села Вунюкино сообщали про местную бабку Зою. Все говорят, что она ведьма, что из-за нее урожаи плохие, и внука своего, бывшего отличника Василия Кормилицына, она превратила в хулигана и двоечника. Школьники просили Тройку разобраться в этой ведьме, в которую они как пионеры не верят, и чтобы Тройка объяснила научно, как она портит урожаи и как превращает отличников в двоечников.

Братья Андрей и Борис Долгорукие из села

Аргунька Уссурийского края написали, что поймана девочка-людоед, бежавшая из-за рубежа от преследования хунвэйбинов и прославившаяся воровством кур. Местные власти отдали ее в детский дом, и братья выражали сомнение в целесообразности такого решения. Братья полагали, что ее надлежит вскрыть и отыскать новые законы природы.

Группа туристов из разных городов наблюдала в предгорьях Верхоянского хребта зеленого скорпиона ростом с корову. Скорпион таинственным излучением усыпил двух дежурных и скрылся в тайге, похитив месячный запас продовольствия. Туристы предлагали свои услуги для поимки чудовища при условии, что им будет оплачена дорога — хотя бы в одну сторону.

Житель города Китежграда Заядлый П. П. жаловался на соседа, второй год роющего подкоп под его дом. Письмо было послано из психиатрической больницы.

Другой житель Китежграда, гражданин Краснодевко С. Т., выражал негодование по поводу того, что городской сад загажен всякими чудовищами и погулять негде. Во всем обвинялся комендант Зубо, использующий отходы колонистской кухни для откармливания трех личных свиней и

тунеядца зятя.

Сельский врач из районного центра Бубново сообщал, что при операции на брюшной полости гражданина Панцерманова, 115 лет, обнаружил у него в отростке слепой кишки древнюю согдийскую монету. Врач обращал внимание Тройки на тот факт, что гр. Панцерманов (ныне покойный) в Средней Азии никогда не был и найденной монеты никогда прежде не видел. На остальных сорока двух страницах письма молодой эскулап излагал свои соображения относительно телепатии, телекинеза и четвертого измерения. К письму прилагались фотографии аверса и реверса таинственной монеты в натуральную величину.

И наконец, канадский гражданин М. Фербенкс прислал очередную порцию газетных вырезок относительно появления НЛО и осторожно осведомлялся о гонораре.

Все письма были зачитаны вслух и стремительно обсуждены. По обыкновению они были переданы для ответа научному консультанту профессору Выбегалле. У Выбегаллы был огромный опыт такого рода работы. Он даже изобрел стандартную форму ответа: «Уважаемый (ая, ые) гр. .....! Мы получили и прочли ваше интересное

письмо. Сообщаемые вами факты хорошо известны науке и интереса не представляют. Тем не менее мы горячо благодарим вас за ваше наблюдение и желаем вам успехов в работе и личной жизни». Подпись. Все. По-моему, это было лучшее из всех изобретений Выбегаллы. Нельзя было не испытывать огромного удовольствия, посылая такое письмо в ответ на сообщение о том, что «Гр. Щин просверлил в моей стене отверстие и пускает скрозь него отравляющих газов».

Затем Тройка, не теряя темпа, занялась выдвижением кандидатур на звание сенсации месяца. Каждый член Тройки предложил своего кандидата. Хлебовводову, например, нравился заведующий Китежзаготскотом, который мог вынимать из карточной колоды заказанную карту, а также, держа карандаш в зубах, мог воспроизводить факсимиле великих деятелей Китежградского района. «Такие люди на земле не валяются, — заявил Хлебовводов. — Таких нам надо выдвигать». Воображение Фарфуркиса потрясла девушка, которая очень ловко видела ушами и слышала глазами. Фарфуркис признался даже, что как частное лицо он уже отправил корреспонденцию о ней в журнал «Знание — сила». Корреспонденция называлась: «Она слышит, ви-

дя, и видит, слыша». Полковнику тоже предоставили возможность высказаться, и он, заливаясь детским смехом, поведал нам о своем проекте создания сверхзвуковой реактивной кавалерии. В заключение Лавр Федотович сказал «грррм» и, выразив общее мнение Тройки, предложил на выдвижение сверлильщика Китежградского завода маготехники Толю Скворцова, регулярно перевыполняющего план на двести — двести десять процентов. Магистры и я встретили это предложение аплодисментами, потому что Толя Скворцов был прекрасный парень и хорошо нам известный. На том и порешили.

И тогда началось главное.

Слово о предварительном результате разбора прибывшей в адрес ТПРУНЯ корреспонденции было предоставлено профессору Выбегалле. Профессор доложил, что всего прибыло, значить, около десяти тысяч заявок и требований от ста восьмидесяти по крайней мере различных учреждений. Разобрано пока около тысячи заявок, все настоящие, на бланках и с печатями, всего на тридцать семь необъясненных явлений, в том числе на дух Наполеона — сорок пять заявок, на вечный двигатель второго рода — тридцать девять заявок, на волшебный циркуль и волшеб-

ную линейку для трисекции угла — тридцать одна заявка, на эвристическую машину Машкина — двадцать две заявки и так далее. Среди приславших заявки действительных членов Академии Наук — семь, членов-корреспондентов — девятнадцать, докторов разных наук — семьдесят пять, а все прочие — сплошь кандидаты, магистры и бакалавры. Это, значить, у нас из тысячи. Если же, как говорится, проэкстраполировать, то есть умножить на десять, тогда получится всего этого в десять раз больше, то есть академиков получится семьдесят, членкоров — сто девятнадцать эт цетера. Так нам говорит наука футурология. А о чем еще она нам говорит? Она вместе со всеми этими заявками говорит во весь голос о возросшем авторитете настоящей Тройки и в особенности о выдающейся роли в нашей жизни товарища Вунюкова, нашего уважаемого и дорогого руководителя. Се нотр опиньён43, — закончил он и полез было к Лавру Федотовичу целоваться, но его задержал и остановил стол, заваленный энциклопедией.

Воспользовавшись паузой, Хлебовводов торопливо повторил доклад научного консультанта, безбожно переврав при этом все цифры, и заявил, что вот как эти академики ни старались, как ни

выкручивались, а без нас все-таки не обошлись, потому что невозможно им обойтись без таких могучих государственных умов, как Лавр Федотович. Одно дело — всякие прутоны там гонять с электронами или, скажем, лекции почитывать, а другое дело — науку двигать и вообще осуществлять руководство, как он, Хлебовводов, например, в бытность свою главным бухгалтером «ВНИТАГОРА». Без нас науку не подвигаешь, я это всегда говорил и сейчас говорю. Старый конь борозды не испортит.

Полковник тоже внес свою лепту в обсуждение. Он предложил тост за новорожденного генерала, понюхал рукав и прослезился.

Фарфуркис же сразу взял быка за рога. Он доверительно сообщил нам, что социология все более властно вторгается в жизнь, как в научную, так и в административную. Невозможно теперь работать по старинке, невозможно выносить произвольные решения о рационализации, не опираясь на социологические наблюдения. Времена волюнтаризма кончились и не вернутся. Отныне и впредь каждое мудрое решение нашего глубокоценимого руководителя, нашего — я не боюсь этого слова, но поймите меня правильно — вождя, будет подтверждено необходимыми

социологическими данными, как то: цифрами, графиками, анкетами и вычислениями.

Затем слово забрал себе Лавр Федотович. Он рассказал о новых задачах вверенной ему Тройки, вытекающих из возросшего ее авторитета и возросшей ее ответственности. Лавр Федотович предложил присутствующим развернуть еще более непримиримую борьбу за повышение трудовой дисциплины, против бюрократизма, за высокий моральный уровень всех и каждого, за здоровую критику и здоровую самокритику, против обезлички, за укрепление противопожарной безопасности, против зазнайства, за личную ответственность каждого, за образцовое содержание отчетности и против недооценки собственных сил. Народ нам скажет спасибо, если эти задачи мы станем выполнять еще более активно, чем раньше. Народ нам не простит, если эти задачи мы не станем выполнять еще более активно, чем раньше. Какие будут конкретные предложения по организации работы Тройки в связи с изменившимися условиями?

Я не без злорадства наблюдал, как было туго с конкретными предложениями. Сначала Хлебовводов по привычке размахнулся и предложил взять на себя повышенные обязательства, на-

пример, чтобы в связи с возросшим авторитетом Тройки комендант товарищ Зубо обязался бы увеличить свой рабочий день до четырнадцати часов, а научный консультант товарищ Выбегалло отказался бы от обеденного перерыва. Однако это партизанское решение не встретило энтузиазма. Напротив, оно встретило яростный отпор названных лиц. Отгремела короткая перепалка, в ходе которой выяснилось, между прочим, что Тройке предстоит до истечения отчетного года рассмотреть еще пятьдесят три старых дела и, по всей вероятности, столько же новых. Более того, положение чрезвычайно осложнялось тем обстоятельством, что на каждое новое дело была не одна, не две, а десятки заявок, и все на бланках, и все с авторитетными подписями, так что к хлопотам по рационализации и утилизации добавлялись еще теперь заботы по арбитражу. Далее случайно обнаружилось, что Тройка выполнила план прошлого года всего на шестьдесят два процента, а план минувшего полугодия — лишь на тринадцать процентов, и кроме того комендант мстительно напомнил Хлебовводову о существовании богатейшей залежи отложенных дел двух-, трех- и четырехлетней давности.

Только теперь, по-видимому, Тройка осознала

наконец, в какой глубокой луже она оказалась в связи со своим возросшим авторитетом. В распоряжении Тройки было два очевидных выхода. Первый — увеличить штат человек на десять. Однако этот выход был лишь кажущимся выходом. Даже Хлебовводов понимал, что увеличение и без того раздутого штата может привести только к увеличению сроков прохождения дел за счет непропорционального увеличения количества болтовни и пререканий. Что же касается второго выхода, то с ним высунулся самый слабонервный из всей компании: профессор Выбегалло. Он предложил передать часть дел некоей Двойке в составе пяти человек, заседающей в городе Харахото и занятой рационализацией всего лишь одного необъясненного явления — электрического червяка олгой-хорхоя. Лучше бы Выбегалло сидел себе тихо да копался в бороде, не высовывался бы, не малодушничал, не бросал бы тень и не делал бы попыток разбазаривать возросший авторитет Тройки... Когда с ним было покончено, он уже больше не высовывался. Он только икал и повторял одну и ту же французскую фразу: «Мон шер си ву кондуизезиси ком у себя дома вуфинире тре маль44». Вот тут и наступила кульминация кризиса, которой, как видно, дожидались мои

магистры.

Роман Ойра-Ойра поднялся и, скромно потупив глаза, сообщил, что присутствующие здесь представители, посоветовавшись между собой, решили предложить уважаемой Тройке посильную помощь, а именно — взять на себя арбитраж по делам, на которые поступило больше десяти заявок. Это идущее из глубины сердца альтруистическое предложение было встречено штыками и картечью. Больше и откровеннее всех орал Хлебовводов. Много вас тут таких, орал он. Арбитраж им подавай, видишь ты. Молод еще академиками распоряжаться! Небось, покуда у нас авторитет не возрос, сидел в уголку и хихикал, а теперь прилетел на готовенькое, да еще на самый лакомый кусок зуб точит. Арбитраж ему, понимаешь ты, чтобы академики перед ним на задних лапках ходили! Нет, браток, не будет по-твоему. Не перед тобой они будут ходить...

— Гррррм, — произнес, выражая общее мнение, Лавр Федотович. — Какие будут еще предложения?

Выступил Фарфуркис и предложил установить твердую очередность дел в соответствии с количеством поданных заявок. Народ не может больше мириться с хронологической очередно-

стью. Смешно разбирать дело, на которое подана лишь одна заявка, но давно, раньше дела, на которое подано сорок заявок, но недавно...

По-видимому, все шло по плану, потому что магистры немедленно и одновременно взвыли. А как же мой Клоп, плакался Эдик. О, мой спрут Спиридон, стонал Роман. Несправедливо, старых клиентов зажимаете, мрачно рычал Витька. Обидно же, подвывал я. Сколько ждали, сколько надеялись, за что боролись...

Фарфуркис немедленно дал нам разъяснение. Он снова напомнил, что времена волевых решений окончательно и бесповоротно миновали. Раньше работа административного органа еще могла в отдельных случаях строиться на эмоциональной основе, без учета реальных требований народа. Теперь же в связи с внедрением социологии мы всегда можем объективно сказать, что более, а что менее необходимо. Вы же грамотные люди! Если на дело подано сорок заявок, значит, это важно, нужно и особо перспективно для науки. Я лично всегда удивлялся, зачем вам, товарищ Ойра-Ойра, какой-то дикий спрут. Я, конечно, не вмешивался, я не специалист, но априорное ощущение совершенной ненужности этого спрута для большой науки никогда меня не покидало.

И теперь я вижу, что я был прав. Во всей нашей огромной науке вы — единственный человек, кому понадобился этот спрут. С другой стороны, скажем, дух Наполеона — это безусловно нечто важное, необходимое для науки, что и подтверждается количеством поданных заявок...

Роман сокрушенно разводил руки, ронял на грудь повинную голову и каялся во всем. Мы все каялись, кто как умел, но толку от этого покаяния для Тройки, если не считать морального удовлетворения, не было никакого. Фарфуркис, конечно, выстроил дела в очередь, но при всем при том полусотня однозаявочных дел по-прежнему продолжала висеть у Тройки на шее, угрожая сорвать план и вызвать нарекания народа. И вдруг осененный Выбегалло перестал твердить свое французское заклинание и сказал, что... эта... молоды они, конечно, еще, до арбитража им еще расти и расти, и до серьезных дел тоже, а вот нет ли средства, значить, приспособить их как-нибудь к этим малым делишкам, к этим крокодилам, клопам, пришельцам всяким... Пусть бы поработали, опыта бы поднабрались... Только неясно вот, как это нам лучше провентилировать...

Наступила тишина. Мы замерли. Тройка раз-

думчиво переглядывалась. Фарфуркис листал записную книжку, в глазах у Хлебовводова, словно слабый огонек разума, замерцала надежда. Лавр Федотович терпеливо ждал предложений. Протекла минута, другая... И вот нечто прошелестело в воздухе. Где-то лязгнула дверь сейфа, затрещала и смолкла пишущая машинка, пахнуло затхлой канцелярщиной, и странный, бесплотный голос прошептал: «Подкомиссию бы...»

— Грррм? — сказал Лавр Федотович.

— Да-да! — подскочил Фарфуркис.

— Вер-рна! — возликовал Хлебовводов.

Лавр Федотович поднялся.

— Выражая общее мнение, — провозгласил он, — предлагаю создать из присутствующих здесь представителей Подкомиссию по малым делам в количестве четырех человек с правом предварительной рационализации и утилизации малых дел. Подкомиссия подчиняется непосредственно председателю Тройки. Куратором Подкомиссии назначается товарищ Фарфуркис, председателем Подкомиссии — товарищ Привалов, как наиболее проверенный и активный представитель. Предлагаю товарищу Привалову доложить мне план работы Подкомиссии в понедельник в девять ноль-ноль. Другие предложения есть? Вопросы

есть?

У меня были вопросы, у меня было множество вопросов и десятки предложений. Но Эдик и Роман мощным заклинанием Пинского-младшего парализовали мои конечности, а грубый Корнеев с размаху залепил мне уста Печатью Молчания Эйхмана — Ежова.

— Выражая общее мнение, — продолжал Лавр Федотович, — предлагаю товарищу Выбегалле в трехдневный срок разобрать и составить опись вновь поступивших заявок. Ответственный товарищ Хлебовводов. Предлагаю коменданту колонии товарищу Зубо завести новые дела в соответствии с поступившими заявками. Ответственный — товарищ... э-э... полковник. Товарищу Фарфуркису предлагается установить очередность дел и подготовить предварительные соображения по арбитражу. Другие предложения есть? Нет... На этом объединенное заседание Тройки и Подкомиссии по малым делам объявляю закрытым. Предлагаю Подкомиссии удалиться и приступить к исполнению своих обязанностей.

Поскольку я все порывался избавиться от Печати Молчания контрзаклинанием Израэля — Жукова, магистры сочли за благо превратить меня в три букета сирени и трансгрессироваться

прямо в наш номер. Там я получил обратно свой естественный облик, способность двигаться и способность говорить.

И я говорил.

Когда я выдохся, Корнеев сказал:

— Ну и грубиян ты, Сашка. А я-то думал, ты у нас тихий, воспитанный.

— Нехорошо, нехорошо, — подтвердил Роман. — Да еще при посторонних...

Только теперь я заметил, что в номере, кроме нас, находятся еще двое молодых людей, судя по всему — младших научных сотрудников.

— Ну как? — спросил один из них с жадностью. — Выгорело?

— О да! — сказал Роман. — Разрешите представить вам председателя Подкомиссии по малым делам товарища Привалова. Александр Иванович, это представители, — мелочь всякая, крокодилы им там нужны, клопы и так далее... А вот не угодно ли вам, Александр Иванович, начать заседание? Что нам тратить народное время?

И я понял, что тратить народное время действительно не имеет никакого смысла. Я забрался с ногами на Витькину койку, упер руки в колени и оглядел всех мертвенным взглядом.

— Гррrм, — сказал я. — Выражая общее мнение, предлагаю рационализировать дело номер девяносто семь, именуемое Черный Ящик, и передать его присутствующему здесь Привалову А. И. Другие предложения есть? Нет предложений. Принято. Протокол!

Передо мною лег протокол.

— Следующий, — провозгласил я. — Товарищ Корнеев, доложите!

Неустанно борясь с бюрократизмом и недооценкой собственных сил, мы за пять минут рационализировали и распределили Клопа Говорящего, Жидкого пришельца и спрута Спиридона. Затем, движимые стремлением внедрить здоровую критику и укрепить противопожарную безопасность, мы перераспределили снежного человека Федю лаборантом в отдел Эдика Ампераяна. Ненависть к зазнайству и страстная любовь к трудовой дисциплине подвигнули нас отдать птеродактиля Кузьму под покровительство Володи Почкина. Письмо в Президиум Академии Наук об оказании помощи пришельцу Константину мы составили просто так, вне борьбы, из чистого альтруизма.

— А теперь, — сказал я злорадно, — долой обезличку! Да здравствует образцовое ведение

отчетности! Сейчас мы переиграем старикашку Эдельвейса.

— Поздно, — сказал Роман. — Мне очень грустно, Саша, но Эдельвейса ты все равно что утратил. На него подана в общей совокупности двести одна заявка, и достанется он, несчастный, Кристобалю Хунте.

Я почтил память Эдельвейса минутой молчания, а потом спохватился.

— То есть как? — сказал я. — Разве заявки настоящие?

— Ну, естественно, — удивился Эдик. — За кого ты нас принимаешь?

— Обижаешь, начальник. Мы не уголовники какие-нибудь, — сказал Корнеев. — Мы работяги. Мы, если хочешь знать, всю научную общественность за эту ночь перетряхнули. Ты знаешь про такого зверя — солидарность научной общественности называется? Особенно когда дело касается товарища Вунюкова...

— О! — с чувством сказал я. — Это гениально.

Незнакомцы, сидевшие на подоконнике, деликатно, но нетерпеливо покашляли.

— Да, да, конечно, — сказал им Роман. — Времени у нас мало.

— Мало? — переспросил я. — Ты ошибаешься.

Времени у нас нет вообще! У меня своих дел хватает, я не намерен заниматься председательствованием всю жизнь. Поэтому, вновь выражая всеобщее мнение, я объявляю первое и последнее заседание Подкомиссии в нынешнем ее составе закрытым. Предлагаю кооптировать вот этих типов на подоконнике в состав Подкомиссии, а всему нынешнему составу удалиться в длительный творческий отпуск.

— Правильное решение! — сказал один из этих типов, алчно потирая руки.

— Но имейте в виду, — сказал я. — Пока не прибудет следующая партия просителей, которых можно будет кооптировать, вы будете сидеть здесь, общаться с товарищем Вунюковым и набираться опыта на совместных заседаниях Тройки и Подкомиссии. Это вас закалит.

— Идет, — согласился другой из этих типов.

— И не забывайте содержать в полном порядке отчетность, — напомнил я. — Отчетность — это главное. — Я собрал протоколы и встал. — Ну ладно. Кто хочет, пусть ждет до понедельника. А я, председатель, сейчас пойду к Вунюкову и вышибу из него Большую Круглую Печать.

СКАЗКА О ТРОЙКЕ — 2

Пролог

Эта история началась с того, что однажды в разгар рабочего дня, когда я потел над очередной рекламацией в адрес Китежградского завода маготехники, у меня в кабинете объявился мой друг Эдик Амперян. Как человек вежливый и воспитанный, он не возник бесцеремонно прямо на колченогом стуле для посетителей, не ввалился нагло через стену и не ворвался в открытую форточку в обличье булыжника, пущенного из катапульты. В большинстве мои друзья постоянно куда-то спешили, что-то не успевали, куда-то опаздывали, а потому возникали, вламывались и врывались с совершенной непринужденностью, пренебрегая обыкновенными коммуникациями. Эдик был не из таких: он скромно вошел в дверь. Он даже предварительно постучал, но у меня не было времени ответить.

Он остановился передо мной, поздоровался и спросил:

— Тебе все еще нужен Черный Ящик?

— Ящик? — пробормотал я, не в силах оторваться от рекламации. — Как тебе сказать... Какой, собственно, ящик?

— Кажется, я мешаю, — осторожно сказал вежливый Эдик. — Ты меня извини, но меня послал к тебе шеф... Дело в том, что примерно через час будет произведен первый запуск лифта новой системы за пределы тринадцатого этажа. Нам предлагают воспользоваться.

Мозг мой был все еще окутан ядовитыми парами рекламационной фразеологии, и потому я только тупо проговорил:

— Каковой лифт и должен был быть отгружен в наш адрес еще тринадцатого этажа сего года...

Однако затем первые десятки битов Эдиковой информации достигли моего серого вещества. Я положил ручку и попросил повторить. Эдик терпеливо повторил.

— Это точно? — спросил я замирающим шепотом.

— Абсолютно, — сказал Эдик.

— Пошли, — сказал я, вытаскивая из стола папку с копиями своих заявок.

— Куда?

— Как куда? На семьдесят шестой!

— Не вдруг, — сказал Эдик, покачав головой. — Сначала надо зайти к шефу.

— Зачем это?

— Он просил зайти. С этим семьдесят шестым

этажом какая-то история. Шеф хочет нас напутствовать.

Я пожал плечами, но спорить не стал. Я надел пиджак, извлек из папки заявку на Черный Ящик, и мы отправились к Эдикову шефу, Федору Симеоновичу Киврину, заведующему отделом Линейного Счастья.

На лестничной площадке первого этажа перед решетчатой шахтой лифта царило необычайное оживление. Дверь шахты была распахнута, дверь кабины — тоже, горели многочисленные лампы, сверкали зеркала, тускло отсвечивали лакированные поверхности. Под старым, уже поблекшим транспарантом «Сдадим лифт к празднику!» толпились любопытные и жаждущие покататься. Все почтительно внимали замдиректора по АХЧ Модесту Матвеевичу Камноедову, произносившему речь перед строем монтеров Соловецкого котлонадзора.

— ...Это надо прекратить, — внушал Модест Матвеевич. — Это лифт, а не всякие там спектроскопы-микроскопы. Лифт есть мощное средство передвижения, это первое. А также средство транспорта. Лифт должен быть как самосвал: приехал, вывалил и обратно. Это во-первых. Администрации давно известно, что многие това-

рищи ученые, в том числе отдельные академики, лифтом эксплуатировать не умеют. С этим мы боремся, это мы прекращаем. Экзамен на право вождения лифта, невзирая на прошлые заслуги... учреждение звания отличного лифтовода... и так далее. Это во-вторых. Но монтеры со своей стороны должны обеспечить бесперебойность. Нечего, понимаете, ссылаться на объективные обстоятельства. У нас лозунг: лифт для всех. Не взирая на лица. Лифт должен выдерживать прямое попадание в кабину самого необученного академика...

Мы пробрались через толпу и двинулись дальше. Торжественная обстановка этого импровизированного митинга произвела на меня большое впечатление. Чувствовалось, что сегодня лифт наконец действительно заработает и будет работать, может быть, даже целые сутки. Это было знаменательно.

Лифт всегда был ахиллесовой пятой нашего Института и лично Модеста Матвеевича. Собственно, ничем особенным он не отличался. Лифт как лифт, со своими достоинствами и своими недостатками. Как и полагается порядочному лифту, он постоянно норовил застрять между этажами, вечно был занят, вечно пережигал

ввинченные в него лампочки, требовал безукоризненного обращения с шахтными дверьми, и, входя в кабину, никто не мог сказать с уверенностью, где и когда удастся из нее выйти. Но была у нашего лифта одна особенность. Он терпеть не мог подниматься выше двенадцатого этажа. То есть, конечно, история Института знала случаи, когда отдельные умельцы ухитрялись взнуздать строптивый механизм и, дав ему шенкеля, поднимались на совершенно фантастические высоты. Но для массового человека вся бесконечная громада Института выше двенадцатого этажа оставалась сплошным белым пятном. Об этих территориях, почти полностью отрезанных от мира и административного влияния, ходили всевозможные, зачастую противоречивые слухи. Так, утверждалось, например, что сто двадцать четвертый этаж имеет выход в соседствующее пространство с иными физическими свойствами, на двести тринадцатом этаже обитает якобы неведомое племя алхимиков — идейных наследников знаменитого «Союза Девяти», учрежденного просвещенным индийским царем Ашокою, а на тысяча семнадцатом до сих пор живут себе не тужат у самого Синего Моря старик, старуха и золотые мальки Золотой Рыбки.

Лично меня, как и Эдика, больше всего интересовал семьдесят шестой этаж. Там, согласно инвентарной ведомости, хранился Идеальный Черный Ящик, необходимый для вычислительной лаборатории, а также проживал некий Говорящий Клоп, в котором крайне и давно нуждался отдел Линейного Счастья. Насколько нам было известно, на семьдесят шестом этаже размещалось нечто вроде склада дефицитных явлений природы и общества, и многие наши сотрудники вожделели попасть туда и запустить хищные руки свои в эту сокровищницу. Федор Симеонович, например, грезил о раскинувшихся якобы там гектарах гранулированной Почвы для Оптимизма. Ребятам из отдела Социальной Метеорологии позарез нужен был хотя бы один квалифицированный Холодный Сапожник — а там их значилось трое, и все как один с эффективной температурой, близкой к абсолютному нулю. Кристобаль же Хозевич Хунта, заведующий отделом Смысла Жизни и доктор самых неожиданных наук, рвался выловить на семьдесят шестом уникальный экземпляр так называемой Мечты Бескрылой Приземленной, дабы набить из нее чучело. Шесть раз за последние четверть века он пытался пробиться на семьде-

сят шестой этаж напролом через перекрытия, используя свои исключительные способности к вертикальной трансгрессии, но даже ему это не удалось: все этажи выше двенадцатого были, в соответствии с хитроумным замыслом древних архитекторов, наглухо блокированы для всех видов трансгрессии. Таким образом, успешный запуск лифта означал бы новый этап в жизни нашего коллектива.

Мы остановились перед кабинетом Федора Симеоновича, и старенький домовой Тихон, чистенький и благообразный, приветливо распахнул перед нами дверь. Мы вошли.

Федор Симеонович был не один. За его обширным рабочим столом сидел, небрежно развалясь в покойном кресле, оливковый Кристобаль Хозевич и сосал пахучую гаванскую сигару. Сам Федор Симеонович, заложив большие пальцы за яркие подтяжки, расхаживал по кабинету, опустив голову и стараясь ступать по самому краю шемаханского ковра. На столе красовались в хрустальных вазах райские плоды: крупные румяные яблоки Познания Зла и совершенно несъедобные на вид, но тем не менее всегда почему-то червивые яблоки Познания Добра. Фарфоровый сосуд у локтя Кристобаля Хозевича

был полон огрызков и окурков.

Обнаружив нас, Федор Симеонович остановился.

— А вот и они с-сами, — произнес он без обычной улыбки. — П-прошу садиться. В-время дорого. К-Камноедов этот — болтун, но он с-скоро закончит. К-Кристо, изложи об-обстоятельства, а то у меня это всегда п-плохо получается.

Мы сели. Кристобаль Хозевич, прищуря правый глаз от дыма, оценивающе оглядел нас.

— Изволь, изложу, — сказал он Федору Симеоновичу. — Обстоятельства дела, молодые люди, таковы, что первыми на семьдесят шестой этаж надлежало бы отправиться нам, людям опытным и умелым. К сожалению, по мнению администрации, мы слишком стары и слишком уважаемы для первого испытательного запуска. Поэтому отправитесь вы, и я вас сразу предупреждаю, что это не простая прогулка, что это разведка, может быть, разведка боем. От вас потребуются выдержка, отвага и предельная осмотрительность. Лично я не наблюдаю в вас этих качеств, однако готов уступить рекомендации Федора Симеоновича. И во всяком случае, вы должны знать, что, скорее всего, вам придется действовать на территории врага — врага неумолимого, жестокого и ни перед

чем не останавливающегося.

От такого вступления у меня мурашки пошли по коже, но тут Кристобаль Хозевич принялся излагать, как обстоит дело.

А дело обстояло следующим образом. На семьдесят шестом этаже располагался, оказывается, древний город Тьмускорпионь, захваченный в свое время в качестве трофея мстительным Вещим Олегом. Спокон веков Тьмускорпионь была средоточием странных явлений и ареной странных событий. Почему это происходило — неизвестно, но все, что на каждом этапе научного, технического и социального прогресса не могло быть разумно объяснено, попадало именно туда для хранения до лучших времен. Так что еще во времена Петра Великого одновременно с учреждением в Санкт-Питербурхе знаменитой Куншткамеры и в подражание ей тогдашняя соловецкая администрация в лице бомбардир-поручика Птахи и его полуроты гренадер учредила в Тьмускорпиони «Его Императорского Величества Пречудесных и Преудивительных Кунштов Камеру с острогом и двумя банями». В те времена семьдесят шестой этаж был вторым, о лифтах никто слыхом не слыхал, и в «Е. И. В. Кунштов Камеру» попасть было гораздо легче, чем, скажем,

в баню. В дальнейшем же, по мере повсеместного роста Здания Науки, доступ туда все более затруднялся, а с появлением лифта прекратился почти вовсе. А между тем «Кунштов Камера» все росла, обогащаясь новыми экспонатами, превратилась при Екатерине Второй в «Зоологических и Прочих Чудес Натуры Императорский Музеум», затем при Александре Втором — в «Российский Императорский Заповедник Магических, Спиритических и Оккультных Феноменов» и, наконец, в Государственную Колонию Необъясненных Явлений при НИИЧАВО Академии Наук. Разрушительные последствия изобретения лифта мешали использовать эту сокровищницу для научных целей. Деловая переписка с тамошней администрацией была чрезвычайно затруднена и имела неизбежно затяжной характер: спускаемые сверху тросы с корреспонденцией рвались под собственной тяжестью, почтовые голуби отказывались летать так высоко, радиосвязь была неуверенной из-за отсталости Тьмускорпионской техники, а применение воздухоплавательных средств приводило лишь к расходу дефицитного гелия... Впрочем, все это была только история.

Примерно двадцать лет назад взыгравший лифт забросил на семьдесят шестой этаж инспек-

ционную комиссию Соловецкого горкомхоза, скромно направлявшуюся обследовать забитую канализацию в лабораториях профессора Выбегаллы на четвертом этаже. Что в точности произошло — осталось неизвестным. Сотрудник Выбегаллы, дожидавшийся комиссию на лестничной площадке, рассказывал, что кабина лифта с безумным ревом пронеслась вверх по шахте, за стеклянной дверцей мелькнули искаженные лица, и страшное видение исчезло. Ровно через час кабина была обнаружена на двенадцатом этаже, взмыленная, всхрапывающая и еще дрожащая от возбуждения. Комиссии в кабине не было, к стенке канцелярским клеем была прилеплена записка на обороте «Акта о неудовлетворительном состоянии». В записке значилось: «Выхожу на обследование. Вижу странный камень. Тов. Фарфуркису объявлен выговор за уход в кусты. Председатель комиссии Л. Вунюков».

Долгое время никто не знал, где, собственно, покинул кабину Л. Вунюков с подчиненными. Приходила милиция, было много неприятностей. Потом, месяц спустя, на крыше кабины обнаружили два запечатанных пакета, адресованных заведующему горкомхозом. В одном пакете содержалась пачка приказов на папиросной бумаге,

в которых объявлялись выговора то товарищу Фарфуркису, то товарищу Хлебовводову — большей частью за проявления индивидуализма и за какую-то непонятную «зубовщину». Во втором пакете находились материалы обследования состояния канализации Тьмускорпиони (состояние признавалось неудовлетворительным) и заявления в бухгалтерию о начислении высокогорных и дополнительных командировочных.

После этого корреспонденция сверху стала поступать довольно регулярно. Сначала это были протоколы заседаний инспекционной комиссии горкомхоза, потом — протоколы заседаний просто инспекционной комиссии, потом — Особой комиссии по расследованию обстоятельств, потом вдруг — Временной Тройки по расследованию деятельности коменданта Колонии Необъясненных Явлений гр. Зубо, и наконец, после трех подряд докладных «о преступной небрежности», Л. Вунюков подписался в качестве председателя Тройки по Рационализации и Утилизации Необъясненных Явлений (ТПРУНЯ). Сверху перестали спускать протоколы и принялись спускать циркуляры и указания. Бумаги эти были страшны как по форме, так и по содержанию. Они неопровержимо свидетельствовали о том, что бывшая

комиссия горкомхоза узурпировала власть в Тьмускорпиони и что распорядиться этой властью разумно она была не в состоянии.

— Главная опасность заключается в том, — размеренным голосом продолжал Кристобаль Хозевич, посасывая потухшую сигару, — что в распоряжении этих проходимцев находится небезызвестная Большая Круглая Печать. Я надеюсь, вы понимаете, что это значит...

— Понимаю, — сказал Эдик тихо. — Не вырубишь топором... — Ясное лицо его затуманилось. — А что, если мы применим реморализатор?

Кристобаль Хозевич переглянулся с Федором Симеоновичем.

— Можно, конечно, попытаться, — сказал он, пожимая плечами. — Однако боюсь, что процессы зашли слишком далеко...

— Н-нет, п-почему же? — возразил Федор Симеонович. — Примените, п-примените, Эдик. Не автоматы же там применять... К-кстати, у них же там еще и В-выбегалло...

— Как так? — изумились мы.

Оказалось, что три месяца назад сверху поступило требование на научного консультанта с фантастическим окладом денежного содержания. Никто в этот оклад не верил, а более всех

— профессор Выбегалло, который в это время как раз заканчивал большую работу по выведению путем перевоспитания самонадевающегося на рыболовный крючок дождевого червя. О своем недоверии Выбегалло во всеуслышание объявил на ученом совете и тем же вечером бежал, бросив все. Многие видели, как он, взявши портфель в зубы, карабкался по внутренней стене шахты, выходя на этажах, кратных пяти, дабы укрепить свои силы в буфете. А через неделю сверху был спущен приказ о зачислении профессора Выбегалло А. А. научным консультантом при ТПРУНЯ с обещанным окладом и надбавками за знание иностранных языков.

— Спасибо, — сказал вежливый Эдик. — Это ценная информация. Так мы пойдем?

— Идите, идите, г-голубчики, — растроганно произнес Федор Симеонович. Он поглядел в магический кристалл. — Да, уже пора. Камноедов б-близится к к-концу. И п-поосторожней там... Д-дремучее место, ж-жуткое...

— И никаких эмоций! — настойчиво напомнил Кристобаль Хозевич. — Не будут вам давать ваших клопов и ящиков — не надо. Вы — лазутчики. С вами будет установлена односторонняя телепатическая связь. Мы будем следить за каждым

вашим шагом. Собирайте информацию — вот ваша основная задача.

— Мы понимаем, — сказал Эдик.

Кристобаль Хозевич снова оценивающе оглядел нас.

— Модеста бы им с собой взять, — пробормотал он. — Клин клином... — Он безнадежно махнул рукой. — Ладно, идите. Буэнавентура.

Мы вышли, и Эдик сказал, что теперь надо зайти к нему в лабораторию и взять реморализатор. Последнее время он увлекался практической реморализацией. В лаборатории у него в девяти шкафах размещался опытный агрегат, принцип действия которого сводился к тому, что он подавлял в облучаемом примитивные рефлексы и извлекал на поверхность и направлял во вне разумное, доброе и вечное. С помощью этого опытного реморализатора Эдику удалось излечить одного филателиста-тиффози, вернуть в лоно семьи двух слетевших с нарезки хоккейных болельщиков и ввести в рамки застарелого клеветника. Теперь он лечил от хамства нашего большого друга Витьку Корнеева, но пока безуспешно.

— Как мы все это потащим? — сказал я, со страхом озирая шкафы.

Однако Эдик успокоил меня. Оказывается, у него уже почти был готов портативный вариант, менее мощный, но достаточный, как Эдик надеялся, для наших целей. «Там я его допаяю и отлажу», — сказал он, пряча в карман плоскую металлическую коробочку.

Когда мы вновь вернулись на лестничную площадку, Модест Матвеевич заканчивал свою речь.

— ...Это мы тоже прекратим, — утверждал он несколько осипшим голосом. — Потому что, во-первых, лифт бережет наше здоровье. Это первое. И он бережет рабочее время. Лифт денег стоит, и курить в нем мы категорически не позволим... Кто здесь добровольцы? — спросил он, неожиданно поворачиваясь к толпе.

Несколько голосов тотчас откликнулись, но Модест Матвеевич эти кандидатуры отвел. «Молоды еще в лифтах ездить, — объявил он. — Это вам не спектроскоп». Мы с Эдиком молча протиснулись в первый ряд.

— Нам на семьдесят шестой, — негромко сказал Эдик.

Воцарилась почтительная тишина. Модест Матвеевич с огромным сомнением оглядел нас с ног до головы.

— Жидковаты, — пробормотал он раздумчиво.

— Зеленоваты еще... Курите? — спросил он.

— Нет, — ответил Эдик.

— Изредка, — сказал я.

Из толпы на Модеста Матвеевича набежал домовой Тихон и что-то прошептал ему на ухо. Модест Матвеевич поджал губы и надулся.

— Это мы еще проверим, — сказал он и добыл из кармана свою записную книжку. — За каким делом вы отправляетесь, Амперян? — спросил он недовольно.

— За Говорящим Клопом, — ответил Эдик.

— А вы, Привалов?

— За Черным Ящиком.

— Хм... — Модест Матвеевич полистал книжку. — Верно... имеются... та-ак... Колония Необъясненных Явлений... Покажите заявки.

Мы показали.

— Ну что ж, поезжайте... Не вы первые, не вы последние...

Он взял под козырек. Раздалась печальная музыка. Толпа заволновалась. Мы вступили в кабину. Мне было грустно и страшно, я вспомнил, что не попрощался со Стеллочкой. «Стопчут их там, — объяснял кому-то Модест Матвеевич. — Жалко... Ребята неплохие... Амперян вот даже и не курит, в рот не берет...» Металлическая дверь

шахты с лязгом захлопнулась. Эдик, не глядя на меня, нажал кнопку семьдесят шестого этажа. Дверь кабины автоматически задвинулась, вспыхнула надпись: «Не курить! Пристегнуть ремни!» — и мы отправились в путь.

Поначалу кабина шла лениво, вялой трусцой. Чувствовалось, что никуда ей не хочется. Медленно уплывали вниз знакомые коридоры, печальные лица друзей, самодельные плакаты «Молодцы!» и «Вас не забудут!». На двенадцатом этаже нам в последний раз помахали платочками, и кабина вступила в неизведанные области. Показывались и исчезали необитаемые на вид, пустые помещения, толчки становились все реже, все слабее, кабина, казалось, засыпала на ходу и на шестнадцатом этаже остановилась совсем. Мы едва успели перекинуться парой фраз с какими-то вооруженными людьми, которые оказались сотрудниками отдела Заколдованных Сокровищ, как вдруг кабина взвилась на дыбы и с железным ржанием устремилась в зенит бешеным галопом. Замигали лампочки, защелкали тумблеры. Страшная перегрузка вдавила нас в пол. Чтобы удержаться на ногах, мы с Эдиком ухватились друг за друга. В зеркалах отразились наши вспотевшие от напряжения лица, и мы уже

приготовились к худшему, но тут галоп сменился мелкой рысью, сила тяжести упала до полутора «же», и мы приободрились. Екая селезенкой, кабина причалила к пятьдесят седьмому этажу и остановилась снова. Раздвинулась дверь, вошел грузный пожилой человек с аккордеоном наизготовку, небрежно сказал нам: «Общий привет!» — и нажал на кнопку шестьдесят третьего этажа. Когда кабина двинулась, он прислонился к стенке и, мечтательно закатив глаза, принялся тихонько наигрывать «Кирпичики». «Снизу?» — лениво осведомился он, не поворачивая головы. «Снизу», — ответили мы. «Камноедов все работает?» — «Работает». — «Ну, привет ему», — сказал незнакомец и больше не обращал на нас внимания. Кабина неторопливо поднималась, подрагивая в такт «Кирпичикам», а мы с Эдиком от стесненности принялись изучать «Правила пользования», вытравленные на медной доске.

Мы узнали, что запрещается: селиться в кабине летучим мышам, вампирам и белкам-летягам; выходить сквозь стены в случае остановки кабины между этажами; провозить в кабине горючие и взрывчатые вещества, а также сосуды с джиннами и ифритов без огнеупорных намордников; пользоваться лифтом домовым и вурдалакам без

сопровождающих... Запрещалось также всем без исключения производить шалости, заниматься сном и совершать подпрыгивания. Дочитать до конца мы не успели. Кабина снова остановилась, незнакомец вышел, и Эдик снова нажал кнопку семьдесят шестого. В ту же секунду кабина рванулась вверх так стремительно, что у нас потемнело в глазах. Когда мы отдышались, кабина стояла неподвижно, двери были раскрыты. Мы были на семьдесят шестом этаже.

Поглядев друг на друга, мы вышли, подняв над головой заявки, как белые парламентерские флаги. Не знаю, чего мы, собственно, ожидали. Чего-то плохого.

Однако ничего страшного не произошло. Мы оказались в круглом, пустом, очень пыльном зале с низким серым потолком. Посередине возвышался вросший в паркет белый валун, похожий на надолб, вокруг валуна в беспорядке валялись старые пожелтевшие кости. Пахло мышами, было сумрачно. Вдруг шахтная дверь позади нас с лязгом захлопнулась сама собой, мы вздрогнули, обернулись, но успели увидеть только мелькнувшую крышу провалившейся кабины. Зловещий удаляющийся гул прокатился по залу и замер. Мы были в ловушке.

Мне немедленно и страстно захотелось назад, вниз, но выражение растерянности, промелькнувшее на лице Эдика, придало мне силы. Я выпятил челюсть, заложил руки за спину и на прямых ногах, храня вид независимый и скептический, направился к камню. Как я и ожидал, камень оказался чем-то вроде дорожного указателя, часто встречающегося в сказках. Надпись на нем выглядела следующим образом:

§ 1 на лево пойд
еш головушку потеря
еш § 2 на право пойдеш
ни куда не придеш § 3 пря
мо пой С В У Х Ь

— Последнюю строчку скололи, — пояснил Эдик. — Ага, тут еще какая-то надпись карандашом... «Мы... здесь... посоветовались с народом, и есть... мнение, что идти следует... прямо». Подпись: Л. Вунюков.

Мы посмотрели прямо. Теперь, когда глаза наши привыкли к рассеянному свету, попадающему в зал неизвестно каким образом, мы увидели двери. Их было три, причем двери, ведущие, так сказать, направо и налево, были заколочены досками, а к двери прямо, огибая камень, вела от

лифта протоптанная в пыли тропинка.

— Не нравится мне все это, — сказал я с мужественной прямотой. — Кости какие-то...

— Кости, по-моему, слоновьи, — сказал Эдик. — Впрочем, это неважно. Не возвращаться же нам.

— Может, все-таки напишем записку и бросим в лифт? — предложил я. — Сгинем ведь бесследно.

— Саша, — сказал Эдик, — не забудь, что мы находимся в телепатической связи. Неудобно. Встряхнись.

Я встряхнулся. Я снова выпятил челюсть и решительно двинулся к двери прямо. Эдик шел рядом со мной.

— Рубикон перейден! — заявил я и пнул дверь ногой.

Впрочем, эффект пропал даром: на двери оказалась малоприметная табличка «Тянуть к себе» — и рубикон пришлось переходить вторично, уже без жестов и через унизительное преодоление мощной пружины.

Сразу за дверью оказался парк, залитый солнечным светом. Мы увидели песчаные аллейки, подстриженные кусты и предупреждения: «По газонам не ходить» и «Траву не есть». Напротив стояла чугунная садовая скамейка с проломленной спинкой, а на скамейке читал газету,

пошевеливая длинными пальцами босых ног, какой-то странный человек в пенсне. Заметив нас, он почему-то смутился, не опуская газеты, ловко снял ногой пенсне, протер линзы о штанину и вновь водрузил на место. Потом он отложил газету и поднялся. Был он велик ростом, неимоверно волосат и одет в чистую белую безрукавку и синие холщовые штаны на помочах. Золоченое пенсне сжимало его широкую черную переносицу и придавало ему какой-то иностранный вид. Было в нем что-то от политической карикатуры в центральной газете. Он повел большими острыми ушами, сделал несколько шагов нам навстречу и произнес хриплым, но приятным голосом:

— Добро пожаловать в Тьмускорпионь, и разрешите представиться. Федор, снежный человек.

Мы молча поклонились.

— Вы ведь снизу? — продолжал он. — Слава богу. Я жду вас уже больше года — с тех пор, как меня рационализировали. Давайте присядем. До вечернего заседания Тройки остается около часа. Мне бы очень хотелось, с вашего позволения, чтобы вы явились на это заседание хоть как-то подготовленными. Конечно, знаю я немного, но позвольте мне рассказать вам все, что я знаю...

Дело № 42. Старикашка Эдельвейс

Мы перешагнули порог комнаты заседаний ровно в пять часов. Мы были проинструктированы, мы были ко всему готовы, мы знали, на что идем. Во всяком случае, мне так казалось. Признаться, Федины объяснения несколько успокоили меня, Эдик же, напротив, впал в подавленное состояние. Эта подавленность удивляла меня, я относил ее целиком за счет того, что Эдик всегда был человеком чистой науки, далеким от всяких там входящих и исходящих, от дырокола и ведомостей. И эта же его подавленность возбуждала во мне, человеке сравнительно опытном, ощущение превосходства, я чувствовал себя старшим и готов был вести себя соответственно.

В комнате наличествовал пока только один человек — судя по Фединому описанию, комендант Колонии товарищ Зубо. Он сидел за маленьким столиком, держал перед собой раскрытую папку и так и подсигивал от какого-то нетерпеливого возбуждения. Был он тощ и похож на Дуремара, губы у него непрерывно двигались, а глаза были белые, как у античной статуи. Нас он сначала не заметил, и мы тихонько уселись у стены под

табличкой «Представители».

Комната была в три окна, у двери стоял голый демонстрационный стол, у стены напротив — другой стол, огромный, покрытый зеленой суконной скатертью. В углу возвышался чудовищный коричневый сейф; комендантский столик, заваленный канцелярскими папками, ютился у его подножия. В комнате был еще один маленький столик под табличкой «Научный консультант» и гигантский, на полторы стены, матерчатый лозунг: «Народу не нужны нездоровые сенсации. Народу нужны здоровые сенсации». Я покосился на Эдика. Эдик, не отрываясь, глядел на лозунг. Эдик был убит.

Комендант вдруг встрепенулся, повел большим носом и обнаружил наше присутствие.

— Посторонние! — произнес он с испуганным изумлением.

Мы встали и поклонились. Комендант, не спуская с нас напряженного взора, вылез из-за своего столика, сделал несколько крадущихся шагов и, остановившись перед Эдиком, протянул руку. Вежливый Эдик, слабо улыбнувшись, пожал эту руку и представился, после чего отступил на шаг и поклонился снова. Комендант, казалось, был потрясен. Несколько мгновений он стоял в

прежней позе, а затем поднес свою ладонь к лицу и недоверчиво осмотрел ее. Что-то было не так. Комендант быстро замигал, а потом с огромным беспокойством, как бы ища оброненное, принялся оглядывать пол под ногами. Тут до меня дошло.

— Документы! — прошипел я. — Документы ему дай!

Комендант, болезненно улыбаясь, продолжал озираться. Эдик торопливо сунул ему свое удостоверение и заявку. Комендант ожил. Действия его вновь стали осмысленными. Он пожрал глазами сначала заявку, потом фотографию на документе, а на закуску — самого Эдика. Сходство фотографии с оригиналом привело его в очевидный восторг.

— Очень рад! — воскликнул он. — Зубо моя фамилия. Комендант. Рад вас приветствовать. Устраивайтесь, товарищ Амперян, располагайтесь, нам с вами еще работать и работать... — Он вдруг остановился и поглядел на меня. Я уже держал удостоверение и заявку наготове. Процедура пожирания повторилась. — Очень рад! — воскликнул комендант с совершенно теми же интонациями. — Зубо моя фамилия. Комендант. Рад вас приветствовать. Устраивайтесь, товарищ Привалов, располагайтесь...

— Как насчет гостиницы? — деловито спросил я.

Мне казалось, что это будет верный тон. Но я ошибся. Комендант пропустил мой вопрос мимо ушей. Он уже разглядывал заявки.

— Ящик Черный Идеальный... — бормотал он. — Есть у нас таковой, не рассматривали еще... А вот Клоп Говорящий уже рационализирован, товарищ Амперян... Не знаю, не знаю... Это еще как Лавр Федотович посмотрит, а я бы на вашем месте поостерегся...

Он вдруг замолчал, прислушался и рысью кинулся на свое место. В приемной послышались шаги, голоса, кашель, дверь распахнулась, движимая властной рукой, и в комнате появилась Тройка в полном составе — все четверо.

Лавр Федотович Вунюков, в полном соответствии с описанием, белый, холеный, могучий, ни на кого не глядя, проследовал на председательское место, сел, водрузил перед собою огромный портфель, с лязгом распахнул его и принялся выкладывать на зеленое сукно предметы, необходимые для успешного председательствования: номенклатурный бювар крокодиловой кожи, набор авторучек в сафьяновом чехле, коробку «Герцеговины Флор», зажигалку в виде Триум-

фальной арки и призматический театральный бинокль.

Рудольф Архипович Хлебовводов, желтый и сухой, как плетень, сел ошую Лавра Федотовича и принялся немедленно что-то шептать ему в ухо, бесцельно бегая воспаленными глазами по углам комнаты.

Рыжий рыхлый Фарфуркис не сел за стол. Он демократически устроился на жестком стуле напротив коменданта, вынул толстую записную книжку в дряхлом переплете и сразу же сделал в ней пометку.

Научный же консультант профессор Выбегалло, которого мы узнали без всякого описания, равнодушно оглядел нас, сдвинул брови, поднял на мгновение глаза к потолку, как бы пытаясь припомнить, где это он нас видел, не то припомнил, не то не припомнил, уселся за свой столик и принялся деятельно готовиться к исполнению своих ответственных обязанностей. Перед ним появился первый том Малой советской энциклопедии, затем второй том, затем третий, четвертый...

— Грррм, — произнес Лавр Федотович и оглядел присутствие взглядом, проникающим сквозь стены и видящим насквозь. Все были готовы: Хле-

бовводов нашептывал, Фарфуркис сделал вторую пометку, комендант, похожий на ученика перед началом опроса, судорожно листал страницы, а Выбегалло положил перед собой шестой том. Что же касается представителей, то есть нас, то мы, по-видимому, значения не имели. Я посмотрел на Эдика и поспешно отвернулся. Эдик был близок к полной деморализации — появление Выбегаллы его доконало.

— Вечернее заседание Тройки объявляю открытым, — сказал Лавр Федотович. — Следующий! Докладывайте, товарищ Зубо.

Комендант вскочил и, держа перед собой раскрытую папку, начал высоким голосом:

— Дело номер сорок второе. Фамилия: Машкин. Имя: Эдельвейс. Отчество: Захарович...

— С каких это пор он Машкиным заделался? — брюзгливо спросил Хлебовводов. — Бабкин, а не Машкин! Бабкин Эдельвейс Петрович. Я с ним работал в одна тысяча девятьсот сорок седьмом году в Комитете по молочному делу. Эдик Бабкин, плотный такой мужик, сливки очень любит... И, кстати, никакой он не Эдельвейс, а Эдуард. Эдуард Петрович Бабкин...

Лавр Федотович медленно обратил к нему каменное лицо.

— Бабкин? — произнес он. — Не помню... Продолжайте, товарищ Зубо.

— Отчество: Захарович, — дернув щекой, повторил комендант. — Год и место рождения: тысяча девятьсот первый, город Смоленск. Национальность...

— Э-дуль-вейс или Э-доль-вейс? — спросил Фарфуркис.

— Э-дель-вейс, — сказал комендант. — Национальность: белорус. Образование: неполное среднее общее, неполное среднее техническое. Знание иностранных языков: русский — свободно, украинский и белорусский — со словарем. Место работы...

Хлебовводов вдруг звонко шлепнул себя по лбу.

— Да нет же! — закричал он. — Он же помер!

— Кто помер? — деревянным голосом спросил Лавр Федотович.

— Да этот Бабкин! Я же как сейчас помню — в одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом году помер он от инфаркта. Стал он тогда финдиректором Всероссийского общества испытателей природы и помер. Так что тут какая-то путаница.

Лавр Федотович взял бинокль и некоторое время изучал коменданта, потерявшего дар речи.

— Факт смерти у вас отражен? — осведомился он.

— Христом-богом... — пролепетал комендант. — Какой смерти?.. Да почему же смерти... Да живой он, в приемной дожидается...

— Одну минуточку, — вмешался Фарфуркис. — Вы разрешите, Лавр Федотович? Товарищ Зубо, кто дожидается в приемной? Только точно. Фамилия, имя, отчество.

— Бабкин! — с отчаянием сказал комендант. — То есть... что я говорю? Не Бабкин — Машкин! Машкин дожидается. Эдельвейс Захарович.

— Понимаю, — сказал Фарфуркис. — А где Бабкин?

— Бабкин помер, — сказал Хлебовводов авторитетно. — Это я вам точно могу сказать. В одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом. Правда, у него сын был. Пашка, по-моему. Павел, значит, Эдуардович. Заведует он сейчас магазином текстильного лоскута в Голицыне, что под Москвой. Толковый работяга, но, кажется, не Павел все-таки, не Пашка...

Фарфуркис налил стакан воды и передал коменданту. В наступившей тишине было слышно, как комендант гулко глотает. Лавр Федотович размял и продул папиросу.

— Никто не забыт и ничто не забыто, — произнес он. — Это хорошо. Товарищ Фарфуркис, я попрошу вас занести в протокол, в констатирующую часть, что Тройка считает полезным принять меры к отысканию сына Бабкина Эдуарда Петровича на предмет выяснения его имени. Народу не нужны безымянные герои. У нас их нет.

Фарфуркис закивал и принялся быстро писать в записной книжке.

— Вы напились? — осведомился Лавр Федотович, разглядывая коменданта в бинокль. — Тогда продолжайте докладывать.

— Место работы и профессия в настоящее время: пенсионер-изобретатель, — нетвердым голосом прочел комендант. — Был ли за границей: не был. Краткая сущность необъясненности: эвристическая машина, то есть электронно-механическое устройство для решения инженерных, научных, социологических и иных проблем. Ближайшие родственники: сирота, братьев и сестер нет. Адрес постоянного местожительства: Новосибирск, улица Щукинская, 23, квартира 88. Все.

— Какие будут предложения? — спросил Лавр Федотович, приспустив тяжелые веки.

— Я бы предложил впустить, — сказал Хле-

бовводов. — Я почему предлагаю? А вдруг это Пашка?

— Других предложений нет? — спросил Лавр Федотович. Он пошарил по столу, ища кнопку, не нашел и сказал коменданту: — Пусть дело войдет, товарищ Зубо.

Комендант опрометью кинулся к двери, высунулся и тотчас вернулся, пятясь, на свое место. Следом за ним, перекосившись набок под тяжестью огромного черного футляра, вкатился сухопарый старичок в толстовке и в военных галифе с оранжевым кантом. По дороге к столу он несколько раз пытался прекратить движение и с достоинством поклониться, но футляр, обладавший, по-видимому, чудовищной инерцией, неумолимо нес его вперед и, может быть, не обошлось бы без жертв, если бы мы с Эдиком не подхватили старичка в полуметре от затрепетавшего уже Фарфуркиса.

Я сразу узнал этого старичка — он неоднократно бывал в нашем Институте, и во многих других институтах он тоже бывал, а однажды я видел его в приемной заместителя министра тяжелого машиностроения, где он сидел первым в очереди, терпеливый, чистенький, пылающий энтузиазмом. Старичок он был неплохой, безвредный, но,

к сожалению, не мыслил себя вне научно-технического прогресса.

Я забрал у него тяжеленный футляр и водрузил изобретение на демонстрационный столик. Освобожденный наконец старичок поклонился и сказал дребезжащим голоском:

— Мое почтение. Машкин Эдельвейс Захарович, изобретатель.

— Не он, — сказал Хлебовводов вполголоса. — Не он и не похож. Надо полагать, совсем другой Бабкин. Однофамилец, надо полагать.

— Да-да, — согласился старичок, улыбаясь. — Принес вот на суд общественности. Профессор вот, товарищ Выбегалло, дай бог ему здоровья, порекомендовал. Готов демонстрировать, ежели на то будет ваше желание, а то засиделся я у вас в Колонии неприлично...

Внимательно разглядывавший его Лавр Федотович отложил бинокль и медленно наклонил голову. Старичок засуетился. Он снял с футляра крышку, под которой оказалась громоздкая старинная пишущая машинка, извлек из кармана моток провода, воткнул один конец куда-то в недра машинки, затем огляделся в поисках розетки и, обнаружив, размотал провод и воткнул вилку.

— Вот, изволите видеть, так называемая эври-

стическая машина, — сказал старичок. — Точный электронно-механический прибор для отвечания на любые вопросы, а именно — на научные и хозяйственные. Как она у меня работает? Не имея достаточно средств и будучи отфутболиваем различными бюрократами, она у меня не полностью пока еще автоматизирована. Вопросы задаются устным образом, и я их печатаю и ввожу к ей внутрь, довожу, так сказать, до ейного сведения. Отвечание ейное, опять же через неполную автоматизацию, печатаю снова я. В некотором роде посредник, хе-хе! Так что, ежели угодно, прошу.

Он встал за машинку и шикарным жестом перекинул тумблер. В недрах машинки загорелась неоновая лампочка.

— Прошу вас, — повторил старичок.

— А что это у вас там за лампа? — с любопытством спросил Фарфуркис.

Старичок тут же ударил по клавишам, потом быстро вырвал из машинки листок бумаги и рысцой поднес его Фарфуркису. Фарфуркис прочитал вслух:

— «Вопрос: что у нея... гм... у нея внутре за лпч...» Лэпэчэ... Кэпэдэ, наверное? Что это за лэпэчэ?

— Лампочка, значит, — сказал старичок, хихикая и потирая руки. — Кодируем помаленьку.

— Он вырвал у Фарфуркиса листок и побежал обратно к своей машинке. — Это, значит, был вопрос, — произнес он, загоняя листок под валик. — А сейчас посмотрим, что она ответит...

Члены Тройки с интересом следили за его действиями. Профессор Выбегалло благодушно-отечески сиял, изысканными и плавными движениями пальцев выбирая из бороды какой-то мусор. Эдик пребывал в покойной, теперь уже полностью осознанной тоске. Между тем старичок бодро простучал по клавишам и снова выдернул листок.

— Вот, извольте, ответ.

Фарфуркис прочитал:

— «У мене внутре... гм... не... неонка». Что это такое — неонка?

— Айн секунд! — воскликнул изобретатель, выхватил листок и вновь побежал к машинке.

Дело пошло. Машина дала безграмотное определение, что такое неонка, затем она ответила Фарфуркису, что пишет «внутре» согласно правил грамматики, а затем...

ФАРФУРКИС. Какой такой грамматики?

МАШИНА. А нашей русской грмтк.

ХЛЕБОВВОДОВ. Известен ли вам Бабкин Эдуард Петрович?

МАШИНА. Никак нет.

ЛАВР ФЕДОТОВИЧ. Грррм... Какие будут предложения?

МАШИНА. Признать мене за научный факт.

Старичок бегал и печатал с неимоверной быстротой. Комендант восторженно подпрыгивал на стуле и показывал нам большой палец. Эдик медленно восстанавливал душевное равновесие.

ХЛЕБОВВОДОВ (*раздраженно*). Я так работать не могу. Чего он взад-вперед мотается, как жесть по ветру?

МАШИНА. Ввиду стремления.

ХЛЕБОВВОДОВ. Да уберите вы от меня ваш листок! Я вас ни про чего не спрашиваю, можете вы это понять?

МАШИНА. Так точно, могу.

До Тройки дошло, наконец, что если они хотят кончить когда-нибудь сегодняшнее заседание, им надлежит воздержаться от вопросов, в том числе и от риторических. Наступила тишина. Старичок, который основательно умаялся, присел на краешек кресла и, часто дыша полуоткрытым ртом, вытирался платочком. Выбегалло горделиво озирался.

— Есть предложение, — тщательно подбирая слова, сказал Фарфуркис. — Пусть научный кон-

султант произведет экспертизу и доложит нам свое мнение.

Лавр Федотович поглядел на Выбегаллу и величественно наклонил голову. Выбегалло встал. Выбегалло любезно осклабился. Выбегалло прижал правую руку к сердцу. Выбегалло заговорил.

— Эта... — сказал он. — Неудобно, Лавр Федотович, может получиться. Как-никак, а же суизан рекомендате´ль сет нобль вё45. Пойдут разговоры... эта... кумовство, мол, протексио´н... А между тем случай очевидный, достоинства налицо, рационализация... эта... осуществлена в ходе эксперимента... Не хотелось бы подставлять под удар доброе начинание, гасить инициативу. Лучше будет что? Лучше будет, если экспертизу произведет лицо незаинтересованное... эта... постороннее. Вот тут среди представителей снизу наблюдается товарищ Привалов Александр Иванович... (Я вздрогнул.) Компетентный товарищ по электронным машинам. И незаинтересованный. Пусть он. Я так полагаю, что это будет ценно.

Лавр Федотович взял бинокль и стал поочередно нас рассматривать. Оживший Эдик умоляюще прошептал: «Саша, надо! Дай им! Такой случай!»

— Есть предложение, — сказал Фарфуркис, — просить товарища представителя снизу оказать

содействие работе Тройки.

Лавр Федотович отложил бинокль и дал согласие. Теперь все смотрели на меня. Я бы, конечно, ни за что не стал путаться в эту историю, если б не старичок. Сет нобль вё хлопал на меня красными веками столь жалостно и весь вид его являл такое очевидное обещание век за меня бога молить, что я не выдержал. Я неохотно встал и приблизился к машине. Старичок радостно мне улыбался. Я осмотрел агрегат и сказал:

— Ну хорошо. Имеет место пишущая машинка «ремингтон» выпуска тысяча девятьсот шестого года в сравнительно хорошем состоянии. Шрифт дореволюционный, тоже в хорошем состоянии. — Я поймал умоляющий взгляд старикашки, вздохнул и пощелкал тумблером. — Короче говоря, ничего нового данная печатающая конструкция, к сожалению, не содержит. Содержит только очень старое...

— Внутре! — прошелестел старичок. — Внутре смотрите, где у нее анализатор и думатель...

— Анализатор, — сказал я. — Нет здесь анализатора. Серийный выпрямитель есть, тоже старинный. Неоновая лампочка обыкновенная. Тумблер. Хороший тумблер, новый. Та-ак... Еще имеет место шнур. Очень хороший шнур, совсем

новый... Вот, пожалуй, и все.

— А вывод? — живо осведомился Фарфуркис.

Эдик ободряюще мне кивал, и я дал ему понять, что постараюсь.

— Вывод, — сказал я. — Описанная машинка «ремингтон» в соединении с выпрямителем, неоновой лампочкой, тумблером и шнуром не содержит ничего необъясненного.

— А я? — вскричал старичок.

Эдик показал мне, как надлежит делать хук слева, но этого я уже не мог.

— Нет, конечно... — промямлил я. — Проделана большая работа... (Эдик схватился за голову.) Я, конечно, понимаю... добрые намерения... (Эдик посмотрел на меня с презрением.) Ну в самом деле, — сказал я, — человек старался... нельзя же так...

— Побойся бога, — отчетливо произнес Эдик.

— Нет... Ну что ж... Ну пусть человек работает, раз ему интересно... Я только говорю, что необъясненного ничего нет... А вообще-то даже остроумно...

— Какие будут вопросы к врио научного консультанта? — осведомился Лавр Федотович.

Уловив вопросительную интонацию, старичок взвился и рванулся было к своей машине, но я

удержал его, обхватив за талию.

— Правильно, — сказал Хлебовводов. — Подержите его, а то тяжело работать, в самом деле. Все-таки у нас тут не вечер вопросов и ответов. И вообще, выключите ее пока, нечего ей подслушивать.

Высвободив одну руку, я щелкнул тумблером, лампочка погасла, и старичок затих.

— А вот все-таки у меня есть вопрос, — продолжал Хлебовводов. — Как же это она все-таки отвечает?

Я обалдело воззрился на него. Эдик пришел в себя и теперь, жестко прищурившись, разглядывал Тройку. Выбегалло был доволен. Он извлек из бороды длинную щепку и вонзил ее между зубами.

— Выпрямители там, тумбы разные, — говорил Хлебовводов, — это нам товарищ врио все довольно хорошо объяснил. Одного он нам не объяснил: фактов он нам не объяснил. А имеется непреложный факт, что когда ей задаешь вопрос, то получаешь тут же ответ. В письменном виде. И даже когда не ей, а кому другому задаешь вопрос, все равно обратно же получаешь ответ. А вы говорите, товарищ врио, ничего необъясненного нет. Не сходятся у вас концы с концами. Непонятно нам, что же говорит по данному поводу наука.

Наука в моем лице потеряла дар речи. Хлебовводов меня сразил, зарезал он меня, убил и в землю закопал. Зато Выбегалло отреагировал немедленно.

— Эта... — сказал он. — Так ведь я и говорю, ценное же начинание! Элемент необъясненного имеется, порыв снизу... Почему я и рекомендовал. Эта... — сказал он старику. — Объясни, мон шер, товарищам, что тут у тебя к чему.

Старичок словно взорвался.

— Высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы! — провозгласил он. — Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания...

У меня потемнело в глазах, рот наполнился хиной, заболели зубы, а проклятый нобль вё все говорил и говорил, и речь его была гладкой и плавной, это была хорошо составленная, вдумчиво отрепетированная и уже неоднократно произнесенная речь, в которой каждый эпитет, каждая интонация были преисполнены эмоционального содержания, это было настоящее произведение искусства. Старик был никаким не изобретателем, он был художником, гениальным

оратором, достойнейшим из последователей Демосфена, Цицерона, Иоанна Златоуста... Шатаясь, я отступил в сторону и прислонился лбом к холодной стене.

Тут Эдик негромко ударил в ладоши, и старикашка замолчал. На секунду мне показалось, что Эдик остановил время, потому что все сделались неподвижны, словно вслушивались в глубокую средневековую тишину, мягким бархатом повисшую в комнате. Потом Лавр Федотович отодвинул кресло и встал.

— По закону и по всем правилам я должен был бы говорить последним, — начал он. — Но бывают случаи, когда законы и правила оборачиваются против своих адептов, и тогда приходится отбрасывать их. Я начинаю говорить первым потому, что мы имеем дело как раз с таким случаем. Я начинаю говорить первым потому, что не могу ждать и молчать. Я начинаю говорить первым потому, что не ожидаю и не потерплю никаких возражений.

Ни о каких возражениях не могло быть и речи. Рядовые члены Тройки были настолько потрясены этим неожиданным приступом элоквенции, что позволяли себе только переглядываться, да и то искоса.

— Мы — гардианы науки, — продолжал Лавр Федотович. — Мы — ворота в ее храм, мы — беспристрастные фильтры, оберегающие от фальши, от легкомыслия, от заблуждений. Мы охраняем посевы знаний от плевел невежества и ложной мудрости. И пока мы делаем это, мы не люди, мы не знаем снисхождения, жалости, лицемерия. Для нас существует только одно мерило: истина. Истина отдельна от добра и зла, истина отдельна от человека и человечества, но только до тех пор, пока существует добро и зло, пока существует человек и человечество. Нет человечества — к чему истина? Никто не ищет знаний, значит — нет человечества, и к чему истина? Есть ответы на все вопросы, значит — не надо искать знаний, значит — нет человечества, и к чему же тогда истина? Когда поэт сказал: «И на ответы нет вопросов», он описал самое страшное состояние человеческого общества — конечное его состояние... Да, этот человек, стоящий перед нами, — гений. В нем воплощено и через него выражено конечное состояние человечества. Но он — убийца, ибо он убивает дух. Более того, он — страшный убийца, ибо он убивает дух всего человечества. И потому нам больше не можно оставаться беспристрастными фильтрами, а должно нам вспомнить, что

мы — люди, и как людям нам должно защищаться от убийцы. И не обсуждать должно нам, а судить! Но нет законов для такого суда, и потому должно нам не судить, а беспощадно карать, как карают охваченные ужасом. И я, старший здесь, нарушая законы и правила, первый говорю: смерть!

Рядовые члены Тройки вздрогнули и разом заговорили.

— Которого? — с готовностью спросил Хлебовводов, понявший, по-видимому, только последнее слово.

— Импосибе´ль![46] — всплеснув руками, испуганно прошептал Выбегалло.

— Позвольте, Лавр Федотович! — залепетал Фарфуркис. — Все это безусловно правильно, но можем ли мы...

Тогда Эдик снова хлопнул в ладоши.

— Грррм! — произнес Лавр Федотович, ворочая шеей, и сел. — Есть предложение считать сумерки сгустившимися и в соответствии с этим зажечь свет.

Комендант сорвался с места и включил свет. Лавр Федотович, не щурясь, как орел на солнце, поглядел на лампу и перевел взгляд на «ремингтон».

— Выражая общее мнение, — сказал он, — по-

становляю: данное дело номер сорок два считать рационализированным. Переходя к вопросу об утилизации, предлагаю товарищу Зубо огласить заявку.

Комендант принялся торопливо листать дело, а тем временем профессор Выбегалло выбрался из-за своего стола, с чувством пожал руку сначала старикашке, а потом, прежде чем я успел увернуться, и мне. Он сиял. Я не знал, куда деваться. Я не смел оглянуться на Эдика. Пока я тупо размышлял, не запустить ли мне «ремингтоном» в Лавра Федотовича, меня схватил старикашка. Он, как клещ, вцепился мне в шею и троекратно облобызал, оцарапав щетиной. Не помню, как я добрался до своего стула. Помню только, что Эдик шепнул мне: «Эх, Саша!.. Ну ничего, с кем не бывает...»

Между тем комендант перелистал все дела и тихим голосом сообщил, что на данное дело заявок не поступало. Фарфуркис тотчас заявил протест и процитировал статью инструкции, из которой следовало, что рационализация без утилизации есть нонсенс и может быть признана действительной лишь условно. Хлебовводов принялся орать, что эти штучки у нас не пройдут, что он деньги даром получать не желает и что он не

позволит коменданту отправить коту под хвост четыре часа рабочего времени. Лавр Федотович с видом одобрения продул папиросу, и Хлебовводов взыграл еще пуще.

— А вдруг это родственник моему Бабкину? — вопил он. — Как так нет заявок? Должны быть заявки! Вы только поглядите, старичок какой! Фигура какая самобытная, интересная! Как это мы будем такими старичками бросаться?

— Народ не позволит нам бросаться старичками, — заметил Лавр Федотович. — И народ будет прав.

— Вот и именно! — рявкнул вдруг Выбегалло. — Именно народ! И именно не позволит! Как же это — нет заявок, товарищ Зубо? Почему же это нет? — Он сорвался с места и ястребом набросился на гору бумаг перед комендантом. — Как это нет? — бормотал он. — Это что? «Птеродактиль обыкновенный»... Хорошо... А это? «Шкатулка Пандоры»! Чем же это вам у нас не шкатулка? Пусть не Пандоры, пусть Машкина... Это же формалитет, в конце концов... Или это, например: «Клоп Говорящий»... Говорящий, пишущий, печатающий... А!!! Как же это нет заявок, товарищ Зубо? А это что? «Черный Ящик»! Заявочка на Черный Ящик есть, а вы говорите, что нет!

Я обомлел.

— Погодите! — сказал я, но меня никто не слушал.

— Так это же у нас не Черный Ящик! — кричал комендант, прижимая к груди руки. — Черный Ящик совсем по другому номеру проходит!

— Как это так — не черный? — кричал в ответ Выбегалло, хватая обшарпанный черный футляр от «ремингтона». — Какой же он, по-вашему, ящик-то? Зеленый, может быть? Или белый? Дезинформацией занимаетесь, народными старичками бросаетесь!

Комендант, оправдываясь, выкрикивал, что это, конечно, тоже черный ящик, не зеленый и не белый, явно черный, но не тот ящик-то, тот Черный Ящик проходит по делу под номером девяносто седьмым, и на него заявка имеется вот товарища Привалова Александра Ивановича, сегодня только получена, а этот черный ящик — и не ящик вовсе, а эвристическая машина, и проходит она по делу под номером сорок вторым, и заявки на нее нет. Выбегалло орал, что нечего тут... эта... жонглировать цифрами и бросаться старичками; черное есть черное, оно не белое и не зеленое, и нечего тут, значить, махизьм разводить и всякий эмпириокритизьм, а пусть вот

товарищи члены авторитетной Тройки сами посмотрят и скажут, черный это ящик или, скажем, зеленый. Хлебовводов кричал что-то про своего Бабкина, Фарфуркис требовал не уклоняться от инструкции, Эдик с удовольствием вопил: «Долой!», а я, как испорченный граммофон, только твердил: «Мой Черный Ящик — это не ящик... Мой Черный Ящик — это не ящик...»

Наконец до Лавра Федотовича дошло ощущение некоторого непорядка.

— Гррр! — сказал он, и все стихло. — Затруднение? Товарищ Хлебовводов, устраните.

Хлебовводов твердым шагом подошел к Выбегалле, взял у него из рук футляр и внимательно осмотрел его.

— Товарищ Зубо, — сказал он, — на что ты имеете заявку?

— На Черный Ящик, — уныло сказал комендант. — Дело номер девяносто седьмое.

— Я тебя не спрашиваю, какое номер дело, — возразил Хлебовводов. — Я тебя спрашиваю: ты на Черный Ящик заявку имеете?

— Имею, — признался комендант.

— Чья заявка?

— Товарища Привалова из НИИЧАВО. Вот он сидит.

— Да! — страстно сказал я. — Но мой Черный Ящик — это не ящик, точнее, не совсем ящик...

Однако Хлебовводов внимания на меня не обратил. Он посмотрел футляр на свет, потом приблизился к коменданту и зловеще произнес:

— Ты что же это бюрократию разводите? Ты что же, не видите, какого оно цвета? На твоих же глазах рационализацию произвели, вот товарищ представитель от науки на твоих глазах сидит, ждет, понимаете, выполнения заявки, ужинать давно пора, на дворе темно, а ты что же, номерами здесь жонглируете?

Я чувствовал, что на меня надвигается какая-то тоска, что будущее мое заполняется каким-то унылым кошмаром, непоправимым и совершенно иррациональным. Но я не понимал, в чем дело, и только продолжал жалко бубнить, что мой Ящик — это не совсем черный ящик, а точнее — совсем не ящик. Мне хотелось разъяснить, рассеять недоразумение. Комендант тоже бубнил что-то убедительное, но Хлебовводов, погрозив ему кулаком, уже возвращался на свое место.

— Ящик, Лавр Федотович, черный, — с торжеством доложил он. — Ошибки никакой быть не может, сам смотрел. И заявка имеется, и представитель присутствует.

— Это не тот ящик! — хором проныли мы с комендантом, но Лавр Федотович, тщательно изучив нас в бинокль, обнаружил, по-видимому, в обоих какие-то несообразности и, сославшись на мнение народа, предложил приступить к немедленной утилизации. Возражений не последовало, все ответственные лица согласно кивали.

— Заявку! — воззвал Лавр Федотович.

Моя заявка легла перед ним на зеленое сукно.

— Резолюция!!

На заявку пала резолюция.

— Печать!!!

С лязгом распахнулась дверь сейфа, пахнуло затхлой канцелярией, и перед Лавром Федотовичем засверкала медью Большая Круглая Печать.

И тогда я понял, что сейчас произойдет. Все во мне умерло.

— Не надо! — просипел я. — Помогите!

Лавр Федотович взял Печать обеими руками и занес над заявкой. Собравшись с силами, я вскочил на ноги.

— Это не тот ящик! — завопил я в полный голос. — Да что же это... Эдик!

— Одну минуту, — сказал Эдик. — Остановитесь, пожалуйста, и выслушайте меня.

Лавр Федотович задержал неумолимое дви-

жение.

— Посторонний? — осведомился он.

— Никак нет, — тяжело дыша, сказал комендант. — Представитель. Снизу.

— Тогда можно не удалять, — произнес Лавр Федотович и возобновил было процесс приложения Большой Круглой Печати, но тут оказалось, что возникло затруднение. Что-то мешало Печати приложиться. Лавр Федотович сначала просто давил на нее, потом встал и навалился всем телом, но приложение все-таки не происходило — между бумагой и Печатью оставался зазор, и величина его явно не зависела от усилий товарища Вунюкова. Можно было подумать, что зазор этот заполнен каким-то невидимым, но чрезвычайно упругим веществом, препятствующим приложению. Лавр Федотович, видимо, осознал тщету своих стараний, сел, положил руки на подлокотники и строго, хотя и без всякого удивления, посмотрел на Печать. Печать неподвижно висела сантиметрах в двадцати над моей заявкой.

Казнь откладывалась, и я снова начал воспринимать окружающее. Эдик что-то горячо и красиво говорил о разуме, об экономической реформе, о добре, о роли интеллигенции и о государственной мудрости присутствующих... Он

держал Печать, милый друг мой, спасал меня, дурака и слюнтяя, от беды, которую я сам накачал себе на голову... Присутствующие слушали его внимательно, но с неудовольствием, а Хлебов-водов ерзал и поглядывал на часы. Надо было что-то делать... Надо было немедленно что-то предпринимать.

— ...И в седьмых, наконец, — рассудительно говорил Эдик, — любому специалисту, а тем более такой авторитетной организации, должно быть ясно, товарищи, что так называемый Черный Ящик есть не более как термин теории информации, ничего общего не имеющий ни с определенным цветом, ни с определенной формой какого бы то ни было реального предмета. Менее всего Черным Ящиком можно называть данную пишущую машинку «ремингтон» вкупе с простейшими электрическими приспособлениями, которые можно приобрести в любом электротехническом магазине, и мне кажется странным, что профессор Выбегалло навязывает авторитетной организации изобретение, которое изобретением не является, и решение, которое может лишь подорвать ее авторитет.

— Я протестую, — сказал Фарфуркис. — Во-первых, товарищ представитель снизу нарушил

здесь все правила ведения заседания, взял слово, которое ему никто не давал, и вдобавок еще превысил регламент. Это раз. (Я с ужасом увидел, что Печать колыхнулась и упала на несколько сантиметров.) Далее, мы не можем позволить товарищу представителю порочить наших лучших людей, чернить заслуженного профессора и официального научного консультанта товарища Выбегаллу и обелять имеющий здесь место и уже заслуживший одобрение Тройки черный ящик. Это два. (Печать провалилась еще на несколько сантиметров.) Наконец, товарищ представитель, надо бы вам знать, что Тройку не интересуют никакие изобретения. Объектом работы Тройки является необъясненное явление, в качестве какового в данном случае и выступает уже рассмотренный и рационализированный черный ящик, он же эвристическая машина.

— Это же до ночи можно просидеть, — обиженно добавил Хлебовводов, — ежели каждому представителю слово давать.

Печать вновь осела. Зазор был теперь не более десяти сантиметров.

— Это не тот черный ящик, — сказал я и проиграл два сантиметра. — Мне не нужен этот ящик! (Еще сантиметр.) Я протестую! На кой мне черт

эта старая песочница с «ремингтоном»? Я жаловаться буду!

— Это ваше право, — великодушно сказал Фарфуркис и выиграл еще один сантиметр.

— Эдик! — умоляюще воззвал я.

Эдик снова заговорил. Он взывал к теням Ломоносова и Эйнштейна, он цитировал передовые центральных газет, он воспевал науку и наших мудрых организаторов, но все было вотще. Лавра Федотовича это затруднение наконец утомило, и, прервавши оратора, он произнес только одно слово:

— Неубедительно.

Раздался тяжелый удар. Большая Круглая Печать впилась в мою заявку.

Разные дела

Мы покинули комнату заседаний последними. Я был подавлен. Эдик вел меня под локоть. Он тоже был расстроен, но держался спокойно. Вокруг нас, увлекаемый инерцией своего агрегата, вился старикашка Эдельвейс. Он нашептывал мне слова вечной любви, обещал ноги мыть и воду пить и требовал подъемных и суточных. Эдик дал ему три рубля и велел зайти послезавтра. Эдельвейс выпросил еще полтинник за вредность и исчез. Тогда мне стало легче.

— Ты не отчаивайся, — сказал Эдик, — еще не все потеряно. У меня есть мысль.

— Какая? — вяло спросил я.

— Ты обратил внимание на речь Лавра Федотовича?

— Обратил, — сказал я. — Зачем тебе это было?

— Я проверял, есть ли у него мозги, — объяснил Эдик.

— Ну и как?

— Ты же видел — есть. Мозги у него есть, и я их ему задействовал... Они у него совсем не задействованы. Сплошные бюрократические рефлексы. Но я внушил ему, что перед ним на-

стоящая эвристическая машина и что сам он не Вунюков, а настоящий администратор с широким кругозором. Как видишь, кое-что получилось. Правда, психическая упругость у него огромная. Когда я убрал поле, никаких признаков остаточной деформации у него не обнаружилось. Каким он был, таким остался. Но ведь это только прикидка, я вот просчитаю все как следует, настрою аппарат, и тогда мы посмотрим. Не может быть, чтобы его нельзя было переделать. Сделаем его порядочным человеком, и нам будет хорошо, и всем будет хорошо, и ему будет хорошо...

— Вряд ли, — сказал я.

— Видишь ли, — сказал Эдик, — существует теория позитивной реморализации. Из нее следует, что любое существо, обладающее хоть искрой разума, можно сделать порядочным. Другое дело, что каждый отдельный случай требует особого подхода. Вот мы и поищем этот подход. Так что ты не огорчайся. Все будет хорошо.

Мы вышли на улицу. Снежный человек Федя уже ждал нас. Он поднялся со скамеечки, и мы втроем, рука об руку, пошли вдоль улицы Первого Мая.

— Трудно было? — спросил Федя.

— Ужасно, — сказал Эдик. — Я и говорить устал,

и слушать устал, и вдобавок еще, кажется, сильно поглупел. Вы замечаете, Федя, как я поглупел?

— Нет еще, — сказал Федя застенчиво. — Это обычно становится заметно через час-другой.

Я сказал:

— Хочу есть. Хочу забыться. Пойдемте куда-нибудь и забудемся. Вина выпьем. Мороженого...

Эдик был за, Федя тоже не возражал, хотя извинился, что не пьет вина и не понимает мороженого.

Народу на улицах было много, но никто не слонялся по тротуару, как это обычно бывает в городах летними вечерами. Потомки Олеговых дружинников и петровских гренадеров тихо, культурно сидели на своих крылечках и молча трещали семечками. Семечки были арбузные, подсолнечные, тыквенные и дынные, а крылечки были резные с узорами, резные с фигурами, резные с балясинами и просто из гладких досок мореного дуба — замечательные крылечки, среди которых попадались и музейные экземпляры многовековой давности, взятые под охрану государства и обезображенные тяжелыми чугунными досками, об этом свидетельствующими. На задах крякала гармонь — кто-то, что называется, пробовал лады.

Эдик, с интересом оглядываясь, расспрашивал Федю о жизни в горах. Федя с самого начала проникся к вежливому Эдику большой симпатией и отвечал охотно.

— Хуже всего, — рассказывал Федя, — это альпинисты с гитарами. Вы не можете себе представить, как это страшно, Эдик, когда в ваших родных тихих горах, где шумят одни лишь обвалы, да и то в известное заранее время, вдруг над ухом кто-то зазвенит, застучит и примется реветь про то, как «нипупок» вскарабкался по «жандарму» и «запилил по гребню» и как потом «ланцепупа» «пробило на землю». Это бедствие, Эдик. У нас некоторые от этого болеют, а самые слабые даже умирают...

— У меня дома клавесин есть, — продолжал он мечтательно. — Стоит у меня там на вершине клавесин, на леднике. Я люблю играть на нем в лунные ночи, когда тихо и совершенно нет ветра. Тогда меня слышат собаки в долине и начинают мне подвывать. Право, Эдик, у меня слезы навертываются на глаза, так это получается хорошо и печально. Луна, звуки в просторе несутся, и далеко-далеко воют собаки...

— А как к этому относятся ваши товарищи? — спросил Эдик.

— Их в это время никого нет. Остается обычно один мальчик, но он не мешает. Он хроменький... Впрочем, это вам не интересно.

— Наоборот, очень интересно!

— Нет-нет... Но вы, наверное, хотели бы узнать, откуда у меня клавесин. Представьте себе, его занесли альпинисты. Они ставили рекорд и обязались втащить на нашу гору клавесин. У нас на вершине много неожиданных предметов. Задумает альпинист подняться к нам на мотоцикле — и вот у нас мотоцикл, хотя и поврежденный... Гитары попадаются, велосипеды, бюсты разные, зенитные пушки... Один рекордсмен хотел подняться на тракторе, но трактора не раздобыл, а раздобыл он асфальтовый каток. Если бы вы видели, как он мучился с этим катком! Как старался! Но ничего у него не вышло, не дотянул до снегов. Метров пятьдесят всего не дотянул, а то бы у нас был асфальтовый каток... А вот и Говорун, сейчас я вас познакомлю.

Мы подошли к дверям кафе. На ярко освещенных ступенях роскошного каменного крыльца в непосредственной близости от турникета отирался Клоп Говорун. Он жаждал войти, но швейцар его не впускал. Говорун был в бешенстве, отчего испускал сильный запах дорогого

коньяка «курвуазье». Федя наскоро познакомил его с нами, посадил в спичечный коробок и велел сидеть тихо, и Клоп сидел тихо, но, как только мы прошли в зал и отыскали свободный столик, он сразу же развалился на стуле и принялся стучать по столу, требуя официанта. Сам он, естественно, в кафе ничего не ел и не пил, но жаждал справедливости и полного соответствия между работой бригады официантов и тем высоким званием, за которое эта бригада борется. Кроме того, он явно выпендривался перед Эдиком: он уже знал, что Эдик прибыл в Тьмускорпионь лично за ним, Говоруном, в качестве его, Говоруна, работодателя.

Мы с Эдиком заказали себе яичницу по-домашнему, салат из раков и сухое вино. Федю в кафе хорошо знали и принесли ему сырого тертого картофеля, морковную ботву и капустные кочерыжки, а перед Говоруном поставили фаршированные помидоры, которые он заказал из принципа.

Съевши салат, я ощутил, что унижен и оскорблен, что устал как последняя собака, что язык у меня не поворачивается и что нет у меня никаких желаний. Кроме того, я поминутно вздрагивал, ибо в шуме публики мне то и дело слышались визгливые вскрики: «Ноги мыть и воду пить!..

У ей внутре!..» Зато Говорун, видимо, был в прекрасном настроении и с наслаждением демонстрировал Эдику свой философический склад ума, независимость суждений и склонность к обобщениям.

— До чего бессмысленные и неприятные существа! — говорил он, озирая зал с видом превосходства. — Воистину, только такие грузные жвачные животные способны под воздействием комплекса неполноценности выдумать миф о том, что они — цари природы. Спрашивается: откуда взялся этот миф? Например, мы, насекомые, считаем себя царями природы по справедливости. Мы многочисленны, вездесущи, мы обильно размножаемся, и многие из нас не тратят драгоценного времени на бессмысленные заботы о потомстве. Мы обладаем органами чувств, о которых вы, хордовые, даже понятия не имеете. Мы умеем погружаться в анабиоз на целые столетия без всякого вреда для себя. Наиболее интеллигентные представители нашего класса прославлены как крупнейшие математики, архитекторы, социологи. Мы открыли идеальное устройство общества, мы овладели гигантскими территориями, мы проникаем всюду, куда захотим. Поставим вопрос следующим образом: что вы, люди, — самые,

между прочим, высокоразвитые из млекопитающих, — можете такого, чего бы хотели уметь и не умели бы мы? Вы много хвастаетесь, что умеете изготовлять орудия труда и пользоваться ими. Простите, но это смешно. Вы уподобляетесь калекам, которые хвастаются своими костылями. Вы строите себе жилища, мучительно, с трудом, привлекая такие противоестественные силы, как огонь и пар, строите тысячи лет, и все время поразному, и все никак не можете найти удобной и рациональной формы жилища. А жалкие муравьи, которых я искренне презираю за грубость и приверженность к культу физической силы, решили эту простенькую проблему сто миллионов лет назад — причем решили раз и навсегда. Вы хвастаете, что все время развиваетесь и что вашему развитию нет предела. Нам остается только хохотать. Вы ищете то, что давным-давно найдено, запатентовано и используется с незапамятных времен, а именно: разумное устройство общества и смысл существования...

Эдик слушал профессионально-внимательно, а Федя, покусывая кочерыжку великолепными зубами, произнес:

— Я, конечно, слабый диалектик, но меня воспитали в представлении о том, что человеческий

разум — это высшее творение природы. Мы в горах привыкли бояться человеческой мудрости и преклоняться перед нею, и теперь, когда я некоторым образом получил образование, я не устаю восхищаться той смелостью и тем хитроумием, с которыми человек уже создал и продолжает создавать так называемую вторую природу. Человеческий разум — это... это... — Он помотал головой и замолк.

— Вторая природа! — ядовито сказал Клоп. — Третья стихия, четвертое царство, пятое состояние, шестое чудо света... Один крупный человеческий деятель мог бы спросить: зачем вам две природы? Загадили одну, а теперь пытаетесь заменить ее другой?.. Я же вам уже сказал, Федор: вторая природа — это костыли калеки. Что же касается разума... Не вам бы говорить, не мне бы слушать. Сто веков эти бурдюки с питательной смесью разглагольствуют о разуме и до сих пор не могут договориться, о чем идет речь. В одном только они согласны: кроме них разумом никто не обладает. И ведь что замечательно? Если существо маленькое, если его легко отравить какой-нибудь химической гадостью или просто раздавить пальцем, то с ним не церемонятся. У такого существа, конечно же, инстинкт,

примитивная раздражимость, низшая форма нервной деятельности... Типичное мировоззрение самовлюбленных имбецилов. Но ведь они же разумные, им же нужно все обосновать, чтобы насекомое можно было раздавить без зазрения совести! И посмотрите, Федор, как они это обосновывают. Скажем, земляная оса отложила в норку яички и таскает для будущего потомства пищу. Что делают эти бандиты? Они варварски крадут отложенные яйца, а потом, исполненные идиотского удовлетворения, наблюдают, как несчастная мать закупоривает цементом пустую норку. Вот, мол, оса — дура, не ведает, что творит, а потому у нее инстинкты — слепые инстинкты, вы понимаете? — разума у нее нет, и в случае нужды допускается ее и к ногтю. Ощущаете, какая гнусная подтасовка терминов? Априорно предполагается, что целью жизни осы является размножение и охрана потомства, а раз даже с этой главной своей задачей она не способна толково управиться, то что же с нее взять? У них, у людей, — космос-мосмос, фотосинтез-мотосинтез, а у жалкой осы — сплошное размножение, да и то на уровне примитивного инстинкта. Этим млекопитающим и в голову не приходит, что у осы богатейший духовный мир, что за свою

недолгую жизнь она должна преуспеть — ей хочется преуспеть! — и в науках, и в искусствах, этим теплокровным и не ведомо, что у нее просто ни времени, ни желания нет оглядываться на своих детенышей, тем более что это и не детеныши даже, а бессмысленные яички... Ну, конечно, у ос существуют правила, нормы поведения, мораль. Поскольку осы от природы весьма легкомысленны в вопросах продления рода, закон, естественно, предусматривает известное наказание за неполное выполнение родительских обязанностей. Каждая порядочная оса должна выполнить определенную последовательность действий: выкопать норку, отложить яички, натаскать парализованных гусениц и закупорить норку... За этим следят, существует негласный контроль, оса всегда учитывает возможность присутствия за ближайшим камешком инспектора-соглядатая. Конечно же, оса видит, что яички у нее украли или что исчезли запасы питания. Но она не может отложить яички вторично, и она совсем не намерена тратить время на возобновление пищевых запасов. Полностью сознавая всю нелепость своих действий, она делает вид, что ничего не заметила, и доводит программу до конца, потому что менее всего ей улыбается таскаться

по девяти инстанциям Комитета охраны вида... Представьте себе, Федор, шоссе, прекрасную гладкую магистраль от горизонта до горизонта. Некий экспериментатор ставит поперек дороги рогатку с табличкой «Объезд». Видимость превосходная, шофер прекрасно видит, что на закрытом участке ему абсолютно ничто не грозит. Он даже догадывается, что это чьи-то глупые шутки, но, следуя правилам и нормам поведения порядочного автомобилиста, он сворачивает на отвратительную обочину, трясется по кочкам, захлебывается в грязи или в пыли, тратит массу времени и нервов, чтобы снова выехать на то же шоссе двумястами метрами дальше. Почему? Да все по той же причине: он законопослушен, и он не хочет таскаться по инстанциям ОРУДа, тем более что у него, как и у осы, есть основания предполагать, что это ловушка и что вон в тех кустах сидит инспектор с мотоциклом. А теперь представим себе, что неведомый экспериментатор ставит этот опыт, дабы установить уровень человеческого интеллекта и что этот экспериментатор — такой же самовлюбленный дурак, как разрушитель осиного гнезда... Ха-ха-ха! К каким бы выводам он пришел!.. — Говорун в восторге застучал по столу всеми лапками.

— Нет, — сказал Федя. — Как-то у вас все упрощенно получается, Говорун. Конечно, когда человек ведет автомобиль, он не может блеснуть интеллектом...

— Точно так же, — перебил хитроумный Клоп, — как не блещет интеллектом оса, откладывающая яйца. Тут, знаете ли, не до интеллекта.

— Подождите, Говорун, — сказал Федя. — Вы все время меня сбиваете. Я хочу сказать... Ну вот я и забыл, что хотел сказать... Да! Чтобы насладиться величием человеческого разума, надо окинуть все здание этого разума, все достижения наук, все достижения литературы и искусства. Вот вы пренебрежительно отозвались о космосе, а ведь спутники, ракеты — это великий шаг, это восхищает, и согласитесь, что ни одно членистоногое не способно к таким свершениям.

Клоп презрительно повел усами.

— Я мог бы возразить, что космос членистоногим ни к чему, — произнес он. — Однако людям он тоже ни к чему, и поэтому об этом говорить не будем. Вы не понимаете простых вещей, Федор. У каждого вида существует своя исторически сложившаяся, передающаяся из поколения в поколение мечта. Осуществление такой мечты и называют обычно великим свершением. У людей

было две исконных мечты: мечта летать вообще, проистекшая из зависти к насекомым, и мечта слетать к Солнцу, проистекшая из невежества, ибо они полагали, что до Солнца рукой подать. Но нельзя ожидать, что у разных видов, а тем более классов и типов живых существ Великая мечта должна быть одна и та же. Смешно предполагать, чтобы у мух из поколения в поколение передавалась мечта о свободном полете, у спрутов — мечта о морских глубинах, а у нас — цимекс лектулариа — о Солнце, которого мы терпеть не можем. Каждый мечтает о том, что недостижимо, но обещает удовольствие. Потомственная мечта спрутов, как известно, — свободное путешествие по суше, и спруты в своих мокрых пучинах много и полезно думают на этот счет. Извечной и зловещей мечтой вирусов является абсолютное мировое господство и, как ни ужасны методы, коими они в настоящий момент пользуются, им нельзя отказать в настойчивости, изобретательности и способности к самопожертвованию во имя великой цели. А грандиозная мечта паукообразных? Много миллионов лет назад они опрометчиво выбрались из моря на сушу и с тех пор мучительно мечтают снова вернуться в родную стихию. Вы бы только послушали их песни

и баллады о море! Сердце разрывается на части от жалости и сочувствия. В сравнении с этими балладами героический миф о Дедале и Икаре — просто забавная побасенка. И что же? Кое-чего они достигли, причем весьма хитроумными способами. Членистоногим вообще свойственны хитроумные решения. Они добиваются своего, создавая новые виды. Сначала они создали водобегающих пауков, потом пауков-водолазов, а теперь во весь ход идут работы над созданием вододышащего паука... Я уж не говорю о нас, клопах. Мы своего достигли давно, когда появились на свет эти бурдюки с питательной смесью... Вы понимаете меня, Федор? Каждому племени — своя мечта. Не надо хвастаться достижениями перед своими соседями по планете. Вы рискуете попасть в смешное положение. Вас сочтут глупцами те, кому ваши мечты чужды, и вас сочтут жалкими болтунами те, кто свою мечту осуществил уже давно.

— Я не могу вам ответить, Говорун, — сказал Федя, — но должен признаться, что мне неприятно вас слушать. Во-первых, я не люблю, когда хитрой казуистикой опровергают очевидные вещи, а во-вторых, я все-таки тоже человек.

— Вы — снежный человек. Вы — недостающее

звено. С вас взятки гладки. Вы даже, если хотите знать, несъедобны. А вот почему мне не возражают гомо сапиенсы, так сказать? Почему они не вступаются за честь своего вида, своего класса, своего типа? Объясняю: потому что им нечего возразить.

Внимательный Эдик пропустил этот вызов мимо ушей. Мне было что возразить, этот болтун раздражал меня безумно, но я сдерживался, потому что помнил: Федор Симеонович смотрит сейчас в магический кристалл и видит все.

— Нет уж, позвольте мне, — сказал Федя. — Да, я снежный человек. Да, нас принято оскорблять, нас оскорбляют даже люди, ближайшие наши родственники, наша надежда, символ нашей веры в будущее... Нет-нет, позвольте, Эдик, я скажу все, что думаю. Нас оскорбляют наиболее невежественные и отсталые слои человеческого рода, давая нам гнусную кличку «йети», которая, как известно, созвучна со свифтовским «йеху», и кличку «голуб-яван», которая означает не то «огромная обезьяна», не то «отвратительный снежный человек». Нас оскорбляют и самые передовые представители человечества, называя нас «недостающим звеном», «человекообезьяной» и другими научно звучащими, но порочащими

нас прозвищами. Может быть, мы действительно достойны некоторого пренебрежения. Мы медленно соображаем, мы слишком уж неприхотливы, в нас так слабо стремление к лучшему, разум наш еще дремлет. Но я верю, я знаю, что это человеческий разум, находящий наивысшее наслаждение в переделывании природы, сначала окружающей, а в перспективе — и своей собственной. Вы, Говорун, все-таки паразит. Простите меня, но я использую этот термин в научном смысле. Я не хочу вас обидеть, но вы паразит, и вы не понимаете, какое это высокое наслаждение — переделывать природу. И какое это перспективное наслаждение — природа ведь бесконечна, и переделывать ее можно бесконечно долго. Вот почему человека называют царем природы. Потому что он не только изучает природу, не только находит высокое, но пассивное наслаждение от единения с нею, но он переделывает природу, он лепит ее по своей нужде, по своему желанию, а потом будет лепить по своей прихоти...

— Ну да! — сказал Клоп. — А покуда он, человек, обнимает некоего Федора за широкие волосатые плечи, выводит его на эстраду и предлагает некоему Федору изобразить процесс очеловечивания обезьяны перед толпой лузгающих

семечки обывателей... Внимание! — заорал он вдруг. — Сегодня в клубе лекция кандидата наук Вялобуева-Франкенштейна «Дарвинизм против религии» с наглядной демонстрацией процесса очеловечивания обезьяны! Акт первый: «Обезьяна». Федор сидит у лектора под столом и талантливо ищется под мышками, бегая по сторонам ностальгическими глазами. Акт второй: «Человекообезьяна». Федор, держа в руках палку от метлы, бродит по эстраде, ища, что забить. Акт третий: «Обезьяночеловек». Федор под наблюдением и руководством пожарника разводит на железном противне небольшой костер, изображая при этом ужас и восторг одновременно. Акт четвертый: «Человека создал труд». Федор с испорченным отбойным молотком изображает первобытного кузнеца. Акт пятый: «Апофеоз». Федор садится за пианино и наигрывает «Турецкий марш»... Начало лекции в шесть часов, после лекции новый заграничный фильм «На последнем берегу» и танцы!

Чрезвычайно польщенный, Федя застенчиво улыбнулся.

— Ну, конечно, Говорун, — сказал он растроганно. — Я же знал, что существенных разногласий между нами нет. Конечно же, именно вот таким

образом, понемножку, полегоньку, разум начинает творить свои благодетельные чудеса, обещая в перспективе Архимедов, Ньютонов и Эйнштейнов. Только вы напрасно так уж преувеличиваете мою роль в этом культурном мероприятии, хотя я понимаю — вы просто хотите сделать мне приятное.

Клоп посмотрел на него бешеными глазами, а я злорадно хихикнул. Федя забеспокоился.

— Я что-нибудь не так сказал? — спросил он.

— Вы молодец, — сказал я. — Вы его так отбрили, что он даже осунулся. Видите, он даже фаршированные помидоры стал жрать от бессилия...

— Да, Говорун, я слушаю вас с интересом, — сказал Эдик. — Я, конечно, вовсе не намерен вам возражать, потому что, как я рассчитываю, у нас с вами впереди еще много диспутов по более серьезным вопросам. Я только хотел констатировать, что, к сожалению, в ваших рассуждениях слишком много человеческого и слишком мало оригинального, присущего лишь психологии цимекс лектулариа.

— Хорошо, хорошо! — с раздражением вскричал Клоп. — Все это прекрасно. Но, может быть, хоть один представитель гомо сапиенс снизойдет до прямого ответа на те соображения, которые мне

позволено было здесь высказать? Или, повторяю, ему нечего возразить? Или человек разумный имеет к разуму не больше отношения, чем змея очковая к широко распространенному оптическому устройству? Или у него нет аргументов, доступных пониманию существа, которое обладает лишь примитивными инстинктами?

И тут я не выдержал. У меня был аргумент, доступный пониманию, и я его с удовольствием использовал. Я продемонстрировал Говоруну свой указательный палец, а затем сделал движение, словно бы стирая со стола упавшую каплю.

— Очень остроумно, — сказал Клоп, бледнея. — Вот уж воистину — на уровне высшего разума...

Федя робко попросил, чтобы ему объяснили смысл этой пантомимы, однако Говорун объявил, что все это вздор.

— Мне здесь надоело, — преувеличенно громко сообщил он, барски озираясь. — Пойдемте отсюда.

Я расплатился, и мы вышли на улицу, где остановились, решая, что делать дальше. Эдик предложил пойти в гостиницу и попытаться устроиться, но Федя сказал, что в Тьмускорпиони гостиница — не проблема: во всей гостинице живут только члены Тройки, а остальные номе-

ра пустуют. Я посмотрел на угнетенного Клопа, почувствовал угрызения совести и предложил прогуляться по берегу Скорпионки под луной. Федя поддержал меня, но Клоп Говорун запротестовал: он устал, ему надоели бесконечные разговоры, он, в конце концов, голоден, он лучше пойдет в кино. Нам стало его совсем жалко — так он был потрясен и шокирован моим жестом, может быть, действительно несколько бестактным, — и мы направились было в кино, но тут из-за пивного ларька на нас вынесло старикашку Эдельвейса. В одной руке он сжимал пивную кружку, а другой цеплялся за свой агрегат. Заплетающимся языком он выразил свою преданность науке и лично мне и потребовал сметных, высокогорных, а также покупательных на приобретение каких-то разъемов. Я дал ему рубль, и он вновь устремился за ларек.

По дороге в кино Говорун все никак не мог успокоиться. Он бахвалился, задирал прохожих, сверкал афоризмами и парадоксами, но видно было, что ему все еще крайне не по себе. Чтобы вернуть Клопу душевное равновесие, Эдик рассказал ему о том, какой гигантский вклад он, Клоп Говорун, может совершить в теорию линейного счастья, и прозрачно намекнул на мировую славу

и на неизбежность длительных командировок за границу, в том числе в экзотические страны. Душевное равновесие было восстановлено полностью. Говорун явно приободрился, посолиднел и, как только в кинозале погас свет, тут же полез по рядам кусаться, так что мы с Эдиком не получили от кино никакого удовольствия: Эдик боялся, что Говоруна тихо раздавят, я же ждал безобразного скандала. Кроме того, в зале было душно, фильм показывали тошнотворный, и мы с облегчением вздохнули, когда все благополучно закончилось.

Светила луна, со Скорпионки несло прохладой. Федя виновато сообщил, что у него режим и ему пора спать. Было решено проводить его до Колонии. Мы пошли берегом. Внизу под обрывом величественно несла в своих хрустальных струях ядовитые сточные воды древняя Скорпионка. На той стороне вольно раскинулись в лунном свете заливные луга. На горизонте темнела зубчатая кромка далекого леса. Над какими-то мрачными полуобрушившимися башнями, сверкая опознавательными огнями, совершало эволюции небольшое летающее блюдце.

— Что это за развалина? — спросил Эдик.

— Это Соловьиная Крепость, — ответил Федя.

— Что вы говорите! — поразился Эдик. — Та

самая? Из-под Мурома?

— Да. Двенадцатый век.

— А почему только две башни? — спросил Эдик.

Федя объяснил ему, что до осады было четыре: Кикимора, Аукалка, Плюнь-Ядовитая и Уголовница. Годзилла прожег стену между Аукалкой и Уголовницей, ворвался во двор и вышел защитникам в тыл. Однако он был дубина, по слухам — самый здоровенный и самый глупый из четырехглавых драконов. В тактике он не разбирался и не хотел разбираться, а потому, вместо того чтобы сосредоточенными ударами сокрушить одну башню за другой, кинулся на все четыре сразу, благо голов как раз хватало. В осаде же сидела нечисть бывалая и самоотверженная — братья Разбойники сидели, Соловей Одихмантьевич и Лягва Одихмантьевич, с ними Лихо Одноглазое, а также союзный злой дух Кончар по прозвищу Прыщ. И Годзилла, естественно, пострадал через дурость свою и жадность. Вначале, правда, ему повезло осилить Кончара, скорбного в тот день вирусным гриппом, и в Плюнь-Ядовитую алчно ворвался Годзиллов прихвостень Вампир Беовульф, который, впрочем, тут же прекратил военные действия и занялся пьянством и грабе-

жами. Однако это был первый и единственный успех Годзиллы за всю кампанию. Соловей Одихмантьевич на пороге Аукалки дрался бешено и весело, не отступая ни на шаг. Лягва Одихмантьевич по малолетству отдал было первый этаж Кикиморы, но на втором закрепился, раскачал башню и обрушил ее вместе с собой на атаковавшую его голову в тот самый момент, когда хитрое и хладнокровное Лихо Одноглазое, заманившее правофланговую голову в селитряные подвалы Уголовницы, взорвало башню на воздух со всем содержимым. Лишившись половины голов, и без того недалекий Годзилла окончательно одурел, пометался по крепости, давя своих и чужих, и, брыкаясь, кинулся в отступ. На том бой и кончился. Захмелевшего Беовульфа Соловей Одихмантьевич прикончил акустическим ударом, после чего и сам скончался от множественных ожогов. Уцелевшие ведьмы, лешие, водяные, аукалки, кикиморы и домовые перебили деморализованных вурдалаков, троллей, гномов, сатиров, наяд и дриад и, лишенные отныне руководства, разбрелись в беспорядке по окрестным лесам. Что же касается дурака Годзиллы, то его занесло в большое болото, именуемое ныне Коровьим Вязлом, где он вскорости и подох от газовой

гангрены.

— Любопытно, — проговорил Эдик, вглядываясь в темные мохнатые глыбы Аукалки и Плюнь-Ядовитой. — А вход туда свободный?

— Свободный, — сказал Федя. — За пятачок.

Прогулка получилась на славу. Федя объяснял нам устройство Вселенной, и попутно выяснилось, что он простым глазом видит кольца Сатурна и Красное Пятно на Юпитере. Завистливый Клоп азартно доказывал ему, что все это — хорошо оплачиваемый вздор, а на самом деле Вселенная имеет форму пружинного матраса. Вокруг все время крутился застенчивый Кузька, птеродактиль обыкновенный. Собственно, в темноте мы его так и не разглядели. Он дробно топотал где-то впереди, со слабым кваканьем трещал кустами рядом, а иногда вдруг взлетал, закрывая луну растопыренными крыльями. Мы звали его, обещая лакомства и дружбу, но он так и не решился приблизиться.

В Колонии мы познакомились также с пришельцем Константином. Константину сильно не повезло. Его летающее блюдце совершило вынужденную посадку около года назад. При посадке корабль испортился окончательно, и защитное силовое поле, которое автоматиче-

ски создавалось в момент приземления, убрать Константину не удалось. Поле это было устроено так, что не пропускало ничего постороннего. Сам Константин со своей одеждой и с деталями двигателя мог ходить через сиреневую пленку в обе стороны совершенно беспрепятственно. Но семейство полевых мышей, случайно оказавшееся на месте посадки, так там и осталось, и Константин вынужден был скармливать ему небогатые свои запасы, так как земную пищу пронести под защитный колпак не мог даже в своем желудке. Под колпаком оказались также забытые кем-то на парковой аллее тапочки, и это было единственное из земных благ, от которого Константину была хоть какая-то польза. Кроме тапочек и мышей в защитном поле были заключены: два куста волчьей ягоды, часть чудовищной садовой скамейки, изрезанной всевозможными надписями, и четверть акра сыроватой, никогда не просыхающей почвы.

Константиновы дела были плохи. Звездолет не желал чиниться. В местных мастерских не было, естественно, ни подходящих запчастей, ни специального оборудования. Кое-что можно было бы достать в научных центрах мира, но требовалось ходатайство Тройки, и Константин с нетерпе-

нием вот уже много месяцев ждал вызова. Он возлагал некоторые надежды на помощь землян, он рассчитывал, что ему удастся хотя бы снять проклятое защитное поле и провести наконец на корабль какого-нибудь крупного ученого, но в общем-то он был настроен скорее пессимистически, он был готов к тому, что земная техника окажется в состоянии помочь ему только лет через двести.

Константиново летающее блюдце, сияя, как гигантская газосветная лампа, стояло недалеко от дороги. Из-под блюдца торчали ноги Константина, обутые в скороходовские тапочки сорок четвертого размера. Ноги отлягивались от семейства мышей, настойчиво требовавших ужина.

Федя постучал в защитное поле, и Константин, увидев нас, выбрался из-под блюдца. Он прикрикнул на мышей и вышел к нам. Знаменитые тапочки, конечно, остались внутри, и мыши тотчас устроили в них временное обиталище. Мы представились, выразили сочувствие и спросили, как дела. Константин бодро сообщил, что, кажется, начало получаться, и перечислил два десятка незнакомых нам приборов, которые были ему необходимы. Он оказался очень общительным и дружелюбным разумным существом. А может быть, он просто истосковался по собеседникам.

Мы его расспрашивали, он с охотою отвечал. Но выглядел он неважно, и мы сказали ему, что вредно так много работать и что пора спать. Минут десять мы объясняли ему, что такое «спать», после чего он признался, что это ему совсем не интересно и что он лучше не станет этим заниматься. Кроме того, близилось время кормить мышей. Он пожал нам руки и снова полез под блюдце. Мы распрощались с Федей и Клопом и отправились в гостиницу. Время было уже позднее, город засыпал, и только далеко-далеко играла гармошка и чистые девичьи голоса сообщали:

Ухажеру моему
Я говорю трехглазому:
Нам па-ца-луи ни к чему —
Мы братия по разуму!..

Дело № 72. Пришелец Константин

Утреннее солнце, вывернув из-за угла, теплым потоком ворвалось в раскрытые окна комнаты заседаний, когда на пороге появился каменнолицый Лавр Федотович и немедленно предложил задернуть шторы. «Народу это не нужно», — объяснил он. Сейчас же следом за ним появился Хлебовводов, подталкивая впереди себя Выбегаллу. Выбегалло, размахивая портфелем, горячо толковал ему что-то по-французски, а Хлебовводов приговаривал: «Ладно, ладно тебе, развоевался...» Когда комендант задернул шторы, на пороге возник Фарфуркис. Он что-то жевал и утирался. Невнятной скороговоркой извинившись за опоздание, он разом проглотил все недожеванное и завопил:

— Протестую! Вы с ума сошли, товарищ Зубо! Немедленно убрать эти шторы! Что за манера отгораживаться от народа и бросать тень?

Возник крайне неприятный инцидент, и все время, пока инцидент распутывался, пока Фарфуркиса унижали, сгибали в бараний рог, вытирали об него ноги и выбивали ему бубну, Выбегалло, как бы говоря: «Вот злонравия до-

стойные плоды!», укоризненно качал головой и многозначительно поглядывал в мою сторону. Потом Фарфуркиса, растоптанного, растерзанного, измочаленного и измолоченного, пустили униженно догнивать на его место, а сами, отдуваясь, опуская засученные рукава, вычищая клочья шкуры из-под когтей, облизывая окровавленные клыки и время от времени непроизвольно взрыкивая, расселись за столом и объявили себя готовыми к утреннему заседанию.

— Гррrм, — произнес Лавр Федотович, бросив последний взгляд на распятые останки. — Следующий! Докладывайте, товарищ Зубо.

Комендант впился в раскрытую папку скрюченными пальцами, в последний раз глянул поверх бумаг на поверженного врага налитыми глазами, в последний раз с оттяжкой кинул задними лапами землю, поклокотал горлом и, только втянув жадно раздутыми ноздрями сладостный аромат разложения, окончательно успокоился.

— Дело семьдесят второе, — забарабанил он. — Константин Константинович Константинов, двести тринадцатый до новой эры, город Константинов планеты Константины звезды Антарес...

— Я бы попросил! — прервал его Хлебовводов. — Ты что это нам читаете? Ты это нам роман

читаете? Или водевиль? Ты, браток, анкету нам зачитываете, а получается у тебя водевиль.

Лавр Федотович взял бинокль и направил на коменданта. Комендант сник.

— Это, помню, в Сызрани, — продолжал Хлебовводов, — бросили меня заведующим курсов квалификации среднего персонала, так там тоже был один — улицу не хотел подметать... Только не в Сызрани, помнится, это было, а в Саратове... Ну да, точно, в Саратове! Сперва я там школу мастеров-крупчатников укреплял, а потом, значит, бросили меня на эти курсы... Да, в Саратове, в пятьдесят втором году, зимой. Морозы, помню, как в Сибире... Нет, — сказал он с сожалением, — не в Саратове это было. В Сибире это и было, а вот в каком городе — вылетело из башки. Вчера еще помнил, эх, думаю, хорошо было там, в этом городе...

Он замолчал, мучительно приоткрыв рот. Лавр Федотович подождал немного, осведомился, есть ли вопросы к докладчику, убедился, что вопросов нет, и предложил Хлебовводову продолжать.

— Лавр Федотович, — прочувственно сказал Хлебовводов, — забыл, понимаете, город. Ну, забыл и все. Пускай он пока дальше зачитывает, а я покуда вспомню... Только пускай он по форме,

пускай пункты называет и не частит, а то ведь безобразие получается...

— Продолжайте докладывать, товарищ Зубо, — сказал Лавр Федотович.

— Пункт пятый, — прочитал комендант с робостью, — национальность...

Фарфуркис позволил себе слабо шевельнуться и сейчас же испуганно замер. Однако Хлебовводов уловил это движение и приказал коменданту:

— Сначала. Сначала! Сызнов`а читайте!

— Пункт первый, — сказал комендант. — Фамилия...

Пока он читал сызнов`а, я рассматривал Эдиков реморализатор. Это была плоская блестящая коробочка со стеклами, похожая на игрушечный автомобильчик. Эдик управлялся с этим приборчиком удивительно ловко. Я бы так не мог. Пальцы у него двигались, словно змеи. Я загляделся.

— Херсон! — заорал вдруг Хлебовводов. — В Херсоне это было, вот где... Ты давайте, давайте, продолжайте, — разрешил он вздрогнувшему коменданту. — Это я так, вспомнил... — Он сунулся к уху Лавра Федотовича и, млея от смеха, принялся ему нашептывать что-то такое, от чего черты лица товарища Вунюкова обнаружили вдруг тен-

денцию к раздеревенению, и он был вынужден прикрыться от демократии обширной ладонью.

— Пункт шестой, — нерешительно зачитал комендант. — Образование: высшее син... кре... кри... кретическое.

Фарфуркис дернулся и пискнул, но опять не посмел. Хлебовводов ревниво вскинулся:

— Какое? Какое образование?

— Синкретическое, — повторил комендант единым духом.

— Ага, — сказал Хлебовводов и поглядел на Лавра Федотовича.

— Это хорошо, — веско произнес Лавр Федотович. — Мы любим самокритику. Продолжайте докладывать, товарищ Зубо.

— Пункт седьмой. Знание иностранных языков: все без словаря.

— Чего-чего? — сказал Хлебовводов.

— Все, — повторил комендант. — Без словаря.

— Вот так самокритическое, — сказал Хлебовводов. — Ну ладно, мы это проверим.

— Пункт восьмой. Профессия и место работы в настоящее время: читатель поэзии, амфибрахист, пребывает в краткосрочном отпуске. Пункт девятый...

— Подождите, — сказал Хлебовводов, — рабо-

тает-то он где?

— В настоящее время он в отпуске, — пояснил комендант. — В краткосрочном.

— Это я без тебя понял, — возразил Хлебовводов. — Я говорю: специальность у него какая?

Комендант поднял папку к глазам.

— Читатель... — сказал он. — Стихи, видно, читает.

Хлебовводов ударил по столу ладонью.

— Я тебе не говорю, что я глухой, — сказал он. — Что он читает, это я слышал. Читает и пусть читает — в свободное от работы время. Специальность, говорю! Работает где, кем?

Выбегалло отмалчивался, и я не вытерпел.

— Его специальность — читать поэзию, — сказал я. — Он специализируется по амфибрахию.

Хлебовводов посмотрел на меня с подозрением.

— Нет, — сказал он, — амфибрахий — это я понимаю. Амфибрахий там... то-се... Я что хочу уяснить? Я хочу уяснить, за что ему зарплату плотят.

— У них зарплаты как таковой нет, — пояснил я.

— А! — обрадовался Хлебовводов. — Безработный! — Но он тут же опять насторожился. — Нет,

не получается!.. Концы с концами у вас не сходятся. Зарплаты нет, а отпуск есть. Что-то вы тут крутите, изворачиваетесь вы тут что-то...

— Гррррм, — произнес Лавр Федотович. — Имеется вопрос к докладчику, а также к научному консультанту. Профессия дела номер семьдесят два.

— Читатель поэзии, — быстро сказал Выбегалло, — и вдобавок... эта... амфибрахист.

— Место работы в настоящее время? — сказал Лавр Федотович.

— Пребывает в краткосрочном отпуске. Отдыхает, значить. Краткосрочно.

Лавр Федотович, не поворачивая головы, перекатил взгляд в сторону Хлебовводова.

— Имеются еще вопросы? — осведомился он.

Хлебовводов тоскливо заерзал. Простым глазом было видно, как высокая доблесть солидарности с мнением начальства бьется в нем с не менее высоким чувством гражданского долга. Наконец гражданский долг победил, хотя и с заметным для себя ущербом.

— Что я должен сказать, Лавр Федотович, — залебезил Хлебовводов. — Ведь вот что я должен сказать! Амфибрахист — это вполне понятно. Амфибрахий там... то-се... И насчет поэзии все

четко. Пушкин там, Михалков, Корнейчук... А вот читатель... Нет же в номенклатуре такой профессии! И понятно, что нет. А то как это получится? Я, значит, стишки почитываю, а мне за это — блага, мне за это — отпуск... Вот что я должен уяснить.

Лавр Федотович взял бинокль и воззрился на Выбегаллу.

— Заслушаем мнение консультанта, — объявил он.

Выбегалло поднялся.

— Эта... — сказал он и погладил бороду. — Товарищ Хлебовводов правильно здесь заостряет вопрос и верно расставляет акценты. Народ любит стихи — се ля мэн сюр ле кёр ке же ву ле ди[47]. Но всякие ли стихи нужны народу? Же ву деманд анпё[48], всякие ли? Мы с вами, товарищи, знаем, что далеко не всякие. Поэтому мы должны очень строго следовать... эта... определенному, значить, курсу, не терять из виду маяков и... эта... ле вин этире иль фо ле буар[49]. Мое личное мнение вот такое: эдэ-туа э дьё тедера[50]. Но я предложил бы еще заслушать присутствующего здесь представителя снизу товарища Привалова, вызвать его, так сказать, в качестве свидетеля...

Лавр Федотович перевел бинокль на меня. Хлебовводов сказал:

— А что ж, пускай. Все равно он постоянно выскакивает, не терпится ему, вот пускай и прояснит, раз он такой шустрый...

— Вуаля, — с горечью сказал Выбегалло, — ледукасьон кон донно женбом дапрезан![51]

— Вот я и говорю: пускай, — повторил Хлебовводов.

— У них там очень много поэтов, — объяснил я, — все пишут стихи, и каждый поэт, естественно, хочет иметь своего читателя. Читатель же — существо неорганизованное, он этой простой вещи не понимает. Он с удовольствием читает хорошие стихи и даже заучивает их наизусть, а плохие знать не желает. Создается ситуация несправедливости, неравенства, а поскольку жители там очень деликатны и стремятся, чтобы всем было хорошо, создана специальная профессия — читатель. Одни специализируются по ямбу, другие — по хорею, а Константин Константинович — крупный специалист по амфибрахию и осваивает сейчас александрийский стих, приобретает вторую специальность. Цех этот, естественно, вредный, и читателям полагается не только усиленное питание, но и частые краткосрочные отпуска.

— Это я все понимаю! — проникновенно вскри-

чал Хлебовводов. — Ямбы там, александриты... Я одного не понимаю: за что же ему деньги платят? Ну, сидит он, ну, читает. Вредно, знаю! Но чтение — дело тихое, внутреннее, как ты его проверишь, читает он или кемарит, сачок? Я помню, заведовал я отделом в инспекции по карантину и защите растений, так у меня попался один... Сидит на заседании и вроде бы слушает, даже записывает что-то в блокноте, а на деле — спит, прощелыга! Сейчас по конторам многие навострились спать с открытыми глазами... Так вот я и не понимаю: наш-то как? Может, врет? Не должно же быть такой профессии, чтобы контроль был невозможен — работает человек или, наоборот, спит?

— Это все не так просто, — вмешался Эдик, оторвавшись от настройки реморализатора. — Ведь он же не только читает. Ему присылают все стихи, написанные амфибрахием. Он должен все их прочесть, понять, найти в них источник высокого наслаждения, полюбить их и, естественно, обнаружить какие-нибудь недостатки. Об этих всех своих чувствах и размышлениях он обязан регулярно писать авторам и выступать на творческих вечерах этих авторов, на читательских конференциях, и выступать так, чтобы

авторы были довольны, чтобы они чувствовали свою необходимость... Это очень, очень тяжелая профессия, — заключил он. — Константин Константинович — настоящий герой труда.

— Да, — сказал Хлебовводов, — теперь я уяснил. Полезная профессия. И система мне нравится. Хорошая система, справедливая.

— Продолжайте докладывать, товарищ Зубо, — произнес Лавр Федотович.

Комендант вновь поднес папку к глазам.

— Пункт девятый. Был ли за границей: был. В связи с неисправностью двигателя четыре часа находился на острове Рапа-Нуи.

Фарфуркис что-то неразборчиво пропищал, и Хлебовводов тотчас подхватился.

— Это чья же нынче территория? — обратился он к Выбегалле.

Профессор Выбегалло, добродушно улыбнувшись, широким снисходительным жестом отослал его ко мне.

— Дадим слово молодежи, — сказал он.

— Территория Чили, — объяснил я.

— Чили, Чили... — забормотал Хлебовводов, тревожно поглядывая на Лавра Федотовича. Лавр Федотович хладнокровно курил. — Ну, раз Чили — ладно тогда, — решил Хлебовводов. — И четыре

часа только... Ладно. Что там дальше?

— Протестую! — с безумной храбростью прошептал Фарфуркис, но комендант уже читал дальше:

— Пункт десятый. Краткая сущность необъясненности: разумное существо со звезды Антарес. Летчик космического корабля под названием «летающее блюдце»...

Лавр Федотович не возражал. Хлебовводов, глядя на него, одобрительно кивнул, и комендант продолжал:

— Пункт одиннадцатый. Данные о ближайших родственниках... Тут большой список.

— Читайте, читайте, — сказал Хлебовводов.

— Семьсот девяносто три лица, — предупредил комендант.

— И не пререкайтесь. Твое дело читать, вот и читайте. И разборчиво.

Комендант вздохнул и начал:

— Родители — А, Бе, Ве, Ге, Де, Е, Ё, Же...

— Ты это чего? Ты постой... Ты погоди... — сказал Хлебовводов, от изумления утратив дар вежливости. — Ты что, в школе? Мы тебе что, дети?

— Как написано, так и читаю, — огрызнулся комендант и продолжал, повысив голос: — Зе, И, Й, Ке...

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Имеется вопрос к докладчику. Отец дела номер семьдесят два. Фамилия, имя, отчество.

— Одну минутку, — вмешался я. — У Константина Константиновича девяносто четыре родителя пяти различных полов, девяносто шесть собрачников четырех различных полов, двести семь детей пяти различных полов и триста девяносто шесть соутробцев пяти различных полов.

Эффект моего сообщения превзошел все ожидания. Лавр Федотович в замешательстве взял бинокль и поднес его ко рту. Хлебовводов беспрерывно облизывался. Фарфуркис яростно листал записную книжку.

На Выбегалло надеяться не приходилось, и я готовился к генеральному сражению — углублял траншеи до полного профиля, минировал танкоопасные направления, оборудовал отсечные позиции. Погреба ломились от боеприпасов, артиллеристы застыли у орудий, пехоте было выдано по чарке водки. Тишина тянулась, набухала грозой, насыщалась электричеством, и рука моя уже легла на телефонную трубку — я был готов скомандовать упреждающий атомный удар, однако все это ожидание рева, грохота, лязга окончилось пшиком.

Хлебовводов вдруг осклабился, наклонился к уху Лавра Федотовича и принялся ему что-то нашептывать, бегая по углам замаслившимися глазками. Лавр Федотович опустил обслюненный бинокль, прикрылся ладонью и произнес дрогнувшим голосом:

— Продолжайте докладывать, товарищ Зубо.

Комендант с готовностью отложил список родственников и зачитал:

— Пункт двенадцатый. Адрес постоянного места жительства: Галактика, звезда Антарес, планета Константина, государство Константиния, город Константинов, вызов четыреста пятьдесят семь дробь сто сорок два тире девять. Все.

— Протестую, — сказал Фарфуркис окрепшим голосом.

Лавр Федотович благосклонно взглянул на него. Опала кончилась, и Фарфуркис со слезами счастья на глазах затарахтел:

— Я протестую! Во-первых: в описании возраста допущена явная нелепость. В анкете указана дата рождения — двести тринадцатый год до новой эры. Если бы это было так, то делу номер семьдесят два было бы сейчас более двух тысяч лет, что на две тысячи лет превышает максимальный известный науке возраст. Я требую уточнить дату

и наказать виновного...

Хлебовводов ревниво спросил:

— А может быть, он горец, откуда вы знаете?

— Но позвольте! — вскричал Фарфуркис. — Даже горцы...

— Не позволю я, — возразил Хлебовводов. — Не позволю я вам преуменьшать достижения наших славных горцев! Если хотите знать, то максимально возможный возраст наших горцев предела не имеет! — И он победно поглядел на Лавра Федотовича.

— Народ... — пророкотал Лавр Федотович. — Народ вечен. Пришельцы приходят и уходят, а народ наш, великий народ, пребывает вовеки.

Фарфуркис и Хлебовводов задумались, судорожно прикидывая, в чью же пользу высказался председатель. Ни тому ни другому рисковать не хотелось. Один был на гребне и не желал из-за какого-то паршивого пришельца с этого гребня ссыпаться. Другой, глубоко внизу, висел над пропастью, но ему только что была сброшена спасательная бечевка. А между тем Лавр Федотович произнес:

— У вас все, товарищ Зубо? Вопросы есть? Нет вопросов? Есть предложение вызвать дело, поименованное Константиновым Константином.

Других предложений нет? Пусть дело войдет.

Комендант закусил губу, вытащил из кармана перламутровый шарик и, зажмурившись, сильно сжал его между пальцами. Раздался звук откупориваемой бутылки, и рядом с демонстрационным столом появился Константин. По-видимому, вызов захватил его во время работы: он был в комбинезоне, заляпанном флюоресцентной смазкой, передние руки у него были в рабочих металлических перчатках, а задние он торопливо вытирал о спину. Все четыре глаза его еще хранили озабоченное, деловое выражение. По комнате распространился сильный запах Большой Химии.

— Здравствуйте, — сказал Константин обрадованно, сообразив, видимо, куда попал. — Наконец-то вы меня вызвали. Правда, дело мое пустяковое, неловко даже вас беспокоить, но я в безвыходном положении, и мне только и остается, что просить о помощи. Чтобы не задерживать долго ваше внимание — что мне нужно? — Он принялся загибать пальцы на правой передней руке. — Лазерную сверлильную установку, но самой высокой мощности. Плазменную горелку, у вас такие уже есть, я знаю. Два инкубатора на тысячу яиц каждый. Для начала мне этого хватит,

но хорошо бы еще квалифицированного инженера, и чтобы разрешили работать в лабораториях ФИАНа...

— Так какой же это пришелец? — с изумлением и негодованием произнес Хлебовводов. — Какой он, я спрашиваю, пришелец, если я каждый день вижу его в ресторане? Вы, собственно, гражданин, кто такой и как сюда попали?

— Я — Константин из системы Антареса... — Константин смутился. — Я думал, что вы уже все знаете... Меня уже спрашивали, я анкету заполнял... — Он заметил Выбегаллу и приветливо ему улыбнулся. — Ведь это вы меня спрашивали, верно?

Хлебовводов тоже обратился к Выбегалле.

— Так это, по-вашему, пришелец? — язвительно спросил он.

— Эта... — сказал Выбегалло с большим достоинством. — Современная наука не отрицает, значить, возможности прибытия пришельцев, товарищ Хлебовводов, надо быть в курсе дела. Это официальное мнение, не мое, а гораздо более ответственных научных работников... Джордано Бруно, например, высказался по этому вопросу вполне официально... Академик Волосянис, Левон Альфредович тоже... и... эта... писатели, Уэльс,

например, или, скажем, Чугунец...

— Странные какие-то дела творятся, — сказал Хлебовводов с недоверием. — Пришельцы какие-то странные пошли...

— Я вот смотрю фотографию в деле, — подал голос Фарфуркис, — и вижу, что общее сходство имеется, но у товарища на фотографии две руки, а у этого неизвестного гражданина — четыре. Как это с точки зрения науки может быть объяснено?

Выбегалло разразился длиннейшей французской цитатой, смысл которой сводился к тому, что некий Артур любил поутру выйти на берег моря, предварительно выпив чашку шоколада. Я перебил его и сказал:

— Костя, встаньте, пожалуйста, к товарищу Фарфуркису лицом.

Константин повиновался.

— Так-так-так, — сказал Фарфуркис. — Понятно. С этим мы разобрались... Должен вам сказать, Лавр Федотович, что сходство фотографии с этим вот товарищем несомненное. Вот четыре глаза я вижу... да, четыре. Носа нет. Да. Рот крючком. Все правильно.

— Ну не знаю, — сказал Хлебовводов. — О пришельцах ясно писали в прессе, и утверждалось

там, что, если бы пришельцы существовали, они дали бы о себе знать. А поскольку, значит, не дают о себе знать, то их и нет, а есть выдумка недобросовестных лиц... Вы — пришелец? — гаркнул он вдруг на Константина.

— Да, — сказал Константин, попятившись.

— Знать вы о себе давали?

— Я не давал, — сказал Константин. — Я вообще не собирался у вас приземляться. И дело ведь не в этом, по-моему...

— Нет уж, гражданин хороший, ты мне это бросьте. Именно в этом дело и есть. Дал о себе знать — милости просим, хлеб-соль выносим, пей-гуляй. А не дал — не обессудь. Амфибрахий амфибрахием, а мы тут тоже деньги не даром получаем. Мы тут работаем и отвлекаться на посторонних не можем. Таково мое общее мнение.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Кто еще желает высказаться?

— Я, с вашего позволения, — попросился Фарфуркис. — Товарищ Хлебовводов в целом верно изобразил положение вещей. Однако мне кажется, что, несмотря на загруженность работой, мы не должны отмахиваться от товарища. Мне кажется, мы должны подойти более индивидуально к этому конкретному случаю. Я — за

более тщательное расследование. Никто не должен получить возможность обвинять нас в поспешности, бюрократизме и бездушии, с одной стороны, а также в халатности, прекраснодушии и отсутствии бдительности, с другой стороны. С позволения Лавра Федотовича я предложил бы провести дополнительный опрос гражданина Константинова с целью выяснения его личности.

— Чего это мы будем подменять собой милицию? — сказал Хлебовводов, чувствуя, что поверженный соперник вновь неудержимо лезет вверх по склону.

— Прошу прощения! — сказал Фарфуркис. — Не подменять собой милицию, а содействовать исполнению духа и буквы инструкции, где в параграфе девятом главы первой части шестой сказано по этому поводу... — Голос его возвысился до торжествующей звонкости. — «В случае, когда идентификация, произведенная научным консультантом совместно с представителями администрации, хорошо знающими местные условия, вызывает сомнения Тройки, надлежит произвести дополнительное изучение дела на предмет уточнения идентификации совместно с уполномоченным Тройки или на одном из засе-

даний Тройки». Что я и предлагаю.

— «Инструкция, инструкция», — сказал Хлебовводов гнусаво. — Мы будем по инструкции, а он нам тут голову будет морочить, жулик четырехглазый... Время у нас будет отнимать. Народное время! — воскликнул он страдальчески, косясь на Лавра Федотовича.

— Почему же это я жулик? — осведомился Константин с возмущением. — Вы меня оскорбляете, гражданин Хлебовводов. И вообще, я вижу, что вам совершенно безразлично, пришелец я или не пришелец, вы только стараетесь подсидеть гражданина Фарфуркиса и выиграть в глазах гражданина Вунюкова...

— Клевета! — наливаясь кровью, закричал Хлебовводов. — Оговаривают! Да что же это, товарищи? Двадцать пять лет, куда прикажут... ни одного взыскания... всегда с повышением...

— И опять врете, — хладнокровно сказал Константин. — Два раза вас выгоняли без всякого повышения.

— Да это навет! Лавр Федотович! Товарищи!.. Много на себя берете, гражданин Константинов! Мы еще посмотрим, чем ваша сотня родителей занималась, что это были за родители... Набрал, понимаете, родственников — целое учреждение,

понимаете...

— Гррррм, — проговорил Лавр Федотович. — Есть предложение прекратить прения и подвести черту. Другие предложения есть?

Наступила тишина. Фарфуркис, не слишком скрываясь, торжествовал, Хлебовводов утирался платком, а Константин пристально вглядывался в Лавра Федотовича, явно тщась прочесть его мысли или хотя бы проникнуть в его душу, однако было видно, что все его старания пропадают втуне, и в четырехглазом безносом лице его виделась мне все более отчетливо проступающая разочарованность опытного кладоискателя, который отвалил уже заветный камень, засунул руку по плечо в древний тайник, но никак не может там нащупать ничего, кроме нежной пыли, липкой паутины и каких-то неопределенных крошек.

— Поскольку других предложений не поступает, — провозгласил Лавр Федотович, — приступим к расследованию дела. Слово предоставляется... — он сделал томительную паузу, во время которой Хлебовводов чуть не умер, — ...товарищу Фарфуркису.

Хлебовводов, очутившись на дне зловонной пропасти, безумными глазами следил за полетом

стервятника, совершавшего круг за кругом в недоступной теперь ведомственной синеве. Фарфуркис же не торопился начинать. Он проделал еще пару кругов, обдавая Хлебовводова пометом, затем уселся на гребне, почистил перышки, охорашиваясь и кокетливо поглядывая на Лавра Федотовича, и наконец приступил:

— Вы утверждаете, товарищ Константинов, что вы есть пришелец с иной планеты. Какими документами вы могли бы подтвердить это ваше заявление?

— Я мог бы показать вам бортовой журнал, — сказал Константин. — Но во-первых, он не транспортабелен, а во-вторых, я вообще не хотел бы затрудняться и затруднять вас какими-то доказательствами. Ведь я пришел сюда, чтобы просить у вас помощи. Всякая планета, входящая в космическую конвенцию, обязана оказывать помощь потерпевшему аварию. Я уже сказал, что мне нужно, и теперь только жду ответа. Может быть, вы не способны оказать мне эту помощь, тогда лучше сказать мне об этом прямо... Тут нет ничего постыдного...

— Минуточку, — прервал его Фарфуркис. — Вопрос о компетентности настоящей комиссии в смысле оказания помощи представителям иных

планет мы пока отложим. Наша задача сейчас — идентифицировать вас, товарищ Константинов, как такового представителя... Минуточку, я еще не кончил. Вы упомянули бортовой журнал и заявили, что он, к сожалению, не транспортабелен. Но может быть, Тройка получит возможность осмотреть оный журнал непосредственно на борту вашего корабля?

— Нет, это тоже невозможно, — вздохнул Константин. Он внимательно изучал Фарфуркиса.

— Ну что ж, это ваше право, — сказал великодушный Фарфуркис. — Но в таком случае вы, может быть, представите нам какую-нибудь иную документацию, могущую служить удостоверением вашего происхождения?

— Я вижу, — сказал Константин с некоторым удивлением, — что вы действительно хотите убедиться в том, что я пришелец. Правда, мотивы ваши мне не совсем понятны... Но не будем об этом. Что касается доказательств, то неужели мой внешний вид не наводит вас на правильные умозаключения?

Фарфуркис с сожалением покачал головой.

— Увы, — сказал он, — все обстоит не так просто. Наука не дает нам вполне четкого представления о том, что есть человек. Это естественно. Если бы,

например, наука определила людей как существ с двумя глазами и двумя руками, то значительные слои населения, обладающие лишь одной рукой или вовсе безрукие, оказались бы в ложном положении. С другой стороны, медицина в наше время творит чудеса. Я сам видел по телевизору собак с двумя головами и с шестью лапами, и у меня нет никаких оснований...

— Тогда, может быть, вид моего корабля... Вид достаточно необычный для вашей земной техники...

Вновь Фарфуркис покачал головой.

— Вы должны понимать, — мягко сказал он, — что в наш век, атомный век, члена общественного органа, имеющего специальный допуск, трудно удивить каким бы то ни было техническим сооружением.

— Я могу читать мысли, — сообщил Константин. Он явно заинтересовался.

— Телепатия антинаучна, — мягко сказал Фарфуркис. — Мы в нее не верим.

— Вот как? — удивился Константин. — Странно... Но послушайте, что я сейчас скажу. Вот вы, например, намерены рассказать мне о казусе с «Наутилусом», а вот гражданин Хлебовводов...

— Навет! — хрипло закричал Хлебовводов, и

Константин замолк.

— Поймите нас правильно, — проникновенно сказал Фарфуркис, прижимая руки к полной груди. — Мы ведь не утверждаем, что телепатии не существует. Мы утверждаем лишь, что телепатия антинаучна и мы в нее не верим. Вы упомянули про казус с подводной лодкой «Наутилус», но ведь хорошо известно, что это лишь буржуазная утка, сфабрикованная для того, чтобы отвлечь внимание народов от насущных проблем сегодняшнего дня. Так что ваши телепатические способности, истинные или вами воображаемые, являются лишь фактом вашей личной биографии, каковая и есть в настоящий момент объект нашего расследования. Вы чувствуете замкнутый круг?

— Чувствую, — согласился Константин. — А если бы я, скажем, при вас сейчас немного полетал?

— Это было бы, конечно, интересно. Но мы, к сожалению, сейчас на работе и не можем предаваться зрелищам, даже самым захватывающим.

Константин вопросительно поглядел на нас. Мне казалось, что положение безнадежно, мне было вообще не до шуток: Константин этого не понимал, но Большая Круглая Печать уже висела над ним как дамоклов меч. А Эдик все возился со

своей игрушкой, и я не знал, что делать. Можно было только тянуть время, и я сказал:

— Давайте, Костя.

Костя дал. Сначала он давал несколько вяло, осторожничал, боялся что-нибудь поломать, но постепенно увлекся и продемонстрировал ряд чрезвычайно эффектных экзерсисов с пространственно-временным континуумом, с различными трансформациями живого коллоида и с критическим состоянием органов отражения. Когда он остановился, у меня кружилась голова, пульс неистовствовал, трещало в ушах, и я еле расслышал усталый голос Пришельца:

— Время уходит. Мне некогда. Говорите, что вы решили.

И ему опять никто не ответил. Лавр Федотович задумчиво вертел длинными пальцами коробочку диктофона. Умное лицо его было спокойно и немного печально. Хлебовводов ни на что не обращал внимания — или делал вид, что не обращает. Он нацарапал еще одну записку, перебросил ее Зубо, а тот внимательно прочитал и бесшумно пробежал пальцами по клавиатуре информационной машины. Фарфуркис листал справочник, уставясь в страницы невидящими глазами. А Выбегалло мучился. Он кусал губы,

морщился и даже тихонько покряхтывал. Из машины с сухим щелчком вылетела белая карточка. Зубо подхватил ее и передал Хлебовводову.

Я посмотрел на Эдика. Эдик держал реморализатор на раскрытой ладони, вглядываясь одним глазом в зеркальное окошечко, и осторожно подкручивал крошечный верньер. Я затаил дыхание и стал смотреть и слушать.

— Скачок в тысячу лет, — тихо сказал Выбегалло.

— Скачок назад, — проговорил Фарфуркис сквозь зубы. Он все листал свой справочник.

— Я не знаю, как мы теперь будем работать, — сказал Выбегалло. — Мы заглянули в конец задачника, где все ответы.

— Но вы же еще не видели ответов, — возразил Фарфуркис. — Хотите видеть?

— Какая разница, — сказал Выбегалло, — раз мы знаем, что ответы есть. Скучно искать, когда совершенно точно знаешь, что кто-то уже нашел...

Пришелец ждал, переплетя руки. Ему было неудобно в кресле с низкой спинкой, и он сидел, напряженно выпрямившись. Его круглые немигающие глаза неприятно светились красным. Хлебовводов отшвырнул карточку, написал вторую записку, и Зубо вновь склонился над

клавиатурой.

— Я знаю, что мы должны отказаться, — сказал Выбегалло. — И я знаю, что мы двадцать раз проклянем себя за такое решение.

— Это еще не самое плохое, что с нами может случиться, — заметил Фарфуркис. — Хуже, если нас двадцать раз проклянут другие.

— Наши внуки и, может быть, даже дети уже воспринимали бы все как данное.

— Нам не должно быть безразлично, что именно наши дети будут воспринимать как данное.

— Моральные критерии гуманизма, — сказал Выбегалло, слабо усмехнувшись.

— У нас нет других критериев, — возразил Фарфуркис.

— К сожалению, — сказал Выбегалло.

— К счастью, коллега, к счастью. Всякий раз, когда человечество пользовалось другими критериями, оно жестоко страдало.

— Я знаю это. Хотел бы я этого не знать. — Выбегалло посмотрел на Лавра Федотовича. — Проблема, которую мы здесь решаем, поставлена некорректно. Она базируется на смутных понятиях, на неясных формулировках, на интуиции. Как ученый, я не берусь решать эту задачу. Это было бы несерьезно. Остается одно: быть человеком. Со

всеми вытекающими отсюда последствиями. Я — против территориального контакта... Это ненадолго! — возбужденно выкрикнул он, всем телом подавшись в сторону неподвижного Пришельца. — Вы должны нас правильно понять... Я уверен, что это — ненадолго. Дайте нам время, мы ведь так недавно вышли из хаоса, мы еще по пояс в хаосе... — Он замолчал и уронил голову на руки.

Лавр Федотович посмотрел на Фарфуркиса.

— Я могу сейчас повторить лишь то, что говорил раньше, — негромко сказал Фарфуркис. — Меня никто ни в чем не переубедил. Я против всякого контакта на исторически длительные сроки... Я абсолютно уверен, — вежливо добавил он, — что высокая договаривающаяся сторона восприняла бы всякое иное наше решение как свидетельство самонадеянности и социальной незрелости. — Он коротко поклонился в сторону Пришельца.

— Вы? — вопросительно произнес Лавр Федотович.

— Категорически против всякого контакта, — отозвался Хлебовводов, продолжая писать. — Категорически и безусловно. — Он перебросил Зубо очередную записку. — Обоснований не привожу, но прошу оставить за мной право сказать

еще несколько слов по этому поводу через десять минут.

Лавр Федотович осторожно положил диктофон и медленно поднялся. Пришелец тоже поднялся. Они стояли друг против друга, разделенные огромным столом, заваленным справочниками, футлярами микрокниг, катушками видеомагнитной записи.

— Мне нелегко сейчас говорить, — начал Лавр Федотович, — нелегко потому, что обстоятельства требуют, вероятно, высокой патетики и слов не только точных, но и торжественных. Однако здесь у нас, на Земле, все патетическое в силу обстоятельств претерпело за последний век решительную инфляцию. Поэтому я постараюсь быть просто точным. Вы предложили нам дружбу и сотрудничество во всех аспектах цивилизации. Это предложение беспрецедентно в человеческой истории, как беспрецедентен и сам факт появления инопланетного существа на нашей планете, как беспрецедентен наш ответ на ваше предложение. Мы отвечаем вам отказом по всем пунктам предложенного вами договора, мы отказываемся выдвинуть какой-либо контрдоговор, мы категорически настаиваем на полном прекращении каких бы то ни было контактов между

нашими цивилизациями и между их отдельными представителями. С другой стороны, нам не хотелось бы, чтобы такой категорический, недружелюбный по форме отказ углубил бы пропасть между нашими культурами, пропасть, и без того едва преодолимую. Мы имеем заявить, что идея контактов между различными цивилизациями в Космосе признается нами в принципе полезной и многообещающей. Мы имеем подчеркнуть, что идея контакта с древнейших времен входила в сокровищницу самых лелеемых, самых гордых замыслов нашего человечества. Мы имеем уверить вас в том, что наш отказ ни в коем случае не должен рассматриваться вами как движение враждебное, основанное на скрытом недружелюбии или связанное с физиологическими или иными инстинктивными предрассудками. Нам хотелось бы, чтобы причины отказа были вам известны, вами поняты и если не одобрены, то, по крайней мере, приняты к сведению.

Выбегалло и Фарфуркис в неподвижном напряжении, не мигая, глядели на Лавра Федотовича. Хлебовводов получил ответ на последнюю записку, сложил все карточки в аккуратную пачку и тоже стал смотреть на Лавра Федотовича.

— Неравенство между нашими цивилизация-

ми огромно, — продолжал Лавр Федотович. — Я не говорю о неравенстве биологическом — природа одарила вас гораздо более щедро, чем нас. Не стоит говорить и о неравенстве социальном — вы давно прошли ту стадию общественного развития, в которую мы едва лишь вступили. И уж, конечно, я не говорю о неравенстве научно-техническом — по самым скромным подсчетам вы обогнали нас на несколько веков. Я буду говорить о прямом следствии этих трех аспектов неравенства — о гигантском психологическом неравенстве, которое является главной причиной невозможности наших переговоров. Нас разделяет гигантская революция в массовой психологии, к которой мы только начали готовиться и о которой вы, наверное, давно уже забыли. Психологический разрыв не позволяет нам составить правильное представление о целях вашего прибытия. Мы не понимаем, зачем *вам* нужна дружба и сотрудничество с нами. Ведь мы только-только вышли из состояния беспрерывных войн, из мира кровопролития и насилия, из мира лжи, подлости, корыстолюбия, мы еще не отмылись от грязи этого мира, и, когда мы сталкиваемся с явлениями, которые наш разум не способен вскрыть, когда в нашем распоряжении остается только

наш огромный, но не освоенный еще опыт, наша психология побуждает нас строить модель явлений по нашему образу и подобию. Грубо говоря, мы не доверяем вам, как не доверяем все еще самим себе. Наша массовая психология базируется на эгоизме, утилитаризме и мистике. Установление и расширение контакта с вами означает для нас прежде всего немыслимое усложнение и без того сложного положения на нашей планете. Наш эгоизм, наш антропоцентризм, тысячелетиями воспитываемая в нас религиями и наивными философиями уверенность в нашем изначальном превосходстве, в нашей исключительности и избранности — все это грозит породить чудовищный психологический шок, вспышку иррациональной ненависти к вам, истерического страха перед вашими невообразимыми возможностями, ощущение огромного унижения и внезапного падения с трона царя природы в грязь. Наш утилитаризм породит у огромной части населения стремление бездумно воспользоваться материальными благами прогресса, доставшегося без усилий, даром, что грозит необратимо повернуть души к тунеядству и потребительству, а, видит бог, мы уже сейчас отчаянно боремся с этим как со следствием наше-

го собственного научно-технического прогресса. Что же касается нашего закоренелого мистицизма, нашей застарелой надежды на добрых богов, добрых царей и добрых героев, надежды на вмешательство авторитетной личности, которая придет и снимет с нас все заботы и всю ответственность, что касается этой оборотной стороны нашего эгоизма, то вы, вероятно, даже представить себе не можете, каков будет в этом смысле результат вашего постоянного присутствия у нас на планете. Я надеюсь, вы теперь и сами видите, что расширение контакта грозит свести к нулю то немногое, что нам самим удалось сделать в области подготовки к революции в психологии. И вы должны понимать, что не в вас, не в ваших достоинствах и в ваших недостатках лежит причина нашего отказа от контакта — она лежит только в нас, в нашей неподготовленности. Мы отчетливо понимаем это, и, категорически отказываясь от расширения контакта с вами сегодня, мы отнюдь не собираемся увековечивать такое положение. Поэтому мы со своей стороны предлагаем...

Лавр Федотович возвысил голос, и все встали.

— Мы предлагаем ровно через пятьдесят лет после вашего отлета повторить встречу полномочных представителей обеих цивилизаций на

северном полюсе планеты Плутон. Мы надеемся, что к этому времени мы окажемся более подготовленными к благоприятному и обдуманному сотрудничеству наших цивилизаций.

Лавр Федотович закончил и сел, и все мы сели. Остались стоять только Хлебовводов и Пришелец.

— Присоединяясь целиком и полностью к содержанию и форме изложенного здесь председателем, — резко и сухо заговорил Хлебовводов, — я считаю своим долгом, однако, не оставлять никаких сомнений у высокой договаривающейся стороны в нашей решимости всеми средствами не допускать контактов до условленного времени. Полностью признавая огромное техническое, а следовательно, и военное превосходство высокой договаривающейся стороны, я тем не менее считаю своим долгом совершенно недвусмысленно заявить, что любая попытка насильственного навязывания контакта, в какой бы форме она ни предпринималась, будет рассматриваться нами с момента вашего отлета как акт агрессии и будет встречена всей мощью земного оружия. Всякий корабль, появившийся в сфере достижения наших боевых средств, будет уничтожаться без предупреждения...

— Хватит? — спросил меня Эдик шепотом.

Все застыли, как на фотографии.

— Не знаю, — сказал я. — Жалко. Век бы слушал.

— Да, неплохо получилось, — признал Эдик, — но кончать все же надо. Такой расход мозговой энергии...

Он выключил реморализатор, и Фарфуркис тотчас заныл:

— Ну, товарищи, ну невозможно же работать, ну куда это мы заехали...

Выбегалло пожевал губами, мутно огляделся и полез в бороду чесаться.

— Точно! — сказал Хлебовводов и сел. — Надо это кончать. Я тут в меньшинстве, но я что? Я — пожалуйста! Не хотите его в милицию — не надо. А только рационализировать нам этого фокусника как необъясненное явление, ей-богу, ни к чему. Подумаешь, отрастил себе две лишних руки...

— Не берет! — горько произнес у меня над ухом Эдик. — Плохо дело, Саша... Нет у них морали, у этих канализаторов...

— Грррм, — сказал Лавр Федотович и разразился небольшой речью, из которой следовало, что народу не нужны необъясненные явления, кото-

рые могли бы представить, но по тем или иным причинам не представляют документацию, удостоверяющую их право на необъясненность. С другой стороны, народ уже давно требует беспощадного выкорчевывания бюрократизма и бумажной волокиты во всех инстанциях. На основании этого тезиса Лавр Федотович выражал общее мнение, что рассмотрение дела номер семьдесят два надлежит перенести на декабрь месяц текущего года, с тем чтобы дать возможность товарищу Константинову К. К. отбыть к месту постоянного жительства и успеть вернуться оттуда с надлежаще оформленными документами. Что же касается оказания товарищу Константинову К. К. материальной помощи, то Тройка имеет право оказывать таковую или ходатайствовать об оказании таковой лишь в тех случаях, когда проситель представляет собой идентифицированное ею, Тройкой, необъясненное явление. А поскольку товарищ Константинов К. К. как таковое явление еще не идентифицирован, то вопрос о предоставлении ему помощи откладывается до декабря, а точнее — до момента идентификации...

Большая Круглая Печать на сцене не появилась, и я облегченно вздохнул. Константин же, кото-

рый в ситуации так до конца и не разобрался и которого давно уже распирало, демонстративно, очень по-нашему, плюнул и исчез.

— Это выпад! — радостно закричал Хлебовводов. — Видели, как он харкнул? Весь пол заплевал!

— Возмутительно, — согласился Фарфуркис. — Я квалифицирую это как оскорбление.

— Я же говорил — жулик, — сказал Хлебовводов. — Надо связаться с милицией, пускай его посадят на пятнадцать суток, пускай он улицы пометет в четыре руки!..

— Не-ет, товарищ Хлебовводов, — возразил Фарфуркис. — Здесь уже не милицией пахнет. Здесь вы недооцениваете. Это плевок в лицо всей общественности и администрации, это дело подсудное!

Лавр Федотович безмолвствовал, но его короткие веснушчатые пальцы возбужденно бегали по столу — то ли он искал какую-то особенную кнопку, то ли телефон. Запахло политической уголовщиной. Выбегалло, которому было на Константина глубоко начхать, не мычал и не телился. Я прокашлялся и попросил внимания. Внимание было мне даровано, хотя и не очень охотно — глаза уже возбужденно сверкали, за-

гривки щетинились, клыки готовы были рвать, а когти — драть.

Стараясь говорить по возможности более веско, я напомнил Тройке, что в ее интересах занимать галактоцентрические, а отнюдь не антропоцентрические позиции. Я указал, что обычаи и способы выражения чувств у инопланетных существ могут и должны сильно отличаться от человеческих. Я обратился к изжеванной аналогии с обычаями различных племен и народов нашей планеты. Я выразил уверенность, что товарища Фарфуркиса не удовлетворило бы потирание носами в качестве приветствия, принятого между некоторыми народами севера, но что товарищ Фарфуркис вряд ли воспринял бы это потирание как унижение его положения члена Тройки. Что же касается товарища Константинова, то обычай сплевывать на землю избыток жидкости определенного химического состава, образующейся в ротовой полости, обычай, означающий у некоторых народов Земли неудовольствие, раздражение или стремление оскорбить собеседника, может и должен у инопланетного существа выражать нечто совершенно иное, в том числе и благодарность за внимание. Так называемый «плевок» товарища Константинова мог пред-

ставлять собой и чисто нейтральную акцию, связанную со спецификой физиологического функционирования его организма... («Чего там — организма! — заорал Хлебовводов. — Заплевал весь пол, как бандит, и смылся!») Наконец, нельзя упускать из виду возможности интерпретировать упомянутое физиологическое отправление товарища Константинова как действие, связанное с его способом молниеносного передвижения в пространстве...

Я разливался соловьем и с облегчением наблюдал, как пальцы Лавра Федотовича двигались все медленнее и медленнее и наконец покойно улеглись на бюваре. Хлебовводов продолжал еще угрожающе рявкать, но чуткий Фарфуркис быстро уловил изменение ситуации и перенес острие удара в совершенно неожиданную сторону. Он вдруг обрушился на коменданта, который до сих пор, считая себя в полной безопасности, с простодушным любопытством наблюдал развитие инцидента.

— Я давно уже обратил внимание на то, — загремел Фарфуркис, — что воспитательная работа в Колонии Необъясненных Явлений поставлена безобразно. Политико-просветительные лекции почти не проводятся. Доска наглядной агитации

отражает вчерашний день. Вечерний университет культуры практически не функционирует. Все культурные мероприятия в Колонии сведены к танцулькам, к демонстрациям заграничных фильмов, к пошлым эстрадным представлениям. Лозунговое хозяйство запущено. Колонисты предоставлены сами себе, многие из них морально опустошены, почти никто не разбирается в международном положении, а самые отсталые из колонистов, например дух некоего Винера, даже не понимают, где находятся. В результате — аморальные поступки, хулиганство и поток жалоб от населения. Позавчера птеродактиль Кузьма, покинув территорию Колонии и, несомненно, находясь в нетрезвом виде, летал над клубом рабочей молодежи и скусывал электрические лампочки, окаймляющие транспарант с надписью «Добро пожаловать». Некий Николай Долгоносиков, именующий себя телепатом и спиритом, обманным путем проник в женское общежитие педагогического техникума и производил там беседы и действия, которые были квалифицированы администрацией как религиозная пропаганда. И вот сегодня мы сталкиваемся с новым печальным следствием преступно халатного отношения коменданта Колонии товарища

Зубо к вопросам воспитания и пропаганды. Чем бы ни было на самом деле сплевывание товарищем Константиновым избытка жидкости из ротовой полости, оно свидетельствует о недостатке понимания товарищем Константиновым, где он находится и как обязан себя вести, а это, в свою очередь, есть просчет товарища Зубо, который не разъяснил колонистам смысла пословицы народной: «В чужой монастырь со своим уставом не суйся». И я считаю, что мы обязаны поставить на вид товарищу Зубо, строго предупредить и обязать его повысить уровень воспитательной работы во вверенной ему Колонии!

Фарфуркис закруглился, и за коменданта принялся Хлебовводов. Речь его была несвязна, но полна смутных угроз и намеков такого жуткого свойства, что комендант совсем ослабел и открыто глотал пилюли, пока Хлебовводов орал: «Я тебя поплююсь!.. Ты понимаете что или совсем ошалели?..»

— Гррrм, — сказал наконец Лавр Федотович и пошел ставить каменные точки над разными буквами.

Комендант получил на вид за недостойное поведение в присутствии Тройки, выразившееся в плевании на пол товарищем Константиновым,

а также за утрату административного обоняния. Товарищ Константинов К. К. получил предупреждение в дело за хождение по потолку в обуви. Фарфуркис получил устное замечание за систематическое превышение регламента при выступлениях, а Хлебовводов — за нарушение административной этики, выразившееся в попытке облыжно оболгать товарища Константинова К. К. Выбегалле был объявлен устный выговор за появление в строю в небритом виде.

— Других предложений нет? — осведомился Лавр Федотович. Хлебовводов сейчас же ткнулся ему в ухо и зашептал. Лавр Федотович выслушал и закончил: — Есть также предложение напомнить некоторым представителям снизу о необходимости более активно участвовать в работе Тройки.

Теперь получили все. Никто не был забыт, и ничто не было забыто. Атмосфера сразу очистилась, все — даже комендант — повеселели, только Эдик хмурился, погрузившись в задумчивость.

— Следующий, — произнес Лавр Федотович. — Доложите, товарищ Зубо.

— Дело номер второе, — зачитал комендант. — Фамилия: прочерк. Имя: прочерк. Отчество: прочерк. Кличка: Кузьма. Год и место рождения:

не установлены, вероятно, Конго.

— Он что, немой, что ли? — благодушно осведомился Хлебовводов.

— Говорить не умеет, — ответил комендант. — Только квакает.

— От рождения такой?

— Надо полагать, да.

— Наследственность, стало быть, плохая, — проворчал Хлебовводов. — Оттого он и в бандиты подался. Судимостей много?

— У кого? — спросил ошарашенный комендант. — У меня?

— Да нет, почему — у тебя? У этого... у бандита... как его там по кличке? Васька?

— Протестую, — нетерпеливо сказал Фарфуркис. — Товарищ Хлебовводов исходит из предвзятого мнения, что клички бывают только у бандитов. Между тем в инструкции, в параграфе восьмом главы четвертой части второй предлагается наделять кличкой необъясненное явление, которое идентифицируется как живое существо, не обладающее разумом.

— А! — сказал Хлебовводов разочарованно. — Собака какая-нибудь. А я думал — бандит. Это когда я заведовал кассой взаимопомощи театральных деятелей при ВТО, был у меня кассир...

— Я протестую! — плачущим голосом закричал Фарфуркис. — Это нарушение регламента! Так мы до ночи не закончим!

Хлебовводов поглядел на часы.

— И верно, — сказал он. — Извиняюсь. Валяйте, браток, где ты там остановились?

— Пункт пятый, — прочитал комендант. — Национальность: птеродактиль.

Все содрогнулись, но время поджимало, и никто не сказал ни слова.

— Образование: прочерк, — продолжал читать комендант. — Знание иностранных языков: прочерк. Профессия и место работы в настоящее время: прочерк. Был ли за границей: вероятно, да...

— Ох, это плохо, — пробормотал Хлебовводов. — Плохо это! Ох, бдительность... Птеродактиль, говорите? Это что же — белый он? Или черный?

— Он, как бы это сказать, сероватый такой, — объяснил комендант.

— Ага, — сказал Хлебовводов. — И говорить не может, только квакает... Ну, ладно, дальше.

— Краткая сущность необъясненности: считается вымершим пятьдесят миллионов лет назад.

— Сколько? — переспросил Фарфуркис.

— Пятьдесят миллионов, тут написано, —

несмело сказал комендант.

— Несерьезно все это как-то, — пробормотал Фарфуркис и поглядел на часы. — Да читайте же, — простонал он. — Дальше читайте!

— Данные о ближайших родственниках: вероятно, все вымерли. Адрес постоянного места жительства: Тьмускорпионь, Колония Необъясненных Явлений.

— Прописан? — строго спросил Хлебовводов.

— Да вроде как бы прописан, — ответил комендант. — Как заявился он, так занесли его в книгу почетных посетителей, так с тех пор и пребывает. Можно сказать, прижился Кузьма. — В голосе коменданта послышались нежные нотки: Кузьме он явно покровительствовал.

— У вас все? — осведомился Лавр Федотович. — Тогда есть предложение вызвать дело.

Других предложений не было. Комендант отдернул штору на окне и ласково позвал:

— Кузь-Кузь-Кузь-Кузь... Вон, сидит на трубе, паршивец, — произнес он нежно. — Стесняется... Стеснительный он очень. Ку-у-узь! Кузь-Кузь-Кузь... Летит, жулик, — сообщил он, отступая от окна.

Послышался кожистый шорох и свист, огромная тень на секунду закрыла небо, и Кузьма,

трепеща распахнутой перепонкой, плавно опустился на демонстрационный стол. Сложив крылья, он задрал голову, разинул длинную зубастую пасть и тихонько квакнул.

— Это он здоровается, — пояснил комендант. — Ве-ежливый, сукин кот, все как есть понимает.

Кузька оглядел Тройку, встретился с мертвенным взглядом Лавра Федотовича и вдруг застеснялся ужасно, закутался в крылья, спрятал пасть на брюхе и стал застенчиво выглядывать из кожистых складок одним глазом — огромным, зеленым, анахроничным, похожим на полураскрытую ирисовую диафрагму. Прелесть был Кузька. Впрочем, на свежего человека он производил устрашающее впечатление. Хлебовводов на всякий случай что-то уронил и полез под стол, откуда пробормотал: «Я думал, собака какая-нибудь квакающая...»

— Кусается? — спросил Фарфуркис опасливо.

— Как можно! — сказал комендант. — Смирное животное, все его гоняют, кому не лень. Конечно, если рассердится... Только он никогда не сердится.

Лавр Федотович принялся рассматривать птеродактиля в бинокль и вогнал его этим в окончательное смущение. Кузьма слабо квакнул

и совсем спрятал голову в крыльях.

— Грррм! — удовлетворенно произнес Лавр Федотович и отложил бинокль.

Обстановка складывалась благоприятно.

— Я думал, это лошадь какая-нибудь, — бормотал Хлебовводов, ползая под столом.

— Разрешите мне, Лавр Федотович, — попросил Фарфуркис. — Я вижу в этом деле определенные трудности. Если бы мы занимались рассмотрением необычных явлений, я без колебания поднял бы руку за немедленную рационализацию. Действительно, крокодил с крыльями — явление довольно необычное в наших климатических условиях. Однако наша задача — рассматривать необъясненные явления, и тут я испытываю недоумение. Присутствует ли в деле номер два элемент необъясненности? Если не присутствует, то почему мы должны это дело рассматривать? Если, напротив, присутствует, то в чем же он, собственно, состоит? Может быть, товарищ научный консультант имеет сказать нам что-нибудь по этому поводу?

Товарищ научный консультант имел что сказать. На смешанном франко-русском жаргоне он поведал Тройке, что прическа Мари Брийон неизменно приводила в восхищение всех

собиравшихся на рауты у барона де Водрейля, какового факта он, научный консультант, не может не признать; что необъясненность... эта... данного ля птеродактэль Кусьма лежит, значить, в одной плоскости с его необычностью, о чем он, научный консультант, считает своим горьким, но почетным долгом напомнить товарищу Фарфуркису; что Платон был и остается его, научного консультанта, другом, но науке, в лице его, научного консультанта, истина все-таки дороже; что крылатость крокодилов, или, точнее, наличие у некоторых крокодилов двух и более крыльев, до сих пор наукой не объяснено, а потому он, научный консультант, попросил бы вашего садовника показать ему те чудесные туберозы, о которых вы говорили в прошлую пятницу; что, наконец, он, научный консультант, не видит особых причин откладывать рационализацию данного дела, но, с другой стороны, хотел бы оставить за собой право решительно возражать против таковой.

Пока Выбегалло трепался, в поте лица отрабатывая свой многосотенный оклад денежного содержания, я торопливо составлял план предстоящей кампании. Кузька мне очень понравился, и мне было ясно одно: если мы сейчас не вмешаемся, Кузьке будет плохо.

— Гррrм, — произнес Лавр Федотович. — Какие будут вопросы к докладчику?

— У меня вопросов нет, — заявил Хлебовводов, который убедился, что Кузьма не кусается, и сразу же обнаглел. — Но я так полагаю, что это обыкновенный крокодил с крыльями и больше ничего. И напрасно товарищ научный консультант наводит нам тут тень на плетень... И потом я замечаю, что комендант развел у себя в Колонии любимчиков и прикармливает их за государственный счет. Я не хочу, конечно, сказать, что у него там семейственность или он, скажем, взятки от этого крокодила получает, но факт, по-моему, налицо: крокодил с крыльями — самая простая штука, а носятся с ним как с писаной торбой. Гнать его нужно из Колонии, пусть работать идет...

— Как же работать? — сказал комендант, очень болевший за Кузьму.

— А так! У нас все работают! Вон он, здоровенный лоб какой сидит. Ему бы бревна на лесопилке подносить... или пусть камень грузит. Может, скажете, у него жилы слабые? Я этих крокодилов знаю, я их всяких повидал... и крылатых, и всяких...

— Да как же так? — страдал комендант. — Он же все-таки не человек, он же все-таки животное.

У него диета...

— Ничего, у нас животные тоже работают. Лошади, например. Пускай в лошади идет! Диета у него... У меня вот тоже диета, а я из-за него без обеда сижу... — Однако Хлебовводов чувствовал, что заврался. Фарфуркис смотрел на него насмешливо, да и поза Лавра Федотовича наводила на размышления. Учтя все эти обстоятельства, Хлебовводов сделал вдруг резкий поворот: — Постойте, постойте! — заорал он. — Это какой же у нас Кузьма? Это не тот ли Кузьма, который клубные лампочки жрал?.. Ну да, тот же самый и есть! Это что же, и меры, значит, к нему приняты не были? Ты, товарищ Зубо, не выкручивайтесь, ты мне прямо скажите: меры были приняты?

— Были! — сказал комендант с горячностью.

— Какие именно?

— Слабительного ему дали, — сказал комендант. Видно было, что за Кузьму он будет стоять насмерть.

Хлебовводов ударил кулаком по столу, и Кузьма со страху напустил лужу. Тут уж я разозлился и выкрикнул, обращаясь прямо к Лавру Федотовичу, что это издевательство над ценным научным экспонатом. Фарфуркис тоже заявил, что он протестует, что товарищ Хлебовводов опять пытается

навязать Тройке несвойственные ей функции. Лавр же Федотович облизал бледный указательный палец и резким движением перебросил у себя в бюваре несколько листков, что служило у него признаком сильнейшего раздражения. Надвигалась буря.

— Эдик! — прошептал я умоляюще.

Эдик, внимательно следивший за развитием событий, взял реморализатор навскидку и прицелился в Лавра Федотовича. Лавр Федотович поднялся и забрал себе слово.

Он рассказал о задачах вверенной ему Тройки, вытекающих из ее возросшего авторитета и возросшей ее ответственности. Он предложил присутствующим развернуть еще более непримиримую борьбу за повышение трудовой дисциплины, против бюрократизма, за высокий моральный уровень всех и каждого, за здоровую критику и здоровую самокритику, против обезлички, за укрепление противопожарной безопасности, против зазнайства, за личную ответственность каждого, за образцовое содержание отчетности и против недооценки собственных сил. Народ нам скажет спасибо, если эти задачи мы станем выполнять еще более активно, чем раньше. Народ нам не простит, если

эти задачи мы не станем выполнять еще более активно, чем раньше. Какие будут конкретные предложения по организации работы Тройки в связи с изменившимися условиями?

Я не без злорадства наблюдал, как туго было с конкретными предложениями. Хлебовводов по привычке размахнулся и предложил взять на себя повышенные обязательства, например, чтобы в связи с возросшим авторитетом Тройки комендант товарищ Зубо обязался бы увеличить свой рабочий день до четырнадцати часов, а научный консультант, товарищ Выбегалло, отказался бы от обеденного перерыва. Однако это партизанское решение не встретило энтузиазма. Напротив, оно встретило яростный отпор названных лиц. Отгремела короткая перепалка, в ходе которой выяснилось, что, между прочим, час обеденного перерыва давно наступил.

— Есть такое мнение, — заключил Лавр Федотович, — что пора перейти к отдыху и обеду. Заседание Тройки прерывается до восемнадцати ноль-ноль... — Затем он в высшей степени благодушно обратился к коменданту: — А крокодила вашего, товарищ Зубо, мы возьмем и отдадим в зоосад. Как вы полагаете?

— Эх! — сказал героический комендант. — Лавр

Федотович! Товарищ Вунюков! Христом-богом, спасителем нашим... нет же у нас в городе зоологического сада!

— Будет! — пообещал Лавр Федотович и тут же демократически пошутил: — Простой сад у вас есть, детский тоже есть, а теперь и зоологический будет. Тройка троицу любит.

Взрыв предобеденного хохота побудил Кузьму еще раз сделать неприличность.

Лавр Федотович погрузил в портфель свои председательские принадлежности, поднялся из-за стола и степенно двинулся к выходу. Хлебовводов и Выбегалло, сбив с ног зазевавшегося Фарфуркиса, кинулись, отпихивая друг друга, открывать ему дверь.

— Бифштекс — это мясо, — благосклонно сообщил им Лавр Федотович.

— С кровью! — преданно закричал Хлебовводов.

— Ну зачем же с кровью? — донесся голос Лавра Федотовича уже из приемной.

Мы с Эдиком распахнули все окна. С лестницы доносилось: «Нет уж, позвольте, Лавр Федотович... Бифштекс без крови, Лавр Федотович, это хуже, чем выпить и не закусить...» — «Наука полагает, что... эта... с лучком, значить...» — «Народ любит

хорошее мясо, например, бифштекс...»

— В гроб они меня вгонят, — озабоченно сказал комендант. — Погибель они моя, мор, глад и семь казней египетских...

Дело № 15 и выездная сессия

Вечернее заседание не состоялось. Официально нам было объявлено, что Лавр Федотович, а также товарищи Хлебовводов и Выбегалло отравились за обедом грибами и врач рекомендовал им всем до утра полежать. Однако дотошный комендант не поверил официальной версии. Он при нас позвонил в гостиничный ресторан и переговорил со своим кумом, метрдотелем. И что же? Выяснилось: за обедом Лавр Федотович и профессор Выбегалло, выступая против товарища Хлебовводова в практической дискуссии относительно сравнительных преимуществ прожаренного бифштекса перед бифштексом с кровью, стремясь выяснить на деле, какое из этих состояний бифштекса наиболее любимо народом, а следовательно, и наиболее перспективно, скушали под коньячок и под пльзенское бархатное по четыре экспериментальных порции из фонда шеф-повара. Теперь им совсем плохо, лежат пластом и до утра, во всяком случае, на людях появиться не смогут.

Комендант ликовал, как школьник, у которого внезапно и тяжело заболел любимый учитель.

Мы попрощались с ним, купили по стаканчику мороженого и возвратились к себе в гостиницу. Весь вечер мы просидели в номере, обсуждая свое положение. Эдик признался, что Кристобаль Хозевич был прав — Тройка оказалась более крепким орешком, нежели он, Эдик, предполагал. Разумная, рациональная сторона ее психики оказалась сверхъестественно консервативной и сверхупругой. Правда, она поддавалась воздействию мощного реморализирующего поля, но немедленно возвращалась в исходное состояние, как только поле выключалось. Я было предложил Эдику не выключать поле вовсе, но Эдик отверг это предложение. Запасы разумного, доброго и вечного были у Тройки весьма ограничены, и сколько-нибудь длительное воздействие реморализатора грозило истощить их до последней капли. Наше дело — научить их думать, а не помогать им думать; но они не учатся. Эти бывшие канализаторы разучились учиться. Впрочем, не все еще потеряно. Осталась еще эмоциональная сторона психики. Область чувств. Раз не удается разбудить в них разум, надо попытаться разбудить их совесть. Именно этим он, Эдик, и намерен заняться на следующем же заседании.

Мы обсуждали этот вопрос до тех пор, пока к

нам не ввалился без стука возбужденный Клоп Говорун. Оказывается, он подал заявление, чтобы Тройка приняла его без всякой очереди и обсудила одно его предложение. Только что он получил через коменданта извещение и теперь вот заглянул узнать, будем ли мы присутствовать на завтрашнем утреннем заседании, которое обещает стать историческим. Завтра мы все поймем, завтра мы все узнаем, что он такое. Когда благодарное человечество станет носить его на руках, он нас не забудет... Он кричал, размахивал лапками, бегал по стенам и мешал Эдику сосредоточиться. Мне пришлось взять его за шиворот и вывести в коридор. Он не обиделся, он был выше этого. Завтра все разъяснится, пообещал он, спросил номер апартаментов Хлебовводова и удалился. Я лег спать, а Эдик, расстелив на столе лист бумаги, еще долго сидел над разобранным реморализатором.

Когда Говоруна вызвали, он появился в комнате заседаний не сразу. Было слышно, как он препирается в приемной с комендантом, требуя какого-то церемониала, какого-то повышенного пиетета, а также почетного караула. Эдик начал волноваться, и мне пришлось выйти в приемную и сказать Клопу, чтобы он перестал ломаться, а

то будет плохо.

— Но я требую, чтобы он сделал три шага мне навстречу! — кипятился Говорун. — Пусть нет караула, но какие-то элементарные правила должны же выполняться! Я же не требую, чтобы он встречал меня у дверей... Пусть сделает три шага навстречу и обнажит голову!

— О ком ты говоришь? — спросил я, опешив.

— Как это о ком? Об этом, вашем... Кто там у вас главный? Вунюков?

— Балда, — прошипел я. — Ты хочешь, чтобы тебя выслушали? Иди немедленно! В твоем распоряжении тридцать секунд!

И Говорун сдался. Бормоча что-то насчет нарушения всех и всяческих правил, он вошел в комнату заседаний и нахально, ни с кем не поздоровавшись, развалился на демонстрационном столе. Лавр Федотович, с мутными и пожелтевшими после вчерашнего глазами, тотчас взял бинокль и стал Клопа рассматривать. Хлебовводов, страдая от тухлой отрыжки, проныл:

— Ну чего нам с ним говорить? Ведь уже все говорено... Он нам только голову морочит...

— Минуточку, — сказал Фарфуркис, бодрый и розовый, как всегда. — Гражданин Говорун, — обратился он к Клопу, — Тройка сочла возмож-

ным принять вас вне процедуры и выслушать ваше, как вы пишете, «чрезвычайно важное заявление». Тройка предлагает вам быть по возможности кратким и не отнимать у нее драгоценное рабочее время. Что вы имеете заявить? Мы вас слушаем.

Несколько секунд Говорун выдерживал ораторскую паузу. Затем он с шумом подобрал под себя ноги, принял горделивую позу и, надув щеки, заговорил.

— История человеческого племени, — начал он, — хранит на своих страницах немало позорных свидетельств варварства и недомыслия. Грубый невежественный солдат заколол Архимеда. Вшивые попы сожгли Джордано Бруно. Оголтелые фанатики травили Чарльза Дарвина, Галилео Галилея, Николая Вавилова. История клопов также сохранила упоминания о жертвах невежества и обскурантизма. Всем памятны неслыханные мучения великого клопа-энциклопедиста Сапукла, указавшего нашим предкам, травяным и древесным клопам, путь истинного прогресса и процветания. В забвении и нищете закончили свои дни Императур — создатель теории групп крови; Рексофоб, решивший проблему плодовитости; Пульп, открывший анабиоз. Варварство

и невежество обоих наших племен не могло не наложить и действительно наложило свой роковой отпечаток на взаимоотношения между нами. Втуне погибли идеи великого клопа-утописта Платуна, проповедовавшего идею симбиоза клопа и человека и видевшего будущность клопиного племени не на исконном пути паразитизма, а на светлых дорогах дружбы и взаимной помощи. Мы знаем случаи, когда человек предлагал клопам мир, защиту и покровительство, выступая под лозунгом: «Мы одной крови, вы и я», но жадные, вечно голодные клопиные массы игнорировали этот призыв, бессмысленно твердя: «Пили, пьем и будем пить». — Говорун залпом осушил стакан воды, облизнулся и продолжал, надсаживаясь, как на митинге: — Сейчас мы впервые в истории наших племен стоим перед лицом ситуации, когда клоп предлагает человечеству мир, защиту и покровительство, требуя взамен только одного: признания. Впервые клоп нашел общий язык с человеком. Впервые клоп общается с человеком не в постели, а за столом переговоров. Впервые клоп взыскует не материальных благ, а духовного общения. Так неужели же на распутье истории, перед поворотом, который, быть может, вознесет оба племени на недосягаемую высоту, мы

будем топтаться в нерешительности, вновь идя на поводу у невежества и взаимоотчужденности, отвергая очевидное и отказываясь признать свершившееся чудо? Я, Клоп Говорун, единственный говорящий клоп во Вселенной, единственное звено понимания между нашими племенами, говорю вам от имени миллионов и миллионов: опомнитесь! Отбросьте предрассудки, растопчите косность, соберите в себе все доброе и разумное и открытыми и ясными глазами взгляните в глаза великой истине: Клоп Говорун есть личность исключительная, явление необъясненное и, быть может, даже необъяснимое!

Да, тщеславие этого насекомого способно было поразить даже самое заскорузлое воображение. Я чувствовал, что добром это не кончится, и толкнул Эдика локтем, чтобы он был готов. Оставалась, правда, надежда на то, что состояние желудочной прострации, в котором пребывала большая и лучшая часть Тройки, помешает взрыву страстей. Благоприятным фактором было также отсутствие обожравшегося до постельного режима Выбегаллы. Лавру Федотовичу было нехорошо, он был бледен и обильно потел, Фарфуркис не знал, на что решиться, и с беспокойством на него поглядывал, и я уже подумал, что все обо-

шлось, как вдруг Хлебовводов произнес:

— «Пили, пьем и будем пить»... Это же он про кого? Это же он про нас, поганец! Кровь нашу! Кровушку! А? — Он дико огляделся. — Да я же его сейчас к ногтю!.. Ночью от них спасу нет, а теперь и днем! Мучители! — И он принялся яростно чесаться.

Говорун несколько испугался, но, однако, продолжал держаться с достоинством. Впрочем, краем глаза он осторожно высматривал себе на всякий случай подходящую щель. По комнате распространился крепчайший запах дорогого коньяка.

— Кровопийцы! — прохрипел Хлебовводов, вскочил и ринулся вперед. Сердце у меня замерло. Эдик схватил меня за руку — тоже испугался. Говорун прямо-таки присел от ужаса. Но Хлебовводов, держась за живот, промчался мимо демонстрационного стола, распахнул дверь и исчез. Было слышно, как он грохочет каблуками по лестнице. Говорун вытер со лба холодный пот и обессиленно опустил усы.

— Гррм, — как-то жалобно произнес Лавр Федотович. — Кто еще просит слова?

— Позвольте мне, — сказал Фарфуркис высоким голосом, и я понял, что машина заработала. — За-

явление гражданина Говоруна произвело на меня совершенно особенное впечатление. Я искренне и категорически возмущен. И дело здесь не только в том, что гражданин Говорун искаженно трактует историю человечества как историю страданий отдельных выдающихся личностей. Я также готов оставить на совести оратора его абсолютно несамокритические высказывания относительно собственной особы. Но его предложение, его идея о союзе... Даже сама мысль о таком союзе звучит, на мой взгляд, оскорбительно и кощунственно. За кого вы нас принимаете, гражданин Говорун? Или, может быть, ваше оскорбление преднамеренно? Лично я склонен квалифицировать его как преднамеренное! И более того, я сейчас просмотрел материалы предыдущего заседания по делу гражданина Говоруна и с горечью убедился, что там отсутствует совершенно, на мой взгляд, необходимое частное определение по этому делу. Это, товарищи, наша ошибка, это, товарищи, наш просчет, который нам надлежит исправить с наивозможнейшей быстротой. Что я имею в виду? Я имею в виду тот простой и очевидный факт, что в лице гражданина Говоруна мы имеем дело с типичным говорящим паразитом, то есть с праздношатающимся тунеядцем без опреде-

ленных занятий, добывающим средства к жизни предосудительными путями, каковые вполне можно квалифицировать как преступные...

В эту минуту на пороге появился измученный Хлебовводов. Проходя мимо Говоруна, он замахнулся на него кулаком, пробормотав: «У-у, собака бесхвостая, шестиногая!..» Говорун только втянул голову в плечи. Он понял наконец, что его дело плохо. «Саша, — шептал мне Эдик в панике, — Саша, придумай что-нибудь... У меня здесь закоротило...» Я лихорадочно искал выход, а Фарфуркис тем временем продолжал:

— Оскорбление человечества, оскорбление ответственного органа, типичное тунеядство, место которому за решеткой — не слишком ли это много, товарищи? Не проявляем ли мы здесь мягкотелость, беззубость, либерализм буржуазный и гуманизм абстрактный? Я еще не знаю, что думают по этому поводу мои уважаемые коллеги, и я не знаю, какое решение будет принято по данному делу, однако как человек по натуре не злой, хотя и принципиальный, я позволю себе обратиться к вам, гражданин Говорун, со словами предостережения. Тот факт, что вы, гражданин Говорун, научились говорить, вернее, болтать по-русски, может, конечно, некоторое время

служить сдерживающим фактором в нашем к вам отношении. Но берегитесь! Не натягивайте струны слишком туго!

— Задавить его, паразита! — прохрипел Хлебовводов. — Вот я его сейчас спичкой... — Он стал хлопать себя по карманам.

На Говоруне лица не было. На Эдике — тоже. Он судорожно копался в реморализаторе. А я все никак не мог найти выхода из возникшего тупика.

— Нет-нет, товарищ Хлебовводов, — брезгливо морщась, проговорил Фарфуркис, — я против незаконных действий. Что это за линчевание? Мы с вами не в Техасе. Необходимо все оформить по закону. Прежде всего, если не возражает Лавр Федотович, надлежит рационализировать гражданина Говоруна как явление необъясненное и, следовательно, находящееся в нашей компетенции...

При этих словах дурак Говорун просиял. О, тщеславие!..

— Далее, — продолжил Фарфуркис, — нам надлежит квалифицировать рационализированное необъясненное явление как вредное и, следовательно, в процессе утилизации подлежащее списанию. Дальнейшая процедура предельно проста. Мы составляем акт примерно таким

образом: акт о списании клопа говорящего, именуемого ниже Говоруном...

— Правильно! — прохрипел Хлебовводов. — Печатью его!

— Это произвол!.. — слабо пискнул Говорун.

— Позвольте! — вскинулся Фарфуркис. — Что значит — произвол? Мы списываем вас согласно параграфу семьдесят четвертому приложения о списании остатков, где совершенно отчетливо говорится...

— Все равно произвол! — кричал Клоп. — Палачи! Жандармы!..

И тут меня наконец осенило.

— Позвольте, — сказал я. — Лавр Федотович! Вмешайтесь, я прошу вас! Это же разбазаривание кадров!

— Гррrм, — еле слышно произнес Лавр Федотович. Его так мутило, что ему было все равно.

— Вы слышите? — сказал я Фарфуркису. — И Лавр Федотович совершенно прав! Надо меньше придавать значения форме и пристальнее вглядываться в содержание. Наши оскорбленные чувства не имеют ничего общего с интересами народного хозяйства. Что за административная сентиментальность? Разве у нас здесь пансион благородных девиц? Или, может быть, курсы

повышения квалификации?.. Да, гражданин Говорун позволяет себе дерзость, позволяет себе сомнительные параллели. Да, гражданин Говорун еще очень далек от совершенства. Но разве это означает, что мы должны списать его за ненадобностью? Да вы что, товарищ Фарфуркис? Или вы, может быть, способны сейчас вытащить из кармана второго говорящего клопа? Может, среди ваших знакомых есть еще говорящие клопы? Откуда это барство, это чистоплюйство? «Мне не нравится говорящий клоп, давайте спишем говорящего клопа...» А вы, товарищ Хлебовводов? Да, я вижу, вы — сильно пострадавший от клопов человек. Сочувствую вашим переживаниям, но я спрашиваю: может быть, вы уже нашли средство борьбы с кровососущими паразитами? С этими пиратами постелей, с этими гангстерами народных снов, с этими вампирами запущенных гостиниц...

— Вот я и говорю, — сказал Хлебовводов. — Задавить его без всяких разговоров... А то акты какие-то...

— Не-е-ет, товарищ Хлебовводов! Не позволим! Не позволим, пользуясь болезнью научного консультанта, вводить здесь и применять методы грубо административные вместо методов ад-

министративно-научных. Не позволим вновь торжествовать волюнтаризму и субъективизму! Неужели вы не понимаете, что присутствующий здесь гражданин Говорун являет собой единственную пока возможность начать воспитательную работу среди этих остервенелых тунеядцев? Было время, когда некий доморощенный клопиный талант повернул клопов-вегетарианцев к их нынешнему отвратительному модус вивенди. Так неужели же наш, современный, образованный, обогащенный всей мощью теории и практики клоп не способен совершить обратного поворота? Снабженный тщательно составленными инструкциями, вооруженный новейшими достижениями педагогики, ощущая за собой поддержку всего прогрессивного человечества, разве не станет он архимедовым рычагом, с помощью коего мы окажемся способны повернуть историю клопов вспять, к лесам и травам, к лону природы, к чистому, простому и невинному существованию? Я прошу комиссию принять к сведению все эти соображения и тщательно их обдумать.

Я сел. Эдик, бледный от восторга, показал мне большой палец. Говорун стоял на коленях и, казалось, горячо молился. Что касается Тройки, то, пораженная моим красноречием, она безмолв-

ствовала. Фарфуркис глядел на меня с радостным изумлением. Видно было, что он считает мою идею гениальной и сейчас лихорадочно обдумывает возможные пути захвата командных высот в этом новом, неслыханном мероприятии. Уже виделось ему, как он составляет обширную, детальнейшую инструкцию, уже носились перед его мысленным взором бесчисленные главы, параграфы и приложения. Уже в воображении своем он консультировал Говоруна, организовывал курсы русского языка для особо одаренных клопов, назначался главой государственного комитета по пропаганде вегетарианства среди кровососущих, расширяющаяся деятельность которого охватит со временем также комаров и мошку, мокреца, слепней, оводов и муху-зубатку...

— Травяные клопы тоже, я вам скажу, не сахар... — проворчал консервативный Хлебовводов. Он уже сдался, но не хотел признаться в этом и цеплялся к частностям.

Я выразительно пожал плечами.

— Товарищ Хлебовводов мыслит узкоместными категориями, — возразил Фарфуркис, сразу вырываясь на полкорпуса вперед.

— Ничего не узкоместными, — возразил Хлебо-

вводов. — Очень даже широкими... этими... как их... Воняют же! Но я понимаю, что это можно подработать в процессе. Я к тому, что можно ли на этого положиться... на стрикулиста... Несерьезный он какой-то... и заслуг за ним никаких не видно...

— Есть предложение, — сказал Эдик. — Может быть, создать подкомиссию для изучения данного вопроса во главе с товарищем Фарфуркисом. Рабочим заместителем товарища Фарфуркиса я бы предложил товарища Привалова, человека незаинтересованного и объективного.

Тут Лавр Федотович вдруг поднялся. Простым глазом было видно, что он здорово сдал после вчерашнего. Обыкновенная человеческая слабость светилась сквозь обычно каменные черты его. Да, гранит дал трещину, бастион несколько накренился, но все-таки, несмотря ни на что, стоял могучий и непреклонный.

— Народ... — произнес бастион, болезненно заводя глаза. — Народ не любит замыкаться в четырех стенах. Народу нужен простор. Народу нужны поля и реки. Народу нужен ветер и солнце...

— И луна! — добавил Хлебовводов, преданно глядя на бастион снизу вверх.

— И луна, — подтвердил Лавр Федотович. — Здоровье народа надо беречь, оно принадлежит народу. Народу нужна работа на открытом воздухе. Народу душно без открытого воздуха...

Мы еще ничего не понимали, даже Хлебовводов терялся в догадках, но проницательный Фарфуркис уже собрал бумаги, упаковал записную книжку и что-то шептал коменданту. Комендант кивнул и почтительно-деловито осведомился:

— Народ любит ходить пешком или ездить на машине?

— Народ, — провозгласил Лавр Федотович, — предпочитает ездить в открытом автомобиле... Выражая общее мнение, предлагаю настоящее заседание перенести, а сейчас провести намеченное на вечер выездное заседание по соответствующим делам. Товарищ Зубо, обеспечьте. — С этими словами Лавр Федотович вновь грузно опустился в кресло.

Все засуетились. Комендант бросился подавать машину. Хлебовводов отпаивал Лавра Федотовича боржомом, а Фарфуркис забрался в сейф и принялся искать соответствующие дела. Я под шумок схватил Говоруна за ногу и выбросил его вон. Говорун не сопротивлялся: пережитое потрясло его и надолго выбило из колеи.

Тем временем был подан автомобиль. Лавра Федотовича вывели под руки и бережно погрузили на переднее сиденье. Хлебовводов, Фарфуркис и комендант, толкаясь и огрызаясь друг на друга, оккупировали заднее сиденье. «А машина-то пятиместная, — озабоченно сказал Эдик. — Нас не возьмут». Я ответил, что не вижу в этом ничего плохого. Я наболтался сегодня на целый месяц вперед. Безнадюга все это. Нам с ними вовек не справиться. Спасли дурака Клопа, и ладно, и хватит, и пошли купаться. Однако Эдик сказал, что не пойдет купаться. Он невидимо последует за автомобилем и проведет еще один сеанс — под открытым небом. В конце концов, это, может быть, даже и лучше...

Тут в автомобиле поднялся крик. Сцепились Фарфуркис с Хлебовводовым. Хлебовводов, которому от запаха бензина стало хуже, требовал немедленного движения вперед. При этом он кричал, что народ любит быструю езду. Фарфуркис же, чувствуя себя единственным в машине дееспособным человеком, ответственным за все, доказывал, что присутствие постороннего и непроверенного шофера превращает закрытое заседание в открытое и что, кроме того, согласно инструкции, заседания в отсутствие научного

консультанта проводиться не могут, а если и проводятся, то в дальнейшем признаются недействительными. «Затруднение? — осведомился Лавр Федотович слегка окрепшим голосом. — Товарищ Фарфуркис, устраните». Ободренный Фарфуркис с азартом принялся устранять. И не успел я глазом моргнуть, как меня кооптировали в качестве врио научного консультанта, шофер был отпущен, а я сидел на его месте. «Давай, давай, — шептал мне на ухо невидимый Эдик. — Ты мне еще, может быть, поможешь...» Я нервничал и озирался. Вокруг машины собралась толпа ребятишек. Одно дело — сидеть со всей этой компанией в закрытом помещении, и совсем другое — выставляться на всеобщее обозрение.

— Ехать бы... — умирал Хлебовводов. — С ветерком бы!

— Грррм, — сказал Лавр Федотович. — Есть предложение ехать. Другие предложения есть?.. Шофер, поезжайте.

Я завел двигатель и стал осторожно разворачиваться, пробираясь сквозь толпу ребятишек.

Первое время Фарфуркис страшно надоедал мне советами. То он рекомендовал мне остановиться там, где остановка была запрещена; то он советовал не гнать и напоминал мне о ценности жизни

Лавра Федотовича; то он требовал, чтобы я ехал быстрее, потому что встречный ветер недостаточно энергично овевает чело Лавра Федотовича; то он требовал, чтобы я не обращал внимания на сигналы светофоров, ибо это подрывает авторитет Тройки... Однако, когда мы миновали белые Тьмускорпионские Черемушки и выехали за город, когда перед нами открылись зеленые луга, а вдали засинело озеро, когда машина запрыгала по щебенке с гребенкой, в машине наступила умиротворенная тишина.

Все подставили лица встречному ветерку, все щурились на солнышке, всем стало хорошо. Лавр Федотович закурил первую сегодня «Герцеговину Флор», Хлебовводов тихонько затянул какую-то ямщицкую песню, комендант блаженно подремывал, прижимая к груди папки с делами, и только Фарфуркис после короткой борьбы нашел в себе силы справиться с изнеженностью.

Развернув карту Тьмускорпиони с окрестностями, он деятельно наметил маршрут, который, впрочем, оказался никуда не годным, потому что Фарфуркис забыл, что у нас автомобиль, а не вертолет. Я предложил ему свой вариант: озеро — болото — холм. На озере мы должны были рассмотреть дело плезиозавра; на болоте раци-

онализировать и утилизировать имеющее там место гуканье; а на холме нам предстояло обследовать так называемое заколдованное место.

Фарфуркис, к моему удивлению, не возражал. Выяснилось, что он полностью доверяет моей водительской интуиции, более того, он, оказывается, всегда был самого высокого мнения о моих способностях. Ему, оказывается, будет очень приятно работать со мной в клопиной подкомиссии, он давно меня держит на примете, он вообще всегда держит на примете нашу чудесную, талантливую молодежь. Он сердцем всегда с молодежью, но он не закрывает глаза и на ее существенные недостатки. Нынешняя молодежь мало борется, мало уделяет внимания борьбе, нет у нее стремления бороться больше, энергичнее, бороться за то, чтобы борьба по-настоящему стала главной, первоочередной задачей всей нашей борьбы, а ведь если она, наша чудесная, талантливая молодежь, и дальше будет так мало бороться, то в этой борьбе у нее останется мало шансов стать настоящей, подлинно борющейся молодежью, всегда занятой борьбой за то, чтобы стать настоящим борцом, который борется за то, чтобы борьба...

Плезиозавра мы увидали еще издали — нечто

похожее на ручку от зонтика торчало из воды в паре километров от берега. Я подвел машину к пляжу и остановился. Фарфуркис все еще боролся с грамматикой во имя борьбы за борющуюся молодежь, а Хлебовводов уже стремительно выбросился из машины и распахнул дверцу рядом с Лавром Федотовичем. Однако Лавр Федотович выходить на природу не пожелал. Он благосклонно посмотрел на Хлебовводова и сообщил, что в озере — вода, что заседание выездной сессии Тройки он объявляет открытым и что слово предоставляется товарищу Зубо.

Комиссия расположилась на травке, рядом с автомобилем, настроение у всех было какое-то нерабочее. Фарфуркис расстегнулся, а я вообще снял рубашку, чтобы не терять случая позагорать. Комендант, поминутно нарушая инструкцию, принялся отбарабанивать анкету плезиозавра по кличке Лизавета, но никто его не слушал. Лавр Федотович задумчиво разглядывал озеро перед собой, словно прикидывая, нужно ли оно на самом деле народу, а Хлебовводов вполголоса рассказывал Фарфуркису, как он работал председателем колхоза имени Театра музкомедии и получал по пятнадцать поросят от свиноматки. В двадцати шагах от нас шелестели овсы,

на дальних лугах бродили коровы, и уклон в сельскохозяйственную тематику представлялся вполне извинительным.

Когда комендант зачитал краткую сущность плезиозавра, Хлебовводов сделал ценное замечание, что ящур — опасная болезнь скота и можно только удивляться, что здесь он плавает на свободе. Некоторое время мы с Фарфуркисом лениво втолковывали ему, что ящур — это одно, а ящер — это совсем другое. Хлебовводов, однако, стоял на своем, ссылаясь на журнал «Огонек», где совершенно точно и неоднократно упоминался какой-то ископаемый ящур. «Вы меня не собьете, — говорил он. — Я человек начитанный, хотя и без высшего образования». Фарфуркис, не чувствуя себя достаточно компетентным, отступился, я же продолжал спорить, пока Хлебовводов не предложил позвать сюда плезиозавра и спросить его самого. «Он говорить не умеет», — сообщил комендант, присевший рядом с нами на корточки. «Ничего, разберемся, — возразил Хлебовводов. — Все равно же полагается его вызвать, так хоть польза какая-то будет».

— Грррм, — сказал Лавр Федотович. — Вопросы к докладчику имеются? Нет вопросов? Вызовите дело, товарищ Зубо.

Комендант вскочил и заметался по берегу. Сначала он сорванным голосом кричал: «Лизка! Лизка!» Но поскольку плезиозавр, видимо, ничего не слышал, комендант сорвал с себя пиджак и принялся им размахивать, как потерпевший кораблекрушение при виде паруса на горизонте. Лизка не подавала никаких признаков жизни. «Спит, — с отчаянием сказал комендант. — Окуней наглоталась и спит...» Он еще немного побегал и помахал, а потом попросил меня погудеть. Я принялся гудеть. Лавр Федотович, высунувшись через борт, глядел на плезиозавра в бинокль. Я гудел минуты две, а потом сказал, что хватит — нечего аккумулятор подсаживать: дело казалось мне безнадежным.

— Товарищ Зубо, — не опуская бинокль, произнес Лавр Федотович. — Почему вызванный не реагирует?

Комендант побледнел и не нашелся, что сказать.

— Хромает у тебя в хозяйстве дисциплинка, — подал голос Хлебовводов. — Подраспустили подчиненных!

Комендант рванул на себе рубашку и разинул рот.

— Ситуация чревата подрывом авторитета, —

сокрушенно заметил Фарфуркис. — Спать нужно ночью, а днем нужно работать.

Комендант в отчаянии принялся раздеваться. Действительно, иного выхода у него не было. Я спросил коменданта, умеет ли он плавать. Выяснилось, что нет, не умеет, но ему все равно. «Ничего, — кровожадно сказал Хлебовводов. — На дутом авторитете выплывет». Я осторожно высказал сомнение в целесообразности предпринимаемых действий. Комендант несомненно утонет, сказал я, и есть ли необходимость в том, чтобы Тройка брала на себя не свойственные ей функции, подменяя собой станцию спасения на водах. Кроме того, напомнил я, в случае утонутия коменданта задача все равно останется невыполненной, и логика событий подсказывает, что плыть тогда придется либо Фарфуркису, либо Хлебовводову. Фарфуркис немедленно возразил, что вызов дела является функциональной прерогативой представителя местной администрации, а за отсутствием такового — функцией научного консультанта, так что мои слова он рассматривает как выпад и как попытку валить с больной головы на здоровую. Я заявил, что в данном случае являюсь не столько научным консультантом, сколько водителем казенного автомобиля, от

которого не имею права удаляться далее чем на двадцать шагов. «Вам следовало бы знать приложение к Правилам движения по улицам и дорогам, — сказал я укоризненно, ничем не рискуя. — Параграф двадцать первый».

Наступило тягостное молчание. Черная ручка от зонтика по-прежнему неподвижно маячила на горизонте. Все с трепетом следили, как медленно, словно трехствольная орудийная башня линейного корабля, поворачивается голова Лавра Федотовича. Все мы находились на одном плоту, и никому из нас не хотелось залпа.

— Господом нашим... — не выдержал комендант, стоя на коленях в одном белье. — Спасителем Иисусом Христом... Не боюсь я плыть и утонуть не боюсь!.. Но ей-то что, Лизке-то... Глотка у ей, что твое метро! Она не меня, она корову может сглотнуть, как семечку! Спросонья-то...

— В конце концов, — несколько нервничая, произнес Фарфуркис, — зачем нам ее вызывать? В конце концов, и отсюда видно, что никакого интереса она не представляет. Я предлагаю ее рационализировать и за ненадобностью списать...

— Списать ее, заразу! — радостно подхватил Хлебовводов. — Корову она может сглотнуть, подумаешь! Тоже мне, сенсация! Корову и я мо-

гу сглотнуть, а ты вот от этой коровы добейся... пятнадцать поросят, понимаешь, добейся, вот это работа!

Лавр Федотович наконец развернул главный калибр. Однако вместо орды враждующих индивидуумов, вместо гнезда кипения противоречивых страстей, вместо недисциплинированных, подрывающих авторитет Тройки пауков в банке, он обнаружил перед собою в поле зрения прицела сплоченный рабочий коллектив, исполненных энтузиазма и деловитости сотрудников, горящих единым стремлением: списать заразу Лизку и перейти к следующему вопросу. Залпа не последовало. Орудийная башня развернулась в противоположном направлении, и чудовищные жерла отыскали на горизонте ничего не подозревающую ручку от зонтика.

— Народ... — донеслось из боевой рубки. — Народ смотрит вдаль. Такие вот плезиозавры народу...

— Не нужны! — выпалил Хлебовводов из малого калибра и — промазал.

Выяснилось, что такие вот плезиозавры нужны народу позарез, что отдельные члены Тройки утратили чувство перспективы, что отдельные коменданты, видимо, забыли, чей хлеб они едят,

что отдельные представители нашей славной интеллигенции обнаруживают склонность смотреть на мир через черное стекло и что, наконец, дело номер восемь впредь до выяснения должно быть отложено и пересмотрено в один из зимних месяцев, когда до него можно будет добраться по льду. Других предложений не оказалось, вопросов к докладчику — тем более. На том и порешили.

— Перейдем к следующему вопросу, — объявил Лавр Федотович, и действительные члены Тройки, толкаясь, устремились к заднему сиденью. Комендант торопливо одевался, бормоча: «Я же тебе это припомню... Лучшие же куски давал... Как дочь родную... Скотина водоплавающая...»

Затем мы двинулись дальше по проселочной дороге, бегущей вдоль берега озера. Дорога была страшненькая, и я возносил хвалу небесам, что лето стоит сухое, иначе бы нам тут же и конец пришел. Однако хвалил я небеса преждевременно, потому что по мере приближения к болоту дорога все чаще обнаруживала тенденцию к исчезновению и превращению в две заросшие осокой сырые рытвины. Я врубил демультипликатор и прикидывал физические возможности своих спутников. Было совершенно ясно, что от

толстого дряблого Фарфуркиса проку будет мало. Хлебовводов выглядел мужиком жилистым, но мне неизвестно было, оправился ли он в достаточной степени после желудочного удара. Лавр Федотович вряд ли даже вылезет из машины. Так что действовать в случае чего мне придется с одним лишь комендантом, потому что Эдик не станет себя, наверное, обнаруживать ради того только, чтобы вытолкнуть из грязи полуторатонный механизм.

Пессимистические размышления мои были прерваны появлением впереди гигантской черной лужи. Это не была патриархальная буколическая лужа типа миргородской — всеми изъезженная и ко всему притерпевшаяся. Это не была также мутная глинистая урбанистическая лужа, лениво и злорадно развалившаяся среди неубранных куч строительного мусора. Это было спокойное и хладнокровное, зловещее в своем спокойствии, мрачное образование, небрежно втиснувшееся между двумя рядами хилой осиновой поросли, загадочное, как взгляд Сфинкса, коварное, как царица Тамара, наводящее на кошмарную мысль о бездне, набитой затонувшими грузовиками. Я резко затормозил и сказал:

— Все, приехали.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Товарищ Зубо, доложите дело.

В наступившей тишине было слышно, как колеблется комендант. До болота как такового было еще довольно далеко, но комендант тоже видел лужу и тоже не видел выхода. Он покорно вздохнул и зашелестел бумагами.

— Дело номер тридцать восьмое, — прочитал он. — Фамилия: прочерк. Имя: прочерк. Отчество: прочерк. Название: Коровье Вязло.

— Минуточку! — прервал его Фарфуркис встревоженно. — Слушайте!

Он поднял палец и застыл.

Мы прислушались и услышали. Где-то далеко-далеко победно запели серебряные трубы. Множественный звук этот пульсировал, нарастал и словно бы приближался. Кровь застыла у нас в жилах. Это трубили комары, и притом не все, а пока только командиры рот или даже только командиры батальонов и выше. И таинственным внутренним взором зверя, попавшего в ловушку, мы увидели вокруг себя гектары топкой грязи, поросшей редкой осокой, покрытой слежавшимися слоями прелых листьев с торчащими из них гнилыми сучьями... и все это под сенью болезненно тощих осин... и на всех этих гектарах, на каждом

квадратном сантиметре — отряды поджарых рыжеватых каннибалов, лютых, изголодавшихся, самоотверженных.

— Лавр Федотович! — пролепетал Хлебовводов. — Комары!

— Есть предложение! — нервно закричал Фарфуркис. — Отложить рассмотрение данного дела до октября... нет, до декабря месяца!

— Гррrм, — произнес Лавр Федотович с удивлением. — Народу не ясно...

Воздух вокруг нас вдруг наполнился движением. Хлебовводов взвизгнул и изо всех сил ударил себя по физиономии. Фарфуркис ответил ему тем же. Лавр Федотович начал медленно и с изумлением к ним поворачиваться, и тут свершилось невозможное: огромный рыжий пират четко, как на смотру, пал Лавру Федотовичу на чело и с ходу, не примериваясь, вонзил в него шпагу по самые глаза. Лавр Федотович отшатнулся. Он был потрясен, он не понимал, он не верил. И началось.

Мотая головой, как лошадь, отмахиваясь локтями, я принялся разворачивать автомобиль на узком пространстве между зарослями осинника. Справа от меня возмущенно рычал и ворочался Лавр Федотович, а с заднего сиденья доносилась такая буря аплодисментов, словно разгоряченная

компания улан и лейб-гусар предавалась там взаимооскорблению действием. К тому моменту, когда я закончил разворот, я уже распух. У меня было такое ощущение, что уши мои превратились в горящие оладьи, щеки в караваи, а на лбу взошли многочисленные рога. «Вперед! — кричали на меня со всех сторон. — Назад! Газу! Да подтолкните же его! Я вас под суд отдам, товарищ Привалов!» Двигатель ревел, клочья грязи летели из-под всех четырех ведущих, машина прыгала, как кенгуру, но скорость была мала, отвратительно мала, а навстречу нам с бесчисленных аэродромов снимались все новые и новые эскадрильи, эскадры, армады. Преимущество противника в воздухе было абсолютным. Все, кроме меня, остервенело занимались самокритикой, переходящей в самоистязание. Я же не мог оторвать рук от баранки, я не мог даже отбиваться ногами, у меня оставалась свободной только одна нога, и ею я бешено чесал все, до чего мог дотянуться.

Потом наконец мы вырвались из зарослей осинника обратно на берег озера. Дорога сделалась получше и пошла в гору. В лицо мне ударил тугой ветер. Я остановил машину. Я перевел дух и стал чесаться. Я чесался с упоением, я никак не мог

перестать, а когда все-таки перестал, то обнаружил, что Тройка доедает коменданта. Комендант был обвинен в подготовке и осуществлении террористического акта. Ему предъявили счет за каждую выпитую из членов Тройки каплю крови, и он оплатил этот счет сполна. То, что осталось от коменданта к моменту, когда я вновь обрел способность видеть, слышать и понимать, не могло уже, собственно, называться комендантом как таковым: две-три обглоданные кости, опустошенный взгляд и слабое бормотание: «Господом богом... Иисусом, спасителем нашим...»

— Товарищ Зубо, — произнес наконец Лавр Федотович, — почему вы прекратили зачитывать дело? Продолжайте докладывать.

Комендант принялся трясущимися руками собирать по машине разбросанные листки.

— Зачитайте непосредственно краткую сущность необъясненности, — приказал Лавр Федотович.

Комендант, всхлипнув в последний раз, прерывающимся голосом прочел:

— Обширное болото, из недр которого время от времени доносятся ухающие и ахающие звуки.

— Ну? — сказал Хлебовводов. — Дальше что?

— Дальше ничего. Все.

— Как так — все? — плачуще взвыл Хлебовводов. — Убили меня! Зарезали! И для ради чего? «Звуки ахающие...» Ты зачем нас сюда привезли, террорист? Ты это нас ухающие звуки слушать привезли? За что же мы кровь свою проливали? Ты посмотрите на меня — как я теперь в гостинице появлюсь? Ты же мой авторитет на всю жизнь подорвали! Я же тебя сгною так, что от тебя ни аханья, ни уханья не останется!

— Грррм, — сказал Лавр Федотович, и Хлебовводов замолчал.

— Есть предложение, — продолжал Лавр Федотович. — Ввиду представления собой делом номер тридцать восемь под названием «Коровье Вязло» исключительной опасности для народа, подвергнуть данное дело высшей мере рационализации, а именно: признать названное необъясненное явление иррациональным, трансцендентным, а следовательно, реально не существующим и как таковое исключить навсегда из памяти народа, то есть из географических и топографических карт.

Хлебовводов и Фарфуркис бешено захлопали в ладоши. Лавр Федотович извлек из-под сиденья свой гигантский портфель и положил его плашмя себе на колени.

— Акт! — воззвал он.

На портфель лег акт о высшей мере.

— Подписи!!

На акт пали подписи.

— Печать!!!

Лязгнула дверца сейфа, волной накатила канцелярская затхлость, и перед Лавром Федотовичем возникла Большая Круглая Печать. Лавр Федотович взял ее обеими руками, занес над актом и с силой опустил. Мрачная тень прошла по небу, автомобиль слегка присел на рессорах. Лавр Федотович убрал портфель под сиденье и продолжал:

— Коменданту Колонии товарищу Зубо за безответственное содержание в Колонии иррационального, трансцендентного, а следовательно, реально не существующего болота «Коровье Вязло», за необеспечение безопасности работы Тройки, а также за проявленный при этом героизм объявить благодарность с занесением. Есть еще предложения?

Слегка повредившийся от треволнений Хлебоводов внес предложение приговорить коменданта Зубо к расстрелу с конфискацией имущества. Однако Фарфуркис слабым голосом возразил, что это, к сожалению, негуманно, так что он в конечном счете полностью поддерживает предложение Лавра Федотовича.

— Следующий! Что у нас сегодня еще, товарищ Зубо?

— Заколдованное место, — сказал воспрянувший комендант. — Недалеко отсюда, километров пять.

— Комары? — осведомился Лавр Федотович.

— Христом-богом... — истово сказал комендант. — Спасителем нашим... нету их там. Муравьи разве что...

— Хорошо, — констатировал Лавр Федотович. — Осы, пчелы? — продолжал он, обнаруживая высокую прозорливость и неусыпную заботу о народе.

— Ни боже мой, — сказал комендант.

Лавр Федотович некоторое время молчал.

— Бешеные быки? — спросил он наконец.

Комендант заверил его, что ни о каких быках в этих окрестностях не может быть и речи.

— А волки? — спросил Хлебовводов подозрительно.

Но в окрестностях не было и волков, а равно и медведей, о которых вовремя вспомнил бдительный Фарфуркис. Пока они упражнялись в зоологии, я рассматривал карту, выискивая кратчайшую дорогу к заколдованному месту. Высшая мера уже оказала свое действие. На карте была

Тьмускорпионь, была река Скорпионка, было озеро Звериное, были какие-то Лопухи; болота же «Коровье Вязло», которое распространялось ранее между озером Звериным и Лопухами, больше не было. Вместо него на карте имело место анонимное белое пятно, какое можно видеть на старых картах на месте Антарктики.

Мне было дано указание продолжать движение, и мы поехали. Мы миновали овсы, пробрались сквозь заросли кустарника, обогнули рощу Круглую, форсировали ручей Студеный и через полчаса оказались перед местом заколдованным.

Это был холм. С одной стороны он порос лесом. Вероятно, здесь кругом стоял некогда сплошной лес, вплоть до самой Тьмускорпиони. Но его свели, и осталось только то, что было на холме. На самой вершине виднелась почерневшая избушка, по склону перед нами бродили две коровы с теленком под охраной большой понурой собаки. Возле крыльца копались в земле куры, а на крыше стояла коза.

— Что же вы остановились? — спросил меня Фарфуркис. — Надо же подъехать, не пешком же нам...

— И молоко у них, по всему видать, есть... —

добавил Хлебовводов. — Я бы молочка сейчас выпил. Парного. Когда, понимаешь, грибами отравишься, очень полезно молока выпить. Парного. Ехай, ехай, чего стали!

Комендант попытался объяснить им, что подъехать к холму ближе невозможно, но объяснения его были встречены таким ледяным изумлением Лавра Федотовича, заразившегося мыслью о целебных свойствах парного молока, такими стенаниями Фарфуркиса: «Сметана! С погреба!», что он не стал спорить. Честно говоря, я его тоже не совсем понял, но мне стало любопытно.

Я включил двигатель, и машина весело покатилась к холму. Спидометр принялся отсчитывать километры, шины шуршали по колючей траве, Лавр Федотович неукоснительно глядел вперед, а заднее сиденье в предвкушении молока и сметаны затеяло спор — чем на болотах питаются комары. Хлебовводов вынес из личного опыта суждение, что комары питаются исключительно ответственными работниками, совершающими инспекционные поездки. Фарфуркис, выдавая желаемое за действительное, уверял, что комары живут самоедством. Комендант же кротко, но настойчиво лепетал о божественном, о какой-то божьей росе и о жареных акридах. Так мы ехали

минут двадцать. Когда спидометр показал, что пройдено пятнадцать километров, Хлебовводов спохватился.

— Что же это получается? — сказал он. — Едем, едем, а холм где стоял, там и стоит. Поднажмите, товарищ водитель, что же это ты, браток?

— Не доехать нам до холма, — кротко сказал комендант. — Он же заколдованный, не доехать до него и не дойти... Только бензин весь даром сожжем.

После этого все замолчали, и на спидометр намоталось еще семь километров. Холм по-прежнему не приблизился ни на шаг. Коровы, привлеченные шумом мотора, сначала некоторое время глядели в нашу сторону, затем потеряли к нам интерес и снова уткнулись в траву.

На заднем сиденье нарастало возмущение. Хлебовводов и Фарфуркис обменивались негромкими замечаниями, деловитыми и зловещими. «Вредительство», — говорил Хлебовводов. «Саботаж, — возражал Фарфуркис. — Но злостный!» Потом они перешли на шепот, и до меня доносилось только: «На колодках... Ну да, колеса крутятся, а машина стоит. Комендант?.. Может быть, и врио консультанта тоже... бензин... подрыв экономики... потом машину спишут с большим пробегом,

а она как новенькая...» Я не обращал внимания на этих зловещих попугаев, но потом вдруг хлопнула дверца, и ужасным, стремительно удаляющимся голосом заорал Хлебовводов. Я изо всех сил нажал на тормоз. Лавр Федотович, продолжая движение и не меняя осанки, с деревянным стуком влип в ветровое стекло. У меня в глазах потемнело от удара, и металлические зубы Фарфуркиса лязгнули над моим ухом. Машину занесло. Когда пыль рассеялась, я увидел далеко позади товарища Хлебовводова, который все еще катился вслед за нами, размахивая конечностями.

— Затруднение? — осведомился Лавр Федотович самым обыкновенным голосом. Кажется, он даже не заметил удара. — Товарищ Хлебовводов, устраните.

Мы устраняли затруднение довольно долго. Пришлось сходить за Хлебовводовым, который лежал метрах в тридцати позади, ободранный, с лопнувшими брюками и очень удивленный. Выяснилось, что он заподозрил нас с комендантом в заговоре, будто мы незаметно поставили машину на колодки и гоним с корыстными целями километраж. Движимый чувством долга, он решил сойти на дорогу и вывести нас на чистую воду, заглянув под машину. Теперь он был

буквально потрясен тем, что это ему не удалось. Мы с комендантом приволокли его к машине, положили рядом с задним колесом так, чтобы он самолично убедился в своем заблуждении, а сами отправились на помощь Фарфуркису, который, причитая, искал и все никак не мог найти свои очки и верхнюю челюсть. Фарфуркис искал их в машине, но комендант нашел их далеко впереди по курсу следования.

Недоразумение было полностью устранено, поражения Хлебовводова оказались довольно поверхностными, и Лавр Федотович, только теперь осознав, что парного молока нет, не будет и быть не может, внес предложение не тратить бензин, принадлежащий народу, а приступить к своим прямым обязанностям.

— Товарищ Зубо, — произнес он. — Доложите дело.

У дела двадцать девятого фамилии, имени и отчества, как и следовало ожидать, не оказалось. Оказалось только условное наименование — «Заколдун». Год рождения его терялся в глубине веков, место рождения определялось координатами с точностью до минуты дуги. По национальности Заколдун был русский, образования не имел, иностранных языков не ведал, профессия у него

была — холм, а место работы в настоящее время опять же определялось упомянутыми выше координатами. За границей Заколдун сроду не бывал, ближайшим родственником его являлась Мать Сыра Земля, адрес же постоянного места жительства определялся все теми же координатами и с той же точностью. Что же касается краткой сущности необъясненности, то Выбегалло не мудрствуя лукаво выразил ее предельно кратко: «Во-первых, не проехать, во-вторых, не пройти».

Комендант сиял. Дело уверенно шло на рационализацию. Хлебовводов был доволен анкетой. Фарфуркис восхищался очевидной необъясненностью, ничем не угрожающей народу, и Лавр Федотович, по-видимому, тоже не возражал. Во всяком случае, он доверительно сообщил нам, что народу нужны холмы, а также равнины, овраги, буераки, эльбрусы и казбеки.

Но тут дверь избушки растворилась, и на крыльцо выбрался, опираясь на палочку, старый человек в валенках и в длинной подпоясанной рубахе до колен. Он потоптался на пороге, посмотрел из-под руки на солнце, махнул клюкой на козу, чтобы слезла с крыши, и уселся на ступеньку.

— Свидетель! — сказал Фарфуркис. — А не вы-

звать ли нам свидетеля?

— Так что же — свидетель... — упавшим голосом сказал комендант. — Разве чего не ясно? Ежели вопросы есть, то я могу...

— Нет! — сказал Фарфуркис, с подозрением глядя на него. — Нет, зачем же вы? Вы вон где живете, а он здешний.

— Вызвать, вызвать! — сказал Хлебовводов. — Пусть молока принесет.

— Гррrм, — сказал Лавр Федотович. — Товарищ Зубо, вызовите свидетеля по делу номер двадцать девять.

— Эх! — воскликнул комендант, ударив соломенной шляпой о землю. Дело рушилось на глазах. — Да если бы он мог сюда прийти, он бы разве там сидел? Он там, можно сказать, в заключении! Не выйти ему оттуда! Как он там застрял, так он там и остался...

И в полном отчаянии, под пристальными подозрительными взглядами Тройки, предчувствуя неприятности и ставши от этого необычайно словоохотливым, комендант поведал нам сказание о заколдунском леснике Феофиле. Как он жил себе не тужил с женой в своей сторожке, молодой тогда еще совсем был, здоровенный, что твой лось. Ударила однажды в холм зеленая мол-

ния, и начались страшные происшествия. Жена Феофила как раз в город уходила, за покупками, вернулась — не может взойти на холм, до дому добраться, с покупками своими. И Феофил тоже к ней рвался. Двое суток он к ней без передышки с холма бежал — нет, не добежать! Так он там и остался. Он там, жена здесь... С покупками. Потом, конечно, успокоился, жить-то надо. Так до сих пор и живет. Ничего, привык...

Выслушав эту страшную историю и задав несколько каверзных вопросов, Хлебовводов вдруг сделал открытие: переписи этот Феофил избежал, воспитательной работе не подвергался и вполне возможно, что так и остался кулаком-мироедом.

— Две коровы у него, — говорил Хлебовводов, — и теленок вот. Коза. А налогов не платит... — Глаза его расширились. — Раз теленок есть, значит и бык у него где-то там спрятан!

— Есть бык, это точно, — уныло признался комендант. — Он у него, верно, на той стороне пасется...

— Ну, браток, и порядочки у тебя... — зловеще произнес Хлебовводов. — Знал я, чувствовал, что хапуга ты и очковтиратель, но такого даже от тебя не ожидал. Чтобы ты — подкулачник были,

чтобы ты кулака покрывали, мироеда!..

Комендант набрал в грудь побольше воздуха и заныл:

— Святой девой Марией... Двенадцатью первоапостолами...

— Внимание! — прошептал невидимый Эдик.

Лесник Феофил вдруг поднял голову и, прикрываясь от солнца ладонью, посмотрел в нашу сторону. Затем он встал, отбросил клюку и начал неторопливо спускаться с холма, оскальзываясь в высокой траве. Белая грязная коза следовала за ним, как собачонка. Феофил подошел к нам, сел, задумчиво подпер костлявой коричневой рукой подбородок, а коза села рядом и уставилась на нас желтыми бесовскими глазами.

— Люди как люди, — сказал Феофил. — Удивительно...

Коза обвела нас взглядом и выбрала Хлебовводова.

— Это вот Хлебовводов, — сказала она. — Рудольф Архипович. Родился в девятьсот десятом, в Хохломе, имя родители почерпнули из великосветского романа, по образованию — школьник седьмого класса, происхождения родителей стыдится, иностранных языков изучал много, но не знает ни одного...

— Йес, — подтвердил Хлебовводов, стыдливо хихикая. — Натюрлих, яволь!..

— ...профессии как таковой не имеет. В настоящее время — руководитель-общественник. За границей был: в Италии, во Франции, в обеих Германиях, в Венгрии, в Англии... и так далее... Всего в сорока двух странах. Везде хвастался и прикупал. Отличительная черта характера — высокая социальная живучесть и приспособляемость, основанная на принципиальной глупости, а также на неутолимом стремлении быть ортодоксальнее ортодоксов.

— Так, — сказал Феофил, — можете что-нибудь к этому добавить, Рудольф Архипович?

— Никак нет! — весело сказал Хлебовводов. — Разве что вот... орто... доро... орто-ксальный... не совсем ясно!

— Быть ортодоксальнее ортодоксов означает примерно следующее, — сказала коза. — Если начальство недовольно каким-нибудь ученым, вы объявляете себя врагом науки вообще. Если начальство недовольно каким-нибудь иностранцем, вы тут же объявляете войну всему, что за кордоном. Понятно?

— Так точно, — сказал Хлебовводов. — Иначе нам невозможно. Образование у нас больно ма-

ленькое. Иначе того и гляди — промахнешься.

— Крал? — небрежно спросил Феофил.

— Нет, — сказала коза. — Подбирал, что с возу упало.

— Убивал?

— Ну что вы! — засмеялась коза. — Лично — никогда.

— Расскажите что-нибудь, — попросил Хлебовводова Феофил.

— Ошибки были, — быстро сказал Хлебовводов. — Люди не ангелы. И на старуху бывает проруха. Конь о четырех ногах и то спотыкается. Кто не ошибается, тот не ест... то есть не работает...

— Понял, понял, — сказал Феофил. — Будете еще ошибаться?

— Ни-ког-да! — твердо сказал Хлебовводов.

— Благодарю вас, — сказал Феофил. Он посмотрел на Фарфуркиса. — А этот приятный мужчина?

— Это Фарфуркис, — сказала коза. — По имени и отчеству никогда и никем называем не был. Родился в девятьсот шестнадцатом, в Таганроге, образование высшее, юридическое, читает поанглийски со словарем. По профессии — лектор, имеет степень кандидата исторических наук. Тема диссертации: «Профсоюзная организация

мыловаренного завода имени Первых Пионеров в период 1934–1940 годов». За границей не был и не рвется. Отличительная черта характера — осторожность и предупредительность, иногда сопряженные с риском навлечь на себя недовольство начальства, но всегда рассчитанные на благодарность от начальства впоследствии...

— Это не совсем так, — мягко возразил Фарфуркис. — Вы несколько подменяете термины. Осторожность и предупредительность являются чертой моего характера совершенно безотносительно к начальству. Я таков от природы, это у меня в хромосомах. Что же касается начальства, то такова уж моя обязанность — указывать вышестоящим товарищам юридические рамки их компетенции.

— А если они выходят за эти рамки? — поинтересовался Феофил.

— Видите ли, — сказал Фарфуркис, — чувствуется, что вы не юрист. Нет ничего более гибкого и уступчивого, нежели юридические рамки. Их можно указать, но их нельзя перейти.

— Как вы насчет лжесвидетельствования? — спросил Феофил.

— Боюсь, что этот термин несколько устарел, — сказал Фарфуркис. — Мы им не пользуемся.

— Как у него насчет лжесвидетельствования? — спросил Феофил козу.

— Никогда, — сказала коза. — Он всегда свято верит в то, о чем свидетельствует.

— Действительно, что такое ложь? — подхватил Фарфуркис. — Ложь — это отрицание или искажение факта. Но что есть факт? Можно ли вообще в условиях нашей невероятно усложнившейся действительности говорить о факте? Вы скажете: «Факт есть явление или деяние, засвидетельствованное очевидцами». Однако очевидцы могут быть пристрастны, корыстны или попросту невежественны. «Факт есть деяние или явление, засвидетельствованное в документах». Но документы могут быть подделаны или сфабрикованы. Наконец, «факт есть деяние или явление, фиксируемое лично мной». Однако мои чувства могут быть притуплены или даже вовсе обмануты привходящими обстоятельствами. Таким образом, оказывается, что факт, как таковой, есть нечто весьма эфемерное, расплывчатое, недостоверное, и возникает естественная потребность вообще отказаться от такого понятия. Но в этом случае ложь и правда автоматически становятся первопонятиями, неопределимыми через какие бы то ни было более общие категории... Существует

Большая Правда и антипод ее — Большая Ложь. Большая Правда так велика и истинность ее так очевидна всякому нормальному человеку, каким являюсь и я, что опровергать или искажать ее, то есть лгать, становится совершенно бессмысленно. Вот почему я никогда не лгу и, естественно, никогда не лжесвидетельствую.

— Тонко, — сказал Феофил. — Очень тонко. Конечно, после Фарфуркиса останется эта его философия факта?

— Нет, — сказала коза, усмехаясь. — То есть философия, конечно, останется, только Фарфуркис тут ни при чем. Это не он ее придумал. Он вообще ничего не придумал, кроме своей диссертации, так что останется от него только эта диссертация как образец работ подобного рода.

Феофил задумался.

— Правильно ли я понял, — сказал Фарфуркис, обращаясь к Феофилу, — что все кончено и мы можем теперь продолжить свои занятия?

— Нет еще, — ответил Феофил, очнувшись от задумчивости. — Я хотел бы задать несколько вопросов вот этому гражданину...

— Как?! — вскричал пораженный Фарфуркис. — Лавру Федотовичу?!

— Народ!.. — проговорил Лавр Федотович, глядя

куда-то в бинокль.

— Вопросы Лавру Федотовичу? — бормотал потрясенный Фарфуркис.

— Да, — подтвердила коза. — Вунюкову Лавру Федотовичу, год рождения...

— Все, — прошептал невидимый Эдик. — Энергии не хватает, этот Лавр — как бездонная бочка...

— Да что же это такое!! — возопил в отчаянии Фарфуркис. — Товарищи! Да куда же мы опять заехали? Ну что это такое? Неприлично же...

— Правильно, — сказал Хлебовводов, — не наше это дело. Пускай милиция разбирается.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Другие предложения есть? Вопросы к докладчику есть? Выражая общее мнение, предлагаю дело номер двадцать девять рационализировать в качестве необъясненного явления, представляющего интерес для Министерства пищевой промышленности и Министерства финансов. В целях первичной утилизации предлагаю дело номер двадцать девять под наименованием «Заколдун» передать в прокуратуру Тьмускорпионского района.

Я посмотрел на вершину холма. Лесник Феофил, тяжело опираясь на клюку, стоял на своем

крылечке и из-под ладони озирал окрестности, коза бродила по огороду. Я, прощаясь, помахал им беретом. Горестный вздох невидимого Эдика прозвучал над моим ухом одновременно с тяжелым стуком Большой Круглой Печати.

Эпилог

На другое утро, едва проснувшись, я тотчас почувствовал, как все горько и безнадежно. Эдик в одних трусах сидел за столом, подперев руками взлохмаченную голову, а перед ним, на листе газеты, поблескивали детали разобранного до винтика реморализатора. Сразу было видно, что Эдику тоже гадко и безнадежно.

Отшвырнув одеяло, я спустил ноги на пол, вытащил из кармана куртки сигарету и закурил. В других обстоятельствах этот нездоровый поступок вызвал бы немедленную и однозначную реакцию Эдика, не терпевшего расхлябанности и загрязненного воздуха. В других обстоятельствах я и сам бы не решился курить натощак при Эдике. Но сегодня нам было все равно. Мы были разгромлены, мы висели над пропастью.

Во-первых, мы не выспались. Это первое, как выразился бы Модест Матвеевич. До трех часов ночи мы угрюмо ворочались в постелях, подводя горькие итоги, открывали окна, закрывали окна, пили воду, а я даже кусал подушку.

Мало того, что мы оказались бессильны перед этими канализаторами. Это было бы еще ничего.

В конце концов, нас никто никогда не учил, как с ними обращаться. Были мы еще жидковаты, да и зеленоваты, пожалуй.

Мало того, что все надежды получить хотя бы наш Черный Ящик и нашего Говоруна развеялись в дым после вчерашней исторической беседы у подъезда гостиницы. В конце концов, противник обладал таким мощным оружием, как Большая Круглая Печать, и нам нечего было ей противопоставить.

Но речь теперь шла о всей нашей дальнейшей судьбе.

Исторический разговор у подъезда происходил примерно так. Едва я подогнал запыленную машину к гостинице, как на крыльце возник из ничего непривычно суровый Эдик.

ЭДИК. Простите, Лавр Федотович, не можете ли вы уделить мне несколько минут?

ЛАВР ФЕДОТОВИЧ (*сопит, облизывает комариные волдыри на руке, ждет, пока ему откроют дверцу машины*).

ХЛЕБОВВОДОВ (*сварливо*). Прием окончен.

ЭДИК (*сдвигая брови*). Я хотел выяснить, когда будут исполнены наши заявки.

ЛАВР ФЕДОТОВИЧ (*Фарфуркису*). Пиво — это от слова «пить».

ХЛЕБОВВОДОВ (*ревниво*). Точно так! Народ любит пиво.

ВСЕ (*лезут из машины*).

КОМЕНДАНТ (*Эдику*). Да вы не волнуйтесь, в следующем же году рассмотрим ваши заявочки...

ЭДИК (*внезапно осатанев*). Я требую прекратить волокиту! (*Встает в дверях, мешая пройти.*)

ЛАВР ФЕДОТОВИЧ. Грррм... Затруднение? Товарищ Хлебовводов, устраните.

ЭДИК (*зарываясь*). Я требую немедленного удовлетворения наших заявок!

Я (*уныло*). Да брось ты, безнадюга все это...

КОМЕНДАНТ (*испуганно*). Христом-богом... Пресвятой богородицей Тьмускорпионской... Молю...

Безобразная сцена. *ХЛЕБОВВОДОВ*, остановленный *ЭДИКОМ*, измеряет его взглядом с головы до ног. *ЭДИК* поспешно сбрасывает излишки ярости в виде маленьких шаровых молний. Вокруг собираются *ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ*. Возглас из открытого окна: «Дай ему! Чего смотришь! По луковке!» *ФАРФУРКИС* что-то торопливо шепчет *ЛАВРУ ФЕДОТОВИЧУ*.

ЛАВР ФЕДОТОВИЧ. Грррм... Есть мнение, что нам надлежит решительнее продвигать нашу талантливую молодежь. Предлагается: товарища Привалова утвердить в должности шофера при

Тройке, а товарища Амперяна назначить врио товарища заболевшего Выбегаллы с выплатой ему разницы в окладе. Товарищ Фарфуркис, подготовьте проект приказа. Копию — вниз. (*Идет на Эдика.*)

Врожденная вежливость *ЭДИКА* берет верх над всем прочим. Он уступает дорогу и даже открывает дверь перед пожилым человеком.

Я (*ошеломлен, плохо вижу и плохо слышу*).

КОМЕНДАНТ (*радостно пожимая мне руку*). С повышением вас, товарищ Привалов! Вот все и уладилось...

ЛАВР ФЕДОТОВИЧ (*задержавшись в дверях*). Товарищ Зубо!

КОМЕНДАНТ. Слушаю!

ЛАВР ФЕДОТОВИЧ (*шутит*). Была вам, товарищ Зубо, сегодня баня, так сходите вы теперь сегодня в баню!

Жуткий хохот удаляющейся Тройки.

ЗАНАВЕС

Вспомнив эту сцену, вспомнив, что отныне и надолго мне суждено быть шофером при Тройке, я раздавил окурок и прохрипел:

— Надо удирать.

— Нельзя, — сказал Эдик. — Позор.

— А оставаться — не позор?

— Позор, — согласился Эдик, — но мы — разведчики. Нас никто пока не освобождал от наших обязанностей. Надо стерпеть нестерпимое. Надо, Саша! Надо умыться, одеться и идти на заседание.

Я застонал, но не нашел, что возразить.

Мы умылись и оделись. Мы даже позавтракали. Мы вышли в город, где все люди были заняты полезным, нужным делом. Мы угрюмо молчали, мы были жалки.

У входа в Колонию на меня вдруг напал из-за угла старикашка Эдельвейс. Эдик выхватил рубль, но это не произвело обычного действия. Материальные блага старикашку более не интересовали, он жаждал благ духовных. Он требовал, чтобы я включился в качестве руководителя в работу по усовершенствованию его эвристического агрегата и для начала составил бы развернутый план такой работы, рассчитанный на время его, старикашки, учебы в аспирантуре.

Через пять минут беседы свет окончательно стал мраком перед моими глазами, горькие слова готовы были вырваться и страшные намерения близились к осуществлению. В отчаянии я понес какую-то околесицу насчет самообучающихся

машин. Старик слушал меня, раскрыв рот, и впитывал каждый звук — по-моему, он запоминал эту околесицу дословно. Затем меня осенило. Как опытный провокатор я спросил, достаточно ли сложной машиной является агрегат Машкина. Он немедленно и страстно заверил меня, что агрегат невообразимо сложен, что иногда он, Эдельвейс, сам не понимает, что там и к чему. «Прекрасно, — сказал я. — Известно, что всякая достаточно сложная электронная машина обладает способностью к самообучению и самовоспроизводству. Самовоспроизводство нам пока не нужно, а вот обучить агрегат Машкина печатать тексты самостоятельно, без человека-посредника, мы обязаны в самые короткие сроки. Как это сделать? Мы применим хорошо известный и многократно испытанный метод длительной тренировки. («Метод Монте-Карло», — вставил, слегка оживляясь, Эдик.) Да, именно Монте-Карло. Преимущество этого метода — в простоте. Берется достаточно обширный текст, скажем, «Жизнь животных» Брема. Машкин садится за свой агрегат и начинает печатать слово за словом, строчку за строчкой, страницу за страницей. При этом анализатор агрегата будет анализировать... («Думатель будет думать», — вставил Эдик.) Да,

именно думать... И таким образом агрегат станет у нас обучаться. Вы и ахнуть не успеете, как он начнет печатать сам. Вот вам рубль подъемных и ступайте в библиотеку за Бремом».

Эдельвейс поскакал в библиотеку, а мы, несколько ободренные этой маленькой победой над местными стихиями, первой нашей победой на семьдесят шестом этаже, пошли своей дорогой, радуясь, что с Эдельвейсом теперь покончено навсегда, что настырный старик не будет теперь путаться под ногами и мучить меня своей глупостью, а будет мирно сидеть себе за «ремингтоном», колотить по клавишам и, высунув язык, срисовывать латинские буквы. Он будет долго колотить и срисовывать, а когда мы покончим с Бремом, то возьмем для разгона тридцать томов Чарлза Диккенса, а там, даст бог, примемся и за девяностотомное собрание сочинений Льва Николаевича со всеми письмами, статьями, заметками и комментариями...

Когда мы вошли в комнату заседаний, комендант что-то читал вслух, а канализаторы вкупе с Выбегаллой слушали и кивали. Мы тихонько сели на свои места, взяли себя в руки и тоже стали слушать. Некоторое время мы ничего не понимали, да и не старались понять, но довольно

скоро само собою выяснилось, что Тройка занята сегодня разбором жалоб, заявлений и информационных сообщений от населения. Федя раньше рассказывал нам, что такое мероприятие проводится еженедельно.

На нашу долю выпало заслушать несколько писем.

Школьники села Вунюшино сообщали про местную бабку Зою. Все говорят, что она ведьма, что из-за нее урожаи плохие, и внука своего, бывшего отличника Василия Кормилицына, она превратила в хулигана и двоечника за то, что он снес в утиль ее ногу. Школьники просили разобраться в этой ведьме, в которую они, как пионеры, не верят, и чтобы ученые объяснили научно, как это она портит урожаи и как это она превращает отличников в двоечников, и нельзя ли ей переменить минусы на плюсы, чтобы она двоечников превращала бы в отличников...

Группа туристов наблюдала за Лопухами зеленого скорпиона ростом с корову. Скорпион таинственным излучением усыпил дежурных и скрылся в лесах, похитив месячный запас продовольствия. Туристы предлагали свои услуги для поимки чудовища при условии, что им будут оплачены дорожные расходы...

Житель города Тьмускорпиони Заядлый П. П. жаловался на соседа, второй год снимавшего у него молоко при помощи специальной аппаратуры. Требовалось найти управу...

Другой житель Тьмускорпиони, гр. Краснодевко С. Т., выражал негодование по поводу того, что городской парк загажен разными чудовищами и погулять стало негде. Во всем обвинялся комендант Зубо, использующий отходы колонистской кухни для откармливания трех личных свиней и безработного тунеядца зятя...

Сельский врач из села Бубнова сообщал, что при операции на брюшной полости гражданина Панцерманова ста пятнадцати лет обнаружил у него в отростке слепой кишки древнюю согдийскую монету. Врач обращал внимание научной общественности на тот факт, что покойный Панцерманов в Средней Азии никогда не был и обнаруженной монеты никогда прежде не видел. На остальных сорока двух страницах письма высокоэрудированный эскулап излагал свои соображения относительно телепатии, телекинеза и четвертого измерения. Прилагались графики, таблицы, а также фотографии аверса и реверса таинственной монеты в натуральную величину...

Мероприятие осуществлялось вдумчиво и без

всякой поспешности. По прочтении каждого письма наступала длинная пауза, заполняемая глубокомысленными междометиями. Потом Лавр Федотович продувал «Герцеговину Флор», обращал свой взор к Выбегалле и осведомлялся, какой проект ответа может доложить Тройке товарищ научный консультант. Выбегалло широко улыбался красными губами, обеими руками оглаживал бороду и, попросив разрешения не вставать, оглашал требуемый проект. Он не баловал корреспондентов Тройки разнообразием. Форма ответа применялась стандартная: «Уважаемый (-ая, -ые) гр. .....! Мы получили и прочли ваше интересное письмо. Сообщаемые вами факты хорошо известны науке и интереса для нее не представляют. Тем не менее мы горячо благодарим вас за ваше наблюдение и желаем вам успехов в работе и в личной жизни». Подпись. Все.

По-моему, это было лучшее из всех изобретений Выбегаллы. Нельзя было не испытать огромного удовольствия, отправляя такое письмо в ответ на сообщение о том, что «гр. Щин просверлил в моей стене отверстие и пускает мне скрозь него отравляющих газов».

А машина продолжала работать с удручающей

монотонностью. Однообразно и гнусаво зудел комендант, сыто порыкивал Лавр Федотович, шлепал губами Выбегалло. Смертельная апатия овладевала мною. Я сознавал, что это — разложение, что я погружаюсь в зыбучую трясину духовной энтропии, но не хотелось больше бороться. «Ну и ладно, — вяло думалось мне. — И пусть. И так люди тоже живут. Все разумное — действительно, все действительное — разумно. А поскольку разумно, постольку и добро. А раз уж добро, то почти наверняка и вечно... И какая, в сущности, разница между Лавром Федотовичем и Федором Симеоновичем? Оба они бессмертны, оба они всемогущи. И чего ссорятся? Непонятно... Что, собственно, человеку нужно? Тайны какие-нибудь загадочные? Не нужны они мне. Знания? Зачем знания при таком окладе денежного содержания?.. У Лавра Федотовича даже и преимущества есть. Он и сам не думает, и другим не велит. Не допускает он переутомления своих сотрудников — добрый человек, внимательный. И карьеру под ним хорошо сделать. Фарфуркиса оттеснить, Хлебовводова — что они, в самом деле... Дураки ведь, только авторитет начальства подрывают. А авторитет надо, наоборот, поднимать. Раз господь начальству ума не дал, то

надобно ему хотя бы авторитет обеспечить. Ты ему авторитет, а он тебе все остальное. Полезным, главное, стать, нужным... правой рукой или, в крайнем случае, левой...»

И я бы погиб, отравленный жуткими эманациями банды канализаторов и Большой Круглой Печати, погиб бы и закончил жизнь свою в лучшем случае экспонатом нашего институтского вивария. И Эдик бы тоже погиб. Он еще рыпался, он еще принимал позы, но все это была одна лишь видимость, а на самом же деле, как он мне позже признался, он в это время прикидывал, как бы половчее вытеснить Выбегаллу и получить для застройки участок в пригороде. Да, погибли бы мы. Стоптали бы нас, воспользовавшись нашим отчаянием и упадком духа. Но в какой-то из этих страшных моментов немой гром потряс вокруг нас вселенную. Мы очнулись. Дверь была распахнута. На пороге стояли Федор Симеонович и Кристобаль Хозевич.

Они были в неописуемом гневе. Они были ужасны. Там, куда падал их взор, дымились стены и плавились стекла. Вспыхнул и обвалился плакат про народ и сенсации. Дом дрожал и вибрировал, дыбом поднялся паркет, а стулья присели на ослабевших от ужаса ножках. Это невозможно

было вынести, и Тройка этого не вынесла.

Хлебовводов и Фарфуркис, тыча друг в друга трепещущими дланями, хором на два голоса возопили: «Это не я! Это все он!», но обратились в желтый пар и рассеялись без следа.

Профессор Выбегалло пролепетал: «Мон дье!», нырнул под свой столик и, извлекши оттуда обширный портфель, протянул его громовержцам со словами: «Эта... все материалы, значить, об этих прохвостах у меня здесь собраны, вот они, материалы-та!»

Комендант истово рванул на себе ворот и пал на колени.

Лавр же Федотович, ощутив вокруг себя некоторое неудобство, беспокойно заворочал шеей и поднялся, упираясь руками в зеленое сукно.

Федор Симеонович подошел к нам, обнял нас за плечи и прижал к своему обширному чреву. «Ну-ну, — прогудел он, когда мы, стукнувшись головами, припали к нему. — Н-ничего, м-молодцы... Т-три дня все-таки продержались... Эт-здорово...» Сквозь слезы, застилающие глаза, я увидел, как Кристобаль Хозевич, зловеще играя тростью, приблизился к Лавру Федотовичу и приказал ему сквозь зубы:

— Пшел вон.

Лавр Федотович медленно удивился.

— Народ... — произнес он.

— Вон!!! — взревел Хунта.

Секунду они смотрели друг другу в глаза. Затем в лице Лавра Федотовича зашевелилось что-то человеческое — не то стыд, не то страх, не то злоба. Он неторопливо сложил в портфель свое председательское оборудование и проговорил:

— Есть предложение: ввиду особых обстоятельств прервать заседание Тройки на неопределенный срок.

— Навсегда, — сказал Кристобаль Хозевич и положил трость поперек стола.

— Грррм... — проговорил Лавр Федотович с большим сомнением.

Он величественно обогнул стол, ни на кого не глядя, проследовал к двери и, прежде чем удалиться, сообщил:

— Есть мнение, что мы еще встретимся — в другое время и в другом месте.

— Вряд ли, — презрительно сказал Хунта, скусывая кончик сигары.

Однако мы действительно встретились с Лавром Федотовичем — совсем в другое время и совсем в другом месте.

Но это, впрочем, совсем другая история.

ВТОРОЕ НАШЕСТВИЕ МАРСИАН

О, этот проклятый конформистский мир!

Записки здравомыслящего

1 июня (три часа пополуночи)

Господи, теперь еще Артемида! Оказывается, она все-таки спуталась с этим Никостратом. Дочь, называется... Ну ладно.

Около часу ночи я был разбужен сильным, хотя и отдаленным, грохотом и поражен зловещей игрой красных пятен на стенах спальни. Грохот был рокочущий и перекатывающийся, подобный тому, какой бывает при землетрясениях, так что весь дом колебался, звенели стекла, и пузырьки подпрыгивали на ночном столике. Испугавшись, я бросился к окну. Небо на севере полыхало: казалось, будто там, за далеким горизонтом, земля разверзлась и выбрасывает к самым звездам фонтаны разноцветного огня. А эти двое, ничего не видя и не слыша, озаряемые адскими сполохами и сотрясаемые подземными толчками, обнимались на скамейке под самым моим окном и целовались взасос. Я сразу узнал Артемиду и решил было, что это вернулся Харон и она так ему обрадовалась, что вот целуется с ним, как невеста, вместо того чтобы вести его прямо в спальню. А через секунду в свете зарева я узнал знаменитую заграничную куртку госпо-

дина Никострата, и сердце у меня упало. Вот в такие минуты человек теряет здоровье. И ведь нельзя сказать, что это был для меня гром с ясного неба. Слухи были, намеки, всякие шуточки, да и я, помню, сам видел на плечах и на шее Артемиды темные пятна величиной с пятак. Разве я не знал, кто у нас в городе оставляет на женщинах такие пятна? Насмотрится нынешних фильмов и оставляет. И все же я был совсем убит.

Держась за сердце и совершенно не понимая, что нужно предпринять, я, как был босиком, потащился в гостиную и стал звонить в полицию. Однако попробуйте дозвониться в полицию, когда вам требуется. Телефон полиции долго был занят, и вдобавок дежурным оказался Пандарей. Я его спрашиваю, что за феномен наблюдается за горизонтом. Он не понимает, что такое феномен. Я его спрашиваю: «Вы можете мне сказать, что происходит за северным горизонтом?» Он осведомляется, где это, и я уже не знаю, как ему объяснить, но тут до него доходит. «А-а, — говорит он, — вы это насчет пожара?» — и сообщает, что некоторое горение действительно наблюдается, но что это за горение и чего, пока не установлено. Дом трясется, все скрипит, на улице истошно кричат что-то про войну, а этот старый осел

начинает рассказывать мне, что к нему в участок тут привели Минотавра: пьян мертвецки, осквернил угол особняка господина Лаомедонта, на ногах не стоит и даже драться не может. «Вы меры принимать будете или нет?» — прерываю я его. «Я вам об этом и толкую, господин Аполлон, — обижается этот осел. — Мне нужно протокол составлять, а вы у меня весь телефон оборвали. Если вас всех так уж волнует этот пожар...» — «А если это война?» — спрашиваю я. «Нет, это не война, — заявляет он. — Я бы знал». — «А если это извержение?» — спрашиваю я. Он не понимает, что такое извержение, я больше не могу и вешаю трубку. Я весь вспотел от этого разговора, вернулся в спальню и надел халат и туфли.

Грохот словно бы утих, но сполохи продолжались, а эти двое больше не целовались и даже не сидели обнявшись. Они стояли, держась за руки, причем всякий мог их увидеть, потому что от огня за горизонтом было светло, как днем, только свет был не белый, а красно-оранжевый, и по нему ползли облака дыма, коричневого, с оттенком жидкого кофе. Соседи бегали по улице кто в чем, госпожа Эвридика хватала всех за пижамы и требовала, чтобы ее спасали, и один только Миртил деловито выкатил из гаража

свой грузовик и принялся вместе с женой и сыновьями выносить из дому свое имущество. Это была настоящая паника, как в добрые старые времена, давно такой не видел. Но я-то понимал, что если действительно началась атомная война, то лучшего места, чем наш городок, — укрыться, отсидеться, переждать — не найти во всей округе. А если это извержение, то происходит оно далеко, и опять же нашему городку ничто не угрожает. Да и сомнительно было, что это извержение: какое тут у нас может быть извержение?

Я поднялся наверх и стал будить Гермиону. Ну, тут было как обычно: «Отстань, пьяница; нечего было пить на ночь; ничего я сейчас не хочу», — и прочее. Тогда я стал громко и убедительно рассказывать ей об атомной войне и об извержении, несколько сгущая при этом краски, потому что иначе ничего бы у меня не получилось. Ее проняло, она вскочила с постели, оттолкнула меня и устремилась прямо в столовую, бормоча: «А вот я сейчас посмотрю, и тогда берегись...» Отперев буфет, она обследовала бутылку с коньяком. Я был спокоен. «Откуда же ты такой вернулся? — спросила она, недоверчиво принюхиваясь. — Из какого гнусного ночного вертепа?» Но когда она посмотрела в окно, когда она увидела на

улице полураздетых соседей, когда она увидела Миртила, который в одних подштанниках торчал на своей крыше и глядел на север в полевой бинокль, ей стало не до меня. Правда, оказалось, что северный горизонт уже вновь погрузился в тишину и темноту, но угадывалась там еще туча дыма, совершенно скрывавшая звезды. Что там говорить, моя Гермиона — это вам не какая-нибудь госпожа Эвридика. И возраст не тот, и воспитание иное. Я не успел проглотить рюмку коньяку, как она уже волокла чемоданы и во весь голос звала Артемиду. «Зови, зови, — с горечью подумал я, — так она тебя и услышит». И тут Артемида появляется в дверях своей комнаты. Господи, бледная как смерть, вся трясется, но на ней уже пижама, в волосах болтаются бигуди, и она спрашивает: «Что такое? Что это вы все?»

Как хотите, а это тоже характер. Не будь этого феномена, нипочем бы я ничего не узнал, а уж Харон и подавно. Наши взгляды встретились, она ласково улыбнулась мне дрожащими губами, и я не решился произнести слова, которые вертелись у меня на языке. Чтобы успокоиться, я ушел к себе и начал упаковывать марки. Дрожишь, говорил я ей мысленно, трепещешь! Одиноко тебе, страшно, беззащитно. А он вот не поддержал тебя, не

защитил. Сорвал цветок удовольствия и побежал по своим делам. Нет уж, милая моя, если человек бесчестен, то он бесчестен до конца.

Между тем, как я и ожидал, паника быстро шла на убыль. Установилась обыкновенная ночь, земля больше не колыхалась, дома не скрипели. Госпожу Эвридику кто-то увел к себе. Никто больше не кричал о войне, и вообще кричать стало больше не о чем. Выглянув в окно, я увидел, что улица опустела, только кое-где в домах еще виднелся свет да Миртил на своей крыше блестел исподним среди звезд. Я окликнул его и спросил, что там видно. «Ладно, ладно, — раздраженно ответил он. — Ложитесь, храпите. Вы захрапите, а они вам как дадут...» Я спросил, кто это — они. «Ладно, ладно, — ответствовал Миртил. — Умники нашлись. Со своим Пандареем. Дурак он, ваш Пандарей, и больше ничего». Услышав про Пандарея, я решил снова позвонить в полицию. Звонить пришлось долго, а когда я в конце концов дозвонился, Пандарей сообщил мне, что новостей никаких особенных нет, но в остальном все в порядке, пьяному Минотавру впрыснули успокаивающее, сделали промывание желудка, и теперь он угомонился; что же касается пожара, то горение давно прекратилось, тем более что это

оказалось никакое не горение, а большой праздничный фейерверк. Пока я вспоминал, какой же это сегодня праздник, Пандарей повесил трубку. Глуп он все-таки и отвратительно воспитан, и всегда был таким. Странно видеть таких людей в нашей полиции. Наш полицейский должен быть интеллигентен, он должен быть образцом для молодежи, героем, которому хочется подражать, чтобы ему можно было без опасения вверить не только оружие и власть, но и воспитательную деятельность. А Харон называет такую полицию «компанией очкариков» и заявляет, что такая моя полиция никакому правительству не нужна, потому что она начнет хватать и перевоспитывать самых полезных государству людей, начиная с премьер-министра и полицей-президента. Не знаю, не знаю, может быть. Но чтобы старший полицейский не понимал, что такое феномен, и хамил при исполнении обязанностей — это совсем уж никуда не годится.

Спотыкаясь о чемоданы, я пробрался к буфету и налил себе рюмку коньяку как раз в тот момент, когда в столовую вернулась Гермиона. Она сказала, что это сумасшедший дом, что положиться здесь ни на кого нельзя, что мужчины здесь не мужчины, а женщины не женщины.

Что я законченный алкоголик, что Харон турист, что Артемида белоручка, совершенно неприспособленная к жизни. И так далее. Может быть, кто-нибудь объяснит, зачем ее подняли среди ночи и заставили собирать чемоданы? Я ответил Гермионе как мог и укрылся у себя в спальне. У меня все болело, и теперь я точно знаю, что завтра у меня опять обострится экзема. Мне уже сейчас хочется чесаться, но пока я еще сдерживаюсь.

Около трех часов земля задрожала снова. Послышался шум от многих моторов и лязг железа. Оказалось, что мимо дома проходит колонна военных грузовиков и бронетранспортеров с войсками. Они двигались медленно, с притушенными фарами, и Миртил увязался за каким-то броневиком, затрусил рядом, держась за выступ люка и что-то крича. Не знаю, что ему ответили, но, когда колонна прошла и он остался один на улице, я его окликнул и спросил, какие новости. «Ладно, ладно, — сказал Миртил. — Знаем мы эти маневры. Разъезжают тут умники за мои деньги». И тут я все понял окончательно. Происходят большие военные учения — возможно, даже с применением атомного оружия. Стоило огород городить!

Господи, уснуть бы теперь спокойно!

2 июня

Весь чешусь. И главное, я никак не могу решиться поговорить с Артемидой. Не выношу я этих сугубо личных разговоров, этого интима. И потом, откуда я знаю, что она мне ответит?

Черт знает, что делать с этими дочерьми. Если бы я хоть понимал, чего ей не хватает! Есть муж, и не какой-нибудь сутулый мозгляк, а мужчина крепкий, в самой поре, не урод какой-нибудь, не калека и вместе с тем не потаскун. А мог бы: казначейская племянница на него устремляет призывные взоры, и Тиона глазки ему делает, это же всем известно, и я уже не говорю о гимназистках, дачницах или мадам Персефоне, которая из всех кошек самая что ни на есть кошачья кошка, и ни один кот устоять против нее не может. Но я же знаю, что Артемида ответит мне на это. Скучно, скажет, папочка, смертная у нас здесь тоска. И ведь крыть нечем! Молодая красивая женщина, детей нет, темперамент завидный, нестись бы ей в вихре развлечений, танцы, флирт и прочее. А Харон, к сожалению, из этих, из философистов. Мыслитель. Тоталитаризм, фашизм, менеджеризм, коммунизм. Танцы — сексуаль-

ный наркотик; гости — сплошь болваны, один другого страшнее. О том, чтобы в винт или в четыре короля, — и заикнуться не смей. И притом ведь не дурак выпить! Рассадит вокруг стола пятерых своих умников, поставит пять бутылок коньяку и пошел рассуждать до самого утра. Девчонка позевает, позевает, хлопнет дверью и спать уйдет. Разве это жизнь? Я понимаю, мужчине — мужское, но ведь, с другой стороны, и женщине — женское! Нет, я люблю моего зятя, он мой зять, и я его люблю. Но сколько же можно рассуждать? И что от этих рассуждений меняется? Ясно же: сколько ты ни рассуждай о фашизме, фашизму от этого ни тепло, ни холодно, охнуть не успеешь, напялят на тебя железную каску, и — вперед, да здравствует вождь! А вот если ты перестанешь обращать внимание на молодую жену, она тебе тем же и отплатит. И тут уж никакие философствования не помогут. Я понимаю, образованный человек должен иногда рассуждать на отвлеченные темы, но надо же пропорции соблюдать, господа.

Утро было нынче волшебное. (Температура плюс девятнадцать, облачность один балл, ветер южный, 0,5 метра в секунду. Надо бы сходить на метеостанцию, проверить анемометр, я его опять

уронил.) После завтрака я решил, что под лежачий камень вода не течет, и отправился в мэрию выяснить насчет пенсии. Шел и наслаждался покоем, и вдруг смотрю — на углу улицы Свободы и Вересковой собралась толпа. Оказывается, Минотавр въехал своей цистерной в ювелирную витрину, и народ собрался посмотреть, как он, грязный, распухший, с утра уже опять пьяный, дает показания дорожному инспектору. И до того он дисгармонировал с сияющим утром, что все настроение сразу пропало. И ведь ясно, полиции не надо отпускать Минотавра так рано, знали же, что непременно снова напьется, раз у него запой. Но, с другой стороны, как его не выпустить, когда он единственный золотарь в городе? Тут уж одно из двух: либо ты занимайся перевоспитанием Минотавра и тони в нечистотах, либо иди на компромисс во имя гигиены.

Из-за Минотавра я задержался, и, когда добрался до «пятачка», все наши уже были в сборе. Я уплатил штраф, а потом одноногий Полифем угостил меня превосходной сигарой в алюминиевом футляре. Эту сигару прислал ему для меня его старшенький, Поликарп, лейтенант торгового флота. Этот Поликарп учился у меня несколько лет, пока не сбежал в юнги. Шустрый был маль-

чик, шалун большой. Когда он удрал из города, Полифем на меня чуть в суд не подал: мол, довел мальчишку учитель до беспутства своими лекциями о множественности миров. Сам Полифем до сих пор уверен, будто небо твердое и спутники по нему бегают наподобие мотоциклистов в цирке. Доводы мои о пользе астрономии ему недоступны, и тогда были недоступны, и сейчас по-прежнему недоступны.

Наши разговаривали о том, что городской казначей опять растратил деньги, отпущенные на строительство стадиона. Это, значит, уже в седьмой раз. Говорили мы сначала о мерах пресечения. Силен пожимал плечами и утверждал, что, кроме суда, ничего, пожалуй, не придумаешь. «Довольно полумер, — говорил он. — Открытый суд. Собраться всем городом в котловане стадиона и пригвоздить растратчика к позорному столбу прямо на месте преступления. Слава богу, — повторял он, — наш закон достаточно гибок, чтобы мера пресечения в точности соответствовала тяжести преступления». — «Я бы даже сказал, что наш закон слишком гибок, — заметил желчный Парал. — Этого казначея судили уже дважды, и оба раза наш гибкий закон огибал его стороной. Но ты-то небось полагаешь, будто так получа-

лось потому, что судили его не в котловане, а в ратуше». Морфей, основательно подумав, заявил, что с нынешнего же дня перестанет казначея стричь и брить. Пусть-ка походит волосатый. «Задницы вы все, — сказал Полифем. — Никак вы допереть не можете, что ему на вас плевать. У него своя компания». — «Вот именно», — подхватил желчный Парал и напомнил нам, что, кроме городского казначея, живет еще и действует городской архитектор, который проектировал стадион в меру своих способностей и теперь, естественно, заинтересован, чтобы стадион, не дай бог, не начали строить. Заика Калаид зашипел, задергался и, привлеча таким образом всеобщее внимание, напомнил, что именно он, Калаид, в прошлом году чуть не подрался с архитектором на Празднике Цветов. Это заявление придало разговору новый, решительный уклон. Одноногий Полифем, как ветеран и человек, не боящийся крови, предложил подстеречь обоих в подъезде у мадам Персефоны и обломать им рога. В такие решительные минуты Полифем совершенно уже перестает следить за своим языком — так и прет из него казарма. «Обломать этим вонючкам рога, — гремел он. — Дать этому дерьму копоти и отполировать сволочам мослы». Просто удиви-

тельно, как возбуждающе такие речи действуют на наших. Все загорячились, замахали руками, а Калаид шипел и дергался гораздо сильнее, чем обыкновенно, будучи не в силах от большого волнения выговорить ни слова. Но тут желчный Парал, единственный из нас, сохранивший спокойствие, заметил, что, кроме казначея и архитектора, в городе проживает еще в своей летней резиденции главный их дружок — некий господин Лаомедонт, и все сразу замолчали и принялись раскуривать свои потухшие за разговором сигары и сигареты, потому что господину Лаомедонту не очень-то обломаешь рога и тем более не отполируешь мослы. И когда в наступившей тишине заика Калаид уже совершенно непроизвольно разразился, наконец, заветным: «Н-надавать по сопатке!», все посмотрели на него с неудовольствием.

Я вспомнил, что мне давно пора в мэрию, вложил недокуренную сигару в алюминиевый футляр и поднялся на второй этаж, в приемную господина мэра. Меня поразило необычное оживление в канцелярии. Все служащие были как бы несколько взволнованы. Даже господин секретарь, вместо того чтобы заниматься обычным для него рассматриванием собственных ногтей,

запечатывал сургучными печатями большие конверты, с видом, впрочем, чрезвычайно брезгливым и одолжительным. С чувством большой неловкости приблизился я к этому прилизанному по новейшей моде красавчику с его вызывающими бачками и экстравагантной заграничной курткой. Господи, я бы все на свете отдал, чтобы не иметь к нему никакого дела, не видеть его и не слышать. Я и раньше не любил господина Никострата, как и всех молодых хлыщей в нашем городе, по правде сказать, не любил его еще тогда, когда он у меня учился, — за лень, за наглость, за дерзкие выходки, а после вчерашнего мне даже смотреть на него было тошно. Я представления не имел, как мне с ним держаться. Но выхода не было, и в конце концов я решился произнести: «Господин Никострат, слышно что-нибудь по поводу моего дела?» Он даже не взглянул на меня, так сказать, не удостоил взглядом. «Извините, господин Аполлон, но ответ из министерства еще не пришел», — сказал он, продолжая ставить печати. Почему не пришел, когда можно ожидать, можно ли вообще ожидать... Я потоптался и пошел к выходу, чувствуя себя отвратительно, как это всегда со мной бывает в присутственных местах. Однако совершенно неожиданно он остановил

меня удивительным сообщением. Он сказал, что связи с Марафинами нет со вчерашнего дня. «Да что вы говорите! — сказал я. — Неужели маневры еще не кончились?» — «Какие маневры?» — удивился он. Тут меня прорвало. До сих пор не знаю, стоило ли это делать, но я пристально посмотрел прямо ему в лицо и сказал: «Как так — какие? Да те самые, которые вы изволили наблюдать прошлой ночью». — «Разве это были маневры? — с завидным хладнокровием произнес он, снова склоняясь над своими конвертами. — Это же был фейерверк. Почитайте утренние газеты». Надо, надо было сказать ему пару слов, тем более что в этот момент мы в комнате были одни. Да разве я могу так?

Когда я вернулся на «пятачок», спор уже шел о сущности ночного феномена. Наших прибыло: подошли Миртил и Пандарей. Пандарей был в расстегнутом кителе, небритый и усталый после ночного дежурства. Миртил выглядел не лучше, потому что всю ночь ходил вокруг дома дозором и ждал беды. У всех в руках были утренние газеты, и обсуждалась заметка «Нашего наблюдателя» под названием «Праздник на пороге». «Наш наблюдатель» сообщал, что Марафины готовятся к празднованию своего стопятидесятитрехлетия

и что, как ему стало известно из обычно хорошо осведомленных источников, вчерашней ночью был произведен тренировочный фейерверк, которым могли любоваться жители окрестных городов и селений в радиусе до двухсот километров. Стоит Харону уехать в командировку, как наша газета катастрофически глупеет. Хоть бы потрудились прикинуть, как это должен выглядеть фейерверк с расстояния в двести километров. Хоть бы задумались, с коих это пор фейерверки сопровождаются подземными толчками. Все это я немедленно изложил нашим, но они ответили, что и сами знают, который нынче год, и посоветовали почитать «Вестник Милеса». В «Вестнике» черным по белому было написано, что этой ночью «жители Милеса могли любоваться впечатляющим зрелищем военных учений с применением новейших средств боевой техники». «А я что говорил!» — воскликнул было я, но меня прервал Миртил. Он рассказал, что рано утром к его бензоколонке подъехал заправиться незнакомый шофер фирмы «Дальние перевозки», взял сто пятьдесят литров бензина, две банки автола, ящик мармеладу и по секрету сообщил, будто этой ночью взорвались по неизвестной причине подземные заводы ракетного горючего.

Погибло якобы двадцать три человека охраны и вся ночная смена, да еще сто семьдесят девять человек пропало без вести. Мы все ужаснулись, но тут желчный Парал агрессивно осведомился: «А зачем же тогда, спрашивается, ему понадобился мармелад?» Этот вопрос поставил Миртила в тупик. «Ладно, ладно, — сказал он. — Слыхали. Хватит с меня». Нам тоже нечего было сказать. Действительно, при чем здесь мармелад? Калаид пошипел, побрызгал, но так ничего и не сказал. И тогда вперед выдвигается этот старый осел Пандарей. «Старички, — говорит он. — Слушайте. Никакие это были не ракетные заводы. Мармеладные это были заводы, ясно? Ну, теперь держитесь». Мы так и сели. «Подземные мармеладные заводы? — говорит Парал. — Ну, старина, ты сегодня в отличной форме». Мы стали хлопать Пандарея по спине, приговаривая: «Да, Пан, сразу видно, плохо ты нынче спал, старина. Заездил тебя Минотавр, Пан, плохо твое дело. Пора, пора тебе на пенсию, Пан, дружище!» — «Полицейский, а сам сеет панику», — обиженно сказал Миртил, единственный, кто принял Пандареевы слова всерьез. «На то он и Пан, чтобы сеять панику», — сострил Димант. И Полифем тоже сострил удачно, хотя и совершенно неприлично. Пока

мы так развлекались, Пандарей стоял столбом, распухал на глазах и только ворочал головой, совсем как бык, которого одолевают матадоры. В конце концов он застегнул китель на все пуговицы и, глядя поверх голов, гаркнул: «Поговорили — все! Р-р-разойдись! Именем закона». Миртил пошел к себе на бензоколонку, а остальные наши отправились в трактир.

В трактире мы сразу заказали пива. Вот удовольствие, которого я был лишен, пока не уволился на пенсию! В таком маленьком городке, как наш, учителя знают все. Родители твоих учеников почему-то воображают, будто ты чудотворец и своим личным примером способен помешать их детям устремиться по стопам родителей. Трактир с утра до поздней ночи буквально кишит этими родителями, и если ты позволяешь себе невинную кружку пива, то на следующий день непременно имеешь унизительный разговор с директором. Во-вторых, у стойки вечно толкутся старшеклассники, манкирующие уроками и пренебрегающие кодексом школьника, где прямо сказано, что учащийся не должен посещать публичных заведений со спиртными напитками. А я люблю трактир! Люблю посидеть в доброй мужской компании, ведя неторопливые серьезные

беседы на произвольные темы, рассеянно ловя слухом гул голосов и звон стаканов за спиной, люблю рассказать и выслушать соленый анекдотец, сыграть в четыре короля — по маленькой, но с достоинством — и при выигрыше заказать всем по кружке. Ну ладно.

Япет подал нам пиво, и мы заговорили о войне. Одноногий Полифем заявил, что если бы это была война, то уже началась бы мобилизация, а желчный Парал возразил, что, если б это была война, мы бы уже ничего не знали. Не люблю я разговоров о войне и с удовольствием завел бы разговор о пенсиях, но где уж мне... Полифем положил костыль поперек стола и спросил, что, собственно, Парал понимает в войнах. «Знаешь ты, например, что такое базука? — грозно спросил он. — Знаешь ты, что такое сидеть в окопе, пасть у тебя забита дерьмом, на тебя прут танки и ты еще не заметил, что навалил полные штаны?» Парал возразил, что про танки и про полные штаны он ничего не знает и знать не хочет, а вот про атомную войну мы все знаем одинаково. «Ложись ногами к взрыву и ползи на ближайшее кладбище», — сказал он. «Шпаком ты был, шпаком и умрешь, — сказал одноногий Полифем. — Атомная война — это война нервов, понял?

Они нас, а мы их, и кто первый навалит в штаны, тот и проиграл». Парал только пожал плечами, и Полифем распалился окончательно. «Базуки! — орал он. — Тарзоны! Р-раз — и полные штаны! Верно, Аполлон?» Накричавшись вдоволь, он ударился в воспоминания, как мы с ним отбивали в снегах танковую атаку. Терпеть не могу этих воспоминаний. Сплошные полные штаны. Не знаю, может, так оно все и было, не помню. Да и не люблю к этому возвращаться. А Полифем как был казармой, так и остался. Представления не имею, что же еще нужно оторвать человеку, чтобы он навсегда перестал быть унтер-офицером. А может быть, все дело в том, что не довелось ему попасть в «котел», как мне. Или тут в характере дело?

Мы засиделись, и я решил заодно пообедать. Обычно у Япета кормят хорошо, но на этот раз фирменный его суп с клецками густо отдавал деревянным маслом, и я об этом так и сказал. Оказывается, у Япета третий день болят зубы, да так невыносимо, что он ничего толком не может попробовать. «А помнишь, Феб, как я выбил тебе зуб?» — грустно спросил он. Еще бы я не помнил! Это было в седьмом классе, мы вместе ухаживали за Ифигенией и дрались каждый день. Боже мой, как далеки те времена, когда я мог драть-

ся! Ифигения, оказывается, теперь замужем за каким-то инженером на юге, у нее уже внуки и грудная жаба.

Когда я шел к Ахиллесу, у дома господина Лаомедонта стояла эта его страшная красная машина с бронестеклами, и за рулем раскуривал этот гнусный молодчик, который всегда надо мной издевается. И теперь он пристал ко мне так, что пришлось с достоинством перейти на другую сторону улицы, не обращая на него никакого внимания. Ахиллес восседал за кассой и рассматривал свой «Космос». С тех пор как он раздобыл этот синий треугольник с серебряной надпечаткой, он взял себе за правило доставать альбом как раз к моему приходу, словно бы случайно. Я его вижу насквозь и потому виду не подаю. Хотя, по правде говоря, сердце у меня всегда при этом обливается кровью. Одно утешение, что треугольник у него все-таки с наклейкой. Я ему так и сказал. «Да, — сказал я, — ничего не скажешь, Ахилл, отличная вещь. Жаль только, что с наклейкой». Он весь перекосился и проворчал, что зелен, мол, виноград. «Что поделаешь, — отвечал я ему спокойно. — Наклейка есть наклейка, и никуда от нее не уйдешь. Лично я эту марку за такую цену не взял бы. Зачем она мне с наклей-

кой? У некоторых, конечно, — сказал я, — такие широкие взгляды, что они берут и гашеные, и с наклейками, но это не по мне, несерьезно. Я беру их разве что для обменного фонда. Всегда ведь найдется простак, которому что с наклейкой, что без — все едино». Я тебя отучу тыкать мне в нос серебряную надпечатку!

А в общем мы хорошо провели с ним время. Он меня убеждал, будто вчерашний фейерверк — это полярное сияние редкого вида, случайно совпавшее с особым видом землетрясения, а я ему втолковывал про маневры и взрыв мармеладного завода. Спорить с Ахиллесом невозможно. Ведь видно же, что человек сам в свои слова не верит, а спорит, упорствует. Сидит как монгольский истукан, смотрит в окно и твердит одно и то же, что, мол, в этом городе не я один разбираюсь в феноменах натуры. Можно подумать, что они там в своем фармацевтическом училище действительно упражнялись в серьезных науках. Нет, ни с кем из наших невозможно довести хоть какой-нибудь спор до разумного завершения. Вот Полифем, например. Он никогда не спорит по существу. Истина его не интересует, ему одно важно: посрамить оппонента. Положим, спор идет о форме нашей планеты. Совершенно точными,

известными каждому образованному человеку аргументами я доказываю ему, что Земля есть, грубо говоря, шар. Он ожесточенно и безуспешно атакует каждый аргумент по очереди, а когда мы доходим до формы земной тени во время лунных затмений, он вдруг заявляет что-нибудь вроде: «Тень, тень... Наводишь тут тень на ясный день. Бородавку сначала под носом выведи да волосы на своей плеши отрасти, а тогда уж и спорь». Или, скажем, Парал. Поспорил я с ним как-то о способах излечения алкоголизма. Оглянуться не успел, как мы перешли к внешней политике тогдашнего президента, а от нее — к проблеме панспермии. И что самое удивительное — до панспермии и до внешней политики мне тогда не было и сейчас нет никакого дела, а алкоголизмом мучительно для всех окружающих страдал двоюродный племянник Гермионы. Сейчас-то он в армии, военфельдшер, а в то время жизнь моя была сплошным кошмаром. Да, алкоголизм есть бич народов.

Спор наш закончился тем, что Ахиллес достал заветную бутылочку, и мы выпили по рюмке джина. Торговля у Ахиллеса идет неважно. У меня такое впечатление, что ему и на джин бы не хватало, если бы не мадам Персефона. Вот и

сегодня опять пришли от нее. «Могу предложить антигест», — говорит Ахиллес деликатным шепотом. «Нет, — отвечает посыльная, — просили чего-нибудь повернее, пожалуйста». Повернее, видите ли, ей. Прибегал еще поваренок от Япета за зубными каплями, а больше никто не приходил, и мы побеседовали всласть. Я обменял розовый «Монумент» на его серию «Красный Крест». Собственно, «Красный Крест» мне не нужен, но Харон позавчера сказал, что к нему в редакцию пришло объявление: «Возьму «Красный Крест», предлагаю любую перевернутую надпечатку из стандарта». Надо признаться, что, как это ни странно, Харон — единственный человек в нашем доме, который надо мной не хихикает. Вообще, если подумать, он совсем не плохой человек, и Артемида поступает не только аморально, но и неблагородно. А каков этот Никострат!

Возвращаюсь домой в девять вечера и вижу, что они опять сидят у меня в саду, в тени, и, правда, не целуются, но надо же все-таки совесть иметь. Я вышел в сад, взял Артемиду за руку и говорю этому хлыщу: «До свидания, господин Никострат, спокойной ночи». Артемида вырывает у меня свою руку и, ни слова не говоря, уходит.

А этот распутник, весьма неуклюже пытаясь сгладить неловкость, затевает со мной разговор о муниципальных рекомендациях, которые следует прилагать к прошению о пенсии. И я стою и его слушаю. Его палкой надо гнать из сада, а я его слушаю. Деликатность моя проклятая. И неуверенность. Вот уж действительно комплекс неполноценности. И тут он вдруг скверно осклабляется и говорит: «А как поживает очаровательная госпожа Гермиона? Вы, господин Аполлон, не промах. От такой экономки я бы тоже не отказался». У меня сердце упало, и я совсем уже онемел. А он, не дождавшись ответа — да и зачем ему мой ответ? — удалился, хохоча на всю улицу, и я остался один в темном саду.

Да, ничего не поделаешь. Наши отношения с Гермионой придется все-таки как-то урегулировать. Знаю ведь, что ни к чему это мне, но спокойствие душевное требует жертв.

3 июня

Иногда меня охватывает настоящий ужас при мысли о том, что дело с моей пенсией не образуется. У меня все стесняется внутри, и я совершенно ничем не могу заниматься.

Но если рассуждать логически, дело должно кончиться самым благоприятным образом. Во-первых, я проработал учителем тридцать лет, если не считать перерыва на войну. Точнее, даже тридцать лет и два месяца. Во-вторых, я ни разу не менял место службы, никогда не прерывал стажа на переезды и другие отвлекающие обстоятельства и только однажды, семь лет назад, брал кратковременный отпуск за свой счет. А участие в военных действиях не может считаться перерывом стажа, это же ясно. По самым приблизительным подсчетам, через мои классы прошло более четырех тысяч учеников, почти все нынешнее население города. В-третьих, последние годы я все время был на виду и трижды замещал директора гимназии на время его отпуска. В-четвертых, работал я безупречно, имею шестнадцать благодарностей министерства, личный адрес покойного министра ко дню моего

пятидесятилетия, а также бронзовую медаль «За усердие на ниве народного просвещения». Целый ящик в моем столе специально отведен под благодарственные адреса родителей. В-пятых, моя специальность. Сейчас все свихнулись на этом космосе, так что астрономия — предмет актуальный. По-моему, это тоже довод. Вот как окинешь все это взглядом, и кажется: какие могут быть сомнения? На месте министра я бы, не задумываясь, назначил мне первый разряд. Господи, тогда бы я, наконец, успокоился. Ведь, по сути дела, мне не так уж много надо в жизни. Три-четыре сигареты, рюмка коньяку, кое-какая мелочь на карты, вот и все. Ну и марки, конечно. Первый разряд — это сто пятьдесят в месяц. Сто я отдаю Гермионе на хозяйство, двадцать — на книжку про черный день, а то, что останется, это уж будет мое. Тут и на марки хватит, и на все прочее. Неужели я не заслужил?

Плохо, что старый человек никому не нужен. Выжмут его как лимон, и иди подыхай. Благодарности, адреса? Кого это сейчас интересует? Медаль? У кого их нет? И обязательно ведь кто-нибудь прицепится, что был в плену. В плену был? Был. Три года? Три года. Все! Значит, стаж прерывался на три года, получите свой третий

разряд и не раздувайте нашу переписку.

Вот если бы знакомства! А кстати, ведь один мой ученик, а именно — генерал Алким, и поныне сидит в Нижнем конгрессе. Что если ему написать? Он меня должен помнить, у нас с ним было много тех маленьких конфликтов, о которых с таким удовольствием вспоминают ученики, ставши взрослыми. Ей-богу, напишу. Так прямо и начну: «Здравствуй, мальчик. Вот я уже и старик...» Подожду немного и напишу.

Сегодня весь день сидел дома: Гермиона вчера была в гостях у тетки и принесла оттуда большой пакет со старыми марками. Разбирая их, получил огромное удовольствие. Это ни с чем нельзя сравнить. Это как бесконечный медовый месяц. Оказалось несколько отличных экземпляров, правда, все с наклейками, придется реставрировать. Миртил разбил у себя во дворе палатку и живет там со всей семьей. Хвастался, что может собраться и выехать за десять минут. Рассказывал, что связи с Марафинами по-прежнему нет. Наверняка врет. Пьяный Минотавр наехал своей грязной цистерной на красный автомобиль господина Лаомедонта и подрался с шофером. Обоих отвели в участок. Потом Минотавра заперли до вытрезвления, а шофера, говорят, отвезли в

больницу. Есть все-таки справедливость на свете. Артемида сидит тихо, как мышка: вот-вот должен вернуться Харон. Я уж Гермионе ничего не рассказываю. Может быть, как-нибудь обойдется. Эх, получить бы первый разряд!

4 июня

Только что кончил читать вечерние газеты, но по-прежнему ничего не понимаю. Несомненно, какие-то изменения произошли. Но какие именно? И вследствие каких событий? Любят у нас приврать, вот что.

Утром, попив кофе, я отправился на «пятачок». Утро было хорошее, теплое. (Температура плюс восемнадцать, облачность ноль баллов, ветер южный, 1 метр в секунду по моему анемометру.) Выйдя за калитку, я увидел, что Миртил суетится вокруг разложенной на земле палатки. Я спросил его, что это он. «Ладно, ладно, — ответил он с сильным раздражением. — Умники нашлись. Ну и сидите, ждите, пока вас всех перережут». Я Миртилу ни на грош не верю, но от таких разговоров у меня всегда мурашки. «Да что еще случилось?» — спросил я. «Марсианцы», — коротко ответил он и принялся уминать палатку коленом. Я его не сразу понял, и, может быть, именно поэтому у меня от этого странного слова возникло ощущение, будто надвигается нечто страшное и неодолимое. Ноги у меня ослабели, и я присел на бампер грузовика. Миртил молчал, только

пыхтел и сопел. «Как ты сказал?» — спросил я. Он упаковал палатку, перекинул ее в кузов и закурил. «Марсианцы напали, — сказал он шепотом. — Теперь нам всем конец. Марафины сожгли, говорят, дотла, десять миллионов убитых в одну ночь, представляешь? А нынче пожаловали к нам в мэрию. Власть теперь ихняя, так что все. Сеять уже запретили, а теперь, говорят, желудки всем вырезать будут. Желудки им зачем-то нужны, представляешь? Я этого дожидаться не буду, желудок мне самому нужен. Я как услыхал про все это, так сразу и решил: эти новые порядочки не для меня, пропади оно тут все пропадом, а я еду к брату на ферму. Я уже старуху с ребятами отправил на автобусе. Отсидимся, осмотримся, а там видно будет». — «Постой, — сказал я, отчетливо понимая, что он все врет, но слабея все более. — Постой, Миртил, что ты такое говоришь? Кто напал? Кто сжег? У меня сейчас зять в Марафинах». — «Накрылся твой зять, — сказал Миртил сочувственно и бросил окурок. — Считай, что дочка твоя овдовела. То-то секретарю раздольице... Ну, я поехал. Прощай, Аполлон. Мы с тобой всегда были по-доброму. Я на тебя зла не имею, и ты меня лихом не поминай». — «Господи! — в отчаянии закричал я, совсем уже ослабев.

— Да кто напал-то?» — «Марсианцы, марсианцы! — сказал он, снова переходя на шепот. — Оттуда! — Он поднял палец к небу. — С кометы подвалили». — «Может быть, марсиане?» — с надеждой спросил я. «Ладно, ладно, — сказал он, забираясь в кабину. — Ты учитель, тебе виднее. А вот мне так все равно, кто мне кишки выпустит...» — «Господи, Миртил, — сказал я, поняв окончательно, что все это вранье. — Ну нельзя же так. Ты же пожилой человек, у тебя внуки. Какие могут быть марсиане, если Марс — безжизненная планета? Нет там жизни, это научный факт». — «Ладно, ладно, — проворчал Миртил, но было видно, что он засомневался. — Какой там еще факт». — «Да не ладно, а так оно и есть на самом деле, — сказал я. — Спроси любого ученого. Да что там ученого, это каждый школьник знает!» Миртил крякнул и вылез из кабины. «Пропади оно все пропадом! — сказал он, запуская пятерню в затылок. — Кого слушать-то? Тебя мне слушать? Или Пандарея мне слушать? Ничего не пойму». Он плюнул и ушел в дом.

Я тоже решил вернуться домой, чтобы позвонить в полицию. Пандарей, как оказалось, был очень занят, потому что Минотавр проломил решетку в камере и сбежал, так что Пандарею

теперь нужно было организовывать облаву. Кто-то действительно часа полтора назад приезжал в мэрию, какое-то начальство, может быть даже марсиане, ходят слухи, что марсиане, но насчет вырезания желудков никаких указаний не поступало, и вообще ему не до марсиан, потому что один Минотавр, на его взгляд, хуже всех марсиан, вместе взятых.

Едва я положил трубку, как Гермиона поймала меня и принудила принять капли от экземы. Какое-то новое средство — гадость феноменальная. Затем я поспешил на «пятачок».

Почти все наши толпились у входа в мэрию и яростно спорили по поводу каких-то странных следов в пыли. Оставил эти следы приезжавший марсианин, это им было точно известно. Морфей твердил, что таких чудовищ даже он, старый парикмахер и массажист, не видывал еще никогда. «Пауки, — говорил он, — громадные мохнатые пауки. То есть самцы у них мохнатые, а самки голые. Ходят на задних лапах, а передними хватают. Видал следы? Жуткое дело! Словно дырки. Это он здесь прошел». — «Дело не в том, что прошел, — рассудительно говорил Силен. — У нас на Земле сила тяжести больше, вот Аполлон подтвердит, так что они просто ногами ходить

не способны. Для этого у них есть специальные пружинные ходули, они-то и оставляют в пыли дырки». — «Правильно, ходули, — невнятно подтверждал Япет с повязанной щекой. — Да только это не ходули. Это у них машина такая, это я в кино видел. Не на колесах у них машины, а на таких рычагах, на ходулях». — «Опять наш казначей отвертелся, — сказал желчный Парал. — В прошлый раз град был необыкновенной силы, в позапрошлый объявилась саранча, а теперь вот он марсиан подстроил — на уровне эпохи, в связи с освоением космических пространств». — «Не могу я на эти следы равнодушно смотреть, — твердил Морфей. — Жуткое дело. Пошли, старички, выпьем, а?» Калаид, который уже давно бился, шипел и содрогался, произнес наконец: «По-п-погодка нынче хорошая, старички! К-как спалось?» Всегда он из-за своего дефекта речи отстает от событий. А ведь он все-таки ветеринар, мог бы что-нибудь сказать полезное по поводу следов. «А Миртил уже деру дал, — сказал Димант, глупо хихикая. — Прощай, говорит, Димант, мы с тобой всегда были по-доброму. Присмотри, говорит, за бензоколонкой, и, если что, сожги ты ее, говорит, чтобы не оставлять неприятелю». Тут я осторожно спросил, что слышно о Марафинах.

«Марафины, говорят, сожгли, — охотно ответил Димант. — Звонили, говорят, оттуда, предлагают сохранять спокойствие». Я совершенно уверился в том, что все это бессмысленные слухи, и приготовился было опровергать их, но тут раздался вой полицейской сирены, и мы все обернулись.

Через площадь заячьим зигзагом бежал, шатаясь, расхлюстанный и опухший Минотавр, а за ним на полицейском вездеходе гнался Пандарей. Он стоял, держась за ветровое стекло, что-то выкрикивал и размахивал наручниками. «Все, сейчас догонит», — сказал Морфей. «Это как сказать, — возразил Димант. — Видал, что делает?» Минотавр подбежал к телеграфному столбу, обхватил его руками и ногами и стал карабкаться вверх. Однако Пандарей уже соскочил с машины и вцепился ему в штаны. Вдвоем с младшим полицейским они оторвали золотаря от столба, повалили его в вездеход и надели наручники. После этого младший полицейский уехал, а Пандарей, утираясь носовым платком и на ходу расстегиваясь, направился к нам. «Поймал, — сообщил Морфей, обращаясь к Диманту. — Вечно ты споришь». Пандарей приблизился и спросил, что тут у нас новенького. Ему объяснили про марсианские следы. Он немедленно присел

на корточки и погрузился в исследование обстоятельств. Я даже проникся к нему невольным уважением, потому что сразу бросалась в глаза настоящая профессиональная хватка: он глядел на эти следы как-то сбоку и ничего не трогал руками. У меня появилось предчувствие, что вот сейчас все разъяснится. Пандарей двигался вдоль следов утицей, широко поводя обтянутым задом, и все время повторял: «Ага... Все ясно... Ага... Ясно...» Мы нетерпеливо ждали, храня молчание, и только Калаид силился что-то сказать и шипел. Наконец Пандарей с кряхтением выпрямился и, озирая площадь, словно бы в расчете кого-то обнаружить, отрывисто произнес: «Двое. Деньги вынесли в мешке. У одного трость с клинком, второй курит “Астру”». — «Я тоже курю “Астру”», — сказал желчный Парал, и Пандарей сразу на него уставился. «Кого двое? — спросил Димант. — Марсиан?» — «Сначала я думал, что это не наши, — медленно проговорил Пандарей, не сводя глаз с Парала. — Сначала я подумал, что это ребята из Милеса, я их знаю». Тут разразился Калаид. «Н-н-нет, не догнать ему на машине», — объявил он. «А как же марсиане? — сказал Димант. — Не понимаю...» Пандарей, по-прежнему игнорируя прямые вопросы, разглядывал Парала. «Дай-ка

мне твою сигарету, старичок», — сказал он. «Это зачем?» — спросил Парал. «Интересуюсь я посмотреть твой прикус, — объяснил Пандарей, — а также, где ты сегодня был с шести до семи утра». Мы поглядели на Парала, и Парал сказал, что, по его мнению, Пандарей самый большой дурак в мире, если не считать того кретина, который принял Пандарея на работу в полицию. Мы были вынуждены с ним согласиться и принялись хлопать Пандарея по спине, приговаривая: «Да, Пандарей, это ты, старик, дал маху. Не понял ты, старина Пан, что это следы марсианина. Хотя, конечно, откуда тебе знать, старичина, про марсиан? Это тебе не золотарь, Пан!» Пандарей начал понемногу разбухать, но тут из мэрии вышел одноногий Полифем и с ходу врезался в наше веселье. «Дрянь дело, старички! — озабоченно сказал он. — Марсиане наступают, взяли Милес! Наши отходят, жгут посевы, рвут за собой мосты!» У меня опять ослабели ноги и не стало даже сил протолкаться к скамейке и сесть. «Высадили десант на юге: две дивизии, — хрипел Полифем. — Скоро будут здесь!» — «Они уже были здесь, — сказал Силен. — На таких специальных ходулях. Вон следы...» Полифем только глянул и сразу же с негодованием сказал, что это его следы, и

все сразу поняли — точно, его. Даже не его, а его костыля. Для меня это было большим облегчением. А Пандарей, как только до него дошло, застегнул китель на все пуговицы и, глядя поверх голов, гаркнул: «Поговорили — все! Р-разойдись! Именем закона».

Я вошел в мэрию. Все там было забито какими-то плоскими мешками, которые стояли вдоль стен в коридорах, на лестничных площадках и даже в приемной. От мешков исходил незнакомый запах, и окна везде были раскрыты настежь, но в остальном все было как обычно. Господин Никострат сидел за своим столом и полировал ногти. Туманно ухмыляясь и с очень неясной интонацией, он дал мне понять, что о марсианах по долгу службы распространяться не имеет права, однако может положительно утверждать, что к вопросу о пенсии все это вряд ли имеет какое-нибудь отношение. Достоверно только одно: пшеницу в наших местах сеять отныне будет невыгодно, а выгодно будет сеять некий новый питательный злак с универсальными, как он выразился, свойствами. Вот в этих мешках содержатся семена, и с сегодняшнего дня их начнут распределять между фермами округи. «А откуда мешки?» — спросил я. «Доставлены», — ответил

он веско. Я превозмог робость и осведомился, кто их доставил. «Официальные лица», — сказал он, выбрался из-за стола, извинился и развинченной своей походкой удалился в кабинет мэра. Я зашел в канцелярию и побеседовал с машинистками и со сторожем. Как это ни странно, они подтвердили почти все слухи о марсианах, но не оставили у меня впечатления подлинной информированности. Ох, уж эти мне слухи! Никто в них не верит, но все их повторяют. Дело доходит до искажения простейших фактов. Вот, например, Полифем и его взорванные мосты. Что было на самом деле? Полифем явился на «пятачок» первым. Его увидели из окна и пригласили в канцелярию починить пишущую машинку. Пока он трудился, развлекая девиц рассказами о том, как ему оторвало ногу, в канцелярию вошел господин мэр, постоял, послушал с задумчивым видом, произнес загадочную фразу: «Да, господа, мосты, видимо, сожжены», — и вернулся в свой кабинет, откуда немедленно потребовал бутерброды с сардинами и бутылку фаргосского пива. А Полифем растолковал девицам, что мосты обыкновенно уничтожают за собой при отступлении, дабы воспрепятствовать продвижению противника. Остальное понятно. Глупость какая! Я счел своим долгом объяснить

служащим мэрии, что таинственная фраза господина мэра означает всего-навсего: решение принято бесповоротно. Естественно, на всех лицах изобразилось сразу же облегчение, смешанное, впрочем, с некоторым разочарованием.

На «пятачке» никого не оказалось, Пандарей всех разогнал. Почти совсем уже успокоившись, я направился к Ахиллесу рассказать о новых моих приобретениях и прощупать почву относительно архитектурной серии: может быть, он возьмет гашеную, раз чистую все равно не достать. Ведь берет же он с наклейками. Однако Ахиллес тоже находился под гнетом распространившихся слухов. На мое предложение он рассеянно ответил, что подумает, и тут же, сам того не заметив, подал мне блестящую идею. «Марсиане, — сказал он, — новая власть. А ты знаешь, Феб, новая власть — новые марки». Я поразился, как эта простая мысль не пришла мне в голову самому. Действительно, если бы слухи были хоть отчасти верны, то первой же разумной акцией этих мифических марсиан был бы выпуск новых, своих марок или по крайней мере надпечатывание наших старых. Я торопливо простился с Ахиллесом и прямиком направился на почту. Ну конечно же, никакой корреспонденции с новыми марками

не поступало и вообще ничего нового на почте не было. Когда мы, наконец, отучимся верить слухам? Ведь хорошо известно, что Марс обладает чрезвычайно разреженной атмосферой, климат его чрезмерно суров и почти отсутствует вода, являющаяся основой всей жизни. Мифы о каналах давно и решительно развенчаны, ибо каналы оказались не чем иным, как оптическим обманом. Короче говоря, все это напоминает мне панику в позапрошлом году, когда одноногий Полифем бегал по городу с дробовиком и кричал, что из столичного зоопарка бежал гигантский тритон-людоед. Миртил тогда ухитрился вывезти весь дом и не решался вернуться в город две недели.

Сумеречный разум моих необразованных сограждан, убаюканный монотонной жизнью, при малейших колебаниях рождает поистине фантастические призраки. Наш мир подобен погруженному в ночной сон курятнику, где стоит лишь нечаянно коснуться перышка какой-нибудь пеструшки, дремлющей на шестке, как все приходит в неописуемое волнение, мечется, кудахчет и разбрасывает помет во все стороны. А по-моему, жизнь и без того достаточно беспокойна. Всем нам следовало бы беречь свои нервы.

Я читал, что слухи опасны для здоровья в гораздо большей степени, чем даже курение. Автор доказывал это с цифрами в руках. Там еще было написано, что сила воздействия панического слуха прямо пропорциональна невежеству масс, и это верно, хотя должен признаться, что даже самые образованные из нас удивительно легко поддаются общему настроению и готовы мчаться куда глаза глядят вместе с обезумевшей толпой.

Все это я намерен был рассказать нашим, когда по дороге в трактир заметил, что на «пятачке» вновь собралась толпа. Я повернул туда и убедился, что слухи уже оказали свое разрушительное действие. Моих рассуждений и слушать никто не стал. Все были возбуждены сверх всякой меры, а ветераны потрясали оружием, которое не успели должным образом освободить от смазки и которое сильно пачкало их одежду, равно как и платье окружающих. Выяснилось, что из казарм восемьдесят восьмого пехотного полка пришли в увольнение солдаты и рассказали нечто несообразное.

Позапрошлой ночью полк был поднят по тревоге и в течение некоторого времени, а именно до утра, в полной боевой готовности просидел в бронетранспортерах и грузовиках на плацу.

Утром тревогу отменили, и вчерашний день прошел обычным порядком. Этой ночью все повторилось — с той, однако, разницей, что утром в казармы прибыл на вертолете полковник генерального штаба, приказал выстроить полк в каре и, не вылезая из вертолета, произнес длинную, совершенно непонятную речь, после чего улетел, и тогда полк почти целиком распустили в увольнение. Надо сказать, что солдаты, успевшие уже изрядно подзаправиться у Япета, говорили крайне невнятно и то и дело начинали известную неприличную песню «Ниоба-Ниобея, нисколько не робея...». Однако было ясно, что в речи полковника генерального штаба о марсианах не было сказано ни слова. Полковник говорил, собственно, только о двух вещах — о патриотическом долге солдата и о его желудочном соке, причем каким-то неуловимым образом связывал эти два понятия воедино. Сами солдаты во всех этих тонкостях не разобрались, но поняли твердо, что всякий, кто с нынешнего утра будет пойман сержантом с жевательной резинкой «нарко» или с сигаретой «опи», немедленно загремит в карцер на десять суток и будет там сгноен. Сразу после отлета полковника командир полка, не распуская каре, приказал младшим офицерам и сержантам

произвести в казармах тщательные обыски на предмет изъятия всех сигарет и жевательных резинок, содержащих тонизирующие вещества. Больше солдаты ничего не знали, да и знать не хотели. Крепко обняв друг друга за плечи, они с таким угрожающим видом грянули: «Ниоба-Ниобея, скучаю по тебе я», что мы поспешно расступились и выпустили их.

Тут Полифем со своим костылем и дробовиком взгромоздился на скамейку и заорал, что генералы нас предали, что кругом шпионы и что настоящие патриоты должны сплотиться вокруг знамени, поскольку патриотизм и так далее. Этот Полифем жить не может без патриотизма. Без ноги он жить может, а вот без патриотизма у него не получается. Когда он охрип и замолчал, чтобы перекурить, я попытался все-таки как-то вразумить наших и стал рассказывать, что жизни на Марсе нет и быть не может, всё это выдумки. Однако говорить мне опять не дали. Сначала Морфей сунул мне под нос утреннюю столичную газету с большой статьей «Есть ли жизнь на Марсе?». В этой статье все прежние научные данные подвергались ироническому сомнению, а когда я, не растерявшись, попробовал дискутировать, Полифем протиснулся ко мне, схватил

меня за ворот и грозно захрипел: «Бдительность усыпляешь, зараза? Шпион марсианский, дерьмо плешивое! К стенке тебя!» Я не могу, когда со мной так обращаются. У меня началось сердцебиение, и я крикнул полицию. Хулиганство какое! В жизни Полифему этого не прощу. Что он себе воображает! Я вырвался, обозвал его одноногой свиньей и ушел в трактир.

Приятно было убедиться, что патриотические вопли Полифема были противны не только мне. В трактире уже находился кое-кто из наших. Все обсели Кронида-архивариуса, поили его по очереди пивом и выпытывали насчет утреннего посещения марсиан. «Чего там марсиане, — говорил Кронид, с трудом ворочая белками. — Марсиане как марсиане. Одного зовут Калханд, другого — Элей, оба южане, с такими вот носами...» — «Ну, а машина?» — спрашивали его. «Машина как машина, черная, летает... Нет, не вертолет. Летает, и все. Да что я вам — летчик? Откуда я могу знать, как она летает?..» Я пообедал, дождался, пока от него отстанут, взял две порции джина и подсел к нему. «Насчет пенсий ничего нового не слышно?» — спросил я. Однако Кронид уже ничего не понимал. Глаза у него слезились, он только хлопал, как автомат, рюмку за рюм-

кой и бормотал: «Марсиане как марсиане, один Калханд, другой Элей... Черные, летают... Нет, не дирижабли... Элей, говорю... Не я, а летчик...» Потом он заснул.

Когда в трактир ввалился Полифем со своей бандой, я демонстративно пошел домой. Миртил так и не уехал. Он снова разбил свою палатку, сидит и варит ужин на газовой плитке. Артемиды дома не было, ушла куда-то, не сказавшись, а Гермиона чистила ковры. Чтобы успокоиться, я занялся реставрацией марок. Приятно все-таки думать, какого мастерства я достиг. Не знаю, способен ли кто-нибудь отличить мой наведенный клей от настоящего. Во всяком случае, Ахиллес не способен.

Теперь о сегодняшних газетах. Удивительные нынче газеты. Почти все полосы заняты рассуждениями различных медиков о разумных режимах питания. С каким-то противоестественным негодованием говорится о медицинских препаратах, содержащих опий, морфий и кофеин. Что же, если у меня теперь заболит печень, я должен терпеть? Ни в одной газете нет филателистического отдела, о футболе — ни слова, зато все газеты перепечатывают гигантскую, совершенно бессодержательную статью о значении

желудочного сока. Можно подумать, что я и без них не знаю, какое значение имеет желудочный сок. Ни одной телеграммы из-за границы, ни слова о последствиях эмбарго — завели глупую дискуссию о пшенице, в пшенице, мол, не хватает витаминов, пшеница, мол, слишком легко поражается вредителями, а некий Марсий, магистр сельскохозяйственных наук, договорился до того, что тысячелетняя история культивирования пшеницы и других полезных злаков (овса, кукурузы, маиса) является всемирной ошибкой человечества, каковую ошибку, впрочем, еще не поздно исправить. Я в пшенице ничего не понимаю, специалистам виднее, но статья написана в недопустимо критиканском, я бы сказал, в подрывном тоне. Сразу видно, что этот Марсий — типичный южанин, нигилист и крикун.

Вот уже двенадцать часов, а Артемиды все нет. И домой она не вернулась, и в саду ее не видно, а между тем на улицах полно пьяных солдат. Могла хотя бы позвонить, где находится. Я все жду — придет Гермиона и спросит, что происходит с Артемидой. Представления не имею, как я буду отвечать. Не люблю я таких разговоров, не выношу. Спрашивается, в кого у меня такая дочь? Покойница была очень скромная женщина, един-

ственный раз только она увлеклась городским архитектором, но увлечение это было — две-три записочки, одно письмо. И сам я никогда не был кобелем, как выразился бы Полифем. До сих пор с ужасом вспоминаю свой визит к мадам Персефоне. Нет, такое времяпрепровождение не для цивилизованного человека. Все-таки любовь, даже самая что ни на есть плотская, — это таинство, и заниматься любовью в компании даже хорошо знакомых и доброжелательных людей совсем не так увлекательно, как это описывается в некоторых книгах. Упаси бог, я, конечно же, не думаю, что моя Артемида предается сейчас вакхическим пляскам среди бутылок, но она могла бы по крайней мере позвонить. Можно только удивляться глупости моего зятя. Я бы на его месте давно вернулся.

Я совсем уже собрался было закрыть дневник и отправиться спать, когда в голову мне пришла следующая мысль. А Харон ведь, по-видимому, недаром так задержался в Марафинах. Страшно подумать, но я, кажется, догадываюсь, в чем тут дело. Неужели же они решились? Я вспоминаю сейчас все эти сборища под моей крышей, этих его странных приятелей с вульгарными привычками и скверными манерами — какие-то

механики с грубыми голосами, пьющие виски без сельтерской и курящие отвратительные дешевые сигары; какие-то стриженые крикуны с болезненным цветом лица, щеголяющие в джинсах и пестрых рубахах, никогда не вытирающие ноги в передней; и все их разговоры о всемирном правительстве, о какой-то технократии, об этих немыслимых «измах», органическое неприятие всего, что гарантирует мирному человеку покой и безопасность; я вспоминаю и понимаю теперь, что произошло. Да, мой зять и его сообщники были экстремистами, и вот они выступили. Все эти разговоры о марсианах — это, конечно, искаженные отголоски истинных событий. Заговорщики всегда обожали громкое, таинственно звучащее слово, и не исключено, что теперь они называют себя «марсианами», или каким-нибудь «обществом по благоустройству планеты Марс», или, скажем, «марсианским возрождением». Даже то, что магистр сельскохозяйственных наук носит имя Марсий, звучит для меня многозначительно: вполне вероятно, он является главой переворота. Что остается непонятным, так это неприязнь путчистов к пшенице и нелепая их заинтересованность в желудочном соке. Наверное, это просто отвлекающий маневр для того, чтобы

сбить с толку общественность.

Конечно, я плохо разбираюсь в путчах и революциях, мне трудно найти объяснение всему, что сейчас происходит, но я знаю одно. Когда нас гнали, как баранов, замерзать в окопах, когда черные рубашки лапали наших жен на наших же постелях, где вы были тогда, господа экстремисты? Тоже навешивали на себя значки и орали: «Да здравствует вождь!» Если вам так нравятся перевороты, почему вы делаете их всегда не вовремя? Кому вы сейчас нужны с вашими переворотами? Мне? Или Миртилу? Или, может быть, Ахиллесу? Почему вы не оставите нас в покое? Все вы, господа, унтер-офицеры, и ничем вы не лучше дурака-патриота Полифема.

Экзема, дрянь, замучила. Чешусь, как обезьяна на ярмарке, никакие капли не помогают, никакие мази. Врут все аптекари. Никакие лекарства мне не нужны. Покой мне нужен, вот что!

Если у Харона достанет ума не остаться в задних рядах, первый разряд мне обеспечен.

5 июня

Этой ночью спал плохо. Сначала разбудила Артемида, которая явилась только в час пополуночи вся в запудренных пятнах. Я совсем решился поговорить с нею начистоту, но ничего не вышло: она меня поцеловала и заперлась в своей спальне. Пришлось принять снотворное, чтобы успокоиться. Задремал, приснилась какая-то ерунда. А в четыре часа утра я был опять разбужен, на этот раз Хароном. Все спят, а он разговаривает громко, на весь дом, словно, кроме него, здесь никого нет. Я накинул халат и вышел в гостиную. Господи, на него смотреть было страшно. Я сразу понял, что переворот не удался.

Он сидел за столом, жадно поедал все, что ему приносила заспанная Артемида, и тут же на столе, прямо на скатерти, были разложены замасленные части какого-то огнестрельного оружия. Он был небрит, глаза у него были красные, воспаленные, волосы взлохмачены и торчали слипшимися космами, и за едой он чавкал, как золотарь. Он был без пиджака и, надо полагать, именно в таком виде заявился в дом. Ничего в нем не осталось от главного редактора неболь-

шой, но респектабельной газеты. Сорочка на нем была разорвана и выпачкана землей, руки грязные, с обломанными ногтями, а на груди виднелись ужасные вспухшие царапины. Поздороваться со мной он и не подумал, только глянул сумасшедшими глазами и пробормотал, давясь пищей: «Дождались, сволочи!» Я пропустил это дикое приветствие мимо ушей, потому что видел: человек не в себе, но сердце у меня упало, и ноги ослабели так, что я вынужден был тут же присесть на диван. И Артемида была сильно испугана, хотя всячески старалась это скрыть. Припудриться со сна она не успела, и Никостратовы пятна были совершенно на виду. Но Харон не обращал на это никакого внимания, а только гаркал на всю округу: «Хлеба!», или: «Бренди, черт подери!», или: «Где горчица, Арта? Я уже двадцать раз просил!» Никакого разговора в обычном смысле этого слова у нас не получилось. Тщетно стараясь преодолеть сердцебиение, я спросил Харона, как он съездил. В ответ он прорычал совершенно невразумительно, что съездил он по морде, да, видно, не тому, кому следовало. Я попытался переменить тему, направить разговор в более мирное русло и осведомился насчет погоды в Марафинах. Он посмотрел на меня, как будто

я его смертельно оскорбил, и только прорычал в тарелку: «Идиоты безмозглые...» Решительно нельзя было с ним разговаривать. Он все время ругался последними словами — и когда ужинал, и потом, когда, отодвинув локтем тарелки, принялся ободранными руками собирать свое оружие. Хорошо еще, что Гермиона спит так крепко, она не присутствовала при этой сцене, она не переносит грубости. Все у него были сволочи, и я никак не мог понять, что произошло. В общем, выходило так, что «вся эта сволочь докатилась в своем сволочизме до того, что теперь любая распоследняя сволочь может делать со всей этой сволочью что угодно, и никакая сволочь пальцем не пошевелит, чтобы помешать всей этой сволочи заниматься любым дерьмом». Бедняжка Артемида стояла за его плечом, ломая пальцы, и слезы бежали по ее щекам. Время от времени она умоляюще взглядывала на меня, но что я мог сделать? Мне самому нужна была помощь, у меня словно пелена какая-то стояла перед глазами от нервного напряжения. Ни на минуту не переставая ругаться, он собрал свое оружие (это оказался современный армейский автомат), вставил обойму и тяжело поднялся на ноги, сбросив на пол две тарелки. Артемида, моя бедная девочка, с

бледным, без кровинки лицом так и потянулась к нему, и тогда он, казалось, немного смягчился. «Ну-ну, малыш, — сказал он, перестав ругаться и неловко обнимая ее за плечи, — я мог бы взять тебя с собой, да только вряд ли это тебя обрадует. Я ведь знаю тебя как облупленную».

Даже я ощутил мучительную необходимость, чтобы Артемида нашла сейчас какие-то нужные слова. И, словно уловив мою телепатему, девочка, заливаясь слезами, задала ему главный, по моему мнению, вопрос: «Что же теперь с нами будет?» Я сразу понял, что с Хароновой точки зрения это были далеко не самые нужные слова. Он сунул автомат под мышку, похлопал Артемиду по заду и, неприятно оскалясь, сказал: «Не беспокойся, детка, ничего нового с тобой не будет», — после чего направился прямо к выходу. Но я не мог ему позволить уйти просто так, не давши никаких объяснений. «Одну минутку, Харон, — сказал я, превозмогая слабость. — Что же теперь будет? Что с нами сделают?» Этот мой естественный вопрос привел его в неописуемую ярость. Он остановился на пороге, повернулся вполоборота и, как-то болезненно дергая коленом, прошипел сквозь зубы следующие странные слова: «Хоть бы одна сволочь спросила, что она *должна* делать.

Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что *с ней* будут делать. Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле». После этого он вышел, громко хлопнув дверью, и через минуту на улице заворчал, удаляясь, его автомобиль.

Следующий час прошел словно в аду. У Артемиды началось нечто вроде истерики, хотя больше это напоминало приступ неудержимого бешенства. Она перебила всю посуду, оставшуюся на столе, сорвала и швырнула в телевизор скатерть, стучала кулаками в дверь и сдавленным голосом кричала что-то вроде: «Так я для тебя дура?.. Дура я для тебя, да?.. А ты?.. А ты... Да наплевать мне на тебя... Ты как хочешь, и я как хочу!.. Понял?.. Понял?.. Понял?.. Еще прибежишь, еще на коленях!..» Наверное, надо было дать ей воды, отшлепать ее по щекам и все такое, но я сам был распростерт на диване, и не было никого, кто бы принес мне таблетку валидола. Кончилось тем, что Артемида умчалась к себе, не обратив на меня никакого внимания, а я, отлежавшись немного, дополз до кровати и забылся в каком-то полуобмороке.

Утро выдалось пасмурное, дождливое. (Температура плюс семнадцать, облачность десять баллов, ветра нет.) Объяснение Артемиды с Гер-

мионой по поводу беспорядка в гостиной я, к счастью, проспал. Знаю только, что был скандал и обе ходят надутые. На лице Гермионы, когда она подавала кофе, явственно обозначилось намерение закатить выговор и мне, однако она промолчала. Вероятно, я очень плохо выгляжу, а она женщина добрая, за что я ее и ценю. После кофе я собрался было с силами сходить на «пятачок», но тут является мальчишка-рассыльный и приносит мне так называемую повестку, подписанную Полифемом. Оказывается, я рядовой член «Добровольной Городской Антимарсианской Дружины», и мне уже предписывается «прибыть к десяти часам утра на площадь Согласия, имея при себе огнестрельное либо холодное оружие и запас пищи на три дня». Да что я ему, молокосос какой-нибудь? Разумеется, я из принципа никуда не пошел. От Миртила, который все еще живет в палатке, я узнал, что с самого рассвета в мэрию прибывают фермеры, забирают там мешки с семенами нового злака и везут их к себе на поля. Якобы урожай пшеницы, обреченный на уничтожение, скупается правительством на корню на выгодных условиях, вручается также задаток за урожай нового злака. Фермеры подозревают во всем этом очередную аграрную аферу, но поскольк-

ку с них не требуют ни денег, ни письменных обязательств, не знают, что и подумать. Миртил уверяет (меня!), что никаких марсианцев нет, потому что жизнь на Марсе невозможна, а есть просто новая аграрная политика. Однако выехать из города он готов в любой момент и на всякий случай тоже взял себе мешок семян. В газетах, как и вчера, одна пшеница и желудочный сок. Если так пойдет дальше, я откажусь от подписки. По радио — тоже пшеница и желудочный сок, я уже не включаю, а смотрю только телевизор, где все как было до путча. Господин Никострат приехал на машине, Артемида выскочила ему навстречу, и они укатили. Не желаю об этом думать. Может быть, это судьба, в конце концов.

Поскольку болтовня о пшенице и этом желудочном соке не прекращается, путч, по-видимому, все-таки удался. Харон же, по свойственной ему неуживчивости, не получил того, на что рассчитывал, со всеми там рассорился и оказался в оппозиции. Боюсь, что из-за него у нас еще будут неприятности. Когда такие сумасшедшие, как Харон, берутся за автомат, они стреляют. Боже мой, настанет ли когда-нибудь время, когда у меня не будет неприятностей?

6 июня

Температура плюс шестнадцать, облачность девять баллов, ветер юго-западный, шесть метров в секунду. Исправил анемометр.

Экзема совсем замучила, приходится бинтовать руки. Вдобавок ноют обмороженные уши — наверное, к перемене погоды.

Марсиане так марсиане. Надоело мне об этом спорить.

7 июня

Глаз до сих пор болит, заплыл и ничего не видит. Хорошо, что это левый глаз. Примочки Ахиллеса помогают лишь отчасти. Ахиллес говорит, что синяк будет заметен не менее недели. Сейчас он красно-синий, потом сделается зеленым, потом пожелтеет и исчезнет совсем. Какая все-таки жестокость, какое бескультурье! Ударить пожилого человека, всего лишь собиравшегося задать невинный вопрос. Если марсиане начинают с этого, то я не знаю, чем они кончат. И жаловаться некому, одно только и остается делать — ждать прояснения обстановки. Глаз так болит, что страшно даже вспомнить, как я радовался сегодняшнему безмятежному утру. (Температура плюс двадцать, облачность ноль баллов, ветер южный, один метр в секунду.)

Когда, позавтракав, я поднялся на чердак, чтобы произвести метеорологические наблюдения, я с некоторым удивлением заметил, что поля за городом приняли определенно синеватый оттенок. Вдали поля до такой степени сливались с лазурью неба, что линия горизонта как таковая была совершенно размыта, хотя прозрачность

воздуха была очень хороша и всякая дымка отсутствовала. Эти новые марсианские семена взошли удивительно быстро. Надо ожидать, что не сегодня-завтра они окончательно забьют пшеницу.

Придя на площадь, я обнаружил, что почти все наши, а также огромное количество прочих обывателей, которым надлежало бы сейчас быть на работе, фермеры, а также школьники, которым надлежало бы заниматься играми, столпились вокруг трех больших автофургонов, украшенных разноцветными плакатами и рекламными картинками. Я подумал было, что это бродячий цирк, тем более что рекламы предлагали полюбоваться несравненными канатоходцами и другими обыкновенными героями манежа, однако Морфей, стоявший здесь уже давно, объяснил мне, что никакой это не цирк, а передвижные донорские пункты. Внутри там помещаются специальные насосы с кишками, и при каждом насосе сидит здоровенный детина в докторском халате, который предлагает каждому, кто заходит, отсосать излишки и дает удивительную цену: пятерку за стакан. «Какие излишки?» — спросил я. Оказалось, что излишки желудочного сока. Весь мир помешался на желудочном соке.

«Неужели это марсиане?» — спросил я. «Какие

там марсиане, — сказал Морфей. — Здоровенные волосатые парни. Один кривой». — «Ну и что же, что кривой? — естественно, возразил я. — Представитель любой расы, будь то на Земле или на Марсе, если ему повредят один глаз, становится кривым». Тогда я еще не знал, что эти мои слова являются пророчеством. Просто меня раздражало самомнение Морфея. «В жизни не слыхал о кривых марсианах», — заявил он.

Публика вокруг прислушивалась к нашему разговору, и он в приступе тщеславия счел необходимым поддержать свое сомнительное реноме дискуссионера. А ведь ничего в этом предмете не смыслит! «Никакие это не марсиане, — заявляет он. — Обыкновенные ребята из столичных пригородов. Там таких дюжина на каждый трактир». — «Наши сведения о Марсе настолько скудны, — спокойно говорю я, — что предположение, будто марсиане похожи на парней из пригородных трактиров, во всяком случае, не противоречит никакой научной истине». — «Это точно, — вмешивается стоящий рядом незнакомый фермер. — Это вы очень убедительно сказали, господин-не-знаю-как-вас-величать. У этого кривого руки по локоть в татуировке, и все голые бабы. Как засучил он рукава да как подошел ко мне с этой

кишкой — нет, думаю, ни к чему нам это». — «Так что говорит наука насчет татуировки у марсиан?» — ехидно спрашивает Морфей. Это он хотел меня уколоть. Дешевый прием, от него так и разит парикмахерской. Такими штучками меня не собьешь. «Профессор Зефир, — говорю я, глядя ему прямо в глаза, — главный астроном Марафинской обсерватории, ни в одной из своих многочисленных статей не отрицает такого обыкновения у марсиан». — «Это точно, — подтверждает фермер. — Они в очках, им виднее». И Морфею пришлось все это проглотить. Он пришипился и со словами: «Пива выпить...» — стал выбираться из толпы, а я остался ждать, что будет дальше.

Некоторое время ничего не было. Все только стояли, глазели и тихо переговаривались. Фермеры да торговцы — нерешительный народ. Потом в первых рядах произошло движение. Какой-то сельский житель сорвал вдруг с себя соломенную шляпу, с размаху ударил ее себе под ноги и громко закричал: «Эх! Пять монет — тоже деньги, не так, что ли?» Произнеся эти слова, он решительно поднялся по ступенькам деревянной лестнички и просунулся в дверь фургона, так что нам осталась видна лишь задняя половина его туловища, вся в пыли и в репьях. Что он там говорил и о чем

спрашивал — за дальностью расстояния осталось неизвестным. Я видел только, что вначале поза его была напряженной, затем он как бы расслабился, принялся переступать ногами, сунул руки в карманы и, подавшись назад, покачал головой. Затем он, ни на кого не глядя, осторожно опустился на землю, подобрал свою шляпу и, тщательно отряхнув ее от пыли, смешался с толпой. В двери же фургона возник человек действительно очень большого роста и действительно кривой на один глаз. Если бы не белый халат, он со своей черной повязкой через лицо, небритой щетиной и волосатыми татуированными руками вполне сошел бы за преступного обитателя трущоб. Мрачно оглядев нас, он неторопливо опустил завернутые рукава, вытащил сигарету и, закурив, произнес грубым голосом: «А ну, заходи! Пять монет дается. За каждый стаканчик пять монет. Деньги ведь! Наличными. Ты за пять монет сколько горб ломать должен? А здесь проглотил кишку, и вся недолга! Ну?!» Я смотрел на него и не мог надивиться близорукости администрации. Да как же можно рассчитывать, что обыватель, и даже фермер, согласится доверить свой организм такому громиле? Я выбрался из толпы и пошел на «пятачок».

Все наши были уже там, все с дробовиками, а некоторые и с белыми повязками на рукавах. Полифем напялил старую военную фуражку и, обливаясь потом, произносил речь со скамейки. У него выходило, что злодеяния марсиан стали уже абсолютно нестерпимыми, и что все патриоты стонут и обливаются кровью под их игом, и что пришла, наконец, пора дать настоящий отпор. А виною всему, утверждал Полифем, являются дезертиры и предатели вроде толстозадых зажравшихся генералов, аптекаря Ахиллеса, труса Миртила и этого отступника Аполлона.

В глазах у меня потемнело, когда я услыхал последние слова. Я совершенно потерял дар речи и опомнился, только заметив, что никто, кроме меня, Полифема не слушает. Все, оказывается, слушали не одноногого дурака, а Силена, который только что вернулся из мэрии и рассказывал, будто налоги впредь будут взиматься исключительно желудочным соком и что из Марафин пришло указание, приравнивающее отныне желудочный сок к обычным денежным единицам. Желудочный сок якобы будет теперь иметь хождение наравне с деньгами и все банки и сберегательные кассы готовы обменивать его на валюту. Желчный Парал сейчас же заметил:

«Окончательно докатились. Золотой запасец порастранжирили и теперь желудочным соком деньги обеспечить пытаются». — «Как же это так? — сказал Димант. — Не понимаю. Это что же, теперь нужно будет посуду специальную заводить, вроде кошельков? А если я им воды вместо сока принесу?» — «Слушай, Силен, — сказал Морфей. — Я тебе десятку должен. Соком возьмешь?» Очень он оживился, вечно ему денег не хватало на выпивку, вечно он пил за чужой счет. «Хорошие времена, старички! — воскликнул он. — Захочется мне, например, выпить, иду это я в банк, выделяю им излишки, получаю наличными и — в трактир». Тут Полифем снова заорал. «Купили вас! — орал он. — Продались марсианам за желудочный сок! Вы тут продались, а они вон по городу разъезжают, как по своему Марсу!»

И действительно, через площадь, медленно и совсем не производя никакого шума, двигалась очень странная машина черного цвета, словно бы вовсе без колес, без окон и без дверей. За нею с криками и свистом бежали мальчишки из пятого «Б» класса, некоторые пытались прицепиться к ней сзади, но она была совершенно гладкая, как рояль, и прицепиться им было не за что. Очень необычная машина. «Неужели она действитель-

но марсианская?» — спросил я. «Ну, а чья же еще? — раздраженно сказал Полифем. — Твоя, что ли?» — «Никто не говорит, что моя, — возразил я ему. — Мало ли машин на свете, что же, они все марсианские?» — «А я и не говорю, что все, требуха ты старая! — заорал Полифем. — Я говорю, марсиане, гады, разъезжают по городу, как у себя дома! А вы тут все продались!» Я только плечами пожал, не желая связываться, а Силен очень рассудительно ответил ему: «Извини, Полифем, но твои крики начинают меня утомлять. И не одного меня. По-моему, мы все исполнили свой долг. Мы вступили в дружину, мы почистили оружие, что же еще, спрашивается?» — «Патрули! Патрули нужны! — с надрывом сказал Полифем. — Дороги надо перекрывать! Не пропускать марсиан в город!» — «Да как же ты их не пропустишь?» — «Да черт бы тебя подрал, Силен! Как не пропустишь? Очень просто! Стой, кто идет? Буду стрелять! И пали!» Не могу я этого слушать. Не человек, а казарма. «Ну, может, создадим патрули? — сказал Димант. — Трудно нам, что ли?» — «Это не наше дело, — решительно сказал я. — Пусть вот Силен подтвердит, что это незаконно. На это есть армия. Пускай она и занимается патрулями и всякой стрельбой».

Не выношу я этих военных игр, и в особенности если командует Полифем. Садизм какой-то. Были, помню, у нас в городе противоатомные учения, так он для полной имитации разбросал везде дымовые шашки, чтобы никто не манкировал противогазами. Сколько людей отравилось — это же кошмар. Он же унтер-офицер, ему ничего поручать нельзя. Или однажды приперся в школу на урок гимнастики, преподавателя изругал последними словами и принялся на своей ноге показывать ребятишкам строевой шаг. Ведь если его в патруль поставить, он будет палить из своего дробовика по каждому, пока в город продовольствие подвозить не перестанут. Он и по марсианам, пожалуй, шарахнет, чего доброго, а те в отместку возьмут и город сожгут. Но наше старичье как дети, ей-богу. В патрули так в патрули. Плюнул я демонстративно и пошел в мэрию.

Господин Никострат полировал ногти и на мои стесненные вопросы ответил примерно так. Финансовая политика правительства в новых условиях несколько меняется. Большую роль в денежном обращении будет теперь играть так называемый желудочный сок. Следует ожидать, что в ближайшее время указанный сок начнет иметь хождение наравне с деньгами. Специаль-

ного распоряжения о пенсиях пока нет, но есть веские основания полагать, что раз налоги принимаются так называемым желудочным соком, то и пенсии будут выплачиваться все тем же так называемым желудочным соком. Сердце у меня упало, но я собрался с духом и прямо спросил господина Никострата, нельзя ли понимать его слова так, что этот так называемый желудочный сок не является собственно желудочным соком, а представляет собой некий символ новой финансовой политики. Господин Никострат неопределенно пожал плечами и, продолжая рассматривать ногти, произнес: «Желудочный сок, господин Аполлон, это желудочный сок». — «Зачем же мне желудочный сок?» — спросил я в полном отчаянии. Он вторично пожал плечами и заметил: «Вы же прекрасно знаете, что желудочный сок необходим каждому человеку». Мне было абсолютно ясно, что господин Никострат либо врет, либо чего-то недоговаривает. Я так отчаялся, что потребовал свидания с господином мэром. Но мне было отказано. Тогда я покинул мэрию и записался в патруль.

Если человеку, беспорочно проработавшему тридцать лет на ниве народного просвещения, предлагают в награду пузырек желудочного сока,

то этот человек вправе демонстрировать любую степень негодования. Марсиане тут виноваты или не марсиане — не имеет решительно никакого значения. Я не выношу никаких анархических действий, но за свои права готов драться с оружием в руках. И хотя всем понятно, что протест мой носит чисто символический характер, пусть они об этом задумаются, пусть они знают, что имеют дело не с тварью бессловесной. Конечно, если бы донорские пункты стали у нас системой и если бы банк и сберегательная касса действительно принимали бы желудочный сок в обмен на валюту, я отнесся бы ко всему этому иначе. Однако о банках и сберкассах рассказывал один только Силен, и это пока всего лишь неподтвержденный слух. А что касается донорских пунктов, то Морфей, записавшись в патруль и решив немедленно спрыснуть это дело, отдал себя в руки кривого громилы, вернулся с красными слезящимися глазами и, показав нам новенькую, хрустящую пятерку, сообщил, что фургоны сейчас уезжают. Значит, ни о какой системе не может быть и речи: приехали и уехали. Успел сдать излишки — хорошо, не успел — пеняй на себя. По-моему, это возмутительно.

Полифем назначил меня в паре с заикой Ка-

лаидом патрулировать площадь Согласия и прилегающие к ней улицы с двенадцати до двух часов ночи. Выдав нам удостоверения, написанные от руки Силеном, он растроганно похлопал меня по плечу и сказал: «Старая гвардия! Что бы эти дерьмовые шпаки делали без нас, Феб? Я знал, что в решительный час ты будешь рядом». Мы обнялись и прослезились оба. В сущности, ведь Полифем неплохой человек, просто он любит, чтобы ему подчинялись беспрекословно. Вполне понятное желание. Я попросил у него разрешения быть свободным и направился к Ахиллесу. Патруль патрулем, а на всякий случай следовало предпринять кое-какие меры. Что такое желудочный сок, спрашивал я Ахиллеса. Кому он может понадобиться? На что он годен? Ахиллес сказал, что этот сок нужен для успешного переваривания пищи и, пожалуй, больше ни для чего. Это я и без него знал. «Скоро я смогу предложить тебе большую партию так называемого желудочного сока, — сказал я. — Может быть, возьмешь?» Он ответил, что подумает, и тут же предложил обменять мой неполный «зоосад» на беззубцовую авиапочту двадцать восьмого года. Ничего не скажешь, беззубцовочка эта — вещь уникальная, но у Ахиллеса она с двумя наклейками и с каким-то

сальным пятном. Не знаю, не знаю.

Выйдя из аптеки, я снова увидел марсианскую машину. Возможно, это была та самая машина, а может быть, и другая. Нарушая все правила уличного движения, она плыла посередине улицы, двигаясь, правда, со скоростью пешехода, так что я имел возможность хорошо ее рассмотреть — я шел в трактир, и нам было по пути. Самое первое мое впечатление оказалось совершенно правильным: более всего машина походила на очень запыленный рояль обтекаемой формы. Время от времени под нею что-то вспыхивало, и она слегка подпрыгивала, но это, видимо, не было неисправностью, потому что она продолжала неуклонно продвигаться вперед, не останавливаясь ни на секунду. Ни окон, ни дверей различить было нельзя даже с близкого расстояния, но больше всего меня поражало отсутствие колес. Правда, мое сложение не позволяло мне нагнуться достаточно низко, чтобы заглянуть под днище. Вероятно, там все-таки были колеса — не может же быть, чтобы так уж ни одного колеса не было.

Неожиданно машина остановилась. И конечно же, она остановилась перед особняком господина Лаомедонта. Помнится, я с горечью подумал: ведь есть же на свете люди, для которых новый

ли президент, старый ли президент, марсиане или кто-нибудь еще — не составляет никакой разницы. Всегда, думал я, любая власть относится к ним с уважением и вниманием, которого они отнюдь не заслуживают и даже, если говорить об уважении, наоборот. Однако произошло нечто совершенно неожиданное. Справедливо полагая, что из машины сейчас кто-то выйдет и я увижу, наконец, живого марсианина, я остановился в сторонке и стал наблюдать вместе с другими обывателями, ход мыслей которых совпадал, по-видимому, с моим. К нашему изумлению и разочарованию, из машины, однако, вышли вовсе не марсиане, а какие-то приличные молодые люди в узких пальто и одинаковых беретах. Трое из них подошли к парадному входу и позвонили, а двое в свободных позах, засунув руки глубоко в карманы своих пальто, расположились рядом с машиной, опершись на нее разными частями тела. Парадная дверь открылась, трое вошли внутрь, и оттуда сейчас же донеслись странные, не очень громкие звуки, словно кто-то один принялся там небрежно передвигать мебель, а другие стали размеренными ударами выбивать ковер. Двое, оставшиеся возле машины, не обращали на эти звуки никакого внимания. Они пребывали

в прежних позах, один рассеянно смотрел вдоль улицы, а другой, позевывая, разглядывал верхний этаж особняка. Не переменили они позу и через минуту, когда из парадной двери медленно и осторожно, как слепой, вышел мой обидчик, шофер господина Лаомедонта. Лицо его было бледно, рот широко раскрыт, глаза выпучены и стеклянны, а обе руки он крепко прижимал к животу. Сойдя на тротуар, он прошел несколько шагов, с кряхтением сел, посидел немного, сутулясь все больше и больше, а затем повалился на бок, скорчился, перебрал ногами и замер неподвижно. Должен признаться, что сначала я ничего не понял. Все происходило так неторопливо, в такой спокойной деловой обстановке, на фоне такого обычного городского шума, что у меня невольно возникло и укрепилось ощущение, будто так, собственно, и должно быть. Я не испытывал никакого беспокойства и не искал никаких объяснений. Я так доверял этим молодым людям, таким приличным, таким сдержанным... Вот один из них рассеянно поглядел на лежащего шофера, закурил сигарету и снова стал разглядывать верхний этаж. Мне даже показалось, что он улыбается. Потом послышался топот ног, и из подъезда один за другим вышли:

молодой человек в узком пальто, промакивающий губы платочком; господин Лаомедонт в роскошном восточном халате, без шляпы и в наручниках; другой молодой человек в узком пальто, снимающий на ходу перчатки; и наконец, третий молодой человек в узком пальто, нагруженный оружием. Правой рукой он прижимал к груди три или четыре автомата, в левой руке он нес несколько пистолетов, просунув палец сквозь спусковые скобы, и еще на каждом плече у него висело по ручному пулемету. На господина Лаомедонта я взглянул только один раз, и этого было вполне достаточно — у меня до сих пор сохранилось впечатление чего-то красного, мокрого и липкого. Вся кавалькада неторопливо пересекла тротуар и скрылась в недрах машины. Оставшиеся снаружи двое молодых людей лениво оттолкнулись от полированного борта, подошли к лежащему шоферу, осторожно взяли его за руки и за ноги и, слегка раскачав, бросили в подъезд. Один из них затем извлек из кармана и аккуратно приклеил рядом со звонком какую-то бумагу, после чего машина, не разворачиваясь, с прежней скоростью двинулась в обратном направлении, а оставшиеся молодые люди с самым скромным видом прошли через расступившуюся

толпу и скрылись за углом.

Когда я очнулся от столбняка, в который был ввергнут неожиданностью и необычайностью случившегося, и вновь обрел способность размышлять, я ощутил нечто вроде психического потрясения, как если бы передо мною свершилось поворотное действие истории. Я уверен, что нечто подобное пережили и ощутили и остальные свидетели. Мы все сгрудились перед подъездом, но никто не решался войти внутрь. Я надел очки и через головы прочитал прокламацию, наклеенную под звонком. Прокламация гласила: «Наркотики — яд и позор нации! Пришла пора покончить с наркотиками. И мы с ними покончим, а вы нам поможете. Беспощадно покараем тех, кто распространяет наркотики». Будь это кто-нибудь другой, разговоров хватило бы часа на два, а тут все только обменивались междометиями, не в силах побороть еще привычную робость: «Ай-яй-яй-яй...», «Надо же, а!», «Эхе-хе-хе-хе...», «Да, господа, увы!..». Кто-то вызвал полицию и врача. Врач вошел в дом и занялся там шофером. Потом прибыл Пандарей на полицейском вездеходе. Он потоптался на крыльце, несколько раз перечитал прокламацию, почесал в затылке и даже заглянул в двери, но войти струсил, хотя

врач раздраженно звал его в самых непочтительных выражениях. Он встал в дверях, расставив ноги, засунув руки за ремень и надувшись, как индюк. С появлением полиции толпа несколько осмелела и заговорила более определенно: «Таким, значит, манером, а?», «Да, что уж тут, все ясно...», «Интересно, интересно, господа!», «В жизни бы не поверил...». Я с тревогой чувствовал, что языки развязываются, и хотел уже уйти, хотя любопытство одолевало меня, но тут Силен обратился к Пандарею с прямым вопросом: «Итак, Пан, закон все-таки восторжествовал? Решились наконец?» Пандарей значительно поджал губы и, поколебавшись, произнес: «Я так полагаю, что это не мы решились». — «Как же это так — не вы? А кто же тогда?» — «Я так полагаю, что это столичная жандармерия», — громовым шепотом произнес Пандарей, оглядевшись по сторонам. «Какая же это жандармерия? — возразили в толпе. — Жандармерия и вдруг в марсианской машине! Нет, никакая это не жандармерия». — «Так что же это, по-вашему? Сами марсиане, что ли?» Пандарей надулся еще больше и гаркнул: «Эй, кто там про марсиан? Осторожно!» Но на него больше не обращали внимания. Языки развязались окончательно: «Машина, может, и марсианская,

да сами они не марсиане, это точно. Повадки у них наши, человеческие», «Верно! Какое, спрашивается, марсианам дело до наркотиков?», «Э, старина, новая метла чисто метет. А до желудочного сока нашего какое им дело?», «Нет, господа, это были не люди. Слишком, понимаете ли, спокойные, слишком молчаливые. Думается мне, что это были сами марсиане. Работают, как машины», «Правильно, машины! Роботы! Зачем марсианам руки пачкать? У них роботы есть». Пандарей, не удержавшись, тоже вмешался с предположением. «Нет, старички, — провозгласил он. — Никакие это не роботы. Это теперь порядок такой. В жандармерию теперь набирают исключительно глухонемых. В целях сохранения государственной тайны». Гипотеза эта вызвала сначала изумление, а затем ядовитые реплики, большей частью очень остроумные, но я запомнил только замечание желчного Парала. Парал выразился в том смысле, что неплохо было бы и в полицию набирать исключительно глухонемых, но не в целях сохранения государственной тайны, а чтобы оградить ни в чем не повинных людей от белиберды, извергаемой на них этими официальными лицами. Расстегнувшийся было Пандарей, конечно, сейчас же раздулся, снова

застегнул китель и заорал: «Поговорили — все!» И нам, к сожалению, пришлось разойтись, хотя именно в эту минуту подкатила карета «Скорой помощи». Старый осел так рассвирепел, что мы могли лишь издали наблюдать, как из подъезда выносят изувеченного шофера, а следом, к нашему удивлению, еще два каких-то тела. До сих пор неизвестно, кто были эти двое.

Все наши направились в трактир, и я тоже. За стойкой непринужденно расположились те самые двое молодых людей в узких пальто. Как и прежде, они были спокойны и молчаливы, пили джин и рассеянно смотрели поверх голов. Я заказал себе полный обед и, насыщаясь, наблюдал, как самые любопытные из наших постепенно придвигаются к молодым людям. Смешно было смотреть, как неумело Морфей пытается завести с ними разговор насчет погоды в Марафинах, а Парал, вознамерившись взять быка за рога, предлагает им выпивку. Молодые люди, как бы не видя никого вокруг, исправно поглощали придвигавшиеся к ним напитки, но продолжали хранить бесстрастное молчание. Шутки их не смешили, намеки их не задевали, а прямых вопросов они словно бы даже и не слышали вовсе. Я не знал, что и думать. Я то восхищался их

необычной выдержкой, их полным равнодушием к смешным попыткам втянуть их в разговор, то начинал склоняться к мысли, что это действительно марсианские роботы, что отвратительная внешность марсиан не позволяет им представать перед нами самолично, то подозревал в них самих марсиан, о которых мы, в сущности, до сих пор ничего не знаем. Наши, обнаглев, сгрудились вокруг молодых людей и уже без всякого стеснения обсуждали их личности, а кое-кто осмеливался даже пробовать на ощупь материал их пальто. Все теперь были убеждены, что перед ними роботы. Япет даже начал беспокоиться. Подавая мне бренди, он расстроенно сказал: «Как же так — роботы? Взяли по два джина, по два бренди, две пачки сигарет, а платить кто будет?» Я объяснил ему, что программа робота, предусматривающая потребление напитков и сигарет, без сомнения должна предусматривать и какой-то способ оплаты потребленного. Япет успокоился, но тут у стойки началась драка.

Как потом стало известно, желчный Парал заключил пари с дураком Димантом, что Димант приложит к руке робота горящую сигарету и ничего от этого не случится. Своими же глазами я увидел вот что. Из развлекающейся толпы, подоб-

но пробке из бутылки, вырвался вдруг Димант. Он пролетел спиной вперед через весь зал, мелко суча ногами, опрокидывая столики и встречных, и упал в углу. Не прошло и секунды, как совершенно подобным же образом, но в другом углу, оказался Парал. Наши бросились врассыпную, а я, ничего еще тогда не поняв, увидел, что молодые люди по-прежнему тихо сидят у стойки и задумчиво, одинаковым движением подносят к губам рюмки со спиртным.

Парала и Диманта подняли и оттащили за кулисы приводить в себя. Я взял свой стакан и тоже проследовал за кулисы. Мне захотелось выяснить, что произошло. Я пришел в тот момент, когда Димант уже очнулся и сидел с самым идиотским видом, ощупывая свою грудь. Парал еще не приходил в себя, но уже глотал джин и запивал содовой. Рядом с ним, держа наготове полотенце, стояла служанка, чтобы подвязать ему челюсть, когда он очнется. Там я узнал описанную выше версию инцидента и согласился с остальными, что Парал провокатор, а Димант просто дурак, не лучше Пандарея. Однако, высказав эти разумные соображения, наши ничуть не удовлетворились, а забрали себе в голову, что этого так оставить нельзя. Полифем, державшийся до этого в тени,

заявил, что это будет первая боевая акция нашей дружины. Этих молодчиков мы встретим, когда они выйдут из трактира, сказал он и принялся командовать, кто из нас где должен встать и по какому месту и когда начинать бить. Я немедленно отмежевался от этой затеи. Во-первых, я вообще противник насилия, во мне нет решительно ничего от унтер-офицера. Во-вторых, я не видел тогда за молодыми людьми никакой особенной вины. И наконец, я планировал вовсе не драться с ними, а поговорить о своих делах. Я потихоньку выбрался из-за кулис, вернулся к своему столику, и именно эти мои действия положили начало дальнейшему, столь огорчительному для меня событию.

Впрочем, даже сейчас, когда я гляжу на прожитый день совсем другими глазами, я должен констатировать, что логика моих поступков была и остается безупречной. Молодые люди — не из наших мест, рассуждал я. Тот факт, что они прибыли на марсианской машине, свидетельствует об их, скорее всего, столичном происхождении. Более того, участие их в экзекуции господина Лаомедонта свидетельствует об их несомненной принадлежности к власть имущим: вряд ли против господина Лаомедонта послали бы

каких-нибудь рядовых исполнителей. Таким образом, по логике вещей получалось, что молодые люди обязательно должны были быть хорошо осведомлены в новых обстоятельствах и могли сообщить мне многое из того, что меня интересует. Не в моем положении маленького человека, над которым издевается шофер господина Лаомедонта и которого отказывается информировать секретарь мэрии, можно пренебречь случаем получить правдивую информацию. С другой стороны, молодые люди отнюдь не вызывали во мне каких-либо опасений. Тот факт, что они несколько жестоко обошлись с господином Лаомедонтом и его телохранителями, нимало не настораживал меня. Это была их служба, и это был господин Лаомедонт, которому давно уже надлежало воздать по заслугам. Что же до инцидента с Паралом и Димантом, то, господа мои, Димант глуп, и иметь с ним дело невозможно, а Парал кого угодно способен вывести из себя своими желчными остротами. Я не говорю уже о том, что и сам никому не позволил бы называть меня роботом и тем более прижигать мне руку сигаретой.

Поэтому, когда я, допив бренди, направился к молодым людям, я был совершенно уверен в

успехе своего предприятия. План предстоящей беседы я продумал во всех деталях, приняв во внимание и род их деятельности, и их настроение в связи с только что имевшим место инцидентом, и их природные, видимо, молчаливость и сдержанность. Вначале я намеревался попросить у них извинения за бездарное поведение моих компатриотов. Далее я представился бы, выразил бы надежду, что не обременяю их своей беседой, посетовал бы на качество бренди, которое Япет частенько доливает дешевыми сортами, и предложил бы им угоститься из моей персональной бутылки. И только после этого и после того, как мы обсудили бы погоду в Марафинах и в нашем городе, я рассчитывал мягко, деликатно перейти к основному вопросу. Направляясь к ним, я отметил, что один из них занят раскуриванием сигареты, а другой, отвернувшись от стойки, внимательно и, как мне показалось, с интересом следит за моим приближением. Поэтому я решил обратиться именно к нему. Подойдя, я приподнял шляпу и сказал: «Добрый вечер». И тогда этот молодчик сделал какое-то ленивое движение плечом, и тотчас в голове у меня словно разорвалась граната. Ничего не помню. Помню только, что я долгое время лежал за кулисами рядом с

Паралом, глотал джин, запивая содовой, и кто-то прикладывал мне к пораженному глазу мокрую холодную салфетку.

И вот теперь я спрашиваю себя: чего же ждать дальше? Никто не вступился за меня, никто не поднял голоса протеста. Все повторяется вновь. Опять молодчики, наводящие ужас, избивают граждан на улицах. А когда Полифем привез меня домой в своей инвалидной малолитражке, дочь моя, равнодушная, как и все остальные, целовалась в саду с господином секретарем. Нет, если бы даже я знал, чем все это кончится, я все равно должен был бы, обязан был бы попытаться завязать с ними беседу. Я был бы более осторожен, я не приближался бы к ним, но от кого еще я могу получить сведения? Я не желаю трястись над каждым медяком, я не способен больше давать уроки через силу, я не хочу продавать дом, в котором прожил столько лет. Я боюсь этого, и я хочу покоя.

8 июня

Температура плюс семнадцать, облачность восемь баллов, ветер южный, 3 метра в секунду. Сижу дома, никуда не выхожу, никого не вижу. Опухоль уменьшилась, и поврежденное место почти не болит, но общий вид все равно безобразен. Весь день рассматривал марки и смотрел телевизор. В городе все по-прежнему. Вчера ночью наша золотая молодежь осадила заведение мадам Персефоны, занятое солдатами. Говорят, было форменное сражение. Поле боя осталось за армией. (Это вам не марсиане.) В газетах ничего особенного. Об эмбарго ни слова, такое впечатление, будто его отменили совсем. Есть странное выступление военного министра, набранное петитом, о том, что наше участие в Боевом Содружестве является бременем для страны и не так уж обоснованно, как это может показаться на первый взгляд. Слава богу, догадался через одиннадцать лет! Но главным образом пишут о фермере по имени Перифант, который замечателен тем, что способен давать до четырех литров желудочного сока в сутки безо всякого вреда для своего организма. Сообщается

его трудная биография со многими интимными подробностями, приводятся интервью с ним, и несколько раз передавали сцены из его жизни по телевизору. Плотный грубоватый мужчина сорока пяти лет, без какого-нибудь интеллекта. Посмотришь на него и никак не подумаешь, что перед тобою такой удивительный феномен. Он все время упирал на свой обычай высасывать по утрам кусочек сахару. Надо будет попробовать.

Да! В нашей газете есть статья ветеринара Калаида о вреде наркотиков. Калаид там прямо пишет, что регулярное потребление наркотиков крупным рогатым скотом исключительно вредно в смысле отделения желудочного сока. Приводится даже диаграмма. Интересное наблюдение: вот ведь написано у Калаида все черным по белому, а читать невыносимо трудно. Все кажется, будто он пишет и заикается. Но в общем получается, что господина Лаомедонта истребили за то, что он препятствовал гражданам свободно выделять желудочный сок. Создается впечатление, будто желудочный сок является неким краеугольным камнем новой государственной политики. Такого еще не бывало. Но если подумать, то почему бы и нет?

Вернулась из гостей Гермиона. Сначала мы с

ней поссорились из-за коньяка. Она считает, что от коньяка у меня усиливается экзема. Я ответил ей, что это вздор, что экзема усиливается у меня от нервных потрясений, от жары и от таких вот разговоров. Никак она не может понять, что мне необходим покой. Хорошо еще, что она не жена мне и что я имею хотя бы формальное право ей приказывать. За ужином она рассказала, что в бывшем особняке господина Лаомедонта оборудуется стационарный донорский пункт по приему желудочного сока. Если это правда, то я одобряю и поддерживаю. Я вообще за всякую стационарность и устойчивость.

Марочки мои, марочушечки! Одни вы меня никогда не раздражаете.

9 июня

Температура плюс шестнадцать, облачность пять баллов, небольшой дождь. Опухоль исчезла совершенно, однако, как и предсказывал Ахиллес, все пространство вокруг глаза приняло безобразный зеленый оттенок. На улице появиться невозможно: ничего, кроме глупых шуток, не услышишь. Утром позвонил в мэрию, но господин Никострат изволил пребывать в юмористическом настроении и абсолютно ничего нового по поводу пенсии не сообщил. Конечно же, я разволновался, попробовал успокоиться марками, но даже марки меня не утешили. Тогда послал Гермиону в аптеку за успокаивающим, но она вернулась с пустыми руками. Оказывается, Ахиллес получил специальный циркуляр выдавать успокаивающее исключительно по рецептам городского врача. Я разозлился и позвонил ему, затеял ссору, а сказать по правде — что с него взять? Все лекарства, содержащие наркотики, строжайше учитываются полицией и специальным уполномоченным от мэрии. Что ж, лес рубят — щепки летят. Взял и выпил коньяку, прямо при Гермионе. Помогло. Даже лучше. А

Гермиона и не пикнула.

Утром к Миртилу, который все еще живет в палатке, вернулось семейство. Честно говоря, я обрадовался. Это был верный признак того, что положение в стране стабилизируется. И вдруг после обеда я вижу, что Миртил снова сажает их всех в автобус. В чем дело? «Ладно, ладно, — отвечает мне Миртил в своей обычной манере. — Все вы здесь умники, а я дурак...» В общем, он ходил на «пятачок» и узнал там, будто казначея и архитектора марсиане намерены привлечь к ответственности за растрату и махинации; якобы их даже куда-то уже вызывали. Я попытался объяснить Миртилу, что это хорошо, что это справедливо, но куда там! «Ладно, ладно, — отвечал он. — Справедливо... Сегодня казначея с архитектором, завтра мэра, а послезавтра я не знаю кого, может быть, и меня. Нечего тут. Тебе вот они в глаз подвесили, это что — тоже справедливо?» Не могу я с ним разговаривать. Ну его.

Звонил господин Корибант, он, оказывается, замещает Харона в газете. Голос жалкий, дрожащий, какие-то у них там в газете неприятности с властями. Умолял сказать, скоро ли вернется Харон. Я говорил с ним, конечно, очень сочувственно, но не сказал ни слова о том, что Харон

уже один раз возвращался. Интуитивно я чувствую, что не стоит об этом распространяться. Бог знает, где сейчас Харон и что он делает. Не хватает мне еще неприятностей из-за политики. Сам о нем никому не говорю и Артемиде с Гермионой запретил. Гермиона сразу меня поняла, но Артемида разыграла сцену.

10 июня

Только теперь я кое-как пришел в себя, хотя по-прежнему болен и измучен. Экзема разыгралась так, как еще не бывало. Весь покрылся волдырями, все время чешусь, хотя знаю, что нельзя. И неотвязно преследуют меня жуткие фантомы, от которых я хотел бы избавиться, но не могу. Я понимаю: идти убивать из-под палки, убивать, чтобы не убили тебя. Это тоже мерзко и скверно, но это по крайней мере естественно. А ведь их-то никто не заставляет. Партизаны! Я-то знаю, что это такое. Но мог ли я ожидать, что на склоне лет мне доведется снова увидеть это своими глазами?

Началось все с того, что вчера утром вопреки всем ожиданиям я получил очень дружелюбный ответ от генерала Алкима. Он писал, что хорошо помнит меня, очень меня любит и желает мне всяческого благополучия. Письмо это сильно взволновало меня. Я просто места себе не находил. Я посоветовался с Гермионой, и она была вынуждена согласиться, что такой случай упускать нельзя. Нас обоих смущало только одно — неспокойные времена. И тут мы видим, что

Миртил сворачивает свой временный лагерь и начинает перетаскивать вещи обратно в дом. Это явилось последней каплей. Гермиона сделала мне очень элегантную черную повязку через пораженный глаз, я забрал папку с документами, сел в свой автомобиль и отправился в Марафины.

Погода мне благоприятствовала, я спокойно ехал по пустынному шоссе между синеющими полями и обдумывал возможные варианты своих действий в зависимости от различных обстоятельств. Однако, как всегда, очень скоро обнаружилось непредвиденное. Примерно в сорока километрах от города двигатель начал чихать, машина задергалась, стала плохо тянуть, а потом и совсем остановилась. Случилось это на вершине холма, и когда я вылез на дорогу, передо мной открылся мирный сельский пейзаж, выглядевший, правда, несколько непривычно из-за синевы зреющих злаков. Помню, что, несмотря на задержку, я был совершенно спокоен и не удержался полюбоваться разбросанными в отдалении аккуратными белыми фермами. Синие хлеба стояли очень высоко, достигая местами человеческого роста. Никогда доселе в наших краях не урождались такие обильные хлеба. Шоссе, прямое как стрела, просматривалось до самого

горизонта.

Я открыл капот и некоторое время осматривал двигатель, надеясь найти неисправность. Но я слишком неважный механик, и довольно скоро, отчаявшись, я выпрямил усталую спину и огляделся, пытаясь сообразить, у кого можно получить помощь. Однако ближайшая ферма была все-таки слишком далеко, а на дороге виднелась только одна машина, которая приближалась со стороны Марафин, двигаясь с довольно высокой скоростью. Сначала я обрадовался, но вскоре, к своему большому сожалению, убедился, что это одна из черных марсианских машин. Впрочем, я не потерял надежды полностью, потому что помнил, что в марсианских машинах могут находиться и обыкновенные люди. Перспектива голосовать этот мрачный, черный механизм не слишком меня прельщала, боязно было, что там могут оказаться все-таки марсиане, к которым я испытывал инстинктивный страх. Но что мне оставалось делать? Я вытянул руку поперек шоссе и сделал несколько шагов навстречу машине, достигшей уже подножия холма. И тут началось ужасное.

Машина была в пятидесяти метрах от меня, когда сверкнула вдруг желтая вспышка, машина

подпрыгнула и встала дыбом. Раздался громовой удар, шоссе заволоклось облаком дыма. Затем я увидел, что машина словно бы пытается взлететь, она уже поднялась было над облаком, сильно кренясь набок, но тут рядом с нею одна за другой сверкнули еще две вспышки, двойной удар перевернул ее, и она всей тяжестью грохнулась об асфальт, так что я ощутил содрогание почвы своими ослабевшими от неожиданности ногами. Страшная авария, подумалось мне в первый момент. Машина загорелась, и из нее стали выбираться какие-то охваченные огнем черные фигуры. В ту же минуту поднялась стрельба. Я не мог понять, кто стреляет, откуда стреляют, но я отчетливо видел, в кого стреляют. Черные фигурки метались в дыму и пламени и падали одна за другой. Сквозь треск выстрелов я услышал душераздирающие нечеловеческие крики, и вот уже все они лежали, распростертые возле опрокинутой машины, продолжая гореть, а стрельба все еще не прекращалась. Потом машина взорвалась с ужасающим треском, белый неземной свет ударил меня по глазу, и горячий плотный воздух хлестнул мне в лицо. Я невольно зажмурился, а когда вновь открыл глаз, то с ужасом увидел, как прямо ко мне вверх по шоссе

бежит, раскорячившись, словно огромная обезьяна, черное существо, объятое пламенем, и хвост черной копоти тянется следом за ним. В ту же секунду из синих хлебов слева от меня выскочил человек в военной форме, с автоматом наперевес, остановился посередине дороги спиной ко мне, быстро присел на корточки и принялся расстреливать черную пылающую фигуру почти в упор. Ужас мой стал так велик, что первое оцепенение покинуло меня, я нашел в себе силы повернуться и со всех ног бросился к своему автомобилю. Как безумный я нажимал на стартер, ничего не видя перед собой, забыв, что двигатель не работает, а потом силы вновь покинули меня, и я остался сидеть в машине, бессмысленно глядя перед собой, пассивный и оглушенный свидетель страшной трагедии. Безразличие овладело мною. Словно во сне я видел, как на шоссе выходят один за другим вооруженные люди, как они окружают место катастрофы, нагибаются над горящими телами, переворачивают их и обмениваются короткими возгласами, едва слышными за шумом крови, бьющейся у меня в висках. У подножия холма их собралось четверо, а человек в военной форме, судя по погонам — офицер, стоял на прежнем месте, в нескольких шагах от последнего убитого,

и перезаряжал свой автомат. Потом я увидел, как он неторопливо приблизился к лежащему, наклонил дуло автомата и дал короткую очередь. Лежащий отвратительно дернулся, и меня тут же вырвало прямо на руль и на брюки. А потом началось самое страшное.

Офицер быстро оглядел небо, затем повернулся ко мне, посмотрел — я никогда не забуду этого холодного беспощадного взгляда — и, держа автомат за рукоятку, направился к моей машине. Я слышал, как стоящие внизу что-то ему кричат, но он не обернулся. Он шел ко мне. Вероятно, на несколько секунд я впал в беспамятство, потому что дальше ничего не помню до того момента, когда очутился стоящим рядом со своим автомобилем перед этим офицером и еще двумя инсургентами. Боже, что это были за люди! Все трое были давно не бриты и грязны, одежда их была измазана и обтрепана, и мундир офицера тоже был в безобразном состоянии. Офицер был в каске, один из штатских — в черном берете, другой, носивший очки, был вообще без головного убора. «Вы что, оглохли?» — резко говорил офицер, тряся меня за плечо, а человек в берете морщился и цедил сквозь зубы: «Да оставьте вы его, зачем вам это нужно?» Я собрал остатки своих

слабых сил и заставил себя говорить спокойно, потому что понимал, что речь идет о моей жизни. «Что вам угодно?» — спросил я. «Натуральный обыватель, — сказал человек в берете. — Ничего он не знает и ничего знать не хочет!» — «Подождите, инженер, — раздраженно сказал офицер. — Кто вы такой? — спросил он меня. — Что вы здесь делаете?» Я, ничего не скрывая, объяснил ему все, и, пока я говорил, он все время озирался и то и дело оглядывал небо, словно боялся дождя. Человек в берете один раз прервал меня, крикнув: «Я не желаю рисковать! Я ухожу, а вы как хотите!» — после чего повернулся и побежал вниз. Но двое остались и выслушали меня до конца, а я все пытался угадать по их лицам свою судьбу, но ничего хорошего для себя не видел, и тогда мне в голову пришла спасительная мысль, и я, забыв про все, что только что говорил, сразу выпалил: «Имейте в виду, господа, я тесть господина Харона». — «Какого Харона?» — спросил инсургент в очках. «Главного редактора окружной газеты». — «Ну и что?» — спросил инсургент в очках, а офицер все оглядывал небо. Я растерялся: они явно не знали Харона. Но я все-таки сказал: «Мой зять в первый же день взял автомат и ушел из дому». — «Вот как? — сказал инсургент в очках. — Это делает

ему честь». — «Все это вздор, — сказал офицер. — Что у вас в городе? Что с войсками?» — «Не знаю, — сказал я. — У нас в городе все тихо». — «Вход в город свободный?» — спросил офицер. «По-моему, да, — сказал я и счел своим долгом добавить: — Но вас могут задержать патрули городской антимарсианской дружины». — «Что? — сказал офицер, и на ожесточенном лице его впервые изобразилось что-то похожее на удивление. Он даже перестал смотреть на небо и стал смотреть на меня. — Какая дружина?» — «Антимарсианская, — сказал я. — Во главе с унтер-офицером Полифемом. Может быть, вы знаете? Он инвалид». — «Чертовщина какая-то, — сказал офицер. — Можете вы нас отвезти в город?» У меня упало сердце. «Разумеется, — сказал я. — Но мой автомобиль...» — «Да, — сказал офицер. — Что там у вас с ним?» Я набрался решимости и соврал: «Кажется, заклинило двигатель». Офицер присвистнул и, не говоря больше ни слова, повернулся и скрылся в хлебах. Инсургент в очках продолжал пристально меня разглядывать, а потом вдруг спросил: «У вас есть внуки?» — «Да! — соврал я в полном отчаянии. — Двое! Один грудной...» Он сочувственно покивал. «Ужасно, — сказал он. — Вот это мучит меня больше всего. Они ничего не знают и теперь

никогда не узнают...»

Я ничего не понимал из его слов, и я ничего не хотел понимать, я молился только, чтобы он скорее ушел и ничего мне не сделал. Почему-то мне вдруг представилось, что этот тихий человек в очках — самый страшный из них. Несколько секунд он ждал моего ответа, а потом закинул свой автомат за плечо и сказал: «Советую вам поскорее уходить отсюда. До свидания». Я не стал даже дожидаться, пока он скроется. Я повернулся и как мог быстро пошел с холма в сторону города. Словно какая-то буря несла меня на своих крыльях. Я не чувствовал ног, я не ощущал одышки, кажется, я слышал какой-то механический рокот и гул за своей спиной, но я даже не обернулся, а только попробовал бежать. Но отошел я недалеко, когда навстречу мне с проселочной дороги вывернул небольшой грузовик, битком набитый фермерами. Я был в полубеспамятстве, но нашел в себе силы преградить им дорогу. Я замахал руками и закричал: «Стойте! Туда нельзя! Там партизаны!» Грузовик остановился, меня окружили грубые простые люди, почему-то вооруженные винтовками. Меня хватали за грудь, трясли, ругали черными словами, я ничего не понимал, я был в ужасе и только через некоторое время сообразил,

что меня принимают за пособника инсургентов. Ноги мои подкосились, но тут из кабины вылез шофер, оказавшийся, к счастью, моим бывшим учеником. «Да что вы, ребята! — заорал он, хватая за руки замахивающихся. — Это же господин Аполлон, городской учитель! Я его знаю». Не сразу, но в конце концов все успокоились, и я рассказал о том, что видел. «Ага, — сказал шофер. — Так мы и поняли. Сейчас мы их выловим. Пошли, ребята». Я хотел продолжать свой путь в город, но он убедил меня, что мне безопаснее быть с ними, а машину мою он спокойненько починит, пока ребята будут ловить бандитов. Меня подсадили в кабину, и грузовик покатился к месту трагедии. Вот и вершина холма, вот мой автомобиль, но дальше дорога была совершенно пуста. Не было ни трупов, ни обломков, только остались горелые пятна на асфальте да неглубокая выбоина на том месте, где произошел взрыв. «Понятное дело, — сказал шофер, останавливая грузовик. — Подобрали уже. Во-он они летят...» Все загомонили и стали тоже указывать на горизонт в сторону Марафин, но, как я ни всматривался в безмятежное небо своим единственным глазом, так ничего и не увидел.

Потом фермеры со сноровкой, свидетельствую-

щей об определенном опыте, без лишней суеты и споров разбились на две группы по десять человек. Группы эти рассыпались в цепи и пошли прочесывать хлеба — одна направо, другая налево. «У них автоматы, — предупредил я. — И гранаты тоже, кажется, есть». — «Это нам хорошо известно», — отвечали мне, и через некоторое время донеслись крики, говорящие о том, что облава напала на след. Шофер тем временем занялся починкой моей машины, а я, присевши на заднее сиденье, откинулся в блаженном полузабытьи, наконец-то получив время для нервного отдохновения. Шофер не только устранил неисправности (оказалось, что в бензопроводе — воздушная пробка), но и почистил переднее сиденье, испачканный мною руль и приборный щиток. Слезы благодарности выступили у меня на глазах, я пожал ему руку и уплатил сколько мог. Он остался доволен. Этот простой добрый человек (я так и не смог вспомнить его имени) оказался, кроме того, и весьма разговорчивым в отличие от большинства фермеров, людей тоже простых и добрых, но угрюмых и замкнутых. Он многое объяснил мне из происходящего. Оказывается, инсургенты, которых народ называл попросту бандитами, появились в округе уже на другой день после

пришествия марсиан. Первое время они дружески общались с фермерами, и тогда выяснилось, что большинство из них было жителями Марафин, людьми, как правило, образованными и на первый взгляд безобидными, если не считать военных. Намерения их остались для фермеров непонятными. Вначале они призывали сельских жителей подняться против новой власти, но необходимость в этом объясняли крайне смутно — все твердили о гибели культуры, о вырождении и прочих книжных вещах, не задевающих интересы сельского человека. Однако фермеры их кормили и давали им ночлег, потому что обстановка оставалась неясной и еще неизвестно было, чего можно ожидать от новых порядков. Когда же обнаружилось, что от новых властей ничего плохого, кроме хорошего, не видно, когда власть, давши хорошую цену, скупила на корню урожай (даже не урожай, а всходы), когда она выдала щедрый аванс под урожай синего хлеба, когда словно с неба стали падать деньги за бесполезный до того желудочный сок и когда, с другой стороны, выяснилось, что бандиты устраивают засады против представителей администрации, везущих в деревню деньги, когда уполномоченный из Марафин ясно дал понять, что с этим

безобразием надобно для всеобщей пользы скорее кончать, тогда отношение к инсургентам совершенно переменилось.

Несколько раз мы прерывали нашу беседу и прислушивались. С полей доносились редкие выстрелы, и каждый раз мы удовлетворенно кивали друг другу и перемигивались. Я уже совсем оправился и сел за руль, чтобы развернуть машину домой (у меня и в мыслях, конечно, не осталось продолжать путь в Марафины: бог с ним, с Алкимом, раз на дорогах такое творится), когда облава возвратилась на шоссе. Сначала четверо фермеров притащили к грузовику два неподвижных тела. Одного убитого я узнал — это был человек в берете, которого офицер называл инженером. Другой, юноша, почти мальчик, был мне незнаком. С некоторым облегчением я заметил, что он, к счастью, не убит, а только тяжело ранен. Затем гурьбой, весело переговариваясь, вернулись и остальные участники облавы. Они привели пленного со связанными руками, которого я тоже узнал, хотя теперь он был без очков. Победа была полная, никто из фермеров не пострадал. Я испытал большое моральное удовлетворение, видя, как эти простые люди, еще, казалось бы, разгоряченные боем, выказывают

тем не менее несомненное душевное благородство, обращаясь с поверженным противником почти по-рыцарски. Раненому перевязали раны и довольно бережно уложили в кузов. Пленному хотя и не развязали рук, но дали напиться и сунули в рот сигарету. «Ну вот и сделали дело, — сказал мой друг шофер. — Теперь в округе поспокойнее станет». Я счел своим долгом сообщить, что инсургентов было по крайней мере пятеро. «Ничего, — ответил он. — Значит, двое ушли. Никуда они не денутся. Что в нашей округе, что в соседней — порядки одни. Перебьют или переловят». — «А этих вы куда отправите?» — спросил я. «Отвезем. Тут километрах в сорока есть марсианский пост. Там их всех принимают: и живых, и мертвых, каких доставишь». Я еще раз поблагодарил его, пожал ему руку, и он отправился к своему грузовику, сказавши остальным: «Поехали, что ли?» И тут пленного провели мимо меня, и он приостановился на секунду и взглянул мне прямо в лицо своими близорукими глазами. Может быть, мне это показалось. Теперь я надеюсь, что мне это показалось. Но в глазах его было нечто такое, отчего сердце мое упало. Бездарный мир! Нет, я не оправдываю этого человека. Он экстремист, он партизан, он убивал и должен быть наказан,

но я же не слепой. Я отчетливо видел, что это благородный человек. Не чернорубашечник, не невежда, а человек с убеждениями. Впрочем, теперь я надеюсь, что я ошибся. Всю жизнь я страдаю оттого, что думаю о людях хорошо.

Грузовик покатил в одну сторону, я — в другую, и через час я был уже дома, разбитый до последней степени, измученный и больной. Замечу, кстати, что господин Никострат сидел в гостиной и Артемида угощала его чаем. Однако мне было не до них. Гермиона принялась хлопотать вокруг меня, расстелила постель, положила мне лед на сердце, и скоро я уснул, а когда проснулся ночью, то понял, что экзема у меня вновь обостряется. Это была ужасная, мучительная ночь.

Температура плюс семнадцать градусов, облачность десять баллов, проливной дождь.

Да, они бунтовщики, люди вредные для всеобщего спокойствия. И все-таки я не могу не пожалеть их, насквозь промокших, грязных, загнанных, подобно диким зверям. И во имя чего? Что это — анархизм? Протест против несправедливости? Но против какой? Я их решительно не понимаю. Странно, сейчас я припоминаю, что при облаве не было ни автоматных очередей, ни разрывов гранат. Должно быть, у них кончились

боеприпасы.

11 июня (полночь)

Гермиона хотела, чтобы я провел этот день в постели, но я не послушался ее и правильно сделал. В полдень я почувствовал себя достаточно хорошо и сразу после обеда решился выйти в город. Человек слаб. Не скрою, что мне не терпелось рассказать нашим о страшных и трагических происшествиях, свидетелем которых я имел несчастье быть вчера. Правда, к обеду эти события рисовались мне уже не столько в трагическом, сколько в романтическом свете. Рассказ мой на «пятачке» имел огромный успех, меня забросали вопросами, и мое маленькое тщеславие было полностью удовлетворено. Забавно было глядеть на Полифема. (Он, кстати, теперь единственный член антимарсианской дружины, который все еще таскается с дробовиком.) Когда я передал нашим свою беседу с офицером-бунтовщиком, он немедленно возгордился, положив себя причастным к отчаянной и опасной деятельности инсургентов. Он дошел даже до того, что признал инсургентов смелыми ребятами, хотя и поступающими противозаконно. Что он этим хотел сказать — я не понял, да и никто не понял.

Он заявил также, что на месте инсургентов показал бы «этому мужичью», почем фунт дыма, и тогда чуть не случилась драка, потому что брат Миртила был фермером и сам Миртил происходил из фермерской семьи. Я не люблю ссор, не выношу их, и, пока драчунов растаскивали, я пошел в мэрию.

Господин Никострат был со мной отменно любезен, участливо интересовался здоровьем и с большим сочувствием выслушал мой рассказ о вчерашнем приключении. Да и не только он — все служащие бросили текущие дела и собрались вокруг меня, так что успех был полным и здесь. Все согласились, что я действовал мужественно и мое поведение делает мне честь. Пришлось пожать множество рук, а красотка Тиона попросила даже разрешения поцеловать меня, каковое разрешение я дал, конечно, с удовольствием. (Черт возьми, меня давно не целовали молоденькие девушки! Признаться, я даже забыл, насколько это приятно.) Насчет пенсии господин Никострат уверил меня, что все, вероятно, будет хорошо, и сообщил под большим секретом, будто вопрос о налогах теперь окончательно решен: начиная с июля налоги будут взиматься желудочным соком.

Эта наша увлекательная беседа была, к сожалению, прервана форменным скандалом. Дверь кабинета мэра вдруг распахнулась, на пороге появился господин Корибант и, стоя спиною к нам, принялся кричать на господина мэра, что он этого так не оставит, что это нарушение свободы слова, что это коррупция, что господину мэру следует помнить о печальной судьбе господина Лаомедонта и так далее. Господин мэр тоже говорил в повышенном тоне, но голос у него был потише, чем у господина Корибанта, и я так и не понял, что именно он говорил. Господин Корибант в конце концов удалился, с силой хлопнув дверью, и тогда господин Никострат объяснил мне, в чем дело. Оказывается, господин мэр оштрафовал и закрыл на неделю нашу газету за то, что господин Корибант в позавчерашнем номере опубликовал стихи, подписанные неким «икс-игрек-зет», в которых есть строчка: «А на далеком горизонте свирепый Марс горит пожаром». Господин Корибант отказывается подчиниться решению господина мэра, и вот уже второй день они ругаются то по телефону, то лично. Обсудив это происшествие, мы с господином Никостратом пришли к единому мнению, что обе стороны в этом споре по-своему правы и по-своему не

правы. С одной стороны, взыскание, наложенное господином мэром на газету, чрезмерно жестоко, тем более что стихотворение в целом абсолютно безобидно, поскольку рассказывает лишь о неразделенной любви автора к ночной фее. Но с другой стороны, ситуация такова, что не следует дразнить гусей — у господина мэра и без того хватает неприятностей хотя бы с тем же самым Минотавром, который позавчера опять напился пьян и повредил своей вонючей цистерной марсианскую машину.

Вернувшись на «пятачок», я снова присоединился к нашим. Ссора Полифема с Миртилом была уже улажена, и беседа происходила в обычной атмосфере дружеской дискуссии. Не без удовольствия я отметил, что мой рассказ, по-видимому, направил умы собравшихся в определенное русло. Говорили об инсургентах, о боевых средствах, которыми располагают марсиане, и прочих подобных предметах.

Морфей рассказал, будто неподалеку от Милеса летательная машина марсиан, совершившая вынужденную посадку из-за непривычки пилота к повышенной силе тяжести, подвергшись нападению группы злоумышленников, перестреляла всех до единого специальными электрическими

снарядами, после чего сама собою взорвалась, оставивши огромную яму со стеклянными стенками. Весь Милес якобы ходит теперь смотреть эту яму.

Миртил со слов своего брата-фермера поведал нам о жуткой банде амазонок, которые нападают на марсиан и похищают их в видах получения от них потомства. Одноногий Полифем, со своей стороны, рассказал следующее. Вчера ночью, когда он нес патрульную службу на Парковой улице, к нему бесшумно подкрались четыре марсианские машины. Незнакомый голос на ломаном языке и с неприятным шипением осведомился у него, как проехать к трактиру, и хотя трактир не является объектом государственной важности, Полифем просто из гордости и презрения к завоевателям отказался ответить, так что марсиане поехали дальше не солоно хлебавши. Полифем уверял нас, что жизнь его при этом висела на волоске, он даже заметил якобы длинные черные стволы, направленные прямо на него, но в упорстве своем не колебался ни секунды.

«А тебе что, жалко было сказать? — спросил Миртил, не забывший еще оскорбление, нанесенное его семейству. — Знаю я таких сволочей. Приедешь, бывало, в незнакомое место, захо-

чется тебе выпить, так нипочем не скажут, где трактир».

Дело опять чуть было не дошло до драки, но тут подошел Пандарей и, радостно улыбаясь, сообщил, что Минотавра, наконец, у нас из города забрали. Марсиане забрали. Подозревают Минотавра в связях с террористами и в саботаже. Мы все возмутились: оставлять в самое жаркое время года город без ассенизатора — да это же преступление!

«Хватит! — орал одноногий Полифем. — Довольно терпеть проклятое иго! Патриоты, слушай мою команду! Ста-ановись!» Мы уже начали строиться, когда Пандарей всех успокоил, сказавши, что марсиане намерены в ближайшую неделю начать работы по прокладке канализации, а пока вместо Минотавра будет младший полицейский. Все сказали, что это другое дело, и вновь перешли к разговорам о террористах. И о том, что это все-таки свинство — устраивать засады.

Димант рассказал, вращая глазами, жуткую историю, что по городу третий день ходят какие-то люди и угощают встречных конфетами. «Съешь такую конфету — и брык! — готов». Надеются таким образом отравить всех марсиан. Мы, конечно, в эту историю не поверили, но стало

как-то жутко.

Тут Калаид, который давно уже дергался и брызгал, вдруг ляпнул: «А в-в-вот у Аполлона у самого зять террорист». От меня сразу как-то отшатнулись, а Пандарей, выпятив челюсть, веско заявил: «Это точно. Есть такие сведения и у нас».

Я возмутился до последней степени и заявил им всем, что, во-первых, тесть за зятя не отвечает; во-вторых, у самого Пандарея племянник в прошлом году сел на пять лет за развратные действия; в-третьих, с Хароном я всегда был на ножах, это любой может подтвердить, и в-четвертых, ничего такого я за Хароном не знаю — уехал человек в командировку, и ни слуху от него, ни духу. Это были неприятные минуты, но вздорность обвинения была настолько очевидна, что все кончилось благополучно, и разговор пошел о желудочном соке.

Оказывается, все наши уже второй день сдают желудочный сок и получают за него наличными. Один я в стороне. Всегда я каким-то непонятным образом оказываюсь в стороне от того, что мне выгодно. Есть на свете такие неустроенные люди: в казармах они вечно чистят сортиры, на фронте они попадают в «котлы», все неприятности они получают первыми, все блага они получают по-

следними. Так вот я один из таких. Ну ладно. Все наши хвастались, как они теперь довольны. Еще бы не быть довольным!

Тут через площадь проехала марсианская машина, и одноногий Полифем задумчиво произнес: «А как вы полагаете, старички, если садануть ее сейчас из дробовика, пробьет или не пробьет?» — «Если, скажем, пуля, то, пожалуй, пробьет», — сказал Силен. «Это куда попадешь, — возразил Миртил. — Если в лоб или в корму, то нипочем не пробить». — «А если в борт?» — спросил Полифем. «Если в борт, то, пожалуй, пробьет», — ответил Миртил. Я хотел было сказать, что граната — и та не пробивает, но Пандарей меня опередил, сказавши глубокомысленно: «Нет, старики, зря вы спорите. Непробиваемы они». — «И в борт непробиваемы?» — ехидно спросил Морфей. «Полностью», — сказал Пандарей. «Что, и пулей?» — спросил Миртил. «Да хоть из пушки стреляй», — сказал Пандарей с большой важностью. Тут все стали качать головами и похлопывать его по спине. «Да, Пан, — говорили они. — Это ты, Пандарей, того. Тут ты, старина Пандор, маху дал. Не подумал, старик, сболтнул». А желчный Парал немедленно подпустил шпильку, что вот ежели Пандарею пальнуть из пушки в корму,

то вмятина, может быть, и останется, а вот если в лоб, то просто отскочит, и все. Ну, Пандарей раздулся, застегнул китель на все пуговицы, выкатил свои рачьи глаза и гаркнул: «Поговорили — все! Р-разойдись! Именем закона».

Не теряя времени, я отправился на донорский пункт. Конечно, тут меня опять ожидала неудача. Никакого сока у меня не взяли, и никаких денег я не получил. У них, оказывается, такой порядок, что сок сдавать надо обязательно натощак, а я всего два часа как пообедал. Выдали мне донорскую карточку и пригласили приходить завтра с утра. Впрочем, должен сказать, что донорский пункт вообще произвел на меня самое благоприятное впечатление. Оборудование новейшее. Зонд смазывается самыми лучшими сортами вазелина. Прием желудочного сока производится автоматически, но под наблюдением опытного врача, а не какого-нибудь громилы. Персонал исключительно вежлив и обходителен, сразу видно, что платят им неплохо. Все вокруг блестит чистотой, мебель новая. В ожидании очереди можно смотреть телевизор или читать свежие газеты. Да и какая очередь! Гораздо меньше и быстрее, чем в трактире. А деньги выдаются немедленно, прямо из автомата. Да, во всем чув-

ствуется высокая культура, гуманность, забота о доноре. И подумать только, что каких-нибудь три дня назад этот дом был логовом такого человека, как господин Лаомедонт!

Однако мысль о зяте не оставляла меня, и я почувствовал необходимость обсудить эту новую досадную проблему с Ахиллесом. Я нашел его, как всегда, за кассой, рассматривающим свой «Космос». Рассказ о моих приключениях произвел на него огромное впечатление, и я почувствовал, что он смотрит теперь на меня совсем другими глазами. Но когда речь зашла о Хароне, он только пожал плечами и сказал, что образ моих действий и опасности, которым я подвергался, полностью реабилитируют не только меня, но, возможно, и самого Харона. Кроме того, он вообще сомневался, что Харон способен принимать участие в чем-либо предосудительном. Харон, заявил он, скорее всего, находится сейчас в Марафинах и принимает деятельное участие в восстановлении порядка, стремясь при этом сделать что-нибудь полезное для родного города, как это и приличествует всякому культурному гражданину, а местные завистники, все эти Пандареи и Калаиды, способные лишь на безответственную болтовню, просто клевещут на него.

У меня были свои сомнения на этот счет, но я, естественно, промолчал и только подивился про себя, насколько мы, жители небольшого, в сущности, городка, плохо знаем друг друга. Я понял, что напрасно заговорил с Ахиллесом на эту тему, и, сделав вид, будто его рассуждения меня вполне успокоили, перевел разговор на марки. И вот тутто и случилось это удивительное происшествие.

Помнится, вначале я говорил несколько принужденно, потому что основною моей целью было все-таки отвлечь Ахиллеса от разговора о Хароне. Но получилось так, что речь пошла об этой сакраментальной перевернутой литографической надпечатке. В свое время я изложил Ахиллесу совершенно неопровержимые доводы в пользу того, что это фальшивка, и вопрос, казалось, был исчерпан. Однако накануне Ахиллес прочел какую-то книжонку и возомнил себя способным выдвигать свои собственные суждения. В наших отношениях это нечто небывалое. Естественно, я вышел из себя, рассердился и прямо сказал, что Ахиллес ничего не понимает в филателии, что еще год назад он не видел разницы между климмташем и кляссером и не случайно коллекция его битком набита бракованными экземплярами. Ахиллес тоже вспылил, и у нас

началась самозабвенная перебранка, на которую я способен только с Ахиллесом и только по поводу марок.

Я словно бы в тумане сознавал тогда, что во время спора кто-то как будто входил в аптеку, протягивал Ахиллесу через мое плечо какую-то бумагу, и Ахиллес на секунду замолчал, чем я немедленно воспользовался, чтобы вклиниться в его некомпетентные рассуждения. Затем мне запомнилось досадное ощущение помехи, что-то постороннее все время назойливо вступало в сознание, мешая мне мыслить последовательно и логично. Однако потом это прошло, и следующим этапом этого любопытнейшего с психологической точки зрения происшествия был тот момент, когда спор наш закончился и мы замолчали, усталые и несколько обиженные друг на друга.

Помнится, что именно в этот момент я вдруг ощутил непреодолимую потребность оглядеть помещение и испытал смутное удивление, не обнаружив никаких особенных перемен. Между тем я отчетливо сознавал, что какое-то изменение за время нашего спора должно было произойти. Тут же я заметил, что Ахиллес тоже находится в состоянии некоторой душевной неудовлетворенности. Он тоже озирался, а потом прошелся

вдоль прилавка, заглядывая под него. Наконец он спросил: «Скажи, пожалуйста, Феб, сюда никто не приходил?» Определенно его мучило то же самое, что меня. Его вопрос поставил все точки над «и», я понял, к чему относилось мое недоумение.

«Синяя рука!» — воскликнул я, озаренный неожиданно ярким воспоминанием. Словно наяву я увидел перед своим лицом синие пальцы, сжимающие листок бумаги. «Нет, не рука! — горячо сказал Ахиллес. — Щупальце! Как у осьминога!» — «Но я отчетливо помню пальцы...» — «Щупальце, как у спрута!» — повторил Ахиллес, лихорадочно озираясь. Потом он схватил с прилавка книгу рецептов и торопливо перелистал ее. Все во мне зашлось от томительного предчувствия. Держа в руке листок бумаги, он медленно поднял на меня широко раскрытые глаза, и я уже знал, что он сейчас скажет.

«Феб, — произнес он придушенным голосом. — Это был марсианин». Оба мы были потрясены, и Ахиллес, как человек, близкий к медицине, счел необходимым подкрепить меня и себя коньяком, бутылку которого он достал из большого картонного ящика с надписью «Норсульфазолум». Да, пока мы здесь спорили об этой злосчастной надпечатке, в аптеку зашел марсианин, вру-

чил Ахиллесу письменное распоряжение сдать предъявителю сего все лекарственные препараты, содержащие наркотики, и Ахиллес, ничего не помня и не понимая, передал ему приготовленный пакет с этими лекарствами, после чего марсианин удалился, не оставив в нашей памяти ничего, кроме отрывочных воспоминаний и смутного образа, запечатленного краем глаза.

Я отчетливо помнил синюю руку, покрытую короткими редкими белесыми волосиками, и мясистые пальцы без ногтей, и я поражался, как подобное зрелище не вышибло мгновенно из моей головы всякую способность вести отвлеченные споры.

Ахиллес никакой руки не помнил, но зато он помнил длинное, непрерывно пульсирующее щупальце, протянувшееся к нему как бы из ничего. Кроме того, он помнил, что вид этого щупальца привел его в сильное раздражение, ибо оно показалось ему совершенно ни с чем не сообразной шуткой. Помнил он и то, как в сердцах швырнул на прилавок, не глядя, сверток с лекарствами, зато он абсолютно не помнил, читал ли он предписание и клал ли его в регистрационную книгу, хотя очевидно было, что читал (раз выдал лекарства) и клал (раз оно там оказалось).

Мы выпили еще по рюмке коньяку, и Ахиллес припомнил, что марсианин стоял слева от меня и что на нем был модный свитер с вырезами, и мне вспомнилось, что на одном из синих пальцев было блестящее кольцо белого металла с драгоценным камнем. Кроме того, я вспомнил шум автомобиля. Ахиллес потер лоб и заявил, что вид предписания напоминает ему ощущение недовольства, которое вызывалось у него как бы чьими-то попытками, до неприличия назойливыми, вторгнуться в наш с ним спор с какой-то совершенно нелепой точкой зрения на филателию вообще и на перевернутые надпечатки в особенности.

Тогда и я припомнил, что точно, марсианин говорил и голос у него был пронзительный и неприятный. «Скорее низкий и снисходительный», — возразил Ахиллес. Однако я настаивал на своем, и Ахиллес, вновь разгорячившись, вызвал из лаборатории младшего провизора и спросил его, какие звуки он слышал на протяжении последнего часа. Младший провизор, на редкость недалекий юнец, заморгал своими глупыми глазами и промямлил, что слышал все время только наши голоса, а один раз будто бы где-то включили радио, но он не обратил на это особого

внимания. Мы отослали провизора и выпили еще по капельке коньяку. Память наша прояснилась окончательно, и, хотя мы по-прежнему расходились в мнении относительно внешности марсианина, мы, однако же, полностью сошлись в воспроизведении последовательности имевших место фактов. Марсианин, несомненно, подъехал к аптеке на машине, не выключая двигателя, вошел в помещение, остановился слева от меня, чуть сзади, и некоторое время стоял неподвижно, рассматривая нас и прислушиваясь к нашему разговору. (Мороз прошел по коже, когда я осознал свою полную беззащитность в этот страшный момент.) Затем он сделал нам несколько замечаний, по-видимому, относительно филателии и, по-видимому, совершенно некомпетентных, а потом протянул Ахиллесу предписание, которое Ахиллес взял, бегло просмотрел и сунул в регистрационную книгу. Далее Ахиллес, все еще будучи вне себя от этой помехи, выдал сверток с лекарствами, и марсианин ушел, поняв, что мы не желаем принимать его в разговор. Таким образом, отвлекаясь от деталей, возникал образ существа, хотя и плохо разбирающегося в вопросах филателии, но, в общем, не лишенного правильного воспитания и определенной гу-

манности, если принять во внимание, что в то время он мог сделать с нами все, что ему было бы угодно. Мы выпили еще по рюмке коньяку и почувствовали себя не в силах оставаться здесь и держать наших в неизвестности относительно этого происшествия. Ахиллес спрятал бутылку, передал дежурство младшему провизору, и мы быстрым шагом направились в трактир.

Рассказ о визите марсианина был воспринят нашими по-разному. Одноногий Полифем откровенно счел его враньем. «Вы понюхайте, чем от них разит, — сказал он. — Нализались до синих чертей». Рассудительный Силен предположил, что это был все-таки не марсианин, а какой-нибудь негр — у негров иногда встречается синеватый оттенок кожи. Ну, а Парал остался Паралом. «Хорош аптекарь у нас, — желчно сказал он. — Приходит неизвестно кто, неизвестно откуда, подсовывает ему неизвестно какую бумажку, и тот отдает ему без звука. Нет, с такими аптекарями мы разумного общества не построим. Что это за аптекарь, который из-за своих паршивых марок не ведает, что творит?» Но зато все остальные были на нашей стороне, весь трактир собрался вокруг нас, даже золотая молодежь во главе с господином Никостратом отвалилась от

бара послушать. Нас заставляли повторять снова и снова, где стоял я и где стоял марсианин, как он протягивал свою конечность, и так далее. Очень скоро я заметил, что Ахиллес начинает украшать рассказ новыми деталями, как правило потрясающими. (Вроде того, что, когда марсианин молчал, у него мигали только два глаза, как у нас, а когда открывал рот, открывались еще дополнительные глаза, один красный, другой белый.) Я тут же сделал ему замечание, но он возразил, что коньяк и бренди удивительным образом действуют на человеческую память, это, дескать, медицинский факт. Я решил с ним не спорить, попросил Япета подать мне ужин и, внутренне усмехаясь, стал наблюдать, как Ахиллес уверенно компрометирует себя. Через каких-нибудь десять минут все поняли, что Ахиллес окончательно заврался, и перестали обращать на него внимание. Золотая молодежь вернулась к стойке бара, и скоро оттуда послышалось обычное: «Надоело... Скучища у нас тут. Марсиане? Ерунда, плешь... Чего бы нам отколоть, орлы?» За нашим столиком возобновился старый спор о желудочном соке. Что это такое, куда он годится, для чего он марсианам и для чего он нам самим. Ахиллес объяснил, что человеку желудочный сок нужен

для переваривания пищи, пищу переваривать без него было бы невозможно. Но авторитет его был уже подорван, и никто ему не поверил. «Ты бы заткнулся, старая клизма, — сказал ему Полифем. — Чего там — невозможно. Третий день сдаю этот сок, и ничего, перевариваю. Тебе бы так переваривать».

С горя обратились за консультацией к Калаиду, но это, естественно, ничем не кончилось. Калаид после долгих судорог, за которыми в томительном ожидании следил весь трактир, выпалил только: «Ж-ж-жандарм в тридцать лет уже старик, если хочешь знать». Слова эти имели касательство к какому-то полузабытому разговору, происходившему еще на «пятачке» и до обеда, и вообще предназначались не нам, а Пандарею, который уже давным-давно ушел на дежурство. Мы оставили Калаида рожать ответ на наш вопрос, а сами пустились в спекуляции. Силен предположил, что цивилизация Марса зашла в тупик в физиологическом отношении, собственный сок они уже вырабатывать не могут и им приходится осваивать другие источники. Япет подал голос из-за стойки, заявив, что марсиане используют желудочный сок в качестве бродила для производства особого вида энергии. «Вроде атомной»,

— добавил он, подумав. А дурак Димант, никогда не отличавшийся смелым полетом фантазии, заявил, что человеческий желудочный сок для марсиан все равно что для нас коньяк, или пиво, или, скажем, можжевеловая водка, и этим заявлением испортил аппетит всем, кто в тот момент закусывал. Кто-то предположил, что марсиане добывают из желудочного сока золото или редкие металлы, и это явно безграмотное предположение натолкнуло Морфея на очень верную мысль. «Старички, — сказал он. — А ведь в самом деле, золото они из него добывают или энергию, а надо понимать, что наш желудочный сок для марсиан — вещь очень важная. Не одурачили бы они нас, а?» Сначала его никто не понял, но потом до нас дошло, что настоящей цены на желудочный сок никто ведь не знает и что это за цена, которую назначили марсиане, — неизвестно. Вполне возможно, что марсиане, люди, надо думать, практичные, выгоняют из этого предприятия непропорционально большой доход, пользуясь нашим невежеством. «Скупают у нас по дешевке, — взбеленился одноногий Полифем, — а потом, стервецы, загоняют на какую-нибудь комету по настоящей цене!» Я рискнул поправить его, что не на комету все-таки, а на планету, на что он с

присущей ему грубостью предложил мне сначала залечить глаз, а потом уже вступать в споры. Но дело не в этом.

Всех нас предположение Морфея встревожило, и могла бы получиться очень содержательная и полезная беседа, но тут в трактир ввалился Миртил со своим братом-фермером, оба пьяные до последней степени. Выяснилось, что брат Миртила вот уже несколько дней производил опыты по перегонке барды из синего хлеба и что сегодня эти опыты наконец увенчались успехом. На стол были водружены две порядочные фляги синего первача. Все тут же отвлеклись и стали пробовать, и, надо сказать, «синюховка» произвела на нас большое впечатление. Миртил себе на горе пригласил к столу Япета, чтобы тот тоже попробовал. Япет выпил два стаканчика, постоял, закрыв левый глаз, словно бы размышляя, а затем вдруг сказал: «А ну, валите отсюда, чтобы я вас тут не видел». Сказано это было таким тоном, что Миртил, не говоря ни слова, подхватил опустевшие фляги и своего задремавшего братца и торопливо удалился. Япет оглядел нас тяжелым взглядом и, произнеся: «Взяли манеру — в мое заведение со своим пойлом приходить», вернулся за стойку. Чтобы сгладить неловкость, мы все заказали по

выпивке, но прежняя непринужденность уже исчезла. Посидев еще полчаса, я отправился домой.

В гостиной господин Никострат, заняв кресло Харона, сидел напротив Артемиды и пил чай с вареньем. Я не стал вмешиваться в это дело. Во-первых, Харон, по-видимому, уже отрезанный ломоть, и неизвестно, вернется ли он вообще, а во-вторых, где-то неподалеку находилась Гермиона, а от меня так разило спиртным, что я даже сам это чувствовал. Поэтому я предпочел тихонько проскользнуть в свою комнату, не обращая на себя ничьего внимания. Я переоделся и просмотрел газеты. Просто удивительно! Шестнадцать полос, и ничего существенного. Словно вату жуешь. Опубликована пресс-конференция президента. Два раза ее прочитал и ничего не понял — сплошной желудочный сок.

Пойду посмотрю, как там Гермиона.

12 июня

Температура плюс двадцать градусов, облачность ноль баллов, ветра нет. От этой синюховки отвратительная отрыжка. Разыгралась мигрень, весь день сидел дома. Появилась гастрономическая новинка — синий хлеб. Гермиона хвалит, Артемиде тоже понравилось, а я вот ел без всякого аппетита. Хлеб как хлеб, только синий.

13 июня

Наконец-то летняя погода, кажется, установилась. Температура плюс двадцать два, облачно...

Ну и дела! Не знаю даже, с чего и начинать. Насчет пенсии ничего не известно, но, в конце концов, речь сейчас не об этом. Только это я начал сегодняшнюю запись, как вдруг слышу — подъезжает машина. Я было подумал, что это Миртил привез с фермы обещанную четверть синюховки, и выглянул посмотреть. И как раз вовремя выглянул. Сначала я увидел, что под фонарем стоит незнакомый легковой автомобиль, очень роскошный, а потом заметил, что по саду, прямо к скамеечке, где устроились с вечера Артемида с господином Никостратом, решительным шагом направляется Харон. Я глазом моргнуть не успел, как господин Никострат кубарем вылетел за ограду. Вслед ему Харон с силою сверхчеловеческой запустил тросточку и шляпу, но господин Никострат не остановился, чтобы подобрать их, а только ускорил бег. Затем Харон занялся Артемидой. Мне было плохо видно, что между ними происходило, но у меня такое впечатление, что вначале Артемида попыталась упасть в обморок,

однако, когда Харон залепил ей оплеуху, отказалась от своего намерения и решила показать свой знаменитый характер. Она испустила протяжный, неприятный для слуха визг и полоснула Харона ногтями по физиономии. Повторяю, всего этого я не видел. Но когда спустя несколько минут я выглянул в гостиную, Харон, как тигр в клетке, расхаживал из угла в угол, заложив руки за спину, и на носу у него багровела свежая царапина. Артемида же деловито собирала на стол, и я заметил, что лицо ее выглядит несколько асимметрично. Я не выношу семейных сцен, у меня от них все слабеет внутри и хочется уйти куда-нибудь и ничего не видеть и не слышать. Однако Харон заметил меня прежде, чем я успел скрыться, и противу всяких ожиданий поздоровался со мною так приветливо и тепло, что я счел необходимым войти в гостиную и завязать с ним беседу.

Прежде всего я был приятно поражен тем обстоятельством, что Харон выглядел совсем не так, как я ожидал. Это был совсем не тот заросший и ободранный бродяга, который бряцал здесь оружием и бранился неделю назад. Собственно, я ожидал, что он будет еще более ободран и грязен. Однако передо мною сидел прежний Харон мирного времени, гладко выбритый, хорошо при-

чесанный, элегантно и со вкусом одетый. Только багровая царапина на носу несколько портила общее впечатление, да цвет лица, непривычно смуглый, свидетельствовал о том, что последние дни этому кабинетному работнику пришлось много бывать под открытым небом.

Пришла Гермиона в бигуди, извинилась за свой вид и тоже присела за стол, и вот мы сидим, как встарь, вчетвером, единой мирной семьей. До тех пор, пока женщины не удалились, убрав со стола посуду, разговор вертелся вокруг общих тем: о погоде, о здоровье, о том, кто как выглядит. Но когда мы остались одни, Харон закурил сигару и сказал, странно глядя на меня: «Ну что, отец, проиграно наше дело?» В ответ я только пожал плечами, хотя мне очень хотелось сказать, что если чье-нибудь дело и проиграно, то, во всяком случае, не наше. Впрочем, Харон, по-моему, и не ожидал ответа. При женщинах он сдерживался, и только сейчас я заметил, что он находится в состоянии почти болезненного возбуждения, в том самом состоянии, когда человек способен резко переходить от нервного смеха к нервному плачу, когда внутри у него все кипит и он испытывает неодолимую потребность излить это кипение в словах и поэтому говорит, говорит, говорит. И

Харон говорил.

У людей больше нет будущего, говорил он. Человек перестал быть венцом природы. Отныне и присно и во веки веков человек будет рядовым явлением натуры, как дерево или лошадь, и не больше. Культура и вообще весь прогресс потеряли всяческий смысл. Человечество больше не нуждается в саморазвитии, его будут развивать извне, а для этого не нужны школы, не нужны институты и лаборатории, не нужна общественная мысль, философия, литература, — словом, не нужно все то, что отличало человека от скота и что называлось до сих пор цивилизацией. Как фабрика желудочного сока, сказал он, Альберт Эйнштейн ничем не лучше Пандарея и даже наверняка хуже, потому что Пандарей отличается редкостной прожорливостью. Не в громе космической катастрофы, не в пламени атомной войны и даже не в тисках перенаселения, а в сытой, спокойной тишине кончается, видите ли, история человечества. «Подумать только, — с надрывом проговорил он, уронив голову на руки, — не баллистические ракеты, а всего-навсего горсть медяков за стакан желудочного сока погубили цивилизацию...»

Он говорил, конечно, гораздо больше и гораздо

эффектнее, но я плохо воспринимаю абстрактные рассуждения и запомнил только то, что запомнил. Признаться, вначале ему удалось нагнать на меня тоску. Однако я довольно быстро понял, что все это попросту истерические словоизлияния образованного человека, пережившего крушение своих личных идеалов. И я ощутил потребность возразить ему. Не потому, конечно, что надеялся переубедить его, а потому, что его рассуждения глубоко задели меня, показались мне выспренними и нескромными, и, кроме того, мне хотелось отделаться от того тягостного впечатления, которое произвели на меня его ламентации.

«У вас была слишком легкая жизнь, сын мой, — сказал я прямо. — Вы заелись. Вы ничего не знаете о жизни. Сразу видно, что вас никогда не били по зубам, что вы не мерзли в окопах и не грузили бревна в плену. У вас всегда было что кушать и чем платить. Вот вы и привыкли смотреть на мир глазами небожителя, этакого сверхчеловека. Экая жалость — цивилизацию продали за горсть медяков! Да скажите спасибо, что вам за нее дают эти медяки! Вам они, конечно, ни к чему. А вдове, которая одна поднимает троих детей, которая должна их выкормить, вырастить, выучить? А Полифему, калеке, полу-

чающему грошовую пенсию? А фермеру? Что вы предложили фермеру? Сомнительные социальные идейки? Книжечки-брошюрочки? Эстетскую вашу философию? Да фермер плевал на все это! Ему нужна одежда, машины, нужна уверенность в завтрашнем дне! Ему нужно иметь постоянную возможность взрастить урожай и получить за него хорошую цену! Вы смогли ему это дать? Вы, со всей вашей цивилизацией! Да никто за десять тысяч лет не смог ему это дать, а марсиане дали! Что же теперь удивляться, что фермеры травят вас, как диких зверей? Вы никому не нужны с вашими разговорами, с вашим снобизмом, с вашими абстрактными проповедями, легко переходящими в автоматную стрельбу. Вы не нужны фермеру, вы не нужны горожанину, вы не нужны марсианам. Я уверен даже, что вы не нужны большинству разумных образованных людей. Вы воображаете себя цветом цивилизации, а на самом-то деле вы плесень, взросшая на соках ее. Вы возомнили о себе и теперь воображаете, будто ваша гибель — это гибель всего человечества».

Мне показалось, что я буквально убил его своей речью. Он сидел, закрыв лицо руками, он весь трясся, он был так жалок, что сердце мое облилось кровью.

«Харон, — сказал я по возможности мягко, — мальчик мой! Постарайтесь хоть на минуту спуститься из облачных сфер на грешную землю. Постарайтесь понять, что человеку больше всего на свете нужны покой и уверенность в завтрашнем дне. Ведь ничего же страшного не случилось. Вот вы говорите, что человек превратился теперь в фабрику желудочного сока. Это громкие слова, Харон. На самом-то деле произошло нечто обратное. Человек, попавши в новые условия существования, нашел превосходный способ использования своих физиологических ресурсов для упрочения своего положения в этом мире. Вы называете это рабством, а всякий разумный человек полагает это обыкновенной торговой сделкой, которая должна быть взаимовыгодной. О каком рабстве может идти речь, если разумный человек уже сейчас прикидывает, не обманывают ли его, и если его действительно обманывают, то, уверяю вас, он сумеет добиться справедливости. Вы говорите о конце культуры и цивилизации, но это уж вовсе неправда! Непонятно даже, что вы имеете в виду. Газеты выходят ежедневно, выпускаются новые книги, сочиняются новые телеспектакли, работает промышленность... Харон! Ну чего вам недостает? Вам оставили все, что у

вас было: свободу слова, самоуправление, конституцию. Мало того, вас защитили от господина Лаомедонта! И вам, наконец, дали постоянный и верный источник доходов, который совершенно не зависит ни от какой конъюнктуры».

На этом я остановился, потому что обнаружил, что Харон вовсе не убит и не рыдает, как мне показалось, а хихикает самым неприличным образом. Я почувствовал себя в высшей степени оскорбленным, но тут Харон сказал:

«Извините меня, ради бога, я не хотел вас обидеть. Мне просто вспомнилась одна забавная история». Оказывается, два дня назад Харон во главе группы инсургентов из пяти человек захватил марсианскую машину. Каково же было их изумление, когда из машины выбрался им навстречу совершенно трезвый Минотавр с портативным аппаратом для отсасывания желудочного сока. «Что, ребята, выпить захотелось? — спросил он. — Давайте, это я вам сейчас устрою. Кто первый?» Инсургенты даже растерялись. Придя в себя, они без всякого удовольствия накостыляли Минотавру по шее за предательство и отпустили его вместе с машиной. Они-то собирались захватить машину, освоиться с управлением, затем проникнуть в ней на марсианский пост и устроить там

побоище, но этот эпизод так на них подействовал, что им стало на все наплевать. Вечером того же дня двое из них ушли по домам, а на другое утро остальных захватили фермеры. Я не совсем понял, какое отношение имеет эта история к предмету нашей беседы, но меня поразила мысль о том, что Харон, следовательно, побывал в плену у марсиан.

«Да, — ответил он на мой вопрос, — поэтому я и смеялся. Марсиане мне говорили точь-в-точь то же самое, что и вы. Правда, несколько более связно. И особенно они напирали на то, что я элита общества, что они испытывают ко мне глубокое уважение и не понимают, почему это я и мне подобные занимаются террористическими актами вместо того, чтобы создать разумную оппозицию. Они предлагают нам бороться с ними легальными средствами, гарантируя полную свободу печати и собраний. Славные ребята — марсиане, верно?»

Что я мог ему ответить? Особенно когда выяснилось, что обращались с ним превосходно, умыли его, одели, подлечили, дали ему автомобиль, конфискованный у какого-то содержателя опиумокурильни, и отпустили с миром.

«У меня нет слов», — сказал я, разведя руки. «У

меня тоже, — отозвался Харон, снова помрачнев. — У меня, к сожалению, тоже пока нет слов, а их надо найти. Грош нам всем цена, если мы их не найдем». После этого он вдруг совершенно неожиданно пожелал мне спокойной ночи и ушел к себе, а я остался сидеть как дурак, охваченный неприятными предчувствиями. Ох, будут у нас еще хлопоты с Хароном! Ох, будут! И что за отвратительная манера уходить, не окончив спора? Уже первый час ночи, а сна ни в одном глазу.

Кстати, сегодня в первый раз сдавал желудочный сок. Ничего страшного, только глотать неприятно, но говорят, что к этому быстро привыкаешь. Если сдавать ежедневно по двести граммов, то это составит сто пятьдесят в месяц. Однако!

14 июня

Температура плюс двадцать два, облачность ноль баллов, ветра нет. Вышли, наконец, новые марки. Боже мой, какая прелесть! Я купил весь выпуск в квартблоках, а потом не удержался и купил полные листы. Хватит экономить. Теперь я могу кое-что себе позволить. Ходили с Гермионой сдавать желудочный сок, в дальнейшем буду ходить один. Есть слух, будто пришел циркуляр министерства образования, подтверждающий прежнее положение о пенсиях, однако подробностей узнать мне не удалось. Господин Никострат не вышел на службу — прислал младшего брата сказать, что простудился и гриппует. Поговаривают, однако, что вовсе не гриппует, а неосторожно где-то упал и получил внутренние повреждения. Ай да Харон! Артемида ходит тише воды, ниже травы.

Да, совсем забыл. Заглянул я сегодня в гостиную и вижу: сидит Харон, а с ним какой-то приятный господин в больших очках. Я узнал его и буквально окаменел. Это был тот самый инсургент, которого на моих глазах захватили фермеры. Он тоже меня узнал и тоже окаменел. Некоторое вре-

мя мы смотрели друг на друга, потом я опомнился и, поклонившись, вышел. Не знаю, что он там обо мне говорил Харону. Впрочем, он скоро удалился. Я прямо утверждаю: мне это не нравится. Если они будут заниматься легальной борьбой, как им официально предложили, всякими там митингами, брошюрками, газетами, — тогда пожалуйста. Но если я еще хоть раз увижу в своем доме автоматы и прочее железо, тогда уж прошу прощения, дорогой зять. Здесь наши дорожки разойдутся. Хватит с меня.

Чтобы успокоиться, перечитал сейчас вчерашнюю запись своей беседы с Хароном. По-моему, логика моя безукоризненна. Он так ничего и не сумел возразить. Жалко только, что записал я гораздо более связно и убедительно, чем говорил. Говорить я совершенно не умею, это мое слабое место.

В утренних газетах было интересное сообщение о всеобщей демобилизации и полной демилитаризации страны. Слава богу, наконец-то додумались! Надо понимать, что марсиане взяли дело обороны целиком в свои руки, и нам теперь эта оборона не будет стоить ни гроша, если не считать, конечно, желудочного сока. В речи президента об этом прямо ничего не сказано,

но это читается между строк. Бывшие военные расходы, сказал он, направляются на повышение благосостояния и на развитие судостроения, предстоят определенные трудности, связанные с сокращением военной промышленности, однако это явление чисто временное. И еще он подчеркнул несколько раз, что никто от реорганизации не пострадает. Я понимаю это так, что военные промышленники и генералы получат хороший куш. Богатый народ эти марсиане! А демобилизация уже началась. Парал распространяет слухи, что и полиция тоже будет упразднена. Пандарей хотел его засадить, но мы не позволили. Слухи, конечно, это только слухи, но на месте Пандарея я бы вел себя сейчас осторожнее.

Нет, не хочется мне сегодня ничего записывать. Возьму-ка я сейчас свою вчерашнюю речь перед Хароном и перепишу ее начисто. Хорошая речь.

15 июня

Утро выдалось на редкость чистое и ясное. (Температура плюс двадцать один, облачность ноль баллов, ветра нет.) Как приятно встать рано утром, когда солнце уже разогнало утренний туман, но воздух еще свеж и прохладен и хранит в себе ночные ароматы. Мельчайшие капли росы мириадами радуг дрожат и переливаются подобно драгоценным камням на каждой травинке, на каждом листочке, на каждой паутинке, которую хлопотливый паучок протянул за ночь от своего домика к колыхающейся веточке. Нет, с художественной прозой у меня получается не так хорошо. С одной стороны, вроде бы все правильно, на месте, красиво, но все-таки как-то... Не знаю, что-то не то. Ну ладно.

Второй день подряд мы все отличаемся отменным аппетитом. Говорят, все дело в синем хлебе. Действительно, это удивительный продукт. Прежде я никогда не ел хлеба вне бутербродов и вообще мало ел хлеба, теперь же я буквально им объедаюсь. Он тает во рту, как пирожное, и совершенно не обременяет желудка. Даже Артемида, которая всегда заботилась о сохранении

фигуры гораздо больше, чем о сохранении семьи, не может теперь удержаться и ест так, как надлежит есть молодой, здоровой женщине ее возраста. Харон тоже ест и похваливает. На мои не лишенные язвительности намеки он отвечает только: «Одно другому не мешает, отец. Одно другому не мешает».

После завтрака я направился в мэрию и пришел как раз к началу присутствия. Наших на «пятачке» еще не было. Господин Никострат выглядит неважно. При каждом движении он морщится, хватается за бок и время от времени тихонько постанывает. Разговаривает он болезненным шепотом, на ногти же свои не обращает никакого внимания. За все время нашей беседы он ни разу не посмотрел на меня, но разговаривал вежливо, учтиво и без малейшей примеси обычной своей иронии. Действительно, получен циркуляр, подтверждающий прежнее положение о пенсионном обеспечении. Мои бумаги, вероятно, уже у министра. Надо думать, все обойдется благополучно и я получу первый разряд, однако не помешало бы попросить господина мэра направить министру особое письмо, в котором подтверждалось бы мое личное участие в вооруженной борьбе против инсургентов. Эта мысль мне очень понравилась,

и мы с господином Никостратом договорились, что черновик такого донесения составлю я, а он его отредактирует и представит господину мэру на рассмотрение.

А тем временем на «пятачке» уже собрались наши. Последним подошел Морфей, и мы его оштрафовали. Довольно либерализма, мы последнее время совсем запустили клубные дела. Всех страшно интересовал один вопрос: кончилось ли дело между Хароном и господином Никостратом. Меня заставили самым подробным образом описать все, что я видел, и некоторое время одноногий Полифем с Силеном спорили, что именно может быть повреждено у господина Никострата. Как человек бывалый и унтер-офицер, Полифем утверждал, что при такой схватке у господина секретаря должен быть поврежден копчик, потому что только точно нацеленный удар носком сапога в соответствующее место мог вызвать описанный мною способ оставления господином Никостратом поля боя. Силен же, как человек не менее бывалый и бывший юрист, возражал, что точно такой же эффект проистекает вследствие хорошо нацеленного удара по корпусу, а если принять во внимание позы, которые господин Никострат принимает теперь при ходьбе, то

неизбежно заключение, что у него повреждено ребро с левой стороны: либо трещина, либо, может быть, даже перелом. Оба, впрочем, сошлись во мнении, что до конца дела еще далеко и что господин Никострат, человек молодой, горячий и спортивный, не преминет встретить Харона в каком-нибудь темном уголке в компании своих приятелей.

Меня расспрашивали также, продолжает ли Артемида питать благосклонность к господину Никострату, и когда я решительно отказался отвечать на этот бестактный вопрос, заключили почти единогласно, что, конечно же, да, продолжает. «Женщина есть женщина, — сказал желчный Парал. — Женщине всегда мало одного мужчины, это лежит в ее биологической природе». Я окончательно рассердился и заметил, что такое свойство женщин лежит скорее в биологической природе некоторых мужчин, вроде Парала, и все нашли мою шутку очень остроумной, поскольку все недолюбливали Парала за его желчность, а во-вторых, вспомнили, что в свое время, еще до войны, от него убежала с коммивояжером молодая жена. Возникла весьма благоприятная ситуация, чтобы поставить, наконец, Парала с его вечными квазифилософскими

сентенциями на место.

Уже Морфей, придумавший новую остроту, заранее давясь от смеха, хватал всех за руки и кричал: «Нет, вы послушайте, что я скажу!», но тут, как всегда не ко времени, приперся этот старый осел Пандарей и, не разобравшись в предмете разговора, объявил своим громовым голосом, что нынче к нам из-за границы пришла такая мода — жить втроем, вчетвером с одной женщиной, как это водится между кошками. Ну что тут будешь делать! Остается только руками развести. Парал немедленно ухватился за это высказывание и моментально перевел разговор на личность Пандарея. «Да, Пан, — сказал он. — Ты сегодня в ударе, старик, такого я не слыхивал даже от своего младшего зятя — майора». Второго зятя Парала знали далеко за пределами города, удержаться было невозможно, и все мы так и покатились со смеху, а Парал еще добавил со скорбным видом: «Нет, старички, зря мы все-таки демилитаризируемся. Нам, старички, надо было бы лучше деполицеизироваться или, на худой конец, депандареизироваться». Пандарей немедленно раздулся, как рыба-шар, застегнул китель на все пуговицы и гаркнул: «Поговорили — все!..»

Идти на донорский пункт было еще рано, и я направился к Ахиллесу. Я прочел ему свою переписанную начисто речь перед Хароном. Он слушал меня, раскрыв рот. Успех был полный. Вот его точные слова, когда я закончил чтение: «Это написал настоящий трибун, Феб! Где ты это взял?» Я немножко поломался для пущего эффекта, а потом объяснил, как было дело. Но он не поверил! Он объявил, что отставному учителю астрономии просто не под силу столь точно сформулировать мысли и чаяния простого народа. «Это под силу только великим писателям, — говорил он, — или великим политическим деятелям. А я что-то не вижу у нас в стране, — говорил он, — ни великих писателей, ни великих политических деятелей».

«Феб, ты украл его у марсиан, — сказал он. — Признайся, старина, я никому не скажу». Я был в растерянности. Его недоверие одновременно и льстило мне, и вызывало во мне досаду. А тут еще он вдруг показывает мне запечатанный конверт из плотной черной бумаги. «Что это?» — спрашиваю я с нарочитой небрежностью, в то время как сердце мое уже почуяло беду и заныло от дурных предчувствий. «Марки, — говорит этот гордец. — Настоящие. Оттуда!» Не помню, как я справился с собой. Словно в тумане, слушал я его

восторги, выражаемые деланно-сочувственным тоном. А он вертел конверт перед моим носом и все рассказывал мне, какая это редкость, до какой степени невозможно их нигде достать, какие баснословные суммы предлагал ему уже за них сам Хтоний и как ловко поступил он, Ахиллес, потребовав компенсации за изъятые лекарства не деньгами, а марками. Суммы, которые он небрежно называл, привели меня в полнейшее смятение. Оказывается, рыночные цены на марсианские марки так высоки, что никакая пенсия первого класса и никакой желудочный сок не способны что-либо изменить в моем положении. Но в конце концов я опомнился, меня осенило, и я попросил Ахиллеса показать мне эти марки. И все стало ясно. Этот хитрец замялся, растерялся и принялся лепетать что-то о том, будто эти марки, будучи марсианскими, боятся света подобно фотографической бумаге, что рассматривать их можно только при специальном освещении, а здесь, в аптеке, соответствующего оборудования у него пока нет. Я приободрился и попросил разрешения заглянуть к нему вечерком домой. Без всякой живости он пригласил меня, признавшись, что, честно говоря, дома у него пока тоже нет специального оборудования, но к завтрашне-

му вечеру он постарается что-нибудь придумать. Вот в это я верю. Он наверняка что-нибудь придумает. Наверняка окажется, что эти марки растворяются в воздухе или что вообще смотреть на них нельзя, а можно только щупать руками.

В разгар нашей беседы я вдруг услыхал чье-то дыхание над своим левым ухом и краем глаза уловил некое движение рядом с собой. Я сразу вспомнил таинственное посещение и резко обернулся, но это оказалась прислуга мадам Персефоны, которая пришла попросить чего-нибудь повернее. В поисках препарата, который удовлетворил бы мадам Персефону, Ахиллес удалился в лабораторию и, по-видимому, вознамерился не возвращаться до тех пор, пока я не уйду. Я ушел, не скрывая иронии.

На донорском пункте меня ожидал приятный сюрприз: соответствующие анализы выявили, что в силу имеющихся у меня внутренних хронических заболеваний желудочный сок мой надлежит относить к первому сорту, так что за сто граммов сока мне будут теперь выплачивать на сорок процентов больше, нежели всем прочим. Мало того, дежурный фельдшер намекнул мне, что, употребляя в умеренных, но достаточных количествах синюховку, я смогу добиться

перехода в сорт экстра и получать за сто граммов на семьдесят-восемьдесят процентов больше. Я боюсь сглазить, но, кажется, наконец, впервые в жизни мне немножечко повезло.

В самом радужном настроении я отправился в трактир и просидел там до позднего вечера. Было очень весело. Во-первых, Япет теперь вовсю торгует синюховкой, которую поставляют ему оптом окрестные фермеры. От синюховки неприятная отрыжка, но она дешева, пьется очень легко и дает приятное, веселое опьянение. Очень нас развлек один из молодых людей в узком пальто. Я так и не научился различать их и до сегодняшнего вечера испытывал к обоим естественную неприязнь, которую разделяло со мной большинство наших. Обычно эти грозные победители господина Лаомедонта вместе или порознь проводили в трактире все время от обеда и до закрытия — сидели у стойки, пили и упорно молчали, словно бы никого не замечая вокруг. Однако сегодня этот молодой человек вдруг оторвался от стойки, подошел к нашему столику и, когда все настороженно замолчали, в наступившей тишине прежде всего заказал выпивку на всю компанию. Затем он уселся между Полифемом и Силеном и негромко произнес: «Эак».

Сначала все мы решили, что у него отрыжка, и Полифем по своему обыкновению сказал ему: «С приветом». Однако молодой человек несколько обиженно пояснил, что Эак — это его имя и что назвали его так в честь сына Зевса и Эгины, отца Теламона и Пелея, деда Эанта Большого. Полифем немедленно принес свои извинения и предложил выпить за здоровье Эака, так что инцидент был полностью исчерпан. Мы все тоже представились, и очень скоро Эак почувствовал себя среди нас как дома. Он оказался прекрасным рассказчиком, мы просто животы надорвали, слушая его.

Особенно нам понравилось, как они намыливали пол в гостиной, раздевали барышень и устраивали за ними погони. Это у них называлось «играть в пятнашки», и рассказывал он об этом уморительнейшим образом. Должен признаться, что мы все ощущали все-таки некоторый стыд за наше захолустье, где ни о чем подобном слыхом не слыхали, и поэтому очень уместной оказалась остроумная эскапада наших молодых шалопаев из компании господина Никострата.

Они появились на площади, ведя за собой на веревке крупного рыжевато-красного петуха. Господи, до чего же смешно это было! Распевая

«Ниобу-Ниобею», они проследовали через всю площадь прямо в трактир. Здесь они обступили стойку и потребовали для себя бренди, а для петуха — синюховки. При этом они во всеуслышание объявили, что празднуют наступление у петуха половой зрелости и приглашают участвовать всех желающих. Мы чуть не лопнули. Эак тоже хохотал вместе с нами, так что город наш, как некий центр остроумных развлечений, был несколько реабилитирован в глазах этого столичного жителя.

Еще интересно было, когда пришел Ахиллес и сообщил, что из зала заседаний мэрии похищено шесть стульев полумягких. Пандарей уже обследовал место преступления и утверждает, что напал на след. Он говорит, что похитителей было двое, причем у одного была велюровая шляпа, а у другого шесть пальцев на правой ноге, но вообще-то все уверены, что стулья украл городской казначей. Желчный Парал так прямо и заявил: «Ну вот он и опять выкрутился. Теперь все будут говорить об этих дурацких стульях и начисто позабудут про последнюю растрату».

Когда я вернулся домой, Харон еще сидел в редакции, и мы поужинали втроем.

Сейчас я выглянул в окно. Дивная летняя ночь

распахнула над городом бездонное небо, усеянное мириадами мерцающих звезд. Теплый ветерок струит волшебные ароматы и ласкает ветви уснувших деревьев. Чу! — слышится легкое жужжание заблудившегося в траве светлячка, спешащего на свидание к своей изумрудной возлюбленной. Сон и благодать опустились на уставший от дневных трудов городок. Нет, как-то не так все-таки. Ну ладно. Я это к тому, что красиво было, когда над городом символом мира и безопасности бесшумно прошли в вышине сияющие волшебным светом огромные летающие корабли — сразу видно, что не наши.

Свою речь я назову «Покой и уверенность» и отдам Харону в газету. Пусть только попробует не напечатать. Как это так, весь город за, а он один, видите ли, против! Не выйдет, дорогой зятек, не выйдет!

Схожу, посмотрю, как там Гермиона.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Не так ли? (*фр.*) Выбегалло обожает вкраплять в свою речь отдельные словосочетания на французском, как он выражается, диалекте. Никак не отвечая за его произношение, мы взяли на себя труд обеспечить перевод. (*Прим. авторов.*)

2 В массе, у большинства (*фр.*).

3 Такова жизнь (*фр.*).

4 До свидания (*фр.*).

5 Господи! Ужель обычный путь тебе заказан, путь достойного человека?.. Сэр (*староангл.*).

6 Прошу прощения (*англ.*).

7 Понимаете? (*фр.*)

8 Перефраз латинской поговорки «человек человеку волк».

9 Ну и дела! (*фр.*)

10 Женщины, женщины!.. (*фр.*)

11 Чудесно, превосходно, прелестно (*фр.*).

12 Говорят, что... (*фр.*)

13 Сытое брюхо к учению глухо (*лат.*).

14 Дрожание его левой икры есть великий признак! (*фр.*)

15 Разумеется (*фр.*).

16 «Мужские» (*англ.*).

17 Где ты ни на что не способен, там ты не должен ничего хотеть (*лат.*).

18 Рыцарь без страха и упрека (*фр.*).

19 Когда будет нужно, вас позовут (*фр.*).

20 Привет! Вы с той стороны? (*англ.*)

21 Да (*англ.*).

22 Ну и как у вас там? (*англ.*)

23 Ничего. А здесь? (*англ.*)

24 Порядок (*англ.*).

25 Дикси (dixi) — я сказал (*лат.*).

26 Я — рекомендатель этого благородного старика (*фр.*).

27 Это прелестно, в этом есть нечто мелодичное... (*фр.*)

28 Все понять — значит все простить (*фр.*).

29 Бывают исключения! (*фр.*)

30 Это смешно, товарищ (*фр.*).

31 Поступай как следует, а там будь что будет (*фр.*).

32 Это тяжко, но это полезно (*фр.*).

33 Мне пришлось все это предусмотреть (*фр.*).

34 Браки совершаются на небесах (*фр.*).

35 Мы об этом тоже кое-что знаем (*фр.*).

36 В нашем положении существуют определенные обязанности (*фр.*).

37 И это все, что я могу вам сказать (*фр.*).

38 Я говорю вам это, положив руку на сердце! (*фр.*)

39 Я вас спрашиваю (*фр.*).

40 Когда вино откупорено, его следует выпить (*фр.*).

41 Помогай себе сам, тогда и бог тебе поможет (*фр.*).

42 Вот воспитание, какое дают теперь молодым людям! (*фр.*)

43 Таково наше мнение (*фр.*).

44 Мой дорогой, если вы будете здесь вести себя, как дома, вы кончите очень плохо (*фр.*).

45 Я — рекомендатель этого благородного старика (*фр.*).

46 Невозможно! (*фр.*)

47 Я говорю вам это, положа руку на сердце (*фр.*).

48 Я вас спрашиваю (*фр.*).

49 Когда вино откупорено, его следует выпить (*фр.*).

50 Помогай себе сам, тогда и бог тебе поможет (*фр.*).

51 Вот воспитание, какое дают теперь молодым людям! (*фр.*)

КОММЕНТАРИИ

ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ

С. 7. *Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты, признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно... нет, нет, совсем не понимаю. Н. В. Гоголь* — «Нос», 3 («<...> всего, — это <...> сюжеты. Признаюсь <...>»).

С. 7. *Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня <...>. Солнце садилось...* — цитата из главы 2 «Капитанской дочки» А. Пушкина. Подробнее история этой цитаты изложена в послесловии Ал. Ал. Щербакова «Тридцать лет сплошного понедельника» к изданию «Понедельник начинается в субботу. Сказка о тройке», Санкт-Петербург: Terra Fantastica, 1992.

С. 11. *Лукоморье, изба на куриных ногах, дуб, кот, Наина, чудеса, сказки, песни, русалка* — развернутая реминисценция «Руслана и Людмилы» А. Пушкина.

С. 16. *Цыкать зубом* — ср. параллель в трилогии А. Н. Толстого «Хождение по мукам», «Сестры» (23): «Николай Иванович вытаскивал из портфеля пачку газет и принимался за чте-

ние, поковыривая зубочисткой зуб; когда он доходил до неприятных сообщений, то начинал цыкать зубом, покуда Катя не говорила: «Николай, пожалуйста, не цыкай». <...> — ...Невероятно! — Николай, не цыкай. — Оставь меня в покое!»; «Восемнадцатый год» (7): «Кто-то в тоске стал цыкать зубом».

С. 18. *Наша любовь впереди.* — слова из песни «Тучи над городом встали» (из к/ф «Человек с ружьем»), слова и музыка П. Арманда.

С. 19. *...Опустевший дом превратился в логово лисиц и барсуков, и потому здесь могут появляться странные оборотни и призраки. А. Уэда* — «Ночлег в камышах» («Луна в тумане», М.: ГИХЛ, 1961, с. 56), перевод Р. Зея и А. Стругацкого.

С. 21. *«Подавались ему обычные в трактирах блюда, как-то: кислые щи, мозги с горошком, огурец соленый <...> и вечный слоеный сладкий пирожок...»* — цитата из поэмы Н. Гоголя «Мертвые души», 1, 1: «Покамест ему подавались разные обычные в трактирах блюда, как-то: щи с слоеным пирожком <...>, мозги с горошком <...>, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок...».

С. 22. *Алексей Толстой, «Хмурое утро», «Махно, сломав сардиночный ключ, вытащил из кармана перламутровый ножик с полусотней лезвий и*

им продолжал орудовать, открывая жестянки с ананасами <...>, французским паштетом, с омарами, от которых резко запахло по комнате». — глава 11 («Махно <...> в комнате»).

С. 22. *У Диккенса все едят устриц, орудуют складными ножами, отрезают толстые ломти хлеба, намазывают маслом...* — «Приключения Оливера Твиста», гл. 5: «...он не видел перед собой никого, кроме рослого приютского мальчика, который сидел на тумбе перед домом и ел ломоть хлеба с маслом, разрезая его складным ножом на куски величиной с собственный рот и проглатывая их с большим проворством»; гл. 27: «Стол был покрыт скатертью; на нем красовались хлеб и масло, тарелки и стаканы, кружка портера и бутылка вина. Во главе стола <...> сидел мистер Ноэ Клейпол; в одной руке у него был раскрытый складной нож, а в другой — огромный кусок хлеба с маслом. Подле него стояла Шарлотт и раскрывала вынутые из бочонка устрицы, которые мистер Клейпол удостаивал проглатывать с удивительной жадностью». Перевод А. Кривцовой.

С. 24, 71. — *Слон есть самое большое животное из всех живущих на земле. У него на рыле есть большой кусок мяса, который называется хоботом потому, что он пуст и протянут, как*

труба. Он его вытягивает и сгибает всякими образами и употребляет его вместо руки..., Вино, употребляемое умеренно, весьма хорошо для желудка; но когда пить его слишком много, то производит пары, унижающие человека до степени несмысленных скотов. Вы иногда видели пьяниц и помните еще то справедливое отвращение, которое вы к ним возымели..., Все оне помолодели, пробыв час в воде, и вышли из нее такими же красивыми, розовыми, молодыми и здоровыми, сильными и жизнерадостными, какими были в двадцать лет. — источники цитат не обнаружены.

С. 24–25. *Вскоре очи сии, еще отверзаемые, не узрят более солнца, но не попусти закрыться оным без благоутробного извещения о моем прощении и блаженстве... <...> «Дух или Нравственныя Мысли Славнаго Юнга, извлеченныя из нощных его размышлений» <...> Чины, краса, богатства, / Сей жизни все приятства, / Летят, слабеют, исчезают, / Се тлен, и щастье ложно! / Заразы сердце угрызают, / А славы удержать не можно...* — цитируется «Дух, или Нравственныя мысли славнаго Юнга, извлеченныя из Нощных его размышлений; с присовокуплением некоторых нравственных стихотворений лучших

российских и иностранных стихотворцов: Ломоносова, Хераскова, Державина, Карамзина, Томсона и других», СПб, 1806 г. (первоиздание — в 1798 г.). Перевод (и дополнения) А. Андреева французской компиляции Жюли Карон по переводу П. Летурнера сочинения Э. Юнга «Жалоба, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии». Прозаическая цитата — «Дух Юнга», глава 8. «О смерти», с. 75 («...еще отверзаемые...»). Стихотворная цитата — отрывок из оды М. Хераскова «Добродетель» («Оды нравоучительные», 18), в издании «Дух...» — на с. 213, «Избранные нравственные стихотворения. Стих 14. Добродетель» (у Хераскова: «Все тлен и щастье ложно», в «Духе...» опечатка: «Ое тлен и щастье ложно!», по первому изданию «Духа...»: «Се тлен и щастье ложно!»).

С. 25, 68. *«Все — единое Я, это Я — мировое Я. Единение с неведением, происходящее от затмения света Я, исчезает с развитием духовности», Изречения из «Упанишад», Прозрачное масло, находящееся в корове, <...> не способствует ее питанию, но оно снабжает наилучшим питанием, будучи обработано надлежащим способом.* — цитируется издание «Основы Упанишад (Дух Упанишад). Сборник выдержек, афоризмов,

изречений, текстов из «Упанишад», священных индусских книг», СПб., 1909 г., перевод под редакцией В. Синга. Первая цитата — часть 3, «Истинное Я», с. 21. Вторая цитата — часть 13, «Единение (Йога)», с. 77. Третья цитата — часть 9, «Благоговейное поклонение», с. 47 («<...> надлежащим образом»).

С. 25, 231. *...я указательным пальцем нажал на левый глаз. Это было старинное правило распознавания галлюцинаций, которое я вычитал в увлекательной книге В. В. Битнера «Верить или не верить?». Достаточно надавить пальцем на глазное яблоко, и все реальные предметы — в отличие от галлюцинаций — раздвоятся, Других способов нет, что ли? Надавите на глаз. Или дайте диктофон постороннему человеку. Пусть прослушает и скажет, есть там запись или нет.* — В. Битнер в книге «Верить или не верить? Экскурсия в области таинственного» (СПб.: Тип. П. П. Сойкина, 1899) в главе 3 «Действительное и мнимое» приводит этот совет как устаревший (сс. 35–36), а в качестве способов, гарантирующих от ошибок и устраняющих возможность обмана, рекомендует использование технических регистрирующих средств — фотографии, фонографа (с. 45).

С. 26. *«П. И. Карпов. Творчество душевнобольных*

и его влияние на развитие науки, искусства и техники». <...> «Стих № 2»: В кругу облаков высоко ~ Глаза светятся как день. — М.–Л.: Госиздат, 1926, сс. 40–41. Привожу Стих № 2 полностью в авторских орфографии и пунктуации: «В кругу облаков, высоко / Чернокрылый воробей, / Трепеща и одиноко, / Парит быстро над землей; / Он летит ночной порой, / Лунным светом освещенный / И, ничем неудрученный, / Все он видит под собой. / Гордый, хищный, разъяренный / И летая словно тень. / Глаза светятся, как день. / В след несется ястреб жадный. / Воробей тому счастливый, / Улетая в дальность прочь... / Но ведь ястреб быстрокрылый / Увидит его небось. / Его мелких крыл журчанье / Нарушает тишину. / Ястреб носится отчайно, / Но не найдет путь к нему. / Сколько же осталось фут / Пролететь и где заснуть / Ему придется наедине. / В лесу ль. В роскошной ли долине / Увы, придется ль отдохнуть? (1890–1907 г.)».

С. 29. *«Раскрытие преступлений» А. Свенсона и О. Венделя*. — М.: Издательство иностранной литературы, 1957 (фамилия первого из авторов — Свенссон).

С. 30. *Мне пришло в голову, что обычное интервью с дьяволом или волшебником можно с успехом заменить искусным использованием*

положений науки. Г. Дж. Уэллс — предисловие к сборнику «Семь знаменитых романов». Журнал «Вопросы литературы», 1963, № 9, с. 174, перевод М. Ландора.

С. 31, 177. *Вий, Хома Брут* — персонажи повести Н. Гоголя «Вий».

С. 31. *Ибикус* — от повести А. Н. Толстого «Похождения Невзорова, или Ибикус», где термин объясняется как имя карты из гадательной колоды девицы Ленорман, изображающей череп: «Символ смерти, или говорящий череп Ибикус».

С. 32. *Какой-то герой даже заклинал читателей держаться подальше от завесы, отделяющей наш мир от неведомого, пугая духовными и физическими увечьями.* — отсылка к следующим словам из повести А. К. Толстого «Упырь»: «Любезный друг! Вы молоды и имеете пылкий характер. Послушайте человека, узнавшего на опыте, что значит пренебрегать вещами, коих мы не в состоянии понять и которые, слава Богу, отделены от нас темной, непроницаемой завесой. Горе тому, кто покусится ее поднять! Ужас, отчаянье, сумасшествие будут наградою его любопытства».

С. 37. *...Паскаль: «Будем же учиться хорошо мыслить — вот основной принцип морали».* — положение Б. Паскаля, опубликованное в по-

смертном сборнике «Мысли».

С. 39–40. *Стиляга. Папина «Победа»* — термины официальной пропаганды времен борьбы с молодежной субкультурой пятидесятых-шестидесятых годов. Источник обоих — журнал «Крокодил»: «Стиляга» — фельетон Д. Беляева (1949, № 7, с. 10), «Папина “Победа”» — рисунок Б. Пророкова (1954, № 6, с. 16).

С. 40. *«Козара»* — югославский к/ф, реж. В. Булаич.

С. 43. *Кто позволил себе эту дьявольскую шутку? Схватить его и сорвать с него маску, чтобы мы знали, кого нам поутру повесить на крепостной стене! Э. А. По* — «Маска Красной Смерти», перевод Р. Померанцевой.

С. 48. *Репагулярный скачок, феномен Тарантоги* — отсылки к роману И. Ефремова «Туманность Андромеды» и пьесе С. Лема «Путешествие профессора Тарантоги».

С. 58. *...граф Калиостро! <...> по Толстому, граф был жирен и очень неприятен на вид...* — отсылка к рассказу А. Н. Толстого «Граф Калиостро».

С. 66. *«Устремив свои мысли на высшее Я, свободный от вожделения и себялюбия, исцелившись от душевной горячки, сражайся, Арджуна!» <...> «Бхагавад-Гита» <...> Песнь третья, стих трид-*

цатый. — «Бхагавад-Гита, или Песнь Господня», Калуга: Типография Калужской Губернской Земской управы, 1914; Беседа 3, стих 30: «...Устремив свои действия на Высочайшее Я, / Свободный от вожделения и себялюбия, / Исцелившись от душевной горячки, / Сражайся, Арджуна!» Перевод А. Каменской и И. Манциарли.

С. 68. — *Нет, — произнес он в ответ настойчивому вопросу моих глаз, — я не член клуба, я — призрак. — Хорошо, но это не дает вам права расхаживать по клубу. Г. Дж. Уэллс* — «Неопытное привидение», перевод А. Туфанова.

С. 69. *Алиса в Стране Чудес* — заглавие книги Л. Кэрролла.

С. 72 [broken link: #ref031]. *Видел я сам, как, подобравши черные платья, / Шла босая Канидия, простоволосая, с воем, / С ней и Сагана, постарше годами, и бледные обе. / Страшны были на вид. Тут начали землю ногтями / Обе рыть и черного рвать зубами ягненка...* — цитата из «Сатир» Горация (1, 8, 23–27), перевод А. Фета («<...> подобравши черное платье, / Шла <...> постарше летами, и <...>»).

С. 78. *...соплеменных гор* — реминисценция стихотворения «Спор» М. Лермонтова: «Как-то раз перед толпою / Соплеменных гор...».

С. 82, 175. *Суета сует, Всяческая суета* — Книга Екклезиаста (1, 2): «...суета сует, — всё суета!» Тот же церковнославянский текст: «...суета суетствий, всяческая суета».

С. 82. *Среди героев рассказа выделяются один-два главных героя, все остальные рассматриваются как второстепенные. «Методика преподавания литературы»* — В. Голубков, указанное сочинение, 2, 5, Рассказ, 7.

С. 84. <*Черт украл луну, кинофильм*> — мотив «Ночи перед рождеством» Н. Гоголя. Киноверсия — фильм А. Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки».

С. 86. *Мертвые души* — поэма Н. Гоголя.

С. 88. *...при Алексее Михайловиче — царе Тишайшем его били батогами нещадно и спалили у него на голой спине полное рукописное собрание его сочинений...* — ср. параллель в романе А. Н. Толстого «Петр Первый» (1, 5, 9): «Подхватили, поволокли на сруб. Там Емельян сорвал с него все, догола, повалил, на розовую жирную спину положил еретические книги тетради и поданной снизу головней поджег их... Так было указано в грамоте: книги и тетради сжечь у него на спине...».

С. 90, 204. *Много крови, много песней за прелестных льется дам..., От Севильи до Гренады.*

— романс П. Чайковского на стихи А. К. Толстого из поэмы «Дон Жуан», ч. 1, сц. «Ночь. Гулянье у фонтана» («...Много <...> песней / Для прелестных <...>», «От Севильи до Гренады...»).

С. 90. *Только тот достигнет цели, кто не знает слова «страх»...* — песенка Альдемаро из постановки в ЦТКА пьесы Лопе де Вега «Учитель танцев», слова Т. Щепкиной-Куперник, музыка А. Крейна («...Только тот добьется цели, / Кто не знает слова «страх»).

С. 90, 91. *Амонтильядо, Толедо, Великий Инквизитор* — реминисценции из Э. По («Бочонок амонтильядо», «Колодец и маятник»).

С. 94. *...нес па?* — большинство французских фраз Выбегалло заимствовано из романа Л. Толстого «Война и мир». В данном случае — т. 2, ч. 3, гл. 21. В дальнейшем подобные соответствия обозначены аббревиатурой ЛТ.

С. 97. *«Счастливей всех шуты, дураки, сущеглупые и нерадивые, ибо укоров совести они не знают, призраков и прочей нежити не страшатся, боязнью грядущих бедствий не терзаются, надеждой будущих благ не обольщаются»* — использованы слова из главы 35 «Похвального слова Глупости» Эразма Роттердамского. См. издание: М.–Л.: Academia, 1931, с. 99. Перевод П. Губера («...не луч-

ше ли всего живется той породе людей, которые слывут шутами, дураками, сущеглупыми, юродивыми <...>? <...> Укоров совести <...>»).

С. 98 [broken link: #ref044]. *Вы спрашиваете: / Что считаю / Я наивысшим счастьем на земле? / Две вещи: / Менять вот так же состоянье духа, / Как пенни выменял бы я на шиллинг, / И / Юной девушки / Услышать пенье / Вне моего пути, но вслед за тем, / Как у меня дорогу разузнала. Кристофер Лог* — «Эпитафия», журнал «Иностранная литература», 1961, № 2, с. 148, перевод Л. Мартынова.

С. 100–101. *Не могу не вспомнить, дорогие сэры, как в прошлом году мы с сэром председателем райсовета товарищем Переяславльским...*

Ойра-Ойра душераздирающе зевнул, мне тоже стало тоскливо. Мерлин был бы, вероятно, еще хуже, чем Выбегалло, если бы не был столь архаичен и самонадеян. По чьей-то рассеянности ему удалось продвинуться в заведующие отделом Предсказаний и Пророчеств, потому что во всех анкетах он писал о своей непримиримой борьбе против империализма янки еще в раннем средневековье, прилагая к анкетам нотариально заверенные машинописные копии соответствующих страниц из Марка Твена. <...> он был вновь переведен на свое место заведующего бюро по-

годы <...> затянул длинный, всем давно уже осточертевший рассказ о том, как он, Мерлин, и председатель Соловецкого райсовета товарищ Переяславльский совершали инспекторский вояж по району. Вся эта история была чистейшим враньем, бездарным и конъюнктурным переложением Марка Твена. О себе он говорил в третьем лице, а председателя иногда, сбиваясь, называл королем Артуром.

— Итак, председатель райсовета и Мерлин отправились в путь и приехали к пасечнику, Герою Труда сэру Отшельниченко, который был добрым рыцарем и знатным медосборцем. И сэр Отшельниченко доложил о своих трудовых успехах и полечил сэра Артура от радикулита пчелиным ядом. И сэр председатель прожил там три дня, и радикулит его успокоился, и они двинулись в путь, и в пути сэр Ар... председатель сказал: «У меня нет меча». — «Не беда, — сказал ему Мерлин, — я добуду тебе меч». И они доехали до большого озера, и видит Артур: из озера поднялась рука <...> гнусаво тянул Мерлин: «...И возле Лежнева они встретили сэра Пеллинора, однако Мерлин сделал так, что Пеллинор не заметил председателя...» — Марк Твен, «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», гл. 3: «Опять теми же

самыми словами расскажет ту же самую древнюю скучную историю <...> — Кто он? — Мерлин, могущественный чародей и великий лжец. <...> Он так надоел нам своей единственной сказкой! <...> Он всегда рассказывает ее в третьем лице, делая вид, будто он так скромен, что не хочет прославлять самого себя. <...> Старик начал свой рассказ; и мальчик сразу же заснул по-настоящему; заснули псы, заснули придворные, заснули лакеи и воины. Однообразно звучал скучный голос, со всех сторон доносился мерный храп <...> Вот что рассказывал старик:

— ...Итак, король и Мерлин отправились в путь и приехали к отшельнику, который был добрым человеком и великим знахарем. Отшельник осмотрел раны короля и дал ему славные снадобья; и король прожил там три дня, и раны его исцелились; и они двинулись в путь. И в пути Артур сказал: «У меня нет меча». — «Не беда, — сказал Мерлин, — я добуду тебе меч». Они доехали до большого, глубокого озера; и видит Артур: из озера, на самой его середине, поднялась рука в белом парчовом рукаве, и в руке той — меч. «Вот, — сказал Мерлин, — тот меч, о котором я говорил тебе». <...> Возле Карлиона они встретили сэра Пеллинора; однако Мерлин сделал так, что

Пеллинор не заметил Артура и проехал мимо, не сказав ни слова»; гл. 23: «Ступайте домой, Джон У. Мерлин, и принимайтесь за предсказания погоды. Здесь вам больше делать нечего. <...> я оставил его в бюро предсказаний погоды, — я хотел подорвать его репутацию». Перевод Н. Чуковского. Процитированные слова Мерлина из главы 3 памфлета Марка Твена соотносятся с текстом главы 23 части 1 «Смерти Артура» Т. Мэлори.

С. 101. *...рука, мозолистая и своя...* — контаминация строк песни «Красная Армия всех сильней» (музыка С. Покрасс, слова П. Григорьева) «Так пусть же Красная / Сжимает властно / Свой штык мозолистой рукой...» и «Интернационала» (музыка П. Дегейтера, слова Э. Потье, рус. текст А. Коца) «...Своею собственной рукой». Также возможно влияние перефразировки Б. Окуджавы в песне «Ванька Морозов»: «...и страсть Морозова схватила / своей мозолистой рукой».

С. 103. *Я шел, спускаясь в темные коридоры и потом опять поднимаясь наверх. Я был один; я кричал, мне не отвечали; я был один в этом обширном, в запутанном, как лабиринт, доме. Ги де Мопассан* — «Кто знает?», 2. Г. де Мопассан, «Рассказы», М.–Л.: Госиздат, 1927, с. 290. Сборник

составили переводы Т. Богданович, П. Казанского и М. Тимофеевой. Перевод новеллы «Кто знает?» принадлежит предположительно П. Казанскому («<...> обширном, запутанном как лабиринт доме»).

С. 107. *Конек-Горбунок* — персонаж одноименной сказки П. Ершова.

С. 108. *«Молот ведьм»* — Malleus maleficarum, авторы — доминиканские монахи Я. Шпренгер и Г. Институрис.

С. 114. *На дверях синоптической группы уже появилась свежая надпись мелом <...>. Каждое утро Мерлин <...> стирал эту надпись мокрой тряпкой, и каждую ночь она возобновлялась*. — ср.: «Когда поднялась луна и ее мятный свет озарил миниатюрный бюстик Жуковского, на медной его спине можно было ясно разобрать написанное мелом краткое ругательство. / Впервые подобная надпись появилась на бюстике 15 июня 1897 года в ночь, наступившую непосредственно после открытия памятника. И как представители полиции, а впоследствии милиции ни старались, хулительная надпись аккуратно возобновлялась каждый день». И. Ильф, Е. Петров, «Двенадцать стульев», 1, 2.

С. 114. *«Темна вода во облацех»* — церковносла-

вянский текст Псалтири (17, 12).

С. 114. *У-Янус <...> не мог <...> сдержать неопределенной улыбки каждый раз, когда присутствовал на заседаниях семинара пифий и авгуров.* — по свидетельству Цицерона («О гадании», 2, 24), древнеримские авгуры, зная истинную цену своим предсказаниям, втайне посмеивались над легковерием римлян и не могли удерживаться от смеха, встречаясь друг с другом. Фактически Цицерон цитирует Катона Старшего.

С. 120 [broken link: #ref053]. *Хочу тебя прославить, / Тебя, пробивающегося сквозь метель зимним вечером. / Твое сильное дыхание и мерное биение твоего сердца... У. Уитмен* — «Локомотив зимой», перевод И. Кашкина: «Хочу тебя прославить, / Тебя <...> вечером, / Твое <...>».

С. 122 [broken link: #ref054]. *Мы не Декарты, не Ньютоны мы...* — восходит к «Веселому маршу монтажников» из к/ф «Высота», слова В. Котова, музыка Р. Щедрина.

С. 125. *Скучно же ему там. — Черт с ним, пусть скучает...* — анекдот о дружных петушках, использованный А. Некрасовым в главе 7 «Приключений капитана Врунгеля».

С. 132. *...превращать воду в вино <...> накормить пятью хлебами тысячу человек...* — см. Еванге-

лие от Иоанна (2, 1–11) и Евангелие от Матфея (14, 16–21).

С. 136 [broken link: #ref057]. *Горе! Малый я не сильный; / Съест упырь меня совсем... А. С. Пушкин* — «Песни западных славян», 13. «Вурдалак».

С. 137, 141. *Профессор Выбегалло кушал. На столе перед ним дымилась большая фотографическая кювета, доверху наполненная паренными отрубями. Не обращая ни на кого специального внимания, он зачерпывал отруби широкой ладонью, уминал их пальцами, как плов, и образовавшийся комок отправлял в ротовое отверстие, обильно посыпая крошками бороду. При этом он хрустел, чмокал, хрюкал, всхрапывал, склонял голову набок и жмурился, словно от огромного наслаждения. <...> Кадавр сунул руку в чан, вытащил кювету, осмотрел ее со всех сторон и осторожно откусил край. Брови его страдальчески поднялись. Он откусил еще кусок и захрустел.* — восходит к эпизоду из детства Пантагрюэля. См. Ф. Рабле, «Гаргантюа и Пантагрюэль», 2, 4: «Я не буду говорить о том, как при каждом приеме пищи он высасывал молоко из 4600 коров <...>. Кашицу ему подавали в огромном колоколе <...>. Зубы у него были и тогда такие крепкие и сильные, что он отломил ими от этой посудины

порядочный кус <...>. <...> да еще стал приговаривать: «Хор!.. хор!..» Складно говорить он еще не умел, но этим звуком он хотел пояснить, что еда была вкусная и что только этого ему и надо». Перевод В. Пяста.

С. 142. *...ле фам, ле фам!..* — ЛТ 3, 3, 29.

С. 143–144. *...экселент, эксви, шармант.* — ЛТ 2, 3, 15.

С. 144. *Он ди ке...* — ЛТ 3, 2, 6.

С. 145. *«Мы с милым расставалися, клялись в любви своей...»* — «За дальнею околицей», слова Г. Акулова, музыка Н. Будашкина: «Мы с милым, расставаяся, клялись в любви своей».

С. 146. *Ля вибрасьён са моле гош этюн гранд синь!* — ЛТ 3, 1, 6.

С. 146. *Уи сан дот...* — ЛТ 4, 1, 10.

С. 149. *И она не будет ждать милости от природы. Она возьмет от природы все...* — перефраз крылатых слов И. Мичурина из предисловия к третьему изданию книги «Итоги шестидесятилетних трудов по выведению новых сортов плодовых растений»: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача».

С. 152. *Верьте мне, это было самое ужасное зрелище на свете. Ф. Рабле* — «Гаргантюа и Пантагрюэль», 1, 27, перевод В. Пяста («<...> на

свете!»).

С. 169. *...шевалье <...> сан пёр э сан репрош...* — ЛТ 4, 4, 4. Источник выражения — книга под этим названием, изданная в 1527 году и прославляющая рыцаря П. дю Террайля Баярда.

С. 170, 171. *...ползет, заворачиваясь вовнутрь, край горизонта..., «А горизонт видел? Знаешь, на что это похоже?» «На свертку пространства...»* — ср.: Откровение Иоанна (6, 14): «И небо скрылось, свившись как свиток» и Книгу пророка Исаии (34, 4): «И небеса свернутся, как свиток книжный».

С. 172. *Он ву демандера канд он ура безуан де ву.* — ЛТ 3, 3, 28.

С. 175. *Когда бог создавал время, — говорят ирландцы, — он создал его достаточно. Г. Бёль* — «Ирландский дневник», главка «Когда бог создавал время...», перевод С. Фридлянд и В. Нефедьева.

С. 177. *«Смелее, товарищи! Щелкайте челюстями! Г. Флобер»* — «Искушение святого Антония», 7, перевод М. Петровского (в части редакций перевода).

С. 178. *Дрыгоножество* — неологизм В. Маяковского из поэмы «Владимир Ильич Ленин».

С. 181. *Анна Каренина, Дон Кихот, Шерлок*

Холмс, Григорий Мелехов, капитан Немо — персонажи произведений Л. Толстого, М. де Сервантеса Сааведры, А. Конан Дойла, М. Шолохова, Ж. Верна.

С. 184. *Единственное различие между Временем и любым из трех пространственных измерений заключается в том, что наше сознание движется вдоль него. Г. Дж. Уэллс* — «Машина времени», 1, перевод К. Морозовой.

С. 185–186. *...отработал <...> перевозчиком <...> а сейчас направляется <...> предаться стихосложению.* — восходит к мыслям К. Маркса о чередовании физического и умственного труда при коммунизме. См., например, «Капитал», 1, 5, 15, 4. Стихотворное переложение В. Маяковского: «Землю попашет, / попишет / стихи» («Хорошо!», 19).

С. 186. *...под сень струй...* — цитата из комедии Н. Гоголя «Ревизор» (4, 13): «Мы удалимся под сень струй...».

С. 188. *Несколько мальчишек с томиками Шекспира, воровато озираясь, подкрадывались к дюзам ближайшего астроплана.* — аллюзия на роман Г. Адамова «Победители недр».

С. 188, 189, 193–194. *...здание, которое одни называли Пантеоном, а другие — Рефрижератором,*

«Я хотела бы стать астральной пылью, я бы космическим облаком обняла твой корабль...», ...я прыгнул вперед сразу на миллион лет, ...звездолет в виде шара, Поодаль, чуть смущаясь, индифферентно стоял какой-то старикан и ловил из аквариума золотых рыбок. — А. Колпаков, «Гриада» (М.: Молодая гвардия, 1960), с. 83, ч. 1, гл. 7: «Пантеон Бессмертия»; с. 30, ч. 1, гл. 3: «— Я хотела бы раствориться в бесконечности <...>. — Превратиться в астральную субстанцию, вечно следовать за “Уранией”»; с. 313, «Вместо эпилога»: «— Неужели мы прожили по миллиону лет?», «...необыкновенный Голубой Шар, висящий над крышей Пантеона...», «Чуть смущаясь и делая вид, что он нас не замечает, поодаль стоит милый старикан Самойлов. Он бросает корм рыбам, плавающим в бассейне...».

С. 189. *Кого-то намеревались оживлять...* — Г. Мартынов, «Гость из бездны», ч. 1, Л.: Лениздат, 1962.

С. 190. *«самопрограммирующийся кибернетический робот <...> меня сейчас расчленит!..»* — А. Днепров, «Суэма», в издании: «Уравнения Максвелла», 1960 («Самосовершенствующаяся электронная машина!» «...вдруг посягнула на своего создателя» — захотела вскрыть его с помощью

скальпеля).

С. 190, 191. <*Прилет ржавой ракеты, призыв к освобождению братьев по разуму из-под власти кибернетического диктатора в Малом Магеллановом Облаке, стенающие персонажи*> — О. Бердник, «Пути титанов» (перевод с украинского В. Доронина и А. Семенова), «Мир приключений», кн. 7, М.: Детская литература, 1962: «Весь корабль был ржаво-грязного цвета — очевидно, он прошел неизмеримые пространства» (глава-зачин «Гость из прошлого»), «Левее штурман увидел свой корабль — весь в ржавых пятнах» (ч. 2, гл. «Железный диктатор»); «Я верю также, что вы поможете братьям в системе Большого Магелланова Облака, сражающимся с чудовищным миром автоматов — результатом вырождения разума» (ч. 3, гл. «Завещание Джон Эя»); «— Проклятие! — простонал Георгий» (ч. 1, гл. «Антимир»), «Он застонал от боли, тихо позвал...» (ч. 2, гл. «Большое Магелланово Облако»), «Кто-то тихо застонал» (ч. 2, гл. «Железный диктатор»), «Штурман открыл глаза, застонал» (ч. 2, гл. «Бой в воздухе»), «Георгий застонал» (ч. 2, гл. «Неудача»), «Сначала шевельнулся Георгий, застонал» (ч. 3, гл. «Под сиянием голубой звезды»).

С. 191. *Эоэлла* — А. Казанцев, «Внуки Марса»

(книга первая: «Планета бурь»), «Мир приключений», кн. 7, М.: Детская литература, 1962.

С. 191–192, 192. *На горизонте серебрились знакомые прозрачные купола, виадуки и спиральные спуски. <...> Возле меня стоял маленький мальчик с глубоко посаженными горящими глазами, ...осведомился он мелодичным голосом, Славный это был мальчуган <...> но он показался мне слишком уж серьезным для своих лет.* — аллюзии на роман И. Ефремова «Туманность Андромеды»: термин «Спиральная Дорога», «...вызывали к жизни на своих планетах плоские купола и спирали...» (2), а также множество других упоминаний спирали; склонность автора к чрезмерному использованию слов, однокоренных с «серебрились»; «...объяснял пожилой преподаватель с глубоко посаженными горящими глазами...» (9); «Тотчас зазвучал мелодичный и нежный голос переводящей машины...» (2), «Мелодичный, нежный и сильный голос проник в сердце Мвена Маса» (10); «Эрг Ноор вспомнил Рен Боза с его застенчивой мальчишеской внешностью, так не соответствовавшей величию его ума» (13).

С. 196. *...посмотреть умирающую Землю, описанную Уэллсом.* — «Машина времени», 14.

С. 198. *...весомый и зримый хам...* — контами-

нация слов В. Маяковского «...весомо, / грубо, / зримо...» (вступление к поэме «Во весь голос») и заглавия статьи Д. Мережковского «Грядущий Хам».

С. 200. *Стихи ненатуральны, никто не говорит стихами, кроме бидля, когда он приходит со святочным подарком, или объявления о ваксе, или какого-нибудь там простачка. Никогда не опускайтесь до поэзии, мой мальчик. Ч. Диккенс* — Собрание сочинений в четырех томах, М.–Л.: Детская литература, 1940, т. 1, «Посмертные записки Пиквикского клуба», глава 31 (в указанном издании), с. 484, сокращенный перевод А. Кривцовой («<...> приходит за святочным подарком, или объявлений о ваксе <...>»).

С. 210. *Стелла быстро протараторила все, что мы успели сочинить. <...> Корнеев скомандовал: — Расстрелять.* — ср. в повести А. Н. Толстого «Похождения Невзорова, или Ибикус»: после исполнения куплетов Невзоровым «...пьяный офицер проговорил спокойно: — Расстрелять».

С. 214. *Ш. Холмс, Н. Пинкертон* — персонажи произведений А. Конан Дойла и анонимного детективного сериала начала века.

С. 218. *Эта бедная старая невинная птица ругается, как тысяча чертей, но она не понимает,*

что говорит. Р. Стивенсон — «Остров сокровищ», 2, 10, перевод Н. Чуковского.

С. 221. *Побрекито* — восходит к выражению «El pobrecito loco» — «Бедненький помешанный» (исп.). См. О. Генри, «Короли и капуста», главы 8 и 9.

С. 230. *Фактов всегда достаточно — не хватает фантазии. Д. Блохинцев* — «Некоторые вопросы развития современной физики» (журнал «Вопросы философии», 1959, № 10, с. 34): «...можно сказать, что фактов недостаточно, чтобы построить полную теорию, это вполне вероятно. Но с чисто профессиональной точки зрения теоретик и философ должны считать, что фактов всегда достаточно, а не хватает только фантазии».

С. 231. *«Как ужасно мое представленье!»* — цитата из перевода С. Маршака англ. анонимной эпиграммы «Про одного философа» («<...> представление!»). В части 2 главы 13 книги В. Львова «Жизнь Альберта Эйнштейна» (М.: Молодая гвардия, 1958, с. 186) можно обнаружить связь этой эпиграммы с термином «солипсизм», предшествующим цитате в тексте повести «Понедельник...»: «Солипсизмом, как известно, называется “система”, утверждающая, что “существую только я” и что мир вокруг меня “только мое

представление”». Среди стихотворных переводов С. Я. Маршака можно найти такую, например, английскую сатирическую характеристику этой, с позволения сказать, философии: [далее приводится текст эпиграммы. — В. К.]».

С. 233. *...благородное безумие.* — восходит к фразе, приписываемой Н. Бору: «Ваша теория, конечно, безумна. Весь вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы оказаться верной».

С. 241. *...зеленое море тайги.* — строка песни «Главное, ребята, сердцем не стареть», слова С. Гребенникова и Н. Добронравова, музыка А. Пахмутовой.

С. 241. *«Защелкали тумблеры, замерцали экраны, загремели планетарные двигатели...»* — аллюзия на «Туманность Андромеды» И. Ефремова: «...мерцающий жемчужным отблеском полусферический экран...» (2), «Во мраке лишь слабо мерцал экран...» (7); «Загремели удары планетарных двигателей, и звездолет с воем кинулся вниз...» (3).

С. 243. *Вернемся к нашим попугаям.* — использована крылатая фраза из анонимного фр. фарса «Адвокат Пьер Патлен»: «Вернемся к нашим баранам».

С. 256. *«Пекарь императора»* — чешский к/ф,

реж. М. Фрич.

С. 259. *«Загадка Ришара Сэгюра»* — М. Ренар, А. Жан, «Загадка Ришара Сегюра (Le singe)», [М.:] «Пучина», [1927], перевод под редакцией Н. Казмина.

СКАЗКА О ТРОЙКЕ

С. 264–265. <*Битва нечисти*> — восходит к «Песенке про нечисть» В. Высоцкого с ее персонажами (Соловей, змей, вампир, кикиморы, лешие, ведьмы) и финалом: «Билась нечисть груди в груди / И друг друга извела...».

С. 268. *Панург* — персонаж «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле.

С. 281, 451, 497, 558. *Никто не забыт и ничто не забыто...* — О. Берггольц, последняя строка эпитафии, высеченной на стеле мемориального Пискаревского кладбища.

С. 290, 505. *«И на ответы нет вопросов»* — неточная цитата из стихотворения В. Брюсова «Скала к скале; безмолвие пустыни...»: «Ответам нет вопроса».

С. 305, 518. *Скажем, земляная оса отложила в норку яички и таскает для будущего потомства пищу. Что делают эти бандиты? Они варварски крадут отложенные яйца, а потом, исполненные идиотского удовлетворения, наблюдают, как несчастная мать закупоривает цементом пустую норку*. — отсылка к известным опытам Фабра с самкой земляной осы сфекса: «В норку

положена добыча, яйцо отложено. Сфекс закрывает вход в нее. <...> Я прихожу в разгар работы. Отстранив сфекса <...> вытаскиваю из камеры эфиппигеру с яйцом сфекса на груди. <...> я уступаю место сфексу. Он все время находился совсем близко, пока я грабил его постройку, и теперь, найдя дверь открытой, входит в норку. Через некоторое время он выходит оттуда и принимается старательно заделывать вход». Ж.-А. Фабр, «Жизнь насекомых», книга «Осы-охотницы» (часть «Замечательные хирурги сфексы», глава «Невежество инстинкта»), М.: Учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1963, с. 67–68. Перевод Н. Плавильщикова.

С. 309, 522. *Свифтовский «йеху»* — йеху — персонажи части 4 «Путешествий Гулливера» Дж. Свифта.

С. 311, 524. *«Турецкий марш»* — правильнее — «Рондо в турецком стиле» из сонаты для фортепиано № 11 ля мажор В. Моцарта.

С. 311, 524. *«На последнем берегу»* — амер. х/ф реж. С. Крамера по роману Н. Шюта.

С. 311. *...по свидетельству Монтеня...* — несколько измененная сцена из гл. 14 кн. 2 «Опытов» М. Монтеня. Источник Монтеня — Сенека Старший, «Контроверзы», 7.

С. 319. *Ту кампрандр се ту пардоне...* — как и в «Понедельнике...», источником большинства французских фраз Выбегалло является «Война и мир» Л. Толстого. В данном случае — т. 1, ч. 1, гл. 25. В дальнейшем подобные соответствия обозначены аббревиатурой ЛТ. Выражение «Все понять значит все простить» считается заимствованным у Ж. де Сталь, «Коринна, или Италия», 4, 3.

С. 322, 486, 567. *Разумное, доброе, вечное* — слова из стихотворения Н. Некрасова «Сеятелям».

С. 328–329. *Се пенибль ме селя фе дюбьен.* — ЛТ 1, 1,21.

С. 330. *Ле марьяж се фо дан ле сье.* — ЛТ 1, 3, 2; 2, 3, 22.

С. 333. *Нузан савон келькешоз оси...* — ЛТ 1, 3, 1 (частично).

С. 335. *...фас был будь здоров, в три дня не обгадишь!* — ср.: «Сидит сатана, морду в три дня не обгадишь, Троекуров...». А. Н. Толстой, «Петр Первый», 1, 5, 10.

С. 339. *Дан нотр позисьон нэ определенные де девуар.* <...> *Се ту се ке же ву ди.* — ЛТ 3, 3, 7; 4, 4, 10.

С. 343. *Прозаседавшиеся* — заглавие стихотворения В. Маяковского.

С. 343. *Нельзя ждать милостей от природы...* — перефраз крылатых слов И. Мичурина из

предисловия к третьему изданию книги «Итоги шестидесятилетних трудов по выведению новых сортов плодовых растений»: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача».

С. 344, 347. *Д'Артаньян, ...горбатый гасконский нос.* — персонаж трилогии А. Дюма и аллюзия на него.

С. 346. *Холя ногтей* — вывеска начала двадцатого века. Упоминается в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» (1, 1).

С. 348. *Победа будет за мной.* — «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». В. Молотов, выступление по радио 22 июня 1941 г. С небольшими изменениями повторено И. Сталиным в выступлении по радио 3 июля и в докладе 6 ноября 1941 г.

С. 351. — *Но я не Альфред Теннисон...* — А. Теннисон в раннем стихотворении «Кракен» изобразил подводное чудище в своем обычном возвышенном стиле.

С. 351. *...я правду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи.* — цитата из комедии А. Грибоедова «Горе от ума», 3, 9 («<...> об тебе <...>»).

С. 354. *<кашалот-альбинос, люди признали его олицетворением зла>* — отсылка к роману Г.

Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит».

С. 359. *«а паразиты никогда...»* — слова из «Интернационала», музыка П. Дегейтера, слова Э. Потье, рус. текст А. Коца («...Но паразиты никогда»).

С. 365. *...продавали право первородства...* — Книга Бытия (25, 31–34).

С. 372, 570. *«Мы одной крови, вы и я»* — цитата из Р. Киплинга, «Маугли. Из Книги Джунглей».

С. 389, 584. *...лужа типа миргородской...* — см. главу 4 «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. Гоголя.

С. 407. *...любовь <...> не вздохи на скамейке и <...> не прогулки при луне...* — цитата из стихотворения С. Щипачева «Любовью дорожить умейте...».

С. 413. *«Мавр сделал свое дело, мавр может уходить»* — цитата из пьесы Ф. Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе», 3, 4. Перевод Вс. Розанова.

С. 416. *<По ту сторону добра и зла>* — заглавие сочинения Ф. Ницше.

С. 417. *Блок, Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, аи...* — «В ресторане».

С. 417. *«Хочу быть дерзким, хочу быть смелым...»* — начало стихотворения К. Бальмонта «Хочу».

С. 422, 531. *«Вот злонравия достойные плоды!»*

— цитата из комедии Д. Фонвизина «Недоросль», 5, 8.

С. 426–427, 535. *...се ля мэн сюр ле кёр ке же ву ле ди.* — ЛТ 3, 3, 29.

С. 427, 535. *Же ву деманд анпё...* — ЛТ 1, 1, 16.

С. 427, 535. *...ле вин этире иль фо ле боар.* — ЛТ 3, 2, 29.

С. 432, 540. *Пришельцы приходят и уходят, а народ наш, великий народ пребывает вовеки.* — Книга Екклезиаста (1, 4): «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки». Ср. также перефразировку И. Сталина: «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское — остается». Приказ Народного комиссара обороны 7 ноября 1942 года. Известны и более ранние аналоги этой формулы у И. Сталина.

С. 445, 552. *...нашей застарелой надежды на добрых богов, добрых царей и добрых героев...* — аллюзия на строки «Интернационала», музыка П. Дегейтера, слова Э. Потье, рус. текст А. Коца: «Никто не даст нам избавленья — / Ни бог, ни царь и не герой».

С. 448. *...время собирать камни уже миновало, наступило время камнями убивать.* — контаминация слов Книги Екклезиаста (3, 5): «...время разбрасывать камни, и время собирать камни...»

и Евангелия от Иоанна (8, 5): «...Моисей <...> заповедал нам побивать таких камнями...».

С. 451. *...скребницей чистил своего боевого коня.* — восходит к зачину «Гусара» А. Пушкина: «Скребницей чистил он коня».

С. 466. *Се нотр опиньён...* — ЛТ 3, 2, 35.

С. 468. *Электрический червяк олгой-хорхой* — описан в рассказе И. Ефремова «Олгой-хорхой».

С. 469. *«Мон шер си ву кондуизезиси ком у себя дома вуфините тре маль»* — ЛТ 1, 1, 13.

С. 469. *Штыками и картечью* — слова из «Молодой гвардии» А. Безыменского (вольный перевод нем. «Песни юношества» на слова Г. Эйльдермана, мотив тирольской песни).

С. 480. *живут <...> у самого Синего Моря старик, старуха и золотые мальки Золотой Рыбки.* — отсылка к «Сказке о рыбаке и рыбке» А. Пушкина.

С. 489. *«Кирпичики»* — песня на слова П. Германа, исполнялась на мелодию вальса С. Бейлезона «Две собачки» в обработке В. Кручинина или Б. Прозоровского.

С. 492. *Дуремар* — персонаж «Золотого ключика, или Приключений Буратино» А. Н. Толстого.

С. 506. *Импосибе´ль!* — ЛТ 2, 2, 7.

ВТОРОЕ НАШЕСТВИЕ МАРСИАН

С. 609. <*заглавие*> — связано с романом Г. Уэллса «Война миров», где описано «первое» нашествие марсиан.

С. 614. *Сорвал цветок удовольствия...* — цитата из комедии Н. Гоголя «Ревизор» (3, 5): «...срывать цветы удовольствия».

С. 637. *Сумеречный разум <...> рождает <...> призраки.* — реминисценция названия офорта Ф. Гойи «Сон разума рождает чудовищ».